

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

XVIII

ВЕК



СБОРНИК

5

1938к
50057

ИРЛИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(П У Ш К И Н С К И Й Д О М)

XVIII

В Е К



СБОРНИК

5

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД

1 9 6 2

Ответственный редактор
член-корреспондент
Академии наук СССР
П. Н. БЕРКОВ

25/456



ОТ РЕДАКТОРА

Настоящий — пятый — выпуск сборника «XVIII век» подготовлялся в течение 1959—1960 годов одновременно со специальным сборником, посвященным двухсотпятидесятилетию со дня рождения М. В. Ломоносова. Тема настоящего выпуска: «Ломоносов и русская литература его времени». Таким образом, примыкая к упомянутому специально «ломоносовскому» сборнику по своему общему направлению и по разработке ряда проблем творчества М. В. Ломоносова, предлагаемый вниманию читателей сборник «XVIII век» имеет и совершенно самостоятельный характер.

В соответствии с особым характером настоящего выпуска в начале каждого его отдела помещены статьи о творчестве Ломоносова; посвященные в основном проблемам его творческого метода и художественного мастерства. Затем располагаются статьи и материалы по русской литературе ломоносовского времени (последнее понимается довольно широко — от 1720-х до 1760-х годов и даже позднее). Сюда включены работы о творчестве Кантемира, Тредиаковского и Сумарокова, позволяющие лучше понять как развитие русского литературного процесса середины XVIII века в целом, так и условия, в которых протекала деятельность Ломоносова как поэта и филолога.

К основной группе статей настоящего выпуска присоединены работы, частью прочитанные в виде докладов на заседаниях Группы по изучению русской литературы XVIII века и дополняющие общий замысел сборника, а именно статьи Н. А. Сигал «Социальная критика в литературе французского классицизма и ее художественный метод» и В. А. Кубачевой «„Восточная“ повесть в русской литературе XVIII—начала XIX века».

В статье П. Н. Беркова «Проблема литературного направления Ломоносова» едва ли не впервые в нашем литературоведении ставится вопрос о значении латинской образованности в России в XVII—XVIII веках для русской литературы XVIII века. В развитие этой проблемы в разделе «Материалы и сообщения» печатаются статьи проф. А. В. Флоровского (Прага) «Латинские школы в России в эпоху Петра I» и А. Х. Горфункеля «„Великая наука“ Раймунда Люллия и ее русские читатели».

В данный выпуск сборника, в отличие от двух предшествующих, не удалось за недостатком места включить статьи по вопросам международных связей русской литературы XVIII века. Предполагая в дальнейшем восполнить этот пробел, мы отмечаем, что в издаваемом ИРЛИ под редакцией акад. М. П. Алексеева сборнике «Международные связи русской литературы» XVIII век не забыт и представлен рядом интересных работ.

Как и в предшествующих четырех, так и в настоящем пятом выпуске сборника «XVIII век», читатели найдут новые авторские имена, главным образом из числа молодых исследователей. Редакция сознает, что среди материалов, представленных этой группой сотрудников, есть разные по своему характеру и уровню; однако все они содержат свежие и полезные для нового осмысления литературы XVIII века факты, наблюдения и соображения.

Издавая пятый, в своем роде юбилейный, выпуск, редакция не может не отметить, что за двадцать пять лет, прошедших со времени выхода в свет первого выпуска, число исследователей русской литературы XVIII века чрезвычайно выросло, что большинство из них связано со сборником «XVIII век» и поддерживает его своими научными вкладами. Это укрепляет нас в уверенности, что сборник «XVIII век» стал жизненно необходимым для дальнейшего изучения русской литературы XVIII века и что объединение вокруг него как можно большего числа исследователей должно оставаться одной из наших важнейших задач.

П. Н. БЕРКОВ

ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВА

Столь дискуссионный в последние тридцать лет вопрос о том, к какому литературному направлению принадлежал Ломоносов, вероятно, удивил бы любого гимназиста и гимназистку дореволюционного времени. Они без малейших колебаний ответили бы: «К ложно-классическому!» и при этом сослались бы на учебники и пособия по истории русской литературы, по которым в те годы обучались в средней школе, — П. В. Смирновского, В. В. Сиповского, В. Ф. Саводника, на переиздания старых пособий А. Д. Галахова, А. И. Незеленова, И. Я. Порфирьева и др., на авторитетную «Историю русской литературы» А. Н. Пыпина. Все перечисленные издания, следовавшие традиции, сложившейся во второй четверти XIX века, называли французский и русский классицизм «ложноклассицизмом» и «псевдоклассицизмом».

Выходя из средней и даже высшей школы, учащиеся дореволюционного времени твердо знали: «Что касается, наконец, значения ложноклассического направления, то внесение его в русскую литературу, как известно, считается большим несчастьем, потому что оно с самого начала поставило ее на ложный путь и, утвердив в ней рабскую подражательность иностранным литературам, надолго задержало ее национальное развитие».¹

С таким общим пониманием термина «ложноклассицизм» учащиеся дореволюционного времени подходили и к оценке частных проявлений этого литературного направления. Вот что могли они усвоить о Ломоносове из популярнейшего в предреволюционное время учебника П. В. Смирновского: «Ода „На день восшествия на престол имп. Елисаветы“ 1747 года может служить лучшею представительницею ложноклассической оды у Ломоносова. В ней мы

¹ И. Я. Порфирьев. История русской словесности. Ч. II. Новый период. Отд. I. От Петра В. до Екатерины II. Изд. 4-е, Казань, 1901, стр. 125.

находим все, что, по теории Буало, требовалось от похвальной оды, а именно:

1) Построение оды из трех частей: приступа, изложения и заключения. В заключении, по ложноклассической теории, должны были высказываться мысли разительные. У Ломоносова соблюдено и это требование.

2) Употребление риторических фигур, в особенности — восклицаний и обращений.

3) Чрезмерное восхваление.

4) Лирический беспорядок, т. е. быстрый, неожиданный переход от одной картины к другой (напр., в строфе 10-й).

5) Эпизоды, т. е. вставочные рассказы (напр., о Петре I и Екатерине I).

6) Употребление имен греческих и римских богов.

7) Употребление слов: лира и пою».²

Перечисленными семью признаками определялся «ложноклассицизм» од Ломоносова («похвальных»). Четыре признака отмечались в «ложноклассических» комедиях Сумарокова и Фонвизина: соблюдение единства времени, места и действия; разделение действующих лиц на порочных и добродетельных; введение резонеров, которые не действуют, а рассуждают; частое представление недостатков карикатурой.³ Таким же перечислением признаков характеризовалась «ложноклассическая» трагедия, эпопея и т. д.

Вполне естественно, что такое мнение о «ложноклассицизме», широко распространенное, подтвержденное перечислением признаков-доказательств и официально насаждавшееся в средней школе, наносило сильнейший вред правильному пониманию истории русской литературы целого столетия, правильному восприятию и оценке деятельности писателей XVIII века и в первую очередь Ломоносова.

Положение не менялось оттого, что в некоторых университетских учебниках предреволюционного времени вместо термина «ложноклассицизм» или «псевдоклассицизм» употреблялись термины «классицизм» или «неоклассицизм».⁴ Даже такой передовой преподаватель высшей школы, как П. Н. Сакулин, — уже в советское время! — употребляя термин «классицизм», в сущности лишь перефразировал то, что грубо и примитивно излагал П. В. Смирновский.

«Ода, как лирический жанр, — писал П. Н. Сакулин, — получила

² П. Смирновский. Пособие при изучении истории русской словесности (Для средних учебных заведений). Ч. 2. Время от Ломоносова до Карамзина. Изд. 14-е (без перемен с 10-го изд.), М., 1915, стр. 48.

³ Там же, стр. 146—147 и 311.

⁴ А. М. Лобода. Лекции по истории новой русской литературы. Ч. I (XVIII век). (На правах рукописи). Киев, 1913, стр. 32 («... в ту пору праздновал свою победу т. н. ложноклассицизм или вернее неоклассицизм»); в изд. 1910 г., см. стр. 34.

свой определенный стиль: установлен ее композиционный канон (приступ, предложение, отступление, парение или лирический беспорядок), выкристаллизовались характерные образы и стилистические приемы, определился весь ее „высокий штиль“. Воспеваемое лицо или событие поэт обыкновенно вставляет в широкую раму: в своем лирическом полете он охватывает не только российскую державу, но и всю „подсолнечную“ («в безмолвии внимай, вселенна, русской восхищенной лире!»). Своего рода универсализм. Силой своего воображения вызывает лирик исторические тени прошлого (тени умерших героев — обычные действующие лица). Образы античной мифологии, в свою очередь, широко раздвигают лирические горизонты и служат целям гиперболического возвеличения... Гиперболизм составляет душу лирического пафоса оды («восторг внезапный ум пленил» у Ломоносова)...⁵

Правда, П. Н. Сакулин в другом месте, вполне справедливо рекомендуя отказаться от термина «ложноклассицизм», «псевдоклассицизм», излагает верное суждение о самобытности как французского, так и русского классицизма. Он пишет: «Никогда более или менее значительное литературное движение не представляет собою простой копии. Обыкновенно, каждая литература только воспринимает чужие элементы и самостоятельно их перерабатывает, образуя свой литературный стиль. Классицизм французов есть, конечно, французский, а не греческий, не латинский, но отнюдь не ложный. Точно так же и русский классицизм — не французский, не греческий и не латинский классицизм, а русский. В нем есть чужие элементы, но они творчески претворены».⁶

И вместе с тем, несмотря на более или менее правильное понимание процесса литературного развития, П. Н. Сакулин при конкретной характеристике классической оды, как мы видели, недалеко уходит от П. В. Смирновского.

Все это объясняется, очевидно, тем, что и рядовые педагоги — составители гимназических учебников, вроде П. В. Смирновского, и даже тогдашние настоящие ученые, как П. Н. Сакулин, понимали литературное направление прежде всего и исключительно как совокупность внешних признаков, приемов, которые легко усваиваются писателями одной страны у писателей другой. Если П. Н. Сакулин, вместо слов «внешние признаки» или «приемы», употребляет слово «стиль», существо дела остается тем же.

Так обстояло с пониманием терминов «ложноклассицизм» и с отнесением к этому направлению Ломоносова в предреволюцион-

⁵ П. Н. Сакулин. Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей. Ч. 2. Новая литература. М., 1929, стр. 74—75.

⁶ П. Н. Сакулин. История новой русской литературы. Эпоха классицизма. М., 1918, стр. 186.

ное время и даже в первое десятилетие после Великой Октябрьской социалистической революции.

Перед теми советскими историками литературы XVIII века, которые выступили со своими исследованиями об этом периоде в конце 20-х—начале 30-х годов нашего времени, стояла поэтому двойная задача: во-первых, доказать, что классицизм — французский, русский, любой — есть художественно-эстетическая система, а не механическая совокупность признаков, приемов или «элементов», как говорил П. Н. Сакулин, а также, что, как всякая художественная система, он покоится на определенной философии; во-вторых, показать, что русский классицизм отнюдь не был «большим несчастьем» русской литературы, не был эпохой ученичества, подражательности, утраты национальной самобытности.

Работы Г. А. Гуковского, Д. Д. Благого, В. А. Десницкого и др., вышедшие с конца 20-х—начала 30-х годов, постепенно устранили старую трактовку классицизма как «ложноклассицизма», установили новое понимание термина «классицизм» и истолкование деятельности тех писателей XVIII века, которых стали почему-то называть «классицистами», вместо привычного и более правильного «классики».⁷

И на первых же порах обнаружилось, что обойтись суммарным старым обозначением «классицизм» для литературных явлений целого столетия невозможно, что необходимы какие-то уточнения, более дробные определения. Так, Д. Д. Благой в статье «Классицизм в России» отмечает «стилевую пестроту русского классицизма, сосуществование в пределах одного стиля элементов различных во времени европейских стилевых культур — ренессанса, барокко, рококо».⁸

Схема развития русского классицизма представлена в статье Д. Д. Благого в таком виде: «Впервые классический стиль проявляется на русской почве в сатирах Кантемира (30-е гг. XVIII в.), оформляется в теории и практике Тредьяковского и Ломоносова (30-е и 40-е гг.), достигает полного развития в разнообразнейшей литературной деятельности Сумарокова и его школы (50-е и 80-е гг.), догорая в конце века пышными закатными огнями державинского творчества. В творчестве Хераскова (помимо «Россиады»), в драматургии Озерова стиль теряет свою первоначальную „ортодоксальность“ и чистоту...».⁹

Эту схему, с небольшими изменениями, развивал Д. Д. Благой в своих последующих обобщающих работах по истории русской литературы XVIII века.

⁷ Ср. «скептицизм» — «скептик», а не «скептицист»; «критицизм» — «критик», а не «критицист».

⁸ Литературная энциклопедия Т. V, М., 1931, столб. 284—285

⁹ Там же, столб. 286.

Несколько иначе строил свои курсы по истории русской литературы XVIII века Г. А. Гуковский. Для него русский классицизм — это только творчество Сумарокова; поэтому ни Ломоносов, ни Тредиаковский, ни тем более Кантемир не являются представителями русского классицизма. И исходя из своей особой трактовки понятия «классицизм», покойный ученый выдвинул новую оригинальную точку зрения на вопрос, к какому литературному направлению принадлежал Ломоносов.

«Поэтическая деятельность Ломоносова, — писал Г. А. Гуковский, — протекала в ту эпоху, когда все европейские литературы были в большей или меньшей степени захвачены властью классицизма. Конечно, Ломоносов не мог не подчиниться до известной меры инерции этого могучего стиля, его гражданских идеалов, его централизующего мировоззрения, связанного с организаторской ролью абсолютизма в европейских странах. Но в основном, в самой сути художественного метода поэзии Ломоносова не может быть включена в круг явлений, обозначаемых наименованием классицизма. Ей остался чужд рационалистический взгляд на действительность, на искусство, на слово, логический характер суховатой классической семантики, боязнь фантазии, схематизация отвлеченной мысли, лежащие в основе поэтического метода. Деловитая простота, трезвость классицизма не могла быть приемлемой для Ломоносова — мечтателя, творца грандиозных видений будущего, а не систематизатора настоящего. Титанические образы идеала, характерные для Ломоносова, ведут нас к традиции не аналитического метода классицизма, разлагавшего на основные понятия живую плоть действительности, а к космическому синтезу и обобщению идеальных чаяний человечества в искусстве Возрождения. Ломоносов и был последним великим представителем европейской традиции культуры Возрождения в поэзии. Он воспринял традиции Ренессанса через немецкую литературу барокко, явившуюся в свою очередь наследницей итальянского искусства XV века и французского XVI века. Патетика ломоносовской оды, ее грандиозный размах, ее напряженно-образная, яркая метафорическая манера сближает ее именно с искусством Возрождения».¹⁰

Эта великолепная характеристика Ломоносова как представителя не классицизма, а Возрождения стоит особняком в нашем литературоведении. Г. А. Гуковский, к сожалению, не развернул более подробно своей точки зрения, а в только что цитированном отрывке не все достаточно подробно и ясно сказано. Сопоставление Ломоносова с поэтами эпохи Возрождения можно делать с двух точек зрения: с типологической и с исторической. Можно утверждать, что

¹⁰ Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. Учебник для высших учебных заведений. М., 1939, стр. 108.

своим универсализмом, сочетанием научных, литературных и художественных интересов, своей бурной, кипучей натурой, своей пытливостью и всепоглощающей страстностью в любой сфере деятельности Ломоносов напоминал, — больше того, своеобразно повторял, — великих ученых — художников эпохи Возрождения. Это будет, вероятно, правильно, но именно с типологической точки зрения. Но верно ли это в историческом отношении?

В приведенном отрывке Г. А. Гуковский совмещает как будто обе точки зрения: он характеризует Ломоносова и как явление типологическое («последний великий представитель европейской традиции культуры Возрождения в поэзии»), и как историческое («он воспринял традиции Ренессанса через немецкую литературу барокко...»). В результате у читателя нет ясности, как же, в конце концов, понимал покойный ученый Ломоносова — как действительного поэта Возрождения или только как похожего на поэтов Ренессанса. Ведь последняя фраза вносит серьезные ограничения в казалось бы четкую формулировку: «Патетика ломоносовской оды, ее грандиозный размах, ее напряженно-образная, яркая метафорическая манера сближает ее <курсив мой, — П. Б.> именно с искусством Возрождения». А в своих других, более поздних работах (в сборнике «Литературное творчество Ломоносова», вышедшем недавно из печати, опубликована его глава о Ломоносове из «Очерков по истории русской критики XVIII века») Г. А. Гуковский говорит о том, что Ломоносов — поэт, близкий к классицизму.

Выше было уже сказано, что характеристика Ломоносова как поэта Возрождения, сделанная Г. А. Гуковским, стоит одиноко в советском литературоведении: все остальные авторы без колебаний признают его поэтом-классиком — Д. Д. Благой (во всех изданиях своей «Истории русской литературы XVIII века»), Н. К. Гудзий (в статье о Ломоносове в т. 37 первого издания «Большой советской энциклопедии»), К. В. Пигарев (в т. I трехтомной «Истории русской литературы») и многие другие.

Правда, довольно близко подошла к позиции Г. А. Гуковского Д. К. Мотольская в своей статье о Ломоносове, помещенной в т. III десятитомной «Истории русской литературы». Характеризуя философские воззрения великого поэта, исследовательница замечает: «Если искать для Ломоносова аналогии среди представителей западноевропейской культуры, западноевропейского просвещения, то в первую очередь надо указать именно на Лейбница, хотя по характеру своих философских воззрений Ломоносов идет дальше Лейбница, с одной стороны, развивая его идеи, с другой — преодолевая их».¹¹ И сразу же Д. К. Мотольская для подтверждения

¹¹ История русской литературы. Т. III. Литература XVIII века. Часть первая. М.—Л., 1941, стр. 285.

своей мысли о типологической близости русского и немецкого ученых приводит знаменитое высказывание Энгельса о людях эпохи Возрождения, считая, что эта характеристика применима и к Лейбницу, и к Ломоносову.

Впрочем, нигде на протяжении всей своей статьи Д. К. Мотольская прямо не называет Ломоносова поэтом Возрождения, но при всяком удобном случае она отмечает то, что отделяет поэта от классицизма: «Очень мало внимания уделяет Ломоносов, — пишет Д. К. Мотольская, — вопросу о поэтических жанрах, т. е. одному из основных вопросов поэтики классицизма».¹² В другом месте исследовательница говорит о создании Ломоносовым «новых жанров, не узаконенных поэтикой классицизма».¹³ И в дальнейшем изложении Д. К. Мотольская останавливается на новаторском характере торжественных од Ломоносова, на роли пейзажа и изображения космических явлений в его поэзии, то есть очень близко подходит к тому, что говорил Г. А. Гуковский. Однако, в конечном счете, она делает вывод: «Некоторые стороны в творчестве Ломоносова связаны именно с этим новым <лейбнизианским, — П. Б.> миропониманием, но этого нельзя сказать о поэзии Ломоносова в целом, ибо в ней еще сохранились характерные для классицизма черты — абстрактность, рассудочность, статичность».¹⁴

Таким образом, в советском литературоведении довольно единодушно, как было показано, установилось мнение о том, что Ломоносов все же классик. Однако наличие несомненных расхождений — идеологических и стилистических — между Ломоносовым и Сумароковым, постоянные их полемические выпады друг против друга, «восторг» первого и «ум здравый», «чуждающий мечты», второго — ставили перед исследователями вопрос о необходимости примирить эти противоречия, найти им логическое объяснение. Ответ был сформулирован рядом литературоведов (Д. Д. Благим, А. И. Дуденковой и др.) по-разному, но в одном духе: Сумароков — представитель дворянского классицизма, Ломоносов — «общенационального», «демократического» и пр.

Подобное решение сложного вопроса стало возможно в результате преодоления представления о том, что русский классицизм — только классицизм Сумарокова, что все, не подходящее под основные его принципы, не совпадающее с ним, — уже не является классицизмом. Развитие советского литературоведения с конца 40-х годов привело к диалектическому пониманию противоречивости литературного процесса, в том числе литературных направлений и классицизма в частности. Стало понятно, что в пределах одного и

¹² Там же, стр. 315.

¹³ Там же, стр. 317.

¹⁴ Там же, стр. 318.

того же литературного направления могут быть не только несовпадающие, но и резко враждебные, антагонистичные течения, ответвления и проявления.

Казалось бы, вопрос о том, к какому литературному направлению относится Ломоносов, решен и притом вполне убедительно. Однако в зарубежном литературоведении в последние десятилетия сложилось новое мнение, согласно которому Ломоносов оказывается представителем направления барокко.

Насколько можно судить по дошедшим до нас материалам, первым высказал эту точку зрения Д. И. Чижевский, давнишний пропагандист идеи «славянского барокко». В своем «Очерке сравнительных славянских литератур» (1952) в главе о развитии барокко у славян он заметил, что «последними получили барокко великороссы» в середине XVII века. Изложив свои представления о дальнейшей судьбе этого направления в России и перейдя к XVIII веку, Д. И. Чижевский высказал мысль, что петровские реформы на долгое время задержали развитие русской поэзии и что лишь к 40-м годам она возродилась в творчестве Тредиаковского и Ломоносова. «Стиль обоих — уже барокко. Наиболее характерные произведения их были написаны в форме оды».¹⁵ Что понимает Д. И. Чижевский под барокко, в этой работе еще не сформулировано достаточно отчетливо. «Определить сущность стиля барокко, — пишет исследователь, — одна из самых трудных задач истории литературы» (стр. 56). «Может быть, — продолжает Д. И. Чижевский, — еще более трудно отличить временные и характеризующие его содержание (contentual) ограничения этого периода от предшествующей и последующей эпох и от других современных им течений. Мы должны отвергнуть господствующее определение барокко как течения антиреформационного, как католической реакции, и особенно в применении к славянским литературам. Искусство и поэзия барокко имели своих очень крупных представителей, а в некоторых странах самых крупных, среди художников и поэтов, исповедовавших протестантизм, а среди славян они были столь же часто как православные, так и протестанты» (стр. 56—57).

В другой своей книге «История украинской литературы от начала до эпохи реализма» (1956) Д. И. Чижевский посвятил несколько страниц выяснению вопроса о сущности барокко.¹⁶ Как и прежде, отказываясь видеть в барокко искусство католической антиреформации (стр. 248), Д. И. Чижевский, после характеристики других, столь же для него неприемлемых определений данного ли-

¹⁵ Dmitry C i z e v s k y. Survey of Slavic Civilisation. V. I. Outline of Comparative Slavic Literatures. Boston, Mass., 1952, p. 68.

¹⁶ Дмитро Чижевський. Історія української літератури від початків до доби реалізму. Нью-Йорк, 1956, стор. 248—251 (V. Барокко. А. Що таке літературне барокко).

тературного течения, пишет: «Уже ближе к истине взгляд тех, кто видит в барочной культуре „синтез“, сочетание культуры средневековья („готики“) и ренессанса» (стр. 249).

После ряда таких же нечетких суждений Д. И. Чижевский приходит к выводу: «Духовное содержание отдельных исторических эпох характеризует обычно не одно какое-нибудь духовное течение, а несколько направлений, которые группируются вокруг двух полярно противоположных пунктов духовного мира. Так и в эпоху барокко одним из полюсов была природа, другим — бог» (стр. 251). Вполне естественно для Д. И. Чижевского заключение, уничтожающее только что сформулированную «диалектику»: «В идеале оба пути, возможные для человека эпохи барокко, ведут к одной и той же цели: через мир (природу, науку, политику и т. д.) человек приходит всегда к тому же самому — к богу» (стр. 251).

Такое «диалектическое» «в идеале» «снятие противоречий», характерное для Д. И. Чижевского, не объясняет, однако, ни разницы между Тредиаковским и Ломоносовым, которые оба отнесены им, как мы видели, к направлению барокко, ни «отличий» эпохи барокко от любой, для которой то же самое противопоставление («природа — бог») может быть сформулировано с помощью любых синонимов.

По-видимому, чувствуя недостаточную убедительность этих суждений, Д. И. Чижевский в своей следующей, обзорной работе «Славяноведческие исследования по литературе барокко» раздел, посвященный русской поэзии, начинает примечательной фразой: «Трудной проблемой представляется поэзия барокко у великороссов»,¹⁷ а кончает весь свой обзор довольно минорно: «Еще не настало время для синтеза наших познаний о славянской барочной поэзии и придет оно не в слишком близком будущем» (стр. 445).

Тем не менее в той части обзора «великорусского барокко», в которой Д. И. Чижевский говорит о Ломоносове, поэзия последнего характеризуется им, хотя и не вполне отчетливо, но все же как поэзия «барокко» (стр. 440). Несмотря на неопределенность своих рассуждений, Д. И. Чижевский все же бездоказательно утверждает, что Ломоносов был «поэт барокко» (стр. 441), а несколько ниже — уже совсем безапелляционно — заявляет, что «никто больше всерьез не сомневается в том, что Тредиаковский и Ломоносов ни в коем случае „не классики“ («Klassizisten»)» (стр. 441).

Д. И. Чижевский не одинок в своем истолковании Ломоносова как «поэта барокко». На той же точке зрения стоит осведом-

¹⁷ Dmitrij Tschizewskij Die slawistische Barockforschung. «Die Welt der Slaven», 1956, H. 4, S. 435.

леннойший и энергичнейший исследователь славянского и венгерского барокко, доцент Дебреценского университета (Венгрия) д-р Эндре (Андрей Фердинандович) Андьял. В многочисленных статьях и обзорах, посвященных проблеме славянского барокко, д-р Андьял неизменно называет Ломоносова представителем этого литературного направления, нигде, впрочем, не приводя доказательств и обоснований своей точки зрения. Так, в статье «Проблема славянского барокко»,¹⁸ указав, что для исследователей истории литератур восточной Европы (сюда, кроме славянских, включается и венгерская) трудно, а иногда и невозможно отделить барокко и Просвещение, д-р Андьял пишет: «Еще интереснее проблема в случае с Ломоносовым. Справедливо видят в нем одного из духовных вождей русского Просвещения, но правы Чижевский и Траутман, когда они характеризуют его как поэта барокко. Не только его пышные и патетические оды барочны: и в прозе его находим мы обильные черты барокко. Возьмем только его „Древнюю российскую историю“ <...> прочтем льющиеся (rollende) барочные периоды предисловия, равно как и остальные главы, где совсем в духе барочного „культа силы“ говорится о том, что Россия вознеслась „на высочайший степенъ величества, могущества и славы“ <...> и где понятия „древность“, „слава“, „могущество“, „величество“ применяются в отношении России и славянства как „любимые“, так сказать, выражения. С „барочным славизмом“¹⁹ связывают Ломоносова его романтически-фантастические теории о славянском характере древних пафлагонийцев, мидян, венетов, даже амазонок! Барочное составляло предмет его предпочтений и в области риторики. Проблема „риторика и барокко“²⁰ могла бы быть поставлена и в применении к этому выдающемуся риторическому писателю! Почти все, что развивали в романских странах барочные теоретики риторики, всплывает у Ломоносова в двух работах его по риторике <...>. Первая, меньшая по объему работа имеет знаменательное заглавие „Краткое руководство к риторике для любителей сладкоречия“. „Любители сладкой речи“ — какое чисто барочное понятие!» (столб. 73—74).

¹⁸ Doz. Dr. A. Angyal. Das Problem des slawischen Barocks. «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst Moritz Arndt — Universität Greifswald». Gesellsch. u. sprachwiss. Reihe, № 1/2. Jhrg. VI, 1956/57, Sp. 66—77.

¹⁹ Термин, введенный учеником проф. Ф. Вольмана Р. Бртанем в книге под тем же названием (1939) для обозначения литературного движения у славян XVI—XVII веков.

²⁰ 15—18 июня 1954 года в Венеции состоялся Третий международный конгресс по проблемам изучения гуманизма, посвященный вопросам риторики и барокко. Труды этого конгресса под заглавием «Риторика и барокко» вышли в Риме в 1955 г. Этой книге посвящена рецензия д-ра Андьяла в «Deutsche Literaturzeitung» (1957, № 12, столб. 1105—1108).

Итак, признавая Ломоносова «просветителем», д-р Андьял все же считает, что «просветительство» это имеет барочный характер и что, в конце концов, важно не само это просветительство и его роль в истории русской культуры, а то, что оно выражено в барочной форме, которая как бы устраняет и самое содержание. Нам нет необходимости приводить цитаты из других печатных работ А. Ф. Андьяла, в которых так или иначе (правильнее было бы сказать: все так же) характеризуется Ломоносов как представитель барокко. Я позволю себе только отметить, что на мой вопрос, заданный в письме, как определяет он понятие «барокко» вообще и в частности в применении к Ломоносову, д-р Андьял ответил (письмо — на русском языке):

«Дать определение Барокко — это трудная задача. Патетичность, риторический и декоративный характер, смешение стилистических слоев, — может быть, это самые характерные черты. Об этом я хочу Вам еще писать, но думаю, невозможно, что такой культурный народ, как русский, который имеет Барокко в искусстве, не имел бы Барокко в литературе. Мне думается, что такая строфа, как например следующая у Ломоносова, самое чистое и типичное Барокко:

Твое прехвально имя пишет
Неложна слава в вечном льде,
Всегда где холодный север дышет
И только верой тепл к тебе;
И степи в зное отдаленны,
К тебе любовью возженны,
Еще усерднее горят.
К тебе от восточных стран спешат
Уже американски волны
В камчатской порт, веселья полны

(Ломоносов. Стихотворения, стр. 94.

Библиотека поэта, Ленинград, 1954)».²¹

Я позволил себе привести отрывок из частного письма д-ра Андьяла, так как в этой цитате очень ярко отразилось обыкновение и самого автора письма и вообще сторонников «барокко» пользоваться термином, определить содержание которого они отказываются и предпочитают заменять его описанием. Но разве «патетичность, риторичность и декоративность» характерны только для барокко (или того, что д-р Андьял и другие называют барокко)? Разве поэзию Виктора Гюго не обвиняли в «патетичности, риторичности и декоративности», не называя его поэтом барокко, а вполне справедливо считая романтиком? Разве стихи Бальмонта и других русских ранних символистов («декадентов») не укоряли в «патетичности, риторичности и декоративности»?

²¹ Из письма д-ра Андьяла от 27 марта 1958 года.

Не говорили ли того же самого о русских акмеистах, био-космистах, поэтах «Кузницы» и т. д.?

Обращение же к тексту Ломоносова ничего не доказывает! Д-р Андьял видит в цитированном им отрывке «чистое и типичное барокко»,²² Г. А. Гуковский — поэзию Возрождения, а другие исследователи — классицизм. Вот уж действительно, «человек — мера вещей», как говорили античные софисты.

Нам нет сейчас прямой необходимости заняться вопросом о целесообразности применения в литературоведении термина «барокко». Замечу только, что и в буржуазной науке он не только не признан безоговорочно, но, напротив, вызвал веские возражения у очень серьезных исследователей. Так, Э. Р. Курциус, автор ошибочной по своим исходным историко-идеалистическим (тойнбианским) положениям, но превосходной по собранным материалам и отдельным верным наблюдениям и соображениям книги «Европейская литература и латинское средневековье» (Берн, 1948; изд. 2-е, 1954), рассматривая процесс развития искусств и литературы, считал, что «классика» («поднятая до идеальности природа») и «маньеризм» («вырождающиеся формы классики») достаточны для объяснения этого процесса. Попутно Курциус затрагивал вопрос и о барокко. Видя в маньеризме «общий знаменатель всех литературных тенденций, которые противоположны классике, предшествуют ли они ей, следуют ли за ней или с ней сосуществуют», Курциус считал «маньеризм в этом смысле постоянной величиной европейской литературы» и находил, что полярность понятий «классика» и «маньеризм» более удобна в плане исследовательском и лучше объясняет связь явлений, чем другое сочетание: «классика—романтика». «Многое из того, — писал покойный немецкий ученый, — что обозначается нами словом „маньеризм“, относят сегодня на счет „барокко“. С помощью этого слова внесена в науку такая путаница, что лучше было бы исключить его из обращения. Слово „маньеризм“ уже потому предпочтительнее, что по сравнению с „барокко“ в минимальной мере отягощено историческими ассоциациями. Понятия из области наук о духе (Geisteswissenschaftliche Begriffe) должны формироваться так, чтобы они по возможности в наименьшей мере давали почву для злоупотреблений».²³

Не соглашаясь со многими положениями Курциуса, выдвинутыми им в приведенном только что отрывке, и прежде всего с идеалистическим пониманием процесса развития искусств и ли-

²² Считает Ломоносова представителем барочной традиции и проф. Франк Вольманн (F. Wollmann. Slovanství v jazykové literární obrození u Slovanů. Praha, 1958).

²³ Ernst Robert Curtius. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948, S. 275; 2. Aufl., Bern, 1954, S. 277.

тературы, мы не можем вместе с тем отказать покойному ученому в справедливости его критики термина «барокко» и причиненного последним ущерба литературной науке.

Книгу Курциуса мы вспомнили неслучайно, не только для того, чтобы противопоставить западным сторонникам барокко трезвые и убедительные суждения их же коллеги, буржуазного ученого-идеалиста. В этом превосходном с фактической стороны труде, как и в забытом его предшественнике — книге французского компаративиста Поля ван Тийгема «Латинская литература эпохи Возрождения»,²⁴ — мы находим много интереснейших материалов, позволяющих по-новому, — отбросив идеалистические ошибки обоих авторов, — понять литературную позицию Ломоносова.

Книги ван Тийгема и Курциуса посвящены литературе, преимущественно художественной, написанной по-латыни как средневековыми авторами, так и авторами эпохи Возрождения (последнюю ван Тийгем трактует широко — вплоть до XVIII века включительно). Для читателей тех столетий латинский язык был первым и неперменным условием образованности, причем самой элементарной: с него начиналось обучение любого культурного человека. Латинским языком пользовались для научных, литературных, дипломатических и иных целей. Овладеть латынью значило тогда — получить доступ к сокровищнице умственной культуры разных европейских народов. В разных европейских странах в силу разных исторических причин не в одно и то же время произошло усвоение латинской (античной и новой, европейско-латинской) образованности и включение в дальнейшую ее разработку. Позднее других европейских народов восприняли эту латинскую образованность народы славянские — западные: хорваты, чехи, поляки; еще позднее — восточные: украинцы, белорусы и русские. Данные о латинской литературе на Украине, в Белоруссии и России настолько еще не разработаны и даже не собраны, что в обзорах Курциуса и ван Тийгема они отсутствуют вовсе (у последнего есть сведения о чехах и поляках, писавших по-латыни).

Между тем «Латинский период» в нашей образованности (с середины XVII по середину XVIII века) имеет существенное, больше того, важное значение в развитии русской культуры. Начиная с Симеона Полоцкого и его московских учеников во главе с Сильвестром Медведевым, продолжая Стефаном Яворским, Феофаном Прокоповичем и их младшими соратниками, кончая А. Кантемиром, Тредиаковским и Ломоносовым, идет большая

²⁴ Paul van Tieghem. La littérature latine de la Renaissance. Étude d'histoire littéraire européenne. Paris, 1944.



полоса в истории русской литературы, когда писатели, превосходно владевшие латынью, получили доступ к вековым богатствам античной и новой европейской науки и поэзии и сами вносили в нее то больший, то меньший вклад на латинском же языке.

Сейчас — и у нас, и на Западе — средневековая и новолатинская европейская литературы забыты, они изучаются небольшой группой узких специалистов, а у не-специалистов (не только простых читателей, но и у литературоведов, изучающих отдельные национальные литературы) в результате незнания роли этой новолатинской образованности создается совершенно неправильное представление о процессе развития национальных литератур, в том числе и русской.

Если внести поправки, заключающиеся в том, что со второй половины XVII века латинская образованность становится ощутительным фактом и фактором восточно-славянских литератур, то нельзя в целом не признать правильности характеристики, данной новолатинской литературе и ее значению П. ван Тийгемом:

«Литература на латинском языке эпохи Возрождения, — писал он в предисловии к названной выше книге, — одна во всей цивилизованной Европе, несмотря на различия, разделявшие расы, государства, языки и национальные литературы, представляет единственный и едва ли возможный в будущем пример международной европейской литературы, основанной на употреблении одного, общего языка, обязанный добросовестному сотрудничеству писателей самых различных стран, которые (писатели) чувствовали себя солидарными и которых объединяли одинаковые литературные вкусы, идеи и устремления; предназначенной для читателей одной и той же умственной формации и одинаковой культуры; богатой произведениями во всех жанрах, одушевленной заботой о художественных достоинствах и стремящейся к идеалу красоты. Она продолжает в определенном отношении средневековую латинскую литературу, но с различиями и контрастами, которые будут далее указаны и которые сообщают ей хорошо отличимую оригинальность. Она представляет, — и одна только она и способна представлять, — в результате схождения и неисчислимых сочетаний общего литературного идеала с этническими, национальными и культурными различиями зрелище исключительное по разнообразию. По своему богатству, оригинальности, разнообразию она должна пробуждать любопытство у тех, кто к ней приближается, и длительный интерес у тех, кто изучает ее более подробно».²⁵

²⁵ Там же, стр. 7. Необходимо иметь в виду, что книга П. ван Тийгема была написана в 1943 году, в период фашистской оккупации Парижа, и всем своим содержанием и идеями была направлена против фашистской идеологии.

Можно представить себе, какое громадное значение имело для Ломоносова усвоение, а затем и полное овладение латинским языком. Хотя он позднее с горечью вспоминал, как маленькие школяры в Славяно-греко-латинской академии дразнили его, что-де девятнадцати лет болван пришел латыни учиться, но для него было несомненным преимуществом то обстоятельство, что он изучил этот язык в более зрелом возрасте, чем его младшие соученики. Латинский язык дал ему возможность слушать лекции в «Законоспасских школах» в Москве, короткое время в Петербурге в Академическом университете, в Марбурге у Х. Вольфа, а вероятно, и у Генкеля в Фрейберге.

Мы знаем, что в Германии Ломоносов много читал по-немецки и по-французски,²⁶ однако в дошедших до нас списках приобретенных им книг первое место занимают произведения на латинском языке: из пятидесяти девяти книг, перечисленных им в отчете от 15 октября 1738 года в качестве приобретенных, сорок две были на латинском языке, остальные семнадцать на немецком или французском. Правда, среди этих пятидесяти девяти книг было тридцать три учебных пособия, но среди литературных имелись и античные классики: Марциал, Цицерон, Овидий, «Письма» и «Панегирик Траяну» Плиния, трагедии Сенеки, Вергилий, Анакреон и Сафо (во французском переводе с латинскими примечаниями), и новоевропейские латинские писатели: Эразм Роттердамский и др. Не менее существенно то, что он приобретает двухтомный «Латинский лексикон» Фабра, «Сокращенное изложение всей латыни», «Мифологический пантеон» («*Pantheum mythicum*»), словом, все, что могло развить его литературный стиль, помочь ему овладеть еще в большей мере латинским языком.

К сожалению, мы располагаем только одним ранним списком книг, приобретенных Ломоносовым в первые два года его пребывания в Германии. Сведения о его более поздних книжных покупках и книгах, взятых поэтом в Академической библиотеке, очень случайны, и поэтому мы лишены возможности представить себе в полном объеме «круг чтения» Ломоносова в области латинской классической и новой (европейской) литературы. В изданной почти сто лет назад книге А. С. Будиловича «Ломоносов как писатель» (1871) есть приложение, озаглавленное «Круг научных средств Ломоносова, или каталог Ломоносовской библиотеки» (стр. 247—276). Оно представляет собой систематический перечень заглавий книг и названий журналов, упоминаемых в разных

против «новой Европы». Именно поэтому так подчеркивал автор общность европейской культуры в прошлом и отказывался верить в будущую «единую», т. е. фашистскую «Европу».

²⁶ В Марбурге им были приобретены также итальянская грамматика Вернери (на немецком языке), испанско-французский учебник.

произведениях, письмах, деловых бумагах и даже черновых рукописях Ломоносова. Несмотря на то что работа эта страшно устаре-²⁷ ла, она все же дает некоторые полезные дополнения к тому, что было указано выше. Так, к перечисленным античным классикам необходимо прибавить Горация, Тита Ливия, Тацита, Лукреция, Клавдиана, Корнелия Севера, Макробия, Эзопа, Гомера, Биона, Мосха, Геродота, Диодора Сицилийского, Демосфена;²⁸ к новолатинским авторам — Мурета, Оуэна («Эпиграммы»), анакреонтические оды Tyrrhi Creopolitae, «Poemata didascalica», «Bibliotheca poetarum polonorum» и др.

Приведенные материалы, конечно, являются далеко не исчерпывающими свидетельствами о круге литературных интересов Ломоносова. И кроме того, необходимо различать «круг интересов» и реальную литературную позицию любого писателя. Если Ломоносов читал Мурета, «Эпиграммы» Оуэна и других новолатинских авторов, то нельзя забывать, что он читал и Вольтера, и Буало, и Готшеда. Поэтому важно не столько знать, кого и что читал Ломоносов, — было бы даже удивительно, если бы он не читал таких прославленных новолатинских авторов, как Мурет и Оуэн, — сколько установить, взял ли он у них что-нибудь для своей общей литературной позиции.

Можно не сомневаться, что сторонники «барочной» концепции Ломоносова, т. е. исследователи, признающие его последователем барокко, попытаются использовать данные о Мурете, Оуэне, «Poemata didascalica» в интересах своей точки зрения. Однако было бы неправильно в таком случае, возражая им, апеллировать только к именам вождей классицизма, — французского и немецкого, — которых читал или упоминал в своих произведениях Ломоносов. Повторяем, не в именах дело, а в той позиции в вопросах литературы, которую теоретически и практически занимал поэт.

В произведениях Ломоносова есть ряд свидетельств того, что он относился враждебно к основному принципу поэтики барокко — к «маньеризму», к так называемому «кончеттизму».²⁹

²⁷ В настоящее время находится в печати работа покойного Г. М. Коровина «Библиотека Ломоносова», в которой учтена вся неизвестная А. С. Будиловичу литература вопроса.

²⁸ Ломоносов владел древнегреческим языком, но есть все основания предполагать, что он предпочитал знакомиться с произведениями греческих писателей в латинских переводах.

²⁹ Известно, что «кончетти» заключались в соединении остроумных сравнений и неожиданных выводов. Как образец подобных литературных построений обычно приводят стихотворную «Надпись к портрету Рафаэля» Габриэля Кьябреры:

Чтоб прелесть дать своим твореньям,
Он столько жизни в них вместил,
Что уж природа с напряженьем, —
Чтоб с ним сравниться, — ищет сил.
(Перевод мой, — П. Б.).

И самое интересное то, что свое отношение к «маньеризму» Ломоносов выразил как раз в том отделе своей «Риторике» (1748), в котором говорится об «изобретении витиеватых речей». Определяя существо проблемы, Ломоносов писал: «Витиеватые речи (которые могут еще назваться замысловатыми словами или острыми мыслями) суть предложения, в которых подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезвычайным³⁰ образом, и тем самым составляют нечто важное или приятное».³¹

Приведя пример из Сенеки, Ломоносов отмечает далее: «Таковыми предложениями нередко оживляют и возвышают слово славные авторы».³² Перечислив античных писателей («молодший Плиний, Сенека, Овидий, Марциал») и церковных ораторов (Григорий Назианзин и Григорий (Василий?) Селевкийский), пользовавшихся приемом «витиеватых речей», Ломоносов указывает, что «великие начальники красноречия, Гомер, Димосфен и Цицерон, оные <витиеватые речи, — П. Б.> редко употребляют»;³³ он объясняет это обстоятельство характером литературных жанров, в которых писали перечисленные им авторы. И далее следует существеннейшее место: «Правда и то, что в самые древнейшие времена за острыми мыслями автора, как видно, не так гонялись <курсив здесь и ниже мой, — П. Б.>, как в последовавшие потом и в нынешние веки, ибо ныне не имеющее острых мыслей слово уже не так приятно *кажется*, как бы оно впрочем велико и сильно ни было. И для того, последуя вкусу нынешнего времени, предлагаем здесь несколько правил о изобретении витиеватых речей, о чем древние учителя красноречия мало упоминают».³⁴

Мы прервем на время цитату, чтобы вновь обратить внимание на оговорки, которые делает Ломоносов в данном параграфе «Риторике». Он, как видно из приведенного отрывка, стоит на стороне тех древних авторов, которые обходились без витиеватых речей, так как само содержание их произведений — «мысли» — были достаточно глубоки и важны. По ходу изложения видно, что Ломоносов считает изобретение витиеватых речей признаком упадка искусства красноречия. (Напомним, что под красноречием, в отличие от нашего словоупотребления, он понимал всякую

³⁰ В рукописной «Риторике» 1747 года, вместо «необыкновенным» — «нечаянным» и вместо «чрезвычайным» — «и кратко сказать удивительным».

³¹ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 204. (В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Ломоносов, т. и стр.).

³² Там же.

³³ Там же.

³⁴ Там же, стр. 205.

художественную, не только ораторскую, речь). И лишь в виде уступки «вкусу нынешнего времени»³⁵ он решается привести «несколько правил о изобретении витиеватых речей».

Однако самое интересное, на наш взгляд, заключается в дальнейшей части недоцитированного нами до конца параграфа. Здесь Ломоносов предупреждает своих читателей о необходимости соблюдения чувства меры при «изобретении витиеватых речей», т. е. предлагает избегать того, что, в конечном счете, составляет существо, душу барокко как искусства маньеризма. «Но сие <«правила о изобретении витиеватых речей», — П. Б.> показываем, — пишет Ломоносов, — не с таким намерением, чтобы учащиеся меры не знали и последовали бы нынешним италянским авторам, которые, сиясь писать всегда витиевато и не пропустить ни единой строки без острой мысли, нередко завираются».³⁶

Затем следует пятнадцать параграфов, в которых излагаются правила о изобретении витиеватых речей, после чего Ломоносов вновь возвращается к предупреждениям читателей против злоупотребления этим приемом. Характерно, что здесь он еще более ироничен, чем в прежде цитированном § 130. «Сии правила, о изобретении витиеватых речей, — говорится в § 146, — предложены вовсе не в таком мнении, что они довольны во всем к сложению оных, но только для того, чтобы охотники до замысловатых предложений, к ним применившись, могли сами собою как в изыскании их самих, так и в сложении подобных правил далее простиаться и употреблять в свою пользу». «Ни в чем, — подчеркивает Ломоносов, — красноречие не утверждается на примерах и на чтении и на подражании славных авторов, как в витиеватом роде слова, и нигде больше не служат остроумие и поворотливость разума, как в сем случае, ибо не токмо сие требуется, чтобы замыслы были нечаянны и приятны, но сверх того весьма остерегаться должно, чтобы, за ними излишне гоняючись, не завратясь, которой погрешности часто себя подвергают нынешние писатели, для того что они меньше стараются о важных и зрелых предложениях, о увеличении слова чрез распространения или о движении сильных страстей, нежели о витийстве».³⁷

При кажущемся полном сходстве только что цитированного § 146 с § 130 на самом деле между ними есть существенное различие: в § 130 Ломоносов предлагал остерегаться «нынешних италянских авторов», в § 146 — он распространяет свои предупреждения на «нынешних писателей» вообще, т. е., иными словами, он

³⁵ Если не ошибаюсь, здесь впервые в истории русской литературы приведено было слово «вкус» в специфически эстетическом значении, задолго до журнальной полемики о понятии «вкус».

³⁶ Ломоносов, т. 7, стр. 205—206

³⁷ Там же, стр. 218—219.

возражает не против одного лишь итальянского барокко, но против любых проявлений заботы о форме в ущерб содержанию. В текстологических примечаниях к этому месту данного параграфа в академическом «Полном собрании сочинений» Ломоносова указано, что в рукописной «Риторике» 1747 года было «нынешние италиянские писатели», а в печатном издании 1748 года слово «италиянские» опущено: совершенно очевидно, что Ломоносов был противником не одного только итальянского барочного красноречия.

Насколько тревожила Ломоносова забота об идейной стороне литературных произведений, можно видеть из того, что к вопросу о соотношении формы и содержания он вновь возвращается в § 180 «Риторики»: он предупреждает, что не следует соблюдать во что бы то ни стало им же предложенные правила благозвучия и плавности речи — «больше должно наблюдать явственное и живое изображение идей, нежели течение слов».³⁸ В другом месте Ломоносов рекомендует «стараться, чтоб из соединения оных <«простых идей», — П. Б.> происходили натуральные и с разумом согласные мысли, а не принужденные или ложные и вздорные» (§ 46).³⁹ В этом же параграфе мы находим совет следовать «здравому рассуждению, которое одно только в сем случае действительно». В одном из ближайших параграфов Ломоносов говорит о «распространении риторическом» и опять-таки предупреждает о необходимости сохранения логичности речи: «И посему риторические распространения не должны быть пустые собрания речений, мало или ничего к вещи принадлежащих, которые больше разум отягощают и отнимают краткого слова ясность» (§ 48).⁴⁰

Поражает та настойчивость, с которой Ломоносов, с одной стороны, подробно и систематично анализирует конкретный литературный материал, обязательно делает четкие и ясные выводы и предлагает краткие и убедительные правила, а с другой, тут же разрушает сказанное оговорками вроде: «...а особливо что сих правил строго держаться не должно, но лучше последовать самим идеям и стараться оные изображать ясно» (§ 173) или «...речений не перемешивать ненатуральным порядком и тем не отнять ясность слова... не должно выкидывать речений и тем так же умять его ясность» (§ 175).⁴¹

Мысль о необходимости для писателя соблюдать ясность Ломоносов формулировал и во многих других своих произведениях и подготовительных записях к своим будущим работам. В этом отно-

³⁸ Там же, стр. 245.

³⁹ Там же, стр. 126.

⁴⁰ Там же, стр. 127.

⁴¹ Там же, стр. 242—243.

шении особенно заслуживает нашего внимания следующая «нота» (так называл Ломоносов свои заметки): «*Qui obscure scribunt ignorantiam suam vel produnt inscii, vel tegunt consulto male. Confuse de iis scribunt quae confuse sibi imaginant*» («Те, кто пишут темно, либо невольно выдают этим свое невежество, либо намеренно, но худо скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют»).⁴²

Вполне естественно, что ясный, трезвый ум Ломоносова был враждебен и другому существенному принципу барочной идеологии — мистике. В его произведениях сторонники «барочной концепции Ломоносова», при всем желании, не смогут найти ни одного примера, ни одной фразы, которые позволяли бы сделать вывод, будто у него был интерес или склонность к подобному миропониманию. Для Ломоносова характерны факты как раз противоположного содержания. Так, в одной из своих «нот» он замечает: «*Quod scriptores illos mysticos spectat, qui scientiam suam tergiversantur communicare, illi cum minore existimationis suae damno minori-que lectorum suorum molestia eam doctrinam celarent, nullos scribendo libros, quam scribendo malos*» («Что касается тех мистических писателей, которые уклоняются от сообщения своих знаний, то они с меньшим уроном для своего доброго имени и с меньшей тягостью для своих читателей могли бы скрыть это учение, если бы вообще писали книг, вместо того, чтобы писать плохие»).⁴³ В другой группе заметок Ломоносова находим подобный же выпад против ученых, допускающих в своих научных построениях мистические толкования: «*Majestati naturae obscura fictionum somnia minime consentanea sunt*» («С величественностью природы нисколько не согласуются смутные грезы вымыслов»).⁴⁴

При подобном отношении Ломоносова к «мистическим писателям» и «*obscura fictionum somnia*» вполне закономерно, что и к «суеверию» он питал глубокую неприязнь, видя в последнем начало, враждебное науке, человеческому гению, человеческому разуму. Однако необходимо иметь в виду, что слово «суеверие» у Ломоносова являлось синонимом слова «религия», как языческой так и всякой другой. В своих рукописных «Риториках» (1744, 1747) он трижды упоминал «пример Лукреция о суеверии»;⁴⁵ в латинском тексте слову «суеверие» соответствует слово

⁴² Там же, т. 1, стр. 144. Перевод там же, стр. 145.

⁴³ Там же, стр. 144—145. В переводе, данном в «Полном собрании сочинений», слова «*suam scientiam*» переданы «своих знаний»; в таком случае иронический смысл фразы ослабляется. Точнее, по-моему, будет: «своей науки»; тогда насмешливый тон второй части фразы станет еще более заметным.

⁴⁴ Там же, т. 3, стр. 492—493.

⁴⁵ Там же, т. 7, стр. 219 (текст Лукреция со стихотворным переводом Ф. А. Пиотровского), стр. 63 (прозаический перевод Ломоносова) и стр. 228 (приписка Ломоносова о необходимости приведения примера из Лукреция).

«religio». Иногда он заменял слово «суеверы» близким по смыслу и звучанию словом «лицемеры» и историческим синонимом «Клеанты»:

Боясь падения неправой оной веры,
Вели всегдашню брань с наукой лицемеры...
Клеантов не боясь, мы пишем все согласно,
Что истине они противятся напрасно.⁴⁶

Могут сказать, что в «Древней российской истории» в главе 8 «О рассмотрении вер и о крещении Владимирове»⁴⁷ Ломоносов говорит о чудесах, таинствах религии, воскрешении мертвых и т. д. Но в труде, написанном по предложению богомольной Елизаветы и подлежавшем духовной цензуре, он не мог излагать материал иначе, чем это было принято, т. е. не в соответствии с традицией. Это было неизбежной уступкой деиста-философа русским политическим порядкам.

Таким образом, Ломоносов по основным пунктам своего мировоззрения расходился с последователями барокко, маньеристами, мистиками, религиозными писателями.

Для него, как мы видели, существенны совсем другие принципы мировоззрения и литературно-эстетические позиции. Наиболее отчетливо последние были сформулированы Ломоносовым во вступлении к «Риторике» (1748). Он утверждает, что «к приобретению искусства красноречия требуются пять следующих средств: первое — природные дарования, второе — наука, третье — подражание авторов, четвертое — упражнение в сочинении, пятое — знание других наук» (§ 2).⁴⁸ Поясняя второе «средствие», Ломоносов писал: «Наука состоит в познании нужных правил, которые показывают подлинный путь к красноречию» (§ 4).⁴⁹ И, верный себе, он сразу же в следующем параграфе внес существенное уточнение: «Изучению правил следует подражание авторов, в красноречии славных, которое учащимся едва не больше нужно, нежели самые лучшие правила» (§ 5).⁵⁰ И именно на «подражании» Ломоносов особенно настаивал: «Красноречие коль много превышает прочие искусства, толь больше требует и подражания знатных авторов» (§ 5). «Подражание требует, — продолжал он, — чтобы часто упражняться в сочинении разных слов. От беспрестанного упражнения возросло красноречие древних великих авторов» (§ 6).⁵¹

⁴⁶ «Письмо о пользе стекла», стихи 257—258 и 281—282 (там же, т. 8, стр. 517).

⁴⁷ Там же, т. 6, стр. 258—267.

⁴⁸ Там же, т. 7, стр. 92.

⁴⁹ Там же, стр. 93.

⁵⁰ Там же, стр. 94.

⁵¹ Там же.

Начиная писать незаконченную затем статью «О нынешнем состоянии словесных наук в России», Ломоносов, по своему обыкновению, набросал программу ее в верхней части страницы. Здесь встречаются те же самые термины, с тою только разницей, что «средствия» названы «способами», «природные дарования» — «натурой», «наука» — «правилами», «подражание авторов» — «примерами»; одно лишь «упражнение» сохранилось без изменения.⁵² Та же самая последовательность мысли положена в основу статьи Ломоносова, анонимно напечатанной им под названием «О качествах стихотворца рассуждение».⁵³ В этом произведении проводится идея о том, что подлинному поэту необходимо «иметь дарование», знать «правила», читать «в оригинале авторов», подражать и упражняться, обогащать свои знания разными науками.

Таким образом, перед нами постоянное, строгое следование определенному эстетическому принципу, который, как известно, есть основной принцип классицизма. Можно было подходить к классицизму с позиций философии рационализма, можно было подходить к нему и с позиций сенсуализма, но «принцип авторитета», требование соблюдать «правила», следовать «правилам», упражняться в подражании авторам, и в первую очередь — древним, — это и составляло то общее, что объединяло различные групповые и индивидуальные трактовки классицизма.

Выше было приведено мнение Д. К. Мотольской о том, что вопросы жанров, столь существенные для классицизма, не интересовали Ломоносова, и это рассматривалось исследовательницей как довод в пользу его лейбнизианства. Я не считаю «проблему жанров» столь же важной для классицизма, как вопрос о «правилах» (она — частный случай «правил»); однако с мнением Д. К. Мотольской никак согласиться не могу: достаточно вспомнить сказанное Ломоносовым о иерархии жанров в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке», чтобы убедиться в том, что в этом пункте он не расходился с Сумароковым и классиками сумароковского направления.

В чем же было основное несогласие между Ломоносовым и Сумароковым? Было ли это борьбой двух разных литературных течений, враждебных друг другу, или только борьбой двух направлений в одном общем литературном течении? Так ли уже свободен был сам Сумароков от того, в чем обвинял он своего поэтического противника?

Главное несогласие между Ломоносовым и Сумароковым заключалось, как известно, в трактовке вопроса о «парении», т. е.

⁵² Там же, стр. 581.

⁵³ «Ежемесячные сочинения», 1755, май, стр. 371—398.

о роли поэтической фантазии, о применении в поэзии, особенно в оде, «надутости»; под последней Сумароков понимал употребление гиперболических образов, ярких метафор, картин титанической борьбы, — словом, все то, что он так язвительно высмеял в своих «Одах вздорных», обычно считающихся пародиями на оды Ломоносова и В. П. Петрова. Однако уже давно отмечено советскими литературоведами, что с таким же правом могут «Оды вздорные» рассматриваться и как автопародии Сумарокова. Мне пришлось уже говорить об этом во вступительной статье к «Избранным произведениям» Сумарокова (Библиотека поэта, Большая серия. 1957), а в комментарии к соответствующим одам мною были приведены опущенные поэтом при переработке текста своих произведений «ломоносовские» строфы. Еще более подробно говорится об этом в печатаемой в настоящем выпуске «XVIII века» статье Т. А. Быковой «К истории текста „Од торжественных“ А. П. Сумарокова».

В связи с вопросом о роли «надутости» в спорах между Сумароковым и Ломоносовым приобретают особое значение возражения, которые выдвигал последний по поводу делавшихся ему упреков. Следуя обычному для классиков приему, Ломоносов первым делом апеллировал к авторитету античных писателей. В письме к И. И. Шувалову от 16 октября 1753 года, являвшемся ответом на нападки учеников Сумарокова, Ломоносов писал: «Они стихи мои осуждают и находят в них надутые изображения, для того что они самых великих древних и новых стихотворцев высокопарные мысли, похвальные во все веки и от всех народов почитаемые, унижить хотят».⁵⁴ Далее «для доказательства» Ломоносов предлагает «примеры, которыми, — пишет он, — основательное оправдание моего им <«великим древним и новым стихотворцам», — П. Б.> возможного подражания показано быть может».⁵⁵ Затем приводятся стихотворные цитаты «из Гомеровой „Илиады“, № 17», «из Виргилиевой „Енеиды“, кн. 3», «из „Превращений“ Овидия, кн. 1 и 15»; кроме того, делается ссылка на § 158 «Риторики», в которой содержится переведенный Ломоносовым отрывок «из Камуенса». Вслед за этими цитатами и ссылками Ломоносов пишет: «Сим подобных высоких мыслей наполнены все великие стихотворцы, так что из них можно собрать не одну великую книгу». «Того ради, — прибавляет Ломоносов, — я весьма тому рад, что имею общую часть с толь великими людьми, и за великую честь почитаю с ним быть опорочен неправо; напротив того, за великое несчастье, ежели злил меня похвалит».⁵⁶

⁵⁴ Ломоносов, т. 10, стр. 491.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Там же, стр. 492.

Очень показательно, что цитаты Ломоносов приводит из произведений непрекаемых для его эпохи авторитетов — Гомера, Вергилия, Овидия, а не из «новых» стихотворцев. Единственный не-античный поэт, на которого в данном случае ссылается он, — Камоэнс, или, как пишет Ломоносов, Камуенс,⁵⁷ но и то лишь потому, что видит у португальского поэта подражание античным «великим стихотворцам»: «Как сему <Вергилию, — П. Б.> Камуенс подражает, можно видеть в моей „Риторике“, § 158».⁵⁸

Таким образом, источник того, что Д. И. Чижевский, А. Ф. Андьял, проф. Ф. Вольман и другие считают результатом усвоения поэтики барокко, сам Ломоносов указывает в античной литературе.

В том же письме к И. И. Шувалову Ломоносов мимоходом затрагивает одну проблему, которая, по моему мнению, является ключом к пониманию расхождений между Сумароковым и его школой, с одной стороны, и их великим противником, с другой. «Я весьма не удивляюсь, — пишет Ломоносов об И. П. Елагине, — что он в моих одах ни Пиндара, ни Малгерба не находит, для того что он их не знает и говорить с ними не умеет, не разумея ни гречески, ни по-латыни».⁵⁹

Для Ломоносова, превосходно владевшего латинским и хорошо греческим, свободно пользовавшегося немецким, французским, итальянским и английским языками, все эти дворянские молодые люди, незнакомые с античной культурой в оригинале, — в лучшем случае, с грехом пополам знавшие французский или немецкий языки, были людьми «мелкого знания и скудного таланта».⁶⁰ Он, как мы видели, обвиняет Елагина в том, что тот из-за незнания греческого и французского языков ни Пиндара, ни Малерба не знает «и говорить с ними не умеет». Это — замечательная фраза! Обращение Ломоносова к античным писателям было для него не простым чтением, а именно *разговором* с ними. Что это не было случайной обмолвкой, видно из названия одного цикла стихов Ломоносова — «Разговор с Анакреоном», произведения, замечательного тем, что здесь русский поэт не подражал, а полемизировал с прославленным певцом любви и вина, преодолевал анакреонтическую поэтику, его индивидуалистическую, гедонистическую философию во имя высокого общественно-политического, патриотического

⁵⁷ Кстати сказать, это фонетическое написание может служить доводом в пользу того, что Ломоносов знал в какой-то мере португальский язык.

⁵⁸ Ломоносов, т. 10, стр. 491. В § 158 «Риторики» приведен тот же отрывок из Вергилия (в ранней редакции), и затем сказано: «Сему подражая, Камуенс представляет мыс Добрыя Надежды под видом страшного исполина» (там же, т. 7, стр. 228).

⁵⁹ Там же, т. 10, стр. 492.

⁶⁰ Там же, стр. 493.

идеала, исходящего из общенародных, демократических воззрений писателя.

Эта разница в культурной основе, в языковом, а по существу разном эстетическом подходе к общему для них как классиков античному наследию и привела Сумарокова, Елагина и других его учеников к борьбе с Ломоносовым.

Один и тот же эстетический кодекс — кодекс классицизма — они воспринимали и толковали по-разному, по-своему: одни, говоря словами Ломоносова, «по бедности» своего «мелкого знания и скудного таланта», другие — и в первую очередь, конечно, сам Ломоносов, — с позиций людей, выросших на почве латинской образованности, широко раскрывшей перед ними сокровищницу античной поэзии, новолатинской литературы и современной, — опять-таки латинской, — науки.

Но этим не исчерпываются противоречия между классицизмом Ломоносова и классицизмом Сумарокова. И тот и другой были продуктом русской действительности, были так или иначе связаны с русской литературной традицией. Однако традиция эта тоже была не единая: и Тредиаковский, и Ломоносов неоднократно и с полным основанием упрекали Сумарокова в незнании «книг церковных». За этой будто бы религиозной формулой стояло на самом деле нечто более значительное — знание старорусской письменности, усвоение древнерусского литературного языка, его богатств в области абстрактных понятий, его многообразных и разнообразных стилистических возможностей.

И как ни отшучивался Сумароков в своих пародиях на Тредиаковского, прав был все-таки последний. И Ломоносов упрекал Сумарокова в отсутствии стилистического чутья, в неправильном смешении славянских стилистических элементов с русскими, в «неуместной славенчизне».⁶¹ Для Сумарокова старая русская литература не существовала, по крайней мере, до второй половины 60-х годов XVIII века, когда, сначала в свои приезды в Москву, а затем после окончательного переселения туда, он, благодаря директору государственного архива Г.-Ф. Миллеру, получил возможность знакомиться с русскими историческими документами, и то не ранее XVII века. Именно в результате этого знакомства и появились его труды по истории России, написанные им в последние десятилетия его жизни.

Для Ломоносова же старая русская литература была хорошо

⁶¹ В программе упомянутой выше незаконченной статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» Ломоносов писал: «Не у места славенчизна. Дщерь» (там же, т. 7, стр. 581). Как разъяснил Г. А. Гуковский, опираясь на другие части той же программы, речь идет о начале трагедии Сумарокова «Синав и Трувор». Работа Г. А. Гуковского опубликована в сб. «Литературное творчество Ломоносова» (М — Л., 1962, стр. 69—100).

знакомой областью: в своих филологических работах он постоянно ссылался на такие источники, как славянские переводы с греческого и другие литературные памятники. Так, в «Риторике» (1748) Ломоносов писал: «Для подражания в витиеватом роде слова тем, которые других языков не разумеют, довольно можно сыскать примеров в славенских церковных книгах, и в писаниях отеческих, с греческого языка переведенных, а особливо в прекрасных стихах и канонах преподобного Иоанна Дамаскина и святого Андрея Критского, также и в словах святого Григория Назианзина, в тех местах, где перевод с греческого не темен» (§ 147).⁶²

В «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» Ломоносов особенно подробно останавливается на значении славянской письменности для развития русского литературного языка, называемого им «российским».⁶³ Здесь Ломоносов уже строго различает «славенский» и «российский» языки; в наброске же статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» он рассматривает всю предшествовавшую XVIII веку славянскую и русскую письменность как одно целое: «Красота, великолепие, сила и богатство российского языка явствует довольно из книг, в прошлые веки писанных, когда еще не токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть или могут быть».⁶⁴ Не мог Ломоносов, конечно, не коснуться этого вопроса и в своем «О качествах стихотворца рассуждение»; обращаясь к человеку, претендующему на звание стихотворца, он советует последнему: «Вместо того что не различаешь еще в грамматике осьми частей слова, и что ее знание, которое ты педанством называешь, и церковных славенских книг чтение весьма потребны к доброму слогу и правописанию; будь не только знаток, но и критик и учитель в том языке, на котором пишешь».⁶⁵

Заслуживают внимания и относящиеся сюда заметки его в так называемых «Материалах для российской грамматики». Здесь Ломоносов перечисляет, по-видимому, в качестве источников для извлечения примеров книги библейские («Песнь песней», «Соломоновы притчи и премудрости» и т. д.) и церковно-богослужебные («Октоихи», «Триоди»)⁶⁶. Можно полагать, что находящаяся там же запись «О старинных штилях из разных архивов»⁶⁷ имела такой смысл.

⁶² Ломоносов, т. 7, стр. 219

⁶³ Там же, стр. 587—592.

⁶⁴ Там же, стр. 582.

⁶⁵ «Ежемесячные сочинения», 1755, май, стр. 415; см.: П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. М.—Л., 1936, стр. 183.

⁶⁶ Ломоносов, т. 7, стр. 620.

⁶⁷ Там же, стр. 608.

На связь поэзии Ломоносова с древнерусской литературной традицией давно уже было обращено внимание исследователей. Еще Белинский говорил о том, что «так называемая поэзия Ломоносова выросла из варварских схоластических риторик духовных училищ XVII века».⁶⁸ Повторил это и акад. А. И. Соболевский в статье «Когда начался у нас ложноклассицизм?»,⁶⁹ подробно обосновала этот тезис О. Пожотилова,⁷⁰ присоединились к нему П. Н. Сакулин⁷¹ и Г. А. Гуковский⁷² и др.

Итак, не остается никаких сомнений, что литературная подготовка Ломоносова и Тредиаковского, выросших, с одной стороны, на традициях прекрасно усвоенных материалов древнерусской письменности, а с другой, на традициях античной и новолатинской образованности,⁷³ решительно превосходила дилетантскую, в конечном счете, подготовку Сумарокова и его учеников. И перед теми, и перед другими стояла почти в одно и то же время (перед Тредиаковским со второй половины 1720-х годов; перед Ломоносовым и Сумароковым — со второй половины 1730-х) одна и та же задача: усвоить новейшие литературные течения Запада, точнее — Франции и Германии. Но решали они ее по-разному в силу тех причин, о которых говорилось выше: традиции и подготовка были у них разные. Конечно, были у них и некоторые общие элементы, и это делало возможным их, — порою дружную, чаще же враждебную, — совместную деятельность. Но деятельность эта была в целом направлена по одному пути: они усваивали то, что нужно было русской литературе на тогдашнем этапе ее развития, усваивали то, что впоследствии стало называться классицизмом, хотя сами, конечно, этого не подозревали.

Общественно-политические расхождения между ними определились позднее, в начале 1750-х годов, и они-то и явились основной причиной литературной борьбы между Ломоносовым и Сумароковым с его школой. Различие в литературной подготовке было по существу различием классовой позиции и классовой идеологии — различием демократической мысли и мысли дворянской.

Однако, как ни отличалась литературно-общественная позиция

⁶⁸ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, М., 1954, стр. 524.

⁶⁹ В журнале «Библиограф», 1890, № 1, стр. 1—6.

⁷⁰ О. Пожотилова, Предшественники Ломоносова в русской поэзии XVII и начала XVIII столетий. В кн.: Ломоносов. Сборник статей под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911, стр. 92.

⁷¹ П. Н. Сакулин, История новой русской литературы. Эпоха классицизма, стр. 74, 106—111.

⁷² Г. А. Гуковский, Русская литература XVIII века, стр. 108.

⁷³ Конечно, античную образованность Ломоносов понимал как человек XVIII века. К этому вопросу я предполагаю вернуться в другой работе.

Ломоносова от позиции Сумарокова, все же оба автора могли действовать и действовали в пределах того литературного течения, которое господствовало тогда в европейских литературах, в пределах классицизма. Разные подходы, разные исходные общественно-политические, классовые позиции могли только повлиять на внешнее проявление усвоенного классицизма, но отменить самого процесса вхождения русской литературы в общеевропейское литературное развитие они не могли.

И. З. СЕРМАН

ПОЭЗИЯ ЛОМОНОСОВА В 1740-е ГОДЫ

Поэзия Ломоносова в последнее время становится предметом серьезных литературоведческих споров.

Вновь спорят о мировоззрении Ломоносова и отношении его к просветительству. Оживленно дебатруется вопрос о месте Ломоносова среди литературных направлений его времени. Подвергается сомнению распространенное представление о Ломоносове как об одном из создателей русского классицизма. Снова воскрешается взгляд на Ломоносова как на представителя стиля барокко в русской поэзии. Разумеется, никакая наука невозможна без ломки каких-то устоявшихся представлений и привычных взглядов. И дело, конечно, не в игре терминами — просветительство, классицизм, барокко, — а в необходимости углубить и уточнить наши представления о самом существе той проблемы, которую представляет собой поэзия Ломоносова.

Даже поверхностный взгляд обнаруживает в поэтическом творчестве Ломоносова противоречивое сплетение различных идейных и стилистических тенденций, не сводимых к какому-либо единому единству. Только конкретное историко-литературное исследование поэзии Ломоносова во всей его реально-исторической сложности может в итоге дать материал для ответа на те нерешенные вопросы, перед которыми стоит сегодня история русской литературы XVIII века. Наиболее правильный путь историко-литературного исследования — изучение писателя и его творчества в движении, в развитии, в исканиях и раздумьях.

В настоящей работе поэтическое творчество Ломоносова 1740-х годов рассматривается в сопоставлении с основными явлениями идейной жизни и идеологической борьбы в русском обществе и литературе. Такое сопоставление поэзии Ломоносова с общим ходом развития национального самосознания и даст возможность подойти к конкретному разрешению тех споров, которые ведутся и долго еще будут вестись вокруг наследия «нашего первого лирика» (Пушкин). Тщательное же и последовательное изучение развития и формирования ломоносовского поэтического стиля позволит

прийти к правильному, исторически обоснованному пониманию сущности и значения литературной революции, совершенной Ломоносовым в русской поэзии 1740-х годов. Кроме того, более ясное представление об основных идеологических и эстетических принципах ломоносовского поэтического стиля в их развитии поможет объяснить и посмертную судьбу ломоносовского поэтического наследия, лучше и глубже понять ту ожесточенную литературно-общественную борьбу, которая развернулась вокруг поэзии Ломоносова уже в 1750-е годы и продолжалась еще при Полевом и Белинском, в 1830-х годах.

1

Поэтическое наследие Ломоносова обычно рассматривается как нечто возникшее сразу, без каких бы то ни было изменений и колебаний. Молчаливо предполагается, что Ломоносов уже в 1739 году в оде «На взятие Хотина» явился совершенно сложившимся поэтом и в дальнейшем никак не менялся, а только применял раз и навсегда найденные им принципы поэтического стиля в различных стихотворных жанрах. С наибольшей убежденностью эту точку зрения высказал Белинский, и с тех пор она прочно вошла в наше сознание и приобрела аксиоматическое значение. Белинский не был оригинален в такой оценке оды «На взятие Хотина». Радищев в «Слове о Ломоносове» писал о ней: «Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышущие, изумили читающих сие новое произведение».¹ Ее цитировал с одобрением Державин в «Рассуждении о лирической поэзии».²

Комментаторы последнего академического издания Ломоносова пишут: «В XIX в. не раз высказывалось мнение, что ода „Первые трофеи“ „гораздо ниже“ или „значительно ниже“ оды на взятие Хотина, и даже просто „плоха“... Этот приговор потребует пересмотра. Молодой поэт, не имея предшественников и не страшась неудач, искал со всей присущей ему страстностью новых стилистических форм „высокого рода“, наиболее отвечавших тому гражданскому пафосу, которым определилось с первых же шагов все направление его поэзии: отсюда сознательная усложненность синтаксиса, сознательное же нарушение обычной последовательности в расстановке слов, гиперболичность образов, нагромождение риторических вопросов, повторений и т. п.».³ Прежде чем соглашаться или спорить с распространенным в «XIX веке» мнением, следо-

¹ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. I, М.—Л., 1938, стр. 385.

² Г. Р. Державин, Сочинения, т. VII, СПб., 1872, стр. 539—540.

³ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 8, Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 884. (В дальнейшем ссылки на это собрание сочинений даются сокращенно: Ломоносов, т., стр.).

вало бы обратить внимание на то, что оно в значительной степени является плодом недоразумения. Критики сравнивали «Первые трофеи» в редакции 1741 года с одой на взятие Хотина в редакции 1751 года, созданной уже зрелым поэтом, сложившимся мастером. Разумеется, сравнение оказывалось не в пользу «Первых трофеев», а следовательно, искажалась историческая и историко-литературная перспектива.

Мы привыкли в изучении поэзии Ломоносова следовать общепринятой хронологии его творчества. Однако это хронологическое изучение осуществлялось формально. Значительная часть одического наследия Ломоносова печатается, закономерно, в той редакции, в какой оно появилось в «Собрании разных сочинений» 1751 года, в то время как строфы и строки ряда од, приведенные в обеих редакциях «Риторики» (1744 и 1747 годы), имеют совсем иной вид, чем в издании 1751 года. Первые редакции од, написанных в начале 1740-х годов, нам известны только частично, а в иных случаях и совсем неизвестны. Поэтому при установлении подлинной картины хода поэтического развития Ломоносова необходимо осторожно и тщательно отделить написанное им в 1741—1744 годы от более поздних переработок или доработок. Оды «На взятие Хотина» (1739), «На прибытие Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург» (1742), «На день тезоименитства Петра Федоровича» (1743) — впервые напечатаны только в 1751 году и потому практически могут рассматриваться под годом их первоначального создания с очень большой осторожностью.

Как показывает сопоставление первых од Ломоносова с их позднейшими авторскими переработками, художественное совершенство и поэтический блеск, в них достигнутые, были результатом упорной многолетней работы автора над уточнением лексики и усовершенствованием поэтического синтаксиса — работы, продолжавшейся целое десятилетие и в законченном виде представленной только в первом собрании сочинений Ломоносова 1751 года. Здесь ранние оды (конца 1730—начала 1740 годов) приобрели то поэтическое звучание, которое знакомо поколениям читателей. Поэтому Белинский был несомненно прав, когда восхищался поэтическим совершенством оды 1739 года, хотя знал он ее в тщательно переработанной редакции 1751 года.

Белинский считал оду «На взятие Хотина» началом новой русской литературы. Так он писал в 1840 году, этому мнению он остался верен неизменно. «Да в прошлом году минуло ровно сто лет со дня рождения русской литературы — с того времени, как раздалась первая торжественная песнь Ломоносова: „Ода на взятие Хотина“, написанная в 1739 году, — с того времени, как в первый раз услышана правильная, чистая русская речь в литературном

произведении и положено начало дальнейшему развитию русского языка, русской науки, русского искусства».⁴

«Ода блаженные памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» впервые была напечатана полностью в 1751 году, отрывки ее до этого помещены в «Риторике» 1747 года. В «Риторике» 1744 года строфы и строки оды 1739 года имеют совершенно иной вид, чем в издании 1751 года:⁵

За Тигр своих, Стамбул, заграбь,
Что камни со берегов смывает.
Претить не могут огонь, вода,
Орлица как парит туда.

(Рит., 1744).

За Тигр, Стамбул, своих заграбь,
Что камни с берегов здирает;
Но чтоб *орлов* здержать полет,
Таких препон на свете нет.

(Соч., 1751).

Каковы причины и каков характер этой переработки? Замена, сделанная в двух последних строках вышеприведенного четверостишия, по-видимому, позволяет судить о характере переработки в целом. Ломоносов заменяет *Орлицу* (т. е. Анну Иоанновну) — *орлами*, иначе русскими воинами, русскими солдатами, натиску которых он, в поэтическом одушевлении, не видит никаких «препон». О том, что Ломоносов перерабатывал эту оду таким именно образом, свидетельствует и сравнительная редкость в ней упоминаний Анны или обращений к ней. Об Анне в той или иной форме говорится в 8 строфах из 28, в то время как в «Оде на прибытие Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург» (1742) Елизавета упоминается в 22 строфах из 44. Сделано это, по-видимому, совершенно сознательно, так как композиция оды обычно строго рассчитывалась и каждое упоминание того или иного имени в ней не могло быть делом случая.

Значительной доработке подверглась «Ода на прибытие Петра Федоровича 1742 года февраля 10 дня». Точнее было бы сказать, что эта ода была переписана заново в 1744—1747 годах. Прежде всего Ломоносов значительно смягчил оценку предыдущих царствований, которая в редакции 1742 года была очень резкой:

⁴ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, М., 1953, стр. 487.

⁵ Курсив здесь и далее мой, если его принадлежность не оговорена особо, — И. С.

Россия, что от зла спасенна
И зрит конец своим бедам,
Которы нутрь ее терзали,
И всю в конец пожрать желали,
Что вместо терну зрит Едем
Тебя, поданных всех утеха,
И во младом Петре твоём
Своей фортуны ждет успеха.

Ломоносов заменяет эту строфу другой, в которой тема «терзаний» России исчезла и вместо нее очень туманно говорится о насильственном характере доелизаветинских царствований:

Что от напастей злых спасенна
Россия зрит конец бедам
И что уже Елисавета
Златые в ону вводит лета,
Избавив от насильных рук.
Красуются Петровы стены,
Что к ним его приходит внук,
Прекрасной Анной днесь рожденный.

Изменяется при переработке оды и характеристика Петра Федоровича. В редакции 1742 года о его достоинствах говорится в настоящем времени как об уже существующем:

Доброт Его дивимся лику,
Ему которой предстонт,
Любовь рождает в нас велику,
Что купно с ревностью горит;
Для общего Твоих блаженства
Цветут в нем всяки совершенства.

В новой редакции об этих совершенствах говорится только в будущем времени:

О коль велика добродетель
В Петровых нежных днях цветет
Коль славен севера владетель
В тебе, Россия, возрастет!
Он ради твоего блаженства
Даров достигнет совершенства.

Вместо последней строки в Соч., 1759 и Рит., 1765 помещен другой вариант, не меняющий общего характера оценки добродетелей наследника престола:

Доброт в нем спеют совершенства.

Такой же смысл — перевод из настоящего времени в будущее, замена утверждения пожеланием, имеют переделки стихов, относящихся и к самой Елизавете. В редакции 1742 года было:

И вечность предстоит пред Нею,
 И в книге кажет то своей,
 Клянушись небом и землею,
 Что после первых света дней
 Такого счастья не бывало,
 Что нам чрез тую небо дало.

В редакции 1751 года достигнутое «счастье» России заменено ожиданием и надеждами на счастье, которое *будет*, должно быть:

И вечность предстоит пред нею,
 Разгнувши книгу всех веков,
 Клянется небом и землею
 О щастье будущих родов,
 Что россом *будет* непременно
 Петровской кровью утверждено.

Таково было одно из направлений переработки первоначальных редакций первых од Ломоносова. Приведенные выше примеры, помимо своего непосредственно политического содержания, неоспоримо говорят о том, что авторская переработка ранних од велась очень сознательно и принципиально, в полном соответствии с общим ходом развития мировоззрения Ломоносова в целом, его эстетических и стилистических принципов в частности.

2

Жанр русской похвальной оды создал Тредиаковский. Его ода «На взятие Гданска» (1734) была первой «правильной одой», написанной в соответствии с теорией и практикой европейского классицизма и, ближайшим образом, по примеру знаменитой и считавшейся эталоном жанра оды Буало «На взятие Намюра». Однако в «Рассуждении об оде вообще» (1734), приложенном к оде «На взятие Гданска», нет признания в ее подражательности и в следовании оде Буало; такое признание появляется в новой, значительно переработанной редакции «Рассуждения об оде вообще», помещенной в «Сочинениях и переводах» (1752). В 1734 году ода «На взятие Намюра» упоминается как один из лучших образцов жанра, но вслед за ней называется Малерб и Феофан Прокопович — автор латинской оды Петру II. О Малербе Тредиаковский пишет: «Гораздо ж не мал энтузиазм в одах и господина Малгерба, славного лирического пиита французского».⁶ Эта фраза выброшена из текста «Рассуждения об оде вообще» в редакции 1752 года. Опущен и очень важный для истории становления жанра похвальной оды автокомментарий Тредиаковского к оде «На взятие

⁶ Рассуждение об оде вообще. В кн.: В. К. Тредиаковский. Ода торжественная о взятии города Гданьска. СПб., 1734, стр. 26.

Гданска», в котором он характеризует свой метод «пиндаризирования». Основными чертами такого стиля Тредиаковский считает смелое употребление риторических фигур, метафор, оксюморонов, гипербол и т. д. При этом он сам указывает на те строки и строфы, в которых применены, по его мнению, наиболее смелые и удачные тропы: «Ода, которую я сочинил и по причине которой сие учинено рассуждение... не даю я за такую, каковой ей надлежало быть по правилу, и каковыя сам я хвалю; но только отдаю в рассуждение искусным, объявляя им, что я всячески старался пиндаризировать, то есть Пиндару во всем подражать, так что я в ней меч сердитым,⁷ а трезвым пианство⁸ назвал, и прочие многие, гораздо дерзновенныя, употребил фигуры, с великолепием наивозможным мне слов, по примеру древних пиит дифирамбических, как то видно из вся е оды, а наипаче в четвертой на десять строфе,⁹ из фигуры называемыя гипербола, которая, хотя и чрезвычайна, и с правдою мало сходна, но дифирамбичества чтоб вольно было так сказать, продерзостного законом позволения. Не меньше ж у меня и пятая строфа¹⁰ смела, которая полагает, что якобы сама ее императорское величество при осаде присутствует, и полководствует, вместо чтоб отдать, по правде, ту честь его сиятельству графу фон Ми-

⁷ Там же, стр. 18.

Меч ее оливей обвитый,
Не в мире, но в брани сердитый.

⁸ Там же, стр. 10.

Кое трезвое пианство.

⁹ Там же, стр. 20.

Хотя б все государи стали
За тебя, Гданск, ныне сердечно;
Хоть бы стихи защищали;
Всего хоть бы света конечно
Солдаты храбры в тебе были,
И кровь бы свою щедро лили;
Но все оны тебя защитить,
Ей! не могут уже никак,
Старались хотя бы всяко,
И из рук Аллиных похитить.

¹⁰ Там же, стр. 14.

То не Троя басней причина:
Не один Ахиллес воюет;
Всяк Фетида воин сына
Мужественнее тут штурмует.
Что ж чудным за власть шлемом блещет?
Не Минерва ль копие мечет?
Явно, что от небес посланна,
И богиня со всего вида,
Страшна и без щитов эгида?
Императрица есть то Анна.

ниху, войск ее императорского величества генералу фельдмаршалу». ¹¹

В «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735) Тредиаковский вообще не стал характеризовать оду как жанр: «...однако ничего я здесь не буду объявлять об одах, что они значат: ибо я довольное рассуждение о них положил вообще, после оды о здаче Гданска, которая напечатана; того ради желающих об одах ведать, туда отсылаю...». ¹² Тредиаковский оставил без разрешения ряд очень важных стилистических проблем русской похвальной оды. По-видимому, он считал, что его позиция в вопросах языка достаточно ясно и полно охарактеризована в предисловии к «Езде в остров любви» и в «Речи» 1735 года. В этих программных выступлениях Тредиаковский говорит только о русском языке; церковнославянский язык он в сущности отмечает начисто и рассматривает как мертвую грудку материалов, из которой можно делать только отдельные заимствования для пополнения языка художественной литературы. Никакого представления о возможности синтеза русского и церковнославянского в литературном языке у Тредиаковского не было, по-видимому, до конца 1740-х годов, когда он под влиянием «Риторики» (1748) Ломоносова радикально изменил свои позиции. Во всяком случае еще в 1745 году, в «Слове о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве», которым Тредиаковский ознаменовал свое назначение академиком, он говорит только о родном языке как материале для «красноречия»: «Чтоб с самого начала мнение мое объявить, определяю, что о природном своем языке, больше нежели о всех прочих, каждому надлежит попечение иметь: но чего ради я так определяю, причины, которые у меня наиважнейшими почитаются, здесь рассмотреть охотно потщусь. Из оных самое первое есть: *наичастейшее употребление и почитай ежечасное*». ¹³ Все приводимые Тредиаковским исторические и современные примеры направлены против хорошо известных ему, из длительного личного общения в начале 1740-х годов, литературных взглядов Ломоносова, уже в 1743 году высказавшегося за синтез церковнославянского и русского.

Не высказался Тредиаковский и по одному очень существенному для оды вопросу: как должно идти в оде изложение, от чьего имени, от какого лица? Дальнейшее развитие русской оды во второй половине 1730-х годов показало, что стилистика ее допускала разные решения этой проблемы.

¹¹ Там же, стр. 28—30.

¹² Новый и краткий способ к сложению российских стихов. СПб., 1735, стр. 58.

¹³ Сочинения Тредьяковского, том третий, изд. А. Смирдина, СПб., 1849, стр. 571—572. Курсив Тредиаковского.

В одах Тредиаковского и его последователей (Витынского, М. Собакина, молодого Сумарокова) довольно скоро установились определенные черты композиции и тематики русской торжественной оды. Обычный адресат оды — императрица Анна Иоанновна, реже — кто-либо из знатных персон; восхваление подвигов и деяний адресата оды сопровождалось изложением определенной программы государственно-политических мероприятий, необходимых, по мнению поэта, для дальнейшего культурного прогресса страны и нации. Наметились также и два типа разрешения главного для этого поэтического жанра вопроса — от чьего имени должно вестись изложение, кто должен обращаться к адресату оды? В одах 1730-х годов к Анне Иоанновне обращается или сам поэт, который предварительно оговаривает свою боязнь осмелиться на это обращение, или вся Россия. Две оды Сумарокова Анне Иоанновне 1739 года могут служить характерным примером колебаний в решении этого композиционно-стилистического вопроса. В первой оде Сумароков говорит:¹⁴

Как теперь начать Анну поздравляти,
Не могу когда слов таких сыскати,
 Из которых ей похвалу сплетати,
 Иль неволей *мне* будет промолчати?
 Но смолчать нельзя! Что ж *мне* взять за средство,
 Не умея ж петь, чтоб не впасти в бедство,
 Тем, что ей должна похвала толика,
 Коль она славна в свете и велика?

Хочется начать, трепещу, немея,
 Страхом поражен, приступить не смея.
 Я боюсь, когда ту начну хвалити,
 Песнью чтоб простой ту не прогневити.
 О, сберися смысл, сколько ти возможно,
 И трудись, трудись, только осторожно,
 Чтобы *мне* не впасть в винность несказанну, —
 Поздравлять хочу ведь велику Анну.

Начав оду от своего собственного лица, Сумароков в четвертой строфе отказывается от такой формы изложения, объясняет, что «Корпус наш тебя чрез мя поздравляет» и «я» сменяется «мы» в строфах 4—6 с тем, чтобы в двух последних (7 и 8) уступить уже место прямой речи от имени кадетов.

Другая ода вся, кроме двух последних строф, представляет сплошной монолог (в шести строфах) России, обращенный к Анне Иоанновне и начинающийся в первой строфе:

О Россия, веселись, монархиню видя,
 Совершенную в дарах на престоле сидя,

¹⁴ Цитирую по кн.: А. С. Сумароков, Избранные произведения (Библиотека поэта. Большая серия), Л., 1957, стр. 49.

И, играя, возопий: Анна мной владеет!
 Чем против мя устоять никто не умеет,
 Храбро имя всех от стран ею получаю.
 Так я, льстя ли, сим ее ныне прославляю,
 Прославляя ж, мне нельзя громко не вскричати:
 Анна, о изволь вовек мною ты владати! и т. д.

В русских одах 1730-х годов вне зависимости от характера изложения нет стремления создать образ или хотя бы какое-то подобие образа Анны Иоанновны. Ода составляется из перечисления общих черт деятельности императрицы или из характеристики ее конкретных поступков, но никакого стремления эту личность поэтически воссоздать не видно совершенно. Анна для русских поэтов не человек, не индивидуальность, а символ, вернее идея, воплощение и олицетворение идеи абсолютизма, представлявшего в 1730-е годы русским просветителям единственным орудием национального прогресса. В оде 1730-х годов напрасно было бы искать чего-либо похожего на «портрет», на конкретные черты внешнего облика императрицы, хотя бы идеализированного. Ведь сумел же Растрелли в своей известной статуе Анны Иоанновны слить воедино идею сверхчеловеческого давящего величия власти с обликом стареющей тучной женщины с неумным, упрямым лицом? Ода 1730-х годов не ставила перед собой задачи воспроизвести образ живого царя, она вполне удовлетворялась общей идеей власти, подчиняющей себе личность во имя разума и просвещения. Поэтому нам кажется, что Г. В. Жидков¹⁵ противоречит сам себе, когда указывает, что в скульптурной группе Растрелли, где воплощены «неумолимая правдивость и острая индивидуальная выразительность в изображении исключительно непривлекательного лица Анны», будто бы наблюдается соприкосновение со строфами оды В. К. Тредиаковского (1734), дающими такой образ царицы, который не имеет ничего общего с действительным:

Европейска и азийска
 Златовидный солнца луч!
 О! монархия Российска...
 Имя чтит твое весь свет;
 Славы не вместит вселенна...
 Анна, благодатна есть!
 Анна, всеми возносима.
 Обща красота и честь.¹⁶

Приведенные стихи Тредиаковского никакого «образа» Анны не дают, более того, они и вообще не должны были создавать никакого образа. Назначение оды состояло в том, чтобы вызвать определенное эмоциональное состояние, в парадоксальном сочетании

¹⁵ Г. В. Жидков. Русское искусство XVIII века. М., 1950, стр. 35.

¹⁶ Там же. «Оду на взятие Гданска» Г. Жидков цитирует в редакции 1752 года.

разума и восторга или в «трезвом пианстве», как перевел Тредиаковский слова Буало «docte ivresse».

В одах 1730-х годов наглядно обнаружилось противоречие между абстрактно-рационалистической идеей разумной власти и стремлением поэтов выразить ее поэтически-конкретно, найти для нее эмоциональное выражение. Разрешение этого противоречия оказалось под силу только Ломоносову, да и то не сразу. В его одах 1739—1741 годов мы видим те же колебания и те же поиски. Он не сразу решается утвердить окончательно свое право поэта говорить от собственного имени. Поэтому в оде «На взятие Хотина» только дважды (на 28 строк) упоминается «я» поэта, а все изложение в целом безлично и дано как будто с чьей-то другой, особой точки зрения, никак художественно не мотивированной.

Оду Иоанну Антоновичу от 12 августа 1741 года произносит «веселящаяся Россия», в оде «Первые трофеи» та же безличная, без какого бы то ни было «я», форма изложения. Но уже в одах 1742 года Ломоносов отказывается от такой безличности автора:

И мой отрады полной ум
Восхитив тем в восторг приводит...
(«На прибытие Петра Федоровича», 1742).

Поданна хочет мысль моя
Воспеть довольств драгих причину...

Но спешно толь куда восходит
Внезапно мой плененный взор...
Я Деву в солнце зрю стоящу
(«На прибытие Елизаветы Петровны», 1742).

Ты твердь оставь, о древня Лира

Моя число умножит звезд...
Еще горит во мне охота
Торжественный возвысить тон...

Я слышу стихотворцев шум

Красуйся дух мой восхищенный,
Не сад ли вижу я священный

Мой дух красу любви зрит...
Я духом зрю минувше время

Но чаю, что вы в оный час

Но вящшу радость ощущает
Мой дух, когда воспоминает

Я лиру ныне подвергаю
Стопам ее...

(«На восшествие на престол
Елизаветы Петровны», 1746).

В одах Ломоносова с 1742 года общая идея разумной власти получает какую-то относительную, хотя еще и очень приблизительную и условную, конкретизацию, в них появляется все больше и больше персонажей. В первую очередь это те, кому ода адресована, и сам поэт, уже неизменно присутствующий в одах, затем это другие цари, не только непосредственные адресаты его од — Елизавета и Петр Федорович, но и Петр I, и Екатерина I, и Грозный, и Дмитрий Донской и т. д. В одах предшественников Ломоносова, да и в его ранних вещах, никогда не совмещалось изложение от имени поэта (от его «я») и от имени «России». В одах Ломоносова «Россия» становится таким же непременным персонажем, как сам поэт, или Петр I, или Елизавета. Происходит огромное расширение охвата событий во времени и в пространстве, углубляется историческая и даже надысторическая перспектива; бог, создатель мира и людей, также становится одним из важных персонажей ломоносовских од; а пространственный размах од Ломоносова, неудержимый полет его воображения от северных пределов России до южных, от Японии до Польши составляет их характерную черту, давно замеченную современной критикой. Но при этом не отмечалось, что именно Ломоносов таким образом перестроил оду, сделал ее настолько емкой и многообразной.

В этом смысле очень показательным сравнение од Тредиаковского, адресованных Елизавете Петровне, с одновременно сочиненными одами Ломоносова. В оде Елизавете Петровне (1742) Тредиаковский продолжает одическую традицию 1730-х годов, в его оде нет ни малейшего стремления создать образ Елизаветы, нет и поэтического «я». Вся ода состоит из перечисления самых общих качеств Елизаветы Петровны, присущих ей по ее положению, и самого общего выражения чувств радости и признательности новой императрице.

В одах Ломоносова 1740-х годов появляется все более и более конкретизирующийся и «оживляющийся» образ Елизаветы Петровны. В оде «На прибытие Петра Федоровича» (1742) Ломоносов еще изображает Елизавету очень отвлеченно, и по традиции «отговаривается» своим «неумением» ее изобразить:

Наместница всевышней власти,
Что родом, духом и лицем,
Восходишь выше смертных части,
Прехвальна, совершенна всем,
В которой всех даров изрядство;
С величеством цветет приятство;
Кто может точно описать
Твои доброты все подробно?
Как разве только указать
Петра особу в том подобно.

В оде «На прибытие Елизаветы Петровны в Санктпетербург» (1742) Ломоносов при изображении внешности Елизаветы пользуется приемом, хорошо известным ему из античной поэзии. Гомер не описывает красоту Елены, но рассказывает о том, какое впечатление произвела она на троянских старцев. Ломоносов не дает словесного портрета Елизаветы, взамен он показывает, как ее прибытие отражает вся природа, весь живой мир:

О чистый Невский ток и ясный
Счастливейший всех вод земных!
Что сей богини лик прекрасный
Кропишь теперь от струй своих,
.....
Как лютый мраз она прогнавши,
Замерзлым жизнь дает водам;
Туманы, бури, снег поправши,
Являет ясны дни странам,
Вселенну паки воскрешает,
Натуру нам возобновляет,
Поля цветами красит вновь:
Так ныне милость и любовь
И светлый дщери взор Петровой
Нас жизнью оживляет новой.

В одах Ломоносова 1746 года продолжается накапливание и собирание все новых и новых черт словесно-психологического портрета Елизаветы:

Но кое сердце толь жестоко,
Которо б сей богини око
Не сильно было умягчить?

(«На восшествие на престол
Елизаветы Петровны», 1746).

Та духом мужеским пронзает
Врагов и купно уязвляет
Щедротой и красой своей.

.....
В тебе прекрасный дом создали
Душе великой небеса,
Свое блистанье излиали
В твои пресветлы очеса,
Лице всходящая денницы,
И бодрость быстрыя орлицы
В младенческих являлись днях,
Уже и нежнейшие взгляды
Предвозвещали те отрады,
Что бедным нынь отъемлют страх.

(«На день рождения
Елизаветы Петровны», 1746).

Такая конкретная деталь портрета, как цвет глаз Елизаветы Петровны (блистанье небес, отраженное в глазах, означает их светло-голубой цвет), воспринималась уже иначе, чем обычное одическое изображение носителя или носительницы идеи самодер-

жавия. Полустолетием позже тонкий ценитель поэтического стиля Вяземский писал о Ломоносове: «Он всегда с особенным одушевлением говорил о Елизавете... Нелединский, знаток в любви, убежден, что кроме верноподданического чувства в душе Ломоносова было еще и более нежное, поэтическое чувство».¹⁷ И далее Вяземский приводит несколько цитат из од Ломоносова, подтверждающих это мнение Нелединского, в том числе одну, в которой, по мнению Вяземского, «в последнем стихе есть в самом деле какое-то страстное одушевление»:¹⁸

Коль часто долы оживляет
Ловящих шум меж наших гор,
Когда богиня понуждает
Зверей чрез трубный глас из нор
Ей ветры в след не успевают,
Коню бежать не воспящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутит главой, звучит броздами,
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь!

Конечно, здесь еще много условности, и самый образ Елизаветы и описание охоты стилизованы под многочисленные изображения Дианы, но все же тут есть уже та степень конкретности и живописности, которая позволяет говорить о стремлении Ломоносова к созданию образов героев в его одах, к преодолению отвлеченности и схематизма одической поэзии 1730-х годов.

У строки, отмеченной Вяземским, есть своя, не совсем обычная история. Как известно, она в несколько измененном виде «воскресла» в «Полтаве» Пушкина:

И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком.

Г. А. Гуковский очень интересно объясняет «ломоносовскую струю» в стиле пушкинской поэмы: «Для Пушкина, как и для других его современников, Ломоносов — это Петр Великий в русской литературе; он воплотил в слове петровскую реформу и петровскую эпоху; он сделал для русской литературы то, что Петр сделал для русского государства. Стиль Ломоносова — не просто риторика, а некое адекватное языковое выражение пафоса, колорита и исторического смысла петровского времени, — не в его эмпирической языковой практике, а в его сущности, в его прогрессивно-государственном порыве».¹⁹

¹⁷ П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Редакция и примечания Л. Гинзбург. Л., 1929, стр. 63.

¹⁸ Там же, стр. 64.

¹⁹ Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, стр. 104.

3

Конкретизация «образа» Елизаветы в одах Ломоносова совершалась по разным направлениям: образ не только приобретал внешнюю, живописную и динамическую портретность, но и получал определенное политическое содержание в соответствии с тем, как складывались и формировались общественные взгляды самого Ломоносова в 1740-е годы.

Переворот 25 ноября 1741 года, совершенный гвардией, проходил под лозунгом восстановления законности престолонаследия в лице дочери Петра I. «Немецкое» засилье кончилось и к власти пришла русская императрица — такова была официальная версия смысла и значения переворота. Как пишет С. И. Соловьев, «... указ Анны Иоанновны, чтоб длинных проповедей не говорить, был забыт».²⁰ Церковники, рассчитывая на общеизвестную приверженность Елизаветы к православной религии, начали по-своему толковать возрождение традиций Петра I.²¹

Вновь, как это было когда-то при Петре I, церковная проповедь стала средством пропаганды официальных политических взглядов, хотя официальная идеологическая концепция нового царствования совершенно не походила на идеологию Петра и его окружения. Помимо обоснования необходимости переворота свирепостью террора при Бироне, церковные проповедники изображали наступающее царствование как восстановление прерванных после Екатерины I традиций петровской политической и государственной деятельности.

Но это прославление Петра делалось под очень своеобразным углом зрения.

Амвросий Юшкевич, архиепископ Новгородский, 18 декабря 1741 года, в день рождения Елизаветы Петровны, посвятил свою проповедь обличению владычества иноземцев в предыдущие два царствования и прославлению Петра. Петр предстал перед слушателями Амвросия как заботливый, усердный радетель и устроитель церковных дел. В тот же день в Москве произнес проповедь ректор Славяно-греко-латинской академии Кирилл Флоринский, еще более энергично, чем Амвросий, нападавший на «человекоядов» Миниха и Остермана и развивавший ту же, наскоро созданную церковной партией легенду о Петре, благочестивом и богобоязненном царе. Флоринский говорил, обращаясь в своей проповеди от лица Елизаветы Петровны к Петру: «Не отец ли мой, аки бы вне утруждения в воинстве и гражданстве тяжко на рамах носяй иго, святейшия

²⁰ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 5. Изд. «Общественная польза», СПб., б. д., стр. 147.

²¹ Это возрождение церковной проповеди подробно освещено в статье П. Н. Беркова «Ломоносов и проблемы русского литературного языка в 1740-х годах» («Известия Отделения общественных наук», 1937, № 1, стр. 214—218).

Синедрион пророверныя и православно благочестивыя церкви поборники и защитники, пастыри избранныя и учителя предпоставляя учреди наставити души, хотящие вечное наследовати спасение; выну день и ночь пекийся, дивный сам собою быв пример, и вещью правоверия образ». ²²

Еще более решительно высказался о Петре в этом смысле Дмитрий Сеченов: «А паче неусыпное его тщенье было о сохранении благочестивыя веры, не малое попечение имел, как бы в духовных сребролюбный нрав истребить, расколы испразднить, суеверия отогнать, волшебства вывестъ: того ради сам духовное собрание посещати не ленился, ко исправлению благочестия духовных пастырей поощрял. Но сия паче удивительна о благочестии ревность яко в самой уже тяжкой болезни, в самом последнем издыхании, не иное что приказывал, не о ином чем вселюбезную свою супругу просил, токмо да сохранит благочестие Екатерина, соблюди православную веру». ²³

Следует при этом иметь в виду, что вообще для 1740-х годов характерен очень пристальный интерес к Петру I и его эпохе. Одно из проявлений этого интереса — «Житие Петра Великого», перевод книги А. Катифоро «Жизнь Петра Великого, императора России». Венеция, 1737 (на итальянском языке). Перевел эту книгу Степан Иванович Писарев ²⁴ и в 1743 году преподнес Елизавете Петровне. В посвящении ей переводчик писал: «... я последний раб с сим малейшим трудом моим являюсь неусомнительно уповая, что сие приношение хотя и всех меньшее, то однако столь приятнейшее вашему императорскому величеству паче всех покажется сколь бессмертная памяти достойное имя Петра Великого вселюбезнейшего вашего величества государь-родитель, паче всего дражайше преславные героические дела его вашему августейшеству паче всех наследственны». ²⁵ Однако «Житие Петра Великого» не было напечатано при жизни Елизаветы Петровны из-за препятствий, чинившихся какими-то «недоброхотами» Писарева (напечатано оно было впервые в 1772 году), но зато широко расходилось в составе большого рукописного сборника, куда переписчики включили целый ряд исторических и мемуарных произведений о Петре. Как указывает В. Буш: «... вместе с Житием мы встречаем сочинение Крекшина „О зачатии и рождении Великого государя императора Петра I Самодержца всероссийского и о прочем“, „Описание державного погребения...“, „Возмущение стрельцов“, из записок графа Мат-

²² Кирилл Флоринский. Слово в день рождения Елизаветы Петровны 18 декабря 1741 года. М., 1741, стр. 16.

²³ Дмитрий Сеченов. Слово на благовещение. М., 1742, стр. 13.

²⁴ См.: В. В. Буш. «Житие Петра Великого» Стефана Писарева. «Журнал Министерства народного просвещения», 1915, октябрь, стр. 262—291.

²⁵ Там же, стр. 289.

веева, стихи о царствовании Петра Великого и другие сочинения».²⁶ Перевод Писарева не был напечатан при Елизавете Петровне, несмотря на очевидное намерение переводчика изобразить жизнь Петра в духе официально-церковной легенды о нем, создававшейся в первые годы елизаветинского царствования. Не помогло Писареву добиться печатания «Жития» и то, что он выбросил из своего перевода рассуждения о патриаршестве и его уничтожении при Петре, о религиозном свободолобии Петра, биографию Екатерины I.

Ломоносов был страстным и убежденным защитником идеи культурного прогресса России и «заветов» Петра I, понимавшихся им прежде всего как осуществление «европеизации» России и развития в ней науки, литературы и просвещения в широком смысле этого слова. Ломоносов вынужден был с большой осторожностью создавать в одах «свой» образ Елизаветы, совершенно не сходный с тем, какой рисовали церковные риторы.

Основное устремление церковной проповеди 1740-х годов было направлено к тому, чтобы усилить в России религиозную нетерпимость и сберечь чистоту православия любыми средствами, вплоть до инквизиционных. В этом смысле характерна проповедь Дмитрия Сеченова 25 марта 1742 года (произнесенная в присутствии Елизаветы), в которой так характеризуется положение православной веры при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне: «...и что бедственнее: догматы христианские, от которых вечное спасение зависит, в басни и ни во что поставляли; ходатайцу спасения нашего неусыпную христианскую помощницу, покров и прибежище, на помощь не призывали и заступления ее не требовали... И сим лаянием толико любителей мира сего в бесстрашие и сластолюбие привели, что мнози и в епикурская мнения впадали. Яждь, пей, веселися, по смерти никакого де утешения несть: и которые так бредили, таковые-то у врагов наших и в милости были, таковые и в чины производились; а которые таких прелестников не слушали, коликие им ругания, поношения врази благочестия чинили, мужиками, грубиянами нарицали. Кто посты хранит, называли ханжа. Кто молитвою с богом беседует — пустосвят. Кто иконам кланяется — суевер. Кто язык от суесловия воздерживает — глуп, говорить не умеет».²⁷

В противоположность усилиям церковных ораторов, стремившихся направить всю деятельность правительства Елизаветы на службу интересам церкви и духовенства, Ломоносов в своих одах

²⁶ Там же, стр. 269.

²⁷ Н. Попов. Придворные проповеди в царствование Елизаветы Петровны. «Летописи русской литературы и древности», М., 1859, т. II, отд. III, стр. 13—14.

создает иной, идеальный образ Елизаветы, покровительницы наук и искусств, защитницы просвещения. При этом церковные ораторы были в гораздо большей степени «реалистами», чем Ломоносов, так как они в большей мере могли опереться на дела и поступки Елизаветы, нежели Ломоносов, на себе испытывший то жалкое и унижительное положение, в котором находилась Академия наук в 1740-е годы.

Не в том была оригинальность Ломоносова как поэта-публициста, что он в своих одах Елизавете обязательно говорил о Петре I. Эта параллель являлась общим местом в публицистике и литературе 1740-х годов. Подлинно оригинален был у Ломоносова самый подход к этой теме, его Петр, который существенно отличался и от Петра елизаветинских указов и, особенно, от набожного и всецело преданного делу церкви Петра, каким изображали его церковные ораторы.

Характерно, что в одах Ломоносова Иоанну Антоновичу Петр называется только один раз, а в оде «Первые трофеи» глухо вспоминаются победы Петра над шведами. По-видимому, правительница и те, кто управляли от ее имени, совершенно не были заинтересованы в каком-либо, даже формальном восстановлении традиций Петра. И в оде «На прибытие из Голштинии и на день рождения Петра Федоровича 1742 года февраля 10 дня» (первая редакция) Ломоносов еще только упоминает о Петре I, да и то больше в плане родственных связей. Петр Федорович для него «внук» Петра I, Елизавета и Петр Федорович — это «Петрово племя». И только один раз и без всякого развития этой темы Ломоносов говорит, обращаясь к Петру Федоровичу:

Ты зришь Великого Петра
Как Феникса рожденна снова.

Собственно же поэтическое развитие темы Петра в поэзии Ломоносова идет медленно и сложно.

В начале 1740-х годов молодой Сумароков находился еще под сильным влиянием Ломоносова. Оно очень заметно в его «Оде Елизавете Петровне в день 25 ноября 1743»,²⁸ написанной идейно и стилистически совершенно в ломоносовской манере:

Известны уж ей хвалы,
Уже и горы возвещают
Дела, что небеса пронзают,
Леса и гордые валы.

В этой оде тема Петра занимает не меньше места, чем тема Елизаветы, а общий смысл оды — пропаганда просветительской

²⁸ Цитирую по кн.: А. П. Сумароков, Избранные произведения, стр. 58—63.

концепции Петра — создателя новой России; русские солдаты у Сумарокова говорят:

«Отдай Петра, о смерть жестока,
И вооружись противу нас.
Хотя воздвигни все стихии
И вооружи против России, —
Пойдем против громовых туч!»

Более скромная по форме, но более глубокая и содержательная ломоносовская оценка Петра появилась в печати в 1745 году. Она вставлена в «Оду на день брачного сочетания Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны», в последней строфе которой Ломоносов называет Петра I «Россов обновитель». В этой краткой формуле выражено общее для всех русских просветителей 1730—1750-х годов отношение к петровским реформам как началу совершенно новой эпохи в истории страны и к Петру как создателю «новой» России.

Так, от оды к оде, становилась все отчетливее точка зрения Ломоносова на Петра. Однако впервые как образ живого исторического деятеля Петр появился в оде «На день рождения Елисаветы Петровны» (1746). Здесь Ломоносов с необыкновенной смелостью изобразил полтавского победителя не в дыму сражений, а в частной жизни, среди семейных радостей:

Тогда от радостной Полтавы
Победы русской звук гремел;
Тогда не мог Петровой славы
Вместить вселенный предел,
Тогда вандалы побеждены
Главы имели преклоненны
Еще при пеленах твоих;
.....
О сладкой нежности обитель!
О вы блаженные места!
Где храбрый готов победитель
Лобзал и в очи и в уста
Впервые плод свой вожденный,
Свой плод меж лаврами рожденный.
Вас оных радостных времен
Любезна память услаждает,
И оный день вам пребывает
В бесчестны веки незабвен.

И, наконец, в оде «На день восшествия на престол Елисаветы Петровны» (1747) Ломоносов получил возможность высказать свои самые заветные мысли о Петре и его историческом значении:

Ужасный чудными делами
Зиждатель мира искони

Своими положил судьбами
 Себя прославить в наши дни;
 Послал в Россию человека,
 Каков неслыхан был от века.
 Сквозь все препятства он вознес
 Главу победами венчанну,
 Россию грубостью поправну
 С собой возвысил до небес.
 В полях кровавых Марс страшился,
 Свой меч в Петровых зря руках,
 И с трепетом Нептун чудился,
 Взирая на российский флаг.

.

В оде «На день тезоименитства Петра Федоровича» (1743), опубликованной полностью в «Сочинениях» 1751 года, а в отрывках — в «Риторике» (1748), Петр I получает впервые более или менее подробную характеристику, в которой, как часто у Ломоносова, соединяется историко-философское и поэтическое отношение к теме. Обращаясь к Петру Федоровичу, Ломоносов настоятельно советует ему в будущем, когда придет его черед царствовать, брать пример с «деда»:

Прострешь свои державны длани
 Ко Вышнему за нас в церквах,
 Покажешь меч и страх в день брани,
 Подобно, как твой дед в полках.

И далее, снова возвращаясь к теме «следования по заветам Петра», Ломоносов дает знаменитую характеристику Петра как «бога» России:

Воззри на труд и громку славу,
 Что свет в Петре неложно чтит;
 Нептун познал его державу,
 С Минервой сильный Марс гласит:
 «Он бог, он бог твой был, Россия,
 Он члены взял в тебе плотския,
 Сошед к тебе от горних мест;
 Он ныне в вечности сияет,
 На Внука весело взирает
 Среди Героев, выше звезд».

Тогда божественны науки
 Чрез горы, реки и моря
 В Россию простирали руки,
 К саму монарху говоря:
 «Мы с крайним тщанием готовы
 Подать в российском роде новы
 Чистейшего ума плоды».
 Монарх к себе их призывает,
 Уже Россия ожидает
 Полезны видеть их труды.
 Но ах, жестокая судьбина!
 Бессмертия достойный муж,

Блаженства нашего причина,
К несносной скорби наших душ,
Завистливым отторжен роком
Нас в плаче погрузил глубоко!

В этих стихах нет никакого следа официозной и официально-церковной оценки Петра. Нептун (создание флота), Минерва (развитие наук), Марс (воинские победы) — вот «труд» Петра и основа его «громкой славы». Именно эти заслуги перед Россией вызывают в Ломоносове поэтический энтузиазм, позволяют ему сравнить Петра с героями древности и богами Олимпа. «Божественность» Петра здесь, конечно, метафорическая, антично-мифологическая, но все же в ней содержится и прямая оценка, да еще такая, которая могла бы вызвать серьезное недовольство церковников своим «обожествлением» Петра. Может быть, поэтому ода эта и не была напечатана в 1743 году, а увидела свет только в 1751 году.

Петр — борец с варварством и невежеством («грубостью»), Петр — насадитель наук и просвещения, наиболее полное воплощение идеи просвещенного абсолютизма — так складывается в одах Ломоносова 1740-х годов его взгляд на Петра. Образ Петра поэтически выражает формирование просветительских убеждений Ломоносова, его концепции просвещенного абсолютизма применительно к русским условиям и характеру русской истории.

Еще более подробно, чем в одах, говорит Ломоносов о Петре в «Слове похвальном Елисавете Петровне» (1749), но и здесь, перечислив разнообразнейшие виды деятельности Петра, он не упоминает о каких бы то ни было трудах его на пользу церкви и религии: «Всяк видит, всяк в уме своем изображает, что так Великий Петр обращал свои очи, взирая на обновляющуюся Россию; так произносил свой голос, укрепляя воинство и ободряя к трудам подданных; так простирал свою руку, учреждая художества и науки, повелевая устроить полки ко брани и выходить флоту в море; так возносил главу, въезжая в побежденные грады и пожирая поверженное неприятельское оружие; толь бодро шествовал, осматривая свои начинающиеся стены, строящиеся корабли, исправляющиеся суды и среди моря со дна восстающие пристани и крепости...»²⁹

4

Эволюция поэзии Ломоносова в 1740-е годы связана самым теснейшим образом с общим ходом развития его политических и литературных взглядов. В борьбе с реакционно-церковной легендой о Петре — защитнике православия, в стремлении воздействовать на

²⁹ Ломоносов, т. 7, стр. 241.

правительственную политику в духе просвещенного абсолютизма Ломоносов должен был решить для себя одну, чрезвычайно важную литературно-стилистическую проблему. Как уже указывалось выше, вновь возродившаяся при Елизавете, в качестве официозного пропагандистского орудия, церковная проповедь стала средством утверждения православия как единственной непререкаемой основы национального самосознания. Церковные ораторы со всем неугасшим инквизиционным пылом обрушивались на раскол, еретиков, инаковерующих, ученых, свободомыслящих — словом, на всех, кто позволял себе какое-либо отклонение от догматической религиозности и обрядового благочестия.

Торжеством нового духа в жизни страны представлялось церковным ораторам разрешение вновь напечатать «Камень веры» Стефана Яворского, изуверско-инквизиционную, реакционную книгу, запрещенную при Петре I и Анне Иоанновне и напечатанную при Петре II в 1728 году. Об этом разрешении с восторгом говорил Маркелл, епископ корельский: «Колодников, не людей уже, но и книги в темнице глубокой заключенные, и многое время седевшие тамо, злобою злых наветников запечатанные, мозги их и челюсти, и зломудрования сокрушающыя крепко, еже есть книги „Камень веры“ нареченныя, на вечное разорение злочастивых, во свет известъ благоволила и развязала, и прочии книги благочестивого восточного исповедания освидетельствовав духовным чином достойныя печати, печатать повелела».³⁰ Этот же оратор старался вдохновить Елизавету на систематическое преследование инакомыслящих: «Еще имеет твердое намерение благочестивейшая новая Елена Всероссийская, волки хищники зломудренные от церкви православной изгнати, книги православные вкоренити, и засвидетельствованные и апробованные печатovati, подозренные же, и ересей исполненные, и тайный яд еретический имущыя искоренити».³¹

В условиях наступления воинствующего мракобесия и обскурантизма задачи русского просветительства чрезвычайно усложнились. Открытая борьба с религией и церковью была невозможна. В 1740-е годы нужно было *защищать* науку от религии и церкви, отстаивать ее право на свободное исследование. Как уже указывалось, в противовес официальной легенде о Петре — покровителе православия и защитнике церкви — Ломоносов, а вслед за ним и другие просветители 1740-х годов, так же как и официальная пропаганда для защиты своих идей, черпали в деятельности Петра материал для создания идеального образа просвещенного царя, по-

³⁰ «Слово при присутствии ее императорского величества в домовой ее императорского величества церкви, проповеданное Маркеллом, епископом Корельским и Ладожским. 1742 года, марта 28 дня», М., 1742, стр. 6.

³¹ Там же, стр. 16.

кровителя наук и искусств, защитника просвещения, «обновителя» русского народа, создателя «новой» России, взамен старой, утопавшей во «мраке невежества» — как писал Сумароков в 1755 году.

У этой напряженной идейно-политической борьбы был еще и собственно литературный, стилистический аспект. Церковное проповедничество для воздействия на общественное мнение располагало разрабатывавшейся в течение столетий и восходившей еще к наследию античности системой красноречия, целой наукой, дававшей в руки церковников огромный арсенал стилистических средств и образцов. В распоряжении церковных ораторов было огромное по объему и неоценимое по богатству средств выразительности количество «книг церковных» на церковнославянском языке, также во многом обязанном своим богатством древнегреческому.

Русские просветители 1730-х годов (Кантемир, Тредиаковский) предприняли попытку создать новую, светскую литературу на основе одного русского языка своего времени, попытку смелую и легко объяснимую их желанием раз и навсегда порвать с традициями литературы русского средневековья.

Тредиаковский в первой половине 1740-х годов еще твердо придерживался убеждения, что церковнославянский язык не может быть составным элементом языка новой литературы. Не позднее чем в 1743 году он перевел «Слово о терпении и нетерпеливости» специально для того: «дабы самым делом показать, что истинное витийство может состоять одним нашим употребительным языком, не употребляя мимо высоко славянского сочинения».³²

Ломоносов подошел к этой основной проблеме русского литературного языка середины XVIII века иначе, чем его предшественники. В решении этой проблемы он проявил и смелость и прозорливость истинно гениального человека.

Ломоносов понял, что нельзя отказываться от наследия русской церковной культуры, нельзя его просто отбросить. Поэтому он в сущности начал свою общественно-литературную деятельность с создания в 1743 году «Краткого руководства к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненного».

В этой «Риторике» Ломоносов изложил свои взгляды на литературу, на ее задачи и на принципы поэтического стиля, в наибольшей степени этим задачам соответствующие. Вся «Риторика» пронизана чисто просветительским пафосом утверждения руководящей роли науки (а не церкви, как следовало бы в духе официальности) в деле общественного прогресса. Как пример «определения риторического» Ломоносов привел фразу: «...наука есть вождь к познанию правды, просвещения, разума, успокоения народов».³³

³² П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. II, СПб., 1873, стр. 104, примечания.

³³ Ломоносов, т. 7, стр. 57.

В печатном тексте «Риторики» (1748) Ломоносов смягчил тон первого определения, лишив науку первенства в познании: «наука есть явное познание истины» (§ 211).³⁴

В пример «фигуры удержания» Ломоносов привел в «Риторике» (1743) рассказ о неограниченном уважении к науке: «В древние времена ученых людей почитали не токмо щедрые государи, но и жестокосердые мучители; Платона принял в Сиракузы Дионисий — тиран, но с каким великолепием? с каким доказательством к нему своя склонности? Вы чаете, что ему были дороги цветами усыпаны или улицы зелеными ветвями украшены? вы надеетесь, ему все знатные особы навстречу вышли? Никак, но Платона, сидящего в златой колеснице, сам Дионисий, коней управляя, во град вводит».³⁵ Этот пример, по-видимому, из-за его слишком большой наглядности и выразительности Ломоносов не ввел в печатную «Риторику».

К фигуре «вопрошения» он дал следующий пример, снова убеждающий читателя в абсолютном и универсальном значении науки для жизни человечества: «Кто к добродетелям путь отвергает? наука; кто от пороков [отвергает]? наука; кто рассеянные народы во общество собрала? наука; кто построил грады и открыл страны, отделенные морями? наука».³⁶ В «Риторике» (1748) печатной этого примера тоже нет, он заменен очень распространенным, хрестоматийным отрывком из известной речи Цицерона против Катилины: Доколе будешь, Катилина и т. д.

Если все это имело в начале 1740-х годов явно полемический, противо-клерикальный смысл, то высказывания против «суеверов», несмотря на то, что они являются цитатой из Лукреция, своим острием были непосредственно и недвусмысленно направлены против православной церкви: «Таким образом представил Лукреций суеверие древних поганских народов: Жизнь человеческая бесчестно на земле лежала попоранна тяжким суеверием, которое, главу свою от небес показуя, ужасным взглядам на смертных взирало».³⁷ В «Риторике» (1748) этого примера нет; Ломоносов, по-видимому, собиравший его включить, но раздумал, и, как можно предположить, по цензурным соображениям выбросил. В рукописи «Риторики» (1748) есть зачеркнутая фраза, свидетельствующая об этих колебаниях: в параграфе 158 для иллюстрации «увеличения вещей» Ломоносов хотел дать «пример из Лукреция о суеверии», но заменил его цитатой из «Энеиды» — описанием Полифема.

На первый взгляд, эти ярко просветительские, безусловно

³⁴ Там же, стр. 252.

³⁵ Там же, стр. 59—60.

³⁶ Там же, стр. 57—58.

³⁷ Там же, стр. 63.

антиклерикальные высказывания в «Риторике» (1743) противостоят тем настоятельным призывам к изучению церковного языка и церковных книг, которые составляют самую суть первой книги Ломоносова. В действительности, между отношением Ломоносова — просветителя к церкви и Ломоносова — теоретика литературы к «церковному языку» и церковным книгам нет никакого противоречия. Более того, именно в этих по видимости противоречивых его утверждениях проявилось единство пафоса всей деятельности просветителя, вынужденного бороться в условиях активного наступления клерикалов на свободную мысль, на науку. Сам он сказал в посвящении «Риторике» (1743) Петру Федоровичу о назначении этой книги: «Взирают на них <на добродетели Петра Федоровича, — И. С.> великим вашим дедом в России основанные науки как на восходящее солнце и от пресветлых его лучей нового щедрот сияние в несомненном уповании ожидают... Благополучны в научении положенные труды сынов российских, которых щедрая вашего высочества рука ободряет к вящему приращению наук в наследной вашей империи».³⁸

В этом посвящении характерно и настойчивое повторение мыслей о «приращении наук», об ободрении в этом деле «сынов российских», и «упование» на наследника престола.

Определяя цель художественного слова, поскольку для него ораторская речь — это неотъемлемая часть литературы, Ломоносов писал в «Риторике» (1743): «чтобы в слушателях или читателях страсть возбудилась».³⁹ Вторая часть «Риторике» (1743) «О украшении» посвящена конкретному изложению тех стилистических средств, которыми с наибольшим успехом может быть достигнуто «возбуждение страстей». В этом вопросе есть две стороны: во-первых, выбор стилистических средств и, во-вторых, метод подбора примеров. О роли тропов в формировании ломоносовского поэтического стиля будет сказано ниже. Здесь необходимо остановиться на лексическом характере и происхождении тех примеров, которые приводит Ломоносов в этом отделе. Как следует из самого первоначального их рассмотрения — примеры эти в подавляющем большинстве своем взяты из «книг церковных», точнее — из «Библии», еще точнее из «Псалтыри».

Приведенные ниже метафорические сочетания несут на себе явную печать библейской стилистики: *полки текут на брань, угрюмое море, лице земли, луга смеются, звезды кипящие, труба небесная, или:*

Единой цепью звезды свяжет
И вспять итти луне прикажет.

³⁸ Там же, стр. 21.

³⁹ Там же, стр. 27.

Иногда Ломоносов сам указывает на свой стилистический источник: «Представление есть подобное, но весьма краткое деяние изображение важными словами. Так представлено божие сотворение света словом в книгах Бытия: *и рече бог: да будет свет, и бысть свет*, что несравненно великолепнее, нежели простая речь: *бог свет сотворил словом*».⁴⁰

Образец великолепной энергии выражения Ломоносов вставил в оду «На день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны» (1746), в которой елизаветинский переворот уподобляется «сотворению» света:

Уже народ наш оскорбленный
В печальнейшей ночи сидел.
Но бог, смотря в концы вселенны,
В полночный край свой взор возвел.
Взглянул в Россню кротким оком,
И видя в мраке ту глубоком,
Со властью рек: *да будет свет.*
И бысть! О твари обладатель!
Ты паки света нам создатель,
Что взвел на трон Елисавет.

«Великолепие» выражений и «важность» слов нашел Ломоносов в библейской поэзии и вообще в «книгах церковных». Сознательное обращение к церковнославянскому языку и его поэтическим возможностям хронологически падает на 1743 год. И к этому же году относится состязание трех поэтов в переложении псалма 143-го. Литературно-эстетическое значение этого спора-состязания исчерпывающе осветил Г. А. Гуковский.⁴¹ Но эти три переложения интересны еще и тем, что они позволяют нагляднее представить себе подход каждого из поэтов к стилистике псалмов и, шире, — всей библейской поэзии.

Ломоносов в своем переложении псалма не довольствуется теми выражениями, которые находит в нем, но привносит от себя метафоры и тропы «библейского» же стиля, такие как:

Сотреть врагов взнесенный рог...
Рука их в нас наводит лук...

В других случаях очень краткое выражение псалма развернуто в сложный образ.

В псалме

Блажени людие, им же господь бог их.

У Ломоносова:

⁴⁰ Там же, стр. 59. Курсив Ломоносова.

⁴¹ Г. А. Гуковский. К вопросу о русском классицизме. Состязания и переводы. «Поэтика», сб. IV, Изд. «Academia», Л., 1928, стр. 128—129.

Но те светлее веселятся,
Ни бурь ни громов не боятся,
Которым Вышний сам покров.

Развитие темы, данной в одной строке псалма, «осложняется» у Ломоносова применением риторических фигур, метафор и сравнений, а в выборе слов для этих выражений сказывается тонкое ощущение их звучания. Так, строка «сотреть *врагов* *взнесенный рог*» содержит в себе несомненную игру разных огласовок одной основы *рог*—*раг*; а смысловая метафора светлее *веселятся* является одновременно почти полным звуковым повтором.

Ломоносов в своем переложении стремится придать тексту псалма большую конкретность и наглядность:

В псалме —

Их же сынове их яко новосаждения водруженная в юности свей.
Дщери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма.

У Ломоносова —

Подобно масличным древам
Сынов их лета процветают
Одеждой дщери их блистают
Как златом испещренный храм.

И как уже отмечалось, Ломоносов вводит в свои переложения тему ему лично очень близкую, тему «власти чужих народов», тему борьбы с академическими немцами:⁴²

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти,
Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук.

Соответствующее место псалма звучит гораздо более сдержанно:

Избави мя, и изми мя из руки сынов чужих: их же уста глаголаша суету, и десница их, десница неправды.

Тредиаковский в своем переложении псалма 143-го значительно развил и распространил его тематически. Его переложение вдвое больше, чем ломоносовское; в нем 130 строк, у Ломоносова — 60, а у Сумарокова — 66. Так, например, слова псалма:

Милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой,
защититель мой, и на него уповах, повинуйся люди моя под мя, —

⁴² История русской литературы, т. III. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 340—341.

получили у Тредиаковского совершенно неожиданное, драматическое по тону, развитие:

Ныне круг земный да знает
 Милость всю ко мне Его;
 Дух мой твердо уповает
 На Заступника Сего:
 Он Защитник, Покровитель,
 Он Прибежище, Хранитель,
 Повинуя род людей,
 Дал он крайню мне владети,
 Дал *правительство* имети,
 Чтoб *народ* прославить сей.
 Не смотря мою на подлость
 И на то, что бедн и мал,
 Прочих видя верх и годность,
 Что ж их жребий не избрал,
 Вышнего судьбе дивлюся,
 Так глася в себе стыжуся:
 Боже! кто я нища тварь?
 От кого ж и порожденный?
Пастухом определенный!
 Как? О! как могу быть царь?

Здесь появляется тема неожиданного превращения пастуха в царя, тема неожиданного поворота судьбы, совершенно отсутствующая в тексте псалма; в целом переложение приобретает повествовательность, не свойственную ломоносовским переложениям, а в стиле наряду с библейской лексикой и образностью появляются слова из самых различных сфер лексики.

Для Ломоносова стиль Библии в целом послужил только материалом. Даже в переложениях псалмов, то есть в тех произведениях, где библейский текст больше всего как будто связывал Ломоносова, в действительности он был совершенно свободен, выбирая лишь то, что соответствовало его собственной поэтической системе.

5

Стихотворные отрывки, приведенные Ломоносовым в «Риторике» 1744 года, его ранний перевод Анакреона, да и ода Фенелона («Ode à l'abbé de Langeron»), им переведенная, разрабатывают тематику интимно-лирическую. Молодой поэт в 1730-е годы еще очень далек от тем государственной жизни и политики, от основных проблем своего будущего одического творчества. Даже перевод оды Фенелона, посланный Ломоносовым в Петербург, в Академию наук, как образец его успехов во французском языке, ближе по своему содержанию и тональности к пасторали и идиллии, чем к похвальной оде. Как правильно указывает комментатор академического издания, Ломоносова в этой оде Фенелона привлекала «восходя-

щая к античности идиллическая тема о безмятежной жизни в тесном общении с природой». ⁴³

Ломоносов не сразу нашел свое решение вопросов русского стихосложения и поэтического стиля. В своем замечательном исследовании Е. Я. Данько показала, как немецкие теоретики и практики немецкого стихосложения помогли Ломоносову правильно увидеть недостатки реформы стиха, предложенной Тредиаковским, и лучше последнего оценить большие поэтические и версификационные возможности русского языка. Для Ломоносова стихосложение было хотя и важным, но все-таки частным вопросом, подчиненным основной литературной проблеме русской жизни — созданию поэзии гражданской, государственно-политической, злободневной, посвященной важнейшим темам общественно-политической жизни. Таким жанром для всей поэзии европейского классицизма была похвальная ода. Разработка этого жанра, поиски наиболее подходящего для него риторического строя и композиционно-стилистического решения заняли у Ломоносова не менее десятилетия.

Сравнение всей совокупности поэтических произведений Ломоносова этого времени с более поздними позволяет установить общий характер эволюции его поэтического стиля в период выработки основных принципов его поэтики. Как пришел Ломоносов к своему пониманию поэтического стиля и практическому воплощению открытых им принципов поэтической работы, — этот вопрос до сих пор не получил еще хотя бы предварительного освещения.

Одна из существенных черт поэтического новаторства Ломоносова в области стиля заключается в том, что он сделал метафору основным поэтическим принципом образного строя своих од. Метафора была тем средством, которое позволило Ломоносову превратить похвальную оду в поэтический жанр, усилить ее эмоциональное воздействие и ее поэтическую силу.

Конечно, тут могла послужить Ломоносову примером хорошо ему известная немецкая поэзия 1730—1740-х годов. Но в его поэтическом сознании присутствовали гораздо более мощные и действенные возбудители интереса к поэзии метафорически-образного строя. Таких источников было два: поэзия так называемого «священного писания», псалмы и книги пророков — с одной стороны, и русская народная поэзия — с другой. «Псалтырь» была общедоступной книгой каждого грамотного русского человека. Ломоносов, разумеется, хорошо знал ее. А «Псалтырь» Симеона Полоцкого он, по его собственному свидетельству, еще в отрочестве вытвердил наизусть. Как уроженец русского Севера Ломоносов должен был с первыми звуками родной речи услышать сказки, песни, былины — все то огромное богатство эпической и песенной поэзии, ко-

⁴³ Ломоносов, т. 8, стр. 867.

торое на Севере в пору детства Ломоносова входило неотъемлемым элементом в жизнь крестьян Холмогорской округи.

И фольклор, и библейская поэзия (тоже фольклорная по своей природе) широко пользуются различными видами тропов, вернее сказать, метафоричность и образность — это сама природа фольклора, да и поэзии вообще. Конечно, не всегда метафора является главным средством поэтической образности, но для ряда эпох в истории поэзии, для барокко, для романтизма и символизма понимание поэтического неотделимо от тех или иных видов поэтической метафоризации.

К убеждению, что метафора должна быть неотъемлемым элементом поэтического стиля, Ломоносов пришел не сразу. В начале своего поэтического пути он думал иначе. Испещряя своими критическими пометками в 1736—1737 годы «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» Тредиаковского, Ломоносов по поводу начальных строк из «Оды в похвалу цвету розе»:

Красота весны! Роза о прекрасна!
Всей о госпожа румяности власна!

сделал такую приписку: «Die Rose hat den andern Blumen gar nichts zu befehlen» («Роза не является повелительницей других цветов»). Подстановка предметного значения в метафорический ряд, которую продельывает Ломоносов с этой строкой Тредиаковского, позднее, в 1750-е годы, стала самым обычным приемом в полемике Сумарокова и сумароковцев с Ломоносовым. Но во второй половине 1730-х годов Ломоносов в теории, да и на практике еще убежден в необходимости максимального освобождения поэзии от тропов, он еще рационалист в поэзии. Аналогичный смысл имеет и другое замечание Ломоносова к строкам из той же оды Тредиаковского:⁴⁴

Зэфир токмо тих над тобой летает,
Благовонность всю в воздух распускает.

Ломоносов приписал: *Zephyrus n[on]e[st] aer* (зефир не воздух).

Такая строгость начинающего поэта к своему уже признанному, популярному старшему собрату по этому очень важному пункту поэтической стилистики может быть понята нами правильно, если мы предположим, что в 1737—1741 годы Ломоносов еще придерживался рационалистических взглядов на допустимость метафоризации и других приемов тропики в поэтических жанрах.

⁴⁴ См.: П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. М.—Л., 1936, стр. 57.

Это подтверждает просмотр ранних стихотворных опытов Ломоносова — отрывков, помещенных в «Письме о правилах стихотворства», в «Риторике» 1744 года, а также его первых од.

Из четырех стихотворных отрывков, помещенных в «Письме о правилах стихотворства», только в одном встречаются элементарные метафорические сочетания:

*Весна тепло ведіот
Приятной Запад веет,
Всю землю солнце греет;
В моем лишь сердце ліод,
Грусть прочь забавы біот*

Здесь только вторую из числа выделенных строк можно считать метафорой поэтической, первая строка (весна тепло ведет) — метафора общеязыковая.

Ода Фенелона написана в поэтической манере, почти исключаящую какую бы то ни было метафоризацию поэтического языка. Больше всего у него простейших перифраз:

*Du Zephir la douce haleine,
Qui reverait nos buissons. . .*

В переводе Ломоносова перифрастичность не сохранена:

*Ветр от Запада приятно
В наших веет тих лесах. . .*

Некоторые метафоры (их немного) Ломоносов взял из оригинала. Например, у Ломоносова:

*Вдруг с осенними плодами
Сладок дух дает весна. . .*

У Фенелона:

*Avec les fruits l'Automne
Sont les parfums de Printemps*

У Ломоносова:

*Парка жизнь мою скончает
Лирою здесь, и увенчает
День последний допрядет. . .*

У Фенелона:

*Le pour couronner ma vie
La main d'une Parque amie
Filera mon dernier jour.*

В одах Ломоносова 1741—1742 годов можно проследить, как меняется их стилистический строй, как постепенно метафора становится основным стилеобразующим элементом его поэтической манеры.

Обе оды Иоанну Антоновичу написаны в деловито-повествовательной манере, без всякого стремления внести поэтическую образность в самую стилевую ткань оды. Антибироновская строфа в оде «На день рождения Иоанна III» выделяется среди других и своей формой. Только в нее ввел Ломоносов смелый метафорический ряд, напоминающий оды его зрелой манеры:

Велит себя в неволю славить,
Престол себе над звезды ставить,
Превысить хочет вышнюю власть.

Вполне возможно, что Ломоносов имел в виду какую-нибудь конкретную оду Бирону, написанную кем-либо из поэтов Аннинского царствования.

Но уже в оде «На прибытие Петра Федоровича» (1742) Ломоносов начинает применять метафору все чаще и чаще, хотя основным видом поэтической образности она у него еще не стала. Здесь у Ломоносова уже не одиночная метафора, а метафорический ряд, при помощи которого создается грандиозный поэтический образ, нерасчленимый логически и не представимый предметно:

Санктпетербург с каким желаньем
Тебя надежду зрит свою,
Не может и пространным зданьем
Вместить в себе утеху всю;
Но мечет вверх огни горящи.
И в самых облаках светящи.
Ах есть либ жарка мысль к тебе
Россиян всех могла открыться,
То б солнца и светила все
За светом тем не стали зреться.

В первом примере происходит своеобразная поэтическая «реализация» метафоры, ее как бы «буквальное» продолжение: *всю утеху* (всю радость) Санктпетербурга не могут вместить и его «пространные» здания. Во втором примере Ломоносов с необыкновенной поэтической смелостью, пропуская промежуточное звено, от жаркой мысли (в значении *горячей, пылкой*) непосредственно переключается на другие значения слова *жаркий* — *горячий, огненный, раскаленный, светящийся* — и уже *жар мысли* превращается у него в свет, превышающий своей яркостью и солнцем и «все светила».

В оде «На прибытие Петра Федоровича» он на пути от жаркой мысли к свету как бы пересчитывает синонимы этого ряда *жар—свет* и, отбросив их, связывает обе метафоры в один ряд. Следующая стадия разработки связей и отношений между метафорами дает ему возможность взамен синонимического ряда соединить

в сложный и прихотливый узор самые различные метафоры в «Оде на прибытие Елизаветы Петровны 1742»:

Взнесись *превыше* молний, Муза,
Как быстрый с Пиндаром орел;
Гремящих арф ищи союза
И в *верьх* пари скорее стрел;
Сладчайший нектар лей с Назоном;
Превысь Парнас *высоким* тоном.

В этих строках метафоры связаны между собой тем, что в основе каждой из них лежит понятие «высоты», вернее «высокости». Ломоносов как бы играет многозначностью слова *высота*, переключая его с предметного значения на отвлеченное, подменяя высоту как понятие пространственное — высотой поэтической, высотой поэтического стиля, поэтического звучания. Здесь принципы ломоносовского стиля — высота, великолепие, выразительность — не только декларированы «содержанием», но и воплощены в самой форме стиха, доказаны поэтической практикой самого Ломоносова, редким примером слияния идеи стиля и его словесного выражения. *Превыше* молний и в *верьх* пари в данном контексте еще может быть воспринято предметно, в значении пространственной высоты, хотя соседство таких головокружительно-смелых метафор, как *гремящих арф ищи союза* очень ослабляет эту предметность, но *превысь Парнас высоким тоном* уже исключает такое понимание совершенно. И в то же время между этими двумя рядами метафор устанавливается внутренняя связь посредством различных форм от той же основы «высота» — *превыше*, в *верьх*, *превысь*, *высоким*. В итоге «высокость» — высота становится словесной темой целой строфы, метафора перестает быть одиночным приемом изобразительности, и стих Ломоносова приобретает двойное единство: логическое и словесно-поэтическое, стиливое. Так впервые в русской поэзии XVIII века и в русской поэзии вообще вообще была понята одна из возможностей поэтического слова!

Уже в «Риторике» 1744 года Ломоносов подробно излагает отдел тропов и особенно тщательно разъясняет сущность и значение метафоры: «Риторические слова те называются, которые саму предложенную вещь точно и подлинно не значат, но перенесены от других вещей, которые со знаменуемою некоторое сходство или принадлежность имеют, однако притом большую силу подают в знаменовании, нежели сами свойственные слова, н. п.: о беспокойных ветрах лучше сказать, что они *бунтуют*, нежели *тянут* или *веют*, хотя глагол бунтуют не до ветров, но до людей надлежит».⁴⁵

В «Риторике» (1748) эта мысль о превосходстве переносных выражений над прямыми высказана с еще большей настойчивостью

⁴⁵ Ломоносов, т. 7, стр. 50. Курсив Ломоносова.

и убежденностью: «Великолепием украшается слово чрез пренесение речений или предложений от собственного знаменования к другому, которые (пренесения) у греков называются тропами и разделяются на тропы речений и предложений. Троп речения состоит в пренесении одного речения от собственного знаменования к другому, например: *каменный человек вместо скупой; щедрота похвальна вместо щедрый похвален*. Троп предложения состоит в пренесении предложения от собственного знаменования к другому, например:

*По сажь гладь, хоть бей,
Ты будешь черн от ней.*

Вместо: *со злым человеком ни по доброму, ни по худому делу не связывайся, для того что всегда для него впадешь в бесславию*.

И Цицерон в слове за Милона в начале говорит:

Я подлинно думаю, что и в прочие бури и непогоды во время оных народных волнений Милон впасть принужден будет».⁴⁶

Вопросы поэтического стиля и поэтического словоупотребления встали перед Ломоносовым с необыкновенной остротой по возвращении в Россию. После удачного решения тех проблем стихосложения, перед которыми остановился Тредиаковский, Ломоносов должен был найти такие принципы стиля, которые в максимальной степени содействовали бы и решению его идейно-творческих задач. А задачи эти подсказала ему общественно-политическая ситуация, сложившаяся в России после елизаветинского переворота.

В ходе работы над второй «Риторикой» отношение Ломоносова к стилистическому значению тропов стало иным. Если в «Риторике» 1744 года он считал, что метафора «служит к пространному, важному, ясному, высокому и приятному идей представлению»,⁴⁷ то в «Риторике» 1748 года он уже отчетливо понимает, что не «ясности» «представления идей» служит метафора: «Сим образом <метафорой, — И. С.> идеи представляются много живее и великолепно, нежели просто» (§ 183). Назначение метафоры сведено здесь к двум, но зато наиболее важным и существенным чертам, характеризующим ее конкретные стилистические функции, ее эмоциональное воздействие прежде всего: живости и великолепию.

Вместе с общим определением стилистической роли метафоры изменялись и практические указания о ее применении, содержащиеся в обеих «Риториках». В «Риторике» 1744 года Ломоносов предлагает три правила употребления метафор, из которых первое гласит: «Чтобы метафора была не чрез меру часто, но токмо в при-

⁴⁶ Там же, стр. 237—238. Курсив Ломоносова.

⁴⁷ Там же, стр. 51.

стойных местах, ибо излишно в речь стесненные переносные слова дают больше оной темности, нежели ясности».⁴⁸

В «Риторике» 1748 года это правило изменено в полном соответствии с тем, как уточнилось у Ломоносова его понимание стилистической роли метафоры: «Чтобы метафор не употреблять чрез меру часто, но токмо в пристойных местах, ибо излишно в речь стесненные переносные слова больше оную затмевают, нежели возвышают».⁴⁹ Вместо ясности он заботится о возвышении поэтического стиля, об усилении его эмоциональной выразительности.

Когда же сложилась поэтическая система Ломоносова, когда он обрел свободу и уверенность в обращении со стихом, еще отсутствовавшие в одах 1741 года?

Л. В. Пумпянский высказал предположение, что в 1742—1743 годы в поэзии Ломоносова произошел «перелом», вызванный, как думал исследователь, «замечательным стилистическим кризисом», причиной которого он считал вторжение в стилистику батальной оды иной чуждой ему струи — грандиозных, ветхозаветного происхождения, образов и выражений. В «Оде на прибытие Елизаветы Петровны» (1742), замечает Пумпянский, «все меняется со строфы 5, причем вторжение нового так стремительно, что получается несообразность. За стихом 42

Отверз Олимп всесильный дверь

непосредственно следует:

Вся тварь со многим страхом внемлет,

а далее Елизавета (стих 47) стоит перед лицом вышнего, и вся фразеология становится совершенно библейской (щедро взирает, завет и др.). Строфы же 6—8 (длинная речь «ветхого деньми») представляют... тираду, стилистически (например, «утешил я в печали Ноя») резко расходящуюся с началом оды, а следовательно, и со всей суммой предшествующей работы Ломоносова».⁵⁰

Наблюдение Л. В. Пумпянского весьма интересно и было бы бесспорно, если бы мы могли быть убеждены в том, что эта ода известна нам в редакции 1742 года. К сожалению, он не обратил внимания на то очень важное для решения данного вопроса обстоятельство, что впервые «Ода на прибытие Елизаветы Петровны» (1742) была напечатана полностью в «Собрании сочинений» (1751), а в отрывках — в «Риторике» (1747).

⁴⁸ Там же, стр. 51.

⁴⁹ Там же, стр. 216.

⁵⁰ «XVIII век». Сборник статей и материалов. М.—Л., 1935, стр. 102—110.

Эта ода 1742 года действительно очень непохожа на все, что непосредственно соседствует с ней в творчестве Ломоносова (если брать только оды, напечатанные в 1741—1745 годы). Ни в одной из двух од Иоанну Антоновичу, ни в обеих одах Петру Федоровичу (1742 и 1745 годы) нет такого вторжения библейского стиля, а главное нет активного участия ветхозаветного бога в политических событиях елизаветинского царствования.

Зато если мы сравним оду 1742 года с одой 1746 года («На восшествие на престол Елизаветы Петровны»), то сходство образности и стилистики, примененной к изображению однородной темы (елизаветинский переворот), будет разительным:

1742 г.

Благословенна вечно буди, —
Вещает Ветхий деньми к ней, —
И все твои с тобою люди,
Что вверил власти я твоей.
Твои любезные доброты
Влекут к себе мои щедроты.
Я в гнѣве россам был творецъ,
Но ныне паки им отецъ:
Души твоей кротчайшей сила
Мой гнѣв на кротость предложила.

Утѣшил я в печали Ноя,
Когда потопом мир казнил,
Дугу поставил в знак покоя,
И тою с ним завет чинил.
Хотѣл Россію бед водою
И гнѣвною казнить грозою,
Однако для заслуг твоихъ
Пробавил милость в людях сихъ,
Тебя поставил в знак завета
Над знатнейшего частью света.

1746 г.

Уже народ наш оскорбленный
В печальнейшей ноши сидел.
Но бог, смотря в концы вселенны,
В полночный край свой взор возвел.
Взглянул в Россію кротким оком
И, видя в мраке ту глубоко,
Со властью рек: «Да будет свет».
И бысть! О твари Обладатель!
Ты паки света нам Создатель,
Что взвел на трон Елисавет.

Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,
Земля стѣнала от зыбей,
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами спирались,
И устремлялся гром на гром
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнять хребты гор с влажным
дном.

Л. В. Пумпянский для подкрепления своего мнения о «стилистическом кризисе» 1742—1743 годов ссылается на переложение псалма 143-го и на «Вечернее размышление».

Оговорив то обстоятельство, что «Вечернее размышление» мы знаем только по публикации в «Риторике» (1746—1747), нужно отметить существенную разницу, тематическую и стилистическую, между псалмом 143-м в переложении Ломоносова и «Вечерним размышлением», с одной стороны, и «Одой на прибытие Елизаветы Петровны» (1742) и «Одой на восшествие на престол» (1746) — с другой. В обеих одах ветхозаветный бог выступает в качестве самого активного действующего лица, он вершит судьбы народов, он произносит реплики и монологи; ничего на это похожего нет в переложении псалма 143-го и в «Вечернем размышлении».

Поэтому, как ни заманчивы выводы, к которым приходит Л. В. Пумпянский, фактический ход развития ломоносовского стиля их не подтверждает. Никакого стилистического кризиса Ломоносов в 1742—1743 годах не пережил. Одно наблюдение Л. В. Пумпянского верно — с 1742 года начинается постепенное внедрение стилистических и лексических библеизмов в ломоносовскую поэзию. Но происходит это не мгновенно, не сразу, а постепенно, достигая своей кульминации в 1746—1747 годах, когда окончательно складывается и поэтическая система и литературные взгляды Ломоносова, выражением которых является вторая редакция «Риторики».

А. И. ДУДЕНКОВА

О ПОСТРОЕНИИ ОБРАЗА В ЛИРИКЕ ЛОМОНОСОВА

Начиная с «Оды на взятие Хотина», на протяжении 40-х годов XVIII века, Ломоносов стал крупнейшей фигурой в литературе. Основная особенность литературной жизни 40-х годов заключается в том, что она проходила под знаменем утверждения классицизма ломоносовского типа. Типичные черты эстетики русского дворянского классицизма в эти годы также формируются, но не осознаются еще до конца их носителями как литературное течение, противоположное ломоносовскому. Это обстоятельство отчасти объясняет, почему вождь дворянского классицизма — Сумароков — в ряде вопросов тогда еще шел за Ломоносовым, признавая его поэтические и теоретические заслуги.

Отдельные черты классицизма как литературного стиля проявлялись в русской литературе еще до Ломоносова в творчестве Кантемира, Прокоповича, в произведениях Тредиаковского 30-х годов. Но усилиями этих писателей законченным литературным направлением классицизм не мог стать, так как исторически еще не были подготовлены условия для этого.

Тредиаковский, выступивший в литературе раньше Ломоносова, не мог претендовать на роль главы литературы послепетровского времени, хотя и начал свой литературный путь с той же критики и переоценки старых художественных форм, как и Ломоносов впоследствии. При всем сознании недостатков старой силлабической версификации, при всем понимании необходимости упорядочить литературный язык Тредиаковский как писатель и общественный деятель не мог начать новый этап истории русской литературы. Художественная практика этого писателя не всегда отвечала назревшим потребностям литературного развития.

Уже первый значительный шаг Тредиаковского в литературе — перевод любовно-аллегорического романа «Езда в остров любви» — ориентировал литературу на развитие развлекательного, а не гражданского направления. Филологические работы Тредиаковского не опирались на новаторскую художественную прак-

тику, которая зачастую шла у него вразрез с его же теоретическими требованиями.

Борьба с исторически реакционными силами выдвигала в русской литературе первой половины XVIII века политические темы, делала их самыми актуальными и насущными. Это был главный пункт завещания, оставленного петровскими идеологами последующей литературе. Роль главы литературы мог сыграть только писатель, который, исходя из прогрессивного идейного наследия прежней литературы, сумел бы преодолеть художественное несовершенство этой литературы, противопоставить ей новую теорию и художественную практику. Таким писателем и был Ломоносов. Преемственность по отношению к лучшим сторонам идейной программы петровской литературы проявлялась в миросозерцании Ломоносова прежде всего в вопросах науки, просвещения, оценки Петра I.

Уже в творчестве предшественников Ломоносова идеи новой государственности, пафос знания, прогресса рождали отдельные приметы нового художественного метода. Но для того чтобы собрать воедино отдельные элементы нового стиля, придать ему характер целостной, законченной литературно-художественной системы, нужен был гений. И этот гений явился уже в «Оде на взятие Хотина» и в «Письме о правилах российского стихосложения». Одновременно практически и теоретически поэт доказывал безграничные возможности русского языка: его поэтичность, гибкость, стилистическое богатство, его способность передавать самые различные мысли и эмоции. И сам поэт прозорливо видел грандиозную перспективу развития поэзии, версификация которой соответствует внутренней природе национального языка. Эту великую возможность он называл «толь долго пренебреженным счастьем».¹

Своеобразные условия общественно-политической жизни 30—40-х годов XVIII века выдвигали на первый план задачу защиты исторического процесса, защиты петровского государственного наследия. Именно этим объясняется в значительной мере появление одной из излюбленных политических тем литературы середины XVIII века — проблематики просвещенной власти. С этим кругом государственно-патриотических идей связано во многом развитие жанра оды в творчестве Ломоносова и утверждение классицизма как целостной идейно-эстетической системы.

Белинский, анализируя «Оду на взятие Хотина», назвал, как известно, Ломоносова отцом и зачинателем русской поэзии, Петром Великим русской литературы, имея в виду красоту языка, высокие художественные достоинства поэтического первенца писателя. Уже

¹ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 13.

в этом раннем произведении были заложены основные идейно-художественные особенности поэзии Ломоносова.

Такой особенностью идейного содержания оды является исключительно высокая оценка исторической роли Петра, мышление сквозь призму петровских дел обо всем, что происходит в жизни России. В победе русских войск при Хотине Ломоносов видит прежде всего победу выучки и военной организации Петра, поэтому образ великого полководца витает над сражением. Сила и могущество России — результат деятельности Петра, всех его культурно-политических преобразований. В такой трактовке образа Петра чувствуется прямая связь с идеологами петровского времени, с их политическими и философскими воззрениями. Так же как они, Ломоносов возлагает исключительные надежды на личность просвещенного монарха, на разум, облеченный властью. В вопросах общественных поэт, как известно, никогда не преодолевает идеалистических взглядов, несмотря на отдельные проблески материалистического понимания хода истории. Но в отличие от своих литературных предшественников поэт нашел художественную форму, которая полностью отвечала идейному содержанию его творчества.

В «Оде на взятие Хотина» поэт не ставил и не мог ставить перед собой задачи — воспроизвести конкретные реальные черты сражения у Хотина. В его сознании, как это и соответствовало уровню эстетических понятий того времени, назначение поэзии состояло вовсе не в изображении достоверности, истинности жизненного материала, а в пропаганде политических уроков и добрых нравов, для которых жизненный факт — лишь конечная, отправная точка, повод для выражения идеальных представлений. Напрасно мы стали бы искать в оде точные, а не условные исторические детали и соответствия, хотя творческая история произведения тесно связана с газетными сообщениями и описаниями, по которым поэт, находясь в Германии, узнал о событии.

Реальность проникает в оду лишь в виде географических имен, исторических аналогий и намеков. Во всем же остальном конкретная тема — победа русских войск над турками — раскрывается чисто условными приемами лирического переживания. Приемы эти должны соответствовать законам «возбуждения страстей», как об этом скажет поэт несколько позже в своей «Риторике». Одним из главных условий такого закона является богатство поэтического воображения творца, его способность вызывать у читателя чувства, которые писатель воссоздает с помощью поэтического искусства.

Восторг, радость, патриотическое воодушевление, вызванные победой, — эмоциональная атмосфера этой оды. Выбор художественных средств или фигур, как тогда говорили, логически выдержан в тон с этими чувствами.

Однако лирическое переживание поэта по тогдашним понятиям отнюдь не соответствует нашему представлению, сложившемуся на основе реалистического искусства. Лирическое переживание поэта не было окрашено только его личным, индивидуальным отношением к данному событию. Это вообще «приличные» данному случаю общие чувства, логические понятия о чувствах, а не непосредственные переживания, возникшие в душе поэта. Вот почему в оде столько аллегорических «употреблений», космических сравнений, условных изображений, риторических вопросов. Но и в рамках этих художественных средств, которыми Ломоносов владел в совершенстве, впервые зазвучали великолепные поэтические достоинства русского языка.

В «Оде на взятие Хотина» Ломоносов, как уже было сказано, нашел идейно-художественные принципы, на основе которых созданы почти все его последующие торжественные оды. Их тематика в 40-е годы расширяется: идеи отечества, мира, науки, раскрытые приемами грандиозной патетики, превращают торжественные, официальные оды в произведения гражданственно-патриотические.

Поэтическая деятельность у Ломоносова сочеталась со страстной борьбой за утверждение науки. Знание поэт-ученый считал всемогущим, в нем он видел первопричину всех успехов человечества. «Наука есть вождь к познанию правды, просвещение разума, успокоение народов... кто к добродетели путь отверзает? наука. Кто рассеянные народы во общества собрал? наука».² Все это наложило особый отпечаток на поэзию Ломоносова. Почти с первых шагов на литературном поприще поэт берется за создание научно-философской поэзии.

Если предшественники Ломоносова — Феофан Прокопович, Кантемир — пропагандировали передовые научные знания в научно-публицистической форме, то Ломоносов впервые в русской литературе создал подлинную научно-философскую поэзию. И ее эстетическая система органически соответствует общим художественным принципам творчества поэта. Приемы создания художественного образа в естественно-научной и в торжественной поэзии одни и те же. В произведениях с научной тематикой, где поэт как бы раскрывает пути исследования и постижения законов природы, во всем величии предстает человеческий разум, то созерцающий, то делающий выводы. Художественная ткань произведений, образные построения как бы последовательно отражают сложный путь познания. Великолепный образец этого — «Вечернее размышление о божием величестве...», а также «Утреннее...»:

Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.

² Там же, стр. 57—58.

Такова отправная точка наблюдения, общая картина, вслед за которой поэт дает детальное описание свойств этой «бездны». Художественное воплощение здесь находит и непосредственное наблюдение, и раздумье, и научная гипотеза. В соответствии с этим ходом мысли меняются художественные краски, приобретая то вид спокойной, ясной картины, непосредственно открывающейся взору, то образ космических бурь, бушующего огня, когда рассудок вверяется гипотезе, неизбежной спутнице научного познания.

В торжественных одах в основу положен тот же прием создания образа. Только здесь гипотезу заменяет определенный политический идеал, критерий политического разума и блага государства. В сознании поэта-ученого, придававшего такое исключительное значение развитию науки, просвещения, тем более логично рассудочное построение художественного образа. Как научная истина выступает в наиболее общем виде, так и художественный образ лишается непосредственно-индивидуальных признаков, в нем раскрываются обобщенно-типологические представления поэта об идеальном правителе, о теоретически свойственных ему качествах. Следовательно, путь создания образа в поэзии Ломоносова — это не обобщение на основании конкретной действительности, жизненного опыта, а воспроизведение рационалистического представления поэта об этой действительности, т. е. перед нами художественный метод, в котором выступает прежде всего реальность разума, а не реальность жизненных фактов.

Именно на основе подхода к изображаемым явлениям с точки зрения норм разума, идеальных представлений в художественной системе Ломоносова закономерно существуют различные символично-аллегорические приемы. Если сам принцип образного построения не опирается на конкретные жизненные отношения, а лишь на представления поэта об этих отношениях, то аллегорическая абстракция, средствами которой реализуется образ, вполне отвечает такому пониманию отношения литературы к действительности. Даже очень яркая, напряженная метафоричность, пышность красок ломоносовской поэзии, которая станет объектом насмешек, пародий литературных врагов поэта, в конечном счете также согласовывалась с рационалистическим воспроизведением действительности.

С большой полнотой эти эстетические принципы выражены в теоретических трудах Ломоносова — двух редакциях «Риторики». Излагаемая здесь система красноречия, т. е. по понятиям того времени сумма общих для поэзии и прозы правил, не просто знакомила русского читателя с трудами многочисленных античных и западных теоретиков красноречия. «Риторика» имела большое самостоятельное значение, поскольку в ряде случаев содержала литературные требования самого поэта. Об этом свидетельствуют иллюстративные примеры к различным правилам риторического искусства,

взятые поэтом из собственных од. Это значит, что излагаемые требования вполне соответствовали художественным принципам писателя.

В главе «Риторики», где речь идет об изобразительных средствах, определяя принцип сравнения, Ломоносов пишет: «Уподобление рождает пространные и притом прекрасные идеи, ежели многие свойства, части или действия двух подобных вещей между собой прилично снесены будут». Поясняя это положение, он приводит свои стихи:

Сходящей с польз златых Авроры
Рука багряна сыплет к нам
Брильянтов, искр, цветов узоры,
Дает румяный вид полям,
Светящей ризой мрак скрывает
И к сладким песням птиц возбуждает,
Чистейший луч доброт твоих
Украсил мой усердный стих.
От блеску твоя порфиры
Яснеет тон нижайшей лиры.³

Здесь картина сияющего утра, представляющая раскрытие обобщения «Аврора», является служебной по отношению к образу монархини. Идеализированные, должные, с точки зрения поэта, качества царицы диктуют подобные сравнения. Картина утра в этом отрывке — это не просто зарисовка объективной природы, с характерными чертами, бросившимися в глаза поэту, поразившими его воображение, а логическая схема, в которой каждая деталь раскрывает идеально-программный облик царицы.

Таким образом, еще раз подчеркиваем, принцип построения образа в художественной системе Ломоносова логизирован, он исключает конкретно-индивидуальный образ. Кроме этого основного художественного принципа, определяющего сам способ отображения действительности в литературе, уже в первой редакции «Риторики» были теоретически выражены и другие требования художественной программы поэта. В сочетании с принципом построения образа эти требования знаменовали собою окончательное утверждение того художественного метода, который позднее был назван классицизмом.

Так, в «Риторике» 1744 года была в общих чертах намечена теория трех штилей русского языка, задолго до того как в законченном виде учение о «штилях» явится в «Предисловии о пользе книг церковных». И снова перед нами не просто изложение отвлеченных риторических правил, а опыт стилистики од самого автора, отражение насущных потребностей развития русской литературы, поиски новых форм выражения.

³ Там же, стр. 41—42.

Опираясь на собственную художественную практику, Ломоносов во второй главе «Риторики» — «О расположении слов публичных» — решал насущнейшую проблему соотношения русского и церковнославянского языков. Здесь писатель определил основной принцип отбора слов славянского языка — общедоступность их понимания. «Штиль в духовном слове, — писал Ломоносов, — должен быть важен, великолепен, силен... при том проповеднику стараться должно, чтобы при важности и великолепии своим слово было каждому понятно и вразумительно. И для того надлежит убежать старых и неупотребительных славянских речений, которых народ не разумеет, но притом не оставлять оных, которых хотя в простых разговорах неупотребительны, однако знаменование их народу известно».⁴ В другом месте «Риторики» Ломоносов выдвинул принцип зависимости стиля от содержания, от темы: «К вещам высоким непристойно слова переносить от низких, например, вместо дождь идет непристойно сказать: небо плюет... К низким вещам от высоких переносить имена также непристойно: разве только в шуточных и сатирических речах».⁵

Для того чтобы выдвинуть эти требования, нужно было осознать неразработанность норм литературного языка, художественное несовершенство предшествующей литературы, архаичность стиля своего современника — Тредиаковского. И собственно против художественной практики Тредиаковского были прежде всего объективно направлены эти положения.

Нормативная разработка правил стилистики, стремление предписать определенный стиль различным видам произведений — все это также на тогдашнем этапе литературного развития в конечном счете знаменовало утверждение художественного метода классицизма.

О том, что литературно-теоретическая мысль поэта развивалась в направлении нормативного разграничения литературных форм, признания строгих правил для различных жанров, свидетельствуют новые разделы второй редакции «Риторики». Как известно, над переработкой первой редакции Ломоносов работал в течение ряда лет, и эта работа шла параллельно с художественным творчеством. Таким образом, в теоретической форме поэт высказывал то, что осознал непосредственно как писатель.

Так, в полном соответствии с представлением о серьезном, дидактическом назначении литературы, в «Риторике» 1747 года была высказана мысль о неравноценности различных жанров. Выдвинув в качестве критерия «пользу», политическую и моральную направленность произведения, Ломоносов высоко оценивал философско-

⁴ Там же, стр. 69—70.

⁵ Там же, стр. 51.

политические романы Баркляя и Фенелона, так как они содержали в себе «примеры и учения о политике и о добрых нравах». И, наоборот, презрительно отвергал литературу развлекательную, легкую, которая, с его точки зрения, не исправляет нравы и не просвещает читателя. Такому презрительному осуждению подвергались любовно-авантюрные романы, сказки за то, что они «никакого учения добрых нравов и политики не содержат и почти ничем не увеселяют; но только разве своим нескладным плетением на смех приводят, как в сказке о Бове и великая часть французских романов, которые все составлены от людей неискующих, и время свое тщетно препровождающих».⁶ В устах поэта, который в своих торжественных одах учил правителей разумной политике, эти слова звучат естественно и понятно.

В теоретических работах Ломоносова мы находим также объяснение таких приемов его поэтики, в которых некоторые исследователи видят элементы какого-то другого художественного метода, помимо классицизма. Таким отступлением от эстетики классицизма иногда считают напряженную метафоричность стиля, различные приемы поэтического парения — восторженность, гиперболизм и т. п., которые как бы эмоционально окрашивают стихотворения Ломоносова и тем самым нарушают рассудочные принципы классицизма.

Нам же представляется, что пристрастие к подобным приемам является только индивидуальным художественным своеобразием поэта, и определяется оно стремлением Ломоносова говорить о важном, значительном, отвечающем общегосударственным потребностям. Во всяком случае, рассматривать эти особенности поэтики Ломоносова как признак нарушения принципов классицизма, значит отрицать возможность внутреннего многообразия в пределах одного стиля.

Кроме того, нельзя вырывать отдельные поэтические приемы художника из общей системы его эстетических представлений. Если соотносить метафоричность стиля, различные космические сравнения и другие частные особенности поэтики Ломоносова с его пониманием цели литературного творчества, на основании которого можно говорить о классицизме Ломоносова, то между ними обнаружится закономерная связь.

Например, обобщая и обосновывая свою собственную одическую поэтику, Ломоносов выдвигает такой критерий употребления метафор, который не нарушает рассудочных построений классицизма: «Чтобы метафора была не чрез меру часто, но токмо в пристойных местах, ибо излишно в речь стесненные переносные слова дают больше оной темноты, нежели ясности».⁷

⁶ Там же, стр. 223.

⁷ Там же, стр. 51.

И хотя допускаются для напряжения страстей «действия в натуре невозможные», но для употребления подобных изображений в «Риторике» обозначены строгие правила, которых в большинстве случаев придерживается и сам поэт, как свидетельствуют примеры из его од.

В «Риторике» подробно разработан раздел «об украшении» слова, куда входят правила создания троп. В основу всех этих правил положен единый принцип — усиление значения, углубление смысла. Даже под эмоциональные категории — восторг, удивление, ирония — неизменно подводится строго логическая основа, и в конечном счете выражение этих чувств мыслится абстрактно, в их наиболее общей форме.

Так, в качестве примера иронии поэт приводит свои стихи из оды 1742 года «На прибытие Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург»:

Не Швед ли мнил, что он главою
Как Атлас держит целый свет
И море сильною рукою
И полный властью в узах жмет
Что твердь с собой в союзе свяжет
И вспять идти Луне укажет.

В этом примере эмоциональное выражение иронии подчиняется строго логической схеме. Здесь Атлас — мифологический гигант, который неоднократно встречается в одах Ломоносова, — «Звезд касающийся Атлас». Мифологическая условность приписала ему определенные действия, и вот по законам этой условности он у поэта связывает твердь и вмешивается в движение небесных светил. Поэтическая фантазия, на первый взгляд столь буйная в приведенном отрывке, на самом деле ограничена рамками логически возможных действий мифологического образа.

Таким образом, в поэтической системе Ломоносова нет принципиальных расхождений между отдельными элементами ее. Приемы создания образа в естественно-научной поэзии Ломоносова, в которой просветительская научная мысль выступает наиболее обнаженно, и в торжественной, где создается идеально-программный образ, одни и те же. Как мы стремились показать, не нарушает рассудочных принципов эстетики классицизма и напряженная метафоричность поэтического стиля Ломоносова.

Н. А. СИГАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ ФРАНЦУЗСКОГО КЛАССИЦИЗМА И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД

Французский классицизм складывается в первой половине XVII века как художественный стиль, наиболее полно выражающий основные насущные проблемы общественной действительности. Борьба классической эстетики против поверхностного эмпиризма, отталкивание от всего частного, случайного, тенденция к обобщению связаны с растущим значением политических, социальных и философско-этических вопросов, с моральным авторитетом и общественно-воспитательной ролью литературы. Эволюция, которую переживает проблематика французского классицизма начиная с 30-х годов и до конца XVII века, является прямым отражением той идеологической борьбы, которая сопровождает процессы становления, укрепления и начало разложения и кризиса французской абсолютной монархии.

Так, в 30—40-е годы, в период обострившейся борьбы между абсолютизмом и остатками старой сепаратистски настроенной знати, в период массовых крестьянских восстаний и жестоких репрессий королевской власти против повстанцев, на первый план выдвигается политическая проблематика, которая находит свое отражение в трагедиях Корнея.

Начиная со второй половины XVII века наблюдается тяготение к разработке публицистических жанров, в которых общественные проблемы получают уже не сублимированное, а более прямое, непосредственное отражение. Существенно новый этап в этом смысле открывают «Письма к провинциалу» Паскаля (1657) — острый, перерастающий в сатиру памфлет против иезуитов. Публицистическая тенденция отчетливо проступает и в других жанрах — в стихотворной сатире (Буало) и комедии (Мольер).

В 60—70-е годы собственно политическая проблематика отступает на второй план, зато особенно важное значение приобретает социальная и морально-этическая.

В 80—90-е годы, когда кризис и разложение французского абсолютизма особенно явно обнаруживаются во внутренней и внешней политике, в экономическом упадке и усилении идеологического гнета, публицистическая тенденция в литературе становится преобладающей. «Характеры и нравы нашего века» Ла Брьюера дают обобщенную социальную и этическую картину современного французского общества, в последних трагедиях Расина с новой силой воскресает политическая проблематика, последние сатиры Буало клеймят фанатизм и идеологическую диктатуру иезуитов.

Разумеется, в этом схематически намеченном поступательном движении проблемы и литературные жанры не просто сменяют друг друга — они сосуществуют и взаимодействуют. Начиная со второй половины века мы все чаще сталкиваемся со своеобразным «взаимопроникновением» жанров, перекличкой тем, мотивов, образов, чуть ли не цитат. Такое «взаимопроникновение» исподволь разрушает классическую систему замкнутых жанров.

Это в частности касается одной из центральных проблем классической эстетики — проблемы типизации, которая нередко толкуется только как абстрагирование, аналитическое обобщение, как плоскостное, схематическое, одностороннее изображение человеческих характеров.

Бесспорно, тяготение к обобщенному отражению действительности, отвлечение от индивидуального присущи эстетике классицизма. Однако художественные методы этого обобщения, особенности и степень абстрагирования обнаруживают значительное разнообразие в зависимости от идеологической направленности и содержания того или иного произведения.

В литературе французского классицизма XVII века можно отчетливо различить два метода типизации: образный, в котором общее принимает конкретно-индивидуализированные формы и раскрывается в действии, и, условно говоря, «публицистический», подающий авторскую точку зрения непосредственно, в обнаженном виде. Эти два метода по-разному преломляются и соотносятся друг с другом в отдельных жанрах и у разных писателей. Крайними полюсами можно считать, с одной стороны, Расина, у которого авторский голос почти всегда звучит опосредствованно, растворяется в образах; с другой стороны, «чистых» публицистов — Паскаля, Ла Брьюера, Буало как автора стихотворных сатир. Корнель и Мольер занимают промежуточное положение. Однако вопрос о взаимодействии обоих методов в творчестве этих писателей оказывается при более внимательном рассмотрении значительно более сложным.

В дальнейшем, в литературе XVIII века, внутреннее единство указанных методов (в особенности в драматургии) утрачивается,

происходит заметный сдвиг в сторону «публицистического» элемента.

В наши задачи не входит подробное рассмотрение литературных явлений просветительского классицизма, мы попытаемся наметить лишь основные тенденции развития, восходящие к «чистому» классицизму XVII века и принявшие новые формы в эпоху Просвещения.

* * *

«Публицистическая» струя в классической комедии утверждается далеко не сразу. По сути дела, в домольеровской комедии она почти не дает себя знать. Так, Корнель, начавший с нраво-описательных комедий, редко пользуется приемами публицистического подчеркивания авторской точки зрения. Сделав несомненный шаг вперед по сравнению со своими предшественниками, отказавшись, с одной стороны, от внешней занимательности сюжета, с другой — от грубоватых комических эффектов, Корнель впервые придал традиционной для комедии любовной фабуле социальный аспект.

Любовь в этих ранних комедиях Корнеля изображается как галантная игра, как светская забава, которую сами действующие лица не принимают всерьез. Корнель раскрывает пустоту и эгоизм своих персонажей, не оправдывая, но и не изобличая их. Он решает психологические и этические вопросы на конкретном социальном фоне, но не осмыслив и не поняв более глубоких общественных предпосылок, которыми они обусловлены, не определив своего отношения к ним. С этим связана его мягкая, сглаженная манера, избегающая гротеска и преувеличения.

Социально-этическая тема — изображение «прециозной» любви и нравов высшего общества дается здесь косвенно, подразумевается, не выступает как предмет сатирического осмеяния и обобщения. В комедиях Корнеля частные судьбы частных людей не перерастают в общественную проблему. *Верное* изображение нравов еще не становится *типическим*, ибо оно остается на периферии социальной проблематики. Лишь тридцать лет спустя та же тема приобретает заостренное сатирическое воплощение в комедии Мольера «Смешные жеманницы». За этот промежуток времени отчетливо проступили характерные социальные черты прециозности как литературного и бытового явления, галантно-прециозные романы дали обильный и эффектный материал для гротескного пародирования, но главное — драматург, обратившийся к этой теме, сумел взглянуть на нее со стороны, глазами сурового критика, беспощадного обличителя общественных недугов. Корнель изобразил *распространенное* явление, Мольер — *социально-обусловленное*. Второстепенная, казалось бы, тема «прециозного» понимания любви утратила свой

частный характер, стала достойной сатирического осмеяния, ибо она выступила в более широком контексте.

Лишь в одной из своих ранних комедий Корнель обращается к острой социальной теме — и в этом случае он действительно вводит «публицистический», авторский элемент. Однако поставленная им тема оказывается преждевременной, случайной, единичной для общественных условий XVII века. Безошибочное умение нащупать закономерную, типичную для современности политическую проблематику определило успех и значение лучших трагедий Корнеля. В комедийном жанре и связанной с ним социальной проблематике это чувство ему изменяет. Так, в комедии «Субретка» (1633) Корнель предвосхищает тематику буржуазной литературы эпохи Просвещения. Центральный образ пьесы — девушка-бесприданница, состоящая компаньонкой при богатой родственнице, активная, практическая, знающая себе цену — это первый набросок тех третьесословных героинь, которых мы в изобилии находим в буржуазной комедии и романе XVIII века. Однако в отличие от них она терпит неудачу — ни ловкость, ни предприимчивость, ни привлекательная внешность не могут обеспечить ей выгодную партию и независимое положение в обществе. В конце пьесы покинутая ветренными и корыстными поклонниками, героиня произносит обращенный к публике монолог, формулирующий безрадостную мораль пьесы: все решают деньги, они опрокидывают естественный ход вещей — юноши следуют не зову сердца, а жадности, старик покупает себе молодую невесту, красота и ум ничего не значат, если нет богатства.

Таким образом, героиня в конце пьесы выступает в роли «резонера», обычно отсутствующего в других комедиях Корнеля. Этот «публицистический» элемент подчеркивает и обобщает основную тему, раскрытую всем ходом действия.

При своих несомненных драматургических достоинствах «Субретка» осталась одинокой в комедийном репертуаре XVII века. Ни тема, ни характер главной героини не нашли отклика в современных условиях. В отличие от Мольера, который умел всегда писать вовремя, Корнель поторопился на сто лет. Когда Мариво писал в 1731 году свой роман «Жизнь Марианны», а драматурги середины XVIII века на все лады варьировали ричардсоновскую «Памелу», о «Субретке» Корнеля никто уже не вспоминал.

* * *

Комедия Мольера представляет существенно новый этап в искусстве классицизма, в частности, в вопросе о типизации она стоит неизмеримо выше всей предшествующей и последующей литературы XVII века. Мольеру более чем кому-либо другому из

французских писателей этой эпохи удалось понять и воплотить ведущие социальные проблемы современной действительности с точки зрения наиболее передового третьесословного сознания. Тематика всех комедий Мольера концентрируется вокруг этих узловых социальных проблем, хотя каждая пьеса в отдельности раскрывает какой-нибудь один особый аспект.

В творчестве Мольера мы видим сочетание «публицистического» и образного элементов. В силу этого Мольер стоит как бы на скрещении различных жанров французской классической литературы. Отдельными сторонами и темами своего творчества он смыкается с публицистами (Паскалем), сатириками (Буало), от него тянутся нити к Ла Брьюеру.

Переключка с жанром стихотворной сатиры особенно заметна в комедии «Докучные» (1662), где элемент публицистический отодвигает на второй план образное раскрытие темы. Сатирическое описание светских нравов дается в виде ряда словесных зарисовок и приобретает самодовлеющий характер. Фабула совершенно формально объединяет серию портретов, иногда «заочных», введенных в сценическое действие лишь в виде рассказа от имени условного героя (в данном случае тождественного с автором).

Однако даже эта описательная характеристика, этот рассказ дается у Мольера динамически — в виде сценки с элементами диалога (в дальнейшем этот прием использует Буало в некоторых своих сатирах — III, VIII, IX; таким образом, влияние жанров оказывается здесь взаимным).

Портреты, нарисованные Мольером в «Докучных», еще не представляют психологически разработанных характеров; обычно они воплощают одну комическую черту (или манию), и лишь совокупность их приближается к социально-обобщенному типу пустого светского фата («докучного»). Метод здесь, таким образом, чисто аналитический, обобщение носит еще механический характер.

В последующих пьесах прием «авторской зарисовки» типов широко применяется Мольером, его собственный голос звучит более откровенно. В «Критике на Школу жен» Мольер еще выступает под псевдонимом «резонера» Доранта, в «Версальском экспромте» — уже под своим настоящим именем. Одновременно с этим сближением и в конечном счете полным отождествлением резонера и автора усиливается публицистический, оценочный элемент комедии.

Вместе с тем «авторская зарисовка» у Мольера принципиально отличается от широко распространенного в то время салонного жанра «литературного портрета», т. е. описательной характеристики определенного конкретного лица. Такие портреты были излюбленными упражнениями светских дилетантов в прециозных са-

лонах,¹ они занимают значительное место и в галантно-прециозных романах (особенно у Мадлены Скюдери), где их назначение — сопоставить псевдо-исторических героев и героинь с современными прототипами — известными лицами великосветского общества. Хотя портреты эти и претендовали на индивидуальное изображение конкретных людей, они оставались чрезвычайно условными и отвлеченными, написанными по одному штампу. Поэтому большинство романов было снабжено так называемыми «ключами», раскрывавшими реальные имена.²

Во второй половине XVII века «литературный портрет» широко входит как составной элемент в эпистолярную литературу. В мемуарах Ларошфуко и кардинала де Рец, в письмах госпожи де Севинье он достигает высокого художественного совершенства, но и в этих лучших образцах сохраняет абстрактный, мало индивидуализированный характер. В какой-то мере техника «литературного портрета» подготовила типовые зарисовки в «Характерах» Ла Брьюера.

Это вошедшее в моду портретирование нередко заставляло современников искать портреты там, где их совсем не было. С легкой руки «романов с ключом» любое произведение воспринималось как слегка завуалированная условными именами хроника великосветской жизни. Так, враги Мольера постоянно обвиняли его в портретном изображении тех или иных влиятельных лиц. Сам Мольер решительно возражал против подобного рода истолкования его комедий. В «Версальском экспромте» он специально останавливается на этом вопросе, попутно раскрывая и свое принципиальное отношение к индивидуальному портретированию в литературе: «Надо быть помешанным, чтобы искать в комедии своих двойников. . . Мольер. . . художник, рисующий нравы и не желающий касаться личностей. . . Почему, скажите, надо непременно приписывать кому-то все эти жесты и выражения и ссорить его с людьми. . . когда все это может быть подмечено у сотни разных лиц? Если задача комедии — изображать человеческие недостатки вообще и главным образом недостатки наших современников, то Мольеру невозможно создать характер, который не напоминал бы кого-нибудь из окружающих» (явл. 4-е). В «Критике на Школу жен» та же мысль выражена еще более отчетливо: «Сатира этого рода высмеивает нравы, и только отраженным образом — личности. . .» (явл. 6-е).

Даже в тех случаях, когда Мольер действительно заимствует отдельные черты, словечки, выражения у тех или иных конкретных

¹ Ср. ироническое высмеивание этой моды в «Смешных жеманиницах» (явл. 10-е).

² См. об этом у: Victor Cousin. La société française au XVII siècle d'après le Grand Cyrus de M^{lle} de Scudéry. Paris, 1858, 2 v.

прототипов, его образ носит обобщенный характер.³ Так, в «Ученых женщинах» комическая сцена ссоры поэта Триссотена и ученого Вадюса (д. III, явл. 6-е) в гротескной форме воспроизводит общеизвестный эпизод из жизни современных литературных салонов — ссору прециозного поэта аббата Котена и ученого филолога Менажа. Сходство с Котеном подчеркивается созвучием фамилий (первоначально персонаж Мольера назывался Трикотен) и методом прямого цитирования: Триссотен читает в качестве своих подлинные стихи Котена (д. III, явл. 3-е). Вместе с тем фигуры эти выходят за рамки индивидуальных портретов — они не представляют для автора самоцели, они не изолированы от других персонажей, а включены в широкий контекст большой сатирической темы — обличения салонной псевдокультуры. Взаимодействие нескольких комедийных образов, единство общего замысла превращает индивидуальный портрет в собирательный сатирический тип.

В этом смысле сатирическая комедия XVIII века обнаруживает существенно иную тенденцию. Отказавшись от обобщенной типизации, подчиненной единой сатирической теме, она сосредоточивает внимание на персональной сатире.⁴ Так, Вольтер в комедиях «Завистник» и «Шотландка» высмеивает своих литературных противников — аббата Дефонтена и журналиста Фрерона. Гротескная фигура последнего лишь поверхностно связана с общим содержанием пьесы, сентиментальной «серьезной» комедии, по типу скорее приближающейся к мещанской драме. Карикатурное сходство с реальным прототипом подчеркивается созвучием имени (Фрерон — в пьесе Фрелон, т. е. «трутень, дармоед»). Сатирическая фигура продажного журналиста, политического доносчика и клеветника, была в высшей степени актуальна в годы, когда была написана «Шотландка» (1760), вскоре после запрещения «Энциклопедии», в атмосфере усилившейся реакции и травли прогрессивных мыслителей, и это до известной степени определило успех комедии. Но образ этот остается более или менее изолированным и случайным, он не поднимается до уровня обобщенных типов мольеровской комедии.

Если мы обратимся к трем главным комедиям Мольера — «Тартюф», «Дон-Жуан» и «Мизантроп», — то увидим, что способы типизации, построения драматического характера, соотношение

³ Вопрос о прототипах мольеровских персонажей занимает большое место в специальной литературе. Сошлемся здесь на книги: A. Tillet. Molière. Cambridge, 1936; P. Emard. Tartuffe. Sa vie, son milieu et la comédie de Molière. Paris, 1932.

⁴ Это убедительно показано в старой, но чрезвычайно богатой по материалу книге: G. Desnoiresterres. La comédie satirique en France, Paris, 1885. Ср. также у: C. Lenient. La comédie en France au XVIII siècle, vol. 2, Paris, 1888, pp. 81 и след.

прямой — авторской — и косвенной характеристик в них совершенно различны. Это ясно выступает при сопоставлении их с близкими по теме произведениями других жанров.

Так, в «Тартюфе» мы обнаруживаем совершенно очевидную тематическую переключку с «Письмами к провинциалу» Паскаля; в свою очередь, на комедию Мольера опирается в своих «Характерах» Ла Брюйер. К этой же теме обращается в стихотворных сатирах Буало. Методы трактовки и подход к материалу в каждом случае имеют свои особенности, но вместе с тем ощущается внутренняя связь и преемственность.

Антииезуитская тема, впервые поставленная со всей остротой в «Письмах к провинциалу» Паскаля, раскрывается с помощью прямых, дословных цитат из сочинений иезуитских теоретиков. «Подлинность» и обилие приводимого материала выступают здесь как своеобразный прием публицистической типизации. Авторская позиция дана не в виде прямой полемики или отрицательной оценки, а в виде нарочито наивных реплик и вопросов «рассказчика» (т. е. условного автора писем), которые провоцируют все новые и все более откровенные разоблачения со стороны его собеседника — иезуита.

Здесь налицо зачатки того метода «отстранения», который получит свое развитие в сатирической повести Просвещения. Через голову классиков XVII века (связанных с Паскалем в другом плане — об этом см. ниже), Паскаль подает руку Вольтеру — автору философских повестей и Комментария к Библии.⁵ Вместе с тем принципиальная грань, отделяющая «Письма к провинциалу» от сатирических повестей и публицистических памфлетов просветителей, определяется именно авторской позицией. У Вольтера рассказчик стоит за пределами изображаемого явления, оно предстает уже объективированным и обособившимся от автора (что, разумеется, никак не снимает его активного, «партийного» отношения). Рассказчик — там, где он вообще дает себя знать, — гораздо более условен, чем автор «Писем», в котором при всей превеличенной наивности мы все же чувствуем самого Паскаля, страстного и заинтересованного участника полемики. Янсенистская основа мировоззрения Паскаля определила идейную ограниченность его памфлета, направленного не против церкви в целом, а только против иезуитов, против их моральной казуистики. В XVIII веке, когда теологическая сторона спора между янсенистами и иезуитами отошла в прошлое и потеряла всякую актуальность, когда иезуиты воспринимались как главные, «монопольные» представители реакционной сути католицизма, книга Паскаля

⁵ Методом прямых ссылок на библейский текст Вольтер широко пользуется с сатирическо-разоблачительной целью и в драме «Саул» (1764).

приобрела объективно более широкое звучание, а его публицистическая манера ретроспективно ощущалась, как нечто родственное сатирическому гротеску просветителей.

В XVII веке публицистическую традицию Паскаля продолжил Буало в своих последних сатирах — XI (1698) и XII «На двусмыслицу» (написана в 1695 году, опубликована посмертно в 1711 году). С Паскалем его связывали янсенистские симпатии и ненависть к иезуитам. Однако несмотря на текстуальную близость к «Письмам», трактовка материала в сатирах Буало существенно отличная. То, что у Паскаля дано как прямая речь иезуита, в XII сатире Буало перелагается и перефразируется александрийскими стихами как обличительная авторская речь. «Документальность» сменяется обобщением. Этому непосредственному и обнаженному выражению авторской точки зрения подчинена вся система стилистических средств: слова, несущие оценочную окраску, синтаксические приемы, рассчитанные на создание риторического пафоса — анафоры, параллелизм, симметрично построенные антитезы, риторические вопросы, перечисления. По своей стилистической манере XII сатира резко отличается от всех предшествующих, написанных в гораздо более спокойном нравоописательном тоне (ср., например, аналогичный по теме портрет ханжи в IV сатире, написанной в 1664 году, одновременно с первой редакцией «Тартюфа» и, быть может, под его влиянием).

В XII сатире слышится гневный голос поэта-обличителя, предвещающий публицистическую поэзию просветителей XVIII века, прежде всего Вольтера.⁶ Разумеется, и здесь сохраняют свою силу те идеологические оговорки, которые были сделаны выше в связи с Паскалем.

По-иному использует традицию Паскаля Мольер. Создавая тип ханжи-лицемера, тайного агента церкви, он вкладывает в его уста доводы, близко перекликающиеся с VII Письмом к провинциалу. Однако идейный замысел Мольера значительно шире — и соответственно шире используемые им художественные средства. Его сатира перерастает рамки антииезуитской темы и приобретает более общий антиклерикальный смысл. Недаром еще современники спорили о том, кого хотел изобразить Мольер в «Тартюфе» — иезуита или янсениста.⁷ Прямолинейно-цитатный прием Паскаля входит лишь как один из компонентов в идейную и художественную структуру мольеровского образа (см. д. IV, явл. 5-е, монолог Тартюфа, обращенный к Эльмире), но не исчерпывает и не покрывает ее.

⁶ Сам Вольтер признал эту преемственность традиции в своем «Послании к Буало» (*Épître à Boileau. Mon testament, 1769*).

⁷ Ср. письмо Расина к Николю от 10 мая 1666 г. Подробнее вопрос о прототипах Тартюфа изложен в книге: P. E m a r d. *Tartuffe. Sa vie, son milieu et la comédie de Molière*.

Образного обобщения и типизации Мольер достигает сочетанием целого ряда приемов. Тут и прямая осудительная авторская оценка с обязательным обобщением данного случая — ее произносит специальный «резонер», стоящий, по сути дела, вне действия. Тут и косвенная характеристика, даваемая Тартюфу «заинтересованными» лицами пьесы и подготавливающая на протяжении целых двух актов его первое появление. И наконец, наглядное раскрытие характера через его собственные речи и действия, составляющие фабулу пьесы.

Мольеру удалось синтезировать в лице Тартюфа разнообразные частные черты, характерные для иезуитов, янсенистов, негласных агентов Общества Св. Даров и официальных служителей церкви. Именно благодаря этому он сумел создать собирательный тип, раскрыв разные аспекты его характера и деятельности — начиная от мелкого вымогательства и пошлого адюльтера и кончая политическим доносом и шпионажем.

Тартюф не только задуман шире и обобщеннее, чем соответствующие типы у Паскаля и Буало, — он раскрыт не описательно, а в действии, в непосредственном столкновении с объектами и жертвами своей деятельности. Буало и Паскаль говорят о возможных выводах из проповедуемой иезуитами доктрины, Мольер показывает ту общественную среду, в которой реально осуществляется эта доктрина, показывает ее фактические последствия. Более широкая постановка проблемы воплощается в более разнообразных средствах сатирической типизации и художественного обобщения.

Даже там, где образное раскрытие темы оттесняется на второй план публицистически-декларативным, обнаруживается идейное и художественное превосходство Мольера над его современниками. Так же как и в «Докучных», «авторский» публицистический элемент его комедии, заключенный в монолог резонера Клеанта (д. I, явл. 6-е), по внешней форме напоминает жанр стихотворной сатиры: отвлекаясь от конкретного частного случая, резонер обобщает его — в этом смысле характерно употребление отвлеченных понятий, выполняющих собирательную функцию. И вместе с тем, несмотря на эту кажущуюся абстрактность, монолог резонера все время соотносит развернутую и обобщенно-типизованную характеристику с тем, что уже известно зрителю о Тартюфе из разговоров других действующих лиц. Тем самым монолог приобретает динамику, «драматичность», не свойственную стихотворной сатире — жанру по преимуществу статичному.

Та же тема по-иному решается в моралистической прозе Ла Брьюера. С жанром стихотворной сатиры ее объединяет «авторская» точка зрения. Вместе с тем психологическое углубление образа у Ла Брьюера вырастает на основе комедийной техники

Мольера с ее тщательно разработанным искусством характеристики. В своем портрете ханжи Ла Брюйер, с одной стороны, отталивается от Тартюфа и, с другой, полемизирует с ним. Он явно стремится снять черты гротескного заострения, которые кажутся ему чересчур грубыми и преувеличенными, смягчить их и придать им больше правдоподобия: «Он (ханжа) не скажет: „моя плеть“, „моя власяница“ (ср. первую реплику Тартюфа, д. III, явл. 2-е: «Лоран, примите плеть, примите власяницу...», — Н. С.), но делает так, что ему и без слов поверят, будто он носит власяницу и бичует себя плетью». «Если ему удастся внушить доверие какому-нибудь состоятельному человеку, который может оказать ему поддержку, он не станет ухаживать за его женой, признаваться ей в любви и т. п.». «Он не будет пытаться получить все его наследство или дарственную на имущество, особенно если речь идет о том, чтобы отнять его у сына, у законного наследника...».⁸

В этой завуалированной, но несомненной полемике с Мольером Ла Брюйер следует классицистическому принципу логического правдоподобия характера. Его ханжа обрисован тоньше, но заметно обеднен по сравнению с Тартюфом — он гораздо безобиднее, масштабы его деятельности уже. Ла Брюйер (как и Буало в XI и XII сатирах) полностью игнорирует существенный дополнительный штрих, введенный Мольером, — Тартюф как шпион и доносчик выпадает из рационалистической схемы «единого» и последовательного, «цельного» характера. Поставив своей задачей дать обобщенный тип лицемерного ханжи, Ла Брюйер сосредоточивает все внимание на морально-психологическом портрете, упрощая или оставляя в стороне социальные связи, придающие образу Тартюфа обличительную силу. Этот метод можно проследить и на других характерах, нередко тематически перекликающихся с комедийными образами Мольера. Социально-конкретизованные, гротескно-заостренные типы Мольера подвергаются в «Характерах» рационалистическому анализу, разлагающему их на составные части, абстрагируются и обедняются.

Особенно заметно эта разница выступает при сопоставлении самого сложного и многогранного образа, созданного Мольером, — Дон-Жуана с соответствующими типами у Буало и Ла Брюйера.

В IV сатире Буало (1664) в числе других примеров «отклонения от разумной человеческой природы» непосредственно за типом ханжи следует краткая (всего шесть стихов) характеристика светского вольнодумца и скептика, для которого «высший закон — его прихоти». Для Буало вольнодумие в религиозных вопросах — факт не мировоззренческий, а моральный.

⁸ La Bruyère. Les Caractères. Hachette, ed. 9-me, Paris, pp. 412, 414, 415.

В «Дон-Жуане» Мольера, написанном всего лишь через год после этой сатиры, образ аристократа-вольнодумца вырастает до большого социального обобщения. Традиционные черты, завещанные испанской легендой и ее последующей обработкой у Тирсо де Молина, переосмыслиются: распутство и безбожие Дон-Жуана из моральных черт становятся социальными. Быть может, нигде Мольеру не удалось так последовательно воплотить социальную обусловленность характера, как в этой комедии. Аристократизм Дон-Жуана выступает во всех разнообразных ситуациях и отношениях, которыми окружает его Мольер: в традиционных сценах с женщинами, в сцене с нищим, в небольшой сценке с кредитором, вскользь намечающей тему будущей комедии «Мещанин во дворянстве».

Внутренняя сложность этого образа, богатство его содержания отражается в способах построения характера: декларативный, «публицистический» способ сближается с образным раскрытием. Если в «Тартюфе» носитель авторской точки зрения — резонер — лишь поверхностно связан с общим развитием действия, то в «Дон-Жуане» в качестве резонера выступает комический персонаж — слуга Сганарель, наделенный самостоятельной характеристикой. В «Дон-Жуане» Мольер использует тот же способ «предварительной» характеристики, подготавливающей появление главного действующего лица, что и в «Тартюфе»: но она не растворена в репликах нескольких персонажей, а сосредоточена в монологе Сганареля (д. I, явл. 1-е). Вместе с тем здесь отсутствует тот элемент формального обобщения (т. е. превращения индивидуальной характеристики в типовую), который заключен в монологе Клеанта в «Тартюфе». Обобщение появляется значительно позже — в V акте — в монологе самого Дон-Жуана, объясняющего Сганарелю причины своего мнимого раскаяния и «обращения». Таким образом, функции резонера частично переданы главному действующему лицу: обличаемый на какой-то момент становится обличителем. На этот раз в монологе Дон-Жуана действительно появляются характерные стилистические приемы публицистической типизации: собирательные отвлеченные понятия, множественное число, безличные обороты, наречия времени («нынче», «теперь»), также несущие обобщающую функцию.

Особенность этой «резонерской» типизации в том, что она тесно переплетается с саморазоблачением, в принципе чуждым классической комедии и составляющим, напротив, характерную особенность трагического жанра. В классической трагедии саморазоблачение, естественным образом вытекающее из психологического самоанализа, обычно составляет высшую точку трагического конфликта. Вместе с тем оно не нарушает психологического правдоподобия образа, ибо тема классической трагедии

поднята над сферой обычных бытовых отношений, сублимирована.

В комедии, действие которой разворачивается в реально-бытовой сфере, саморазоблачение может произойти лишь случайно, невольно, по недоразумению или ошибке, оно приводит к комическим ситуациям, либо существенно нарушает правдоподобие характера (вспомним, как Ла Брьюер, также оперирующий типами и характерами, взятыми из этой реальной, бытовой сферы, устраняет все детали поведения, которые могли бы разоблачить его ханжу).

Сатирические персонажи комедий Мольера могут в конце (а порой с самого начала пьесы, например Жорж Данден) раскаиваться в совершенной единичной ошибке, но они никогда не отказываются от того, что составляет сущность их характера или мировоззрения: Гарпагон не признает пороком скупость, Тартюф — лицемерие, Арнольф (в «Школе жен») — семейный деспотизм и ретроградство (то же относится к соответствующим комическим персонажам «Мещанина во дворянстве», «Ученых женщин», «Многомногого»). Финальная неудача представляется им случайностью, несчастным стечением обстоятельств, они не видят того, что видит публика, автор, резонер, другие действующие лица. Сатирический тип остается верен себе до конца — в этом проявляется классический принцип правдоподобия, принцип цельного, последовательного характера, и в этом же противопоставлении обличаемого обличителям заключен публицистический пафос и назидательный смысл комедии.

Иначе обстоит дело с саморазоблачением Дон-Жуана: в открытом монологе V акта, в котором звучит тема «Тартюфа» (лицемерие как модный порок), в новом аспекте выступает цинизм Дон-Жуана, ставшего из вольнодумца ханжой. Это не противоречит психологическому рисунку образа, а, напротив, обогащает его дополнительными чертами, усложняет его. Вместе с тем саморазоблачение вносит существенно новый оттенок в жанровую специфику пьесы, сближая ее с «серьезным» жанром трагедии.

Дон-Жуан — отнюдь не комический характер, хотя и выступает порою в комических ситуациях (сцена с двумя крестьянками, с кредитором, с отцом). Напротив, смешными выглядят его партнеры и антагонисты. Особенно заметно это в сценах со Сганарелем, несущих основную идейную нагрузку.

Здесь мы вновь наблюдаем частичное совмещение, слияние автора с казалось бы разоблачаемым героем. Когда Дон-Жуан опровергает комически-нелепые разглагольствования Сганареля относительно религии, мы слышим аргументацию самого Мольера — последователя философии Гассенди. Когда же безбожие Дон-Жуана проявляется не в рассуждениях, а в поступках, оно несет на себе явную печать поверхностного аристократического

вольнодумия, более похожего на барскую причуду, чем на философское мировоззрение (см., в особенности, сцену с нищим).⁹

Эта сложность внутренней структуры образа резко выделяет Дон-Жуана не только среди персонажей Мольера, но и на фоне всей французской классической комедии.

При сопоставлении трактовки вольнодумства в мольеровском «Дон-Жуане» и в моралистической прозе Ла Брүйера превосходство великого комедиографа обнаруживается еще более наглядно, чем в случае с Тартюфом. Последняя глава «Характеров» целиком посвящена резкой критике вольнодумцев. Ла Брүйер отрицает вольнодумие как идеологию, растворяет его в отдельных бытовых и моральных явлениях. Аристократическое вольнодумие, по его мнению, лишь маска, прикрывающая разнузданность нравов, приверженность к земным наслаждениям и лень мысли. Знатные вельможи слишком безразличны к серьезным вопросам, чтобы задумываться над ними — этим исчерпывается их неверие. Для одних — вольнодумие дань моде, для других, напротив, способ прослыть оригинальным. Основная мысль Ла Брүйера такова: последовательных, «бескорыстных», убежденных вольнодумцев не бывает; под влиянием болезни, старости, страха смерти или из карьеризма бывшие вольнодумцы превращаются в ханжей. Внешне это превращение напоминает эволюцию мольеровского героя, но осмысление и выводы у Ла Брүйера прямо противоположны: вся глава о вольнодумцах превращается в безоговорочную апологию религиозного мировоззрения и решительное осуждение атеизма.

Одностороннее и враждебное понимание вольнодумия сказывается и на литературной манере Ла Брүйера: с его точки зрения, вольнодумец — вообще не «характер», поэтому вместо целостного, психологически законченного портрета, мы видим лишь отдельные, порою меткие, но частные черты.

Совершенно особым способом соотносятся публицистический и образный элементы в третьей центральной комедии Мольера «Мизантроп» (1666). Здесь основным методом сатирической типизации является характеристика через разговоры других действующих лиц. Прием «предварительной» характеристики, подготавливающей появление главного действующего лица, как бы вывернут здесь наизнанку: главный герой — Альсест дает обобщенную (а иногда и конкретную) характеристику остальных персонажей по мере их появления на сцене.¹⁰

Сюжет, внешнее развитие действия играет подчиненную роль. По сути дела, все персонажи пьесы занимаются тем, что взаимно

⁹ См. об этом в статье А. А. Смирнова «Образ Дон-Жуана у Мольера». («Ученые записки ЛГУ», № 64, 1940, стр. 79—82).

¹⁰ Ср. об этом у: M. Rudolph. Der Aufbau der Komödien bei Molière. Diss., Leipzig, 1928.

характеризуют друг друга — и это, в свою очередь, является их собственной отраженной характеристикой. У второстепенных персонажей она выступает как злословие светских бездельников и сплетниц, как оборотная сторона их притворной учтивости и напускной любезности, у главного героя — Альсеста — как благородный обличительный пафос, утверждающий подлинную правду и искренность человеческих отношений.

Обобщенные морально-философские положения в монологах Альсеста конкретизируются и подтверждаются, с одной стороны, наглядно — поведением других, осуждаемых им персонажей, с другой стороны, той оценкой, которую сами эти персонажи дают друг другу. По сравнению с «Критикой на Школу жен» и «Версальским экспромтом», где прямая характеристика дается обнаженно, устами резонера или от имени самого автора, метод «словесного портрета» заметно осложняется и углубляется. Тем самым меняются функция и место резонера.

Это уже не служебная фигура, не сторонний наблюдатель, стоящий вне действия и лишенный самостоятельной морально-психологической характеристики (как, например, в «Школе жен» или «Тартюфе»). Это и не персонаж, «резонерствующий» эпизодически, как в «Дон-Жуане». Резонер становится центральным драматическим характером пьесы, ее «моральной темой».

Вместе с тем функции резонера выполняет в некотором роде также основной антагонист Альсеста Филит: в связи с характеристиками Альсеста он высказывает прямо противоположные суждения, через которые косвенно раскрывается его собственный моральный облик.

Ни в одной пьесе Мольера авторская позиция не выступает в такой осложненной форме, как в «Мизантропе», и ни один из его персонажей не подвергался такому упрощенно-биографическому истолкованию, как образ Альсеста, зачастую полностью отождествлявшийся исследователями с самим Мольером. Наряду с этим мы столь же часто сталкиваемся в критической литературе с безоговорочной апологией Филита как выразителя авторской точки зрения.¹¹ В «Мизантропе» достигается наиболее полное органическое слияние «публицистического» и образного моментов, синтез прямой и отраженной характеристик, отвлеченной социально-этической проблемы и тщательно разработанного психологического портрета.

¹¹ Эта, по нашему мнению, ошибочная концепция нашла свое отражение и в «Истории зарубежных литератур XVII века» С. Д. Артамонова и Р. М. Самарина (М., 1958, стр. 211—217).

* * *

В трагедии «публицистический» элемент яснее всего выступает у Корнеля в пьесах, трактующих политические темы. В «Сиде» он почти совершенно отсутствует. В «Горации» образный и публицистический методы уравнивают друг друга: основная идея трагедии — становление сильной державы, гражданский и патриотический долг индивидуума по отношению к государству — раскрывается, с одной стороны, через действие и характеры героев, с другой стороны — в монологах, несущих отчетливый отпечаток «авторской» речи. Диалог между двумя антагонистами трагедии — Горацием и Курнацием, спор, в котором выступают две противоположные точки зрения, отражает двойственную позицию самого автора, трагическую неразрешимость поставленной проблемы.¹² Двойственность эта сказалась и в монологе Камиллы, представляющем хрестоматийный образец корнелевского «красноречия» и вместе с тем прямо противоположном по смыслу основной патриотической идее пьесы. Начиная с этой трагедии, в пьесах Корнеля все чаще встречаются обобщенные афоризмы, сентенции в стихотворной форме, представляющие своего рода политический катехизис его времени. Этот прием авторского обобщения в рамках драматического жанра совершенно нехарактерен для Расина.

В «Цинне» публицистический элемент значительно возрастает, получает перевес над образным и даже, в известном смысле, обособляется от него. Это сказывается прежде всего на гораздо более статичном характере действия. Торжество мудрого и милосердного монарха над заговорщиками-республиканцами раскрывается в развитии сюжета, в образах героев и в особенности — в декларативной форме — в программных монологах Августа и его жены Ливии. Но одновременно с этим «авторским» обобщением основной политической темы в «Цинне» выступает и другая идея, казалось бы несовместимая с первой. Она заключена в патетических тиранических монологах республиканцев и резко противоречит отрицательной моральной характеристике этих персонажей. Их слова оказываются убедительнее, чем поступки, приобретают независимое от характера и драматической функции звучание.

В этом смысле «Цинна» не только по теме, но и по своему художественному методу предвосхищает трагедию просветительского классицизма. Вольтер продолжает именно эту, идущую от Корнеля традицию, несмотря на то что сам он в своем комментарии к сочинениям Корнеля подверг его придиричливой и порой несправедливой критике. Напротив, традиция Расина, который всегда оставался

¹² Подробнее об этом см.: Н. А. Сигал. Политическая идеология Пьера Корнеля. «Ученые записки ЛГУ», № 122, 1949, стр. 270.

для Вольтера идеалом трагического поэта, внутренне бесконечно далека от художественной системы Вольтера.

В политических и антиклерикальных трагедиях Вольтера противоречие между драматическим характером героя и его речами проступает гораздо более обнаженно, чем у Корнеля. В век Просвещения психологическое правдоподобие перестает быть эстетической задачей трагедии. Ее смысл — в «публицистическом», по преимуществу декларативном заострении основной политической тенденции или в отдельных злободневных выступлениях, вводимых попутно и не связанных непосредственно с основным содержанием пьесы.

Поэтому в трагедии Вольтера «Брут» изменник Тит произносит такие же пламенные тираноборческие монологи, как его отец, консул Брут, воплощающий республиканскую доблесть и самоотверженность. Поэтому Оросман в «Заире», этот «султан без полигамии», по меткому выражению Лессинга, красноречиво осуждает (с позиций политического публициста эпохи Просвещения) гаремные нравы и сластолюбивых, изнеженных монархов, а условно-мифологический персонаж Филоктет, искусственно введенный Вольтером в сюжет «Эдипа», с пренебрежением говорит о своем царском происхождении, которому он противопоставляет личные заслуги.

Той же публицистической задаче подчинен у Вольтера и прием «саморазоблачения», о котором говорилось выше в связи с комедией.

У великих трагиков XVII века «саморазоблачение» было одним из способов отраженной характеристики, но каждый использовал этот способ по-разному в соответствии со своим пониманием трагического характера, смысла и назначения трагедии. У Корнеля «саморазоблачение» создает трагическую гиперболизацию образа, подчеркивает его «величественность», исключительность, к которой неприменимы обычные повседневные этические критерии (например, Клеопатра в «Родогуне»). Такой герой, согласно теории Корнеля, должен вызывать ужас и одновременно восхищение «величием своей души».

У Расина, напротив, «саморазоблачение» способствует психологическому углублению образа, обнажает смятение и бессилие героя перед властью его собственных страстей, делает даже исключительное правдоподобным и в конечном счете приводит к этическому оправданию героя. Это целиком отвечает эстетической концепции Расина — трагедия должна воздействовать прежде всего через сострадание.

Ничего подобного мы не видим в просветительской трагедии Вольтера. Если попытаться свести к одному слову ее главную цель, то это не ужас и сострадание (как у Аристотеля), не восхищение

(как у Корнеля), не сострадание (как у Расина), а негодование. Поэтому основным приемом воздействия становятся обличительные тирады. Их должно быть как можно больше, они должны произноситься как можно чаще, даже если это противоречит психологическому рисунку образа. Поэтому Магомет у Вольтера сам себя называет честолюбивым самозванцем и обманщиком, строящим свое могущество на людских заблуждениях и на жестоком преследовании своих врагов (д. II, явл. 4-е, 5-е, 6-е). Драматург-публицист не может ждать еще три акта, пока разоблачение наступит в ходе развития самого сюжета. Его нетерпеливая публика, привыкшая видеть в театре общественную трибуну, ждет лозунгов, оценочных формул, афоризмов, выражающих основную тенденцию пьесы. Искусство рационалистического анализа характера уже не соответствует напряженному пульсу общественной жизни во Франции XVIII века. Гармоничная и целостная, глубоко продуманная структура психологической характеристики, выработанная классиками XVII века, постепенно распадается, ибо она не в силах вместить нового усложнившегося содержания современной действительности. Приближение к конкретным требованиям и запросам времени, к актуальной политической проблематике неизбежно вступает в противоречие с традиционной формой.

Более прямолинейным, публицистически заостренным становится в трагедии эпохи Просвещения и преломление исторического материала, его соотнесенность с современностью. Правда, уже Корнель отбирал исторический материал для своих трагедий в соответствии с тем конкретным политическим содержанием, которое диктовала ему политическая действительность его времени. Но эта связь была у него не поверхностной, а внутренней, органической. Ограниченность исторического мышления, с одной стороны, эстетические нормы классицизма, с другой, не позволили Корнелю отразить действительность в непосредственно присущих ей формах. Обобщение он мыслил только в форме исторической трагедии, ибо эта форма давала ему искомое единство абстрактного и конкретного, частного и общего.

Метафизическое мышление его эпохи еще не видело исторического движения и развития. Оно устанавливало аналогию отдельных политических ситуаций, героев, расстановки политических сил и проблем и осмысляло это сходство как некую закономерность, «вечную» и универсальную для всех времен и народов. Это давало повод для перенесения современных событий, конфликтов, героев в историческую обстановку далекого прошлого.

Подобно другим писателям классицизма, Корнель пытается воплотить в драматической форме общезначимые и универсальные, по его мнению, вопросы, но вместе с тем отказывается полностью

абстрагироваться от конкретно-исторической формы проявления типического. Поэтому отдельные случаи «портретности», сходства его героев с современными политическими деятелями отнюдь не являются сознательной модернизацией истории.¹³

Точно так же нельзя считать модернизацией «Эсфирь» и «Гофолию» Расина, хотя уже современникам были совершенно очевидны и персональные аналогии, и сходство общей ситуации. Политическая тема, подсказанная Расину современными условиями — усилением деспотического режима Людовика XIV и религиозными гонениями против янсенистов и протестантов, нашла свое воплощение в библейском материале. И не случайно Расин, обычно не прибегавший к публицистическому заострению, остававшийся «нейтральным», скрытым за своими героями, на этот раз громко и отчетливо произносит приговор жестоким и несправедливым монархам. Монолог Иудея («Гофолия», д. IV, явл. 3-е) формулирует в обобщенной форме идею его трагедии.

Трагедия просветительского классицизма гораздо более непосредственно откликается на современную проблематику. Рост общественного самосознания в предреволюционной Франции требует от драматургов более злободневного и конкретного воплощения политических вопросов. Традиционная классическая система жанров наполняется новым содержанием, старые формы становятся все более условными. Историческая тема в трагедии выступает лишь как прозрачная маскировка современности, приобретая тем самым чисто формальную, служебную функцию. Философско-историческое обобщение политической темы переносится из трагедии в область собственно исторических трудов.

Одновременно с этим распадом старой эстетической системы на первый план выдвигаются новые формы и жанры, вызванные к жизни более многообразными и сложными явлениями современности. Философские повести и романы Вольтера представляют специфическую для Просвещения форму сатирически-обличительного воплощения действительности.

¹³ Эту модернизацию нередко усматривают в таких пьесах, как «Никомед», «Дон Санчо Арагонский». Ср.: W. Krauss. Corneille als politischer Dichter. Diss., Marburg, 1936.

Г. А. ГУКОВСКИЙ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В 1730—1750-е ГОДЫ

1

Первые десятилетия XVIII века в истории русской культуры и, в частности, литературы — это время переходное, время ломки и первых еще неоформившихся попыток подойти к строительству новых систем искусства. Только к тридцатым-сороковым годам определяются основания, на которых русские писатели начинают строить послепетровскую традицию литературной культуры, ту традицию, которая разовьется впоследствии и образует понятие «новой русской литературы». Это была традиция литературной практики и литературной теории одновременно, и она же породила литературную критику в России.

Разумеется, строительство нового литературного сознания не могло протекать на пустом месте, и оно не отрывалось от наследия предшествующих поэтических систем.

В процессе формирования этой традиции русская литература имела возможность использовать не только наследие и опыт многовековой литературы допетровской Руси, не только уже имевшееся теоретическое наследие русской и украинской поэтики и риторики XVII века, но и обширные данные, предоставленные ей всем европейским развитием литературной мысли от Аристотеля до эстетиков и критиков Запада, современных Ломоносову. И она в полной мере использовала все эти материалы. Русские литераторы уже в первой половине XVIII века знали теоретическую и — для нового времени — критическую деятельность своих западных соседей. Это знание помогло им не только стать на уровень передовой мысли своей эпохи, но и определить свою собственную позицию в вопросах искусства. Как это было и позднее, европеизм, в лучшем смысле этого слова, не только не помешал развитию самобытности в русском критическом движении XVIII столетия, но и способствовал этому развитию. И во времена Тредиаковского и Ломоносова русские писатели-критики внимательно изучали своих предшественников и современников в данной области, — но и Тредиаковский,

и Ломоносов, и Сумароков мыслили в вопросах литературы самостоятельно как русские писатели, и именно потому как знатоки западной литературной теории и практики и именно потому как сознательные творцы своего художественного мировоззрения.

Историю формирования, развития и самоопределения критической мысли и деятельности в России XVIII века следует, начиная с 30-х годов, разделить на три основных этапа, хотя и тесно сплетенных друг с другом на своих хронологических переломах, но все же различимых вполне явственно, каждый в своей специфической значимости и в своей исторической функции.

Первый из них занят главным образом созданием необходимых предпосылок для роста новой русской литературы. Он занят расчисткой поля, площадки для построения здания словесного искусства, идейно и художественно соответствующего содержанию и движению самого бытия русского общества в условиях новой государственности послепетровского времени. Он занят определением основ, материалов и принципов, из которых и на базе которых могла и должна была строиться новая русская литература и, следовательно, русская литературная критика. Роль этого первого периода велика. Ясная постановка основных вопросов литературы и глубокое научное решение их в этот период предопределили пути всего дальнейшего развития русской критической мысли. Пусть это были пока еще несколько абстрактные решения и предварительные разработки вопросов: в них были уже заложены зерна будущего расцвета углубленных и развернутых систем. Этот первый период охватывает время деятельности Тредиаковского, Ломоносова и, в значительной мере, Сумарокова, хотя последний принадлежит отчасти к второму периоду. Иначе говоря, первый период занимает по преимуществу время с 1730-х по 1750-е годы, но тенденции его мы наблюдаем вплоть до 1770-х годов.

Второй период относится главным образом к 1760—1780-м годам, и он тесно связан с третьим периодом, падающим на конец XVIII века и захватывающим первые годы следующего столетия. Второй период характеризуется критической работой учеников Сумарокова, Новикова (точнее — журналов Новикова), Фонвизина, затем Крылова, Радищева, наконец, Муравьева и их современников, тогда как третий период начинается наиболее выразительно и отчетливо Карамзиным и продолжается в деятельности Мерзлякова, Жуковского и других критиков начала XIX века.

Второй период русской критики XVIII века занят, в основном, размежеванием и самоопределением литературно-эстетических систем, дифференциацией литературной мысли и обоснованием идейных течений в ней. Третий период принес завершение всего процесса созидания профессиональной, идейно обоснованной кри-

тики как особого вида литературно-творческой деятельности; он принес и определение самих форм русской критики в том их виде, который станет господствующим в XIX столетии.

2

Русская критика 1730—1750-х годов отличается от последующих этапов своего развития даже внешне, самым характером выявления критической мысли, самым количеством и характером деятелей критического движения, так же как и формами критической работы. В этот период поступательный ход критики осуществляется не многочисленными группами литераторов, а всего несколькими писателями, основными двигателями самой литературы, в свою очередь сосредоточенной в руках этих же немногих писателей, главным образом — Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова. Это именно писатели, практики творчества, создающие новую русскую литературную традицию. В качестве писателей они больше всего и прежде всего заняты работой в области поэзии, поскольку мышление первой половины XVIII века понимало литературу как поэзию, а прозе уделяло либо место и функцию научной формы речи (история, политический трактат, естественные науки, философия и т. п.), либо функцию общественного выступления, ораторства (публичная речь, устная публицистика), либо, наконец, роль второстепенной, вульгарной литературы, вызывавшей осуждение или некоторое презрение передовых и серьезных людей (роман, повесть). Писатель еще в середине XVIII века — это по преимуществу поэт. Речь высокой, идейно-ответственной письменной литературы для этого времени — это стиховая речь, «язык богов», поэзия. Даже серьезная проза, например проза публичных речей Ломоносова и Тредиаковского или проза их же исторических работ, подчиняется нормам и законам стихотворной речи, предстает как поэтическая проза, построенная на семантических, синтаксических, даже композиционных принципах стиха, отличаясь от него отсутствием регулярного ритма.

Критики первого периода XVIII столетия — это поэты. Это — те многосторонние деятели русской литературы, каждый из которых принимал на себя гражданский долг творить литературную культуру своего народа и своего времени во всех ее проявлениях, признанных им, данным поэтом, ценными, важными, необходимыми для роста отечественной славы и просвещения. Их немного, но все они усердно и даже страстно занимаются всем в области литературы. Они пишут стихи, драмы, прозу — речи, исторические труды; они же — теоретики литературы, и они создают как капитальные труды, так и многочисленные частные работы, заключающие принципиальные обоснования их собственного поэтического творчества и сводки указаний для своих учеников или преемников. Иной раз

трудно решить, что для них первично и что является приложением, комментарием или иллюстрацией в их трудах. Стихи Тредиаковского фигурируют в качестве примеров, иллюстраций и образцов в его теоретических работах по стиху, жанрам и т. д. Так же обстоит дело и у Ломоносова, впервые печатающего свое знаменитое «Вечернее размышление» в «Риторике» в качестве примера одного из видов композиции «расположения по силлогизму» (§ 270) наряду с многим множеством других таких же примеров из своих же произведений. Сумароков пишет стихи, долженствующие доказать определенные его положения по поводу рифмы, притом положения полемические. Все три поэта вступают в поэтические состязания, стремясь своей творческой практикой подтвердить и укрепить свои теоретические положения в области поэтики и эстетики. Тот же Тредиаковский сочиняет обширные статьи об истории и теории отдельных жанров, заключающие и общие концепции поэзии, в качестве предисловий к своим поэтическим произведениям, в качестве обоснования их и комментария к ним, в качестве своеобразного автоисследования и автокритики; так он присоединяет к своей оде на взятие Гданска «Рассуждение об оде вообще», пишет к своему переводу «Евнуха» Теренция «Рассуждение о комедии вообще», предпосылает своей «Тилемахиде» весьма обстоятельную статью «Предъизъяснение об ироической пииме» и т. д. Так же и Ломоносов, посылая в Петербург свою первую самостоятельную ямбическую оду, сопровождает ее теоретическим обоснованием — «Письмом о правилах российского стихотворства»; он же пишет знаменитую и для него существенно важную статью о стиле (о трех штилях) в качестве принципиального пояснения, декларации и полемического комментария к своим стихам, и помещает ее перед первым томом своих сочинений (1757) в качестве «Предисловия о пользе книг церковных в российском языке». Пожалуй, не было другого периода в новой русской литературе, когда поэт и теоретик, писатель и ученый-литературовед, художник и учитель литературы так необходимо и прочно сливались бы вместе — в облике всех деятелей, определявших развитие литературы (то же относится и к А. Д. Кантемиру, автору трактата о стихе и автору огромных примечаний к своим собственным стихотворениям). В это время писатель непременно занимался не только творчеством, но и пояснением принципов своего творчества, научным обобщением его. И само творчество поэта, и работа его как теоретика явно имели в виду гораздо меньше самораскрытие его как человека, чем построение отечественной культуры; поэзия — личное дело могло обойтись без доказательств ее правомерности; но поэзия, творимая как база национального просвещения, была делом общественным и нуждалась в доказательных обоснованиях для своего признания.

Поэты-теоретики первой половины XVIII столетия непременно были в то же время и филологами, грамматиками, исследователями русского языка и его кодификаторами. Творя новую поэзию, они тем самым творили новый литературный язык, — из стихий, смешавшихся во время петровского культурного переворота и в период его подготовки. Роль языкотворческой работы Кантемира Тредиаковского, особенно же Ломоносова и Сумарокова невозможно переоценить. Они создали предпосылки для существования новой русской литературы, разработав для нее языковые формы и начав то дело построения современного русского литературного языка, которое завершил и увенчал Пушкин. Они создали эти предпосылки и как практики литературного слова, и как законодатели его, исследователи и теоретики. Они погружались в изучение русской речи, и впервые, иной раз недостаточно веско, иной раз весьма глубокомысленно, устанавливали ее законы, правила. Они ожесточенно спорили друг с другом по поводу каждой детали нормы литературной речи, по поводу каждой буквы в нормах правописания; все это было для них и для их эпохи очень и очень важно. Им надо было создать высокоразвитую литературу, немыслимую без высоко развитого и приведенного в систему литературного языка, и наоборот: новая культура остро нуждалась в систематизации, разработке языка, немыслимой без творений поэзии. Трудно иной раз решить, была ли для них грамматика обоснованием творчества, или же, напротив, творчество — лабораторией языковых опытов, демонстрацией грамматических систем, иллюстрацией их, или же методом массовой пропаганды языковых норм, методических материалов для усвоения их русской культурой. Поэтому-то, говоря о поэзии, все они так много, внимательно и пылко говорят о языке. Поэтому-то они так нетерпимы ко всякой языковой форме, которую они толкуют как неправильную, препятствующую нормальной выработке единого литературного языка. Поэтому-то они так много пишут по вопросам языкознания: достаточно вспомнить хотя бы капитальнейшее и ученийшее исследование Тредиаковского под названием «Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи», или его же историко-мифологическое исследование — «Рассуждение о первенстве словесного языка пред тевтоническим», или же ряд его конкретных изучений вопросов терминологии, написания по-русски античных имен и многое другое. Достаточно вспомнить «Российскую грамматику» Ломоносова, другие его грамматические работы, а также ряд статей на эти же темы Сумарокова.

Первый период русской критики XVIII столетия — это время деятельности нескольких крупнейших творцов литературы и теории литературы, создателей норм литературного языка одновременно. В общий комплекс их литературно-филологической работы входила,

разумеется, и литературная критика, анализ произведений писателей как русских, так и иноземных, как современников, так и поэтов прошлого. Впрочем, они немного, сравнительно, писали работ, специально посвященных критике. Это объясняется именно тем, что критика входила для них в весь комплекс литературно-идеологической деятельности. Поэтому мы находим оценочные и критические суждения и рассуждения в их общетеоретических работах, в тесном переплетении с научными, историческими и нормативными суждениями в области литературы и языка, в их предисловиях, полемических произведениях, в трактате о стихосложении Тредиаковского, в полемике Ломоносова, в литературной публицистике Сумарокова, в его же дидактических и сатирических стихотворениях. Мы находим их и в переписке Ломоносова, Сумарокова (писем Тредиаковского до нас дошло чрезвычайно мало). Эта переписка, также входившая иной раз в сумму литературно-ответственных работ писателей (см., например, письма их к И. И. Шувалову), отражала, с другой стороны, многочисленные устные беседы их между собой и со своими единомышленниками и учениками. Ведь их, писателей, теоретиков, филологов и критиков, было еще мало; круг активных участников литературного процесса был очень узок — все они были наперечет. В этом кругу, охватывавшем всех интересовавшихся серьезной и высокой проблематикой литературы и понимавших серьезный разговор о ней, рукописная эпиграмма могла заменить печатную статью, да и вообще не всегда ощущалась потребность в опубликовании критической работы через печать: рукописные списки, даже немногочисленные, доводили текст произведения до всех, кому он был предназначен. Более того, даже устное изложение мнений, теорий, суждений писателя было едва ли не достаточно в этом смысле, — и оно доходило до большинства заинтересованных лиц, поскольку почти все они могли собраться в одном зале заседания — в Академии наук или в Московском университете, поскольку все они были лично знакомы друг с другом, встречались, беседовали, спорили, устно осущестляли и теорию, и полемику, и пропаганду своих взглядов. Характерно, что немногочисленные работы, специально посвященные литературной критике, дошедшие до нас от этого периода, большей частью не были напечатаны при жизни их авторов: критика оставалась если не устной, то рукописной, ограничивалась тем, что несколько корифеев литературы обменивались взаимными разборами произведений; сюда относится обширнейшая статья Тредиаковского о произведениях Сумарокова, как и ответ на нее Сумарокова; сюда относится и развернутый сумароковский разбор оды Ломоносова 1747 года. Впрочем, не была напечатана при жизни Сумарокова и его статья о французских трагедиях XVII—XVIII столетия, написанная в форме письма к Вольтеру. Большинство литературно-полемиче-

ских кратких атак и контратак в стихах и прозе, в которых нашла свое выражение литературная борьба корифеев литературы этого времени, тоже не проникло в печать при их жизни. Однако все эти произведения были хорошо известны и участникам полемики, и всем интересующимся литературой, и свое полезное дело сделали, цели своей достигли. Они способствовали разработке критических, эстетических идей и понятий, обосновывавших развитие русской литературы XVIII века.

3

Еще более чем внешними формами своего существования отличается от последующих периодов русская критика 1730—1750-х годов теми задачами, которые стояли перед нею и которые она разрешала. Эти задачи вытекали из основного характера и функции критики тех лет — из того, что это было время закладывания основ новой, реформированной русской литературы послепетровской эпохи.

Прежде всего перед русскими писателями-критиками этого периода стояла задача добиться национального самоопределения своей литературной, эстетической, критической традиции и культуры. Эта задача вытекала из общей постановки проблем русской культуры, завещанной петровским временем своим наследникам. Русская новая государственность, реформировав свое бытие, должна была усвоить все завоевания и все формы передовой культуры современной Европы, но при этом не утратить своего национального лица и достоинства. Русские деятели этого времени превосходно отдавали себе отчет в ответственности этой задачи создания русской новой культуры как европейской или, наоборот, усвоения европейской культуры в целях укрепления и углубления своей национальной традиции. Ни о каком слепом преклонении перед Западом не могло быть и речи, ни по отношению к Феофану Прокоповичу, соратнику Петра, ни по отношению к его преемникам — Тредиаковскому, Ломоносову и Сумарокову. Знаменитая строфа Ломоносова о русских юношах-ученых — с призывом доказать, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать», — эта строфа была изложением кредо не только Ломоносова, но и Тредиаковского и Сумарокова. Они могли расходиться и спорить, иногда ожесточенно и даже озлобленно, по вопросу о том, как разрешить проблему укрепления национальной традиции в условиях общеевропейского обмена культурных ценностей, в условиях новой государственности и нового просвещения общеевропейского образца; они могли быть несогласны в ряде частных содержаний понятия национальной литературы в этих условиях; но они были едины в основном, в главном — в определении самой задачи. Их критическая деятельность была направлена

на утверждение национального значения русской литературы. Эта задача была неразрывно связана для них с проблемой утверждения права на полноценную культурную самостоятельность русского литературного языка.

Двусторонняя тенденция прославления своей национальной литературы и языка необходимо стояла в XVI—XVIII веках перед всеми ведущими национальными культурами Европы, — в то время, когда в формах укрепляющегося абсолютизма окончательно утверждали себя государственные единства европейских наций. Еще на заре Возрождения Данте поднял знамя «вульгарного», т. е. народного итальянского языка, как символа национальной культуры, противостоящего нивелирующему космополитизму латыни. Высокое Возрождение во Франции, в XVI столетии, выдвинуло как свой манифест и свою задачу книжку Дюбелле «Защита и прославление французского языка». Классицизм XVII века, из Франции распространившийся — в основном уже в XVIII столетии — в Германии, Англии и Италии, опирался на концепцию узуальной речи «лучших людей» данной нации, определяющей право нации на культурное равенство не только с наиболее развитыми культурами современности, но и с античными культурами, признанными высокой нормой. Здесь вскрывается существенная черта всего этого умственного движения, нормативного и самоопределяющего нацию одновременно. Абсолютистская дисциплина, подчиняющая индивидуальность и человека и народа единству абстрактного идеала государственности, требовала снятия своеобразия народной культуры, отказа от исторически сложившихся форм культурного бытия — во имя наложения на них уз «разумных», однажды навсегда и для всех народов предписанных законов подчинения. С другой же стороны, самый идеал государственности ставил своей задачей укрепление мощи данного национального единства и, следовательно, требовал утверждения прав этого единства на высшие формы культуры. В результате этих двух тенденций сложилась прочная концепция, одновременно и прославлявшая национальную культуру — и ее выражение, язык — и подчинявшая ее единой для всех наций норме «разумных» законов. Каждая национальная культура стремилась доказать, что она имеет право на самостоятельность, но эта самостоятельность понималась как равенство и даже тождество норм с высшими проявлениями культуры, уже достигнутыми человечеством, с «образцами», принятыми для всех культур. Так греки и римляне дали, согласно этой концепции, высшие образцы национальной культуры, и для того чтобы стать наравне с ними в высоком развитии своей культуры, каждая нация должна по-своему повторить их нормы. Так «подражание» античной литературе и античным языкам обосновывало еще для Дюбелле, как потом и для Буало и для Расина, национальную независимость

французской поэзии. И даже в XVIII веке французские теоретики, поднимавшие бунт против преклонения перед античностью, доказывали не столько право французского поэта писать по другим законам, чем законы античного искусства, сколько его право считать французскую поэзию столь же ценной, как и античная, и имеющей свои особенности в пределах единой нормы прекрасного. Таким же образом в XVIII столетии немецкие литераторы «прославляли» свой язык и свою литературу, подводя их под нормы уже и античной и французской филологической и эстетической культуры.

Это и была концепция «странствования Муз»: Музы — всегда и повсюду те же; но они озаряют своим светом последовательно то одну, то другую страну. Они жили в Греции, в Риме, затем посетили Италию, затем Францию, наконец, — полагал Тредиаковский, — они явились в Россию, и русская поэзия оказалась достойной принять их закон («Эпистола к Аполлину», 1735), и орудие поэзии, русский язык оказался достойным воплотить высшую степень умственной культуры. Отсюда и своеобразное сочетание у русских писателей-критиков первой и даже нередко второй половины XVIII века страстного стремления утвердить величие своего языка, своей поэзии, своего народа — творца и того и другого, — и формы этого утверждения — через приравнивание их высокого достоинства другим, уже ранее «прославившимся» культурам. Поэтому, когда Сумароков называет Ломоносова — «он наших стран Малерб, он Пиндару подобен», он хвалит его, как поэта, сравнившего русскую поэзию с высокими нормами поэзии французской и греческой; и здесь было одинаково важно и приравнивание Ломоносова Малербу и Пиндару, и то, что Ломоносов объявлялся Малербом «наших стран», т. е. явлением именно русской культуры, самостоятельно равной другим высоким культурам. Тот же смысл имели ходовые похвальные обозначения русских поэтов иноземными именами — как бы знаками высших норм в их применении к русской национальной литературе; так, Сумарокова называли русским Расином, Хераскова — русским Гомером, и даже еще Державина — русским Горацием, хотя индивидуального сходства между Херасковым и Гомером, так же как между Державиным и Горацием, вовсе не было, да никто и не предполагал такого сходства.

Задачу «защиты и прославления» русского литературного языка выдвинул еще Тредиаковский. В своей декларативной и программной речи 1735 года при открытии «Российского собрания», мыслившего им как некий русский аналог Французской академии, он говорил: «Не думаете ли вы, что наш язык не в состоянии находится быть украшаем? Нет, нет, мои господа; извольте отложить толь неосновательное мнение. Посмотрите, от Петра Великого лет, обратившись на многие прошедшие годы, то рассудив,

увидите ясно, что совершеннейший стал в Петровы лета язык, нежели в прежде его бывшие. А от Петровых лет толь отчасу во многих писателях приятнейшим оной становится, что нимало не сомневаюсь, чтоб великия Анны в лета к совершенной не пришел своей высоте и красоте». Здесь нет, конечно, мысли об историзме, о вечном движении и постоянном прогрессе языка, как и культуры вообще. Тредиаковский думает, что есть заранее данная норма достоинства, совершенства языка; есть языки необработанные «разумом», и они стоят ниже этой нормы; но можно поднять такие языки до уровня нормы, и тогда их движение может остановиться. Это можно сделать лишь с языками, достойными нормализации; русский язык, язык великой страны, достоин ее. Вожла, Французская академия со своим словарем, французские поэты от Малерба до молодого Вольтера, законодатели «вкуса» (т. е. норм) во главе с Буало, — затем Готшед со своими учебниками филологии и поэтики, его единомышленники в журналах его направления показывают путь «украшения» языка, — а предел его указан латинской грамматикой, риторикой, — от Квинтилиана до Скалигера и их популяризаторов более поздних времен. Позднее, в 1744 году, в «Слове о витийстве» Тредиаковский писал: «Всегда удивляться чужому искусству, а собственных сил не отведывать и о собственном искусстве не стараться — знак есть незнания и лености или, по крайней мере, ненадеяния к сделанию равного, хотя бы уж и таково, которое бы весьма мало не равнялось. Но и вы, о! дражайшие россияне, сделайте либо еще и плодоноснейшее и полезнейшее и изящнейшее и высочайшее, ежели о том всякими мерами, неусыпным прилежанием, всеми, наконец, силами, денно и ночью... потяться и благоволите».

Эту же в сущности линию «защиты и прославления» русского языка, — и с ним литературной культуры вообще, — продолжил Ломоносов, шедший в этом направлении дальше Тредиаковского. Тредиаковский надеялся, что неусыпными трудами русских филологов и писателей можно будет вскоре приблизить русский язык к норме. Ломоносов утверждал, что русскому языку уже свойственно высшее достоинство, более полно выраженное, чем в каждом из отдельных языков других литератур и наций. В посвящении «Риторики» 1748 года он писал: «Язык, которым Российская держава великой части света повелевает по ее могуществу, имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает». В наброске плана филологических исследований Ломоносова предусмотрены главы или отдельные труды на темы о преимуществах, о чистоте и о красоте российского языка. В наброске статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» опять говорится: «Красота, великолепие, сила и богатство российского языка явствуется довольно из книг, в прошлые века

писанных...». Наконец, эту же мысль Ломоносов развил в посвящении — предисловии к «Российской грамматике»: «Повелитель многих языков, язык Российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему трудов прилагали...». В русском языке объединились — «великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италийского, сверх того богатство и сильная в изображениях краткость греческого и латинского языка... Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Virгилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Точнейшие философские воображения и рассуждения, многообразные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях — имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем. Кто отчасу далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле или лучше сказать — едва пределы имеющее море».

Таким образом, создавая свой панегирик родному языку, Ломоносов, однако, не мыслит установить его принципиальное своеобразие, не характеризует его, как систему, отличную от других языков, а аргументирует его достоинство тем, что ему свойственны те же достоинства, что и другим культивированным языкам, т. е. подводит его под критерии нормы, общие языку культуры вообще. Он полагает при этом, что общая норма речи механически сложена из отдельных достоинств, — эти достоинства порознь достигнуты языками и писателями Запада, — и сумма их всех заложена в русском языке. Очевидна связь такого понимания речи, нормы и эстетики языка с теоретическим мышлением как позднего Возрождения, так и классицизма. Отсюда же убеждение Ломоносова в том, что разработка национального языка должна быть предвидима «общим философским понятием о человеческом слове», т. е. стремиться подчинить национальные формы речи морфологической, синтаксической, а наипаче семантической норме, принятой как «разумная» дедукция логических начал для всех языков.

Концепция Ломоносова повлияла на представление о русском языке Сумарокова. Но с годами он все более выдвигал мысль о том, что богатства русского языка оказались неразработанными вследствие «невежества», небрежности, неумения русских писателей 1760—1770-х годов. Таким образом, Тредиаковский предска-

зывает расцвет «прославленной» в духе Возрождения и нормализованной в духе классицизма русской литературной речи, Ломоносов утверждает этот расцвет, Сумароков в поздние свои годы горестно констатирует упадок ее; это движение данной темы в пределах 1730—1770-х годов довольно точно выражает подготовку русского классицизма в его теоретическом осознании, как и в его поэтической практике, и затем его быстрый спад под давлением новых предромантических идей, победно вторгавшихся в русскую литературу уже со второй половины 1760-х годов (комедии Лукина, 1765; роман «Письма Эрнеста и Доравры» Эмина, 1766).

Еще в эпистоле о русском языке 1747 года Сумароков писал:

«Довольно наш язык в себе имеет слов,
Но нет довольного числа на нем писцов» (т. е. писателей)

или:

«Язык наш сладок, чист и пышен и богат;
Но скупо вносим мы в него хороший склад».

Мысль о том, «что не имеем мы богатства языка» — «дика»,

«Лишь просвещение писатель дай уму, —
Прекрасный наш язык способен ко всему».
(Письмо «О стихотворстве»).

К семилетнему Павлу, наследнику престола, Сумароков обращается в 1761 году: «Вникай во природный свой язык, который естеством и древностью прекрасен... Учися прилежно чужим языкам, но к своему еще больше прилепляйся» («Слово Павлу Петровичу»). «Я люблю наш прекрасный язык», — писал Сумароков («К несмысленным стихотворцам»). Но в 1770-х годах он настойчиво повторяет мысль о том, что русский язык и литература гибнут, уже погибли, предав нормы 1750-х годов. «И язык наш и поэзия исчезают, а зараза пиитичества весь российский Парнасс невежественно охватила, а я истребления оному (злу) более предвидети не могу, жалея, что прекрасный наш язык гибнет» («Некоторые строфы двух авторов»); или «Что родится и произведет нашим потомкам от бесчисленных нынешних наших невежественных умствований? Все конечное нашему прекрасному языку разрушение, ежели паче чаяния сие гордое невежество многими летами продлится и великими авторами и искусными грамматистами не исторгнется» («О стопосложении»). Однако эти и подобные мрачные замечания Сумарокова, относящиеся к 1770-м годам, выходят за пределы первого периода развития русской критической мысли XVIII века; это был тщетный протест писателя, пережившего расцвет в предшествующие годы и не приемлющего новых явлений молодой литературы, обступившей его старость.

Вторая задача, стоявшая перед критикой 1730—1750-х годов, тесно связанная с первой, — это была нормализация литературы,

языка, литературного и филологического мышления в России, введение их в систему, обоснование их законами, твердыми и ясными канонами эстетики и языкознания. Эта задача была необходимым отражением общего содержания государственной жизни русского народа в первой половине XVIII столетия. Личность и масса подчинились нормам закона, правительственной схемы, подчинились целенаправленному устремлению государства, воплощенного и в Петре, и во власти вообще. Дисциплина, норма стали основой силы страны, ее поступательного хода, принципом ее обновленного бытия. Отказ от центробежных и произвольных тяготений лиц, местных, провинциальных стремлений и традиционных групп общества во имя национально-государственного единства и единообразия принимал формы преклонения перед общим и абстрактным, логическим и надчеловеческим законом государства. Возникла внутренняя необходимость регламентировать, узаконить, ввести в норму, подчинить государственным, общенародным задачам и формам и культуру, и ту область ее, где стихийность, непреднамеренность, эмоциональный произвол могли быть особенно сильны, — искусство, прежде всего — литературу, поэзию. В этом тогда заключалось условие прогресса литературы. Необходимо было сделать ее системой, введя ее тем самым в круг явлений государственного подчинения и гражданского бытия. Для этого необходимо было разработать, обосновать, уточнить и ясно как закон сформулировать нормы, правила литературы, добиться законопослушности искусства как искусства нового русского государства. Это тоже был процесс, пройденный и другими национальными литературами Европы в XVII—XVIII веках, процесс, исторически закономерный, породивший общеевропейское движение, обозначенное историей литературы именем классицизма. И вот Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков заняты самоподчинением, выдвижением нормы в качестве критерия творчества; они добровольно отказываются от творческого произвола своей личности во имя своей концепции этой нормы, отказываются от частного в акте и результате творчества во имя общего, более высокого, прочного, несомненного, чем они сами, как люди; в их поэзии должна воплощаться истина, выраженная в формах регулярного государства, а не частного лица; в соответствии с этим, их критическая деятельность должна агитировать за это возвышенное самоотречение и утверждать закон превыше всего. Само собой разумеется, что нормализация литературы и языка объективно играла роль создания условий для дальнейшего развития их, поскольку сама норма, насаждаемая ею, содержала основные принципы единства национальной культуры и современного состояния ее в общеевропейских формах. Это была диктатура прогресса культуры, подавлявшая косные начала старозаветной традиции.

Третья задача, стоявшая перед критикой данного периода, заключалась в выделении, разграничении, определении и наименовании основных понятий теории искусства, эстетики, литературного мышления вообще и литературной критики в частности. Этими понятиями не располагала в достаточной мере русская культура допетровского времени. Между тем, без развитой и проясненной системы таких понятий может существовать поэтическое искусство, но не может существовать ни теория, ни история поэзии, не может быть никакого принципиального, рационального обоснования литературных мнений, не может оформиться идеологически никакое литературное направление, не может быть литературного спора, литературного воспитания и школы, не может, наконец, приобрести характер эстетической сознательности самое восприятие литературы. Допетровская традиция школьной риторики и пиитики давала ряд формальных терминов, но не давала живой системы эстетических определений; к тому же она явно устаревала к середине XVIII столетия. Впрочем, и Тредиаковский, и Ломоносов (в своей «Риторике») немало формальных материалов почерпнули из этой традиции. Но основное, новое, соответствующее современному состоянию самого искусства содержание литературно-художественного сознания эпохи должно было найти свое выражение в заново уясненных понятиях. Создавая систему этих понятий, Тредиаковский и Ломоносов (Сумароков в этом отношении сделал меньше: он мог уже воспользоваться трудами своих старших современников) использовали множество материалов разнообразных традиций и работ от Аристотеля, Цицерона или Квинтилиана до Вольтера, Готшета или Ламотта. Тредиаковский и Ломоносов произвели поистине огромную работу, предоставив своим современникам и завещав своим преемникам и потомкам необходимую для развития литературной мысли терминологию. Поэтому-то они так внимательно и даже придирчиво обсуждают, казалось бы, простейшие понятия искусства; поэтому-то, обсуждая эти понятия, они как будто заняты мелочами. Это не были мелочи. Надо было не только впервые установить, например, термины, относящиеся к процессу творчества, но и уяснить различие между поэзией и стихами, не только установить, что такое вымысел, или воображение, или идея, или образ и т. п., но и уяснить понятия жанра и жанров, ритма, фонетики поэзии, существо отношения между звуковым составом слова и стиха и смыслом того и другого; надо было уяснить все понятия и критерии художественной ценности, например, правдивость (и ее пределы), соразмерность, законосообразность, чистоту слога и соответствие его содержанию и т. д. Наконец, надо было определить всю техническую терминологию анализа формы — терминологию стиха, композиции, семантики. Все это, иной раз вчерне, было сделано. И сейчас видно, каких трудов все это

стоило, как трудно было извлечь из самого языка, еще неразработанного в теоретических его применениях, и термины, и определения, объяснения их, как колеблются и Тредиаковский, и Ломоносов в выборе слов, формул, способов объяснения при уточнении и определении понятий, при передаче иноязычных терминов на русском языке. Это обстоятельство, между прочим, затрудняет для потомков Тредиаковского или Ломоносова понимание и усвоение их литературоведческих работ. Но в итоге этих работ их наследники получили достаточно прочную базу понятий и слов, которую они могли и менять, и критиковать, и даже отвергать, разумеется, только потому, что они воспитали свою мысль на ней же.

Собственно, уже Кантемир — одновременно с Тредиаковским — начал работу по утверждению понятий и созданию терминологии общественных наук в России 1730-х годов. Тредиаковский уделял этому делу огромное количество труда. Он дал классификацию, определения и наименования жанров в своем трактате о русском стихе 1735 года. Там же, а затем во втором трактате о стихе 1752 года он дал всю систему терминологии метрического и строфического порядка. Он классифицировал и назвал размеры, виды рифм, строфы, а затем и стилистические элементы, темы и т. д. Позднее, в предисловии к «Тилемахиде» он определил целый ряд понятий анализа поэтического произведения: вероятность; единство; единое, целое и совершенное действие; узел; «завязание» (завязка); «развязание» или окончание действия и др. Он разграничил понятия стихотворства и поэзии, дал несколько определений поэзии (в статьях «О начале поэзии и стихов», «О древнем, среднем и новом стихотворении российском»), определил такие эстетические понятия, как творение, «вымышление», «подражание» естеству и т. п. Недаром он гордился тем, «что почитай все, буде не все *технические звания*, в стихотворении нашем ныне употребляемые, я наименовал» («Разговор об орфографии»). При этом Тредиаковский усвоил русской культуре и русскому языку множество терминов и, стало быть, множество понятий, относящихся не только к вопросам метрики и к вопросам литературного мышления вообще, но также к ряду других наук, в том числе и философии. В своей речи «О премудрости» он применил огромное количество им же введенных философских терминов, из которых многие навсегда остались в нашем научном языке (например, бытие, сущность, понятие, достоверность и пр.). Вслед за Тредиаковским в работу по созданию и определению терминологии вступил Ломоносов. Он разработал систему категорий и понятий русской грамматики и еще раньше учения о семантике, поэтическом синтаксисе, а также систему понятий и терминов психологического характера, необходимых для эстетического и, в частности, литературного

мышления. Последнее сделано им было по преимуществу в его «Риторике», где дана и классификация логических понятий и терминов. Самые понятия эти, — и эстетические, и психологические, и логические, — были даны Ломоносову, как и Тредиаковскому, многовековым развитием европейской науки, многие из них известны были уже русской терминологии допетровских времен, но надо было уточнить, систематизировать, пополнить, а многое и впервые назвать на русском языке, надо было сделать это богатство достоянием жизни. И по сей день многое из нашей терминологии во всех областях общественных наук, а тем паче в области литературоведения, восходит к завоеваниям русских теоретиков середины XVIII века.

Наконец, четвертая задача критики данного периода естественно вытекала из третьей задачи, восполняла и довершала ее. Заключалась она в определении и утверждении общественной функции литературы, в обосновании и уяснении роли словесного искусства в жизни людей, в определении целей, смысла поэзии. Эта задача имела тогда вовсе не только теоретический характер. Литература остро нуждалась в оправдании и защите в качестве ответственного, важного, серьезного дела серьезных людей. Поэт — это было еще новое, мало понятное и не привычное явление в обществе. На светскую литературу многие еще смотрели как на пустые игрушки, забаву, занятие отчасти даже нечестивое, плодящее душевный разврат или легкомыслие. С другой стороны, русской литературе угрожало понимание поэзии либо как скучного дела педантов, либо как приятного салонного развлечения наряду с танцами, флиртом, модными играми в карты и т. д. Такое понимание шло и от западной светски-дворянской цивилизации, культивировавшей легкие поэтические жанры, изящную пустоту поэтических безделушек «в стиле регентства», — в духе толкования роли поэта как мастера мелких забав (*des menus plaisirs*) двора или как остро- слова дамских будуаров. Надо было русским литературным мыслителям доказать (тоже пользуясь западными идейными материалами), что литература, поэзия — это важнейшая гражданская функция, что она общественно полезна, что без нее невозможна полноценная общественная жизнь. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков (и вместе с ними Кантемир) сделали великое дело: они утвердили накрепко положение новой русской литературы как государственной, учительной, носительницы ответственных идей, как вместилища и выразительницы серьезнейших интересов нации. Именно они утвердили и вновь обосновали то типическое и характерное свойство русского литературного мышления, которое отличало его, вслед за ними, на протяжении двух веков и отличает его по сей день, — нравственный, учительный, гражданский, серьезный характер его, как и характер самой русской литературы. Они от-

стояли гражданственность русской эстетики. Их учеником и продолжателем был Фонвизин, который считал, что писатель — это «страж общего блага», «полезный советодатель государю, а иногда и спаситель сограждан своих и отечества». Понятно поэтому, какое значение имела настойчивая пропаганда важности литературы и рассуждений о литературе в трудах основоположников русской литературной культуры XVIII века. Понятно, почему их ученики (например, сотрудники журнала «Полезное увеселение» и др.) так ревностно оспаривают мнения о дурном влиянии на нравы драматической литературы, доказывают полезность поэзии. Понятно, почему и Сумароков, и Богданович, и Херасков, вообще говоря, вовсе не враждебные всем элементам учения Руссо, ополчаются против его диссертации о вреде искусств и наук. С другой стороны, не без поддержки и участия литературно-критических теорий первой половины XVIII века укрепилось в России то активное, политически-острое литературное движение, выступившее на борьбу со всяческим социальным злом, которое Белинский назовет впоследствии сатирическим направлением и из традиций которого выведет лучшие, наиболее прогрессивные тенденции русской литературы своего времени.

4

В плане непосредственно историко-литературном граждански-учительный и морализующий характер русской литературной мысли 1730—1750-х годов являет сочетание принципов «высокого» классицизма с более поздними идеями того общеевропейского литературного течения, которое готовило еще с начала XVIII века будущий расцвет так называемого «сентиментализма». Аналогичное сочетание мы наблюдаем во Франции, например, у Вольтера, в Германии у Готшеда; но в России оно приобрело более выраженные формы, более чем на Западе подчеркнув серьезно-наставительные цели искусства. Классицизм XVII века был стилем по преимуществу анализирующим, но лишь в малой степени морализирующим; однако именно он выдвинул требование рационального обоснования искусства, и это обоснование его было найдено у преемников Буало и его школы в принципе пользы. Полезность же и морализм литературы были выдвинуты как тезис против «бесполезности» аристократического искусства наследниками пуритан, проповедниками буржуазных семейных и социальных добродетелей, в частности, например, английскими моралистическими журналами Стиля и Адиссона; эти журналы совершили победное шествие по всей Европе, переводились, вызывали подражания; и в России, уже в первой половине века, их читали в переводах (французских, немецких), так же как читали французские подражания им. Затем, на той же социально-эстетической основе

вырастает роман Мариво, Ричардсона и их последователей, рождается новая «буржуазная» драма; наконец, сентиментализм определяется к середине века как значительное движение. Русские литераторы этой же эпохи, еще двигаясь к классицизму, а затем укрепляя его, в то же время жили и творили уже в эпоху формирования сентиментально-моралистической литературы, ее журналистики, ее эстетических концепций. Это отразилось и на их понимании задач литературы. Но настаивая на моральной полезности литературы, они выдвигали на первый план не личные и семейные добродетели, а гражданские доблести, сочетая гражданскую дисциплину классицизма с нравственной учительностью раннего сентиментализма.

Следует обратить внимание на то, что Тредиаковскому в ранний период его творчества был мало свойствен интерес к идее граждански-полезного учительного искусства; тогда он находился еще под влиянием французской поэзии салонного стиля, которое он сочетал с академическим и аналитическим формализмом мышления; правда, мысль о «прославлении» русского языка и поэзии была у него и тогда, но она не вела его к утилитарно-общественному обоснованию искусства. И «Езда во остров любви» — книга, толкующая литературу как изящную забаву, украшение жизни и утеху изысканных ценителей красоты, тонких чувств и замысловатого остроумия, — и оригинальные стихи Тредиаковского той же поры, сочетающие мотивы Буало, поэзии в духе Ла-Фара или Шолье с одами в манере Жана Батиста Руссо и с традициями, шедшими от Симеона Полоцкого, еще в значительной мере чужды установки на гражданскую и моральную проповедь. Но зрелому Тредиаковскому эта установка в высшей степени свойственна. Исходя из нее, он прославляет поэзию как важное государственное дело, защищает ее от легкомысленного барского пренебрежения к ней. Это было остро необходимо тогда, когда и сам Тредиаковский был принужден сочинять по заказу стишки для шутовской свадьбы и когда его, поэта, мог исколотить до полусмерти наглый временщик, смотревший на него, как на слугу. С тем большим подъемом доказывает Тредиаковский, что поэт — это мудрец, учитель народа, пророк, что поэзия — это святыня. «Древние нам предали, что Поэзия была священнейшею и первейшею философию, которая с начала веков образу жизни научала, путь показывала к добродетелям и провождала по нем, а особливо прославляла Бога и его величие и свойства. Основательно Платон написал... род пиитов есть божественный. Также и блаженный Августин написанное негде (где-то) оставил: первые Пииты теологами названы, для того что они многое о бессмертном Боге воспевали. Сим же почитай самым образом и упомянутый Платон в Федре утверждает еще: пииты, божеским благодеянием поданные, многую пользу грекам

принесли. Так и на другом месте Овидий еще ж говорит: мы священными пиитами и божеским попечением именуемся. Так и Лукан восклицает: О! священный и великий всех пиитов труд. И по истинне гнет труда, который бы большею ума силою и сильнейшим духа напряжением и стремительством был производим, коль оные высокие пиитов размышления» («Мнение о начале поэзии и стихов вообще»). И в этом перечне цитат, характерным образом выявляющем типическое для эпохи мышление образцами, готовыми формулами и авторитетами, священное величие поэзии обусловлено, по Тредиаковскому, ее моральной полезностью в государственном плане. Эта точка зрения обусловлена двумя концепциями, существенно определяющими все литературные оценки Тредиаковского, как и руководителей русской литературы его времени вообще: во-первых, это дидактическая точка зрения на искусство, исключающая произвольность, творческий каприз, творческую игру в нем (романтическое «Я пою, как птица в поле» — чуждо и постыдно с этой точки зрения), определяющая вдохновение поэта целью, предписанной ему, как правило, быть полезным в простом наставительном смысле; во-вторых, это — представление о поэзии не как о личном, душевном деле поэта, интимно раскрывающегося в своем творчестве, а как о деле государственном, общественном, порожденном гражданственной потребностью и повинующемся общественному заданию. Поэзия предстает такому взгляду как некий общественно или даже политически необходимый институт, контролируемый и направляемый обществом. Говоря о древнейшей поэзии человечества, Тредиаковский с похвалой характеризует ее идейную полноценность: «Ею превозносится божество; ею прорицается истинно от правых, ложно от льстецов; ею преподаются наставления о добродетельном житии, ею и законы преднаписуются: словом, все самое важное и превеликое ею объемлется», — и с печалью и осуждением он добавляет, имея в виду падение искусства в новые времена: «...пока, наконец, по многих веках, употребили ее и на мирские многие потребности, отвративши от первого употребления» (там же). Цель поэзии — «общественные действия», цель ее — «сделать человекa лучшими» (там же); так моральная задача поэзии переплетается у Тредиаковского с общественной.

Если граждански-учительное понимание искусства у Тредиаковского возникает не сразу и до конца ограничивается нередким у него угождением придворным кругам и несколько схоластическим академизмом его деятельности, то для Ломоносова это понимание становится одной из основ эстетики, поэтической практики и литературной политики. Для него поэзия — не развлечение, не игра, не украшение жизни, а важное государственное дело, патриотическое служение, необходимое и полезное для процветания и славы отечества. Для него литература — это усиленное помощью

искусства использование человеческой речи, направленное на практические цели государства. Он так начинает посвящение-предисловие к «Риторике» 1748 года: «Блаженство рода человеческого коль много от слова зависит, всяк довольно усмотреть может. Собраться рассеянными народам в общежития, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил требующие дела производить как бы возможно было, если бы они способа не имели сообщать свои мысли друг другу! Того ради всевышняя премудрость к дарованию разума присовокупила человеку и слова дарование, в котором остроумные люди уже в древние времена приметили, что оное искусством увеличено и тем с вящею пользою употреблено быть может: и для того многое старание и неусыпные труды полагали, чтобы слово свое учением возвысить и украсить, в чем они великие успехи имели и в обществе показывали знатные услуги».

Литература — не частное дело; меньше всего она соотносится со стремлениями отдельных лиц, хотя бы таким лицом был великий поэт. Она возникает и существует, или, точнее, должна существовать, — в меру своей государственной пользы. В соответствии с этим общегосударственным направлением мысли и творчества Ломоносова, у него моральная учительность, адресованная *человеку*, отступает на второй план перед политическими и просветительскими задачами искусства как общественно-полезной проповеди, обращенной к государству. Поэтому же наряду с обоснованием искусства *пользой* Ломоносов оправдывает его тем, что оно приносит *славу* государству и его деятелям (т. е. в своем роде — политическое благо). Подобно Тредиаковскому, и Ломоносов с грустью думает о временах античных республик, когда полноценная общественная жизнь приводила к особо значительной гражданской роли словесного искусства; но он не склонен впадать в пессимизм; он считает, что и в его время литературе есть что делать и как учителю нравов и как политическому наставнику и руководителю умов. И в его время литература столь важна для государства, что она сообщает ему славу и блеск, а без нее государство не может обрести великого места в истории. Ломоносов продолжает: «В нынешние веки хотя нет толь великого употребления украшенного слова, а особливо в судебных делах, каково было у древних греков и римлян; однако в предложении Божия слова, в исправлении нравов человеческих, в описании славных дел великих героев и во многих политических поведеньях сколь оное полезно, ясно показывает состояние тех народов, в которых словесные науки процветают». Эта же тема развита Ломоносовым в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке», здесь доказывается, что «без искусных ... писателей немало затмится слава всего народа...». «Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими на-

родами. Ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли; однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках, слышен громкий голос писателей, проповедающих дела своих героев... Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения? Возможно ли без гнева слышать Цицеронов гром на Катилину?..» и т. д. Те же явления наблюдает Ломоносов в современности. Он пишет («О нынешнем состоянии»): «Коль полезно человеческому обществу в словесных науках упражнение, о том свидетельствуют древние и нынешние просвещенные народы. Умолчав о толь многих известных примерах, представим одну Францию, о которой по справедливости сомневаться можно, могуществом ли больше привлекла к своему почитанию другие государства, или науками словесными, очистив и украсив свой язык трудолюбием искусных писателей». В том же плане обосновывает Ломоносов и пользу других искусств.

В «Слове благодарственном» 1764 года он намечал такую программу работы русской скульптуры и живописи: «Скульптурного художества удобообращательные мыщды, оживляя металл и камень, представят виды героев и героинь российских в благодарность заслуг их к Отечеству, в пример и в поощрение потомкам к мужественной добродетели. Живописныя хитрости зиждительные персты, отменю цветов, света и тени возвышая равную плоскость похвальным обольщением зрения, пренесут в настоящее время минувшие российские деяния показать древнюю славу праотцев наших, счастливые и противные обращения и случаи, и тем подать наставление в делах, простирающихся к общей пользе». Задачи исторического повествования, как вида литературы, и, попутно, такие же задачи литературы вообще указаны Ломоносовым во Вступлении к его «Древней российской истории»: «Она дает государям примеры правления, подданным повиновения, воинам мужества, судиям правосудия, младым старых разуму, престарелым сугубую твердость в советах, каждому незлобное увеселение с несказанною пользою соединенное. Когда вымышленные повествования производят движение в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших?».

Эстетическое мировоззрение Сумарокова также зиждется в значительной мере на требовании от искусства гражданской и этической пользы. Но если Ломоносов обосновывает цель искусства по преимуществу пользой государства, как целого, — Сумароков выдвигает вперед моральную цель искусства, его воспитующую роль по отношению к отдельному гражданину и человеку. Поэзия служит государству — таков основной тезис Ломоносова; поэзия служит обществу, воспитывая добродетельных людей и доблестных

граждан, — таков смысл суждений Сумарокова на эту тему. В этом отношении Сумароков гораздо ближе, чем его старшие современники, к мировоззрению ранних течений сентиментального характера. Ведь и его трагедии сочетают эстетические основы классицизма с тенденциями морализма и культа добродетели и эмоциональной «душевности», свойственными раннесентиментальной драме.

Сумароков настаивает на реальной и конкретной пользе искусства; оно, по его мнению, морально и общественно воспитывает людей, показывая им примеры положительные и отрицательные. Пользу искусства он понимает прямолинейно: так, он пишет комедии для московского театра, потому что, на его взгляд, пороки в Москве чрезвычайно умножились, — и он явно верит в то, что хорошая доза сатирических комедий быстро ликвидирует зло, распространившееся в общественных нравах. Писатель, по его мнению, это нравственный воспитатель и политический руководитель общества. И каждый поэтический жанр, даже такой, как эклога, не говоря уже о комедии или сатире, Сумароков «оправдывает» его нравственно-воспитательной целью (комедия «издевкой правит нрав!»; эклога дает примеры чистой нравственной и здоровой любви естественных людей; сатира исправляет социальные пороки и т. д.). Искусство и для него — это не личное дело, а гражданская функция, и не только поэзия, но и изобразительные искусства. В «Слове на открытие академии художеств» он нападает на тех некультурных людей, которые не видят пользы от искусства и приравнивают живописцев и скульпторов к ремесленникам, делающим куклы. Он, напротив, так доказывает пользу этих искусств: «Не может ни история, ни поэзия изъяснити телесных качеств геройских; пиктура (живопись) и скульптура в сем им помогают. А телесные качества великих людей, начертываясь в умах наших, оживляют изображения душевных качеств и придают охоты к подражанию оных, ибо в телесных видах сокрываются тончайшие качества душевные...». «А таковые виды умножают геройский огонь и любовь к отечеству». Изображения искусства, «хотя они и вымышлены, служат познанию естества, подражанию великих дел, отвращению от пороков и всему тому, чего человечество к исправлению требует». Гражданственно-моральное понимание художественного творчества порождает в мировоззрении Сумарокова идею нравственной и общественной ответственности поэта, требования правдивости, истины, предъявляемые к поэзии. Он и себя, как поэта, с гордостью определяет тем, что он «не был никогда на свете двязычным», и тем, что «во истине перо омычно мое» («Письмо к девицам г. Нелидовой и г. Борщовой»), и ниже: «...кому приятна честь, Не станет никому стихи тот ложно плести...». Сумароков и Вольтера-трагика высоко оценил за то именно, что он придал трагедии учительно-гражданственный, просветительный харак-

тер, что его трагедия «не одну забаву приносит и не одни цветы, но пользу и плоды. Франция, Европа и Парнасс должны много Вольтеру за нововведенный вкус...» («Мнение во сновидении о французских трагедиях»).

5

В течение 1730—1750-х годов в центре внимания критики, как и литературного движения вообще, стояла проблема русского классицизма. Именно классицизм был тем стилем, мимо которого не могла пройти русская культура, двинувшаяся путями новой (европейской) государственности со времени Петра Великого. Именно классицизм был не только актуальным и еще современным общеевропейским стилем художественной культуры в первой половине XVIII века, но и эстетическим воплощением идей государственной дисциплины, подчинения личности гражданской норме, идей рационализма, этической логики, упорядоченности мира и культуры. Это было мировоззрение в искусстве, выражавшее прогрессивные тенденции петровской и послепетровской России.

Когда русские писатели-теоретики 1730—1750-х годов оказались поставленными лицом к лицу с проблемой классицизма, они оказались в положении сложном и противоречивом. Классицизм они приняли от Западной Европы уже на последнем этапе его творческого существования. Между тем русская культура еще не завершила доклассический этап литературного развития. Для нее живы были еще формы и идеи искусства позднего Возрождения. На эту почву хлынули концепции и воздействия классицизма и одновременно с ними новаторские устремления, готовившие во всей Европе сентиментализм или предромантизм.

В 1730—1740-е годы в узком кругу русской литературно-образованной интеллигенции имеют еще хождение произведения и эстетические схемы позднего Возрождения и его школьной доктрины. И Тредиаковский, и Ломоносов усвоили их на занятиях риторикой, гомилетикой и поэзией в Славяно-греко-латинской академии в Москве, от традиции киевской поэтической учености, от традиций и Стефана Яворского, и Феофана Прокоповича. Да и в Германии в пору пребывания там Ломоносова аналогичные концепции еще жили прочно. Тредиаковский настаивает на преемстве своем от силлабической русско-украинской поэзии, пропагандирует Бэкона, переводит Томаса Мора, переводит и пропагандирует Барклая, базируется на филологических разысканиях схоластического типа. В поэтическом творчестве Ломоносова явственно ощутима высокая традиция культуры Возрождения в ее русском преломлении — с ее грандиозной мечтой о величии человека, с ее шекспировским размахом, с ее напряженной стилистикой. Наряду с Квинтилианом и Цицероном, с одной стороны, и Вольфом, Готшедом —

с другой, Ломоносов в своих «Риториках» широко использовал школьные курсы поздневозрожденческой литературной теории — русских догматиков начала XVIII века, иезуитов Н. Каусина и Ф. Помея, действовавших во Франции в XVII столетии. Только Сумароков уже чужд и схоластических, и любых других традиций Возрождения; его отделяет от них не только его дворянское воспитание, отдалившее его и от русской духовной Академии, и от западных университетов, тогда как и те и другие держались еще старозаветных традиций, — но и его более молодой возраст, и все направление его идейных устремлений; он даже не знал классических языков и, видимо, это обстоятельство не смущало его. Но все же и он знал некоторых поэтов Возрождения — от Виллона до связанного с традициями Ренессанса Теофиля де Вио. Да и русских поздних возрожденцев он ценил; так, он восторженно отзывался о прозе Феофана; и сам он написал драму «Пустынник» в старинной манере как бы школьной драмы.

Воздействия «высокого» французского классицизма XVII века проникали в Россию еще с самого начала XVIII века; но система этого стиля во всей его осознанной принципиальности стала входить в сознание русских писателей позднее, — со времени Тредиаковского и Кантемира. И уже с того же времени в России узнают англичан-современников — через французские и немецкие переводы. Нравственные журналы, Адиссон, Поп, Локк проникают к русскому литератору скоро, и к середине века становятся довольно широко известны и охотно переводятся на русский язык. Еще лучше известны уже в 1730—1740-е годы немцы окружения Готшета, труды и журналы самого Готшета — благодаря немцам-академикам, ученым и поэтам, живущим в Петербурге, и благодаря постоянным связям между интеллектуальной Германией и Россией. Ломоносов переписывается с Эйлером. Сумароков печатается в журнале Готшета, в котором помещаются известия о русских писателях; Сумароков избирается членом готшетовского литературного общества («Лейпцигского ученого собрания») и получает об этом диплом за подписью самого Готшета. Само собой разумеется, что французская литература начала и середины XVIII в. была прекрасно известна русским писателям этого времени.

В своей теоретической разработке основ литературы русские писатели 1730—1750-х годов учитывали и опыт теоретиков западного классицизма, в частности, французского и немецкого. Буало был признан авторитетом, хотя и Ломоносов, и Сумароков считали себя вправе существенно отступать от него и даже решать некоторые вопросы не только иначе, чем он, но и в обратном смысле (например, Сумароков признал законным жанр «бурлескной» комической поэмы, резко осужденной Буало); Тредиаковский перевел «Поэтическое искусство»; Сумароков перевел отрывок трактата

Лонгина «О высоком» с перевода Буало («Трудолюбивая пчела», 1759). Бесспорно, каждому пишущему были знакомы принципиальные выступления и автокомментарии Корнеля и Расина. Но более старые, уже отодвинутые в прошлое предшественники французского классицизма, готовившие его теорию с начала XVII века и даже раньше, например, автор «Поэтического искусства» Воклен де ла Френе, так же как второстепенные теоретики середины XVII века, например, автор распространенного учебника «правил» драматургии д'Обиньяк, — остались, видимо, вне поля зрения русских писателей. Хорошо были известны критические и теоретические выступления Вольтера (их использовал Сумароков). Текущая критика французских журналов также не проходила мимо внимания русских литераторов. Широко использовали они теоретические работы Готшета, его поэтику («Критическое искусство поэзии»), риторику («Основы немецкого стиля»), труды по стилистике и другие обильные произведения этого же порядка, равно как многочисленные статьи о литературе, ее законах и нормах, и критические статьи журналов Готшета и его школы. Тредиаковский опирался на работы этой школы в своих разысканиях по истории стиха. Ломоносов использовал Готшета и в «Письме о русском стихосложении» и в «Риторике». Сумароков определил свою критическую позицию в борьбе с Ломоносовым, как аналогию позиции готшетианцев в их борьбе с Гюнтером и другими наследниками духа Возрождения. Из Англии непосредственные теоретические воздействия до второй половины XVIII века проникали в Россию туго; ни Тредиаковский, ни Ломоносов, ни Сумароков английского языка не знали.¹ Но Локка изучали через переводы, и Сумароков написал философскую статью «О разумении человеческого по мнению Локка» (1759); ученик Ломоносова Н. Н. Поповский перевел стихами (с французского перевода) «Опыт о человеке» Попа, поэтический трактат, связанный с идеями Локка; а отрывки из «Зрителя» переводил не один литератор, в том числе Сумароков.

Развитие отечественной традиции и воздействия Запада слились. Русские писатели использовали из западных теорий то, что им было нужно, — и система русского классицизма начала быстро строиться в 1730—1750-е годы. Была установлена схема жанров, сформулированы основные правила, — Тредиаковским и, позднее, Сумароковым. Были укреплены логические и психологические принципы — Ломоносовым в «Риторике». Всеми тремя поэтами-теоретиками было разработано много частных вопросов поэтики, стиля, эстетики — в плане утверждения системы классицизма. В 30-е годы это движение теоретического обоснования рус-

¹ По новейшим данным Ломоносов знал английский язык. См. стр. 28 настоящего сборника. *Прим. ред.*

ского классицизма только еще начало разворачиваться — в трактате о стихе Тредиаковского с его жанровой классификацией и списками образцовых поэтов для каждого жанра и в письме Ломоносова о правилах русского стихотворства, написанном в 1739 году, но не опубликованном при жизни автора. Лишь к концу 40-х годов кодификация системы может уже опереться на крупные работы. В 1747 году появляется первый развернутый манифест русского классицизма, две эпистолы Сумарокова — о стихотворстве и о русском языке; в 1748 году печатается «Риторика» Ломоносова, впрочем, связанная в значительной мере и с традициями Возрождения; в 1752 году выходит в свет стихотворный перевод «Поэтического искусства» Буало, сделанный Тредиаковским. Затем, в 1757 году, появляется программная статья Ломоносова — «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»; с 1759 года идет ряд статей Сумарокова, помещенных в журналах. Еще немного раньше, с 1755 года, начинает выходить журнал «Ежемесячные сочинения», помещающий некоторые статьи о литературе, написанные в духе теории классицизма.

Но классицизму не суждено было ни расцвести, ни закрепиться в русской художественной культуре. Едва оформившись и самоопределившись на русской почве, он уже начал подтачиваться изнутри, давать трещины в самом своем основании. Еще не окрепнув как следует, он принужден был уже выдерживать натиск новых художественных идей и течений, враждебных ему по существу. Русский классицизм строился тогда, когда уже общеевропейское литературное движение стояло в преддверии внутреннего слома системы классицизма. Русская литературная культура первой половины XVIII столетия стремительно проходила этапы общеевропейского литературного движения, растянувшегося на Западе, например во Франции, на полтора столетия. Она преодолевала свое бывшее отставание, и к середине XVIII века полностью ликвидировала его. Еще не завершив периода запоздалого русского Ренессанса, она освоила классицизм, и тут же, почти одновременно, уже с 1760-х годов в нее начинают проникать и художественно выраженные и теоретически сформулированные стремления новой литературно-идеологической школы, условно обозначаемой как сентиментализм или предромантизм, именно в эти годы выявившийся и в передовых литературах Западной Европы. В 1765 году выступил со своими манифестами антиклассического порядка В. И. Лукин, в 1766 году появился роман Ф. А. Эмина «Письма Эрнеста и Доравры», как бы русский вариант вышедшей за пять лет до того «Новой Элоизы», роман, заключавший и теоретические и полемические выступления сентиментализма. С 1767 года разворачивается в печати фольклористическая (предромантическая) деятельность М. Д. Чулкова и М. И. Попова. В начале 1770-х годов

сентиментализм уже явно одерживает победу за победой; им увлекается преемник Сумарокова, М. М. Херасков, возглавлявший школу, выросшую на Сумарокове; ему отдают дань почти все представители этой школы или писатели, вышедшие из нее, как В. И. Майков, И. Ф. Богданович и др. И, наконец, сам Сумароков, ожесточенно напавший на проявления сентиментализма на русской сцене, однако же не устоял перед воздействием антиклассических и просто предромантических идей, создавая свои песни в фольклорном духе (во всяком случае с 1771 года), свои экзотически-стилизированные псалмы и со вниманием и не без сочувствия приглядываясь к проповеди «Жака Русо», как он называл великого женева. А в 1766 году вышла в свет грандиозная эпопея старого Тредиаковского «Тилемахида», гекзаметрическое построение которой опирается на новейшие и явно предромантические течения стиховой культуры, вплоть до учений швейцарцев и гекзаметрического эпоса Клопштока. Гекзаметры «Тилемахиды» только выявили более отчетливо то, что было заложено задолго до появления этой поэмы в идейных и эстетических исканиях Тредиаковского, — пробивавшиеся через классицизм и схоластику ростки новых идей. А уже в 1770-е годы разворачивается деятельность предшественников Карамзина, основоположников стилистической манеры и душевного настроения русского дворянского сентиментализма, М. Н. Муравьева, Н. А. Львова и др. В те же годы уже писал Державин, гениальный разрушитель здания классицизма, а в 1779 году он выступил со своими мощными созданиями, определившими его «новый путь». С другой стороны, еще в 1772 году появился «Отрывок из путешествия в* И.*** Т.***» Радищева, манифест революционно-демократического сентиментализма, и около 1774 года была написана им же повесть «Дневник одной недели», воплотившая радикальнейшие искания сентиментализма в области психологического анализа. Большинство из указанных крупных явлений русского сентиментализма относится ко времени, когда еще был жив, когда еще творил и испытывал влияние нового Сумароков.

Таким образом, все три корифея русской литературы и поэтической мысли 1730—1750-х годов, имевшие ближайшее прикосновение к строительству русского классицизма, участвовали в этом общем для них деле по-разному и каждый по-своему. Тредиаковский был наименее последователен из всех их. Эклектик и в поэтической практике и в теории, он откликался на противоречивые и разнообразные веяния эпохи, и так и не мог построить из материалов различного происхождения единой системы. В его мышлении еще сильнее были традиции схоластики, школьных теорий Возрождения, примененных в условиях католической и православной церковности. В то же время он усвоил в молодости элементы

придворно-аристократического салонного отношения к искусству, как к изящной игрушке, украшающей жизнь. Но это не помешало ему стать одним из насадителей классицизма на русской почве, а затем и явиться одним из предшественников русского просветительства, уже выходящего за пределы классицизма. Он двигался от школьных пиитик XVII века через Буало к Лессингу, и элементы столь разных систем никак не могли мирно ужиться в его деятельности. Он сделал очень много для укрепления новой русской литературной культуры, дал ей целую энциклопедию знаний, ввел в нее множество идей, воплотил в своем труде почти два столетия европейской филологической культуры и передал плоды этой культуры России, но противоречивость, неорганизованность его позиции понизили ценность его трудов в глазах современников и потомков.

Ломоносов тоже сложен; он объединил традиции Возрождения с классицизмом; но это объединение было органично и целостно. Ломоносов сохранил те элементы мысли Возрождения, которые в общеевропейском движении истории подготовили классицизм, и, с другой стороны, к концепции классицизма подошел свободно и творчески, не приняв, например, отказа западных классиков от мечты, фантазии, их отрицания ценности «страстей», их рационально-плоскостной семантики («естественное» словоупотребление). Ломоносов создал свою систему, сливавшую те принципы Возрождения и классицизма, которые были для него актуальны. Что же касается идей раннего сентиментализма, то он остался им чужд.

Наконец, Сумароков сформировался уже вне воздействий и традиций Возрождения. Он выступил как пропагандист «ортодоксального» классицизма, правда, уже не классицизма «великого века» Расина, а классицизма XVIII века — Вольтера и Готшеда, классицизма просветительского. Этим он отделен от Тредиаковского и Ломоносова. Но общая судьба русского классицизма, строившегося уже в окружении подъема новых течений литературы, сказалась и в судьбе Сумарокова. Уже в 1760-е годы, а отчасти и раньше он начинает уступать натиску зарождающегося сентиментализма и предромантических идей, а к концу своей творческой деятельности уступает этому движению одну позицию за другой.

Классицизм оказался лишь кратковременной и нецелостной задачей русской литературы и литературной мысли. Он переплетался в условиях русской культуры с системами, исторически предшествовавшими и последующими ему. Тем не менее именно проблема классицизма, разрешаемая в специфических условиях быстрого роста и стремительного прогрессивного движения русской культуры, стоит в центре литературно-критической мысли в России 1730—1750-х годов.

6

Первый период развития русской критики XVIII века отличается от других и своим методологическим характером и содержанием. В соответствии с задачей нормализации литературы и литературного мышления, с задачей фиксации понятий искусства и его теории, этот период имел по преимуществу нормативную методологическую установку. Литературное произведение рассматривали при этой установке, не учитывая ни его индивидуальной идейной направленности и выразительности, ни законов мировоззрения его автора, ни принципов данного художественного задания или стиля, отпавляясь от общих законов и даже конкретных правил искусства, незыблемых и не подлежащих критике индивидуального вкуса. Искусство мыслилось как система твердых понятий. Оно должно было опереться на отчетливые структурные законы эстетической логики. Литератор-критик обязан был располагать этой системой понятий, законов, правил, неизменных и обязательных не только для него, но и для всех людей вообще, не допускающих оспаривания или какой бы то ни было дискуссии. Система устанавливала критерии оценки, так как она утверждала определенный ряд художественных элементов как положительный, достойный, принятый искусством и тем самым безоговорочно отвергала и осуждала все остальные художественные элементы, признавала их дурными, антихудожественными, вредными. В соответствии с этим критика сводилась, в сущности, к логическому акту подведения данного художественного произведения, как частного случая, под норму искусства, — в пределах *правил* данного поэтического жанра, — как общего понятия и закона, и к проверке данного произведения эталоном общего понятия правил жанра. Если все элементы произведения соответствовали норме, произведение признавалось превосходным, прекрасным; если большинство элементов соответствовало ей — произведение признавалось **хорошим**; если меньшинство элементов соответствовало ей — дурным. Сама же норма из произведения не извлекалась, и критика не столько объясняла или истолковывала произведение, сколько судила его. Никогда в другое время критика не походила в такой мере на судебный процесс, где судья сурово, решительно и безапелляционно изрекает приговор, продиктованный статьями кодекса, не им созданного, но для него обязательного и даже священного. Поэтому-то критические статьи и высказывания Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова так резки и редко вводят оттенки, примирительные формулы или полупризнания ценности обсуждаемого произведения; они знают чаще всего лишь две краски, два суждения: плохо и хорошо, виновен или невиновен — в применении либо ко всему произведению в целом, либо к его

частям и элементам порознь. Поэтому же в этих статьях и высказываниях мы не найдем ни соотнесения произведения с замыслом автора, ни внимания к этому замыслу, ни стремления понять своеобразие авторской манеры. Своеобразие было в принципе подозрительно: оно могло нарушить общую норму.

Доказательность критической оценки в данной системе литературного мышления должна была заключаться не в углубленном понимании идейных и художественных установок автора, а в дробности актов нормативного суда; желая быть доказательным, критик рассекал художественное произведение на ряд элементов, и применял норму к каждому из них в отдельности, суммируя затем свои приговоры в единый общий приговор. Само собой разумеется, что даже при стремлении быть доказательным, критик мог при этом быть весьма кратким: немного нужно слов и рассуждений, чтобы, сославшись на закон, определить в данном частном случае наличие отступления от закона или же наличие соблюдения его. Вот почему в этот период почти отсутствуют развернутые обширные критические работы (кроме, может быть, одной статьи Тредиаковского о Сумарокове и одной статьи Сумарокова о Ломоносове) и, наоборот, критика уместается либо в краткой заметке, либо в попутном абзаце, в полемической эпиграмме. Нет необходимости доказывать, что такого рода нормативная критика вовсе не была бесполезна в первой половине XVIII столетия: она императивно воспитывала требовательность, рациональность в отношении к литературе как ответственной идеологической функции. Она требовала и от читателя сознательности и дисциплины. Она говорила читателю: ты не имеешь права заявлять, что такое-то произведение хорошо только потому, что оно тебе нравится; ты должен дать себе отчет в идейной и художественной структуре произведения прежде, чем позволить себе получить от него удовольствие, ибо и сами твои удовольствия в сфере идеологии должны быть законосообразны. Прежде, чем читатель воспринял произведение, он должен был усвоить норму, которой это произведение должно было подчиниться, и читать произведение он обязан был как бы на фоне этой нормы. Норма, закон, сознательно принятая система «разумного» подчинения оказывалась реальной основой каждого конкретного эстетического факта и в творческом процессе и в процессе восприятия. Искусство прежде всего должно было стать правильным, выполнить законы, и это должно было стать существом его эстетического бытия, принципом красоты в нем, признаком художественности.

«Правильность» искусства слова была прежде всего правильностью языка. Норма поэзии представляла как норма литературной речи. Строительство принципиально-обоснованной литературы не могло и не должно было отделиться от строительства единой, за-

кономерной и общеобязательной системы литературной речи. Эстетический критерий, понятый как критерий правильности, оказывался и лингвистическим критерием: художественный слог воспринимался как правильный язык по преимуществу и, наоборот, — идеальная правильность речи толковалась как красота ее. Тем самым, в условиях той эпохи, нормативная критика оказывалась критикой филологической. Литераторы-критики 1730—1750-х годов тщательно и внимательно всматриваются в языковой строй обсуждаемых ими произведений, «придираются» к каждой грамматической форме, к каждому звуку и даже к каждой букве, требуя от поэта абсолютной четкости и следования грамматической норме, ими же создаваемой и проверяемой именно в этих критических битвах, в спорах, в ожесточенных филологических дискуссиях. Никким образом нельзя относиться к этим лингвистическим придирам, к этим грамматическим спорам по поводу стихов с высокомерием или, тем более, с насмешкой. Они не заслуживают ни того, ни другого. Напротив, они заслуживают всего нашего внимания и уважения. Это не было ни ребячеством могучих умов, ни мелочностью. Создание нормы литературного языка было в те годы великой и глубоко идейной задачей и поэзии и критики. Утверждение категории правильности и в общей образной структуре произведения и в его языке было необходимой базой идейного развития искусства, и мы сейчас, через двести лет, пожинаем плоды усилий филологической и нормативной критики первой половины XVIII столетия.

И. В. ШКЛЯР

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АНТИОХА КАНТЕМИРА

«В семье родителей Кантемира господствовало „древнее благочестие“, — так начинает Д. Д. Благой главу о литературной деятельности А. Кантемира,¹ доказывая это тем, что его учителями были священник Кондоиди и воспитанник Славяно-греко-латинской академии И. Ю. Ильинский, что сам он некоторое время учился в Заиконоспасском училище и первым печатным произведением его была «Симфония на псалтирь». Но эти внешние факты не могут объяснить, как получилось, что через год после «Симфонии» Кантемир начал переводить Фонтенеля. Переход к светскому направлению совершился не вопреки домашнему воспитанию и церковному образованию, а потому, что и воспитатели его, и отец не были сторонниками этого «древлего благочестия».

Действительно, Анастасий Кондоиди имел на Антиоха Кантемира немалое влияние, и не только в то время, когда он преподавал ему и другим детям молдавского господаря историю и языки; но, как отмечают биографы Кантемира, это был человек «светского образа жизни и интересов».² До 1726 года он оставался в Петербурге, и Антиох часто посещал его вместе с другими образованными людьми, которые брали и покупали у него итальянские книги.³ Затем он был назначен епископом Вологодским, и даже в эти годы связь его с семьей Кантемиров не прерывалась.⁴ В. Н. Перетц предполагает, что именно через Кондоиди в Вологде,

¹ Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. Изд. 3-е, М., 1955, стр. 94.

² Ф. Я. Прийма. Антиох Дмитриевич Кантемир. В кн.: Антиох Кантемир. Собрание стихотворений. (Библиотека поэта. Большая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1956, стр. 6. (В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Кантемир. Собрание стихотворений, стр.).

³ Дневник П. Д. Апостола (1725—1727). Пер. с франц. А. М. Лазаревского. «Киевская старина», 1895, т. VII, стр. 128—131.

⁴ И. И. Шимко. Новые данные к биографии кн. А. Д. Кантемира и его ближайших родственников. СПб., 1891, стр. 34.

где епископ открыл семинарию, распространялись в 1729—1735 годы сатиры Кантемира.⁵ Это тем более вероятно, что одно из подражаний Кантемиру, приводимых В. П. Перетцем, «На скупого человека», начинается с заимствования из сатиры «На зависть и гордость дворян злонаравных» и, как есть основания предполагать, из самой ранней ее редакции; вполне естественно, что Кондонди мог быть одним из первых читателей и распространителей сатир Кантемира.

Роль учителя русского языка И. Ю. Ильинского в воспитании будущего поэта не ограничилась тем, что он подал своему ученику пример, составив «Симфонию на евангелие». Известно, что одним из последних переводов Кантемира был «Энхиридион» Эпиктета. Ильинский еще в 1724 году преподнес Петру I свой перевод этого произведения. Хороший переводчик, он был также автором «многих разного содержания стихов» и потому оказался для Кантемира учителем и даже в некотором роде образцом в искусстве стихосложения.

В выборе учителей и учебных заведений для своих сыновей сказалось стремление Дмитрия Кантемира дать им по возможности лучшее в тех условиях образование. Одним из первых учителей, вероятно, французского языка был в 1715—1718 годы И. Г. Фокеродт — человек, к православной церкви и древнему благочестию отношения не имевший.⁶ Как известно из работы Х. Грасхофа, Антиох, участвуя с отцом в персидском походе, был оставлен в Астрахани и с июля 1722 года по январь 1723 года, посещал там латинскую школу, открытую католическими монахами, где тогда же учился В. К. Тредиаковский.⁷ Уже после смерти отца, вернувшись в Москву, Антиох Кантемир продолжал заниматься латинским языком под руководством капуцина Антония Луалда.⁸ Отец хотел, чтобы все его сыновья завершили свое образование за границей, это была одна из привилегий, предоставленных ему Петром I при переезде в Россию. В своем завещании он выделил для этой цели по 3000 руб. в год. Самым известным и показательным пунктом его завещания являлось решение вопроса о наследии: он не только оставлял все тому из трех сыновей, кто окажется самым достойным в нравах и науках, но и просил не определять наслед-

⁵ В. Н. Перетц. Неизвестные подражатели Кантемира. «Известия по русскому языку и словесности АН СССР», т. I, кн. 2, Л., 1928, стр. 351.

⁶ См.: P. N. Berkov. Deutsch-russische kulturelle Beziehungen im 18. Jahrhundert. Die deutsch-russische Begegnung und Leonhard Euler. «Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas», 1958, Bd. I, S. 71.

⁷ Х. Грасхоф. Западноевропейские связи Кантемира. Автореферат диссертации, 1958.

⁸ Антиох Кантемир. Новый опыт исторического словаря о русских писателях. «Друг просвещения», 1806, № 12, стр. 251.

ника, «пока неопробованы будут в науках и в других инструкциях, которые суть надобны императору и государству».⁹

Отмечая благоприятные условия, в которых находился Антиох Кантемир при жизни отца, биографы его меньше обращали внимание на другое: если говорить о становлении этических взглядов Кантемира, нельзя забывать и того, что моральная философия была любимым предметом самого Дмитрия Кантемира, и он, историк, знаток Востока, ученый, серьезно занимавшийся математикой, физикой, анатомией, оставил немало трудов по философии, в том числе и по этике. Еще в Молдавии, в 1698 году, он напечатал сочинение «Спор души с телом», «нравоучительные мнения под видом разговоров». В этом трактате излагались основные принципы воспитания и было дано обоснование необходимости познания мира; этические нормы строились на основе стоической и христианской морали. Среди других философских работ Дмитрия Кантемира («Физическое о монархиях рассуждение», «История о сотворении мира с физическими примечаниями», «Экспликация о совести») особенно следует выделить большой печатный труд «Книга Систима, или состояние Мухаммеданския религии». Петр I, готовясь к Персидскому походу, поручил ему «некое нижним штилем и просторечием издание». Изложив основы магометанства, автор должен был показать неистинность этой религии: «что Куран есть от человек сочиненный, и Мухаммед — лживый пророк», — и противопоставить ей единственно правильное христианское учение. В результате же получилось, что Синод, вместо того чтобы способствовать скорейшему выходу в свет этой книги, призвал автора к ответу за ту острую критику легенд, чудес и суеверий, которая давала повод к обвинению его в безбожии. Петр I избавил Д. Кантемира от необходимости оправдываться, но лишь после вторичного приказания книга была напечатана в самом конце 1722 года. Роль защитницы православия она, действительно, исполняла не совсем удачно, но зато превосходно служила другой цели: она вся проникнута идеями, отвечавшими духу петровских реформ.

Разумеется, «истинна слова божия» остается основой «всякого наставления, установления, закона и словесности, и все, что не утверждается на ней, названо бессловесным, скотским, непотребным, а главное, «истинному блаженству и тишине противным». Но рядом с этой истиной ставится «истинна еллинских авторов», которые сумели ее понять «предводительством естественного закона, сокровеннейшая естества островиднейшим пресмотрев оком». Эти истины равноценны,¹⁰ из обеих следует одно и то же: если разби-

⁹ М. И. Радовский. Антиох Кантемир и Петербургская академия наук. Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 14.

¹⁰ И в других произведениях — «Описание Молдавии», «Физическое о монархиях рассуждение» — Д. Кантемир также объясняет многие явления дей-

раться, каковы самые общие, элементарные свойства и потребности «одушевленного и словесного естества», человека, то ответ один: «Яко по повелению божью, тако и по естественному воздохновению, кийждо от человек обязуется испытывати, исследовати и знати». Из этого положения следуют чрезвычайно важные выводы. В умеренной, далеко еще не просветительской форме провозглашается идея равенства. Все люди наделены одинаковыми умственными способностями, «остротой и быстротой разума»; это «я всем чело-векам, по расположению темперамента, от натуры равно даровано быти мною», — пишет Д. Кантемир в главе «О науках мухаммеданских». Смысл такого утверждения, как видно из последующих слов, не в признании равенства людей в обществе, но все же очень важен: «Смело могу рещи, яко восточные племена ничемже низшие суть западных». Но идея равенства проводится и иначе. Всем людям от природы должно быть свойственно понятие пользы. При этом Д. Кантемир ссылается на «начальника моральных философии Эпиктета», который считал стремление к пользе свойством всех живых существ. Это утверждение интересно тем, что несколько отличается от телеологических представлений о сотворении богом всего окружающего мира, в частности животных, для человека. По Эпиктету, животным самим свойственно стремление отдавать человеку все, что ему нужно от них, даже кровь, в которой, по словам «священного естествословца», находится душа животных. Но если «скоты малочувственные» имеют стремление к пользе, то отсутствие его у человека, существа высокоразвитого, Эпиктет «жестоко обличает и порицает». И в «Словоприношении Петру» Д. Кантемир приводит некое «златое изречение», снова ссылаясь не на священное писание, а на одного «персидянина, моралиста изрядного»: «Неученый поселянин земледельствующий многополезнейший есть републике, неже князь, леностную жизнь провождающий и без общия пользы время изнуряющий». Правда, он тут же продолжает, что это изречение «по приличности и по достоинству» ему следует применить к себе самому, как «ленивому и невежде».

С утверждениями, что все люди «от естества убеждаются» и познавать мир, и стремиться к пользе, связаны взгляды Д. Кантемира на роль науки и воспитания. Все люди от природы склонны к добру, но могут стать «злых стяжатели обычаев»; это зависит от того, что они не представляют всего значения и — не просто пользы — необходимости науки: «Ежели знати не будет, и тако ниже что благо, что же зло, что истинно и что ложно рассмотри и рассудити возможет. Ибо наук помощию познаваются законов благодти и законодавцев правда и человеколюбие. От познания же

ствием двух факторов: бога и природы, причем активным началом представляется природа.

законов исправляются злонравия, добродетели любимы бывают и злочинства избываются». Это возвышение науки, в то время как воспитательное, облагораживающее значение религии если не отрицалось им, то обходилось молчанием, составляет отличительную черту книги Д. Кантемира. «Наука душу растит» — в этом ее главная заслуга. В то же время он понимал несовершенство человеческих знаний, недостаточность чувств для познания мира и требовал постоянного критического вмешательства разума во все общепринятые, узаконенные древностью и авторитетами понятия и догмы. Таково было его отношение к чудесам, мощам, толкованию снов, астрологии: «Из многих лжей может быть случится, да нечто истинное предрекут оные прорицатели». С теми же требованиями разумных доказательств подошел он к исследованию магометанской религии, и она не смогла выдержать этой критики. Автор с самого начала заявил, что хотя «всякое учение, противное евангельскому, ложно есть», он не будет пользоваться этим аргументом, который силен только для христианина, а будет доказывать так, чтобы с ним мог согласиться всякий разумный человек. Некоторые доводы его очень интересны. Показывая, что считать освященную воду в самом деле святой может только «некто безрассудный», он приводит довольно верное объяснение ее чистоты. Пытается он дать научное объяснение и происхождению радуги, неудачно отстаивая в то же время христианскую версию: «Дугу из наших святых писаний украдше, не метеоров дело, но поистине божий лук быти веруют». Высмеивая чужие суеверия, автор, едва ли сознательно, вызывает читателей на сравнение: «О ангелах зело чудесная и утешного смеха достойная вымышляет Мухаммеданская феология». Пожалуй, самым опасным местом является то, где автор желает быть объективным и невольно подчеркивает свойства христианского бога, которые ставили в тупик многих просветителей, не признававших полностью безрелигиозного построения морали: «Некоторые Курана показывают ложна быти за сие, яко Мухаммед, вместо чудес, меч обнажил, и хищение, и грабление, и убивство нехотящим веровати узаконил, каковых дел бог отвращается. Но подобная обрящутся и у Моисея». Приведя несколько примеров нелепости Курана с точки зрения разума и научного знания, Д. Кантемир передает разговор со своим константинопольским учителем Исааком по этому поводу. Если названный ученый, «в науках физических, математических, а наипаче астрономических зело искусный», полностью признает двойственность истины, что было необходимой уступкой и очень хорошим выходом для спасения науки от религии, то позиция Д. Кантемира ближе к признанию одной только научной истины, что отразилось в его вопросе Исааду: «Како можешь верити, яко пророк ваш луну на полы преломил, яко ангелы на солнце снег мещут, да горячесть его укротят, и кры-

лами своими того укрывают, да будет ночь: и яко все системе все-ленные таковое есть, каковое Куран учит быти?». Не чувствуется, чтобы Д. Кантемир был удовлетворен ответом учителя, скорее он приводит слова последнего, чтобы показать, как ложное учение, противоречащее разуму, делает человека неискренним перед самим собой, заставляет идти на компромисс с умом и совестью. Тем более, что автор никак не реагировал на последующий выпад учителя против христианского изречения «о вельбуде и ушах иглиных».

Легендам Корана Д. Кантемир противопоставляет не только истинную религию христиан, но и взгляды «мухаммеданских афеистов, людей zelo ученых и в фисических вещах искуснейших». Интерес и симпатии автора к ним очевидны из этой характеристики, но необходимо уточнить, что подразумевает он под атеизмом. Для него «афеисты», которые «все отめшут, презирают и яко невозможное и ненужное быти рассуждают», — это люди, отрицающие все догмы религии, но имеющие внутреннее чувство веры. Именно эта позиция, а не материализм и безбожие, приходится по душе философу и естествоиспытателю Дмитрию Кантемиру. Но и в этом случае члены Синода всполошились не зря: такая книга была подрывом основ всякой религии, если даже автор не ставил перед собой подобной задачи. «Книгу Систиму» можно сравнить по ее объективному смыслу с «Историей оракулов» Фонтенеля, в которой разоблачение одного из порождений невежественного, непросвещенного человеческого ума применимо к чудесам вообще, недаром католическая церковь сразу отметила нечестивое направление этой книги. И в России подобная книга смогла появиться в печати лишь при Петре I и по его воле. Неизвестно, знал ли А. Кантемир, при всем своем знакомстве с творчеством Фонтенеля и лично с ним, «Историю оракулов», «первое нападение научной мысли на основы католицизма»,¹¹ но «Книгу Систиму» он знал наверное. Ее переводил с латинского И. Ю. Ильинский, в библиотеке Константина Кантемира сохранилось два экземпляра этой книги; хотя в 1722 году Антиох был еще очень молод, но к тому времени, когда он составлял биографию своего отца, участвовал в переводе и изданиях его «Истории Оттоманской империи», он не мог не знать этого произведения. Многие идеи этой книги были близки ему, к некоторым он пришел позднее, «через мышления и годы».

После смерти Д. Кантемира 15-летний Антиох просил Петра I отправить его за границу, подчеркивая свое «крайнее желание» учиться, а с 1726 года он начал слушать лекции в Петербургской академии наук. О Кантемире как питомце академического Универ-

¹¹ Г. Лансон. История французской литературы. XVII век. Пер. с франц. З. Венгеровой. СПб., 1899, стр. 14.

ситета подробно рассказывается в книге М. И. Радовского.¹² Автор останавливается на характеристике академиков, у которых Кантемир учился основным предметам: физике, математике, истории, этике, впервые называя имя одного из них — Майера. Он указывает, что наибольшее влияние на формирование общего мировоззрения Кантемира имел «фисики экспериментальной и феоретической профессор» Бильфингер, считавшийся чуть ли не атеистом, применявший основные положения новой философии к религиозным истинам. Именно это влияние побудило Кантемира взяться за такое смелое дело, как перевод Фонтенеля. Первая сатира «На хулящих учение» также дает возможность судить, чему учился у Бильфингера Кантемир.

Но о Христиане Фридрихе Гроссе, «философии нравоучительной профессоре», и у Радовского не сказано ничего нового. Еще Пекарский указывал, что Гросс был «любимым наставником князя Антиоха Кантемира»,¹³ а из биографии поэта, составленной Гуаско, мы знаем, что этику «предпочел он всем другим, говоря, что оная человеку необходимо нужна, поколику научает нас познавать самих себя, поступать честно и сделаться полезным обществу»; близкое к этому определение этики дает Кантемир и в примечаниях к переводу Фонтенеля. Но о содержании лекций Гросса известно меньше, чем об отношении Кантемира к преподаваемому им предмету. В одном из донесений Верховному Тайному Совету о деятельности академиков за 1726—1727 годы перечислено семь диссертаций, которые Гросс, профессор «нравственных учений», представил Академии. Среди них разработки проблем «права естественного, права народного и права гражданского», свободы воли, «пределов моральных философии», «меры добродетелей и злодеяний», «совести правой и погрешительной», «должностей перед богом». О содержании этих диссертаций ничего не известно, но их названия показывают, что Гросс не ограничивался в своей научной работе тем, что давал основатель естественного права Пуфендорф, что он понимал моральную философию шире, чем ему приходилось читать в университетских лекциях, «объясняя об обязанностях гражданина и человека по книге пуфендорфской», как указывалось в объявлении о начале занятий. Возможно, впрочем, что книга Пуфендорфа, как раз в 1726 году изданная в России, занимала и в курсе лекций лишь определенную часть. Х. Грасхоф в своей диссертации делает вывод о том, что «сравнение лекций Гросса с первыми сатирами Кантемира показывает соответствие в важных вопросах

¹² М. И. Радовский. Антиох Кантемир и Петербургская академия наук, стр. 16—38 (гл. II).

¹³ П. Пекарский. Разбор сочинения Чистовича «Феофан Прокопович». Тридцать четвертое и последнее присуждение учрежденных Демидовым наград 25-го июня 1865 г. СПб., 1865, стр. 139.

благородства, религии и науки». ¹⁴ Но, конечно, учение Пуфендорфа было важнейшей частью этих лекций. Его имя упоминается уже в первой редакции I сатиры Кантемира. Идеи природного равенства и свободы всех людей не в полной мере принимались сатириком в этот период, но и в самой книге Пуфендорфа они проводятся ограниченно, оборачиваясь защитой абсолютной монархии.

Можно ли сказать, что в сатирах Кантемира отразились идеи, воспринятые от Бильфингера, Гросса или, что предлагают еще чаще, Феофана Прокоповича? Разумеется, это так, и как указывалось выше, сюда надо включить и идеи Д. Кантемира. Но едва ли эти уроки могли быть так хорошо и прочно усвоены, если бы они не совпадали с основными тенденциями идеологии эпохи, в которую он еще только рос и мировоззрение его лишь начинало складываться. «Мудры указы Петровы» были для него живой действительностью, и казалось, что и после смерти «Пуфендорфа российского» они останутся незыблемым наследием, потому что русские «стали вдруг народ уже новый». То, на чем основывалось преподавание этики в Академии наук, было также теоретической установкой реформы Петра. Здесь Кантемир и усваивал скорее всего этику общественную, этику человека, первейший долг которого не просто добродетели и чистая совесть, но польза обществу. В петровской «Табели о рангах» можно было увидеть не только желание заставить всех дворян проходить службу с низших чинов и постоянно учиться, но и подтверждение независимости способностей человека, и отсюда его места в обществе, от его происхождения, а это связывалось именно с учением Пуфендорфа о природном равенстве людей: «Сыновьям князей, знатнейшего дворянства, также служителей знатнейшего ранга хотя мы позволяем, для знатной их породы, в ассамблее знатных чинов свободный доступ пред другими, однако мы никому никакого ранга не позволяем, пока нам и отечеству никаких услуг не покажут и за оные характера не получат. А понеже нужда ныне необходимая требует в высшие статские чины, того ради брать, кто годен будет, хотя бы и низкой породы был и никакого чина не имел». ¹⁵ Заботясь о благе государства, Петр мог отбросить некоторые предрассудки, и никогда после его смерти в дворянском государстве не смогли вернуться к табели о рангах в том виде, как она была задумана.

Во имя широко понимаемого государственного интереса Петр в своем законодательстве даже стремился несколько ограничить крепостное право, не останавливаясь перед нарушением сословных интересов дворянства. Конечно, не какой-то особый демократизм

¹⁴ Х. Грасхоф. Западноевропейские связи Кантемира.

¹⁵ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. IV, т. 16. Изд. 2-е, СПб., 1895, стр. 756.

и гуманность определяли отношение Петра к крестьянству; это отношение было связано с общей петровской экономической политикой. Он считал своим правом карать помещиков, разоряющих своих крестьян, протестовал против обычая продавать людей, как скот, потому что понимал: «разорение крестьянское есть разорение государства». Но идеологическое оформление этого «охранения крестьянского» также приводило к идеям равенства людей и ценности человека в зависимости от его пользы для общества: «Понеже крестьяне суть артерии государства, чего ради надлежит оных беречь и не отягощать через меру, но паче охранять от всяких нападков и разорений, и особливо служилым людям порядочно с оными поступать», — говорится в наказе «О бережении земледельцев».¹⁶ Следует вспомнить, что у Дмитрия Кантемира в его сатирическом романе крепостные крестьяне — пчелы, за счет труда которых живут все остальные, — возмущаются: «Доколь мы будем отвечать молчанием на рабство и вечное унижение?», — а в «Истории Молдавии» вопрос о крепостном праве был так неприятен автору, что ему пришлось найти выход в утверждении, будто ни один крепостной не является молдаванином, ибо само слово «вечинь» означает «соседи».¹⁷ Дворянский характер идеологии Д. Кантемира, неоспоримо доказанный всеми исследователями, не дает права считать лицемерными его слова о том, что молдавские крестьяне являются «самыми бедными тружениками во всем мире» из-за произвола хозяев в отношении податей. Нельзя не видеть в этих словах заботы о благе всей нации, а не только служилого дворянства. Отсюда нетрудно было перейти к изучению жизни крепостного крестьянства, желанию понять его нравы, стремления, мечты.

Тот же государственный интерес определял и церковную политику Петра. Когда представители реакционного духовенства стали яростно нападать на его указы, шедшие вразрез с «божественными установлениями и законами», Петр повел с ними решительную борьбу. Учреждение Синода, «Духовный Регламент», переполненный сатирическими выпадами против духовенства, конфискация монастырских земель и неприязненное отношение к монахам, которых Петр считал дармоедами, запрещение «Камня Веры»; а с другой стороны, известная веротерпимость в отношении не только иностранцев, но и раскольников, которых не трогали до тех пор, пока дело касалось различий в вере, но начинали притеснять, когда те выступали, как и православное духовенство, против государствен-

¹⁶ См.: Б. И. Сыромятников. «Регулярное» государство Петра I и его идеология, ч. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1943, стр. 144—146.

¹⁷ См.: В. Н. Ермуратский. Общественно-политические взгляды Д. К. Кантемира. Кишинев, 1956, стр. 62, 66—68.

ных нововведений; и наконец, главное — пропаганда и насаждение передовой науки от лица государственной власти — все это создавало благоприятные условия для формирования передовых взглядов А. Кантемира и его смелых выступлений в защиту науки против ее опаснейших врагов, «ханжей или людей черезчур щекотливых в деле веры», как писал он по поводу заглавия «Разговоров о множестве миров». И не случайно появление и содержание первых сатир Кантемира связано с именем Феофана Прокоповича, выдающегося деятеля петровских преобразований, с которым Кантемир сблизился уже после смерти Петра, когда он, как и автор элегии «Плачет пастушок в долгом ненастье», начал понимать неблагополучие обстановки в стране, когда через личные разочарования и искания он пришел к выводу, что мало самому заниматься наукой и иметь самые передовые взгляды — их надо сейчас уметь защищать; и он стал искать действенную форму отстаивания своих идей. Основной заслугой Феофана Прокоповича в этот последний, самый трудный период его жизни было создание «ученой дружины», объединение передовых писателей, ученых, общественных деятелей для того, чтобы общими силами отстоять общее дело. В «ученой дружине» завершилось воспитание Кантемира, готовилось его выступление в качестве сатирика, сыгравшее исключительную роль в идейной борьбе с реакцией.

М. И. Радовский в книге, являющейся самым новым исследованием биографии и мировоззрения Кантемира, полностью отрицает существование «ученой дружины» как некоторой сложившейся организации: «Прокопович... имел в виду круг образованных людей, объединенных общими идейными установками и противопоставивших себя — конечно, каждый в одиночку — всем поборникам старины, „нелюбящим ученых дружины“». ¹⁸ Автор полностью принимает версию Кантемира о знакомстве с Феофаном и потому считает указание, что выражение «ученая дружина» заимствовано из Горация, достаточным, чтобы усомниться в существовании этого кружка. Он прав в том, что из приветственных стихов Феофана не видно, чтобы тот говорил об особой организации, однако отсюда не следует, что реально существовавшее общество не получило с тех пор названия, случайно и очень удачно найденного в стихотворении своего главы — ведь написал же Кантемир: «милую возвав дружину». Но если даже участники «дружины» себя так не называли и выражение Феофана введено только исследователями XIX века, то и в этом случае еще ничего нельзя сказать о самом кружке. В то же время лучшие биографы Ф. Прокоповича, Чистович и Морозов, касаясь его отношений с Кантемиром, утверждали:

¹⁸ М. И. Радовский. Антиох Кантемир и Петербургская академия наук, стр. 32.

вопрос об «ученой дружине» настолько ясен, что излишне возвращаться к нему.¹⁹ Считалось, что элегия Феофана обращена к Кантемиру, на что тот ответил «Песнью утешительной». Затем от имени «ученой дружины» Кантемир выступил с сатирой «К уму своему», и Феофан приветствовал его стихами, делая вид, будто автор ему лично неизвестен. Тут наступили события 1730 года, и вся дружина выступила на борьбу с «затейкой верховников»; победа была на их стороне, и все приверженцы Анны Иоанновны были награждены. Вскоре Кантемир написал III сатиру, приложив к ней благодарительные стихи. Потом наступила реакция, немецкое окружение императрицы поспешило расправиться с сильными политическими противниками, способными устроить новый правительственный переворот. «Ученая дружина» распалась.

Против такой истории ученого кружка Феофана выступил З. И. Гершкович в своей диссертации «А. Д. Кантемир. Вопросы мировоззрения и литературной деятельности» (1952). Он считает, что «дружина» существовала, но не до 1730 года. Он сумел уточнить датировку многих произведений, связанных с проблемой «дружины», и в первую очередь — приветственных стихов Феофана. З. И. Гершкович утверждает, что Феофан, действительно, не был знаком с Кантемиром до прочтения I сатиры. Доводы ученого нельзя не признать довольно сильными. Элегия Феофана вовсе не обращена к Кантемиру и написана перед смертью Петра II, в январе 1730 года. В февральских событиях все будущие члены «ученой дружины» приняли участие независимо друг от друга. К апрелю 1730 года, когда они ожидали от Анны продолжения политики Петра I, Феофан узнал о существовании неизвестного талантливого сатирика, смелость и близость идей которого его чрезвычайно обрадовали; он «об авторе известився», приветствовал его стихами, проникнутыми бодрым духом его тогдашнего настроения, с призывом «плюнуть на грозы сильных глупцов» и продолжать «путь преславный, коим книжные текли исполины». К тому времени у Кантемира была написана и II сатира, поэтому благодарительные стихи приложены к III сатире, посвященной Феофану, они датированы августом 1730 года. Тогда же пишет Кантемир и свой «Эпод», ибо в нем говорится, что «день шестой» уже наступил, все пастухи надеются на раздачу шкур после охоты на хищных зверей, и только один поэт, малый пастушок, лишен нивы и стада. В этом произведении, написанном между маем и декабрем 1730 года, есть упоминание о собраниях дружины Пимена. Представляя историю «ученой дружины» в таком виде, З. И. Герш-

¹⁹ И. Чистович. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, стр. 607—616; П. Морозов. Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880, стр. 339—340.

кович хотел показать, что нельзя сводить идеи первых сатир Кантемира к защите интересов небольшого кружка, что две самые сильные, пронизанные современностью и пафосом борьбы сатиры были личным подвигом молодого автора: поддержка Феофана пришла в то время, когда «сильных глупцов нравы» уже не были так опасны. З. И. Гершкович признает, что принимать на веру слова: «Не знаю, кто ты, пророче рогатый», никак нельзя, ибо и стихи, и книга в подарок были направлены по определенному адресу; но весь рассказ Кантемира в предисловии к I сатире сомнений у него не вызывает.

Действительно ли Кантемир вошел в «ученую дружину» лишь после 1730 года? С этим связан и другой вопрос — существовала ли вообще эта «дружина» до того времени, когда Феофан узнал о Кантемире? З. И. Гершкович склонен к отрицательному ответу из-за полного отсутствия фактов, говорящих о связях тех людей, которых обычно называют «ученой дружиной»: Ф. Прокоповича, Татищева и Кантемира. Разумеется, если членов кружка было всего трое, то выпадение одного участника механически ведет за собой разрушение «дружины», и тогда несомненно имевшие место встречи и споры Прокоповича с Татищевым, вроде разногласия по поводу «Песни песней», представляются случайными.

Ответить прямо на первый вопрос возможности нет. Из биографий Кантемира и Феофана сделать вывод об их знакомстве до 1730 года нельзя, из стихотворной переписки, относящейся к апрелю—декабрю этого года, — также. Калайдович, напечатавший «Речь к Анне Иоанновне» в 1823 году, указывал, что у него сгорела рукопись с их стихотворной перепиской.²⁰ Разумеется, здесь были неизвестные произведения, иначе Калайдович не стал бы жалеть, что вовремя их не напечатал; но, во-первых, к тому времени неизвестными оставались еще элегия Феофана и «Эпод» Кантемира, напечатанные лишь в 1863 году, во-вторых, если переписка и не ограничивалась пятью обычно приводимыми произведениями, то ничего нельзя сказать о времени ее. Входящая в состав Курбатовской рукописи эпиграмма «На Феофана и Феофила», если доверять указанию Кантемира, написана после I и II сатир.

И все же З. И. Гершкович учитывает не все. Предполагать знакомство Феофана с Кантемиром еще в 1727—1729 годы можно уже потому, что выделявшийся своей ученостью архиепископ Новгородский не мог не заметить молодого, но уже хорошо образованного ученика Байера и Гросса, с которыми он был близко связан, а главное, автора напечатанной в 1727 году «Симфонии на

²⁰ К. Калайдович. Сочинения в стихах и прозе. «Труды Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете», ч. III, М., 1823, стр. 106.

псалтирь», после выхода в свет которой о Кантемире было сообщено в Берлинскую академию наук.²¹ Но есть и более убедительное доказательство. Обращает на себя внимание превосходное знакомство Кантемира с творчеством Феофана, с теми произведениями, которые не были широко распространены даже в списках, а также частые заимствования его у Феофана. Два таких заимствования встречаются уже в I сатире Кантемира. В примечаниях к клятве Луки указано, что его слова «есть подражание из Овидиевых стихов 7-ой его Элегии». Однако совершенно очевидно, что Кантемир взял стихи Овидия в переводе Феофана Прокоповича:²² первые четыре стиха совсем не изменены, другие несколько переработаны. Одну строку из этого перевода Кантемир использовал и в IV сатире. Причем, всегда тщательно отмечая свои заимствования у западных сатириков, Кантемир часто не указывает явных «цитат» из произведений Феофана. В той же I сатире в речи Завистного, впоследствии Сильвана, переложен в стихи отрывок из интересного раннего произведения Прокоповича «Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным». Упорный невежда селянин, «отвратясь лицом, говорил себе тихо: Отцы де наши не умели письма, но хлеб довольный имели, и хлеб тогда лучше родил бог, нежели ныне, когда письменных и латинков намножилось».²³ У Кантемира Завистный «без стыда гремит слово, древним глупцам сродно»:

Живали мы, — говорит, — не зная латыне
Преж сего, хотя просты, лучше, нежели ныне,
В невежестве гораздо больше хлеба жали,
Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли.

Из того же «Разговора» использованы Кантемиром и другие отрывки: при создании образов Сильвана и Зоила в III сатире. Из одной проповеди Феофана Кантемир привел во II сатире понравившееся сравнение: «Знают..., как калмыки архитектуру»,²⁴ несколько изменив его: «Столь тебе знакомы, сколь сибирским вотякам мраморные дома». Даже в заграничной «IX» сатире Кан-

²¹ Х. Грасхоф. Западноевропейские связи Кантемира.

²² Вот начало элегии у Феофана:

Когда плугом по небе бразды водить станут,
А с поверхности земли звезды уж поглянут,
Когда от моря к ключам своим пойдут реки
И прешедши вспять к нам возвратятся веки...

Ср.: Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 364.

²³ П. В. Верховский. Учреждение Духовной коллегии и «Духовный регламент», т. II. Ростов на-Дону, 1916, стр. 77.

²⁴ Феофан Прокопович. Слова и речи, т. II. М., 1760, стр. 246.

темир использует отдельные места феофановского «Разговора тектона, си есть древодела, с купцом» и особенно «Истинного оправдания правоверных христиан», строя прямо по плану предисловия к этому произведению всю «раскольниковую» часть сатиры. Трижды цитирует он и послание «Творцу сатиры „К уму своему“»: в V сатире (1-я ред.), в IV сатире (2-я ред.), в I письме «о природе и человеке».²⁵ Но если эти заимствования можно объяснить более поздним знакомством с творчеством Феофана, то I сатира ясно показывает, что Кантемир сознательно использует тексты, которые могли стать ему доступны скорее всего при помощи самого их автора. Нельзя, конечно, не обратить внимания на своевременность написания Кантемиром I сатиры — это были не просто идеи, которые Феофан не мог не одобрить, это была открытая защита и науки, и самого Феофана — ведь не зря в сатире есть выпад против «Камня Веры», не зря Кантемир ополчился именно на Дашкова, о котором написал стихи и Феофан, намекая на искательство патриаршества. В это время положение Феофана было таким тяжелым, что он даже опасался упоминания своего имени с похвалой.²⁶ Выступление Кантемира было, действительно, подвигом, и это была большая поддержка «ученой дружине». То, что Феофан приветствовал смелый шаг Кантемира не сразу, доказывает лишь его осмотрительность; все равно он был бы плохим заступником Кантемиру, сам нуждаясь в защите. С 1730 года Прокопович и Кантемир стали открыто показывать свою близость, но тогда-то и родилась версия о только что начавшемся знакомстве, которую Кантемир поддерживал до конца жизни.

Считается, что III сатира написана Кантемиром в основном для того, чтобы «в ней собрать приличные тому архипастырю похвалы, ему же в знак благодарства ее приписать», — так объяснял ее цели сам автор. Но для выражения благодарности достаточно было и приложенных к сатире стихов, тем более, что скромный Кантемир уверял: «Силы воздавать дары равномерны в знак благодарения — увы! — запрещают». З. И. Гершкович правильно указывает, что III сатира была призвана защитить как самого автора после I сатиры, так и Прокоповича от обвинений в безбожии. Но и это не было главной целью сатиры. И защита, и похвалы занимают в ней

²⁵ В примечании на ст. 203 в 1-й ред. V сатиры А. Кантемир ссылается на «Первое учение отроком», книгу, по поводу которой Д. Кантемир полемизировал с Феофаном. Прикрываясь авторитетом Прокоповича, А. Кантемир проводит в этой сатире мысль, от которой потом не мог не отказаться, как и от цитаты из Феофана.

²⁶ П. Н. Берков в лекциях по истории русской литературы XVIII века указывает, что когда в 1728 году Феофана в одном из заграничных журналов назвали «украшением русской церкви», он заявил, что похвалы эти несвоевременны и могут принести ему только огорчения.

не такое уж большое место. Само обращение к Феофану показывает, что автор, теперь уже открыто, предлагает «дивному первосвященнику» разрешить важнейший философский вопрос, который являлся в то время важным и затруднительным для самого Кантемира — такие философские беседы являлись, как есть основания предполагать, обычными для «ученой дружины». В той же III сатире, в примечаниях к стиху: «Куды мотовство завелось в людях» — приведены латинские стихи, подражанием которых явилась эта строчка. В 1-й редакции указанной сатиры эти стихи даны без имени их автора, и лишь в сборнике 1743 года Кантемир добавил: «Феофан Прокопович в сатире русской». Так раскрывается знакомство Кантемира еще с одной стороной творчества его учителя. С сатирами Феофана Кантемир мог ознакомиться лишь при личных связях с автором.

Еще один член феофановского кружка сразу же откликнулся на появление сатир Кантемира. Это был также очень образованный (он побывал за границей, знал иностранные языки, был знаком с иностранными учеными) и передовой человек, архимандрит Новоспасский Феофил Кролик. Если предполагать, что и он впервые узнал о Кантемире только после прочтения I-й сатиры, от «неизвестного приятеля», то кажется просто удивительным, насколько точно по адресу, в верные дружеские руки, попадали списки сатиры. Если сдержанный и осторожный Феофан ограничился только одним стихотворным посланием сатирику, то Кролик, имя которого Кантемир соединяет с феофановским и в предисловии к I сатире, и в эпиграмме, писал стихи почти к каждой сатире. Некоторые из них встречаются только на латинском языке, но есть и русские, которые несравненно хуже и октав Феофана, и самих сатир, но важны содержащейся в них оценкой достоинства Кантемира как сатирика и ученого:

Как ты, мудра, похвалить достойно кто чает,
Егда ты и хуленна глупость похваляет?
Являешь, писателю, различные нравы,
Како разны ученым бывают отравы:
Безбожник глупый хулит изящну науку,
Богатый от богатства вменяет ту в муку,
Убогий говорит, что лучше в злате быти,
Пьяный охоч в кабаке паче наук жити.
Но ты, княже, в науках ими добро дело,
Тя, умна, вся наука ожидает смело.²⁷

Характерно, что, поддерживая инкогнито сатирика, Кролик всегда называет его князем. В других стихах он пишет о пользе сатирической деятельности:

²⁷ Рукописное отделение Государственной Публичной библиотеки им М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, сборник Вяз. Ф. СХХІХ.

Хитрость есть славна родство глупостей узнати,
 Да не будет погрешность виршем описати.
 Немалая есть сила теорити благое,
 Пользу с сладким вмещая, примечати злое.
 Сия зришь, княже, вся чести предостойный,
 Аще и скрытен еси, но ум твой пристойный,
 Не будещи имети зло твое наследство,
 Возымеешь в рассудке сладко многолетство.²⁸

Очень интересна его приписка ко II сатире, в которой Кролик хорошо сумел сформулировать одну из главных проблем раннего творчества Кантемира:

Чим красно благородство? И славного герба
 Како удержати целость без славы ущерба?
 Зде учишь сатирую юнош благородных
 И нравом красишь своих кровь предков свободных.
 То нельзя (хотя таяшь имя) ты не знати,
 Можно князем юности по-древнему звати.²⁹

Среди этих стихотворений есть одно, сыгравшее некоторую роль в творческой истории V сатиры Кантемира. В нем «боголюбец, хотя из малой зверины», как зашифровал свое имя автор, говорит, что у сатирика немало врагов, их глупость «весь свет одолела и заполнила вселенную».³⁰ Поэтому неудивительно, что ученому

Несть в градах русских места, но среди сатиры
 В лес ты темный прогнаши глупы богатыри,
 Так что никто твоего имени не знает;
 Но мне — князь честный, иже злобы побеждает.³¹

Во 2-й редакции V сатиры Кантемир судит современное общество от лица сатира, явившегося «в град русский из леса» и не нашедшего места среди злонравных людей. Правда, Кантемир и раньше, по традиции, объединял понятия «сатирика» и «сатира», и в эпиграммах, и в «Петриде», но в формировании нового замысла V сатиры, ее основной ситуации стихи Кролика занимают не последнее место.

Не только эти выступления свидетельствуют о близости Кролика к Феофану и Кантемиру. В дневниках двух украинцев, Петра Апостола и Якова Марковича, часто встречается его имя. Особенно интересна запись Марковича 1728 г., в которой рассказывается об одной из бесед на философские темы, происходившей у Феофана;

²⁸ Там же.

²⁹ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 446. С некоторыми исправлениями по сб. Государственного исторического музея в Москве, 47418 арх., 1618.

³⁰ Ср. стихи 254—255 в V сатире Кантемира (1-я ред.).

³¹ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 444.

Кролик также присутствовал на ней. Участники спора пришли к выводу, что мнение Декарта, будто животные не имеют чувства и памяти, будучи лишены души, «есть некрепкое». Они ссылаются при этом на «повседневные эксперименты», противоречащие «сентенции картезианов». Откуда же у животных чувства? Рассуждая «о существе духа», они решают, что душа — это не чувства и мышление, а «нечто особливейшее», значит, «неякий вид дебелого и весьма скудного помышления животным причесть можно». Каково же это мышление, они не берутся рассуждать, так как «от неизвестной вещи известную утверждать невозможно, разве вопреки».³²

Конечно, сам автор дневника во время пребывания в Петербурге и в Москве тоже был членом кружка Феофана. Маркович — его любимый ученик, с которым он долгое время переписывался, очень образованный человек, которому Феофан советовал заниматься философией и писать трактаты; и действительно, в дневнике упоминаются не только книги философов и выписки из них, но и «рассуждение богословское на безбожие», которое он писал вместе с другом.

«Приятелем» Марковича, Феофана, Кантемира и Кролика был и Петр Апостол, также человек с широкими интересами, знавший несколько языков, свой человек в доме Меншикова, но после падения последнего оставшийся в милости у Петра II. Обладая гораздо более светскими интересами, чем Маркович, Апостол мог быть как бы связующим звеном между разными группировками в «ученой дружине»: кругом философов и литераторов.

Различными исследователями были предложены в качестве членов «ученой дружины» и другие лица. Д. Д. Благой включает в их число Тредиаковского, «почти сразу же по возвращении из чужих краев примкнувшего к кружку Феофана».³³ Его восторженное отношение к сатирам Кантемира и столкновение из-за этого с реакционным духовенством освещено в литературе. П. Н. Берков называет среди позднейших участников «ученой дружины» Волинского и Хрущева.³⁴ К этой, политической группе можно отнести также и князя А. М. Черкасского. На это указывают не только близкие связи его с Кантемиром или то, что ученики феофановской школы обращались после смерти своего наставника именно к Черкасскому с просьбой помочь им поступить в Академию наук, но и указание

³² Дневник генерального подскарбия Якова Марковича. Под ред. А. М. Лазаревского. Ч. I—II (1718—1729). Киев, 1895, стр. 264—265.

³³ Д. Д. Благой. Закономерности становления новой русской литературы. IV международный съезд славистов. Доклады АН СССР, М., 1958, стр. 23.

³⁴ П. Н. Берков. Феофан Прокопович. В кн.: *Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII веков* (Библиотека поэта. Малая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1935, стр. 168.

В. Н. Татищева, что его «Разговор двух приятелей»,³⁵ написанный в 1733 году, начат «чрез разговоры с архиепископом Новгородским Феофаном Прокоповичем и с князь А. М. Черкасским, а также с некоторыми профессора Академии рассуждая». Кстати, «Разговор» тоже может показать, какие вопросы обсуждались в кружке и насколько они близки идеям сатир Кантемира. Например, один из приятелей спрашивает, действительно ли вредны науки, ибо от них выпадают в ереси, как он от многих богобоязненных людей слышал. Другой отвечает, что в ереси многие выпадают от невежества, а другие, если и ученые, то лицемеры, остроречные и коварные, так что не наука тут виной. Автор определяет цель науки как «внутреннее познание самого себя» и протестует против утверждения, будто люди «без всякого научения благополучны и по их естественному состоянию совершенны быть могут», ибо считает, как Феофан и Кантемир, что невежество — причина всех злонаравий. Татищев защищает право всех людей изучать Библию. «Многие того не похваляют, сказуя, что не разумея многие от пути праведного заблуждают, в безумие и ереси выпадают», — точно так же рассуждают у Кантемира церковник в I сатире и раскольник в IX.

П. Н. Берков в «Истории русской журналистики XVIII века» приводит письмо Татищева в Академию наук, из которого видно, что «ученая дружина» Феофана живо интересовалась академическим журналом «Примечания к ведомостям», а сам Татищев сотрудничал в нем. Среди близких к Феофану людей, следящих за новейшими достижениями науки, назван друг Кантемира, Н. Ю. Трубецкой.³⁶

В «дружине» занимались не только научными и богословскими спорами, но и политическими делами, и Кантемир не оставался в стороне от них. Выступление всех членов «дружины» в феврале 1730 года на стороне оппозиции верховникам нельзя считать случайным и разрозненным. Но даже для обычного дворцового переворота недостаточно деятельности трех человек, и десятка — тоже. Кантемир оказался в одном из более широких объединений, возглавлявшемся Черкасским. Видимо, выбор его был сознательным. Еще до выступления, в предшествующие этим событиям годы, в творчестве его проявлялось недовольство современностью.

Как и Феофан, Кантемир занимался стихотворным переложением псалмов,³⁷ в которых искал возможности обличать всесильных правителей:

³⁵ В. Н. Татищев. Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ. «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1887, кн. I, стр. 61—62, 110—112.

³⁶ П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 70.

³⁷ И. Чистович. Феофан Прокопович и его время, стр. 559.

В таковом счастья полны гордости
 И надменны,
 Самолюбием жестоким в злости
 Ослепленны,
 Свиньею смотрят на люди равны
 Как скотины,
 И давят бедных, сильно злонаправны,
 Без причины.

Ищет он в псалмах и надежду, что эти «гордые истуканы» будут
 стерты с лица земли:

И се ты, боже, сих гордых роги
 Сокрушаешь,
 Их славу и честь смиренным под ноги
 Повергаешь.³⁸

В это же время начинает Кантемир разрабатывать другой сатирический жанр — эпиграммы. Как всегда впоследствии, он стремился представить свои произведения более безобидными, чем они были в действительности, и об эпиграммах писал: «В них нет ничего приметного, кроме новости своей, понеже до сих пор на нашем языке, я чаю, эпиграммы не писаны».³⁹ Кантемир датировал все эпиграммы 1730 годом. Едва ли это указание верно, но главное, он выделил две из них, совсем не назвав даты их написания. Среди них — эпиграмма «На гордого нового дворянина». Она известна только из сборника 1743 года, в поздней редакции, но написана очень рано, может быть, самой первой, так как объектом осмеяния в ней стал Меншиков, причем Меншиков в полном расцвете своей власти. Обличение очень справедливо: «новый дворянин» оказывается высокомернее, тщеславнее всех «в великом числе вельмож». Чтобы еще резче подчеркнуть контраст между его безмерной важностью и подлинными достоинствами, Кантемир придает ему черты, не свойственные реальному прототипу: «Сильван всех глупее, ... делом не славнее». Отношение к Меншикову не было у Кантемира односторонним: во II сатире, уже после смерти сосланного князя, поэт защищает достоинства государственного деятеля в том, «кто горшком с подовыми истер бедно плечи». Но в 1727 году Меншиков был самым ярким представителем злонаравия в стране. Отношение Феофана к Меншикову было

³⁸ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 255, 259.

³⁹ Эпиграммы писал Феофан, правда, не оригинальные: это были переводы из Скалигера, Марциала; но часть эпиграмм Кантемира — тоже переводы, и неуказанные. Подробно об эпиграммах Кантемира см.: П. Н. Берков. Первые годы литературной деятельности Антиоха Кантемира (1726—1729). В кн.: Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 199—209.

таким же. Когда-то, при Петре, он сравнивал А. Меншикова с Александром Невским, а в последние годы его «правления» отзывался о нем: «Он самый недобрый человек, многим злости делает, а прикидывается богомол и молебны поет».⁴⁰ Феофан знал о предполагавшемся заговоре против Меншикова и выжидал: «вот-вот в скором времени у нас великое произыдет». Падение Меншикова встретил он с большой радостью: «Этот выросший из пигмея гигант, оставленный своею фортуною, упал с величайшим шумом, — писал он в одном из писем. — Ярость помешанного, чем более возбуждала против него всеобщей ненависти и предускоряла его погибель, тем более со дня на день усиливала его свирепство. А мое положение было так стеснено, что я думал, все уже для меня кончено».⁴¹

Как видим, выступление Кантемира было далеко не личным делом. Можно предполагать, что и в других эпиграммах высмеивались пороки известных людей, иначе они кажутся просто незначительными. Одна из эпиграмм — «На Леандра, любителя часов» — является переводом из Буало и, вероятно, также относится к 1727 году. Но ее переводной характер не объясняет выбора: по-видимому, и в России был такой любитель часов. Среди эпиграмм 1730 года — «На Брута», «О прихотливом женихе», «На старуху Лиду» — только последняя не лишена сатирической соли, другие же недостаточно остры, чтобы называться эпиграммами. Эпиграмма «На самолюбца» близка к сатире «На Зоила» и, может быть, написана против того же лица. Но есть еще одна эпиграмма, «На икону Св. Петра», которая, если и написана в 1730 году, указывает на то, что ее автор не разделял некоторых слабостей своего друга и учителя, Феофана Прокоповича. Последний был человек с широким кругозором и смелыми взглядами. Ненавидевший его монах Рибера не был уверен, что у него есть хоть какие-нибудь религиозные убеждения. Такие убеждения у Феофана несомненно были, он выступал против атеистов с полной искренностью, но умел уважать противников и действовать доводами, а не ругательствами и угрозами. Эта позиция отразилась и в надписи на книге протестантского профессора церковной истории Турретини «Рассуждение богословское о истине богомудрия христианского»:

Турретин миролюбный, брани вождь духовной,
Что щитишь христианства полк без брани кровной,
Вижу и понимаю глазами моими,
Коль ясно доводами правду щитишь сими.
Но кто достойно тебя похвалил? Не знаю.

⁴⁰ Феофан Прокопович и Маркел Родышевский. «Православное обозрение», 1864, № 9, стр. 26.

⁴¹ Письма Феофана Прокоповича. «Труды Киевской духовной академии», т. I, 1865, стр. 599—600 (перевод с латинского).

Я себя должным тебе право признаваю,
Нет, чтобы я впервые веры сим учился,
Ибо и от матери верным я родился,
Но что чрез сие даешь спознать злы затей
Эпикура и Пирра смело бить по шей.
И так буду чрез сие твердей отвещатель
Всякому, вправду хоть он враг мой и приятель.⁴²

Однако не ко всякой религии относился Феофан с одинаковой терпимостью: он ненавидел католиков, «папистов». И это не ограничивалось ироническим отношением к римскому папе: «Мне с большим неудовольствием приходится сознаться, что есть люди глупее римского папы»;⁴³ всякий католик вызывал в нем подозрение. Когда он узнал от З. Байера, что им интересуется некий Иосиф, хранитель ватиканской библиотеки, Феофан написал академику встревоженное письмо: «Каким образом я сделался известен ему? Это не удивляет меня, после того как наши русские дела начали принимать блестящий вид, и даже наши литераторы, между которыми я составляю малую часть, могли служить предметом любопытства, как некоторые диковины. Но для меня интересно, по имени только, или по чему-нибудь другому я сделался известен ему. Наконец, ... если он папист, то я не могу поверить, чтобы он мог серьезно и искренне любить меня. Опасаюсь, не хотят ли обмануть меня ласкательством».⁴⁴

Кантемир не мог разделять подобных взглядов. Хорошо владея французским языком (чего лишен был Феофан), занимаясь переводами с французского, он мало интересовался религиозной принадлежностью людей. Как сообщает Х. Грасхоф, во второй половине 20-х годов Кантемир вращался в образованных западноевропейских кругах Петербурга.⁴⁵ Едва ли исследователь имел в виду академиков. Известно, что еще в 1729 году Кантемира собирались послать из Коллегии иностранных дел за границу, и прежде всего в Париж, «для наук и в делах употребить, чтобы он со временем мог министерским делам обучиться».⁴⁶

В конце 1728 года в Москву приехал французский аббат Жюбе, чтобы тайно хлопотать о соединении православной и католической церквей. Это был человек, о котором его современник Бурсье писал: «Каждый искал сообщества и беседы со столь любезным иностранцем и считал за честь быть знакомым с ним».⁴⁷ Впоследствии

⁴² ЦГАДА, ф. 196, № 1533. Феофан Архиепископ Новгородский к Турретину.

⁴³ Письма Феофана Прокоповича, стр. 147.

⁴⁴ Там же, стр. 270.

⁴⁵ Х. Грасхоф. Западноевропейские связи Кантемира.

⁴⁶ Реляции кн. А. Д. Кантемира из Лондона, с введением и примечаниями В. Н. Александренко. М., 1892, стр. VI.

⁴⁷ П. Пекарский. Разбор сочинения Чистовича «Феофан Прокопович», 1865, стр. 129.

Кантемир признавался аббату Гуаско, что желал успеха Петру Великому в деле соединения церквей. Во всяком случае, он оказался близок к Жюбе, и тот сразу оценил его знания и талант переводчика, сообщив в Париж, что Кантемир — единственный ученый из тогдашних русских вельмож и что он занимался переводами благочестивых сочинений по поручению Жюбе.⁴⁸ Надежды обратить Кантемира в католичество не оправдались, но дружба с «папистами» не прошла для него бесследно. Во многом разделяя взгляды Феофана, он выступал против его вражды к католикам и в эпиграмме «На икону святого Петра» заставил православного апостола признать, что «попавшие в папски сети» вовсе не заблуждаются и вход в рай им не запрещен, а попадут они туда независимо от «детей восточной церкви» и их «ключаря».⁴⁹

Каковы были «благочестивые» переводы, выполненные Кантемиром для Жюбе, неизвестно. Кантемир не был заинтересован, чтобы они появлялись под его именем. Ни один из переводов того периода, которые Кантемир подписывал и собирался издавать, под определение «благочестивого» не подходит: это научные, моральные или даже сатирические сочинения. «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля — это произведение, в котором автор, стараясь не ссориться с религией, проводит новые положения в астрономии, доказывая их путем простейших, порой шуточных и остроумных доводов разума, доступных всякому неподготовленному человеку, — и Кантемир видит пользу своего труда как раз в том, что перевел такое сочинение на русский язык, на котором философских трудов почти не было написано. Фонтенель нашел хороший прием объяснения, введя в рассказ некую маркизу, которую он «подговорил в ватагу философскую», так что не только вся философия подана в виде писем одного ученого к другому, но и кроме того, рассуждения все время прерываются вопросами, дополнениями этой маркизы, описаниями природы; такой прием оживления научного трактата Кантемир использовал для самостоятельного оформления своего позднейшего перевода из Фенелона. К «Разговорам о множестве миров» Кантемир составил примечания, в которых не только выразил свое отношение к философским направлениям различных эпох, но и пояснил связанные с литературой понятия: что такое «романц», эпическое стихотворение, элегия, интрига, герой, о чем говорится в «Федре», «Астрее» и «Принцессе де Клев», кто такие Овидий, Вергилий, Ариосто,

⁴⁸ П. Пекарский. Наука и литература при Петре Великом, т. I. СПб., 1862, стр. 43.

⁴⁹ Цензура Николая I из всех произведений Кантемира не пропустила только эпиграмму «На икону Св. Петра», «которая влагает в уста этого апостола слова, не соответствующие его священному характеру». «Русская старина», 1903, № 10, стр. 178—183.

Мольер; подробно рассказал о театре, опере, комедии. Помимо того, что он впервые ввел многие философские термины, он всегда считал нужным пояснить, почему он выбрал данное слово. Сама идея уединенной жизни, «тишины», отчетливо проводимая в книге Фонтенеля, в этот период еще не имела для Кантемира такого значения, как впоследствии. Стихотворение «О жизни спокойной», точная дата создания которого не установлена, в котором этические мысли Сенеки сочетаются с деистическими размышлениями, стоит особняком в его творчестве того времени: хотя он интересуется нравственным учением стоиков (книги Сенеки в примечании к I сатире названы «почти лучшими из древних»), оно не находит благоприятной почвы для принятия его в качестве основ этики, ибо в этот период Кантемир стремится приносить пользу обществу в качестве сатирика, исправляющего злонравия, и верит в силу сатирического смеха. «Таблица Кевика философа», тоже не идущая дальше проповеди личной морали, содержит интересное противопоставление истинного и ложного учения, но не может показать путей исправления порока, ибо это произведение крайне схематично и построено на одних аллегориях, а главное, не определяет цели нравственного самоусовершенствования. При вступлении в жизнь человека встречает Разум и указывает дорогу к благополучию. Но Прелесть всем входящим в жизнь подносит питье с невежеством и прегрешением. Мнения уводят опоенных в пропасть, к беззакониям и злости. Покаяние может освободить от всех бед и подает охоту к учению, которое очищает от несовершенств. Мнение же может отвести к ложному учению, и от него человек впадает в прежние обычаи и состояние. Если человеку и удастся достигнуть дворца добродетелей, то и здесь он не найдет в безопасности от падения в пропасть пороков. Никаких практических выводов эта «загадка Сфинкса» не дает. И все же это был не случайный для Кантемира перевод. Вопрос, на чем должна быть основана мораль, будет интересовать его в сатирах. Но это нравоучительное произведение не ведет к сатирам — оно параллельно им.

К сатирам Кантемир шел от эпиграмм и от других переводов — среди них интересен «Перевод некоего итальянского письма, содержащего утешное критическое описание Парижа и французов». Как указывает Х. Грасхоф, автором его был итальянский писатель Джованни Паоло Марана.⁵⁰ При осмеянии французских нравов вообще, чувствуется демократизм позиции автора: он гораздо чаще нападает на вельмож, торговцев, судей, чем на простой народ. «Вельможи разнятся от прочих сим токмо, что ничтоже творят, чтоб другим было в пользу, и множеством скотин и животных

⁵⁰ Х. Грасхоф. Западноевропейские связи Кантемира.

о двух ногах, которые всегда за ними ходят... Я не видал народ благочтимейший, священников воздержнейших, чернцов, которые лучше подавали жития образ. Одни только благородные и вельможи приходят, дабы позабавиться, поговорить и делать любовь свою». Особенно сильно нарисована картина работы суда: «Тут бы Диоген с фонарем не сыскал двух друзей и одного человека удовольствованного. Тут несправедные взятки, тут закладов несправедное удержание, имений от душеприказчиков похищение и рыдание вдовиц и сирот».

Многое из этих «нравов» было знакомо Кантемиру и по России, но многое здесь было другим. Он не мог удовлетвориться ни этими переводами, ни переводами сатир Буало, которые он начал тогда, хотя они, в отличие от «Письма», приравнивались к русской жизни, даже с политическими намеками. Конечно, пример Феофана, с его «русскими» сатирами на латинском языке, должен был оказать на Кантемира влияние. Мы знаем некоторые темы сатир Феофана: «на плохих поэтов, на презирателей наук».⁵¹ Но самих сатир нет, а в отрывке, что привел Кантемир, речь идет о другом — о воцарении «проклятой роскоши», после того как девушка получила в приданое деньги, добытые нечестным путем. Может быть, роль Феофана-сатирика была гораздо большей, если сатиры его посвящены «испорченным нравам века». Может быть также, что сходство сатиры «На хулящих учение» с феофановской на презирателей наук не ограничивается сходством названий — от этого менялось бы многое, но отсутствие текста и даты написания сатиры Феофана не дает возможности пересмотреть традиционные взгляды на появление первой русской сатиры. Кантемир подчеркивал, что она «ни с чего не имитована, понеже из сатириков никто особливую сатиру на хулящих учение не делал».

Появление сатиры «К уму своему», вызвавшее восторг «всех честных» и гнев «многих», которым она «колола глаза всеконечно», показывало, что Кантемир нашел свое призвание, что на многие вопросы он уже умел дать ответ так же уверенно и смело, как ответил «желающим знать, кто его поставил судьбою». Он признавался, что «стихи писать против неприличных действий и слов» — не только его долг, но и страсть. И он поклялся до конца жизни «не престать» писать сатиры — и выполнил свое обещание.

⁵¹ *Satyras contra corruptos saeculi mores, contemptores bonarum artium, contra insulsos poëtas aliosque frigidis scriptores.* И. Чистович. Феофан Прокопович и его время, стр. 599—600.

А. Р. МУРАВЬЕВА

ПРОБЛЕМА ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДЕВЯТОЙ» САТИРЫ А. Д. КАНТЕМИРА

В изучении творчества Кантемира в последнее время особое внимание привлекла так называемая «девятая» сатира, не включенная автором в подготовленный к печати сборник его произведений и ставшая известной лишь во второй половине XIX века, когда она была впервые опубликована Н. С. Тихонравовым.¹ Сатира эта была обнаружена издателем в рукописном сборнике, ныне находящемся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) (шифр: 0.XIV.2; ранее он входил в состав библиотеки графа Ф. А. Толстого). Н. С. Тихонравов не указывает ни состава сборника, ни даты составления его и мимоходом замечает, что «переписчик был, вероятно, малоросс».²

¹ Н. С. Тихонравов. Неизданная сатира кн. А. Д. Кантемира. «Библиографические записки», 1858, № 3, столб. 65—74 (столб. 65—69: вводная статья, столб. 69—74: «На состояние света сего. К Солнцу»).

² Там же. столб. 68—69. Все эти сведения имеются в «Обстоятельном описании славяно-русских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке графа Федора Андреевича Толстова» К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева (М., 1825, стр. 691—696). Сборник составлен в 1751 г. неким Климентом Борковским (не одно ли лицо с Константином Борковским, о котором см.: С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей и ученых, т. I. СПб., 1900, стр. 321); в сборнике находятся «шесть сатир князя Антиоха Кантемира, с предисловиями и объяснительными примечаниями, при посвянительной „Речи“ императрице Анне Иоанновне, 1733 года июня 2», трагедо-комедия «Владимир» Феофана Прокоповича, его же «Эпиникион», стихи Стефана Яворского, ряд киевских школьных драм, «Гамлет» и «Две эпистолы» Сумарокова, произведение Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Ивана Голенинского, латинская «Похвальная песнь» проф. Хр. Круизуса и др. Видно, что сборник составлялся украинцем, внимательно следившим за современной ему литературой Москвы, Петербурга и Киева. К. Ф. Калайдович и П. М. Строев, описывавшие библиотеку Ф. А. Толстого, не отметили, что «шестая» сатира Кантемира, вопреки указанию в приведенном выше описании, не имеет ни предисловия, ни примечаний. *Прим. ред.*

В настоящее время сатира известна в четырех мало отличающихся друг от друга списках, но лишь в одном из них³ (см. ниже) имеется «Изъяснение».

До недавнего времени считалось, что и текст сатиры, и «Изъяснение» к ней принадлежат А. Д. Кантемиру. Работ, обосновывающих авторство его, не существует, вероятно, по той простой причине, что ни у кого из исследователей даже не возникало сомнений на этот счет.

В недавно защищенной С. В. Калачевой диссертации «Сатиры А. Д. Кантемира» (1953) впервые была поставлена под сомнение традиционная точка зрения. Исследовательница выдвинула гипотезу о том, что сатира «На состояние света сего. К Солнцу» написана анонимным поэтом XVIII века, знакомым с сатирами Кантемира. В подтверждение своей точки зрения С. В. Калачева привела ряд соображений: 1) отсутствие данной сатиры в сборниках Кантемира, подготовленных им к печати; 2) немногочисленность списков сатиры; 3) наличие «Изъяснения» лишь в одном списке из четырех; 4) некантемировский характер «Изъяснения» и ряд пунктов в нем и в тексте сатиры, противоречащих биографии Кантемира; 5) иное миропонимание, чем у Кантемира, иной круг интересов автора; 6) художественная слабость сатиры в сравнении с произведениями Кантемира и несоответствие ее с правилами стихосложения, выдвинутыми Кантемиром и применявшимися им в заграничный период его жизни.

Хотя аргументация С. В. Калачевой в целом недостаточна для обоснования окончательных выводов, а во многом и спорна, есть в ней, однако, пункты, с которыми невозможно не согласиться. Несомненная заслуга этой работы состоит в том, что она заставляет осторожнее и внимательнее отнестись к вопросу о принадлежности Кантемиру сатиры «К Солнцу», чем это делалось до сих пор.

Характерно, что в последних работах о Кантемире «девятая» сатира, как ее условно принято сейчас называть, обходится молчанием. Исследователи ограничиваются замечанием, что вопрос об авторе этой сатиры не выяснен окончательно.⁴

Однако Э. И. Гершкович, много и плодотворно занимающийся изучением творчества Кантемира, считает это произведение бесспорно принадлежащим перу сатирика, не приводя, впрочем, никаких для этого доказательств. Сатире «К Солнцу» он посвятил

³ ГПБ. ОХVII.207.

⁴ Ф. Я. Прийма. А. Д. Кантемир. В кн.: Антиох Кантемир. Собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. Изд. «Советский писатель», Л., 1956, стр. 32—33 (В дальнейшем: Кантемир. Собрание стихотворений, стр.); К. В. Пигарев. Кантемир. В кн.: История русской литературы. Т. I. Литература X—XVIII вв. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 414.

статью,⁵ на которой мы подробнее остановимся в дальнейшем. Исследователь считает интересующее нас произведение одним из тех, которые составляют высшее достижение Кантемира как сатирика. Самый факт создания Кантемиром сатиры «К Солнцу», по мнению исследователя, уже дает право говорить о его эволюции влево в заграничный период его жизни.

Наличие столь противоположных точек зрения в оценке сатиры — от признания ее самой острой и разящей из всех сатир Кантемира до заявления, что для него создание такого произведения явилось бы страшным идейным и художественным спадом — делает вопрос об ее авторе крайне существенным и актуальным. Для решения его прежде всего необходимо изучить рукописную историю («традицию») этой сатиры, обратившись к сборникам, в составе которых она до нас дошла. Нужно принять во внимание и реальные события, о которых говорится в данном произведении, чтобы сравнить трактовку их автором сатиры «К Солнцу» с известным нам отношением к ним Кантемира. Важно установить, согласуется ли написание сатиры с фактами биографии Кантемира. В особенности же заслуживает внимания отношение автора «девятой» сатиры к таким проблемам, которые всегда оставались первостепенными у Кантемира и решение которых в сатире «К Солнцу» мы можем сопоставить с решением их в творчестве Кантемира: это — проблемы религии, отношения к науке, ее роли в общественной жизни и, в частности, роли Академии наук; это — постановка и решение важнейшего философского вопроса того времени: в чем причина злонравия и существует ли путь искоренения злых страстей. Наконец, необходимо остановиться и на художественной стороне этого произведения.

Очень важен вопрос о составе сборника, в котором находится данная сатира с «Изъяснением». Сборник этот не рассматривался исследователями, поскольку они считали его утерянным. Однако, как оказалось, он сохранился и находится в рукописном отделе ГПБ в Ленинграде под шифром О.XVII.207. Состав этого сборника очень интересен и дает некоторые новые материалы для постановки вопроса о «девятой» сатире.

С момента опубликования сатиры «К Солнцу» исследователей занимает вопрос о ее датировке. Большинство из них считало и продолжает считать, что сатира написана Кантемиром перед самым отъездом его за границу, о чем говорит соседство ее с пятью «русскими» сатирами в первоначальной редакции, а также бли-

⁵ З. И. Гершкович. К вопросу об эволюции мировоззрения и творчества А. Д. Кантемира. (Проблема «девятой» сатиры). «XVIII век». Сборник 3. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 44—64. (В дальнейшем: З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры).

зость ее к ним и по стилю и по тематике, т. е. что создание сатиры относится к 1731 году. Основоположителем такой точки зрения был В. Я. Стоюнин.⁶

Не была изменена датировка и после обнаружения С. Н. Брайловским другого экземпляра текста «девятой» сатиры с «Изъяснением», в котором сам автор указывал, что произведение написано им в конце июля 1738 года.⁷

Вопрос о датировке «девятой» сатиры окончательно решен З. И. Гершковичем в упомянутой статье. Он приводит убедительные доказательства, что сатира написана в конце июля 1738 года. Исследователь обратил внимание на то, что, помимо прямого указания на эту дату в «Изъяснении», в сатире говорится о реальном событии, происшедшем в середине июля 1738 года, — о казни капитана А. Возницына за принятие иудейской веры, что и соответствует свидетельству сатирика — «сожгли недавно».⁸

О написании сатиры именно в июле 1738 года свидетельствует также следующее обстоятельство. В сатире есть место, относящееся к Академии наук:

Вон дивись, как учений заводят заводы:
Строят безмерным коштом тут палаты славны,
Славят, что учения будут тамо главны;...
Пишут печатные весты:
«Вот завтра учения высоки зачнутся,
Вот уж и учителя заморски сберутся...».⁹

В «С.-Петербургских ведомостях» с начала лета 1738 года помещались сообщения о больших работах по перестройке здания Академии наук; задолго до начала занятий было объявлено о курсах лекций, которые начнутся 1 июня 1738 года, были названы и имена профессоров, намеревающихся читать лекции, и почти все они были иностранцы. Как видно, их и имел в виду автор сатиры, говоря «учители заморски». Интересно и такое сообщение: «...понеже многие чужестранные и здешние персоны желают в Императорской Академии Наук лекции математического курса слушать, того ради профессор Геинзиус завтра, т. е. 13 июня их начинает».¹⁰

⁶ В статье З. И. Гершковича «Проблема „девятой“ сатиры» очень подробно рассмотрен вопрос о подходе к датировке этого произведения разными исследователями.

⁷ С. Н. Брайловский. IX сатира А. Д. Кантемира по вновь найденному списку. «Журнал Министерства народного просвещения», 1892, № 7, стр. 67—80.

⁸ З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 50.

⁹ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 184.

¹⁰ «С.-Петербургские ведомости», 1738, 12 июня, № 47, стр. 374—375.

Несомненно, автор «девятой» сатиры был знаком с сообщениями в газетах, и указанные совпадения не случайны. Вероятно даже, что он мог оказаться слушателем этих лекций.

Все это еще раз подтверждает правильность датировки, предложенной З. И. Гершковичем. Однако все остальное в его статье вызывает возражения. Исследователь с самого начала бездоказательно принимает положение об авторстве Кантемира, включает названную сатиру в творчество поэта, в соответствии с этим объясняет появление ее списков в России, и наконец, выдвигает гипотезу о существовании двух вариантов сатиры — с «Изъяснением» и без него. З. И. Гершкович полагает, что сатира «К Солнцу» и есть та «девятая», о которой упоминает аббат О. Гуаско, биограф Кантемира. Насколько справедлива данная концепция и как она соотносится с биографией и творчеством Кантемира, будет показано ниже.

Прежде всего необходимо остановиться на рукописной истории сатиры «К Солнцу». Особенно интересны в этом отношении два сборника, содержащие ее текст: один из них — известный Н. С. Тихонравову, обнаружившему и опубликовавшему ее (в дальнейшем обозначается «сборник Тихонравова»); другой — условно называемый нами «сборник С. Н. Брайловского», где находится единственный список сатиры с «Изъяснением».

«Сборник Тихонравова» содержит произведения, написанные не позднее 1751 года. Начинается он со стихотворной речи Кантемира, обращенной к Анне Иоанновне. Затем следуют пять сатир Кантемира, каждая из которых сопровождается «Изъяснением» и каждой из которых предпослано «Сказание о сложении сатиры». После пяти сатир была начата басня Кантемира «Огонь и восковая статуя», но перечеркнута, и после эпиграммы об Эзопе идет под заглавием «Сатира шестая» текст сатиры «К Солнцу», однако она резко выделяется среди остальных полным отсутствием каких-либо авторских пояснений. Важно заметить, что в каждом «Сказании» указано время написания сатиры, чем определяется связь ее с остальными. Так, например, Кантемир находит нужным подчеркнуть, что на написание пятой сатиры он употребил время, оставшееся до отъезда за границу, «чтоб между тем не потерять несколько дней напрасно». Это свидетельство самого Кантемира; поэтому допустить, что он является автором и этой «шестой сатиры» и что она написана им также в 1731 году лишь на том основании, что следовала за пятью его сатирами в первоначальной редакции и внешне имела некоторое сходство с ними, невозможно. Сборник не подтверждает авторства Кантемира; таким же образом собраны и пронумерованы оды разных писателей, имена которых не всегда указаны.

Еще больший интерес представляет «сборник Брайловского». Сатира «На состояние света сего. К Солнцу», имеющая при себе «Изъяснение», также не содержала никаких указаний на принадлежность ее Кантемиру. В сборнике нет никаких художественных произведений, кроме интересующей нас сатиры. В нем собраны образцы писем на разные случаи, и хотя, как видно из их содержания, все это письма реальных лиц, они специально приспособлены для того, чтобы служить примерами правильно оформленных писем. Адресаты и подписи заменены буквами, только изредка в тексте письма встречаются имена Ф. Прокоповича, князя А. М. Черкасского и некоторых других лиц. Часть писем принадлежит воспитанникам семинарии, устроенной Ф. Прокоповичем в Петербурге на Карповке. На это указывает упоминание в одном из писем о Ф. Прокоповиче, который назван учителем. Воспитанники семинарии обращаются к А. М. Черкасскому с просьбой устроить их в Академию наук для продолжения образования, так как после смерти их учителя и наставника Ф. Прокоповича они не могут сами устроить свою судьбу. Письмо можно датировать временем после 1736 года, ибо в нем говорится уже о том, как изменилось к худшему положение учеников Феофана Прокоповича после его смерти, последовавшей 8 сентября 1736 года.

Не только это, но и ряд других писем указывают на то, что их авторы — люди образованные и стремящиеся к науке, которую они надеялись найти в академическом университете. Невольно вспоминается отрывок из сатиры «К Солнцу», где описывается состояние науки в Академии, разочаровавшее тех, кто стремился найти в ней удовлетворение своих умственных интересов:

Иной бедный, кто сердцем учиться желает,
Всеми силами к тому скоро поспешает,
А пришел — комплиментов увидит немало,
Высоких же наук там стены не бывало.

Среди корреспондентов «сборника Брайловского» были и поэты. Примечательна строка из переписки двух братьев, один из которых пишет из Петербурга другому в Малороссию: «Ныне в гостинец вам посылаю новый немецкий календарь и стихи, которые я поднести имел счастье».

Все эти письма, как и «девятая» сатира, помещенная в сборнике, анонимны. Было бы существенно установить их авторов и их адресаты, что несомненно могло бы дать новые сведения и о сатире «К Солнцу».

Мы рассмотрели два доступных нам и, как можно судить по литературе, самых интересных сборника, содержащих «девятую» сатиру. Оснований для признания автором Кантемира в них нет, скорее, они содержат данные для отвода его авторства.

По году создания сатиры З. И. Гершкович определяет и порядковый номер ее; она должна была бы считаться седьмой, но, не желая вносить путаницы в авторскую нумерацию, исследователь предлагает обозначать ее «так называемой девятой».

Странная история этого произведения заставляет З. И. Гершковича остановиться на некоторых пунктах, вызывающих недоумение. «Чем можно объяснить тот факт, что так называемая девятая сатира, созданная за границей, в тех редких случаях, когда она попадает в рукописных сборниках, обязательно соседствует с пятью русскими сатирами в первоначальной редакции (вследствие чего «преписатели» даже именовали ее шестой)?». ¹¹ Ставит он еще один вопрос: почему из пятидесяти сборников, содержащих произведения Кантемира, упомянутая сатира встречается всего лишь в трех?

Ответы на эти вопросы З. И. Гершкович находит в «Изъяснении» к сатире. Приводим соответствующую часть «Изъяснения»: «Совершив он сию сатиру, с покорнейшим своим прошением вручил оную одному из чистосердечных и весьма доброжелательных приятелей своих к исправлению, не довольствуясь, по обычаю безмозглых, но весьма высокоумительных в себе голов, своим скудным рассуждением». Автор статьи чисто субъективно толкует это место «Изъяснения», приспособляя его к фактам биографии Кантемира. Поэтому «приятеля» он ищет не за границей, а в России, а слово «вручил» предлагает понимать более широко, как «переслал», а не «передал из рук в руки». Найдя способ объяснить появление сатиры в России, исследователь считает возможным объяснить и немногочисленность списков ее, и соседство с русскими сатирами в первоначальной редакции тем, что новая сатира, присланная «приятелю», могла стать известной лишь немногим его знакомым, которые переписывали ее вслед за пятью известными, соответственно именуя ее шестой. Такая трактовка не может считаться удовлетворительной, ибо в «Изъяснении» нет ни одного факта или намека на то, что произведение писано за границей, а затем переслано приятелю для распространения. Кантемир же обычно указывал и время, и место создания сатиры, в особенности «заграничной» (единственным исключением является VI сатира).

Внешне «Изъяснение» написано в манере Кантемира с указанием на время создания произведения, определением содержания и выделением основной причины, побудившей автора взяться за перо. И все же в тексте «Изъяснения» ощущается нечто несвойственное Кантемиру. В самом деле, зачем понадобилось ему

¹¹ З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 53. Отметим, что автору не был известен «сборник Брайловского», где пяти «русских» сатир нет. *Прим. ред.*

упрекать других стихотворцев за то, что они довольствуются своим «скудным рассуждением», а не отдают свои стихи на исправление другим. При всей хорошо известной авторской скромности Кантемира такая манера выражаться была чужда ему.

Незачем истолковывать слово «вручил», как делает З. И. Гершкович, в более широком смысле, чем оно имеет на самом деле, когда очевидно, что сатирик отдал свой труд, а не переслал изда-лека: такую существенную подробность автор, конечно, отметил бы. Совершенно ясно и другое: если в «Изъяснении» уже говорится о приятеле, которому была отдана сатира на исправление, то, значит, перед нами вторая редакция, сделанная с учетом замечаний приятеля. В этом случае в России могли быть две редакции сатиры: первоначальная и исправленная. Именно такой вывод и делает З. И. Гершкович: «Известные нам стихи сатиры могут иметь два различных источника. Один — это указанный уже текст, посланный приятелю и лишенный примечаний; другой — текст, попавший в Россию позднее первого и снабженный, как и все сатиры, соответствующим „Изъяснением“». ¹² В соответствии со своим заключением исследователь и находит два источника сатиры: список, обнаруженный Н. С. Тихонравовым, — первая редакция и остальные списки — вторая. Однако факты говорят о другом. Сравнение списков Н. С. Тихонравова и С. Н. Брайловского, в которых З. И. Гершкович предлагает видеть два разных источника, показывает, что сколько-нибудь серьезных различий между ними нет. Разночтения проявляются в написании отдельных слов, а не в изменениях текста сатиры. Приведем пример. В списке Н. С. Тихонравова ни сам он, ни П. А. Ефремов, более точно напечатавший текст сатиры по тому же списку, не могли разобрать место, которое при правильном прочтении таково:

А то б я купил книгу, котору не знаю
Какой пустынный писал, да Семик быть чаю.

Выделенные курсивом слова прочесть было очень трудно, и П. А. Ефремов делает сноску, поставив вместо этих непонятных слов многоточие: «Другая половина стиха в рукописи искажена; хотя прочесть и можно, но трудно добраться смысла: да семинь выщъ чаю. (Может быть, «да Семень быть чаю». Не Семен ли Денисов?)». ¹³ Между тем оказывается, что и в списке, обнаруженном Ф. Я. Шоломом, это место воспроизведено неправильно, т. е. либо один текст списывался с другого, либо оба они восходят к какому-то ближайшему списку, уже имевшему данную порчу текста. Список сатиры, обнаруженный Ф. Я. Шоломом в библиотеке

¹² З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 54.

¹³ А. Д. Кантемир, Собрание сочинений, т. I. СПб., 1867, стр. 179.

АН УССР в Киеве, почти полностью совпадает со списком Н. С. Тихонравова. А что список сатиры, упоминаемый Т. М. Глаголевой, не расходится со списками Шолома и Брайловского, З. И. Гершкович признает.

Итак, двух источников сатиры не существует. И не странно ли предполагать, что Кантемир, посылая вторую редакцию сатиры, не изменил ничего в тексте ее, т. е. не учел замечаний приятеля, уподобившись «безмозглым, но высокоумительным в себе головам», а добавил только «Изъяснение»? И почему сначала он прислал сатиру без «Изъяснения», если всегда примечания писались им одновременно с сатирами? Трудно допустить, что после 1738 года, когда Кантемир уже перерабатывал свои ранние сатиры, он мог признать текст «девятой» сатиры законченным.

Если даже считать, что в конце июля 1738 года сатира была завершена, хотя этому противоречат факты, о которых упоминается в самом произведении (о них мы скажем ниже), то, учитывая чрезмерную занятость Кантемира именно в это время дипломатическими делами в связи с предстоявшим переездом из Англии во Францию, а также принимая во внимание хлопоты о пересылке в Россию «девятой» сатиры, получение ее обратно с замечаниями приятеля и окончательная обработка ее после этого по необходимости должны быть отодвинуты ко времени составления Кантемиром сборника для печати, т. е. к 1740 году.

Предположение З. И. Гершковича, что упоминаемая Гзаско незаконченная девятая сатира и сатира «На состояние света сего. К Солнцу» идентичны, вызывает такого рода недоумение: с одной стороны, исследователь считает, что сатира закончена была в июле 1738 года и спустя некоторое время отредактирована Кантемиром и подготовлена к печати; с другой стороны, он допускает, «что Кантемир действительно незадолго перед смертью после отправки в Россию в марте 1743 года сборника, состоящего из восьми сатир, принялся за работу над „девятой“ сатирой, но работа эта состояла не в создании новой сатиры, а в переработке старой, имеющей законченный текст сатиры».¹⁴

Как можно объяснить то обстоятельство, что к 1743 году оказались законченными и были построены по новым правилам кантемировского стихосложения все восемь сатир, написанные и до июля 1738 года и после, а «девятая» сатира даже в 1743 году была «незаконченной из-за предсмертной болезни» и ее стихосложение осталось таким же, как в первоначальной редакции первых пяти сатир 1729—1731 годов, что для Кантемира уже в 1738 году было бы страшным анахронизмом? Нужно принять во внимание, что теоретическое обоснование нового принципа стихосложения,

¹⁴ З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 59.

которое вылилось в «Письмо Харитона Макетина», было результатом долгого наблюдения над стихом; именно от своей практической работы Кантемир восходил к обобщениям.

Затем достоверно известно, что Кантемир приступил к созданию своей подлинно девятой сатиры (а не «девятой» в кавычках) в конце жизни. Об этом О. Гуаско — не только биограф Кантемира, но и очень близкий друг его — говорит следующее: «От него осталось восемь сатир; в последний год своей жизни он начал писать девятую; то, что он рассказывал мне о ней, заставляет меня сожалеть о том, что я не могу присоединить ее к прочим. В ней можно было бы видеть, в чем, по его мнению, состоит философский дух; многие мнимые философы могли бы по ней убедиться, насколько далеки они от цели, но, к несчастью, болезнь не дала ему возможности довести ее до конца».¹⁵ Отсюда следует, что в начатой сатире должно было отразиться кантемировское понимание сути философии.

Что девятой, о которой говорил О. Гуаско, является сатира «К Солнцу», Э. И. Гершкович доказывает якобы одинаковостью их темы. Философская концепция Кантемира, по мнению исследователя, отразилась и в оценке состояния «сего света», и в сатирической галерее образов, ибо «трудно представить себе какую-либо иную форму выражения взгляда на „дух философский“, если принять во внимание, что этот взгляд должен был быть изложен в жанре сатиры».

Однако по тематике эти две сатиры в корне разнятся между собой, как будет показано ниже.

Указанными материалами не исчерпываются законные сомнения в авторстве Кантемира. Особого, более подробного рассмотрения заслуживает то место в «девятой» сатире, где речь идет о казни А. Возницына. С. В. Калачева, выступившая с возражениями против точки зрения Э. И. Гершковича, ставит вопрос: «Каким образом Кантемир мог узнать об этой казни так быстро, чтобы через две недели уже откликнуться на нее в сатире? Судя по реляциям сатирика-дипломата, русские письма доходили до него приблизительно через месяц». Недоумение это — вполне резонно, однако Э. И. Гершкович, знавший диссертацию С. В. Калачевой, ограничился в своей статье всего только замечанием, что «в пользу (своего) предположения С. В. Калачева не привела никаких фактов, ссылаясь исключительно на субъективные представления...

¹⁵ Nous en avons Huit de lui: il en avoit commencé une neuvième, la dernière année de sa vie: ce qu'il m'en avoit dit, me fait regretter de n'avoir pu la joindre aux autres. On y auroit vu en quoi il faisoit consister l'esprit philosophique: et beaucoup de pretendus philosophes y auroient pu reconnoître, combien ils sont éloignes du but: mais par malheur la maladie ne lui permit pas de l'achever. Э. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 56

Поэтому считаем ее мнение необоснованным». Упрек, предъявленный С. В. Калачевой со стороны автора статьи, в том, что она «не учла всех данных, подтверждающих авторство Кантемира», можно отнести к самому Э. И. Гершковичу, который обошел спорные вопросы, заставляющие сомневаться в принадлежности сатиры «К Солнцу» перу Кантемира. И прежде всего это касается вопроса, как мог Кантемир, находившийся в Лондоне, еще в июле узнать о событии, происшедшем в Петербурге 15 июля, и ответить на него сатирой.

Приходится поэтому более подробно остановиться на деле о казни Возницына. Сожжение двух человек во второй трети XVIII века было необычным событием в Европе, и вполне вероятно, что о нем обязательно сообщили бы Кантемиру его петербургские корреспонденты как одну из новостей. И пусть не через две недели, а позже до него дошло бы это известие. Но, во-первых, создатель сатиры «К Солнцу» очень точен, когда дело касается датировки: если он говорит «в середине июля», то это значит 15 июля; следовательно, можно с безусловностью утверждать, что сатира написана именно в последних числах июля, а не позже. Совершенно очевидно, что за один-два дня Кантемир не мог написать сатиру, а узнать о казни Возницына через две недели после этого события он мог лишь при самых благоприятных условиях, допустить которые было бы большой натяжкой. Скорее всего Кантемир вообще не знал о казни, потому что среди его писем нет чameков на это; не сообщалось о казни и в петербургских газетах на русском и немецком языках, нет упоминаний о ней и в донесениях английских представителей при русском дворе. Как видно, русское правительство не было заинтересовано в широкой огласке данного дела. Это подтверждается ходом следствия. Сенат пытался доказать императрице необходимость продолжения следствия с тем, чтобы выявить сообщников Б. Лейбова, который обратился в иудейскую веру капитана А. Возницына. Однако Анна Иоанновна требовала как можно скорее закончить следствие, «дабы сие богопротивное дело далее не продолжалось, ... без дальнего продолжения, по силе государственных прав, обоих казнить смертию, сжечь».¹⁶

Комментируя это место, И. Ю. Маркон¹⁷ объясняет и причину внезапного прекращения розыска. В ходе следствия выяснилось, что подсудимый Б. Лейбов был непосредственно подчинен Л. Липману, придворному банкиру Бирона; старый Лейбов мог не выдержать пыток и рассказать о коммерческих проделках своих хозяев. Надо полагать, что были приняты соответствующие меры,

¹⁶ И. Ю. Маркон. Дело о сожжении отставного морского флота капитана поручика Возницына за отпадение в еврейскую веру и Б. Лейбова за соращение его. Сб. «Пережитое», т. 2, СПб., 1910. Приложение, стр. 8.

¹⁷ Там же.

чтобы замаять это дело. Вероятно поэтому, ничего не знал о нем и Кантемир. Как известно, сатирика подозревали в существовании у него переписки о внутренних политических событиях в России,¹⁸ и письма его часто перлюстрировались.

Между тем из сатиры и «Иъяснения» к ней следует, что автор не только знал о судьбе отступника от православной веры, но и видел отношение к нему со стороны реакционеров, которые воспользовались этим случаем, чтобы доказать ненужность и опасность для христиан чтения библии. Поэтому автор сатиры подробно останавливается на защите библии. Сожжение Возницына дало «безмозгим невеждам немалую причину сумневаться о библии, когда они слышат, что жида ветхого закона держатся», — говорит автор и возмущается такой несправедливостью: «О, как безумные и дерзкие невежды! Причина ли библия святая диавольского того орудия погибели?».¹⁹

Казнь Возницына — не единственный реальный факт, упоминаемый в сатире: автор, как было указано выше, описывает и положение дел в Академии наук в 1738 году. Совершенно очевидно, что он сочувствовал людям, стремившимся к настоящей высокой науке и не находившим ее в Академии. При сопоставлении писем, находящихся в одном сборнике с сатирой, с соответствующим местом в самой сатире видно, что их авторы связаны общим настроением. Естественно предположить, что сатирик и выступил от лица этих людей, уже испытывавших горечь разочарования от несоответствия действительного состояния Академии наук ее высокому назначению. Для нас этот реальный факт представляет несомненный интерес, так как позволяет сравнить позицию автора сатиры «К Солнцу» и позицию Кантемира по одному и тому же вопросу.

Касаясь этого места в сатире, исследователи единодушно признают, что здесь говорится об Академии наук. В частности, Н. С. Тихонравов так объясняет это место: с самого основания Академии наук Петром I пренебрегалось его правило обучать в Академии и представителей «славянского народа». Поскольку против подобных не порядков боролся М. В. Ломоносов, делается вывод, что «и Кантемир глубоко возмущался этим».²⁰ Совершенно такой же комментарий дан и в последнем издании Кантемира. Э. И. Гершкович, сравнив позицию Кантемира с борьбой Ломоносова против засилия иностранных ученых, пересказывает отрывок из сатиры «К Солнцу» в подтверждение своих слов.²¹

¹⁸ В. Н. Александренко. К биографии кн. А. Д. Кантемира. Варшава, 1896, стр. 7, 9 и др.

¹⁹ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 187.

²⁰ А. Д. Кантемир. Собрание сочинений. т. I, стр. 184—185.

²¹ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 460.

Ф. Я. Шолом на основании тех же стихов сатиры идет еще дальше. Он заявляет: «Просветитель Кантемир выступает не только против врагов науки, но и против ее негодных представителей в тогдашней Академии наук, иноземных ученых-шарлатанов, которые тормозили развитие отечественной науки... Вместе с тем Кантемир показывает стремление бедного трудового народа к науке, и тут мы видим благородное отношение писателя к честным людям труда».²² Этот вывод явно ошибочен и никак не следует из сатиры, поэтому на его анализе нет необходимости останавливаться. Подобные высказывания показывают лишь, как неверно анализировать сатиру «К Солнцу», не решив вопроса об ее авторе и не сравнивая ее с остальным творчеством Кантемира, в особенности, когда это касается вопросов, серьезно занимавших писателя. Именно таким является вопрос об отношении Кантемира к Академии наук.

И Н. С. Тихонравов, и Э. И. Гершкович ссылаются на вводную статью к «Ученым запискам Имп. Академии Наук по первому и третьему отделениям», т. I, вып. I (СПб., 1852). Между тем именно отсюда можно заключить, как расходятся взгляды автора сатиры «К Солнцу» и Кантемира на Академию наук.

Автор статьи в «Ученых записках» академик А. А. Куник отмечает, что Кантемир не мог бы сказать о себе, будто он получил недостаточное образование. Далее А. А. Куник обращает внимание на то, что «Разговоры о множестве миров» сатирик считал своим долгом преподнести «знаменитейшей Императорской Академии Наук... к приумножению е. в. славы, к пользе пространная России и всего человеческого рода цветущей, в знак своего благодарства за полученное от ее мудрых членов воспитание и наставление».²³

А. А. Куник подчеркивает, что с 1728 года Академия переживала очень трудное время в связи с переездом ее президента в Москву. Делались даже попытки закрыть ее, и начальнику канцелярии пришлось доказывать полезность Академии наук.²⁴ Затем автор статьи в «Ученых записках» высказывает предположение, что и I сатира «На хулящих учение» возникла как попытка оградить Академию от противников просвещения.²⁵ Эта мысль не лишена оснований: при Петре II Академия находилась в особенно бедственном положении, и это не могло не волновать Кантемира,

²² Ф. Я. Шолом. Русско-украинские связи в области общественно-политической поэзии XVIII века. Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, т. XI, вып. IX. «Філологічний збірник», 1952, № 4, стр. 144—145.

²³ «Ученые записки имп. Академии Наук по первому и третьему отделениям», т. I, вып. I, СПб., 1852, стр. XX.

²⁴ Там же, стр. XXXVI.

²⁵ Там же, стр. XXXVII.

интересы которого были теснейшим образом связаны с ней. Среди членов ее авторитет Кантемира был очень высок. В некрологе акад. Майеру акад. Бильфингер говорил: «К его непреходящей славе служит то, что он имел счастье и талант так обучить математике... Антиоха Кантемира, что он сможет в предстоящей поездке во Францию поддержать славу знатнейшего русского дворянства перед высшей школой наук в Париже».²⁶

Так обстояло дело до отъезда Кантемира за границу. Он хорошо знал, что в России враги просвещения используют любой повод для борьбы с распространением наук. Тем невозможнее допустить, что Кантемир в 1738 году сделал столь резкий выпад против Академии наук даже из самых патриотических побуждений. Из переписки Кантемира с академиками из Лондона и Парижа видно, что и вдали от Академии он был хорошо осведомлен о ее научных делах и высоко оценивал их. Известно также, что он выполнял поручения Академии. Заветной мечтой Кантемира было стать президентом ее, чтобы целиком посвятить себя науке, в которую он безгранично верил. Поэтому нам представляется совершенно невозможным, чтобы Кантемир сказал, будто в Академии наук можно найти лишь «комплименты».

Нельзя согласиться и с тем, что Кантемир боролся против засилия иностранных ученых. Следует помнить, что они были тогда необходимы, что русских ученых еще не было и деятельность академиков-иностранцев вообще была крайне полезна для будущей русской науки, что многие из них были учителями Кантемира, а потом и соратниками в борьбе за общее дело просвещения в России. «Шарлатанами» для Кантемира они не были, как и не были в действительности.

Таким образом, нет ни одного бесспорного доказательства, подтверждающего принадлежность сатиры перу Кантемира, а сомнений много. Версия об авторстве Кантемира держится на безусловном доверии к неизвестному переписчику, поставившему сатиру «К Солнцу» рядом с кантемировскими произведениями.

Для окончательного ответа на вопрос об авторе этой сатиры нужно ответить и на такие вопросы: можно ли совместить идеологическую концепцию зрелого Кантемира с направленностью сатиры «К Солнцу»; как объяснить появление темы раскола в творчестве сатирика 1738 года; как соотносится новая сатира с другими сатирами Кантемира?

Обосновывая свою точку зрения на сатиру «На состояние света сего. К Солнцу» как кантемировскую, З. И. Гершкович, как уже указывалось, опирается на упоминание О. Гуаско о намерении

²⁶ М. И. Радовский. Антиох Кантемир и Петербургская академия наук. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 19.

поэта создать сатиру, где должны были отразиться его собственные взгляды на философию, в противоположность мнимой философии и мнимым философам. Поэтому каждый персонаж сатиры, по мнению исследователя, не просто «носитель соответствующих пороков», а «ложномудрствующий представитель злых нравов», т. е. мнимый философ. И вот вывод: «Философия Кантемира, одной из главных особенностей которой была морально-этическая направленность, здесь выражена достаточно рельефно».²⁷

Мы увидим, однако, что основная тема «девятой» сатиры — не состояние философии того времени и противопоставление ей истинной философии, как понимал ее Кантемир, а состояние общества, всесторонне рассмотренного в его настоящем виде, что идейная позиция автора сатиры «К Солнцу» резко отличается от философской концепции Кантемира.

Автор «Изъяснения» остро определяет тему сатиры: он намерен показать Солнцу, которому отводит роль высшего судьи, что «если бы оно было в чувствах, то, по человеческой напротивно их себе злобы, должно бы ему, конечно, своим сиянием, на наши всезлейшие и противнейшие дела смотря, перемниться, понеже так весь свет наполнен гнусными действиями, что богу мерзкий и противный властям, неверный и хищный, да сверх того и самому себе вредный...».²⁸

Перед Солнцем должен предстать весь свет, все дела, неправомерно совершающиеся в нем, под углом зрения «чести к богу». Ее в свете нет, а есть масса суеверий. В сатире представлены конкретные носители суеверия. Очень подробно характеризует автор раскольника, безграмотного «сошника», который считает себя вправе вмешиваться в богословские дела, защищать старую веру от дьявольских прелестей в виде париков, манжет, брадобрития. Но особенное неудовольствие вызывает у него распространение библии:

Ой, нет, надо библии отбегать как можно,
Бо, зачитавшись в ней, пропадешь безбожно.²⁹

Слепая защита старого, «правого» предания отцов, нежелание ни в какой форме принять новое выражается и в фантастически отсталом представлении о строении Вселенной, о Земле, держащейся на спинах четырех китов. Автор подробно комментирует речь «сошника» и не может сдерживать возмущения по поводу того, что «всегда такие безумные головы и о великих вещах рассуждать смеют, а наипаче где что не по-старому делается». Однако самое беспощадное осуждение со стороны автора вызывает выступление

²⁷ З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 58.

²⁸ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 186.

²⁹ Там же, стр. 182.

этого хранителя старины против святой библии, так как осмеиваемый им персонаж подтверждает свою правоту недавним сожжением отступника от православной веры и хулителя Христа: по мнению «сошника», причиной такого падения было чтение библии. Автора глубоко волнует, что «бездельные тетрадки глупых дьячков мужики лучше почитают, чем святое что». Он негодует, что до сих пор празднуется богомерзкий праздник Семика, который остался от языческих времен и на котором поются «бесовские песни».

Комментарии автора позволяют судить об его отношении к высмеиваемым персонажам: критика их ведется с позиций ортодоксального православия. По мнению автора, все, что «сошник плестъ безмозгло смеет», — вздор, и хотя «сошник» выступает с целой цепью доводов, недостойно применить к нему название философа. Невозможно согласиться, что этот персонаж — один из ученых, «претендующих на звание философов», о чем говорил О. Гуаско.

Гораздо большую опасность, чем «сошник», представляют «суеверцы», которые образуются в результате недостаточного учения. Они несут в сознание народа путаницу, подрывая авторитет истинной православной веры:

Кто ж опишет которы по грамоте бродят?
Те-то суеверие все в народе родят;
От сих безмозглых голов родятся расколы;
Всякий престопаходный в них корень крамолы.

Эти идеологи раскольниковства своими «цвельными» тетрадками распространяют в народе пьянство, проповедуя безгрешность его, учат «не в учениях церковных медлти, а на кабаках бесчинно шумети». В «угрюмой запальчивости» последователь Аввакума подтверждает свои слова ссылкой на историю, на то, что

Ведь и в небе обедни в часы отпевают,
А не весь день по-вашему, в молитвах трудятся;
Отпев час урочный там, с богом веселятся.

Иронически звучит сравнение самоуверенного раскольника с Аристотелем:

Сей-то муж в философии живет ненарушно;
Признают то пьяницы все единодушно;
Сей и Аристотелю не больно уступит,
Паче когда к мудрости вина кружку купит.

Никак нельзя принимать всерьез употребление сатириком слов «философ», «философствую» и так далее для доказательства того, что он намерен разоблачить своих противников-философов, как считает Э. И. Гершкович. Для Кантемира-философа, если он соби-

рался сталкивать в сатире разные мировоззрения, такие противники слишком мизерны и никакого отношения к философии вообще не имеют.

Между тем это обличение приобретает существенное значение, если рассматривать его на фоне тогдашней и близкой ей по времени обличительной литературы, которая боролась с суевериями, расколами и ересями всех мастей, шедших как от темных, безграмотных невежд, так и от тех, «которые по грамоте бродят».

Поражает сходство этой части сатиры со словами Ф. Прокоповича из вступления к «Истинному оправданию правоверных христиан»: «Невеждам... подобало бы, когда речь есть о тайнах богословских, самим бы не мешаться не в свое дело. Но противное видим: и особы ученые не так дерзновенно о церковных таинствах и догматах веры разглагольствовать обыкли, якоже слепые невежи многие. Дивная вещь: откуда бы им так безумная охота?». ³⁰ Такое же недоумение вызывает это распространенное явление и у автора сатиры: «Всегда такие безумные головы и о великих вещах рассуждать смеют, а наипаче где что не по-старому делается». ³¹

Феофан пишет: «Как же книжник невежливый, который некие только тетради, от подобных ему невеж сочиненные видел, может входить в дела богословские и произносить свои о таинствах веры изречения, ни ветхих, ни новых не имущий». ³² Ср. у автора сатиры: «Мужики глупые утверждают на том, что ереси происходят от тех, которые библию читают; а если спросишь его: что библия? — то он, никогда истины ее не ведаючи, скажет, что сказывано ему, будто какие тетрадки...». ³³

Однако больший гнев у Ф. Прокоповича направлен против тех невежд в богословии, которые стремятся присвоить себе звание учителей: «Но когда слогов книжных изучатся, помышляют, что уже все получили, и не осталось, что бы им еще познать подобало... Сколько до их рук приидет неких тетрадей, и то не искусно сошитых, по большей же части и смеха достойных, например, проповедей Аввакумовых, ... притворных откровений, чудесных ложных повестей, суетных неких преданий и прочих басней». ³⁴

Создается впечатление, будто в сатире пояснено конкретными примерами то, о чем говорил Ф. Прокопович. Достаточно вспомнить описание сатириком Семика, разглагольствования «сошника» о Земле, упоминание об Аввакуме, «цвелех тетрадах», «бездельных

³⁰ Ф. Прокопович. Истинное оправдание правоверных христиан. (К благочестивому читателю предисловие). СПб., 1724, стр. А—Аоб.

³¹ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 187.

³² Ф. Прокопович. Истинное оправдание правоверных христиан, стр. Аоб.

³³ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 187.

³⁴ П. Морозов. Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880, стр. 292.

тетрадах глупых дьячков» и т. д., чтобы убедиться, как близко соприкасаются по теме эти два разные по жанру произведения.

Большой остроты достигает в сатире критика «пастырей христианских». Автор осуждает духовенство за то, что оно не знает глубокого внутреннего смысла религии, подменив его внешней стороной, обрядностью, пустым ее соблюдением. В церкви священник нем, когда нужно проповедовать заповеди божьи, зато в кабаке он говорит не умолкая:

Опишет он там кругом церковь всю восточну...
В-первых, как он искусен все совершать браки,
Сколько раз коло стола обводити знает
И какой стих за каждым ходом припевает.
То все это рассказав, станет поучати,
Как с честью его руку должно целовати.

Такое отношение к религии сурово обличал и Феофан в своих проповедях: «В попечениях житеских погрязше, ни о чем не помышляют, что к животу вечному ведати и содержати нужно; а однако христианским именем украшают себя, но именем токмо, а не делом. Ибо что видят христианам обычное, внешнее, то и сами они делают, но делают, как мартышки, внешний вид только христианства изображая на себе, а внутреннего, духовного отнюдь не имея».³⁵

Ответственность за чистоту христианской веры автор сатиры возлагает на духовенство, с него нужно брать пример простому народу. Однако своего прямого долга пастыри не исполняют, по их вине в простонародье распространяется «крамола». «Удивительная вещь, как (Россия?) этим несчастлива, что пастыри в ней больше к пьянству и суеверию, нежели к поучению и поощрению добродетельному людям угодны суть».³⁶ Не в состоянии они отстоять правоту христианской религии перед «верой бусурманской», напротив, православная вера скомпрометирована духовенством. «Много было и того в свете, что в прельщение простого народа претворяли чудеса из духовного чину, чем от иностранных народов и на истинные немало навели пороков богопротивные сии лестцы».³⁷

Таким образом, по мнению автора сатиры «К Солнцу», православие находилось в бедственном положении, ему угрожала опасность потонуть среди суеверий и расколов, и не было людей, способных вывести его из этого кризиса. Пастыри предались мирской суете, хлопочут о своем доходе, проклиная скупость прихожан. Сатирик со скорбью констатирует:

³⁵ А. Д. Кантемир, Собрание сочинений, т. I, стр. 12.

³⁶ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 188.

³⁷ Там же.

Как же, на таких смотря, уж простолудины
К заблуждению себе не возьмут причины?

Так он включается в борьбу за истинное православие, которую начали еще гораздо раньше Димитрий Ростовский, Феофан Прокопович, Посошков, Стефан Яворский и др. Поэтому сатирик, намереваясь вскрыть «все зло света», прежде всего и подробнее всего описывает бездну суеверий, в которых тонет истинная православная вера. Противопоставить этому автор хочет подлинное благочестие, глубокое религиозное чувство, чуждое сомнениям и рассуждениям, бесконечное доверие к священному писанию. Он считает своим долгом, в частности, выступить за непрерываемость библии, которая попиралась невеждами.

Борьба против раскола и разного рода суеверий была исторически прогрессивна; однако противопоставление всему этому «истинного благочестия» было вовсе недостаточно. Против раскола и суеверий выступал и Кантемир, но в его руках было могучее оружие для борьбы с ними — распространение науки, которая, как он полагал, в состоянии укрепить и православную веру преодолением и искоренением ересей всякого рода. Здесь обнаруживается неизмеримое превосходство Кантемира над автором сатиры «К Солнцу», который придерживается охранительной, церковной тактики, а не наступательной в союзе с наукой. Поэтому не может казаться странным, что и автор сатиры «К Солнцу», и Кантемир, связанные общим именем Ф. Прокоповича, все же в решении одного и того же конкретного вопроса о борьбе за чистоту православия стоят на принципиально разных позициях, из которых кантемировская — гораздо более левая и просветительски-прогрессивная.

Сатира подводит читателя к горькому выводу: если мир так чудовищен и несправедлив, то человек имеет право жить в нем убегая правды, т. е. так, как живут все люди. Могут возразить, что эти слова понимать буквально нельзя. Если сатирик считал необходимым вмешаться в окружающую его жизнь с целью — показать людям всю глубину их падения, заставить их опомниться, то тогда пессимистический конец сатиры можно было бы не отождествлять с действительными взглядами ее автора, а воспринимать как сознательное доведение до абсурда ложной точки зрения осмеиваемых в сатире персонажей. Однако указанные стихи имеют примечания, в которых сам автор высказывает свой взгляд на причину такого состояния света. Почему «нельзя богу и свету вместе угодить», автор объясняет следующим образом: «Христос, Спаситель наш, сказал в Евангелии: не можете работать богу и мамоне; а автор сей сатиры переменял, вместо „мамоны“ — „свету“ написал, которо все едину силу имеет; ибо мамона, по разумению

святых особ, дьявол толкуется, а дьявол со всем своим угодием и орудием противен богу; дела ж световые, которые от света, а не от бога, угодны диаволу, ибо диавол и свет, по диавольскому угождению, противен богу; итак, все злые дела света к диаволу, яко начальнику и корени тех, восписывать должно».³⁸

Так автор со своих позиций дает решение важного философского вопроса: в чем причина злонравия. И то, что он видит эту причину в приверженности людей дьяволу, во всесии дьявола, позволяет заключить, что критикует он неблагополучие света с подчеркнуто клерикальных, а не научных, просветительских позиций.

А каковы были взгляды Кантемира на причины общественного неблагополучия? К решению этой важнейшей для него проблемы сатирик подошел не сразу, но все время искал его. От этого зависело признание Кантемиром необходимости сатирического творчества. С этим связывались и сомнения Кантемира: можно ли сатирой «излечить» злонравных, нужна ли сатира вообще?

Этот вопрос встал перед Кантемиром еще в русский период его творчества.

Интересна в этом отношении V сатира, последняя из написанных им в России. В ней есть любопытное примечание. Говоря о склонности к злу, присущей человеку с детства, Кантемир ссылается на Феофана Прокоповича: «Преосвященный Новгородский в предисловии своем на книжицу под титулом „Первого учения отроком,“ говоря о человеке, пишет: трудно тому не быть злу, который и родился зол, а потом слово свое подтверждает священным писанием, приводя текст сей: все помышление его на зло от юности его».³⁹ Своего собственного отношения к изложенному взгляду Прокоповича Кантемир не показывает.

Казалось бы, вся сатира, где автор «тщится показать, что не только он (человек) глупее всех скотов, но еще злее всех зверей и дичее всякого уroda, которого бы ум вымыслить мог»,⁴⁰ ставит своей целью подтвердить мысль Прокоповича о человеке, которому зло свойственно «по природе». Конец же сатиры представляет собой совершенный уход от ответа на вопрос: откуда происходит зло в человеке. Кантемир остроумно решил обезопасить себя от возможных обвинений церковников в том, что «тварь изыщну, чудну, несказанну, наподобие творца премудро созданну, так охулить дерзнуло перо неучтиво».⁴¹ И он иронически благонамеренно излагает библейский рассказ о грехопадении Адама и Евы.

³⁸ Там же, стр. 189.

³⁹ А. Д. Кантемир, Собрание сочинений, т. I, стр. 276.

⁴⁰ Там же, стр. 268.

⁴¹ Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 405.

Совершенно ясно, что серьезно видеть в грехопадении прародителей источник злых страстей у современных людей просветитель Кантемир не мог. К тому же сатирик не осуждает стремления первых людей вкусить запрещенный плод, чтобы получить знание и быть «как лицом, так и умом» равными богу, т. е. признает, что ими руководило не праздное любопытство, а жажда все познать.

Таким образом, ответа на вопрос о причинах зла Кантемир не находит, не присоединяется он и к мнению Ф. Прокоповича на этот счет. Оно его явно не удовлетворяет. Не случайно, обращаясь к Феофану, Кантемир спрашивает:

Скажи мне (ты бо можешь!): всем всякого рода
 Людям давши тело то ж и в нем дух, природа
 Как страстями столь различны сердца их исполни,
 Их же власть преодолеть никак же вольны?⁴²

Насколько важным было для сатирика решение этого вопроса, показывает переработка им в 1737 году в Англии V сатиры, — по существу, создание совершенно нового произведения. Темой становится положение поэта-сатирика в обществе, значение его творчества в исправлении общественных пороков. В сатире показаны два типа стихотворцев в образах Сатира и Перьерга.

Сатир — поборник правды и борец с несправедливостью. Для него жизнь с людьми, которые «с правдой не в дружбе», стала несносной. Он уходит в лес с горьким убеждением, что «к исправлению людей» мала его сила: «исправит горбатых могила».

Однако Кантемир видит и другой возможный путь для писателя — путь стихотворца Перьерга. На скептическое заявление Сатира, что все люди одинаково злы и порочны, и потому он утратил всякую веру в возможность их исправления, Перьерг возражает:

Я сам знаю, что весьма в нашем роде плодны
 Недостатки, и много есть, чего гнушаться;
 Люблю ж добрых, а злых тшусь людей удаляться.⁴³

Перьерг сохраняет надежду, что в будущем можно будет побороть злонравие; для этого он просит Сатира рассказать ему о всем том, что есть недостойного у людей:

... речь твою к исправленью нраву
 Людей позднему предать потомству потшуся.⁴⁴

В Кантемире как бы соединяются эти два поэтических подхода: он готов бороться за справедливость, не допуская компромиссов,

⁴² Там же, стр. 378.

⁴³ Там же, стр. 120.

⁴⁴ Там же, стр. 123.

но он живет в обществе, где многое достойно обличения, и часто тяготится своим положением.

В той же V сатире Кантемир высказывает устами Сатира мысль большой принципиальной важности:

Слезы, сожаление, хотя б непритворны, —
К исправлению людей средства не проворны.
Противиться должен злу, отнять всю причину
И корень самый иссечь, кто того кончину
Видеть хочет, — без того весь свой труд погубит.
Вино должен перевести, кто пьяных не любит!⁴⁵

В рассматриваемой нами V сатире есть еще одно важное примечание, в котором Кантемир непосредственно указывает на источники разного поведения людей: «Всегда мое мнение было, что воспитание есть от *большой части* причина всех наших нравов. Гораций изрядно говорит, что чем новый горшок нальешь, долго пахнуть будет».⁴⁶

Теперь поэт снимает это ограничение. Он полностью относит «причину нравов» к воспитанию; к этому привели его новые взгляды, сложившиеся ко времени создания второй редакции V сатиры.

Однако высшим достижением кантемировской мысли явилась созданная им в 1739 году сатира «О воспитании». Значение ее для самого сатирика было огромным. Если к 1737 году ему была известна причина нравов — воспитание, — то теперь оно же признается и средством борьбы со злонравием. Кантемир уже не ставит вопроса, от природы ли в людях страсти. В VII сатире он, не колеблясь, называет ошибочным утверждение, что власть природы «одолееть не можно».⁴⁷

«Главная причина злых и добрых наших дел — воспитание», — заявляет Кантемир, и потому из каждого ребенка можно вырастить гражданина, любящего отечество и полезного обществу.

Главнo воспитания в том состоит дело,
Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело
В добрых нравах утвердить, чтоб чрез то полезен
Сын твой был отечеству, меж людьми любезен
И всегда желателен, — к тому все науки
Концу и искусства все должны подать руки.⁴⁸

В русской литературе первой половины XVIII века эти мысли были открытием: сатирик показывал реальный и доступный, как

⁴⁵ Там же, стр. 127.

⁴⁶ Там же, стр. 139. Курсив мой. — Л. М.

⁴⁷ Там же, стр. 158.

⁴⁸ Там же, стр. 159.

ему казалось, путь искоренения зла, он трезво смотрел на вещи, а не фанатически защищал мысль, будто виновником зла в мире является дьявол, противостоять которому может лишь глубокая религиозность, и будто других путей борьбы со злом нет. Но именно такой беспомощностью и сознанием совершенной невозможности изменить что-либо в пагубном и греховном мире веет от сатиры «К Солнцу». Из этого видно, как далеко отстал ее автор в 1738 году от Кантемира того же времени, как противоположны и несовместимы их взгляды на один и тот же вопрос в одно и то же время. Даже еще в 1730—1731 годы, находясь в России и не находя ответа на вопрос, но постоянно размышляя о нем, Кантемир не мог удовлетвориться чисто религиозным объяснением (см. V сатиру первой редакции). Тем более невозможно было подобное объяснение в 1738 году, когда ответ был найден.

Нельзя также включать сатиру «К Солнцу» в творчество Кантемира между VI и VII сатирами, настолько чужда она этим произведениям как по теме, так и по идейной направленности. Еще можно было бы сомневаться, не написал ли Кантемир сатиру «К Солнцу» перед отъездом за границу, когда ему было особенно трудно, как он сам признавался в предисловии к V сатире первой редакции. Эта последняя сатира очень мрачна, написана в большом раздражении, автор не знал, где найти причину зла. Это время жизни Кантемира мало изучено. Однако необходимо помнить, что, по признанию самого поэта, перед отъездом из России он написал только пять сатир; вместе с тем З. И. Гершкович убедительно доказал, что сатира «К Солнцу» написана в 1738 году, т. е. тогда, когда Кантемир не мог ее написать, как это видно из анализа его заграничных сатир.

В своей статье «Проблема „девятой“ сатиры» З. И. Гершкович абсолютно прав, выступая против обычной тенденции представить творческий путь Кантемира как постепенный отказ от острых злободневных обличений общественных пороков, а потому и как понижение художественной ценности вновь создаваемых сатир. Однако свой вывод З. И. Гершкович делает на основе сравнения I сатиры Кантемира и сатиры «К Солнцу», принадлежность которой писателю окончательно не установлена: «Сравнивая эти произведения, можно наиболее конкретно решить вопрос, имел ли вообще место тот пресловутый спад обличительного пафоса Кантемира, то „снижение уровня его политической мысли“, о котором донныне твердят почти все исследователи».⁴⁹

Дело в том, что определенные основания говорить об отличии «русских» и «заграничных» сатир у исследователей имелись. Невозможно отрицать, что новые, «заграничные» сатиры Кантемира

⁴⁹ З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 64.

иначе решают этические проблемы, чем первые пять «русских». Однако анализ вновь созданных сатир и переработанных ранних опровергает утверждения об идейном и художественном «спаде» Кантемира. Раздумья над ролью воспитания, над назначением литературы и сатиры, в частности, имели не отвлеченный характер, они помогали Кантемиру определить свое место в общественной жизни, увидеть в поэтической деятельности свою гражданскую обязанность. Какое живое и плодотворное значение имели для него эти размышления, показывает общий вывод писателя, что можно предотвратить появление «злых нравов» воспитанием и наукой. Переработка «русских» сатир убедительно доказывает высокий рост художественного мастерства сатирика.

Однако этим не ограничиваются наши возражения на статью З. И. Гершковича. Сравнение двух сатир сделано им бегло, внешне и не может убедить читателя в том, что «сатиры эти связаны между собой внутренней преемственностью общего замысла», что «это не просто произведения, написанные на сходную тему и в сходном духе, но два произведения, из которых позднейшее (IX сатира) является органическим продолжением и развитием предшествующего (I сатиры)».⁵⁰

Чтобы обосновать свое утверждение, З. И. Гершкович сопоставляет похожие места из обеих сатир. Так, он полагает, что образ «безмозглого сошника» развит из следующих строк и примечаний к ним I сатиры:

Ереси и расколы науки суть дети;
Больше врет, кому далось больше разумети;
В безбожие приходит, кто над книгой тает, —
Говорит тот, кто и сам мало бога знает.⁵¹

Но исследователь упускает из виду, что при переработке I сатиры эти стихи перешли в характеристику Критона, с церковных позиций выступающего против науки, что именно в этом сатирик видел его опасность. Здесь Кантемир использует возможность высказать свое отношение к подлинной причине расколов и ересей. Он отводит упрек науке, будто она порождает безбожие, следующими словами: «Обыкновенное невежд мнение есть, что все, которые многому книг чтению вдаются, напоследок не признают бога. Весьма то ложно, понеже сколько кто величество и изрядный порядок твари познает, что удобнее из книг бывает, столько больше чтить творца природным смыслом убеждается».⁵² Так, мнимой религиозности противопоставлена деистическая вера в разумного

⁵⁰ Там же, стр. 61.

⁵¹ Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 362.

⁵² Там же, стр. 63.

творца мира, вера, к которой человек приходит через науку, через постижение свойств вещей окружающего мира. По мнению Кантемира, такая деистическая религия в единстве с наукой может преодолеть расколы и ереси, которые большей частью рождаются в невежественных кругах общества.

И хотя автор сатиры «К Солнцу» усматривает причину суеверий среди народа в его темноте, грубости, невежестве, но понимает он это в совершенно ином смысле, чем Кантемир. Невежество для автора «девятой» сатиры — синоним неверия, как отметила С. В. Калачева в своей диссертации, следствие недостатка религиозного чувства, отсутствия веры без сомнений, непочитания святой библии.

Если признать Кантемира автором сатиры «К Солнцу», то получается странная вещь: приблизительно одновременно, перерабатывая старую V сатиру и создавая «девятую», он об одних и тех же вещах высказывает совершенно противоположные взгляды.

Ошибочно также утверждение З. И. Гершковича, что «образ раскольника помогает сатирику опровергнуть распространявшееся обскурантами мнение, будто науки являются причиной раскола, мнение, которое имело целью скомпрометировать просвещение в глазах современников Кантемира».⁵³ «Сошник» обвиняется автором сатиры в том, что «такая безмозглая голова» смеет лезть в богословские дела, обсуждать церковные уставы, возводить хуления на священное писание. Темному и невежественному представлению его о строении Вселенной сатирик не противопоставляет научного взгляда на мир. Кантемир же в I сатире на заявление Сильвана, что незачем из-за любопытства лишаться покою, «ища, солнце ль движется или мы с землею», — возражает отрывком из собственного перевода «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля, где изложена суть систем Птолемея и Коперника. Так построена вся сатира: Кантемир доказывает полезность каждой науки, которую грубо отрицают ее враги.

З. И. Гершкович считает, что в сатире к «Солнцу» отстаиваются взгляды Коперника, хотя нам трудно узнать, сторонником какой системы строения мира был ее автор, так как он воздерживается от высказывания своей точки зрения, осуждая лишь фантазию «сошника» о четырех китах. Совершенно очевидно, что в этом смысле «девятая» сатира не продолжает первую, как думает З. И. Гершкович.

«Углублением и развитием мотивов, намеченных в I сатире», считает он и образ пастыря, с его «корыстолюбием, пьянством, невежеством и суеверием». На это можно возразить тем, что мотив разоблачения церковников присутствует почти в каждой сатире

⁵³ З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 62.

Кантемира, что представители «непросвещенного» духовенства были его всегдашними врагами. Да и в литературе того времени забвение духовными лицами требований проповедуемого ими долга, их стремление получать все больший доход от своих приходов вызывали резкое осуждение. Достаточно вспомнить примеры из рукописных сборников, которые приводит Ф. Я. Шолом.⁵⁴ Как видно, этот вопрос был очень наболевшим, и возводить образ пьяницы-священника к одной лишь I сатире Кантемира прямых оснований нет.

Итак, нам представляется необоснованным вывод З. И. Гершковича о том, что сатира «К Солнцу» написана Кантемиром, что «она и его I сатира являются наиболее значительными в социально-политическом отношении произведениями, представляющими лучшие достижения Кантемира соответственно в „русский“ и „заграничный“ периоды его сатирической деятельности».⁵⁵

В первой части своей статьи З. И. Гершкович не смог убедительно доказать принадлежность сатиры «К Солнцу» Кантемиру. Во второй части идейный анализ строится им на привнесении в «девятую» сатиру кантемировских взглядов, на стремлении видеть в ней желаемое, а не то, что есть в ней в действительности. Независимо от того, принадлежит сатира «К Солнцу» Кантемиру или другому лицу, нет оснований считать ее «бесспорно одной из самых острых в социальном отношении». Ведь создатель сатиры совершенно откровенно стоит на охранительных позициях, и основой благополучия в мире для него является глубокое религиозное чувство народа.

Новые разыскания могут дать материал для окончательного решения проблемы так называемой «девятой» сатиры.

⁵⁴ Ф. Я. Шолом. Русско-украинские связи в области общественно-политической поэзии XVIII века, стр. 125—151.

⁵⁵ З. И. Гершкович. Проблема «девятой» сатиры, стр. 64.

З. И. ГЕРШКОВИЧ

ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ТАКТИКЕ КАНТЕМИРА

Меня мой рок судил писать осторожно.

А. Кантемир.

В конкретных условиях послепетровской эпохи проблема творческого самоопределения предстала перед Кантемиром как необходимость выбора между сатирическим и панегирическим направлениями. Каков был выбор Кантемира — известно, но чего стоил ему в тех условиях этот выбор, каким образом отстаивал Кантемир свою приверженность к «бодливому роду» сатир, какими способами реализовал он свою творческую программу — все это почти совсем неизвестно.

Отчасти можно осветить эти вопросы, обратившись к анализу очень своеобразного и малоисследованного произведения Кантемира — «Речи к императрице Анне Иоанновне», привлекая и другие материалы, относящиеся к рассматриваемой проблеме.

«Речь к благочестивейшей государыне Анне Иоанновне императрице и самодержице всероссийской» была хорошо известна современникам Кантемира: она встречается во многих рукописных сборниках, содержащих сатиры Кантемира первоначальной редакции. Чаще всего «Речь» помещается перед текстом сатир и открывает собою весь сборник,¹ хотя в некоторых списках — причем наиболее авторитетных — она следует за сатирами среди других произведений поэта.²

¹ См. например, сборники, хранящиеся в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ): Q. XIV, 2; Q. XIV, 19; Q. XIV, 166; СПб. Дух. Акад. № 233; собр. Вяземск. F. CXXXIX и Q. CXXXVIII; сборники, хранящиеся в ЦГАДА: Ф. 181 № 852 (1418); Ф. 181 № 357 (806), а также сборники, хранящиеся в Государственном историческом музее (ГИМ): 86086—1575; Уваров, 453, 4°.

² В сборниках: Q. XVII, 6 и СПб. Дух. Акад. А. IV/8 а также в менее исправном сборнике Разнояз. Q. XVII, 258 (хранящихся в ГПБ) и в сборниках: Ун. 74 (43); 664 (т. 340) (хранящихся в библиотеке АН УССР в Киеве).

В первые издания сочинений Кантемира, вышедшие как за границей (в 1749 и 1750 годах на французском языке; в 1752 году — на немецком), так и в России (в 1762 году), «Речь» не вошла. Подготовленные на основе окончательной редакции произведений Кантемира, эти издания содержали взамен «Речи» стихи, обращенные Кантемиром к Елизавете Петровне. Вследствие этого «Речь» надолго выпала из поля зрения читателей и исследователей Кантемира.

Впервые она была опубликована в 1823 году К. Калайдовичем.³ Источником этой публикации послужил список, хранившийся в библиотеке гр. Ф. А. Толстого. Вышедшее из печати в 1825 году описание рукописей этой библиотеки, составленное К. Калайдовичем совместно с П. Строевым, содержит упоминание о «Речи».⁴ После этой публикации «Речь» долгое время более не воспроизводилась печатно, и текст ее был мало кому известен.

Только в 1867 году, когда вышло издание сочинений Кантемира, подготовленное П. А. Ефремовым и В. Я. Стоюниным, «Речь» снова увидела свет среди других произведений сатирика.⁵ Текст «Речи» здесь воспроизведен по более исправному списку, чем тот, какой был в распоряжении К. Калайдовича. Так как в библиографии, приложенной к изданию (т. II), публикация Калайдовича не упоминается, можно заключить, что редакторы о ней не знали.

Интересные варианты и уточнения, преимущественно касающиеся текста авторских примечаний к «Речи», опубликовали Е. В. Петухов⁶ и Т. М. Глаголева.⁷ Наиболее полный и исправный текст произведения дан в выпущенном нами издании стихотворений Кантемира.⁸

³ Сочинения в прозе и стихах. «Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете». М., 1823, ч. III, стр. 98—106.

⁴ К. Калайдович и П. Строев. Обстоятельное описание славяно-русских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке ... графа Федора Андреевича Толстого. М., 1825, стр. 691. Ныне список хранится в рукописном отделе ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина под шифром Q. XIV, 2.

⁵ А. Д. Кантемир. Сочинения, письма и избранные переводы. Вступительная статья и примечания В. Я. Стоюнина, Ред. П. А. Ефремов а. Т. I, СПб., 1867, стр. 304—307. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

⁶ Е. В. Петухов. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-филологического института им. кн. Безбородко. Киев, 1894, стр. 18.

⁷ Т. Глаголева. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира. СПб., 1906, стр. 46.

⁸ Антиох Кантемир. Собрание стихотворений. Вступительная статья Ф. Я. Приймы. Подготовка текста и примечания Э. И. Гершковича. (Библиотека поэта. Большая серия), Изд. «Советский писатель», Л., 1956, стр. 266.

«Речь к императрице Анне Иоанновне» почти совсем не пользовалась вниманием со стороны исследователей. Те немногие суждения, какие встречаются о ней в литературе, поверхностны, а порою и ошибочны. Одна из первых попыток истолковать это произведение принадлежит К. Калайдовичу и П. Строеву. В упомянутом «Описании» библиотеки гр. Ф. А. Толстого «Речь» рассматривается как посвяtitельное стихотворение, с которым Кантемир обратился к Анне Иоанновне, преподнеся ей свои сатиры.⁹

Подобная интерпретация «Речи» вызвала возражение уже в 1841 году со стороны неизвестного нам автора рукописной работы о сатирах Кантемира.¹⁰ Указав на ошибочность трактовки «Речи» как посвяtitельного стихотворения, автор, однако, не аргументировал своих возражений и не изложил своих собственных взглядов на это произведение.

Стоюнину принадлежит наиболее развернутая характеристика «Речи». Он так объяснял мотивы, побудившие Кантемира создать это произведение: «Хорошо знакомому с хвалебными одами, какие писались на Западе, ему (Кантемиру, — З. Г.) казалось непростительным не написать подобной же оды и „самодержице вся России“, тем более, что в ней он видел торжество своей партии, уже воспользовался ее милостью и мог в будущем рассчитывать на другие милости» (т. I, стр. LXXIV). Таким образом, «Речь» здесь трактуется как обычная похвальная ода, создание которой не имеет никакого отношения к сатирической деятельности Кантемира.

Больше того, в самом факте создания «Речи» Стоюнин усматривал со стороны Кантемира своеобразную измену сатирическому жанру, постоянную верность которому поэт незадолго до того публично декларировал. «Он забыл, — пишет Стоюнин, — что уже испытал свою неспособность к хвалебным песням, забыл о своем недавнем признании в четвертой сатире: „Рифмы не могу прибрать, как хвалить желаю“. И несмотря на эту осознанную неспособность, все же следуя обычаю поэтов, создал оду самодержице всероссийской, в которой, конечно, мы не станем искать поэзии и искреннего чувства» (т. I, стр. LXXIV).

В позднейшей литературе новых истолкований «Речи» по сути не появилось. Т. Глаголева, в частности, именует это произведение вслед за Стоюниным просто «одой».¹¹ Другие исследователи,

В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться: Кантемир. Собрание стихотворений, стр.

⁹ К. Калайдович и П. Строев. Обстоятельное описание славяно-русских рукописей... графа Ф. А. Толстого, стр. 691.

¹⁰ Рукопись хранится в Архиве ИРЛИ (Пушкинский дом) под шифром 19663/СХХХIV 6. IV.

¹¹ Т. Глаголева. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира, стр. 45.

как бы контаминируя обе указанные тенденции, называли «Речь» «одическим посвящением». Обе тенденции существуют и поныне. В какой мере они справедливы, покажет дальнейший анализ.

Так как при изложении своих соображений о «Речи» нам часто придется обращаться к ее содержанию, напомним основные идеи этого произведения.

В первых строках Кантемир восхваляет императрицу и провозглашает славу «дому» и «царству» ее. Отправляясь от похвальной характеристики Анны Иоанновны, Кантемир стремится объяснить, почему он в своем поэтическом творчестве не прославлял ее деяний, не «разносил» ее славу. Автор отвергает мысль, будто причиной этого является исключительная приверженность его к сатирическому роду и нежелание пробовать свои силы в иных жанрах:

Если, зря твои дела, уст не отверзаю
И, молча, к твоей славе перст не направляю,
Если муза моя спит и не бренчит лира
В похвалах твоих — не тем, что одна сатира
Люба, будучи к иным мысль моя не склонна,
Ей, нет, и была бы та ленность беззаконна!

Для него не остаются скрытыми добродетель и мудрость царицы, благоденствие «россиян» под ее властью: «Все то, хоть скудоумен, и вижу и знаю», — уверяет Кантемир. И если, несмотря на все это, он не пишет панегирика, то виною всему — боязнь автора, что его поэтический дар окажется недостойным столь высокого предмета:

Боюсь к твоим хвалам распростерти руку:
Помню Икара повесть, продерзость и муку.
Нужно бо обычайны пределы превзыти
Хотящу дела твои и тебя хвалити!
И столь славну имей писати причину,
Не подлого должен быть у Фебуса чину.

Затем следует рассказ о том, как автор трижды принимался за перо («в благодарство дел твоих хвалить тя хотящи», — объясняет он Анне) и как Аполлон, «с неба прилетев», трижды препятствовал выполнению его намерения: — «изломал перо, пролил дерзостно чернило» и «с гневом» «обличил» его «отвагу»:

Кое ты безумие, — рекше, — обступило?
За что ты хвататься и на что дерзаешь?
Анну — самодержицу хвалити желаешь?

Не знаешь ли ты смолчать,¹² уме¹³ беспокойный,
Что не твои для такой стихи суть пристойны.

Для такого дела оказываются не подходящими ни направление мыслей автора, ни стиль его, ни поэтическое мастерство:

Где тебе сплесть и сыскать слова, столь согласны,
Каковы дела ее дивны и ужасны?
Ведь тут нечего писать, чтоб было утешно.
К чему и мысль и перо твое скользит спешно.

И к хвале той негоден, слаб¹⁴ стиль твой подлейший
Для ваги¹⁵ такой Атлас потребен сильнейший.

Убеждая автора в том, что и для более искусных поэтов, как, например, Вергилий, воспеть Анну было бы нелегким делом, Аполлон в заключение своей гневной речи приказывает:

Покинь и впредь не дерзай в сие вступать смело,
Оставь мудрейшим себя, не твое то дело.

Речь Аполлона производит сильный эффект:

Содрогулся, бедный, я, скочил с стула спешно.

Автор благодарен Аполлону за то, что

...однако же, безбедный¹⁶ молчати
Быть узнал, нежли грубы похвалы писати.

Закljučается «Речь» сентенцией:

Молчу убо, но молча сильно почитаю
Тую, от нея же честь и жизнь признаваю.

¹² В тексте ефремовского издания неправильное чтение: «смельчак». Во всех списках, известных нам: «смолчать». См. также варианты, опубликованные Е. В. Петуховым (Заметки о некоторых рукописях... стр. 19).

¹³ В тексте ефремовского издания неправильное чтение: «уже», вместо: «уме» (по рукописной традиции). Т. Глаголева отметила эту ошибку (Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира, стр. 45), но проглядела неправильное чтение, указанное в предыдущем примечании, вследствие чего этот стих в предлагаемом ею чтении остался, как и в ефремовском издании, бессмысленным.

¹⁴ Слово «слаб» отсутствует в тексте ефремовского издания, вследствие чего стих там не имеет полного числа слогов — 13.

¹⁵ В тексте ефремовского издания неправильное чтение: «воли». В списках: «ваги», т. е. «веса». Ср. также авторское примечание к этому стиху (42), из которого ясно, что речь идет именно о тяжести, трудном деле, а не о воле.

¹⁶ В ефремовском издании слово осталось нерасшифрованным. Наше чтение дается по рукописному тексту. См. также варианты, опубликованные Е. В. Петуховым (Заметки о некоторых рукописях... стр. 19).

Сопоставим теперь содержание «Речи» с существующими в литературе толкованиями ее, в частности, рассмотрим прежде всего, можно ли считать «Речь» посвяtitельным стихотворением к сатирам.

Обязательным элементом всякого литературного посвящения является посвяtitельная формула, в которой обыкновенно указываются дедикативный адресат (кому посвящается) и дедикативный объект (что именно посвящается). Эта формула может быть осложнена различного рода рассуждениями автора о причинах, побудивших его посвятить данное произведение данному адресату, о достоинствах адресата и недостатках посвящаемого произведения и т. п., но формула эта прямо или косвенно должна быть налицо в посвяtitельном произведении — иначе оно не может выгоlnить своей функции.

То обстоятельство, что «Речь» обращена к Анне Иоанновне, не является еще аргументом в пользу мнения о посвяtitельном характере этого произведения. В «Речи» нет посвяtitельной формулы. В ней ни единым словом не упоминается вообще об акте посвящения, равно как невозможно из ее текста узнать, что именно посвящается. В частности, ничто не указывает на то, что автор имеет в виду посвятить именно сатиры, а не другой род произведений.

Ни единого намека на дедикативный характер «Речи» не содержится и в авторских примечаниях, где по обыкновению Кантемир поясняет жанр и характер комментируемого произведения.¹⁷

Несостоятельность анализируемой точки зрения с особой наглядностью может быть установлена при сравнении «Речи» с более поздним произведением Кантемира, адресованным Елизавете Петровне и являющимся переработкой «Речи». Сохраняя в общем схему последней, Кантемир в стихотворении к Елизавете Петровне существенно изменяет содержание «божественного глагола», с которым Аполлон обращается к автору. В «Речи» Аполлон запрещает ему писать похвальные стихи, признавая его недостойным для такого дела, и автор решает лучше молчать, нежели «грубы похвалы писать». В стихах же, обращенных к Елизавете Петровне, «белокурый бог», хотя и продолжает настаивать на том, что автор недостойн воспевать славу императрицы (на этот раз — Елизаветы Петровны), но, кроме запрещения писать похвальные стихи, в его словах содержится и предложение:

Если же знак хвального благодарства дати
Твоего какой-либо августе желаешь,

¹⁷ Примечания к «Речи» опубликованы в издании Ефремова со значительными пропусками по сравнению с рукописным текстом. Пропуски эти устранены в нашем издании стихотворений Кантемира (Собрание стихотворений, стр. 268—269).

Поднеси ей книжицу, в которой пятнаешь
Злые веселым лицом обычки и нравы.

Так, по «заказу из уст властелина» автор решается поднести Елизавете свои сатиры, о чем он и заявляет в следующих стихах:

Убо, самодержице, прими, что дать знаю:
Вот книжка, обычай чем и злой нрав пятнаю.

В результате этих переработок стихи, адресованные Елизавете Петровне, приобрели посвяtitельный характер. В примечаниях к ним Кантемир прямо указывает на то, что они служат посвящением к сатирам: «Стихи сии, которыми сатирик посвящает сатиры свои императрице Елизавете...» (разрядка наша, — *З. Г.*). В этом отношении показательна и следующая деталь. В издании Ефремова, подготовленном на основе текста так называемого Академического списка,¹⁸ заглавие этих стихов таково: «Елисавете Первой августейшей императрице и самодержице всероссийской государыне всемилостивейшей». Но Ефремов и Стоюнин не обратили внимание на то, что «Таблица», т. е. оглавление, которым открывается Академический список, содержит вполне точную квалификацию стихов, обращенных к Елизавете Петровне; они названы здесь «Словоприношение императрице». Как видим, и в самом названии отразилась перестройка произведения, превратившая его в дедикативное.

Ниже мы подробнее остановимся на истории этой переработки, но уже из сделанного краткого сопоставления обоих произведений можно окончательно убедиться в том, что «Речь к императрице Анне Иоанновне» нельзя рассматривать как стихотворное посвящение к сатирам: ни по содержанию, ни по форме она таковым не является.

Столь же несправедливым является истолкование «Речи» как «хвалебной оды» на манер тех, «какие описались на Западе», т. е. как обычной панегирической оды.

Разумеется, было бы неверно отрицать наличие панегирического элемента в «Речи», однако смысл этого произведения, как будет показано ниже, не сводится к одному только восхвалению императрицы, и даже не столько к нему.

Эпоха классицизма характеризуется, как известно, четкой разграниченностью литературных форм, резкой обособленностью жанров, строгой спецификацией поэтических и языковых средств. Кантемир — один из основоположников русского классицизма — в своих теоретических высказываниях по вопросам поэзии отстаивал эти принципы и тщательно соблюдал их в своей творческой

¹⁸ Архив ИРЛИ. Р. II, оп. I, № 132.

практике. Только полным игнорированием последнего обстоятельства можно объяснить отнесение «Речи» к одическому жанру. Все элементы этого произведения не совпадают с поэтикой оды в практике Кантемира.

В самом деле, «Речь» написана силлабическим тринадцатисложником с женской рифмой и смежной рифмовкой без членения на строфы, совершенно тождественным со стихом, употреблявшимся Кантемиром в его сатирах, в «Петриде», в баснях, но ни в коем случае не в одах. Все оды (Кантемир называет их «песнями») написаны одиннадцатисложным стихом с обязательным строфическим членением и разнообразной рифмовкой (преимущественно перекрестной).¹⁹ Совершенно несовместимы с жанровыми требованиями панегирической оды разговорный тон «Речи», необходимые обороты (вроде «скачил с стула» и т. п.); «низкий» или, как его называет Кантемир, «подлый» стиль, и т. д.

«Речь к императрице Анне Иоанновне» не является ни посвящением, ни одой. Жанровая природа этого произведения определена самим Кантемиром совершенно точно и недвусмысленно в самом названии — «Речь». Это именно стихотворная речь, с которой автор обращается к императрице. Кантемир именует это произведение речью и в своих автокомментариях. Так, в примечании к ст. 40 Кантемир пишет: «Потому знать, что речь сия писана после сатиры. Подражал автор Буало, которой также же к королю речь писал преискусную» (разрядка наша, — З. Г.). Кантемир имеет в виду «Discours au roi» Буало, предвещающую сатиры французского поэта и обращенную к Людовику XIV. В данном случае для нас эта ссылка на Буало имеет значение постольку, поскольку она показывает, как сам Кантемир определял жанровый тип своего произведения. Именно в жанре стихотворной речи Кантемир нашел ту художественную форму, которая оказалась наиболее соответствующей его авторскому замыслу.

¹⁹ Исключение составляет «Ода к императрице Анне Иоанновне в день ее рождения», написанная неровносложными стихами. В ней встречаются шести-, восьми-, одиннадцатисти-, двенадцатисти- и даже тринадцатисложные стихи. Но это необычное явление специально оговаривается в дошедших до нас примечаниях к оде, где говорится, что она представляет перевод с латинского сочинения учеников академической школы и что автор (т. е. Кантемир), «желая по близку держаться слов первоначального, не прилежал, чтоб стихи были равнострожные: что потому не бесплодно случилось, что в сей оде включены почти все различные роды стихов, кои на русском стихотворстве употреблять можно» (Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 466). Следовательно, сам Кантемир осознавал это как отступление от нормы. Характерно, что на найденном нами начальном листе этой оды, содержащем переработки, сделанные рукою Кантемира, видно, как он переделал все стихи в одиннадцатисложные, а существовавшие прежде строфы, неравные по числу строк, переделал в четверостишия (см. там же).

Что побудило Кантемира написать «Речь к императрице Анне Иоанновне»?

Для исследователей, которые смотрели на «Речь» как на посвящение к сатирам, адресованное императрице, ответ на поставленный вопрос не представлял затруднений и вытекал со всей определенностью из принятой ими интерпретации произведения.

Исследователям, трактовавшим «Речь» как обычную хвалебную оду, над указанным вопросом пришлось задуматься. Насколько можно заключить из цитированного выше, Стоюнин полагал, что к созданию «Речи» Кантемира побуждали главным образом морально-политические соображения: поэт считал «непростительным» не написать похвальной оды императрице, поскольку «в ней он видел торжество своей партии, уже воспользовался ее милостью и мог в будущем рассчитывать на другие милости».

Однако анализ конкретных исторических обстоятельств заставляет усомниться в правильности этих утверждений. В частности, мало согласуется с ним датировка «Речи» 2 июня 1731 года. Около полутора лет отделяет момент создания «Речи» от политических событий, связанных с воцарением Анны Иоанновны, и если допустить, что «Речь» явилась одним из откликов на победу той политической группировки, к которой примыкал Кантемир, то следует признать, что этот отклик был слишком запоздалым. К тому же в политических условиях середины 1731 года, когда надежды дворянства на «полегчание» после олигархической диктатуры Верховного тайного совета развеялись и наступила жестокая пора самодурства Бирона и немецкого засилья, вспоминать о победе своей «партии» Кантемир мог лишь с чувством горечи и разочарования.

Вряд ли в этих обстоятельствах у Кантемира могла возникнуть мысль создать произведение, восхваляющее Анну Иоанновну как олицетворение тех политических идеалов, во имя которых он боролся с «верховниками».

Предположения, что поводом к созданию «Речи» явилось желание Кантемира выразить личную благодарность за содеянные ему Анной Иоанновной милости, также оказываются мало убедительными. Известно, что в то время, как остальные лица, содействовавшие установлению неограниченной власти императрицы, были щедро ею награждены, Кантемир (как и Татищев) остался по существу обойденным. Гуаско объясняет это скромностью Кантемира, отклонившего предложение Анны Иоанновны самому назначить себе награду.²⁰ Однако у нас есть неоспоримое

²⁰ *Satyres de monsieur le prince Cantemir. Avec l'histoire de sa vie. Traduites en François. A. Londres. Chez Jean Nourse. 1749, p. 53.*

свидетельство самого Кантемира, доказывающее, что он явно считал себя несправедливо обойденным. Мы имеем в виду его «*Epos Consolatoria*», в котором он жалуется Феофану, что лишен «стадца», «хижины» и «нивы»:

Меж пастушками брожу единый
несчастливый,
Ниж в наймиты кто нанимает,
ни козлятем
На завод бедну кто помогает
ни ягнятем!

«Эпод» написан Кантемиром после восшествия Анны Иоанновны на престол и отражает его настроение не ранее середины 1730 года.²¹ Тем не менее «награждение» все же состоялось. Поэт вместе с остальными детьми покойного молдавского господаря (за исключением Константина) получил 1030 крестьянских дворов. Форма и характер награждения вовсе не отмечали личных заслуг Антиоха перед императрицей. Он был поставлен в равное положение со своими двумя братьями и сестрой, не принимавшими участия в событиях начала 1730 года, в которых он проявил выдающуюся активность. И сам Стоюнин вынужден признать, что в «такой награде не было бы никакой справедливости» (т. I, стр. LXVIII). В своем завещании Антиох указывал, что полученные им деревни были пожалованы Анной Иоанновной вместо пенсионера, обещанного ему с братьями в их малолетстве еще Петром I (т. II, стр. 350).

Таким образом сам Кантемир не рассматривал эту «милость», как награду за его политические действия. Но как бы то ни было, факт награды был налицо. Можно ли считать, что именно эта награда явилась для Кантемира поводом, если не искренно, то формально выразить свою благодарность Анне Иоанновне? В указанной обстановке не написать похвальной оды действительно представлялось, говоря словами Стоюнина, «непростительным» для молодого поэта той эпохи.

Однако хронологические сопоставления разбивают и это предположение. Биографы Кантемира, оперируя самым фактом награждения, не заинтересовались его датировкой. и не приводят никаких данных на этот счет. Между тем можно установить совершенно точную дату именного указа Анны Иоанновны.

В «Описи высочайшим указам» П. Баранова содержится следующая запись под датой 20 декабря 1730 года: «Именной указ о пожаловании детям покойного господаря Волоского, князьям Матвею, Сергею, Антиоху и сестрам их (явная ошибка: не сест-

²¹ О датировке «Эпода» см. в нашем комментарии к изданию стихотворений Кантемира (Собрание стихотворений, стр. 477—478).

рам, а сестре — княжне Марии, — З. Г.) 1030 крестьянских дворов в Нижегородском и Брянском уездах в вечное владение».²²

Таким образом, указ был подписан в декабре 1730 года. Неужели Кантемиру потребовалось шесть месяцев для того, чтобы откликнуться на это событие и создать в знак благодарности похвальную «Речь» императрице? Едва ли он мог рассчитывать на то, что столь запоздалая реакция достигнет цели. Кроме того — и это является самым важным — в тексте «Речи» нет ни одного намека на выражение личной благодарности Анне Иоанновне за якобы оказанные ею «милости».

Нам могут возразить, основываясь на опыте других поэтов XVIII века, что создание панегирического произведения может быть и не связано с каким-либо определенным обстоятельством в жизни поэта, которое побудило бы его на подобный творческий акт.

Это возражение было бы справедливым, если бы в самом тексте «Речи» не имелись конкретные указания на реальные обстоятельства творческой деятельности Кантемира, свидетельствующие о более сложном замысле произведения, нежели простое стремление создать панегирик императрице.

В «Речи» при непредубежденном взгляде можно обнаружить, кроме панегирического, еще и другой тематический аспект, тесным образом связанный с первым, но существенно от него отличающийся. Мы имеем в виду изложение автором причин, по которым он не решает писать похвальных стихов Анне Иоанновне.

Правда, мотивировка автора искусно обрамлена восхвалением императрицы; самое объяснение построено так, что превращается в похвалу; авторское самоуничижение оборачивается в конечном итоге косвенным комплиментом Анне Иоанновне; решение автора лучше молчать, чем писать грубую лесть, рождает заключительное завершение его в глубоком почтении к императрице. Было бы безусловной ошибкой закрывать глаза на эти факты. Однако сюжет «Речи», все развитие ее темы в сущности сводится к тому, чтобы мотивировать занятую автором творческую позицию и защитить его от каких-либо предосудительных выводов на этот счет.

В отличие от панегирических элементов, носящих традиционный характер, именно эта «защитная» установка, определяющая своеобразие замысла произведения, имеет бесспорно реальную, конкретно-биографическую подоплеку.

В частности, утверждение автора о том, что его лира «не бренчит хвалу» императрице, вовсе не является традиционной панегирической формулой, а отражает достоверный факт его литературной деятельности. Если не считать «Оды на день рождения

²² П. И. Баранов. Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве за XVIII век, т. II. СПб., 1875, стр. 237.

Анны Иоанновны», являющейся, как уже отмечалось, не оригинальным его произведением, то Кантемир действительно к тому времени не написал ни одного похвального произведения в честь Анны Иоанновны.

Безусловно автобиографический характер имеют строки, в которых автор формально отводит от себя обвинение в том, что он не пишет панегирических произведений в честь Анны Иоанновны из-за того, что ему «одни сатиры любы». Этот мотив мог указать только поэт, подвизавшийся преимущественно в сатирическом роде, каким именно и был Кантемир.

Такое сопоставление сатирического и панегирического направлений совершенно отсутствует в «Discours au roi» Буало, на который ссылался Кантемир в своих примечаниях, и, следовательно, не может быть объяснено внешним литературным воздействием.

Автобиографическая подоплека «Речи», в частности связь ее содержания с предшествующей сатирической деятельностью Кантемира, не только не затушевывается им самим, но, наоборот, подчеркивается многократно в автокомментариях к «Речи».

В примечании к ст. 40 Кантемир специально обратил внимание читателя на то, «что речь сия писана после сатир». По-видимому, это обстоятельство Кантемир считал существенно важным для правильного понимания замысла и содержания своего произведения.

Приведенные факты, по нашему мнению, убеждают в том, что нельзя рассматривать «Речь», игнорируя ее органическую связь с сатирической деятельностью Кантемира. Только учитывая конкретные обстоятельства, характеризующие эту деятельность, можно понять, почему Кантемир счел необходимым выступить с оправданием и защитой своей творческой позиции.

Прежде всего обратим внимание на хронологию. Кантемир датирует «Речь» точно: «1731 г. июня 2 дня», следовательно, она написана после создания IV сатиры, но перед созданием V. Какие обстоятельства характеризуют этот период творчества Кантемира? В «Изъяснении» к V сатире (первоначальной редакции) он писал: «Сатирик наш по окончании своей четвертой сатиры намерен был, оставя сей стихов род, употребить время свое, которое ему до отъезду в чужие края оставался, на продолжение Петриды...» (т. I, стр. 268). Это существенно важно для восстановления подлинного хода работы Кантемира над сатирами и имеет непосредственное отношение к истории создания «Речи». По-видимому, поэт считал написанные им к середине 1731 года четыре сатиры в какой-то степени законченным циклом, составляющим определенный этап в его творчестве. На это указывает и явно «итоговый» характер IV сатиры, в которой автор оглядывается на пройденный им путь, анализирует его результаты:

и делает определенные творческие выводы. IV сатира, представляющая собой замечательный образец литературного самосознания русского писателя XVIII века, видимо, предназначалась для заключения предполагаемого сатирического цикла.

Вполне естественно предположить, что именно в это время Кантемир, проникнутый просветительскими стремлениями, задумался над тем, чтобы обнародовать свои произведения в печати. По справедливому замечанию Д. Д. Благого, «в противоположность старым нашим „письменникам“, Кантемир был писателем, „автором“ нового ... склада, предназначавшим свое творчество для наивозможно более широкой читательской аудитории».²³ О том, что еще во время пребывания в России Кантемиром владела мысль издать в свет свои сочинения, свидетельствует, между прочим, и тот факт, что он снабдил ряд своих произведений «изъяснениями».

Если учесть, что в последнем прижизненном сборнике, отосланном в Россию для печати, ни одно произведение не обходится без соответствующих комментариев, то можно заключить, что наличие этих последних или отсутствие служит вполне точным критерием для суждения о том, какие произведения Кантемир намеревался ввести в состав печатного издания и какие решил оставить за его рамками. Во всех сборниках, содержащих первоначальную редакцию произведений Кантемира, созданных в России, авторскими примечаниями снабжены лишь пять сатир и «Речь к императрице Анне Иоанновне». Остальные произведения встречаются вообще крайне редко; *Metaphrasis*, Р. 36 и Р. 72 (переложения псалмов 36 и 72), первая часть «Петриды», «*Eposodos Consolatoria*» представлены лишь в нескольких сборниках и лишены примечаний.²⁴

По-видимому первоначальный план сборника, предназначавшегося для печати, включал преимущественно сатиры и примыкающие к ним произведения: приветственные стихи Феофана Прокоповича и Феофила Кролика, адресованные Кантемиру, «Благодарительные стихи» последнего Феофану, ряд эпиграмм, связанных с соответствующими сатирами, и, наконец, «Речь к императрице Анне Иоанновне».

Намечая это издание, Кантемир безусловно отдавал себе отчет в его характере и сознавал опасность, которую он мог навлечь на себя, вследствие такого «неблагонадежного» уклона своего

²³ Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1945, стр. 91.

²⁴ Например, в сборниках Q. XIV, 6 и СПб. Дух. Акад. А. IV/8 (ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), а также в сборнике Ф. 68 Собр. Генерального штаба № 6677 (Государственная библиотека им. В. И. Ленина, в дальнейшем ГБЛ).

творчества. В IV сатире, написанной незадолго до «Речи», Кантемир прямо указывает на то, что «многим те (сатиры, — З. Г.) не любы»:

И ворчит уж не один, что где нет мне дела,
Там вступаюсь и кажу себя чересчур смела.

ст. (2—4).

А далее он приводит ряд примеров, свидетельствующих о том, какова была реакция на его сатирические выпады:

Вон Клеоб уже протест на меня готовит,
Что нечистый в тебе (музе, — З. Г.) дух бороду злословит;
Иной не хочет писать указ об отказе,
Что о взятках говоришь, обычных в приказе;
И Лентул с товарищи, сказывают, дышет
Гневом и, стряпчих собрав, челобитну пишет,
Хочет-де скоро меня уж на суд позвати,
Что хуля Клитесов нрав, тщуся умаляти
Пьяниц добрых и с ними кружальны доходы.
А Брутус, тверды всегда любящий доводы
Библию, говорит, всю острожской печати
С доски до дски прошед, готов показать
Что противно закону и безбожных дело
Мантию полссатой ризою звать смело.
Одним словом, сатира, что чистосердечно
Писана, досаждает многим, всконечно.

(ст. 13—28).

Не подлежит ни малейшему сомнению, что Кантемир отразил здесь реальные факты, имевшие место в действительности. И при том, что для нас важно, — факты, относящиеся уже к периоду царствования Анны Иоанновны.

Воинствующий сатирический пафос, присущий творчеству молодого сатирика, мог при дворе Анны Иоанновны, особенно после приезда Бирона, вызвать одно только раздражение.

Подчеркивая гражданский характер своих поэтических выступлений, Кантемир тем не менее ощущал, что подобные аргументы в пользу сатирической деятельности неубедительны для императрицы и лиц, окружавших ее. Если последние и признавали в какой-то степени пользу стихотворства, то только в том случае, когда искусство поэта было направлено на восхваление царствующей особы, на упрочение существующего положения вещей.

Пример Феофана Прокоповича, написавшего в связи с воцарением Анны Иоанновны несколько панегирических стихов, мог служить в этом отношении Кантемиру живым укором. Обладая, несомненно, самым значительным поэтическим дарованием по сравнению со всеми, кто подвизался в то время в русском стихотворстве, Кантемир, однако, упорно избегал употреблять его на создание панегирических произведений.

Как мы убедимся ниже из анализа IV сатиры, такое односторонне-сатирическое направление в поэзии Кантемира было не случайностью, а результатом сознательно принятой творческой установки. Но в конкретных исторических условиях того времени реализация подобной творческой программы требовала особой осторожности и неизбежного тактического лавирования.

Задумав издать в свет свои сатиры, Кантемир должен был принять ряд мер, которые могли бы представить его выступление как сатирика в самом благовидном свете и предохранить от неблагоприятных последствий.

К числу тактических мер подобного рода несомненно относится помещение приветственных стихов Феофана Прокоповича и Феофила Кролика впереди сатир. Прикрываясь высоким саном и авторитетом приветствовавших его сатиру духовных поэтов, Кантемир надеялся внушить читателям мысль о важном и благородном деле сатирика, выступающего на борьбу с пороками и невежеством.

В этом же плане следует рассматривать и предисловия Кантемира к отдельным сатирам, имеющим явно выраженную цель — предостеречь читателей от враждебных автору выводов и неблагоприятных оценок. Так, например, в предисловии к I сатире Кантемир считает необходимым объяснить читателю, с каким намерением «написана сатира». «Ни злобная хулить охота», «ни зависть» не служили мотивами, заставившими его обличать пороки, — заверяет Кантемир и тут же подчеркивает, что он «никого партикулярно себе не представлял, когда писал характеры, в сей сатире содержащиеся» (т. I, стр. 188—189).

Еще более показательно предисловие ко II сатире «На зависть и гордость дворян злонравных». Предвидя, что «между прочими читателями найдутся и такие, которые лишь прочтут титул сатиры, взбунтуются на бедного сатирика», Кантемир разъясняет, что сатира его направлена не против «благородия» вообще, а против «гордости и зависти дворян злонравных», и тем самым защищает «всякое благонравие». Формулируя свое понятие «благонравия», Кантемир указывает, что благонравными людьми могут считаться те, кто «потом и мозолями в пользу отечества добывает себе славу». Несомненно в связи с этим находится и постоянно цитируемая формулировка Кантемиром смысла его сатирической деятельности: «все, что я пишу — пишу по должности гражданина, отбывая все то, что согражданам моим вредно быть может» (т. I, стр. 204).

Таким образом, Кантемир внушает читателю мысль о добродетельном и патриотическом значении сатирического творчества.

В том же предисловии Кантемир использует применявшийся многими сатириками защитный прием: доказав, что его сатира

направлена на защиту добродетели против пороков, Кантемир заключает, что в таком случае «гневаться» на него может лишь «тот, кто теми самыми злонравиями опятнан», которые он обличает. «Им неприятна добродетелей похвала, им противна хула злонравий, им убо и сатириков имя ненавистно». Словом, тот, кто «гневается» на сатирика, сам выявляет свою «совесть злую».²⁵ Этим приемом Кантемир заранее дискредитирует всякие нападки на сатиры, как исходящие от людей, зараженных теми пороками, которые и бичуются в сатирах.

К числу «защитных» тактических мер несомненно следует отнести во многих случаях и ссылки Кантемира на литературные авторитеты. В этом отношении особенно показательно предисловие к V сатире (первоначальной редакции), написанной, правда, уже после «Речи к императрице Анне Иоанновне».

Желая предупредить неправильное истолкование сатиры «На человека» и опровергая мнение, будто автор в ней на всех без изъятия людей «устремляется», Кантемир ссылается на псалмы царя Давида и X сатиру Буало: «Сии два примера имея (один священный, а другой мирской) можно ли мне в виду причесть, что я им следовал? Обвинение то или мне несправедливо, или и тем двум стихотворцам прилично. Но понеже одному из тех за великую святость, а другому за пространную славу то учинить невозможно, убо ни мне, имеющему их себе предводителями» (Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 394).

Тактическая цель ссылки Кантемира на литературные авторитеты здесь совершенно очевидна. И это не единственный пример: частые указания (в примечаниях) на различного рода литературные источники во многих случаях служат средством, при помощи которого Кантемир стремится оправдать и возвысить в глазах читателей свою собственную сатирическую деятельность.

Так, в примечаниях к IV сатире (первоначальной редакции) Кантемир, комментируя встречающееся в тексте упоминание о Буало, заключает характеристику французского поэта следую-

²⁵ Этот же прием применен в эпиграмме «К читателю сатир».

Si te pungo, tace, quia te non nomino; clamas?

Proditor es vitii (non ego culpa) tui.

Кольнул ты? Молчи, ибо ты не именуешь:

Кричишь? Не я, ты выдал свою злобу злую.

Мы считаем, солидаризуясь с мнением Т. Глаголевой (Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира, стр. 56), что данная эпиграмма написана Кантемиром, а не Феофилом Кроликом, как это принято считать. Кроме соображений текстологического характера, в пользу подобной атрибуции говорит и обращение к читателю от первого лица, т. е. автора. См. также комментарии к этой эпиграмме в нашем издании стихотворений Кантемира (Собрание стихотворений, стр. 471).

ими строками: «Людовик XIV, король французский, не только, е восп्रेтил ему (Буало, — З. Г.) так приятным и искусным, бразом (при помощи сатир, — З. Г.) исправлять нравы народа, о, в награждение трудов его, определил ему годового жалованья! о 2000 ливров» (т. I, стр. 253). Здесь ссылка Кантемира на Лю- овика и Буало явно рассчитана на то, чтобы показать Анне. Иоанновне и ее окружению, как следует относиться к деятельности атирического поэта.

Все эти факты, а число их можно умножить, убеждают в том, что перед нами обдуманная система тактических средств, сознательно примененная Кантемиром для защиты своих сатир от вра- кдебных суждений.

Однако всего этого было недостаточно для того, чтобы обезопасить задуманное Кантемиром печатное издание сатир. Не- оменно он понимал, что исключительное внимание, проявляемое им к сатирическому роду, при полном отсутствии в его творчестве танегирических произведений не могло внушить императрице благоприятного отношения к нему. В этих условиях Кантемир, решил издать свои сатиры только в том случае, если получит на это «высочайшую» санкцию императрицы.

Расчет Кантемира был верен. «Апробация» императрицы, с одной стороны, сделала бы его сатиры неприкосновенными для недоброжелателей, а с другой — придала бы сатирам авторитет- ность в глазах тогдашнего общества и обеспечила бы более эффек- тивное осуществление поставленных им целей.

О твердом решении Кантемира не публиковать сатиры без со- гласия императрицы говорит его позднейшее письмо к Хр. Гроссу (от 12 мая 1740 года). Кантемир предупреждает своего адресата, что посылает сборник своих сатир и других стихотворений только для него лично, так как не хочет, чтобы эти произведения были изданы без специального распоряжения императрицы.²⁶ И в том же самом письме Кантемир сообщает Гроссу об отправке ему перевода 10 писем Горация, предоставляя членам Академии судить, достойны ли они быть напечатанными.

Таким образом, не для всех своих литературных трудов Канте- мир добивался разрешения императрицы. При всей щекотливости дела об издании перевода фонтенеллевых «Разговоров о множе- стве миров» Кантемир обошелся без обращения к императрице, хотя потребовалось разрешение духовной власти. Судя по извест- ным нам фактам, издание просодического трактата, отправленного

²⁶ «Pour ce qui est de satires et de mes autres poésies, elles ne serviront que pour votre amusement, car je ne veux qu'elles se publient sans un ordre de sa majesté». (Л. Н. Майков *Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира*. СПб., 1903, стр. 159).

в Россию в 1743 году, тоже намечалось осуществить без вмешательства императрицы²⁷ (на этот раз — Елизаветы Петровны).

Из всего этого можно заключить, что больше всего беспокоили Кантемира именно сатиры.

С восшествием на престол Елизаветы Петровны Кантемир предпринимает новую попытку издать свои сатиры. Действуя на этот раз через М. Л. Воронцова, он в обращениях к нему опять подчеркивает свое намерение издать сатиры только в случае благоприятной резолюции государыни.²⁸

Такая настойчивость свидетельствовала о страстной заинтересованности Кантемира в издании сатир. Вместе с тем его действия в этом направлении, как видим, характеризовались крайней осторожностью и выдержкой, что было несомненно продиктовано сознанием особого значения того рода поэзии, служению которой Кантемир себя посвятил.

Все эти обстоятельства совершенно естественно объясняют нам конкретные мотивы, побудившие Кантемира написать специальную «Речь», обращенную к Анне Иоанновне. Замысел «Речи» нужно рассматривать именно в связи со стремлением Кантемира добиться благосклонного отношения императрицы к его намерению опубликовать сатиры. Никакой самодовлеющей цели сочинить панегирическое произведение в честь Анны Иоанновны у Кантемира не было.

Создание «Речи», таким образом, было продиктовано соображениями сугубо тактического характера и явилось одним из тех приемов, которые использовал Кантемир для защиты своего сатирического творчества от политических и литературных врагов.

Но именно тактическая установка «Речи», а также ее адресат определили возникновение главного, основного аспекта произведения, условно названного нами «объяснительным» или «защитным». Из данной выше характеристики конкретных обстоятельств сатирической деятельности Кантемира в 1731 году следует, что неблагоприятное отношение Анны Иоанновны к нему могло быть возбуждено не столько его сатирическим творчеством вообще, сколько исключительной его приверженностью к этому жанру и уклонением от создания хвалебных произведений в ее честь. Понимая, что именно этот вопрос является главным во взаимоотношениях его с императрицей, Кантемир смело ставит его в «Речи» и, нисколько не отступая от своих творческих принципов, но при этом неизбежно лавируя тактически, разрешает его.

²⁷ «Письмо Харитона Макентина», как известно, было напечатано вместе с упомянутыми выше 10 посланиями Горация только в 1744 году, после смерти Кантемира.

²⁸ См.: Архив кн. Воронцова, т. 1, М., 1870, стр. 357—365.

Признавая себя недостойным воспеть «дивны и ужасны» дела императрицы («столь славну имея писати причину не подлого должен быть у Фебуса чину»), Кантемир добивается нужного ему тактического эффекта: отводя от себя опасное обвинение в «злостном» нежелании настроить свою лиру на хвалебный тон в честь Анны Иоанновны, он в то же время подводит читателя к выводу, что единственным жанром, соответствующим его дарованию, остается сатира.

Все сказанное заставляет отвергнуть утверждение исследователей, будто Кантемир фактом создания «Речи» изменил принципам, провозглашенным в IV сатире.

Сопоставление «Речи» с IV сатирой (в первоначальной редакции) важно не только для понимания обоих произведений, но и для решения вопроса о соотношении творческих принципов, декларированных Кантемиром, и его поэтической практики.

Как уже отмечалось, IV сатира является своеобразным «*profession de foi*» первого русского сатирика. В ней нашли свое отражение эстетические и литературные взгляды Кантемира, его программные установки.

Основная идея IV сатиры сформулирована самим Кантемиром в «Изъяснении» к ней: «Нельзя ему (автору, — Э. Г.) сатиру не писать, хотя бы знал не ведомо что претерпети».

В этих словах звучит глубокая убежденность сатирика в благодетельном значении избранного им направления и готовность смело встретить ожидающие его на этом пути опасности. Та же мысль в самом тексте сатиры звучит как своеобразная поэтическая клятва:

И для того, хотя смерть рысдой или скоком
Дождет меня скоро, или уж в глубоком
Узрю возрасте свои седины в покое,
В чужестранстве ль буду жить или над Москвою,
Хоть муза моя всем сплошь имать досаждати,
Богат, нищ, весел, скорбен — буду стихи ткати.

(ст. 153—160).

Однако Кантемир понимал, что в современных ему условиях такая приверженность к сатирической поэзии может быть истолкована не к добру и кончиться для него печально. С горькой иронией говорит он об этом в той же сатире:

Музо, свет мой, стиль твой мне, творцу, ядовитый,
Кто бить всех нахалится, часто живет битый;
И стихи, что чтецов всех на смех побуждают,
Часто слез издателю причина бывают.

(ст. 31—34).

Может быть, отказаться от сочинения сатир и заняться писанием менее «опасных» произведений? Кантемир ставит перед собой этот вопрос:

Не пора ли стиль отменить твой грубый
И сатир уже не писать?

Этим вопросом, обращенным к музе, и начинается Кантемир данную сатиру. Далее, излагая невыгоды и опасности, сопряженные с сатирической деятельностью, он решает испытать свои силы в похвальных стихах: «зачнем, музо, в похвалах перья притупляти».

Но попытки в этом направлении заканчиваются неудачно:

Рифмы не могу прибрать, как хвалить желаю;
Сколько ногти ни грызу и тру лоб вспотелый,
С трудом стишка два сплету, да и те неспелы,
Тверды, ушам досадны и на те походят,
Которы по азбуке святых житие водят.²⁹

(ст. 112—116).

Ничего привлекательного для себя не находит Кантемир в колической поэзии («полевые песни»), любовных песнях, скорбных (элегических) произведениях. С иронической усмешкой говорит он об этих поэтических жанрах, совершенно не соответствующих ни его умонастроению, ни интересам.

Вдохновение его пробуждается лишь тогда, когда появляется объект для сатиры:

А как что вредно в нравах усмотрю — прилежно
Стихи под пером текут, и выразить нежно
Так мне легко, как тому, кто был в краи чужды
Узнать доброе вино и кое пить с нужды.

(ст. 117—120)

Правда, если уж к другому роду нет склонности, то, учитывая все напасти, связанные с сатирической деятельностью, можно было бы и вовсе перестать писать — такой вывод встает перед Кантемиром. Вот он рисует позицию тех, кому и по долгу и по обязанности надлежит бичевать пороки:

Лучше нас пастыри душ, которых и правы
И должность есть народа исправляти нравы,
Да молчат: на что в ссору вступать со всем светом?

(ст. 47—49)

²⁹ В последнем стихе имеется в виду черниговский архиепископ Иоанн Максимович, напечатавший в 1705 году стихотворную книгу, которая вся от заглавия до послесловия написана виршами (всего 10322 стиха). Книга содержит жития святых (в алфавитном порядке) и посвящена царевичу Алексею Петровичу.

Однако для него самого подобная позиция неприемлема:

А не писать мне нельзя: не могу стерпеть,
 Когда вижу, что мельник, с волосов недавно
 Стресший муку, нажив уж имя в людях славно,
 Спесивится и, гневом полн, жмурит глазами,
 Что в палате делают мухи пыль крылами.
 Коль глупец, что губы чуть помазал в латину,
 Хвастает наукою и ищет причину
 Безвременно всем скучать долгими речами,
 Ест и пьет аргументом, говорит стихами;
 Коли напудрен гребец и в парче сын дьячий,
 Мудрец спит на войлоке, на пуху — подъячий,
 И чтят того, кто может денег больше дать, —
 Трудно уж воистину сатиру не писати.

(ст. 140—152).

Кантемир провозглашает свою верность сатире как единственной форме, способной выразить его воззрения на современную действительность и наиболее соответствующей природным свойствам его поэтического дарования. Заклучая сатиру, Кантемир заявляет:

И понеже ни хвалить, ни молчать не знаю,
 Одно благонравие везде почитаю, —
 Проче в сатиру писать в веки не престану.

(ст. 159—161).

Таков программный вывод Кантемира, провозглашенный им в IV сатире. При сопоставлении ее с «Речью к императрице Анне Иоанновне» легко убедиться, что последняя не только имеет сходную проблематику, но по существу повторяет самую схему авторских рассуждений, содержащихся в сатире. Следовательно, создавая «Речь», Кантемир соотносил замысел этого произведения с IV сатирой.

Основной проблемой, занимающей автора в обоих произведениях, является проблема творческого самоопределения. Она поставлена и тут и там в форме альтернативного выбора между сатирическим и панегирическим жанрами. И хотя в каждом из названных произведений она соответственно варьируется, но решается по существу одинаково.

Таким образом, «Речь», вопреки традиционному мнению, служит подтверждением верности сатирика своей благородной программе, декларированной в IV сатире. Социально-исторические условия и конкретные обстоятельства литературной деятельности Кантемира несомненно вызвали неизбежные тактические уступки, отмеченные выше. Но это вопрос формы, а не существа.

Вся последующая поэтическая практика Кантемира убеждает в том, что творческая программа, намеченная поэтом в IV сатире, действительно осуществлялась им. И после создания «Речи» он не склонил свою «лиру» на похвальный лад.

В связи с этим необходимо остановиться на одном факте, казалось бы, противоречащем такому утверждению. Мы имеем в виду создание Кантемиром в 1736 году «Оды к императрице Анне на ее победы против варвар». Текст оды до нас не дошел. Однако то, что нам известно о ней из переписки Кантемира с князем А. М. Черкасским, а также из кратких примечаний, сохранившихся в Курбатовской рукописи, позволяет высказать определенные суждения об оде.

В Курбатовской рукописи Кантемир указывает, что «причину сей оды» «подали» «одержанные российским войском победы в 1736 году как на Дону, так в Крыму и Кубани».

Содержание оды в этих примечаниях излагается так: «Стихотворец наш начинает описанием ее им. вел. славных действ в польской войне и в той, которая от польской в Германии и Италии взгорелася; потом слово сводит к осаде и взятию Азова» (Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 463).

Кантемир был глубоко лично заинтересован в исходе Турецкой кампании, сулившей захват у турок Молдавии и восстановление отцовского княжества, по поводу чего дети Дмитрия Кантемира строили определенные планы (см. переписку по этому поводу Антиоха Кантемира с княжной Марией).³⁰

Отсюда можно заключить, что для Кантемира победа под Азовом сама по себе служила достаточной причиной для создания оды, хотя она и неизбежно должна была содержать соответствующую хвалу Анне Иоанновне.

Кроме этой единственной оды, в литературном наследстве Кантемира нет больше произведений панегирического характера, адресованных Анне Иоанновне.

Добролюбов был совершенно прав, утверждая, что Кантемир «держался довольно независимо» в послепетровскую эпоху. Единственным предметом, который сатирик воспевал «по влечению сердца», были лишь «правительственные и общественные реформы Петра».³¹

³⁰ И. Шимко. Новые данные о кн. Антиохе Кантемире. «Журнал Министерства народного просвещения», 1891, № 6, стр. 275, а также: Л. Майков. Княжна Мария Кантемирова. «Русская старина», 1897, кн. VIII, стр. 234—235. См. также письмо Кантемира к А. М. Черкасскому от 1 октября 1736 года, в котором он говорит о турках не только как о «неприятелях христианства», но и как о своих «партикулярных» врагах (Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 57—58). Следует учесть, что по условию, заключенному между Петром I и Дмитрием Кантемиром, отцом сатирика, в случае если Молдавия отойдет к России, то должна будет управляться кем-либо из рода Кантемиров.

³¹ Н. А. Добролюбов, Избранные сочинения, ГИХЛ, М.—Л., 1947, стр. 42. Кроме «Петриды», Кантемир написал еще оду «О императоре Петре

Последующая переработка «Речи» имела две стадии. На первой стадии — еще при жизни Анны Иоанновны — Кантемир изменил характер произведения, превратив его в посвящение к сатирам, обращенное к императрице. В «Таблице» Курбатовской рукописи оно именуется «Дедикацией сатир». Текст последней к нам не дошел, но был известен в начале XIX столетия А. Ф. Мерзлякову, знавшему эту рукопись в более полном виде, чем она существует сейчас. По свидетельству А. Ф. Мерзлякова, «рукопись сия относится к царствованию Анны Иоанновны, а рассматривана Кантемиром при Елизавете, что приметно из самого посвящения, в котором заглавие переменено собственною рукою Кантемира».³² Так появилось заглавие «Словоприношение к Елизавете Петровне». Перемена адресата и определила вторую стадию переработки произведения.

Однако главное значение имеет существенное изменение характера произведения и превращение его в дедикативное. Произошло это следующим образом. (Об этом можно судить по дошедшему до нас «Словоприношению Елизавете Петровне»).

Изменению подверглось главным образом содержание речи Аполлона, обращенной к автору. Кантемир полностью сохраняет в «наказе» Аполлона запрещение создавать хвалебные сочинения, посвященные императрице, но вместе с тем вводит новый мотив:

Если же знак хвального благодарства дати
Твоего какой-либо августе желаешь,
Поднеси ей книжицу, в которой пятнаешь
Злые веселым лицом обычи и нравы.

Таким образом, «подношение императрице» сборника сатир здесь мотивируется как «знак благодарства» со стороны автора.

Еще показательнее для характеристики новой тактики Кантемира тот поворот мысли, который он придает этому подношению:

Явно бо, что книжку раб, дая ей такую,
Другом добродетели весь свет признал тую.

Кантемир полагал, что фактом посвящения сатир императрице, которую якобы «весь свет» считает «другом добродетели», он ставит сатиры под защиту Елизаветы Петровны, и надеялся, что та-

Великом», которая до нас не дошла. В уцелевших отрывках Курбатовской рукописи о ней сказано: «Оду сию в похвалу Петра Великого писал в 1735 году, на корабле едучи из Голландии в Англию. В оной коротко все сего императора чудные дела заключил, приуподобляя его богам древности, к Аполлону, богу наук» (Кантемир. Собрание стихотворений, стр. 464).

³² А. Ф. Мерзляков. О рукописных стихотворных сочинениях кн. Антиоха Кантемира. «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», 1812, ч. IV, стр. 50.

кой комплимент не позволит ей отвергнуть сатиры, не рискуя разоблачить себя в качестве не друга «добродетели».

Свое посвяtitельное стихотворение Елизавете Петровне Кантемир заключил выражением надежды на то, что императрица «тихим сердцем» прочтет книгу его сатир, «зрак не пременяя». т. е. «не гневаясь», как он сам объяснил в примечаниях к этому произведению.

Судьба его сатир показывает, что и на этот раз он ошибся. И при Елизавете Петровне ему не удалось увидеть свои сатиры в печати.

В заключение остановимся на вопросе о соотношении «Речи к императрице Анне Иоанновне» Кантемира с «Речью к королю» («Discours au roi») Буало.

Как отмечено выше, сам Кантемир указывает в примечаниях к своей «Речи» на связь ее с названным произведением французского поэта. Говоря о «подражании», Кантемир имел в виду то, что он по примеру Буало обратился к царствующей особе со стихотворной речью.

Кроме того, ссылка на Буало преследовала охранительные цели: как и в «Предисловии к V сатире», имя Буало и его произведение выставлялись здесь Кантемиром в качестве довода против возможных неблагоприятных истолкований и оценок его «Речи».

Конкретное сопоставление текстов обоих произведений приводит к заключению, что «Речь» представляет собою как по замыслу, так и по исполнению произведение самостоятельного и оригинального характера.³³

Даже Стоюнин, утверждавший в одном месте своего критико-биографического очерка о Кантемире, что последний замыслил создать «Речь» в подражание западноевропейской одической традиции, в другом месте, при конкретном сопоставлении с «Discours au roi» Буало вынужден был признать, что в «Речи» русского поэта «подражание ограничивается только несколькими стихами, по содержанию же и по тону в них (в произведениях обоих поэтов, — Э. Г.) нет ничего общего» (т. I, стр. LXXV).

Сравнивая оба произведения, Стоюнин выносит суровый и явно несправедливый приговор Кантемиру.

«Речь Буало, — пишет он, — есть вместе и панегирик и сатира; похвала королю у него только предлог для сатиры против дурных стихотворцев. Но, несмотря на лесть молодому королю, автор умеет держаться в пристойных границах, не унижая своего до-

³³ Кантемир не только был знаком с «Речью к королю» Буало, но и перевел ее на русский язык вместе с некоторыми другими сатирами Буало (Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 498—500).

стоинства. Он хочет, чтобы потомство назвало его правдивым, чтоб на его сказание о короле смотрело как на историю; но он не защищал своей чести тем, будто искусство стихотворное требует, „чтоб между правдою было нечто и притворно“.

«Такое понятие об искусстве доводило многих наших стихотворцев последующего времени до самой нахальной лести, от которой они нисколько не краснели, прикрываясь требованиями искусства: „как же, не похлебствовав, составить речь красну“. Развитию такого искусства способствовала та среда, которая исторически выработала похлебство, и в этом случае ода или речь Кантемира, как она ни слаба художественно, имеет для нас свое историческое значение: ее только и мог написать человек, воспитавшийся в этой среде — в ней есть своего рода оригинальность» (т. I, стр. LXXV).

Приведенная цитата свидетельствует о том, что подлинный смысл «Речи», цель, которую преследовал Кантемир, создавая ее, не были поняты Стоюниным. По мнению исследователя, «оригинальность» кантемировской «Речи» будто бы заключается в умеренной лести, расточаемой автором по адресу Анны Иоанновны, в его откровенном сервилизме. Но панегирические элементы, как было выяснено выше, составляют как раз наиболее традиционную сторону этого произведения и по сути дела являются побочным следствием авторского замысла.

Подлинное своеобразие и самостоятельность «Речи» Кантемира заключаются в стремлении автора защитить свое право на сатирическое творчество, право поэта служить «согражданам своим» иным способом, чем это предписывалось официальным пониманием поэзии в то время. Поэтому нельзя упрекать Кантемира в неблагородстве его нравственной позиции как писателя. Принимая неизбежные тактические уступки за существо авторского замысла, исследователь приписал Кантемиру без всякого на то основания совершенно чуждые ему творческие принципы.

Характеризуя Буало, Стоюнин указывает на то, что французский поэт «не защищал своей лести тем, будто искусство стихотворное требует, „чтоб между правдою было нечто и притворно“». Цитируемые здесь Стоюниным слова взяты из «Речи» к Анне Иоанновне, и все его рассуждение построено на противопоставлении Буало Кантемиру; получается так, что приведенные слова представляют как бы основное творческое правило русского поэта. В таком понимании укрепляет и следующая фраза Стоюнина о том, будто многие русские стихотворцы последующего времени прикрывали свою «нахальную лесть» «требованиями искусства: „Как же, не похлебствовав, составить речь красну“». И здесь цитата из «Речи» преподносится Стоюниным как принцип самого Кантемира. Но ведь цитируемые Стоюниным строки

из «Речи» принадлежат не автору, а вложены в уста Аполлону, характеризующему приемы, которыми необходимо пользоваться при сочинении похвальных произведений. При этом смысл речи Аполлона сводится к тому, что автор (т. е. Кантемир) не способен использовать приемы «похлебствующей» поэзии, почему он и не должен браться за сочинение панегирика Анне Иоанновне. Таким образом, указанные строки не только не характеризуют взглядов Кантемира, но и противоречат его творческой практике.

Замышляя «Речь», Кантемир меньше всего руководствовался стремлением создать «похлебствующее» произведение в честь Анны Иоанновны. Им руководило высокое и благородное стремление отстаивать свое право на сатирическое творчество, на просветительскую деятельность. Но в тогдашних исторических условиях этого можно было достичь только ценою определенных тактических уступок, чем по сути дела и являются те панегирические элементы, которые содержатся в «Речи».

Разумеется, в оценке действий Кантемира было бы абсолютно непростительно терять историческую перспективу и подходить к ним грубо прямолинейно, применяя критерий современных нам понятий. Оценивая нравственную позицию Кантемира как поэта, необходимо исходить не из этих вынужденных обстоятельствами времени уступок, а из основных принципиальных творческих установок первого русского сатирика и его поэтической практики.

С этой точки зрения — а она единственно правильная — литературная деятельность Кантемира, если ее соотнести с историческими условиями послепетровской эпохи, несомненно является в высшей степени благородной и прогрессивной.

И. Э. СЕРМАН

ТРЕДИАКОВСКИЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО (1730-е годы)

Тредиаковским занимались в нашей науке много, но преимущественно как реформатором стиха, стиховедом и переводчиком; при этом были сделаны ценные наблюдения и интересные выводы. Однако из-за подобной сосредоточенности на конкретных принципах его стиховедческих трудов и переводческой работы общее значение литературной деятельности Тредиаковского и его историческая роль в создании русской литературы и русского просветительства долгое время оставались вне поля зрения исследователей его творчества.

Изолированное рассмотрение отдельных сторон деятельности Тредиаковского приводило к тому, что и суждения о них лишались достаточной конкретно-исторической базы. Так, например, стиховая реформа Тредиаковского изучена весьма тщательно, однако ее идейные предпосылки (связь с его мировоззрением и, в частности, с его литературными взглядами) не выяснены. До сих пор непонятно, в силу каких обстоятельств отважился Тредиаковский на такой решительный разрыв с почти вековой литературной традицией, какими общеидеологическими принципами он руководствовался. А ведь реформа стиха была лишь частичным выражением общей литературной программы Тредиаковского, органически связанной с его мировоззрением в целом.

Изучение мировоззрения Тредиаковского даст ключ к объяснению всех сторон его деятельности, поможет понять его достижения и неудачи, победы и поражения в их историческом значении и обусловленности обстоятельствами эпохи, а не только его личную судьбу и характер.

В первую очередь должно быть изучено отношение Тредиаковского к просветительской мысли и литературе его времени, поскольку тогда магистральная линия развития общественной мысли была представлена именно идеологией Просвещения.

С этой точки зрения Тредиаковский еще не подвергался изучению. Поэтому настоящая работа может быть лишь предварительной разработкой обширного круга вопросов, охватываемых темой «Тредиаковский и просветительство».

1

Когда Тредиаковский писал свои первые драмы и стихотворения, русская литература находилась в состоянии сильного и непрерывного брожения. Многие традиции были оборваны насильственно, возникли новые жанры в прозе, обозначился резкий разрыв между светской литературой и церковной письменностью, хотя именно в это время наиболее гибкий жанр церковной литературы — проповедь — превратился в арену публицистических выступлений политических деятелей различных направлений.

К концу 1720-х годов уже в первых сатирах Кантемира русское просветительство сказало новое слово в истории русской литературы и русской общественной мысли.

Перед русской просветительской мыслью послепетровской эпохи встала задача создания единой общенациональной литературы, не существовавшей в России допетровской, где частносословные или церковно-догматические интересы препятствовали появлению литературного направления, для которого государственная точка зрения совмещалась бы с общенациональной, а основным практическим критерием и регулирующим философско-этическим принципом был бы абстрактно-рационалистический идеал просвещенного абсолютизма.

Своеобразие русского исторического процесса, проявившееся в петровской «революции сверху», обусловило и то, что в России Просвещение и классицизм совместились хронологически, а не следовали одно за другим, как это было во Франции, например, где классицизм появился еще в первой половине XVII века, а просветительство — в начале XVIII. Кантемир и Тредиаковский были одновременно и просветителями и создателями русского классицизма как особого литературного направления. Правильно понять и оценить значение деятельности Тредиаковского в литературно-идейном движении 1730—1750-х годов можно только в исторической перспективе. Тогда индивидуальный путь писателя естественно окажется связанным с общим ходом литературного развития.

Общественно-литературная деятельность Тредиаковского в России началась в 1730 году, по возвращении из Франции. Он сразу становится признанным поэтом и литератором. Начинается самая светлая пора его жизни и литературной деятельности. Она продолжается около 15 лет, до 1745 года, когда поэтический талант

Ломоносова отодвигает Тредиаковского в тень. С середины 1740-х годов наступает десятилетие ожесточенных общественно-литературных споров и борьбы за место в литературном движении — борьбы, заканчивающейся в середине 1750-х годов полным вытеснением Тредиаковского на периферию литературы. Со второй половины 1750-х годов до конца жизни Тредиаковский занят исключительно переводами; литературное оживление 1760-х годов его уже почти не касается, хотя он и использует предисловия ко всем томам «Древней истории» Роллена для своих общественно-философских и литературно-полемиических выступлений.

В свое время Л. Н. Майков начал было систематическое рассмотрение творческого пути Тредиаковского,¹ однако оно остановилось на самой начальной поре жизни писателя, да и выводы, к которым пришел Майков, представляются очень спорными. Он считал, что Тредиаковский, «вращаясь среди московских латынщиков... усвоивал от них не одну школьную науку, но и их воззрения на события текущей жизни»,² т. е. что влияние Федора Поликарпова, Леонтия Магницкого и других московских деятелей, сдержанно или даже враждебно относившихся к Петровским реформам, определило все дальнейшее идеологическое развитие Тредиаковского. Майков при этом приводит доводы и доказательства, взятые из позднейшей эпохи деятельности Тредиаковского. Сближая Тредиаковского с «московскими латынщиками», Майков пренебрежительно отзывается о «Елегии о смерти Петра Великого», созданной, по-видимому, под свежим впечатлением этого события: «Написанная грубыми стихами, она наполнена мифологическими намеками и вообще представляет собою не более как набор самых бессвязных общих мест в детски-нескладной форме».³ Между тем при более внимательном чтении в «Елегии» Тредиаковского очень легко улавливается связь мыслей, а «общие места» приобретают очень значительное и конкретное содержание.

Тредиаковский в своей «Елегии о смерти Петра Великого» систематически, а не бессвязно, излагает свой взгляд на Петра, свою оценку исторического значения петровских реформ. «Елегия» — это обдуманное выражение мыслей и чувств сознательного и безусловного защитника «новой России», созданной Петром, убежденного сторонника петровского дела, в особенности его забот о развитии просвещения в России. Сравнение «Елегии» со «Словами» Феофана Прокоповича о смерти Петра показывает полную

¹ Л. Н. Майков. Молодость Тредиаковского до его поездки за границу (1703—1726). «Журнал Министерства народного просвещения», 1897, № 7, отд. 2, стр. 1—22.

² Там же, стр. 19.

³ Там же, стр. 13.

общность мыслей и чувств ближайшего сподвижника Петра и безвестного студента Славяно-греко-латинской академии.

Феофан Прокопович произнес две проповеди,⁴ посвященные смерти Петра I. Первая из них коротка и представляет собой ряд риторических уподоблений Петра библейским иереям: «Се оный новой России, Сампсон, . . . се твой первый о России, Иафет . . . се Моисей новой. . . се твой Соломон и т. д.». При этом каждой сфере деятельности Петра отводится соответствующее уподобление.

В «Елегии» Тредиаковского нет уподоблений, взятых из Библии; все мифологические персонажи — античные (Нептун, Марс, Паллада; Петр сравнивается только с Марсом), но зато из другого «Слова» Прокоповича в «Елегию» попали олицетворенные Политика, Философия, Механика, Математика и моря, «громко» печалующиеся о Петре. Переключки и идейное сходство со вторым «Словом» несомненны.

Прокопович так говорит о законодательной деятельности Петра I: «... довольные регламенты и многие скрижали законные сочинил . . . И дабы всякое злодейство яко в зелии ехидна сокрытися не могло, чин фискальства определил, и одолжил <обязал> оное не токмо траты государственного интереса, но и персональные подданных своих обиды усматривати и объявляти, таковых наипаче бедных человек, котории суда и управы искати или ради худости своей не могут, или ради силы обидящих не смеют».⁵

У Тредиаковского это соответствует следующим строкам, в которых излагается плач Политики о Петре:

Кто ин тако первее скрасил Политику?
Кто мене в конец достигл толь весма велику?
Рассмотрил, ввел, пременял, укрепил он нравы,
Много о том глаголют изданные правы.

Интересно при этом отметить, что отношения Петра к религии и церкви Тредиаковский почти не касается. Для него Петр в первую очередь «своего государства новый сотворитель», покровитель наук, создатель флота, победитель врагов страны, а вовсе не насадитель православия.

Каковы бы ни были ранние несохранившиеся трагедии⁶ Тредиаковского, «Елегия», первое известное нам его общественно-политическое выступление, убеждает в том, что он вовсе не был учеником и последователем «московских латынщиков».

⁴ Феофан Прокопович. Слова и речи, ч. II. СПб., 1761, стр. 127—169.

⁵ Там же, «Слово на похвалу Петра Великого», стр. 151—152.

⁶ «... можно считать весьма вероятным предположение, что под именами Язона и Тита в драмах Тредиаковского прославляется опять-таки Петр». Л. Н. Майков. Молодость Тредиаковского до его поездки за границу (1703—1726), стр. 12; П. Морозов. История русского театра. СПб., 1889, стр. 340.

Тредиаковский начинал как просветитель, как сторонник просвещенного абсолютизма, в котором он видел в тогдашних исторических условиях единственное орудие общественного прогресса и поступательного развития национальной культуры.

2

Литературная деятельность Тредиаковского до 1730 года, до возвращения его в Россию, еще мало изучена. Очень интересную работу, касающуюся одного из возможных собеседников и учителей Тредиаковского во Франции, недавно опубликовал П. Н. Берков.⁷ При этом и он, и А. Мазон, поместивший полезную работу об аббате Жираре,⁸ придерживаются общепринятой точки зрения, согласно которой знакомство Тредиаковского с французской литературой относится ко времени его пребывания в Париже (1727—1730). Между тем известно, что французскому языку Тредиаковский выучился еще до того, как попал в Париж: «И в начале 1726 года получил я оказию выехать в Голландию, а там при полномочном министре, его сиятельстве графе Иване Ивановиче Головкине обретаясь, обучился французскому языку».⁹ В Париж Тредиаковский прибыл в самом конце 1727 года, следовательно, в Гааге он провел немногим меньше двух лет.

Голландский период жизни Тредиаковского совершенно не изучался его биографами, хотя именно в Голландии 1720-х годов он мог познакомиться гораздо лучше и свободнее, чем в самой Франции, с последним словом французской и общеевропейской просветительской мысли. Убежище французских эмигрантов-гугенотов, страна, где тогда существовала почти полная сравнительно с абсолютистскими государствами Европы свобода печати, Голландия предоставляла любознательному и трудолюбивому человеку богатейшую книжную и журнальную литературу, проникнутую просветительскими идеями, литературу, основоположником которой был Пьер Бейль. Все новинки французской литературы, в том числе и запрещенные в самой Франции, печатались в Голландии и расходились по всей Европе.

Трудно представить себе, чтобы Тредиаковский не читал голландских журналов (выходивших на французском языке), широко освещавших учено-литературную жизнь Англии, Франции и самой Голландии. Укажу на те из них, которые выходили во время пре-

⁷ P. N. Berkov. Des relations littéraires franco-russes entre 1720 et 1730: Trediakovskij et l'abbé. Girard. «Revue des études slaves», t. 35, f. 1—4, Paris, 1958, pp. 7—14.

⁸ «Revue des études slaves», t. 35, f. 1—4, Paris, 1958, pp. 15—56.

⁹ П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, стр. 7.

бывания Тредиаковского в Голландии: «Литературный журнал» («Journal littéraire»), Гаага, 1713—1736, 24 тт., редакторы: Саленгр, Сгравезанде и Ван Эффен; «Древняя и современная библиотека» («Bibliothèque ancienne et moderne»), Гаага, 1714—1727, 26 тт., редактор Ж. Леклерк; «Английская библиотека» («Bibliothèque anglaise»), Амстердам, 1717—1728, редактор Мишель Делярош.

Эмпирики и последователи Локка в философии, ньютонианцы и «бэконисты»¹⁰ в естествознании, франко-голландские журналисты были убежденными сторонниками конституционно-монархического парламентарного строя. Идеализируя английскую конституцию, они противопоставляли английский государственный строй и английскую общественную жизнь деспотизму абсолютистских монархий континентальной Европы. Английская эмпирическая философия, английская историография, английская общественная сатира (Свифт и журналы Стиля и Аддиссона) были для них образцовым порождением «свободных», как им представлялось, английских общественных условий. Редактор журнала «Английская библиотека» Делярош писал об Англии: «Это страна, где науки и искусства расцветают как нигде в мире; они вырастают в лоне свободы».¹¹ Голландские журналы имели корреспондентов в Англии, Италии, Германии; в их изложении или в их переводах вся читающая Европа ознакомилась с сочинениями английских философов (Коллинза, Шефтсбери, Мандевилля), с английскими сатирическими журналами, с «Путешествием Гулливера» и «Сказкой о бочке» Свифта, с «Опытом о человеке» Попа и др. Голландские журналы в значительной степени определили интерес к английским учреждениям у Монтескье и Вольтера, подготовили появление «Английских писем» Вольтера — самого яркого манифеста просветительской мысли 1730-х годов. Одного из наиболее популярных журналистов Голландии, виднейшего последователя и продолжателя дела П. Бейля, Жана Леклерка, так характеризует исследователь французской литературы в Голландии: «Смелый, защитник свободы мысли, непримиримый борец с догматизмом и религиозной нетерпимостью, он провел всю жизнь, сражаясь за права разума, и нельзя сомневаться, что его многочисленные произведения содействовали ускорению движения мысли восемнадцатого века».¹² В журнале Леклерка Тредиаковский наряду с подробными рецензиями на новые комментированные издания и переводы античных авторов мог ознакомиться и со всеми философскими спорами того

¹⁰ «В метафизике редакторы (названных выше журналов, — И. С.) были локкистами, в науке „бэконянцами“ и ньютонианцами, в политике — парламентаристами». См.: I. Texte. Jean-Jacques Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire. Paris, 1895, p. 34.

¹¹ Там же, стр. 35.

¹² Nouvelle biographie generale, t. 18, p. 797.

времени, с полемикой между Шефтсбери и Мандевилем, между эмпириками и лейбницианцами, прочесть рецензию на «Сказку о бочке» Свифта и «Персидские письма» Монтескье и т. д. Словом, во Францию Тредиаковский прибыл, уже хорошо зная современное состояние просветительской мысли.

Парижский период жизни Тредиаковского также совсем еще не изучен. Уже упоминавшаяся работа П. Н. Беркова намечает путь, по которому надлежит вести исследование. Мы пока не можем представить себе даже приблизительно университетскую науку, с которой познакомился Тредиаковский в Париже. В какой-то мере осветить это поможет анализ основной литературно-критической работы Роллена, вышедшей в свет как раз ко времени прибытия Тредиаковского в Париж.¹³ По свидетельству Миллера, Тредиаковский «хвалился, что в Парижском университете был слушателем знаменитого Роллена».¹⁴ Привязанность Тредиаковского к Роллену общеизвестна; переводу его «Древней» и «Римской» историй Тредиаковский посвятил 20 лет своей жизни. Чем же мог так привлечь молодого студента старейший профессор Парижского университета?

Вольтер в своих примечаниях к острополемической поэме «Храм вкуса» поместил очень сочувственный отзыв о Роллене: «Шарль Роллен, прежний ректор университета и профессор королевского коллежа, был первым человеком в университете, который написал хорошо на французском языке руководство для юношества и который рекомендовал изучать наш язык, столь необходимый, и однако так пренебрегаемый школами. Его книга „*Traité des études*“ дышит хорошим вкусом и здоровой литературой. Его только упрекают в том, что он впадает в скрупулезность. Он удаляется от хорошего вкуса, когда хочет шутить...».¹⁵

Действительно, свое руководство Роллен начинает с указаний по методике изучения языков, поставив на первое место изучение французского, а уже потом латинского и греческого языков. Об этом руководстве Тредиаковский позднее писал: «...но он возмнил наконец, что слава за искусство в тех обоих языках (греческом и латыни, — И. С.) приличествует паче или Геродоту, как греку, по сладости греческого, или ж Ливию, как римлянину, по красоте римского. Ему, как французу честнее будет, когда покажет умение свое в нежности французского: ибо в сем он обществе родился, вскормился, обучился, а потому для пользы сему точно и жить, и знать, и действовать долженствует... С сим намерением издал он природным себе языком книгу, состоящую в четырех томах,

¹³ Ch. Rollin. De la maniere d'enseigner et d'étudier des belles lettres pour rapport a l'esprit et au coeur. Paris, 1726—1728, № 1—4.

¹⁴ П. Пекарский. История Императорской Академии наук в Петербурге, т. II, стр. 9.

¹⁵ Voltaire. Oeuvres complètes, t. 6. Paris, 1859, p. 55.

а наименованную „Способ как учить и учиться“. Вот тогда народ по сей уже познал, что он не втуне профессор красноречия, видя целую сию книгу, предлагающую токмо о словесных науках и толь обстоятельно, и толь краснословно... Книга сия коль красна и сладка по речи; толь важна и полезна по вещам. Преисполнена словесных дельностей книга!». ¹⁶

Для начала XVIII века, когда языком науки была латынь, такое отношение к французскому языку было явлением очень прогрессивным. Можно предположить, что декларативное предисловие Тредиаковского к «Езде в остров любви», в котором совершенно изгоняются из русского литературного языка церковнославянизмы, в какой-то мере связано с идеями Роллена о равноправии французского и древних языков.

В личном облике Роллена, в его биографии так же многое могло привлекать Тредиаковского. В «Предуведомлении от трудившегося в переводе» к I тому «Римской истории» Роллена Тредиаковский писал о ее авторе: «Был он впрочем муж ниского состояния по рождению: сын ножевого художника парижанина; но имел свыше превысокие дарования умственные и нравственные. Толь сие праведно, что разум и добродетель, есть жребий всего человеческого рода, а не человеков только породных...». ¹⁷

Сын ножевщика, обязанный только самому себе и своим способностям, а не своему происхождению, независимый и честный ученый, Роллен формально не был связан с просветительским движением начала века. Но его общественная независимость, а главное его любовь к античным республикам, к республиканским добродетелям и строгим нравам превращали его лекции по античной истории в суровую критику французских нравов эпохи Регентства и Людовика XV. Даже его борьба с главенством латыни в школьном образовании приобретала политическое значение: «Свергнуть латынь — значило подготовить падение всего, что изучалось по латыни», ¹⁸ т. е. прежде всего религии. В своем руководстве «*Traité des études*», излагая правила ораторской речи, он, как и другие авторы риторик, приводил образцы речей древних, но при этом самый подбор цитат делал так, что читатель получал обширную антологию лучших образцов античного патриотизма и республиканизма.

Роллен начал публиковать свой обширный курс истории в 1730 году. Возможно, что первый том ее Тредиаковский прочел еще в Париже.

Дело в том, что появление первого тома «Древней истории» Роллена, как и всех последующих томов, сопровождалось необык-

¹⁶ Роллен. Римская история, т. I. СПб., 1761, стр. Г—Д.

¹⁷ Там же, стр. Б.

¹⁸ I.-F. B u n g e n e r. Voltaire et son temps, t. 1. Paris, 1851, p. 38.

новенным успехом и возбуждением интереса во всей Европе. Это объяснялось не новизной исторических воззрений автора или привлекаемых материалов. Исторической критике Роллен еще чужд; он с безусловным доверием пересказывает все легендарные предания Тита Ливия и не сомневается в существовании семи римских царей. Но его «История» проникнута тем же антично-республиканским духом, который, может быть, даже помимо воли автора, превращал ее в беспощадный политический памфлет на современность. Хотя и в наивной форме, Роллен уже в значительной степени предвосхитил характерную для просветителей морализаторскую, аллюзионно-публицистическую трактовку античности как школы добродетельных нравов и гражданского поведения.

Если у нас нет оснований думать, что Тредиаковский усвоил теоретический античный республиканизм Роллена, то во всяком случае несомненно, что морализм и стоицизм его университетского профессора представлялся Тредиаковскому идеалом поведения человека и ученого.

3

Роллен был далек от собственно литературной жизни Франции конца 1720-х годов. Какие же явления литературы обратили на себя внимание Тредиаковского, что пробудило в нем уже не философский, а чисто художественный интерес? Здесь нет необходимости заниматься гаданиями и предположениями. «Езда в остров любви» (1730) с приложением «Стихов на разные случаи» должна, как будто, дать ясный и недвусмысленный ответ на эти вопросы. Однако и в этом случае у исследователей творчества Тредиаковского историческая перспектива оказалась смещенной.

Действительно, перевод Тредиаковского на первый взгляд может показаться выражением архаических литературных вкусов. Ведь книга Поля Тальмана «Путешествие на остров любви» вышла в 1663—1664 годы и к приезду Тредиаковского в Париж должна была совершенно устареть. На самом же деле «Путешествие на остров любви» имело непрерывный успех у читателей. Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров любви» пишет, что он читал книгу Тальмана по изданию 1713 года: «Она выдана на французском языке в Париже в 1713 году и учинила великую своему творцу славу (которая всем охотникам и в мою бытность была памятна)» (Предисловие к «Езде в остров любви»). Как видно из каталога Парижской национальной библиотеки, «Путешествие на остров любви» переиздавалось очень часто¹⁹ и, по-видимому,

¹⁹ Оно входило в состав сборника «*Melange d'histoire et de litterature recueillis par M. de Vigneul-Marville*», выходившего в 1699—1700 годы в Руане, в 1699 году — в Париже, в 1700 году — в Роттердаме, а затем снова в Париже в 1700—1709, 1713, 1725, 1740 годы. Нам была доступна только

нисколько не устарело для французских читателей 1730 года. В тот год, когда Тредиаковский прибыл в Париж, интерес к галантным аллегорическим повестям с античным колоритом пробудился снова, благодаря появлению поэмы в прозе Шарля Монтескье «Книдский храм» (1725), в которой будущий автор «Персидских писем» и «Духа законов» выступил как изобразитель садов и нимф острова Книд. Мадам Дюдефан назвала поэму молодого Монтескье «апокалипсисом утонченной любви» («l'apocalypse de la galanterie»).²⁰ По своему содержанию, по лиризму и красочности описаний «Книдский храм» оценивался современниками как подражание самому поэтическому эпизоду из «Приключений Телемака» Фенелона — о пребывании Одиссея на острове нимфы Калипсо.²¹

В это время спор новых и древних — о преимуществе античной или современной литературы — уже закончился победой сторонников новых, но одно из ответов этого спора — дискуссия о равноправии стиха и прозы в поэзии — еще продолжалось.

Одним из самых убежденных сторонников «поэзии в прозе» был Фенелон; в своем «Письме в Академию» и в «Диалогах о красноречии» он отрицал рифму и указывал, что поэзия вполне возможна без стиховой формы, приводя в качестве примера Библию. Критическое обсуждение «Похождений Телемака» в первом полном издании 1717 года во французской критике закончилось единодушным признанием равноправия прозаической поэзии и устарелости поэзии стихотворной. Известный теоретик искусства, аббат Дюбос и Монтескье в «Персидских письмах» также отрицали необходимость стиховой поэзии. А Удар де Ламот переложил в прозу одну сцену из трагедии Расина «Митридат» и свою собственную трагедию «Эдип», чтобы практически доказать превосходство прозы над стихом. Однако и стихотворная поэзия имела сильных защитников. Одним из них был Вольтер, не признававший поэзии без стиха и называвший теорию Ламота «опасной и нелепой» (absurd); он утверждал, что Фенелон и Монтескье так низко оценивали стихи главным образом потому, что были неспособны их писать.²²

В основной литературной работе Тредиаковского, сделанной за границей, в его переводе книги Тальмана совместились разнообразные литературные впечатления 1727—1730 годов. Под влиянием споров о прозаической поэзии, в свете успеха «Книдского храма» Монтескье Тредиаковскому легко могло показаться вполне своевременным ознакомить русского читателя с популярной книгой

позднейшая перепечатка в многотомном издании «Voyages imaginaires», t. XXVI, Amsterdam, 1788.

²⁰ Mich eau. Biographie universelle, t. XXIX. Paris, p. 81.

²¹ V. Clayton. The prose poem in French literature of the eighteenth century. New York, 1936, pp. 23—25.

²² Там же, стр. 155.

Тальмана, написанной поэтической кадансированной прозой вперемежку со стихами. Спор о преимуществах стихотворной и прозаической поэзии во французской литературе еще не был решен, и Тредиаковский, не примыкая окончательно к какой-либо из спорящих сторон, переводит произведение, написанное и стихами и прозой, т. е. как бы проверяет читательским восприятием оба решения этого спора. Он писал в предисловии к «Езде в остров любви»: «Будучи в Париже, я оную прочел с великим удовольствием моего сердца, усладившись весьма как разумным ее вымыслом, стилем коротким, так и виршами очень сладкими и приятными, а наипаче мудрым нравоучением, которое она в себе почти во всякой строке замкнула так, что я в то же самое время горячее возымел желание перевести оную на наш язык». Как видно из этих слов Тредиаковского, его равно восхищали у Тальмана стихи и проза, последняя, по-видимому, своей лаконичностью ижатостью («короткий» стиль).

Не высказываясь в пользу стиха или прозы, Тредиаковский в переводе Тальмана выступает решительным сторонником рифмы в стихе: «Переводя вирши французские на наши, великую я трудность имел: ибо надлежало не потерять весьма разума (смысла, — И. С.) французского, сладости и силы, а всегда иметь русскую рифму. Может статься, что вы не будете довольны разумом моих виршей, того ради прошу хотя оных рифмы за благо принять; ибо они весьма во всем прямые русские...». При выборе стилистической окраски своего перевода Тредиаковский руководствовался содержанием произведения, тем, что «сия книга мирская» и посвящена изображению «сладкая любви». Поэтому он считал необходимым отказаться в «Езде в остров любви» от «глубокословныя... славенщины» и переводить «почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим». Возможно, что при этом Тредиаковскому вспомнилась борьба Роллена за равенство французского с латынью, поскольку отношения церковно-славянского и русского языков в литературе первой четверти XVIII века отчасти могли быть сопоставлены с отношениями латыни и французского языка во французском университетском обиходе.

Но самым главным для Тредиаковского при выборе языка и стиля его перевода была жанровая природа тальмановского «Путешествия», его галантно-любовный, перефразистический язык. Эту отточенность оборотов он и стремился передать средствами русского языка, избегая славянизмов лексических и синтаксических. Если сравнить «Елегию о смерти Петра Великого» с «Ездой в остров любви», то разница окажется очень заметной. «Елегия» полна славянизмов: не имам горести; мутится очима; ушима; градех; без тебе есмь; како возмогу стерпети, тебе несущу, в слезах чтоб не кипети (дательный самостоятельный, — И. С.); вем;

стужна; бо; достигл; туча презелна; треба. В «Езде в остров любви» славянизмов нет, и это, по-видимому, для самого Тредиаковского означало решительный разрыв с литературным языком «московских латынщиков». Достаточно вспомнить те извинения, которыми сопровождает Федор Поликарпов введение им русских слов в перевод «Географии» Варения: «Моя должность объявити яко переводих сию (книгу, — И. С.) не на самый высокий славянский диалект против автора сочинения и хранения правил грамматических, но множае гражданского посредственного употребляя наречия, охраняя сенс и речи оригинала иноязычного».²³

Перевод Тальмана был дерзким вызовом всей официальной литературной традиции и по «теме», и по языку.

4

Своим переводом «Езды в остров любви» Тредиаковский предложил обширную программу литературных реформ, часть из которых была осуществлена им, а часть была выполнена позднее уже другими деятелями русской литературы и просвещения. Но Тредиаковский в это время вовсе не был кабинетным ученым-эрудитом, каким его изображают некоторые исследователи. Сразу же по возвращении в Россию он включается в общественную жизнь и делает свое творчество рупором определенных политических идей. Как и до отъезда за границу, Тредиаковский выступает убежденным сторонником просвещенного абсолютизма, воплощением которого для него являются личность и деятельность Петра I. Как справедливо полагает Пекарский, к 1731 году относится один неопубликованный перевод²⁴ Тредиаковского, по которому можно представить себе его политические идеалы и практическую общественную программу. Перевод, по-видимому, предназначался для «Примечаний» к «С.-Петербургским ведомостям», так как иначе не было бы необходимости в заголовке: «Из книги называемыя Спектатор (Смотритель)» перед названием самой статьи: «Сравнение между Лудовиком XIV и Петром Алексеевичем, российским императором, в рассуждении славы». Статья, переведенная Тредиаковским с французского перевода, изданного в Голландии, с исключительной силой и резкостью сравнивает между собой деятельность Людовика XIV и Петра I, отдавая полное предпочтение последнему.

Эта статья из «Спектатора», по-видимому, была очень популярна в России, среди сторонников Петра и просвещенного абсолютизма. О ней сочувственно отзывался Феофан Прокопович в своем «Слове

²³ П. Пекарский. Наука и литература при Петре Великом, т. II. СПб., 1866, стр. 433.

²⁴ П. Пекарский. История Императорской Академии наук в Петербурге, т. II, стр. 26.

на похвалу... Петра Великого»: «...никто от политических французских писателей Петра Российского не мало выше кладет от своего государя славного одного великого Людовика».²⁵ Отзыв Феофана был наверняка известен Тредиаковскому; более того, можно предположить, что и самый перевод Тредиаковский сделал не без совета Феофана, к которому по возвращении в Россию он был близок.

Потерпев неудачу с опубликованием своего перевода «Сравнения между Людовиком XIV и Петром Алексеевичем», Тредиаковский все же пытается дорогую ему идею о превосходстве Петра I над Людовиком XIV протащить в печать. Например, уже много позднее, в «Сочинениях и переводах» 1752 года, он в своем переводе «Науки о стихотворстве и поэзии» («Искусства поэзии») Буало заменяет имя Людовика XIV Петром Великим и так поясняет это в примечании: «В подлиннике стоит Лудовик. Я переменил на Петра Великого не для того, что он наш был самодержец, как то и Лудовик XIV государь же автору, французского народа человеку: но для сего, что наш Петр Великий был герой всем больше Лудовика XIV по мнению и чужестранных народов».²⁶

Убеждённым сторонником петровских реформ и просвещенного абсолютизма Тредиаковский выступает и в своих одах, посвященных современным событиям политической жизни, внутренней и внешней политике. Аристократическая реакция, утвердившаяся было при Петре II у власти, равно как и попытка установления олигархического режима, так называемая «затейка» верховников, вызывают самое резкое осуждение Тредиаковского. Считая в современных условиях только просвещенный абсолютизм реальной силой, способною вести Россию по пути общественного и культурного прогресса, Тредиаковский выступает безусловным апологетом самодержавия в своих одах 1730—1740-х годов и в крупнейшем переводе этого времени — «Аргениде».

Петровские реформы своим практически-жизненным содержанием внесли много нового в русскую общественную мысль. Уже к середине 1710-х годов идея перелома в истории России, произве-

²⁵ Феофан Прокопович. Слова и речи, т. II, стр. 162—163.

²⁶ Сочинения Тредьяковского, том первый, изд. А. Смирдина, СПб., 1849, стр. 63.

У Буало это следующие строки:

Que ses faits surprenants soient digne d'être ouïs,
Qu'il soi tel que Cesar, Alexandre, ou Louis...

В переводе Тредиаковского они имеют такой вид:

Достоин, дивен нам, и вкратце б был толикий,
Что Цесарь, Александр, или наш Петр Великий.

денного Петром, идея двух России, «старой» и «новой», всецело завладевает сознанием современников и в последующие десятилетия становится отправным пунктом всех идеологических построений. Так, Феофан Прокопович в одной из своих проповедей 1720 года говорил: «Долг великий лежит на всех, как духовных пастырях, так и мирских начальниках и прочих... беседами, разговорами, проповедями, пением и всякими сказания образом толковати и изъясняти в слух народа, что мы прежде были и что уже ныне, какова была Россия и какова есть уже».²⁷ И это характерно не только для сторонников и защитников реформ, но и для их противников, даже наиболее ожесточенных. Идеологи раскола, царевич Алексей и Петр II с их окружением, верховники — при значительных отличиях их практических планов и политических требований — также исходным пунктом своих идеологических построений вольно или невольно делали сопоставление двух России: допетровской и послепетровской. Таким образом, идея историзма вторгалась в русскую общественную мысль и литературу из самой действительности как результат тяжелого жизненно-исторического опыта. Разумеется, выводы из этого исходного положения делались совершенно противоположные. Старообрядческая и аристократическая «партии» тянули назад, усматривая в реформах только измену национально-религиозным традициям, а идеологи петровских реформ, начиная с Феофана Прокоповича, усматривали в «новой» России, созданной Петром, только начало и залог исторически прогрессивного развития страны по пути просвещения. Именно вера в развитие просвещения как в основу исторического прогресса русской нации составляла принципиальное отличие первых русских просветителей (Феофана Прокоповича, Кантемира, Тредиаковского) от их противников при указанном единстве исходного пункта.

Первые русские просветители усвоили характернейшую черту официальной идеологии петровского времени. Петр, в отличие от своих предшественников, все частные сословные интересы стремился подчинить интересам дворянского государства и нации в целом. Конечно, в действительности его реформы служили в первую очередь интересам господствующих классов, но в сознании самого Петра и его сподвижников эти интересы полностью отождествлялись с интересами государства, и государство и нация (народ), в свою очередь, представлялись взаимно совпадающими понятиями. Служение государству означало служение нации. Такова была своеобразная идеологическая программа русского просвещенного абсолютизма, глубоко и органично усвоенная русскими просветителями 1720—1750-х годов. В их представлении проникнутый пе-

²⁷ Феофан Прокопович. Слова и речи, т. II, стр. 73.

редовыми идеями времени абсолютизм в конкретно-исторических условиях был единственным орудием просвещения и исторического прогресса. Поэтому его безусловная поддержка являлась основной политической идеей русского просветительства 1720—1750-х годов, как была она основной политической идеей французских просветителей в рамках того же хронологического периода. При этом поддержка абсолютизма у русских просветителей облекалась в конкретную форму борьбы за продолжение «дел Петровых». Петровские реформы были практическим эталоном и политической программой для всей просветительской литературы 1720—1750-х годов. Таким образом, «историзм» русских просветителей этого времени был по-просветительски утопичен, поскольку осуществление их программы выходило далеко за пределы возможностей и реальных интересов российского самодержавия.

Оценку петровской эпохи как начала нового периода в истории российского государства Тредиаковский применил и к развитию русской литературы. В этом состоял основной пафос его деятельности в 1730-е годы.

Развитие русского литературного языка он связывал именно с петровской эпохой: «Посмотрите от Петра Великого лет, обратившись на многие прошедшие годы; то, рассудив, увидите ясно, что совершеннейший стал в Петровы лета язык, нежели в прежде его бывших. А от Петровых лет толь отчасу во многих писателях приятнейший оной становится, что нимало не сомневаюсь, чтоб великия Анны в лета, к совершенной не пришел своей высоте и красоте».²⁸ Из убеждения в том, что для новой России (послепетровской) нужна и новая литература, вышли все обширные планы переустройства русской литературы. В сжатом виде они были высказаны Тредиаковским в его «Речи о чистоте российского языка», прочитанной в «Российском собрании» 14 марта 1735 года, и дополнены в «Эпистоле от российския поэзии к Аполлину».

Каковы были в действительности планы «Российского собрания», судить трудно, но Тредиаковский, во всяком случае, в этой речи выступил с идеей своего рода «петровской реформы» всей современной ему литературы.

Реформа эта включала в себя создание грамматики «доброй и исправной, согласной во всем мудрых употреблению и основанной на оном», словаря «полного и довольного», Реторики и «стихотворной науки». При этом Тредиаковский очень хорошо понимал огромность и трудность исполнения своих планов: «сия трудность есть превелика, однако она не из таковых, что не возмогла быть преодоленна. Всегдашнее тшание, непрестанное размышление, не-

²⁸ В. К. Тредиаковский. Стихотворения. (Библиотека поэта, большая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1935, стр. 331.

усыпный труд и на прежидком море строит города, и на превысокие горы взводит реки, и в преглубоких безднах находит перла. Знаю, что трудно будет начало; но своя есть честь и начатию. Ведаю, что скучно будет продолжение; но и с тем громкая сопряжена слава. А из полезного окончания коликая похвала, коликие благодарения и, коликие прославления произойти могут, чувствует, кто сего уразуметь не может? Одно б разве сие токмо отвратить от предприятия нас могло, что не надеемся ин быть щасливы в окончании и что другим сей преславный жребий готовится, а не нам... На что нам завидовать щастью и славе других в окончании, когда довольно оного и оныя с нас в начатии и продолжении... не начинающая же ничего, ничего и не будет».²⁹

Общую задачу — возможное дополнение языка, достижение его чистоты, красоты и совершенства — Тредиаковский расчленил на ряд параллельных частных задач, каждая из которых была осуществлена много позже и уже не им и не «Российским собранием», просуществовавшим всего несколько лет, а Ломоносовым: Грамматика (1755), Риторика (1748). Что же касается словаря («Лексикона»), то он был выпущен Российской академией только в 1796 году.

Практически наиболее подготовлена оказалась реформа стиха или то, что Тредиаковский называл «стихотворной наукой».

Тредиаковский решился на реформу стиха потому, что в его представлении создание новой, единой общенациональной литературы требовало и соответствующей формы, связанной с коренными традициями национальной культуры. Так же, как и в предисловии к «Езде в остров любви», он демонстративно отказывался от «славянского языка» потому, что он «у нас есть язык церковный», так и силлабическая система стиха, привнесенная в русскую поэзию украинскими церковниками, была для него поэзией духовенства и церковно-школьного обихода. А ведь хорошо известно, с какой непримиримостью Тредиаковский относился к церковникам в начале 1730-х годов, т. е. в период разработки и осуществления своих реформаторских планов. По поводу читательских откликов на «Езду в остров любви» он писал: «... другие, которые обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить, говорят, что я первый развратитель русской молодежи, тем более, что до меня она совершенно не знала прелести и сладкой тирании, которую причиняет любовь. Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мной эти ханжи? Но оставим этим Тартюфам их суеверное бешенство; они не принадлежат к числу тех, кто может мне вредить. Ведь это сволочь, которую в просторечии называют попами».³⁰

²⁹ Там же, стр. 330.

³⁰ Там же, стр. 477.

Тот разрыв с допетровской Русью, который совершил Петр в общегосударственном масштабе, Тредиаковский хотел осуществить в литературе. Начал он со стихосложения и системы поэтических жанров, поскольку новая система стиха могла реализоваться только в конкретных жанровых формах, в свою очередь нуждавшихся в системе стиха как в опоре, основанной на истории и на разуме.

Одна из своеобразных черт русского просветительства 1730-х годов — это его неразрывная связь с классицизмом, эстетика и практика которого в наибольшей мере могли быть пригодны для создания литературы общенациональной, освещающей все проблемы жизни нации с точки зрения ее общих, а не частных интересов. Именно поэтому Тредиаковскому, переводивший за границей аллегорически-галантный роман Тальмана, по приезде в Россию взялся за разработку жанра оды, того жанра, который оставался основным видом поэтической продукции русских поэтов в течение всего XVIII столетия. Тредиаковский не сразу нашел нужную ему одическую форму. Первоначально самой подходящей казалась ему написанная Феофаном Прокоповичем в подражание Горацию латинская ода Петру II «К предшествию восприятия короны е. и. величества», в которой говорилось: «На этом престоле ты явишь собою пример справедливого и мудрого судьи, карающего преступления, коварство, хитрость и обман; ты твердою рукою поразишь вредоносную клевету и ненасытное любостяжание и унизишь горделивые замыслы... Итак, взойди на трон, возьми сильной рукою наследственный скипетр и будь вторым Петром Великим».³¹ В обращенной к Анне Иоанновне «Песне» 1733 года Тредиаковский воспроизвел ход и последовательность мыслей оды Прокоповича; так же как Феофан, он говорит о том благополучии, которое должно наступить в России под управлением Анны:

Пойдет век долговечен
И многочеловечен;
Поживем в благостыне,
Мы все везде отныне.
Счастьем богом данны
Самодержицы Анны.

.....
Всяка злость истребится,
Злый нрав искоренится;
Добро само всем любо,
Худо явится грубо.

.....
К правде склонен всяк будет,
Лжи и след весь забудет, ...

³¹ П. Морозов. Феофан Прокопович, как писатель. СПб., 1880, стр. 333.

Но заканчивается «Песнь» Тредиаковского более конкретным, программным по своему значению, тезисом:

Продветут здесь науки,
И ремесленны руки;
Мудрость больше, неж в Афинах,
Дело чище, неж в Хибах. . .

— в то время как Прокопович говорил о необходимости продолжать дело Петра I в самой общей форме.

В 1734 году Тредиаковский с большой похвалой отзывался об оде Феофана Петру II в своем «Рассуждении об оде вообще»: «Я когда приехал из Франции в С.-Петербург и через приятство одного мне друга лишь впервые стал читать сообщенную мне ту оду и почувствовал энтузиазм ее превысокий, то в толь великий энтузиазм удивления и сам пришел, что не мог, свидетельствуясь совестью моею, удержаться, чтоб с дважды или с трижды не вскричать: боже мой, как эта ода хорошо и мастерски сделана! . .».³²

«Энтузиазм», вызванный поэтическим совершенством и, по-видимому, идейной близостью позиций Феофана, не помешал Тредиаковскому избрать иную форму оды. Образцом для него стал Буало, оде которого на взятие Намюра Тредиаковский подражал, как он сам указывает, в «Оде на взятие Гданска».

Приложенное к этой оде «Рассуждение об оде вообще» содержало первое в нашей литературе обоснование этого жанра с точки зрения теории классицизма с его строгой иерархией жанров и стилистических средств. «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» уже описал всю систему стихотворных жанров (с образцами работы самого Тредиаковского) с точной отсылкой к древним и французским авторитетам в данном жанре: рондо — Вуатюр, эпистола, сатира и ода — Буало, элегия — де ла Сюз.

Таким образом, новая русская литература получила новое стихосложение, полную систему жанров, образцы их на русском языке и все это было воодушевлено просветительской идеей непрерывного общенационального культурного прогресса, орудием которого, как предполагалось, будет просвещенный монарх, покровитель наук и искусств, а средством — просвещение: науки и искусства.

Так русское просветительство в лице молодого Тредиаковского сделало первый шаг по пути создания литературы общенациональной.

³² П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. II, стр. 46.

В. Я. ЛАКШИН

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. К. ТРЕДИАКОВСКОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЯ

(Перевод книги о Фр. Бэконе)

Вряд ли найдется кто-либо, кто будет отрицать ныне бесспорные заслуги Тредиаковского в области филологии и русского стихосложения. Но другие стороны его литературной деятельности — и прежде всего его роль как передового мыслителя середины XVIII века, просветителя-гражданина — до сих пор находятся в тени.

Просветительская деятельность Тредиаковского связана в основном с его переводами.

Для середины XVIII столетия особенно справедливо известное словцо Пушкина: «Переводчики — почтовые лошади просвещения». Изучение переводной литературы XVIII века представляет заманчивую и благодарную задачу для исследователя. Ведь всякую книгу можно рассматривать с двух сторон: с точки зрения ее «абсолютной» ценности как вклада в национальную и мировую культуру, нередко сохраняющего свое значение для будущих поколений, и с точки зрения ее «относительной» исторической роли — влияния на современников. Переводная литература XVIII века не имеет живого значения теперь. Но как факт исторический, как могучее в свое время средство воспитания и просвещения, она бесспорно заслуживает внимания. Без учета переводной литературы нельзя очертить круг идей, культурных представлений русских людей, отделенных от нас двумя столетиями.

Переводы Тредиаковского имели творческий, новаторский характер. Тредиаковский был обычно самостоятелен и в выборе материала для перевода, и в способе его обработки. Печать личности автора, направленности его мировоззрения лежит на многих переводных трудах Тредиаковского.

Настоящая статья посвящена забытому переводческому труду Тредиаковского, представляющему собой яркую страницу в литературе раннего русского просветительства.

В 1760 году из типографии Московского университета вышла книга о Бэконе в двух частях. Первую часть составляло «Житие канцлера Франциска Бакона», вторую — «Сокращение философии канцлера Франциска Бакона». На титульном листе было отмечено: «перевел с французского на российский Василий Тредиаковский, профессор и член Санктпетербургския Императорския Академии Наук».

Эта книга выпала из поля зрения большинства исследователей литературы XVIII века. О ней не упоминается в академической «Истории русской литературы» (т. III, М.—Л., 1941), где специальный раздел посвящен переводам Тредиаковского. В биографии Тредиаковского, принадлежащей П. П. Пекарскому, лишь мельком сказано о существовании перевода «Жития канцлера Франциска Бакона», причем совершенно не упоминается вторая часть книги — «Сокращение философии».¹ Между тем внимательный анализ этого труда и его истоков восстанавливает пробелы в биографии и литературной деятельности Тредиаковского, а также дает новые штрихи для общей характеристики русского и европейского Просвещения середины XVIII века.

В книге, переведенной Тредиаковским, помимо пропаганды передовой английской материалистической философии, содержатся страницы жгучего социального памфлета, нелицеприятного «урока царям», приобретающего порой оттенок угрозы. Книга пропитана острой актуальностью, общественно-политическими проблемами, волновавшими передовые умы в Европе XVIII столетия. Но заслужив ли Тредиаковского является такое звучание книги? Ведь формально он числится лишь переводчиком.

Автором книги, переведенной Тредиаковским, был довольно известный в свое время литератор и общественный деятель Александр Делейр (Alex. Deleure). В книге Делейра изложение философии Бэкона велось от лица самого философа, благодаря чему фрагменты из бэконовских сочинений (никак не выделенные в тексте) причудливо переплетались с толкованиями французского автора. «Житие Бэкона» в книге Тредиаковского представляло собой перевод с перевода, так как Делейр заимствовал биографию философа у английского автора — Д. Моллета (D. Mallet).

¹ В библиографических трудах (А. Смирдин, В. Сопиков и др.) даются неполные, а часто неверные сведения о переводе Тредиаковского. Единственным исключением является описание книги, данное в работе И. В. Шаля «К вопросу о языковых средствах переводчиков XVIII столетия (Тредиаковский как переводчик)» (Труды Кубанского педагогического института, т. 2—3, Краснодар, 1928), где обследована вторая часть труда — «Сокращение философии» — и при этом исключительно с лингвистической точки зрения.

При сличении русского, французского и английского текстов книги ясно видны существенные напластования, возникшие в результате двукратного «творческого перевода».

Таким образом, книга о Ф. Бэконе в том виде, в каком она вышла в Москве двести лет назад, фактически является плодом коллективного труда литераторов трех стран: Англии, Франции и России.

2

В мире книг происходит то же самое, что с огнем наших очагов: сосед приходит к вам за огнем, переносит его к себе, дает другому соседу и в конце концов он принадлежит всем.

Вольтер.

В 1740 году в Лондоне вышла книга «The Life of Francis Bacon, Lord Chancellor of England» («Жизнь Френсиса Бэкона, лорда-канцлера Англии»), написанная молодым поэтом и ученым Давидом Моллетом — другом и личным секретарем Болингброка, активным участником якобитской оппозиции царствующему дому.²

Биография Бэкона, написанная Моллетом, была ученым трудом, в котором политические пристрастия автора, тенденциозность книги отчетливо проступают сквозь внешне объективную манеру письма.

Моллет воздает должное философским заслугам Бэкона, который отважно выступил против общепризнанных представлений ученых, «состарившихся во мнениях», перенес внимание с рассмотрения закоснелых понятий и идей на изучение самих вещей и их свойств, возведя в метод индукцию, основанную на опыте, эксперименте. По мнению Моллета, этот новый метод, повертывающий умозрительную философию к практике, способствовал успеху Бэкона и в решении социально-политических вопросов: государственная деятельность канцлера основывалась на глубоком и всестороннем анализе положения нации и ее интересов.

Однако Моллет очень скупо пишет о деятельности Бэкона-философа и лишь в конце кратко характеризует его теоретические труды. Это вызвало даже в свое время изящную насмешку одного из критиков — Варбуртона (Warburton), заметившего, что

² О жизни и деятельности Д. Моллета см.: The Dictionary of National Biography, vol. XII; Samuel Johnson. The Lives of the English Poets, vol. III, Oxford, 1905; J. D'Israeli. Bolingbroke and Mallet. In: Quarrel's of Authors, London, 1814. Ср. также «Biographie universelle», vol. XXVI, p. 385—387. Прим. Ред.

«в своей прекрасно написанной книге о Бэконе Моллет забыл одну только вещь, — что Бэкон был философом».³ В самом деле, в книге дана такая широкая историческая панорама, так подробно и тщательно выполнены портреты королей, их любимцев, верховных судей, послов и пэров эпохи двух царствований, что для философских материй почти не осталось места.

Нанизывание биографий и длинные отступления не были результатом литературной неопытности или слабости биографа. Композиция книги подчинена схеме, характерной для просветительского рационализма. С одной стороны, король — тиран, законопреступник, разоритель народа; с другой, король — слуга нации, просвещенный властитель, приводящий народ к благоденствию. Лъстецы — фавориты, толпящиеся у трона; и как их антипод — мудрый (но часто непризнанный) советник царей, патриот-просветитель. Эта известная просветительская схема воплощена в книге Моллета с исключительной последовательностью и определенностью.

Королева Елизавета, в разрез с ее реальной исторической ролью (напомним, что К. Маркс отмечал «гнусный характер ее правления» и «бедствия народа в ее царствование»),⁴ изображена Моллетом как просвещенная и гуманная правительница, пользующаяся доверием нации, покровительствующая наукам и искусству.

Неумеренная идеализация сменяется таким же решительным однотонным обличением, как только Моллет принимается за описание царствования Якова, который в его изображении во всем представляет противоположность Елизавете. Это злой, неумный тиран, притесняющий народ, лишаящий общество права выражать свою волю, ведущий нацию к разорению и краху. Недалекий и малообразованный, он опьянен неограниченной властью над людьми, возможностью безнаказанного произвола, который окружающие лъстецы всегда раболепно оправдают и восхвалят. Яков подбирает себе фаворитов, стараясь удалить от дел правления даровитых, умных и честных людей, и это отражается на состоянии науки, искусства и ремесел, пришедших в упадок в его мрачное царствование.

В характеристике Якова, данной Моллетом, как и в его изображении Елизаветы, тщетно было бы искать исторической верности и точности; зато в Якове по многим чертам угадывался царствовавший современник Моллета — Георг II. Но еще существеннее этих прямых параллелей было то, что самый образ умственно ничтожного и жестокого деспота оказался верен исто-

³ См.: *Grand dictionnaire universel*, vol. 10, p. 1021.

⁴ Архив Маркса и Энгельса, VII, М., 1940, стр. 379.

рической правде в широком смысле слова. Именно поэтому книга Моллета, описывавшая события столетней давности, получила в Англии 1740 года значение боевого политического памфлета, а затем сыграла значительную роль в пропагандистской деятельности французских и русских просветителей XVIII века. Образы Елизаветы, Якова, их фаворитов отличаются не столько документальной достоверностью, сколько характерностью. «Жизнь Бэкона» напоминает развернутый план просветительской драмы с четко определенными ролями: просвещенного государя (Елизавета), властителя-деспота (Яков) и философа-просветителя (Бэкон).

В своей книге Моллет не только стремится извлечь из учения Бэкона все созвучное своим взглядам, но порой приписывает философу и собственные воззрения. Так, известно, что материалист Бэкон был не всегда последователен, когда дело касалось религии. Моллет в ряде случаев исправляет непоследовательность Бэкона. В его книге отчетливо слышны нотки антикатолического протеста, столь характерные для Болингброка и его единомышленников — противников папства.

Образ Бэкона был несомненно «приближен» Моллетом к требованиям его времени. Многие в книге было резко субъективным, спорным, но в целом она имела серьезное значение в деле пропаганды материалистической философии и оппозиционных политических идей.

Просветительский ореол, созданный вокруг личности и трудов Бэкона, заинтересовал энциклопедистов. Учение Бэкона было близко французским просветителям прежде всего своими материалистическими выводами. Доверие к результатам опыта, уничтожение предрассудков, вызываемых слепой верой в религиозные догматы, разрушение метафизических схем схоластов, наконец, возможность выработки научного метода исследования — вот основы, по которым Бэкон был провозглашен отцом новой философии.

Вольтер первым начал пропаганду учения Бэкона, назвав его труды «подмостками, на которых построена новая философия». Мнение Вольтера поддержали Даламбер и Дидро. Классификация наук, предложенная Бэконом, была положена в основу издания «Энциклопедии», а во вступительной статье к первому тому Бэкон был назван «самым великим, самым универсальным и самым красноречивым из философов».⁵ Существенную роль в утверждении авторитета Бэкона-мыслителя во Франции сыграл Дидро. Он сам признавал это с гордостью: «Я полагаю, что научил моих

⁵ Цит. по кн.: G.-L. Foncgrive. François Bacon. Paris, 1893, p. 322.

сограждан уважать и читать Бэкона; в последние пять или шесть лет произведения этого глубокомысленного писателя перелистывались гораздо чаще, чем прежде».⁶

Книга Моллета была замечена во Франции, переведена и издана. В 1755 году в Амстердаме, где печатались французские бесцензурные издания, вышла в свет книга «*La vie du chancelier François Bacon*» («Жизнь канцлера Френсиса Бэкона»), имевшая источником биографию Моллета, но далекая от буквального перевода. В дальнейшем эта биография была переиздана, войдя в состав двухтомного сочинения «*Analyse de la philosophie du chancelier Bacon avec sa vie*» («Анализ философии канцлера Бэкона с приложением его жизнеописания». Leyde, 1756).

Анонимным переводчиком «Жизни Бэкона» как и составителем «Анализа философии» был, очевидно, молодой французский энтузиаст-просветитель Александр Делейр, участник «Энциклопедии», друг Руссо и Дидро.⁷ Переводчик книги Моллета так обработал биографию Бэкона, что политические места книги стали еще более злободневными и применимыми к французским условиям. Фразу за фразой переводчик изменял, дополнял и переделывал текст подлинника, чтобы ярче выявить свою тенденцию.

Вот некоторые примеры.

Моллет пишет, что реформы Елизаветы «быстро восстановили ценность денег, а вместе с этим доверие и расположение народа» («*The Life*», р. 17). Французский переводчик ставит здесь запятую вместо точки и продолжает мысль: «...доверие и расположение народа, верный источник богатства, или, лучше сказать, единственное истинное богатство государства» («*La vie*», р. 24).

Автора перевода тревожит бедственное состояние финансов Франции, запутанность и тяжесть налогов, и он, где это возможно, возвращается к похвалам Елизавете английской за укрепление денежной системы без помощи новых поборов. «В начале царствования <Елизаветы> нация, — пишет Моллет, — имела долг в четыре миллиона — сумма в те времена невероятная — и только ее экономия («без налогов и податей», — вставляет переводчик) помогла этот долг выплатить» («*The Life*», р. 17; «*La vie*», р. 25).

⁶ *Ouvres complètes de Diderot* (par J. Assézat), vol. XIV. Paris, 1876, p. 494.

⁷ Французские библиографы (А. А. Barbier, J. Brunet, J. Quérard) называют обычно в качестве переводчика книги Моллета некоего N. N. Pouillot. Однако некоторые данные заставляют предположить, что это псевдоним П. Делейра. О Делейре см.: J.-J. Rousseau, *ses amis et ses ennemis, correspondance*, publié par G. Strecheisenmoul, vol. I, Paris, 1865; *Correspondance generale de J.-J. Rousseau*, vol. II. Paris, 1924; Газета «*Constitutionnel*», 1863, 2 et 9 mars.

Переводчик усиливает те места, где говорится о паразитизме и бесполезности фаворитов. Про одного из фаворитов Якова Моллет пишет, что он одаривал своих родственников привилегиями, «которые тяжелым бременем ложились на народ» («The Life», р. 73), «платящий всегда за безумства своих властителей», — добавляет переводчик («La vie», р. 106).

При помощи исправлений и добавлений переводчик стремится все время подвести государей под те категории нравственного и общественного закона, естественного права, которые не отличают их от простых смертных. В первом же абзаце книги рассказывается об «обычае древних египтян» подвергать беспристрастной оценке жизнь и деяния умершего человека. «Ни достоинства, ни способности, ни выдающиеся заслуги не могли защитить от этого беспристрастного суда», — пишет Моллет («The Life», р. 1). «Даже цари были ему подсудны», — добавляет переводчик, хотя в подлиннике о царях и речи не было («La vie», р. 2).

Как уже упоминалось, во втором французском издании биография Бэкона была объединена в одной книге с «Анализом» его философии. Этот «Анализ» представлял собой свободное изложение философских, социальных и этических взглядов Бэкона, трансформированных вольнодумцем — составителем книги в том же духе и теми же приемами, о каких только что шла речь в связи с переводом книги Моллета. Ф. Бэкон выступил в «Анализе» решительным врагом церкви, противником самовластия, проповедником всесияния разума и естественного закона.

На книге Делейра о Бэконе воспиталось не одно поколение французского общества. Один из недоброжелателей энциклопедистов вынужден был позднее признать: «Большинство образованных людей должны согласиться с тем, что они знают труды канцлера Бэкона только по „Анализу“ его философии, опубликованному в 1755 г., немного спустя после появления большого словаря Энциклопедии. Это сочинение имело большой успех, что и не удивительно; оно прекрасно написано и целиком восходит к настроению, господствовавшему тогда среди литераторов».⁸

Просветительская книга о Бэконе появилась в русском переводе всего лишь через три-четыре года после ее выхода во Франции.

«Жизнь Бэкона» и первый том «Анализа философии» послужили основой переводного труда В. К. Тредиаковского.

⁸ I. A. de L u c. Précis de la philosophie de Bacon, vol. I. Paris, 1802, р. 30.

3

При Императорском Московском Университете продается напечатанная вновь, переведенная с французского на Российский язык книга под титулом: Житие Канцлера Франциска Баккона, ценою экземпляра по одному рублю, без переплету.

«Московские ведомости»,
6 февраля 1761 года

Сведения о том периоде жизни и деятельности Тредиаковского, когда он трудился над книгой о Бэконе, очень скудны. Однако общее направление его интересов и стремлений в эти годы достаточно ясно.

В конце 50-х годов Тредиаковский реже пишет стихи, меньше занимается теорией версификации, так увлекавшей его в предшествующие годы, и центр внимания переносит на философию и историю. Тредиаковский видит свою задачу ученого-просветителя, в частности, в том, чтобы пропагандировать крупнейшие достижения европейской мысли в области истории, философии, культуры.

Многие оригинальные философские сочинения Тредиаковского до нас не дошли. Известно лишь «Слово о мудрости, благоразумии и добродетели», напечатанное впервые во 2-м томе «Сочинений и переводов» Тредиаковского (СПб., 1752). Это рассуждение было написано в традициях рационалистической «нравственной философии». Серьезное значение имел словарь латинских философских терминов (с переводом их на французский язык), приложенный к «Слову». В самом же тексте рассуждения Тредиаковский пользовался русскими терминами, многие из которых были употреблены им здесь впервые.

Новые философские занятия Тредиаковского не встретили поддержки в Академии. И он тяжело переживал это. В результате трений с академическим начальством Тредиаковский вынужден был подать прошение об отставке. 30 марта 1759 года его просьба была удовлетворена — он был исключен из Академии.

Однако Тредиаковский совсем не думал уходить на покой. Его тревожили заботы о новых трудах и среди них — перевод книги о Бэконе. Эта книга отличалась от других переводных работ Тредиаковского уже тем, что она была не обычным академическим заданием, а результатом свободного выбора и глубокой личной заинтересованности переводчика-просветителя.

Отставной академик не мог рассчитывать на печатание новой книги в Академической типографии. Ведь даже очередной том

давно издававшейся «Истории» Роллена Тредиаковский вынужден был просить напечатать «своим коштом».⁹

Для издания научной книги у него оставалась одна возможность — печатать ее в типографии молодого Московского университета. Из бумаг академической Канцелярии мы узнаем, что, получив отставку, Тредиаковский сразу же начинает хлопотать о паспорте, чтобы «отъехать отсюда вскоре для собственных нужд и для житья в Москву».¹⁰ Говоря о «собственных нуждах», Тредиаковский и подразумевал, видимо, печатание новой книги.

В те годы главным цензором университетской типографии и первым редактором «Московских ведомостей» был А. А. Барсов,¹¹ а его ближайшим сподвижником по издательским делам Н. Н. Поповский. Оба они с давних пор были знакомы с Тредиаковским и многим обязаны ему. В 1748 году Тредиаковский привез из Москвы в Петербург несколько учеников, отобранных им по приказу президента для продолжения образования при Академии. Среди них были будущие профессора университета — Барсов и Поповский. Это не могло быть ими забыто и спустя двенадцать лет. Но еще существование личных связей было то, что сам замысел книги о Бэконе близко затрагивал интересы Барсова и Поповского, озабоченных пропагандой философских знаний на русском языке. Во всяком случае, перевод Тредиаковского, начатый, видимо, лишь в 1759 году, вышел из печати уже в конце следующего года. Такая поспешность в создании книги говорит как о глубокой заинтересованности и интенсивности труда переводчика, так и о благожелательном отношении издателей.

Книга о Бэконе была особенно дорога и важна Тредиаковскому, так как знаменовала, несмотря на разрыв с Академией, продолжение его просветительских трудов.

Вопрос о политических симпатиях, о мировоззрении Тредиаковского исследован менее чем все другие проблемы, возникающие в связи с его литературной деятельностью. Л. И. Кулакова, к мнению которой присоединяется и Д. Д. Благой, не без основания отмечает путаность, расплывчатость, эклектичность общественных и философских взглядов Тредиаковского.¹² Однако

⁹ Прощение в академическую Канцелярию 12 января 1761 года. П. П. Печарский. История имп. Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, стр. 215. Насколько жертвенным и достойным уважения был этот поступок Тредиаковского, можно судить по такому факту: в то самое время, как он соглашался печатать на свой счет Роллена, стесненное материальное положение заставило его дать в «С.-Петербургских ведомостях» объявление о приеме детей для обучения «в пансион и без пансиона» (там же, стр. 214).

¹⁰ Материалы для биографии В. К. Тредиаковского «Записки Императорской Академии наук», т. 9, кн. 2, СПб., 1866, стр. 211.

¹¹ В. Корш. Столетие «Московских ведомостей». М., 1857, стр. 13.

¹² Л. И. Кулакова. А. Н. Радищев и вопросы художественного творчества в русской литературе XVIII века. (Из истории русской эстетической

нельзя ограничиться такой общей характеристикой. Тредиаковский не был, конечно, последовательным мыслителем, но в разные периоды деятельности у него можно отметить то ту, то другую преобладающую тенденцию. Хотя идеологическая эволюция Тредиаковского и представляет собой ломаную линию, все же в ней видны закономерности, от изучения которых не следует отмахиваться словами о «путаности» и «противоречивости».

В одах 30—40-х годов и в переводе «Аргениды» Баркляя (1751) Тредиаковский показал себя защитником абсолютизма. Его главной политической мишенью являлись тогда те вельможи, которые своими распрями могли поколебать трон государя. Авторитет царской власти был в «Аргениде» незыблемым принципом, вытекавшим из интересов единства государства, его могущества и роста. Все прочие вопросы решались лишь с точки зрения соответствия этому принципу, и «урок царям» звучал еще пока дружеским, а часто и льстивым увещеванием.

В конце 50-х—начале 60-х годов в мировоззрении Тредиаковского происходят значительные сдвиги. Правление Елизаветы в конце ее царствования вызывало разочарование и недовольство у многих из тех, кто в свое время восторженно встретил восшествие на престол дочери Петра. Оппозиционные веяния захватили в конце 50-х годов и Тредиаковского. Трагический поворот личной судьбы, прямое столкновение с академической верхушкой во многом определили его отношение к властям. Завершением этого периода идейного и творческого развития Тредиаковского явилась «Тилемахида» (1765), в которой были высказаны мысли, резко отличные от проповедовавшихся в «Аргениде» пятнадцатью годами раньше. От безусловной поддержки абсолютизма Тредиаковский совершил переход к критике «злых царей», тиранов и их своекорыстного окружения. Л. В. Пумпянский дает точную сравнительную характеристику двух романов, переведенных Тредиаковским: «Тредиаковский переходом от „Аргениды“ к „Тилемаку“ воспроизводит для России это полевание абсолютистской политической мысли. Оба же перевода, вместе взятые, показали России европейский политический роман в двух главных фазах его развития: „урок царям“ накануне правления Ришелье и „урок царям“, гораздо более смелый и резкий, через 75 лет, когда наследие Ришелье вошло в период разложения и абсолютизм из двигателя общественного развития превратился в препятствие, вредное для всей нации».¹³

мысли). М., 1954, 31 стр.; Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII в. М., 1955, стр. 131.

¹³ История русской литературы, т. III, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 245.

Перевод «Тилемахиды» знаменовал также эволюцию во взглядах самого Тредиаковского. Однако на пути его идейного развития от «Аргениды» к «Тилемахиде» был еще забытый исследователями перевод о Бэконе — самое «просветительское», передовое, что вышло из-под пера Тредиаковского. Все наиболее оппозиционные места «Тилемахиды», приводимые обычно литературоведами как свидетельство просветительских взглядов Тредиаковского, кажутся робкими по сравнению со многими вольнодумными страницами бэконовского перевода. И это не удивительно, так как французские энциклопедисты по сравнению с Фенелоном ушли в своих взглядах очень далеко. А ведь именно их теории преподнес русским читателям Тредиаковский, переведя Бэкона в обработке Делейра.

4

Когда вы должны совет подать государю, то подавайте наставления ваши под именем древнего автора или в общественных рассуждениях, кои совесть всегда делает собственным тому, кто в них имеет нужду.

Из перевода «Сокращения философии канцлера Франциска Бэкона».

«Житие» и «Сокращение философии» в том виде, в каком они вышли из-под пера переводчика, были важным фактом культурной и общественной жизни России той эпохи. В то же время это была первая русская книга, представляющая, хотя и не в прямой форме, материалистические теории французских просветителей. В «Житии» прямо говорилось о тех преобразованиях, какие произошли с философией Бэкона в руках энциклопедистов: «Можно видеть в подобном составе (системе, — В. Л.) познаний человеческих, который обретається по предварительной речи¹⁴ в Энциклопедии, сколько сие изобретение нашего автора (Бэкона, — В. Л.), исправленное и в совершенство приведенное искусною рукою, произвело порядку, света и способа в сей материи» («Житие», стр. 121).

Просветительской «искусною рукою» были усилены, как упоминалось, во французском переложении материалистические стороны философии Бэкона, зато старательно были вымараны «теологические привески» к ней. Откровенной проповедью материализма были в переводе Тредиаковского те места, в которых говорилось о заслугах Бэкона-мыслителя: «Средство, употребленное им к произведению толь великих дельностей, состоит в том, чтоб пригвоздить к вещам самим и остановить на них наше внимание, упражнявшееся прежде его в понятиях и идеях; то есть,

¹⁴ «Речь» — слово, статья. Имеется в виду «Discours préliminaire» Даламбера.

чтобы удалить от себя умозрительства тонкие и маловажные, ослепляющие разум, а не просвещающие, чтоб держаться просто за силы естества и законов, учреждающих его деяния» («Житие», стр. 73).

В главах «Сокращения философии», в которых излагалась теория познания Бэкона, — «О путеводстве» (о методе), «Об естестве» (о природе), «Об испытании» (об опыте) — делалась попытка решительно отделить науку от религии. «Два заблуждения, — утверждалось в книге, — весьма порочны: одно, чтобы толковать закон (как Тредиаковский обычно переводит слово «la religion», — В. Л.) естеством, а другое, чтоб толковать естество законом» («Сокращение философии», стр. 46). В главе «О безбожии и суеверии» фактически оправдывался атеизм. После благонамеренного замечания, что истинная философия приводит необходимо к религии, мы встречаем следующее рассуждение, ставящее под сомнение все, что сказано было выше в защиту веры: «Впрочем, как безбожие могло найти себе мучеников, для того, что оно и награждения не обещает, и не подает никакия возбуждающия причины к обольщению. Как! Заблуждение одно возымеет ли столько силы над разумом человеческим, сколько истина, подкрепляемая премножеством польз?» («Сокращение философии», стр. 203). Этот риторический вопрос выразительнее многих утверждений.

Главный предмет главы составляет сравнение безбожия и суеверия, которое выливается, в конце концов, в апологию атеизма. «Безбожие не лишает разума, не истребляет естественных чувственностей, не нарушает ни уставов, ни народных обычаев; но суеверие есть владычественный тиран, который присиливает уступать все своим самохотениям. Безбожник не токмо не мятежник, но еще гражданин, пекущийся радетельно о тишине общенародной по любви к собственному своему спокойствию» («Сокращение философии», стр. 204).

Надо думать, что, переводя эти строки, Тредиаковский, которого Ломоносов недружелюбно называл «безбожник и ханжа», испытывал очень личное отношение к написанному. Это выдает одна маленькая, но, видимо, не случайная неточность в переводе. Делейр пишет с оттенком скрытой иронии: «Атеист, далекий от возмущения, — это гражданин, заинтересованный в общественном спокойствии из любви к своему собственному покою» («La vie», р. 379). Тредиаковский уничтожает иронический оттенок и пишет о «тихом безбожнике» с плохо скрываемым сочувствием: «Безбожник не токмо не мятежник, но еще гражданин...».

Значительную часть перевода «Сокращения философии» занимали «нравственные очерки» — «О страстях», «О добре», «О любви и дружелюбии», «О добродетели» и др. Эти главы

также были интересны русскому читателю как образцы европейской «нравственной» или «практической» философии. Даже предаваясь абстрактным, «общечеловеческим» рассуждениям о добродетели и пороке, автор книги не упускал случая сказать политические колкости, как например заметить вскользь, что добродетели «теряются весьма скоро при дворе государей» («Сокращение философии», стр. 172).

Самыми острыми и важными в русских условиях были главы книги, посвященные вопросам политическим. Тредиаковский бесспорно рассчитывал на политически актуальное переосмысление некоторых наставлений Бэкона, дополненных французскими энциклопедистами. Такое перетолкование было в обычаях времени. Писатели XVIII века приучили своих читателей быть догадливыми и не ждать подробных объяснений там, где автор мог пользоваться лишь иносказаниями, скрытыми «применениями». Это не значит, конечно, что за каждой строчкой перевода Тредиаковского обязательно нужно искать русские параллели, намеки на современность. И, однако, бесспорно, что только тогда мы сможем понять реальное значение перевода Тредиаковского для его современников, когда представим себе ясно то отношение к разнородным фактам общественной жизни, тот каждодневный политический и бытовой опыт, с каким воспринимали книгу о Бэконе ее первые русские читатели.

Настойчивое противопоставление в «Житии» Бэкона деятельной, мудрой и нетщеславной Елизаветы английской беспутному и жестокому Якову должно было рождать у русского читателя известные ассоциации. При сходстве имен особенно двусмысленно звучал «Опыт о королеве Елизавете» Бэкона, переведенный Тредиаковским. У русской царицы напрасно было бы искать те качества просвещенного властителя — слуги нации, какого рисовал в Елизавете английской ее доброжелательный и лукавый историк. Очень кстати в русском издании пришлось примечание к «Опыту» французского переводчика: «Ежели начертания сии произведены удивлением, то они стоят высшая цены нежели оные благодарственные похвалы, единственная и последняя дань, получаемая королями по смерти. Но буде сия речь произнесена в собрании градоначальствующих правителей или мужей ученых; то не можно быть опоручению в том, чтобы в ней не было ласкательства» («Житие», стр. 131).

С последним предупреждением хвалебные речи Бэкона получали в русском переводе отчетливое значение «урока» Елизавете Петровне, а не льстивой параллели. Русскую царицу и ее окружение скорее можно было узнать в описании царствования Якова, при котором в Англии, «чтоб услужить отечеству, стране и государю, в каком бы кто звании ни был, то надобно было сделать себя при-

ятым любимцу» («Житие», стр. 58—59). Вряд ли читатель книги мог удержаться от злободневных сопоставлений, читая следующие строки: «... было сие государственное любимцев, налогов самовольных, могущих толь изрядно подтверждать указы и объявления, наконец было оно отроческих забав и негодных. В недре безделиц, в коих двор упражнялся, породилось похлебство и ласкательство... Увидели, что настал по них язык льстивый и женственный от подлости и неволи, который стал быть языком всенародным, придворным, градоначальническим и церковным» («Житие», стр. 41—42).

Противопоставление просвещенного царствования самовластному и порочному правлению, данное в «Житии» в историческом плане, в «Анализе» заключено в четкие формулы афоризмов, общих выводов, легко применимых к конкретным условиям.

В «Сокращении философии» настойчиво проводилась мысль, что властители должны избегать следовать своим произвольным страстям и руководствоваться интересами народа и государства. Неограниченное самовластие, презрение к доводам разума, к советам просвещенных и мудрых людей — вот что решительно осуждалось в книге. Идеалом властителя были представлены, конечно, государи-философы, хотя и они, по мысли автора, не застрахованы от пагубного разврата власти. Это твердо высказано уже в первой главе «Сокращения»: «... государи-философы делают достоверным счастье народов и благополучие государств. Хотя они, как и прочие обладатели, и имеют пороки человечества и собственного того состояния: однако просвещение, почерпаемое ими в приобыкновении к размышлению, есть предохранительным врачевством на наглые и неизлечимые излишества их страстей: книги им на меньшей конец говорят, когда их совет умалчивает» («Сокращение философии», стр. 8). Переводчик недаром находит здесь такие злые слова; то, что Елизавета Петровна, лишь изредка отрывавшаяся от веселых оргий для дел, злоупотребляла «пороками человечества», столь же несомненно, как то, что ей были свойственны и пороки «собственного того состояния», т. е. самодержавной власти.

Ход рассуждений в книге о Бэконе все время шел от предположения, что монархическая форма правления, основанная на доброй воле и разуме, есть нормальная форма государственности. Однако книга давала представления и о других возможностях общественного устройства и, в частности, о республике. В главе «О благородстве» произведено даже плохо замаскированное сравнение между монархией и республикой с выводом в пользу последней. «Добрая демократия, — читаем мы в переводе, — не имеет нужды в благородстве (в знати, в вельможах, — В. Л.): государство без него тем спокойнее бывает и в лучшей безопас-

ности от развратов и происков. Народ в ней старается о своих делах, а не о славе и имени некоторых. Какая тому причина, что швейцары, разделенные на толь многие области и разлученные верою, составляют республику, толь изрядно соединенную? Ибо они более взирают на свою вольность, нежели на прославление...» («Сокращение философии», стр. 144). Конечно, Делейр, — и тем более его русский переводчик, — при всей яркости приведенного высказывания были весьма далеки от «республиканизма». Но подобные замечания подрывали веру в абсолютную необходимость и незыблемость монархической власти как данной от бога и вечной.

Просветительские идеи гражданских прав, равновесия «власти» и «вольности» проповедовались на многих страницах книги о Бэконе. При этом острие вольнодумных выпадов было направлено против самовластия, тиранства во всех его видах. «Прочь от монархии всякое могущество самопроизвольное, — энергично восклицал автор, а вместе с ним и переводчик книги. — Уставы будут дороги народу, взирающему на них как на защиту против владычества и как на стражу надлежащая вольности» («Сокращение философии», стр. 211). В книге последовательно отстаивалось «право правосудия» между государем и народом, первенство во всем законов, которые должны быть святы и для властителя.

С вопросом о царской власти соприкасался вопрос о министрах, придворных, стоящих рядом с тронном и разделяющих с государем ответственность за правление. Для России середины XVIII века, страдающей от фаворитов — Разумовских, Шуваловых, — это был больной и близкий вопрос. «В правление Елизаветы, — явно преувеличивая, замечал историк С. В. Ешевский, — более чем когда-нибудь должно объяснять события придворными партиями и интригами».¹⁵ Многие фавориты Елизаветы могли разделить характеристику, данную в «Житии Бакона» любимцу короля Якова, Букингеми: «Таким точно образом при дворе, падшем в детство, одно самонравие любимцево располагало все главные места и все государственные должности, которые он давал или отнимал по своему хотению, без всякого другого правила в разделении казней и награждений, кроме своея гордости и легкомыслия» («Житие», стр. 65).

В «Сокращении философии» был создан и контрастный фаворитам образ — идеал просвещенного министра, способного доводами разума и справедливости убедить государя, если тот заблуждается, поддавшись воздействию «самовластных страстей». В таком качестве был представлен читателю в «Житии» сам Бэкон. Министр несет ответственность не только перед властителем,

¹⁵ С. В. Ешевский. Очерк царствования Елизаветы Петровны. В кн.: Сочинения по русской истории. М., 1900, стр. 31.

но и перед народом. Поэтому он должен быть всегда честен, прямодушен и благороден. «Льстить государю есть преступление измены, виннейшее перед ним, нежели бунт открытый, и пагубнейшее, нежели явная война» («Сокращение философии», стр. 209). Эти наставления, как и почти сатирические портреты любимцев в биографии Бэкона, были очень уместны в России 1760 года.

Не прошли, должно быть, мимо внимания современников Тредиаковского и те главы «Сокращения философии», в которых автор обращался к рассмотрению роли различных сословий в государстве. В главе «Об увеличении государств» дворянство, как будто в полном соответствии с политикой «дворянской царицы», именовалось «подпорой престола». Но далее, когда речь заходила об отношениях дворянства с народом, смысл, равно как и тон рассуждений, существенно менялся: «Государство, хотящее увеличиться, — говорилось в книге, — долженствует опасаться корпуса дворянского: ибо ежели дворянством утеснится народ, то приключится бывающее в лесах, где высокие деревья подавляют молодые отростки. Сколько б тогда ни умножалось народом государство, однако отнюдь не будет сильнее» («Сокращение философии», стр. 119). О паразитизме дворянства и духовенства откровенно трактовала глава «О смятениях и бунтах»: «Излишнее дворянство приводит в убожество государство; многолюдное духовенство отягощает его: сии два корпуса снедают часть самую существенную всякия державы, то есть народ бодрствующий и труждающийся, а в то время другая часть спит, кушает и упражняется разве в нужном деле своих потех» («Сокращение философии», стр. 126).

Все эти высказывания имели в русских условиях четкий политический адрес.

Усиление гнета помещиков в период войны, жестокая эксплуатация крестьян, приписанных к монастырям, — обо всем этом, вызывающем «смятения и бунты», много говорилось в книге. Предупреждая государей о всегдашней опасности народных возмущений, автор почти не останавливается на вопросе о подавлении бунтов. Зато он подробно разбирает порождающие причины, которые призван устранить истинно просвещенный властитель. «Материя смятений есть в народной бедности и во всеобщем неудовольствии», — утверждает автор, ища виновников государственных неурядиц среди знати и духовенства, угнетающих народ.

В переводе Тредиаковского можно отметить резкие места, в которых говорилось об унижительность сохранения рабства в просвещенной стране. «На подлых невольников полагается смотрение за скотом; но тиранам и есть только один стыд повелевать невольникам. Порабощением уничивается владычественная державность. Но есть ли что славнейшее, как царствование над вольными.

душами» («Сокращение философии», стр. 8). В пору расцвета крепостного права в России такие строки могли почтяться прямым политическим выпадом. И это печаталось по-русски в те годы, когда безнаказанно зверствовала в своем имении Троицком Салтычиха, когда по указу Елизаветы¹⁶ за малейшие проступки против господ крестьяне бывали биты плетью и отдавались в солдаты!

Чтобы представить выгоды освобождения «невольников», автор ссылался на пример Англии, где свободные «поселяне» в период войны представляли собой лучшее войско: «Англия содержится силою токмо простого народа, у которого вольностию подкрепляется бодрость. Сим самым имеет она явное преимущество над соседними странами, в коих тощий поселянин не может быть крепким воином» («Сокращение философии», стр. 120). Если припомнить издававшиеся во время Семилетней войны сенатские указы о приеме на военную службу «редковолосых», низкорослых и беззубых рекрутов,¹⁷ становится очевидно, насколько убедительным был этот довод в России тех лет, истощенной длительной войной.

В конце царствования Елизаветы особенно интенсивно шла колонизация юго-восточных окраин России и заселение Сибири ссыльными крестьянами по указу 1760 года. По этому вопросу, как и по многим иным, Тредиаковский своим переводом объективно вставал в оппозицию правительственной политике. «Не делайте из ваших поселений (*les colonies*) места ссылочного для вольных обывателей, ни отечества мятежникам, — читаем мы в заключительной главе книги. — Не истребляйте из земли обывателей ея, чтоб паки наполнить оную пришельцами под предлогом закона (*la religion*): он не требует крови, но свободного повиновения» («Сокращение философии», стр. 216—217). Именно на крови было основано покорение «ясачных» народов в правление Елизаветы. В последние годы ее царствования шло насильственное обращение в православие татар, чувашей, черемисов.

Таким образом, читатель елизаветинской поры от многих страниц книги о Бэконе мог протянуть живые нити к современности.

Сознавал ли Тредиаковский конкретно-политическое значение своего труда, видел ли он все те возможности «применений», пересмыслений, о которых шла речь? Можно ли говорить о субъективной тенденциозности Тредиаковского, а не только об

¹⁶ См., например, указ от 2 мая 1758 года «О надзоре помещикам за поведением своих людей». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ), т. XV, стр. 199.

¹⁷ Указы от 17 января и 18 сентября 1758 года, 15 октября 1759 года. ПСЗ, т. XV, стр. 155, 376—377, 381—382.

объективной роли его перевода? Убедительный ответ на эти вопросы можно дать, лишь обратившись к сопоставлению французского и русского текстов книги.

5

...Переводчик от творца только что именем рознится. Еще донесу вам больше, ежели творец замысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть.

В. К. Тредиakovский Из предисловия
к «Езде в остров любви».

Вероятно, мысль перевести книгу о Бэконе зародилась у Тредиakovского при чтении французских журналов, в которых шла полемика об издании Делейра. Во всяком случае несомненно, что Тредиakovский был знаком со статьями, появившимися по этому поводу в «Journal des sçavans» и «Mémoires de Trévoux» (эти широко известные в то время научные журналы регулярно доставлялись в Петербургскую академию). Французские рецензии, в которых сближались «Анализ философии» и биография Бэкона, очевидно, подсказали Тредиakovскому соединение этих трудов в одну книгу.¹⁸

В этих рецензиях предлагалось изменить название «Анализ философии» на другое, более подходящее к содержанию книги — «Сокращение философии». Критик журнала «Mémoires de Trévoux» выражал сомнение в том, можно ли отрывки, извлечения из философии назвать ее «анализом». «Этот „Анализ“, — писал он, — предлагает удачное „Сокращение“ (abrégé) принципов, приемов и открытий, которые сделали бессмертным канцлера Бэкона».¹⁹ Автора «Анализа» рецензент далее настойчиво именовал «сократителем» (L'abrégiateur). Это и подало мысль Тредиakovскому по-иному, чем у Делейра, назвать своей перевод.

Имеет существенное значение установление того факта, что Тредиakovский был знаком с французской полемикой вокруг книг о Бэконе. В рецензиях отмечался вольнодумный характер этих книг, делались намеки на приемы скрытых «применений» к современности. «Journal des sçavans» писал, например, о «Жизни Бэкона»: «Художник часто оставляет своего героя, чтобы заняться портретами королей, фаворитов, министров, которые являлись

¹⁸ Как упоминалось, такое соединение произвел и Делейр во втором издании «Анализа». Однако Тредиakovский не знал, видимо, этого второго издания и переводил по первому, раздельному изданию. Состав первого издания «Анализа» полностью соответствует составу книги Тредиakovского. Этого нельзя сказать о втором издании Делейра. Таким образом, соединение «Жизни Бэкона» и «Анализа философии» в одну книгу было произведено Тредиakovским независимо от Делейра.

¹⁹ «Mémoires de Trévoux», 1756, Fevrier, p. 495.

основными действующими лицами на исторической сцене, когда появился Бэкон. Не будучи простыми копиями старых картин, эти портреты несут на себе черты слишком новые, чтобы быть сходными: чувствуется вмешательство кисти свободной и дерзкой, которая по своей воле урезывает, добавляет и даже исправляет прошлое.²⁰ Рецензент порицал английского писателя за вольномыслие, выражая наивное сожаление, что французский переводчик не прибавил своих рассуждений, которые могли бы служить противоядием заразе, «идущей из Англии» (он, очевидно, и не подозревал, что самые смелые места в книге принадлежат именно французскому переводчику). «Большая часть английских пассажиров может только scandalизировать истинных французов как добрых христиан», — писал «Journal des sçavans».²¹ Рецензент уловил современные намеки в рассуждениях автора об атмосфере лести, продажности и лицемерия при дворе Якова.²²

Достаточно было прочесть эти рецензии, чтобы понять оппозиционный политический характер книги о Бэконе.

Таким образом, Тредиаковский ясно представил себе, какое значение имела эта книга для французских просветителей, каков был второй, современный ее смысл, какую роль играли общие философские рассуждения для политической «злобы дня». И оружие французских просветителей Тредиаковский сознательно использовал для пропаганды оппозиционных воззрений, учитывая тенденциозное политическое звучание книги в русских условиях. Конечно, не все сказанное в книге Бэконом—Делейром или Моллетом—Делейром совпадало со взглядами Тредиаковского. Да и вообще нужно быть осторожным, порицая или хваля переводчика за то, в чем, строго говоря, повинен лишь автор. Но в отношении Тредиаковского мы имеем дело с особым случаем.

Тредиаковский относился к работе переводчика как к определенному виду творческой деятельности. В «Предупреждении» к переводу первого тома «Римской истории», работа над которым шла одновременно с книгой о Бэконе, он писал: «Приходит на мысль, не возревновал бы кто, в уничижение мне, что видит от меня больше переводов, нежели собственных сочинений. Но такому и подобным всем, почтенно в предварительный ответ доношу, что во мне знатно более способности, буде есть некоторая, мыслить чужим разумом, нежели своим».²³

За это чистосердечное признание Тредиаковский более достоин уважения, нежели насмешки или укора. В своих переводных тру-

²⁰ «Journal des sçavans», 1756, Janvier, p. 246.

²¹ Там же, стр. 247.

²² Там же, стр. 252.

²³ «Римская история от создания Рима до битвы Актийския... сочиненная г. Ролленом...», т. I. СПб., 1761, Предупреждение, стр. Л.

дах он именно мыслил «чужим разумом», а не просто перелагал по-русски иноязычный текст. Это доказывается анализом его работы над переводом книги о Бэконе.

Основным принципом Тредиаковского-переводчика всегда была максимальная точность, стремление эквивалентно передать авторскую мысль. Тредиаковский обычно переводил оригинальный текст слово за словом, избегая приблизительных и образных перетолкований подлинника. Тем рельефнее выступают в книге о Бэконе не свойственные, как правило, Тредиаковскому отступления от принципов академического перевода, выдающие тенденциозность нашего автора.

В разных местах книги степень самостоятельности переводчика различна. В нравоучительных, политически нейтральных главах «Сокращения философии» Тредиаковский строго придерживается подлинника. С разночтениями встречаемся мы обычно в самых острых и актуальных местах книги.

Вот один из наиболее разительных примеров. В главе «О должностях судии» автор подробно останавливается на принципе равновесия и взаимоуважения прав народа и государя. Переводчик исправляет текст, меняя самое существо рассуждения. Сравним два отрывка:

Текст «Анализа»

«...tout loi ou tout arrêt par ses conséquences intéresse l'ordre public. Ce peut être une innovation d'un, exemple pernicieux, une lésion manifeste des droits du Prince ou des droits du Peuple; et c'est au Magistrats de les balancer perpétuellement, de façon que ceux-ci l'emportent toujours dans la concurrence: car le salut du peuple est la suprême loi».

(vol. I, p. 230).

Текст «Сокращения»

«...всякий устав или всякое определение есть нужно для всеобщего порядка. Может в том быть нововведение пагубного примера, также явное нарушение праву Государя или праву всего народа; в сем случае должно градоначальникам держать их обоих в равновесии непрестанном, так чтоб народный вес всегда претягивал; ибо „спасение и польза народа есть самый крайний и верховный закон“».

(Стр. 149)²³.

В целом совершенно точно передавая смысл приведенной фразы оригинала, Тредиаковский более подробно говорит о «народном весе» (французское «ceux-ci» относится к «des droits des Peuples»). Усилил то место, где речь идет «о спасении и пользе народа», переводчик берет его в кавычки, зная, что это цитата из авторитетного и общепризнанного источника, а именно из трактата Цицерона «О законах» (кн. 3, гл. 3).

Многие страницы перевода Тредиаковского звучат выразительнее, чем в подлиннике. Тредиаковский нередко добивался этого

²³а Слова, добавленные и измененные Тредиаковским, отмечены курсивом мной. — В. Л.

минимальными изменениями текста. Вставленные (или выпущенные) отдельные слова, иное членение предложений, восклицательные и вопросительные знаки, оттеняющие мысль, часто сообщали совсем новый эмоциональный заряд фразе. Вот некоторые примеры:

Текст «Анализа»

«Rois dévoilez donc vos desseins, mais cachez vos défauts...»

(vol. I, p. 251).

Текст «Сокращения»

«Того ради, Государи!
Открывайте свои намерения, но утаивайте ваши пороки».

(стр. 132).

Текст «Жизни Бэкона»

«...à la Cour les hommes agréables ont toujours l'avantage sur ceux qui ne sont que nécessaires».

(p. 140).

Текст «Жития Бэкона»

«...при дворе забавные люди имеют всегда преимущество над нужными и надобными только».

(стр. 75).

Если в первом примере, вместо более нейтрального «недостатка» (*défauts*), поставлены «пороки», то это только способ усилить смысл фразы; во втором же случае «забавные люди» — явный намек на фаворитов Елизаветы.

Наряду с соблюдением общего принципа точности перевода и частными, но существенными добавлениями и исправлениями, переводческую работу Тредиаковского отличает усиление эмоциональной выразительности текста и тем самым его воздействия на читателей.

Особенно одушевленным и страстным становится слог Тредиаковского, когда он переводит те места книги о Бэконе, в которых можно увидеть нечто сходное с его личной судьбой, отклик на горькие раздумья пренебреженного и не понятого ученого и литератора, всю жизнь радевшего о пользе общества и родной страны.

Отставка из Академии дала возможность Тредиаковскому почувствовать себя более независимым в мнениях и поступках, свидетельством чему и явился перевод о Бэконе. Поэтому, видимо, с особым удовольствием переводил Тредиаковский те страницы, где говорилось о тщете придворной службы, должностей, дарованных властью. Показательны изменения в тексте:

Текст «Анализа»

«C'est se faire l'esclave du public et du prince, de la renommée et des affaires, que de prendre une charge. Etrange ambition de vendre sa liberté pour une ombre de pouvoir et de consentir à n'être plus maître de soi-même pour le plaisir de commande aux autres».

(vol. I, p. 263).

Текст «Сокращения»

«Сие быть невольником всенародным и государевым, когда принимать на себя должность. Странное честолюбие! Продавать свою вольность за тень могущества и соизволять не быть более себе господином за утеху поведения другим».

(стр. 139).

В русском переводе выпущено несколько слов французского текста. Тредиаковский не согласен приравнять деятельность ради «славы и дел» («de la renommée et des affaires») к тщеславию и бесполезности придворной службы. Небольшая купюра в определенном отношении меняет смысл. К тому же иное, чем во французском тексте, членение отрывка и дополнительное восклицание сообщают фразе интонацию, превращающую спокойное поучение в страстный возглас.

Среди прочих вмешательств переводчика в авторский текст обращают на себя внимание выразительные подчеркивания, курсивы.

Мысль о всемогуществе разума, науки, просвещения была кровно близка Тредиаковскому, и он был, очевидно, полностью солидарен с заключительной фразой биографии Бэкона, прославляющей «ученую республику». Но в своем тексте Тредиаковский счел нужным еще выделить курсивом последние и наиболее сильные слова этого рассуждения: «Можно к нему (Бэкону) приложить в истине, сказанное Цицероном на похвалу Цесарю, что не меньше славно для одного распространение человеческого разума, коль для другого расширение границ Римския державы... Обладание, полученное им в науках, есть толикого ж пространства, коликого есть разума и свободныя воли: *а одно пребудет еще, когда последнего более не будет*» («Житие», стр. 130). Тем самым подчеркивалась мысль о том, что могущество разума переживет все земные царства. Вот до каких просветительских выводов дошел здесь переводчик! Книга о Бэконе — в полном смысле слова просветительский труд Тредиаковского, где он не только мыслил «чужим разумом», но нередко поправлял и дополнял «чужой разум» своим.

Во всех деталях перевода сквозит желание Тредиаковского сделать книгу более доступной и понятной русскому человеку. Переводчик усердно переосмысляет на отечественный лад многие специфические западные понятия. Например, выражение «mettre en fond», что означает «вложить (деньги) в землю, в недвижимость», Тредиаковский переводит: «накупить сел и деревень» («Сокращение философии», стр. 157). Слово «пэры» он поясняет в скобках, обнаруживая при этом недостаточное знание фактов: «пáры вельможей или большие бояры» («Житие», стр. 41), и т. п.

Большое число новых понятий из области философии и социологии вынуждает Тредиаковского делать порой обширные пояснения. Так, впервые употребив слово «эпоха», Тредиаковский дает следующее примечание: «Эпоха, по словам, есть расстановка, остановка, постановка; но по знаменованию началочисление лет, соименное ей слово есть Эра» («Житие», стр. 102).

Многочисленные термины, до тех пор малоупотребительные, а нередко и совсем новые, Тредиаковский постоянно объясняет в тексте: «теория (умозрение)», «система (состав)», «материя (вещество)», «симпатия (сострастие)», «антипатия (противоустрастие)» и т. д.²⁴

Исследование труда Тредиаковского с точки зрения обогащения словаря новыми словами и терминами несомненно дало бы интересные сведения историкам языка. Однако это уже материал для специального лингвистического изыскания.²⁵ Здесь же важно отметить усилия Тредиаковского сделать свой перевод максимально удобным и понятным для русских любителей «любомудрия». В настойчивом «оживлении» языка, в обилии пояснений и примечаний видна забота популяризатора и пропагандиста.

6

... Да будет почтен нашою признательностью трудолюбивый ученый, который, быть может, и не надеялся, что переводы его будут заслуживать чтения в 1855 году.

Н. Г. Чернышевский о Тредиаковском.
Из статьи «Пропаилен».

Перевод книги о Бэконе был наиболее выдающимся фактом просветительской оппозиционности в литературной биографии Тредиаковского.

Следующая работа Тредиаковского — перевод «Римской истории» Роллена — имела также важное значение для русского образования и просвещения. Однако этот труд показал, насколько мало последовательности, решительности было во «фронде» Тредиаковского. В «Предуведомлениях от трудившегося в переводе» к первым томам «Римской истории», вышедшим в 1761—1762 годах, еще можно найти отдельные вольнодумные высказывания, близкие просветительской концепции книги о Бэконе. Так, в предисловии к III тому можно обнаружить резкие антимонархические выпады, фактическое признание законности бунта в том случае, если «тирагия дойдет до такого наглости, что поданные сами могут воспринять оружие на свержение тиранического ига, измождающего оных».²⁶

²⁴ Некоторые из этих терминов были заимствованы Тредиаковским из комментариев А. Д. Кантемира к переводу книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» (СПб., 1740).

²⁵ Не лишённые в этом отношении интереса наблюдения см. в статье И. В. Шаля, указанной в примечании 1 на стр. 224 настоящего сборника.

²⁶ «Римская история от создания Рима до битвы Актийской ... сочиненная г. Ролленом...», т. III. СПб., 1762. Предуведомление, стр. KB

В последующих томах «Римской истории», выходявших уже в царствование Екатерины II, проявилась нецельность, шаткость политических воззрений Тредиаковского. Его рассуждения в предисловиях к некоторым томам Роллена не ясны, а порой откровенно реакционны. Тредиаковский посвящает себя исключительно «нравственной философии», намеренно отстраняя теперь вопросы политические, так как «Уложение гражданское зависит единственно от благоволения самодержавных особы».²⁷

Последний раз обращается Тредиаковский к политическим проблемам в переводе «Тилемахиды». Эту книгу, как известно, усиленно пыталась скомпрометировать Екатерина II. В отличие от своей малообразованной предшественницы, она хорошо понимала разрушительную силу новых идей, часто скрытых под переплетами переводных книг. Если книга о Бэконе могла спокойно пройти мимо внимания Елизаветы и ее окружения, то Екатерина, даже в период заигрывания с энциклопедистами, вряд ли потерпела бы подобное свободомыслие.

Можно полагать, что не случайно Тредиаковский не издал второго тома «Анализа философии» Делейра, хотя в конце перевода отметил «Конец первая части», что, естественно, предполагало продолжение. Зная, как терпелив и усерден был обычно Тредиаковский в окончании начатой работы, трудно допустить, что он бросил ее не под давлением внешних обстоятельств. К сожалению, за отсутствием документальных свидетельств, мы не можем сказать об этом ничего более определенного.

Просветительская деятельность Тредиаковского имела серьезное значение для его современников. Один из образованных русских людей того времени, усердный книголюб Гавриил Добрынин с признательностью вспоминал о переводах «достопочтенного мужа», «который на отечественном языке много просветил своих единоплеменников».²⁸ Несомненно, что вниманием современников пользовалась и книга о Бэконе. В те годы, когда перевод Тредиаковского печатался в университетской типографии, в Московском университете и его гимназии учились Новиков, Фонвизин, Аничков. Именно это новое поколение русских просветителей с интересом и благодарностью должно было встретить книгу Тредиаковского.

«Житие» и «Сокращение философии канцлера Франциска Бэкона» еще долго оставались основными сочинениями, знакомившими русских читателей с философским материализмом Бэкона.²⁹

²⁷ Там же, т. V, СПб., 1763, Предупреждение, стр. V. Примечание.

²⁸ Истинное повествование, или жизнь Гавриила Добрынина, СПб., 1872 стр. 133.

²⁹ Лишь в 1821 году впервые в русском переводе вышла книга Бэкона «Новая Атлантида» (Бэкон н. Новая Атлантида. М., 1821).

А ведь именно Бэкон был одним из признанных духовных наставников атеиста и материалиста XVIII века Д. С. Аничкова. В своих философских работах он вспоминал «славного английского канцлера Бакона Беруламия».³⁰

Философией Бэкона серьезно интересовался и Н. И. Новиков. В пору издания журнала «Утренний свет» и увлечения «нравоучительной философией» Новиков опубликовал некоторые переводы из Бэкона. Им был напечатан полный перевод книги Бэкона «О мудрости древних» и несколько глав из «Анализа философии» Делейра.³¹ Новейший исследователь Новикова пишет по этому поводу: «...Новиков напечатал пять глав из книги „Сокращение Баконовой философии“, причем главы наиболее важные — „О страстях“, „О скептицизме“, „О воображении“ и „О перемене человеческих дел“».³² Это утверждение Г. П. Макогоненко неточно. Новиков действительно напечатал эти главы, но они принадлежат как раз к числу политически нейтральных и наименее значительных глав «Анализа». Выбор их объясняется, видимо, особым пристрастием Новикова в тот период к «нравственной философии». Ошибка эта характерна для досадной тенденции — приписывать отдельным, действительно выдающимся деятелям русского Просвещения — Новикову, Радищеву, — все заслуги первооткрывателей и новаторов, упуская из виду то, что было уже сделано их предшественниками и на чем они выросли. В книге, которая называется «Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века», почти не находится места Тредиаковскому-просветителю. Между тем сам Новиков глубоко уважал просветительскую деятельность Тредиаковского и специально отмечал роль его переводов. Вступив в своем журнале «Трутенъ» в полемику с Екатериной, иронизировавшей по поводу «Тилемахиды», Новиков писал: «Насмешник подсмеял одну женщину, велел ей для усыпления читать сочинения такова мужа, который за полезные переводы заслужил от всех похвалу и благодарность, и что от той насмешки весь город хохотал целую неделю на счет насмешника».³³ Трудно было успешнее вступить за честь Тредиаковского-просветителя.

Можно не сомневаться, что Новиков был знаком с переведенной Тредиаковским книгой о Бэконе. Хотя главы «Сокращения философии» в новиковском журнале заново переведены из «Анализа» Делейра, а не взяты из старого перевода (язык Тредиаков-

³⁰ Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века, т. I. Госполитиздат, 1952, стр. 146.

³¹ «Утренний свет», 1780, IX, М., май, стр. 20—85; июнь, стр. 146—173.

³² Г. Макогоненко. Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М.—Л., 1951, стр. 310.

³³ «Трутенъ», М., 1769, стр. 159.

ского мог казаться архаичным), само название книги заимствовано из издания 1760 года. Надо думать, что, несмотря на отбор для перевода лишь глав, посвященных этике, значение философских и политических рассуждений в книге о Бэконе не ускользнуло от внимания Новикова.

Деятельность Тредиаковского-просветителя представляет, таким образом, ранний этап того умственного развития, тех поисков русской просветительской мысли, которые привели, в конце концов, к страстным обличениям самодержавного правления и крепостного рабства у Радищева и его последователей.

Долгие годы забытый и неизученный переводный труд Тредиаковского должен занять свое место в истории просветительских идей в России.

Г. И. БОМШТЕЙН

ТРЕДИАКОВСКИЙ-ФИЛОЛОГ И ФОЛЬКЛОР

П. Н. Берков в статье «Итоги, проблемы и перспективы изучения русской литературы XVIII века» отмечал, что среди «тем, особенно выдвинувшихся в течение последнего десятилетия и ранее занимавших едва заметное место в исследованиях по истории русской литературы XVIII века, в первую очередь должно назвать тему связи литературы этого периода с народным творчеством и несколько шире — тему фольклоризма русских писателей». В то же время в статье подчеркивается, что «фольклоризм русских писателей изучен совершенно недостаточно» и что на очереди стоит дальнейшее исследование отношения представителей русской литературы XVIII века к народному творчеству (в теории и практике)». ¹

В настоящей статье рассматривается отношение Тредиаковского к народной поэзии на материале его филологических работ.

Этот вопрос затрагивался еще в дореволюционной историографии. Так, М. П. Петровский заметил, что Тредиаковский «высказывает свои наблюдения над народным складом русского стиха...» и «с любовью относится» «к русским простонародным, молодецким песням...». Как допускает автор, одним из важных источников реформы русского стиха, начатой Тредиаковским, явился народный стих. ²

Отдельных сторон этой проблемы, главным образом в связи с историей русского стиха, касались также советские литературоведы. С. М. Бонди останавливался на словах Тредиаковского о фольклорных источниках своей теории версификации и приводил процитированные им образцы народного стиха. ³

¹ П. Н. Берков. Итоги, проблемы и перспективы изучения русской литературы XVIII века. «XVIII век». Сб. 3. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 20.

² (М. П. Петровский). Библиографические заметки о некоторых трудах В. К. Тредиаковского. Кагань, 1890, стр. 24—26.

³ С. М. Бонди. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. В кн.: В. К. Тредиаковский. Стихотворения (Библиотека поэта. Большая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1935, стр. 86, 93. (В дальнейшем: Тредиаковский. Стихотворения).

П. Н. Берков в связи с вопросом об эволюции Тредиаковского в теории и практике стихосложения приводил его высказывание о версификации, содержащее ссылку на фольклорный стих, и отмечал как важный факт интерес филолога к «устной словесности».⁴ Относительно «взглядов Тредиаковского на народную версификацию и на природу тоничности русских стихов», как эти взгляды выразились в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском», П. Н. Берков писал, что «они были гораздо ближе к эпохе Пушкина, чем к пятидесятилетию, следовавшему непосредственно за опубликованием данной статьи». При этом П. Н. Берков подчеркивал ее научную ценность.⁵ Л. В. Пумпянский вслед за С. М. Бонди и другими историками литературы признавал, что в стиховедческом трактате Тредиаковского «тонический принцип был введен в русское стихосложение под воздействием народной песни...».⁶ Отметив «уважение ученого» к фольклору и его попытку «ввести народную песнь в общий процесс развития русской поэзии в качестве первого его периода...», Л. В. Пумпянский утверждал, что «высказывания Тредиаковского о народной поэзии, вместе взятые, образуют в развитии русского фольклора особую, закономерную стадию, переходную от старого латино-школярского пренебрежения — к фольклорному подъему 1770-х годов, который у Тредиаковского уже предчувствуется».⁷

Отношение Тредиаковского к народной поэзии как вопрос истории фольклористики кратко характеризуется в работах М. К. Азадовского, Г. И. Бомштейна, А. А. Кайева, В. И. Чичерова.⁸ На интерес Тредиаковского к народной словесности обра-

⁴ П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 47, 53.

⁵ П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 94.

⁶ Л. В. Пумпянский. Глава «Кантемир. Тредиаковский». В кн.: Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. Учпедгиз, М., 1939, стр. 63.

⁷ Л. В. Пумпянский. Глава «Тредиаковский». В кн.: История русской литературы, т. III. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 259—260.

⁸ См.: М. К. Азадовский. 1) Фольклористика XVIII в. Глава в пособии для вузов: «Русское народное поэтическое творчество». Под общей ред. проф. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, М., 1954, стр. 45—46; 2) История русской фольклористики. Под общей ред. Э. В. Померанцевой (книга завершена Л. В. Азадовской, В. Ю. Крулянской и Э. В. Померанцевой). Учпедгиз, М., 1958, стр. 52—55; Г. И. Бомштейн. 1) К вопросу об истоках русской фольклористики, «Прикамье», 1948, № 11, Пермь, стр. 357—360; 2) Роль Ломоносова в истории русской этнографии и фольклористики. «Труды Института этнографии АН СССР», новая серия, т. XXX, М., 1956, стр. 86—88, 108—109; А. А. Кайев. Русская литература. Учпедгиз, М., 1958, стр. 20; В. И. Чичеров. Русское народное творчество. Под ред. Э. В. Померанцевой. Изд. Моск. унив., 1959, стр. 27—28.

щено внимание в книге С. Ф. Елеонского «Литература и народное творчество».⁹

Работы, специально посвященные взглядам Тредиаковского на фольклор, нам не известны. Между тем отношение Тредиаковского к народной поэзии составляет важное начало его общественной и эстетической позиции.

Многими своими существенными сторонами деятельность Тредиаковского входит в историю формирования демократической традиции в русской общественной и филологической мысли XVIII века. В его суждениях прорываются настроения плебейского недовольства всесилием «породных». В формах, доступных для него, осмысливая исторический материал, хронологически далекий от русской действительности XVIII века, Тредиаковский выразил свое отношение к «обыкновенному (т. е. ставшему «обыкновением», традицией, — Г. Б.) презору к Плебейм...».¹⁰ Он хотел бы, чтобы положение человека в обществе определялось независимо от сословной принадлежности, «заслугами и славою за добродетель...».¹¹ Он понимал и пытался утверждать внесословную ценность человека. Он считал, что «превысокие дарования Умственные и Нравственные», «Разум и Добродетель есть жребий всего человеческого Рода, а не человек токмо породных...».¹² Демократические тенденции и патриотизм убедительно сказались в представлениях Тредиаковского о задачах, о созидании и созидательных силах русской национальной культуры, включая сюда прежде всего культуру гуманитарную и в особенности литературную. Призывая соотечественников учиться у народов, у которых просвещение достигло высокого развития, сравняться с ними и даже превзойти их, Тредиаковский утверждал, что «всегда удивляться чужому искусству, а собственных сил не отведывать, и о собственном искусстве не стараться, знак есть незнания и лености, или, по крайней мере, ненадеяния к сделанию равного...».¹³ Уверенный в творческих силах России, он мыслил процесс созидания национальной культуры как деятельность «российских чад» «всякого чина и состояния» и обращался к ним с призывом к «трудоположению и подвигу» на поприще науки.¹⁴ Он жил идеей культуры, обращенной не к одному сословию, а к нации, и в своей

⁹ С. Ф. Елеонский. Литература и народное творчество. Пособие для учителей средней школы. Учпедгиз, М., 1956, стр. 51—53.

¹⁰ Предисловие Тредиаковского («Предуведомление от трудившегося в переводе») ко II тому «Римской истории» Роллена (СПб., 1762, стр. ВК, КГ).

¹¹ Там же.

¹² Предисловие Тредиаковского («Предуведомление от трудившегося в переводе») к I тому «Римской истории» Роллена (СПб., 1761, стр. I).

¹³ Сочинения Тредьяковского, том третий, изд. А. Смирдина, СПб., 1849, стр. 585.

¹⁴ Там же, том первый, стр. 545.

собственной просветительной деятельности отразил эту идею. По поводу одной из своих филологических работ он писал, что «наибольшее» трудился для пользы «простых людей и учеников» и при этом ратовал за «простоту... слова», «понятную всем...».¹⁵ Еще до Ломоносова он пытался бороться с «недоброхотами» русских ученых в Петербургской академии наук, а затем одновременно с ним отстаивал право «россиян» на «высокие науки».

Все это связывает Тредиаковского с историческим делом Ломоносова. Деятельность того и другого по своему объективному историческому смыслу обнаруживает черты единства, при всех принципиальных различиях в их взглядах и враждебности личных взаимоотношений.

Тредиаковского и Ломоносова объединяет демократическая тенденция, проходящая через их труд на благо своей страны.¹⁶ Эта тенденция объединяет их и как зачинателей фольклористической мысли в России. Характерно, что в осмыслении принципиальных вопросов науки, в первую очередь — филологической и исторической, в теоретическом и практическом решении возникающих проблем новой русской литературы и Тредиаковский и Ломоносов обращались к народному творчеству.

Интересы Ломоносова в области фольклора безусловно шире, чем у Тредиаковского. Вместе с тем Тредиаковский обратил внимание на такие стороны русской народной поэзии, которые, по-видимому, никем другим в России первой половины XVIII века в печатных работах не были затронуты.

Тредиаковский поставил проблему русского народного стиха. Его суждения по этому вопросу, в ряду с другими историко-литературными материалами, показывают, что пробуждавшийся теоретический интерес к фольклору помогал зачинателям русской филологии в поисках и утверждении национальных основ новой русской литературы вообще и стихосложения в особенности. Эти суждения показывают, как русская народная поэзия помогала Тредиаковскому подчинять восприятие опыта античной и западноевропейской поэтической культуры задачам русской литературы, как в свою очередь освоение зарубежной литературно-теоретической мысли и литературы античной эпохи и нового времени давало дополнительные возможности осмысливать русскую народную и книжную поэзию в сравнительно широкой исторической перспективе. В работах Тредиаковского «встречаются» друг с другом античный эпос и русский фольклор, служа ученому опорой в установлении норм новой русской поэзии и версификации.

¹⁵ Там же, том третий, стр. I, IV.

¹⁶ Эти положения доказываются нами в статье «К характеристике идейных позиций Тредиаковского» (в кн.: «Ученые записки Пермского государственного педагогического института», вып. 16, Пермь, 1951, стр. 99—129).

Есть внутренняя связь между обращениями Тредиаковского к народной поэзии, которые накапливаются в его работах за 30—60-е годы. Это сказалось, между прочим, в характерной для него манере опираться в новых литературных выступлениях на мысли, которые были им высказаны ранее, и развивать их дальше. Так, в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» автор в прямой связи с вопросами фольклорного стиха ссылается на свое «Мнение о начале поэзии и стихов вообще», а в «Предъизъяснении об иронической пииме» — на труд «О древнем, среднем и новом стихотворении российском».

Впервые Тредиаковский говорит о народной поэзии в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735). Нет необходимости приводить в настоящей статье различные толкования этого трактата. Как бы ни рассматривался вопрос о характере и происхождении реформы Тредиаковского,¹⁷ она отвечала исторической задаче создания национальной версификации и так или иначе обозначила новую веху в истории русской поэтической культуры.

Здесь Тредиаковский прямо указал на русский фольклор как на источник своего нового способа «к сложению российских стихов». Он писал: «...поистинне, всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела. Даром, что слог ее весьма не красный, от неискусства слагающих; но слатчайшее, приятнейшее и правильнейшее разнообразных ее стоп, нежели иногда греческих и латинских, падение, подало мне не погрешительное руководство к введению в новый мой эксаметр и пентаметр оных выше объявленных двусложных тонических стоп».¹⁸

Как показывает приведенный текст, Тредиаковский не ограничивается лишь общим указанием на фольклорные источники нового способа стихосложения. Он говорит о том, что именно он взял от фольклора для реформы стиха.

Оригинальность своего «нового стихосложения» Тредиаковский доказывает прежде всего тем, что оно выведено из внутренних свойств русской версификации и, следовательно, отвечает им («силу», т. е. сущность нового способа, он взял из «внутренностей свойства, нашему стиху приличного», т. е. из того, что составляет его качественное своеобразие¹⁹). Носителем таких свойств, по

¹⁷ Мы имеем в виду толкование реформы Тредиаковского или как открытия, или как следствия и своеобразного «узаконения» постепенной тонизации русского стиха, а также другие ее объяснения.

¹⁸ Тредиаковский. Стихотворения, стр. 351—352.

¹⁹ «Сила... Существо дела» (Словарь Академии Российской, ч. VI, СПб., 1794, стр. 441). «Свойство... Особенное качество какой-нибудь вещи, отличающее оную от прочих вещей» (там же, стр. 370).

утверждению Тредиаковского, и является народное творчество, так как это поэзия исконно русская, «природная», подлинно национальная.

Поэтому, ограничивая сходство своей системы версификации с французской лишь цезурой и рифмой, а также использованием терминологии, Тредиаковский подчеркивает, что существо нового способа, или, по его словам, «самое дело», «самую вещь» взял из русской народной поэзии. «Подлинно, — писал он, — почти все звания при стихе употребляемые, занял я у французской версификации; но самое дело у самой нашей природной, наидревнейшей оных простых людей поэзии».²⁰ И далее: «...я французской версификации должен мешком, а старинной российской поэзии всеми тысячью рублями. Однако Франции я обязан и за слова; но искреннейше благодарю Россиянин России за самую вещь».²¹

Как известно, сущностью «способа» Тредиаковского является принцип равномерного распределения ударений по стиху, идея «тónической» стопы. Именно «тónическая» стопа и составляет, по его мнению, специфику русского стиха,²² отличая русский стих от античного. Используя термины античной метрики в применении к своему реформированному стиху, Тредиаковский подчеркивает, что «долгота и краткость слогов, в новом сем российском стихосложении не такая разумеется, какова у Греков и у Латин в сложении стихов употребляется; но токмо тónическая, то есть, в едином ударении голоса состоящая...».²³ Соответствие предложенной теории «тónической» стопы внутренним свойствам русского стиха Тредиаковский, в частности, поясняет следующим сопоставлением: если античное стопосложение с его долготой и краткостью слогов «с великим трудом познавается», то равномерное чередование ударных и неударных слогов в «тónическом» российском стихе «всякому из Великороссиан» понятно и доступно.

По свидетельству Тредиаковского, к идее тонической стопы и, следовательно, к пониманию роли в русском стихе равномерно рас-

²⁰ В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. СПб., 1735, стр. 352.

²¹ Там же.

²² В работе «Способ к сложению российских стихов против выданного в 1735 году исправленный и дополненный» Тредиаковский писал: «Тоническое Количество в наших Стихах есть самое первое и главное основание, и как жизнь и душа оных. Введено оно в наше Стихотворение в 1735 году» (В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I. СПб., 1752, стр. 103).

²³ В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, стр. 336. Тредиаковский, как и другие после него в XVIII веке, «долгим» называл ударный слог (а «кратким» — безударный): «Но чрез долгий слог в российском стихотворстве разумеется тот, на который просодия, или, как говорят, сила ударяет» (там же). Термин «тон» он объяснял как ударение (от «tonos» — «напряжение», «ударение»).

пределенных ударений привела его народная поэзия. Она послужила Тредиаковскому не только источником идеи нового стиха, но и образцом той самой тонической «долготы» и «краткости» слогов, которая отличает мерность русского стиха от античного. В «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» о народном стихе прямо сказано, как о поэзии, «весьма долготою и краткостию слогов мерной...»,²⁴ иными словами, отличающейся равномерным распределением («мерностью») ударных («долгих») и безударных («кратких») слогов, т. е. равномерным распределением ударений по стиху, тоникой. Но это значит, что Тредиаковский обратил внимание также на роль ударений, на тонику в народном стихе (хотя и не сумел ее правильно истолковать), утверждал единство природы стиха русской литературы и русской народной поэзии.

Таким образом, все, что в способе русской версификации, предложенном Тредиаковским, было действительно новаторским, сам он связывал с народной поэзией.

Независимо от истинного отношения теории Тредиаковского к народной версификации показательна сама идея, составившая в этой его работе решающий аргумент: национальная самобытность нового «способа к сложению российских стихов» доказывается возведением его к фольклорным истокам. Так, русская стиховедческая наука началась с утверждения народной поэзии в качестве исторической основы и творческого источника литературного стихотворства новой эпохи.²⁵

Вместе с тем здесь в самом подходе Тредиаковского к народной поэзии как к источнику русской литературной версификации сказалась половинчатость его реформы, его зависимость от традиций силлабики. Если реформа 1735 года в своей подлинно новаторской части ограничилась правилами шестистопного стиха («эксаметра»), если в трактате 1735 года отвечающими русской версификации считались одни двусложные стопы, то в соответствии с этим народная поэзия в качестве практического руководства была принята Тредиаковским лишь для гексаметра, состоящего при этом только из двусложных стоп (она дала «руководство к введению в новый... эксаметр и пентаметр... двусложных тонических стоп»). А между тем сам Тредиаковский в той же работе отметил в русской народной поэзии разнообразие стоп («разнообразных ее стоп... падение...»).

Замечание Тредиаковского о разнообразии стоп народного стиха может быть истолковано двояко. Возможно, он имел в виду

²⁴ Тредиаковский. Стихотворения, стр. 347.

²⁵ Рассмотрение вопроса о других источниках реформы Тредиаковского выходит за пределы темы, излагаемой в настоящей статье.

разнообразие в пределах двусложных стоп (ямб, хорей, пиррихий и спондей в ямбе и в хорее), или уже в это время он усматривал в народной поэзии не только одни двусложные стопы, но и трехсложные и сочетание двусложных и трехсложных стоп.

Если Тредиаковский имел в виду разнообразие двусложных стоп и только их находил в фольклорной версификации, то, может быть, в связи с этим ограничивался двусложными стопами и для литературного русского стиха. Если же допустить, что он в пору написания «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» обнаруживал в народном стихе не только двусложные стопы, то тогда возникает еще одно предположение: поскольку он пока придавал народной поэзии значение образца версификации лишь в пределах двусложных размеров, остальные «стопы» народного стиха его в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» не интересовали (и в этом по-своему сказалась зависимость автора от силлабической версификации).

В обоих случаях сравнение названной и других работ Тредиаковского показывает, что в 50-е годы в его «тонической» теории народного стиха и в применении этой теории происходят изменения, в связи с чем иное выражение получает у него и идея единства внутренней природы русской литературной и фольклорной версификации.

Естественно, сам по себе вопрос о том, какие стопы Тредиаковский обнаруживал в разное время в народных песнях, едва ли может казаться существенным. Но дело в том, что материал, относящийся к этому вопросу, иллюстрирует, в ряду с другими фактами, зависимость суждений Тредиаковского о народном стихе от общей эволюции филолога в теории и практике стихосложения в 30—60-е годы.

В 1752 году Тредиаковский опубликовал новое руководство по версификации: «Способ к сложению российских стихов против выданного в 1735 годе исправленный и дополненный». «Это было, — говорит о «Способе...» Б. В. Томашевский, — первое более или менее законченное изложение теории русского тонического стиха, так как она сложилась под совместным действием и взглядов Тредиаковского, и взглядов Ломоносова, и отчасти Сумарокова».²⁶ Обнаруживая элементы полемики с Ломоносовым, названная работа, как известно, свидетельствовала о том, что в своей теории русского стиха Тредиаковский «сдавал позиции» под воздействием системы стихосложения Ломоносова, восторжествовавшей и в теории, и в поэтической практике. Л. В. Пумпянский эта «образцо-

²⁶ Б. В. Томашевский. Стилистика и стихосложение. Учпедгиз, Л., 1959, стр. 347.

вая работа филолога-стиховеда»²⁷ оценивалась даже как «учебник ломоносовской системы стихосложения...».²⁸

Усвоение Тредиаковским ломоносовской системы версификации отразилось и на его трактовке вопросов народного стихосложения, в особенности — на суждениях о «тónической» природе фольклорного стиха.

Приняв трехсложные стопы, сделав уступки (но не до конца) в вопросе о применении ямба, он обнаруживает и трехсложные размеры и ямб в народном стихе. Теперь отождествление системы русского литературного стихосложения с фольклорным сказывается сильнее (хотя вместе с тем постоянно подчеркивается, что специфическим свойством народного стиха является отсутствие рифмы).

Уже в предисловии к «Аргениде» (1751) Тредиаковский называет в русских народных песнях все стопы, предложенные в 1739 году Ломоносовым для русской литературной версификации (и принятые Тредиаковским в «Способе к сложению российских стихов...», 1752). Автор предисловия пишет: «Простых наших людей песни... идут то Хореем, то Иамбом, то Анапестом, то Дактилем...».²⁹ В приведенной цитате отразились те принципиальные изменения во взглядах Тредиаковского на русскую версификацию, которые определили содержание его «Способа к сложению российских стихов...» 1752 года.

В статье «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» в народных песнях названы те же стопы и, кроме того, в сравнении с предисловием к «Аргениде» добавлены пиррихий и сочетания хорей с дактилем и ямба с анапестом.

В работе «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» в фольклорной поэзии названы «...хорей или трохей, иамб и пиррихий, дактиль и анапест».³⁰ Тут обозначены не все размеры, которые Тредиаковский находил в народном стихе. Основываясь на своих наблюдениях над народными песнями, он утверждал, что в «древнем стихотворении» названные размеры «особливо господствовали...».³¹ Вероятно, не названными здесь остались сочетания хорей с дактилем и ямба с анапестом, указанные в статье «Мнение о начале поэзии и стихов вообще». Следует

²⁷ Л. В. Пумпянский. Глава «Тредиаковский» в кн.: История русской литературы, т. III, стр. 228.

²⁸ Там же.

²⁹ В. К. Тредиаковский. Предупреждение от трудившегося в переводе. В кн.: Аргенида, повесть героическая, сочиненная Иоанном Барклаем, а с латинского на славено-русский переведенная и Митологическими изъяснениями умноженная от Василья Тредиаковского. . ., т. I. СПб., 1751, стр. LXVI.

³⁰ Тредиаковский. Стихотворения, стр. 421.

³¹ Там же.

заметить, что и эти сочетания стоп впервые (для теории русского стиха) фигурируют в «Письме о правилах российского стихотворства» Ломоносова.³²

В предисловии к своей «Тилемахиде» Тредиаковский снова говорит о «древнем российском», а следовательно, и о фольклорном стихе как о тоническом с двусложными и трехсложными стопами.³³

Характерно, что в перечне стоп, найденных Тредиаковским в народном стихе, не назван амфибрахий — нет его и в теории русского литературного стиха ни у Ломоносова, ни у Тредиаковского.³⁴

Итак, действительно ли Тредиаковский нашел в народной поэзии трехсложные стопы и их сочетание с родственными двусложными только к 50-м годам, или же видел их в русском фольклоре и раньше, но не упоминал (так как это не согласовывалось с его идеей опоры на фольклор в работе, в которой такие стопы отрицались как несвойственные русскому стиху), во всяком случае Тредиаковский назвал их в народной поэзии лишь после того, как принял эти стопы под влиянием восторжествовавшей ломоносовской теории и практики стихосложения. При этом, как и в «Новом и кратком способе сложения стихов российских», он и в 50—60-е годы называет в народном стихе те стопы, которые приемлет в литературе. Но теперь, так же как в версификации литературы, «стопосложение» народной поэзии обнаруживает в его трактовке то самое разнообразие, которое он в 1735 году только отметил.

С изменением взглядов Тредиаковского, по-видимому, связано и другое его указание на одно из свойств «тонического» «первобытного... сложения стихов» у русских славян: «Стихи были у них и большие и малые».³⁵ Следовательно, одной из черт русского народного стиха, на основании которого он судил о языческой поэзии Руси, Тредиаковский здесь считает наличие коротких и длинных стихов, одинаковых по своей природе, — «тонических». Показательно, что на эту сторону народного стиха филолог указывал уже после того, как и в литературе принял короткий стих в качестве «правомерного» вида силлабо-тонической системы.³⁶

³² М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 14.

³³ В. К. Тредиаковский. Предъизъяснение об иронической пинме. В кн.: Сочинения Тредиаковского, том второй, стр. 61—62.

³⁴ Как отметил Б. В. Томашевский, «Тредиаковский, подобно Ломоносову, оперировал только четырьмя стопами: ямбом, хореем, анапестом и дактилем. (см. Б. В. Томашевский. Стилистика и стихосложение, стр. 350).

³⁵ Тредиаковский. Стихотворения, стр. 421.

³⁶ Если в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» реформировался только длинный стих, то в «Способе к сложению российских стихов против выданного в 1735 году исправленном и дополненном» в перечень коротких «тонических» стихов (см. стр. 103) включается стих, состоя-

Таким образом, если обращения к народной поэзии давали Тредиаковскому опору в решении проблем новой русской литературы, то в свою очередь изменения в литературных взглядах отзывались на его трактовках вопросов народной поэзии. Заняв новые позиции в области русской литературной версификации, он как бы обосновывает это новое тем, что находит и отмечает в национальном фольклоре такие же стихотворные размеры, какие принял в литературе.

При этом в оценке одной из форм стопосложения, которые Тредиаковский считает общими для русской литературы и для русской народной поэзии, у него проявляется двойственность. Он по-разному оценивает ямб в зависимости от того, находит ли этот стихотворный размер в литературе или в фольклоре.

Уясняя данный вопрос, надо учитывать стремление Тредиаковского в 50—60-х годах «примирить» принятое из ломоносовской системы версификации со старыми своими взглядами, которые во многом восходят в конечном счете к непреодоленным традициям силлабики. Это отразилось и в «Способе к сложению российских стихов...» (1752), оцененном Л. В. Пумпянским как «учебник» «ломоносовского стихосложения», и в других работах Тредиаковского. Выдвинув, как наиболее употребительные, двусложные стопы, он и в 50—60-е годы настойчиво подчеркивает превосходство хореев над ямбом (в русском стихе). В предисловии к изданию своих сочинений и переводов он по существу продолжает придерживаться своего старого мнения: «...Хореический Стих есть сроднее нашему языку...».³⁷ В работе «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» он заявляет, что теперь «хореический... род» принимают русские стихотворцы, и этим спор о хорее и ямбе решается в пользу хореев,³⁸ что он в наибольшей степени отвечает свойствам русского языка — периоды в русской речи якобы «чаще и мернее оканчиваются хореем...».³⁹ Утверждая и в других работах первенствующее значение хореев, Тредиаковский в значительной степени сохраняет свое «предубеждение» против ямба (хотя вместе с тем вынужден признать ямб в применении к высоким жанрам и сам пользуется этой стопой в оде).⁴⁰

щий из одной стопы («монометр»). (В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I, стр. 103).

³⁷ Там же. К читателю, стр. XIX.

³⁸ Тредиаковский, Стихотворения, стр. 442.

³⁹ Там же, стр. 436.

⁴⁰ В этом плане примечателен такой факт, как переработка оды на королеву Елизавету с заменой силлабического стиха ямбическим (см. об этом: Л. И. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха. ГИХЛ, 1958, стр. 323—325).

В критической статье о сочинениях Сумарокова Тредиаковский заявляет, что в русской литературе ямбические стихи заимствованы из немецкой литературы. Здесь мы читаем: «...иамбический стих гексаметр есть стих особливо немецкого стихотворения, равно как и все прочие иамбические стихи: к нам они введены с образца стихотворения, употребляемого помянутым народом».⁴¹ Именно поэтому, как он считает, гексаметры сумароковских «Хорева», «Гамлета» и «Эпистол» в большинстве «порочны по составу своему».⁴² По мнению автора, «стихотворение» (т. е. стихосложение) Сумарокова «и составом, и сочинением, и гладкостью не родное: где выскочит хороший стих в его сочинениях».⁴³

Вместе с тем в той же статье о сочинениях Сумарокова речь идет и о иных путях возникновения ямба в русской поэзии. Ход мысли Тредиаковского таков. Задолго до того, как Сумароков (называвший себя «отцом» «российского стихотворства») узнал о хореях и ямбах, в русской поэзии уже было открыто «количество российских стихов» (т. е. тонический ритм, принцип равномерного чередования ударных и неударных слогов в стихе). При этом первым в русской версификации, основанной на «т́оническом количестве», был хорей. Вслед за ним «по тому же введенному уже тоническому количеству» (курсив мой, — Г. Б.), еще задолго до Сумарокова, в русском стихе возник ямб.⁴⁴ Здесь Тредиаковский не только отстаивает историческое первенство хорея в русской поэзии (что отвечает истине) и свой приоритет реформатора версификации, но говорит и о ямбе как о стопе, возникшей «изнутри», в недрах русского стиха, на основе открытой в нем тоники. Тредиаковский не называет имя того, кто ввел эту ямбическую стопу, основанную на русской тонике. Конечно, и тут нужно разуть его самого. В предисловии к «Аргениде», напечатанной в 1751 году, Тредиаковский называет ямб среди стоп «древнего российского стихотворения», т. е. считает принадлежностью «природного», исконно русского народного стиха. Ту же мысль о ямбе как об исконно русском народном стихе он повторил в 1752 году («Мнение о начале поэзии и стихов вообще») и в 1755 году («О древнем, среднем и новом стихотворении российском»). Но в 1752 году

⁴¹ В. К. Тредиаковский. Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданное от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, 1750, в Санктпетербурге. См.: Тредиаковский. Стихотворения, стр. 389.

⁴² Там же.

⁴³ Там же, стр. 390.

⁴⁴ В работе «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» Тредиаковский так объясняет термин «т́оническое количество»: «Количество сие есть собственно так называемое в Просодии: ибо от пункта понижения к пункту возвышения есть расстояние; а сие есть величина; и потому истинное количество» (Тредиаковский. Стихотворения, стр. 437).

в учебнике «Способ к сложению российских стихов против выданного в 1735 годе исправленный и дополненный» он снова утверждает, что ямбический гекзаметр введен в русскую литературу «с образца Немецких Стихов...»,⁴⁵ и, наконец, в «Предъизъяснении об ироической пииме» (1766) возвращается к мысли о немецком происхождении ямбов, не ограничивая их одним гекзаметром: «...Рифмические Стихи, бесстопные от Поляков, а Иамбический пришли к нам от Германцов...».⁴⁶ «В своих раздумьях о характере русского стиха, — пишет Д. Д. Благой, — Тредиаковский не мог не учитывать тонической структуры современного ему немецкого стиха».⁴⁷ Очевидно, вопрос об этой стороне филологической позиции Тредиаковского требует дальнейшего изучения.

Итак, Тредиаковский выступал с утверждениями, которые, казалось бы, находились в непримиримом противоречии с его же собственной оценкой ямба как одной из стоп исконно русского фольклорного стиха. Нет ничего удивительного в том, что часто непоследовательный и дуалистичный, Тредиаковский, кажется, нигде не объяснил и не отметил этого обстоятельства. Может быть, он здесь и не видел противоречия. Возможно, различая рифмованный ямб русской литературы и безрифменные ямбические стихи, обнаруженные им в русской народной поэзии, Тредиаковский хотел использовать выдвинутое им ошибочное положение о «немецком» происхождении ямба в русской литературе XVIII века, как полемическое оружие в борьбе с Ломоносовым и Сумароковым, широко применявшими эту важнейшую стопу русского стиха. По-видимому, так Тредиаковский пытался утвердить версию, согласно которой Ломоносов и Сумароков, как пропагандисты ямба, оказывались как бы вне национальной традиции. Осуждением Ломоносова звучат слова Тредиаковского о том, что некий «иамбических од сочинитель» «расплодил» в русской литературе «сочетание стихов».⁴⁸ Противопоставляя хорей как стопу, соответствующую русскому языку, — ямбу, объявленному плодом заимствования, Тредиаковский, по-видимому, пытался таким путем

⁴⁵ В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I, стр. 111.

⁴⁶ Сочинения Тредьяковского, том второй, отд. I, стр. LXII.

⁴⁷ Д. Благой. История русской литературы XVIII в. Изд. 3-е, Учпедгиз, М., 1955, стр. 126. Этот вопрос ставится в работах Л. В. Пумпянского.

⁴⁸ В. К. Тредиаковский. Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, 1750, в Санктпетербурге. В кн.: Тредиаковский. Стихотворения, стр. 390. Под «сочетанием стихов» Тредиаковский понимал сочетание рифм («Смещение ... Рифм называется вообще: сочетание стихов». См.: Тредиаковский. Способ к сложению российских стихов..., 1752 г. В кн.: В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I, стр. 108).

показать в выгодном для себя свете соотношение его собственных заслуг в области русской версификации и заслуг Ломоносова. Это было как раз в те годы, когда торжество ломоносовской системы версификации оказало влияние на суждения самого Тредиаковского о народном стихе.

В сопоставлении со всеми этими противоречиями Тредиаковского еще ярче ощущаются ясность и реалистичность, смелость и широта мысли, сказавшиеся в постановке проблемы русского стихосложения Ломоносовым. Для него признание черт соответствия в русской и немецкой версификации, как в силлабо-тонических системах, ни в какой мере не противоречило глубокому пониманию самобытности русского стихосложения, возникшего как «собственное и природное...» и обязанного своими свойствами «природному... свойству» русской речи.

Единственной работой, в которой Тредиаковский иллюстрировал свою теорию строения народного стиха, является «Мнение о начале поэзии и стихов вообще».

Здесь он «в показание примера» расчленяет на стопы отрывки из народных песен:

«Хорей:

Отста	вала	лебедь	бела	я
Как от	ста́да	лебе	дино	ва

Хорей с дактилем:

У ко	лодезя	у сту	денова
Доброй	мо́лодецъ	сам ко	ня поил
Кра́сна	де́вица	воду	черпала

Дактиль:

Ярка не	я́рка ба	ран не ба	ран
Стара О	вечка не	ярина	чка

Иамб:

Дале́	че ох	дале́	че во	чистом	поле
Не трав	ка не	мурав	ка за́	шата	ласа

Иамб с анапестом:

Не шуми	ма́ти	зеле́	на дубро	ва
Не мешай	цвести	лазо	реву цве́	ту

Анапест:

Ой ты по	люшко по	люшко чи	стое
Ничево	мне ты по	ле не рó	дило
Ох ты рó	дило толь	ко роки	тов куст». ⁴⁹

Считать ли, что народно-поэтические тексты, приведенные Тредиаковским, имеют силлабо-тоническую структуру,⁵⁰ или не считать,⁵¹ несомненно одно: представленные как образцы различных размеров «тónического» стиха, они демонстрировали метрическое разнообразие, богатство народной песенной поэзии. Ошибочная идея силлабо-тонической природы русского народного стиха — в том виде, в каком данная идея раскрывается в работах Тредиаковского с 50-х годов, — была у него формой осознания этого богатства. Данные иллюстрации относятся к тому времени, когда он уже не ограничивал новую русскую версификацию шестистопным тринадцатисложником: здесь не только шестистопный стих, но и четырехстопные стихи, и включают они не больше 9—12 слогов. Интересно заметить, что при расчленении народных песен на стопы Тредиаковский как бы «направляет» читателя, ставя знак ударения над теми слогами, которые у кого-либо в произнесении песни могли оказаться неударенными, из-за чего была бы «разрушена» «тónическая» метрика стиха (например, «мóлодец», «красна дéвица...», «матí»). Вполне вероятно, что в примере «намба» подведение двух последних слогов каждой строки под схему ямбической стопы могло иметь основания для Тредиаковского в исполнении песни — протяжном, в котором эти слоги окажутся отягченными. Может быть, вообще членение народных песен на стопы Тредиаковский делал и с учетом того, как мог воспринять их в напеве. В этой связи целесообразно напомнить, что А. Ф. Гильфердинг, слушая пение былины, обнаружил в ней в исполнении певца «тоническое стопосложение стиха...», в то время как «в печатном тексте» былины ее «стихотворное строение», по мнению собирателя, выражалось «только дактилическим окончанием стиха...».⁵²

Для истории русской фольклористики существенно, что «стопную» теорию народного стиха, выдвинутую Тредиаковским, нельзя

⁴⁹ В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою т. I, стр. 170—171.

⁵⁰ См.: С. М. Бонди. Тредиаковский. Ломоносов. Сумароков. В кн.: Тредиаковский. Стихотворения, стр. 86; М. П. Штокмар. Исследования в области русского народного стихосложения. Изд. АН СССР, М., 1952, стр. 17—19.

⁵¹ См.: Л. В. Пумпянский. Глава «Тредиаковский» в кн.: История русской литературы, т. III, стр. 259.

⁵² А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. I. М.—Л., 1949, стр. 64.

рассматривать как случайный эпизод, связанный лишь с его именем. Начавшись с Тредиаковского, идея силлабо-тонической природы народного стиха проявляет себя в истории русского стиховедения вплоть до XX века. Исторический обзор этой теории дан в монографии М. П. Штокмара «Исследования в области русского народного стихосложения». Здесь показано, что после Тредиаковского в качестве представителей «стопной» теории (в различных ее вариантах) следуют в XIX веке — Е. Болховитинов, К. Калайдович, Д. Самсонов, Н. Цертелев, Д. Дубенский, Н. Квашнин-Самарин, А. Ф. Гильфердинг, П. Д. Голохвастов, О. Агренева и др., в XX веке — В. А. Келтуяла.⁵³

Если Тредиаковский явился начинателем «стопной» теории народного стиха, то был ли он в 30—50-е годы XVIII века вместе с тем и ее единственным представителем?

Есть основания предполагать, что мысль о силлабо-тонической природе народного стиха разделял и Ломоносов. В одной из его черновых заметок, вошедших в так называемую рукопись № 112, записаны несколько фраз и отдельных слов и тут же — метрическая схема.⁵⁴ П. Н. Берков склоняется к предположению, что в этой записи «отразилось изучение Ломоносовым метрики народных песен».⁵⁵ В данной схеме у Ломоносова представлены хорей, хорей с дактилем, ямб и ямб с анапестом, т. е., за исключением дактиля, те же размеры, что и у Тредиаковского в его иллюстрациях метрики фольклорного стиха. Следовательно, если эти заметки Ломоносова касаются народных песен, то он тоже, как и Тредиаковский, расчленял фольклорный стих на стопы; тогда этот факт, включенный в историю стиховедения, также может иллюстрировать закономерность возникновения «стопной» теории русского народного стиха как исторически начальной формы его теоретического осмысления.

Один из видных представителей «стопной» теории народного стиха П. Д. Голохвастов дал такое определение его своеобразия: «У русского народа: песня что венок, стих что цветок, стопа что лепесток: все и каждое по-своему цельно».⁵⁶ В процитированном отзыве выразилось эмоциональное восприятие народной поэзии.

⁵³ См.: М. П. Штокмар. Исследования в области русского народного стихосложения, стр. 21—34. М. П. Штокмар обратил внимание на то, что Брюсов в работе «О русском стихосложении» сопоставил Тредиаковского и Гильфердинга как представителей «стопной» теории. «Знаю, — писал Брюсов, — что можно найти в народных стихах ямбы, хорей, как их находил уже Тредьяковский, а позднее Гильфердинг...» (там же, стр. 122—123).

⁵⁴ Архив АН СССР, 20, оп. I, № 5, л. 132 об.

⁵⁵ П. Н. Берков. Ломоносов и фольклор. Сборник «Ломоносов», т. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 113.

⁵⁶ П. Д. Голохвастов. Законы стиха русского народного и нашего литературного. СПб., 1883, стр. 50.

Та же черта сказалась и у основателя «стопной» теории фольклорного стиха: Тредиаковскому было присуще живое ощущение внутренней силы и «музыкальности», отличающих русский народный песенный стих. В народных песнях ученый глубоко почувствовал, хотя и неверно осмыслил, то подлинно «стиховное»,⁵⁷ ту органическую глубинную ритмичность, какие отличают поэзию от прозы. Связывая песенное начало стиха с наличием в нем «меры и падения» («меры и падения, чем стих поется, и разнится от прозы...»,⁵⁸ курсив мой, — Г. Б.), Тредиаковский считал, что эти качества особенно отличают фольклорный стих (уже отмечалось, что он говорил о народном стихотворстве как о поэзии, «весьма долгою и краткостию слогов мерной...»⁵⁹). Таким образом, он обратил внимание не только на метр, на «стопы» народного стиха («мера»), но и на ритм («падение»). И его восприятие эстетических достоинств фольклорного стихосложения также не ограничивалось лишь метрическим разнообразием последнего («разнообразных ее стоп...»). Поистине восторженный отзыв народная поэзия вызывала у него своей ритмикой, «падением» (при этом надо учитывать, что Тредиаковский обнаруживал эстетически совершенный ритм и напевность в стихах «без стоп» — коротких). Нет никаких оснований считать фразой его утверждение, что «падение» («стоп... падение...») в русском народном стихе «слатчайшее, приятнейшее и правильнейшее...», нежели иногда греческих и латинских...» стихов⁶⁰ (курсив мой, — Г. Б.). Не будет преувеличением сказать, что в этом заявлении Тредиаковского выразились тенденции, сыгравшие решающую роль во всей его последующей работе над вопросами версификации. По-видимому, именно с Тредиаковского начались сопоставления русского народного стиха с античным в плане утверждения достоинств устной русской поэзии. Чтобы понять, что значила такая оценка русского народного стиха в научной деятельности Тредиаковского, нужно рассматривать его смелое утверждение в связи с теми суждениями о кадансе, которые он настойчиво повторяет в своих работах.⁶¹ Он считает ритмику («падение») важнейшим условием

⁵⁷ Термин Тредиаковского. См., например, В. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, стр. 345.

⁵⁸ Там же, стр. 335. Термином «падение» Тредиаковский постоянно обозначает ритм стиха, каданс, каденцию. Правда, в одной из работ он переводит термин «каденция» как «размер» (см.: Тредиаковский. Стихотворения, стр. 355).

⁵⁹ Там же, стр. 347.

⁶⁰ Там же, стр. 352.

⁶¹ Тредиаковский понимал, что ритм, «падение» не сводятся к формальному соответствию стиха метрической схеме ямба, хоря и других силлабо-тонических размеров. Он учитывал, что при одном и том же метре, размере стихов их каданс будет неодинаков, что «падение» зависит от многих условий. Он при-

художественного совершенства стихотворной речи. Сведения о кадансе («падении») составляют часть его нормативной поэтики стиха. В «Способе к сложению российских стихов против выданного в 1735 году исправленном и дополненном» «падение» кладется в основу определения стихотворной речи.⁶² Тредиаковский многократно называет свойства, отличающие совершенную ритмическую структуру поэтического произведения, и эти повторяющиеся мысли облачаются в устойчивые «определения», которыми и обозначено в «эстетике» стиха самое главное из того, что дает ей «падение», каденция. «Падение» он определяет как «*глаткое и приятное слуху чрез весь стих стопами прехождение до самого конца*»⁶³ или, позднее, — без упоминания стоп, — «*гладкость Стиха, по всему стиху от начала до конца разливающаяся*».⁶⁴ Он пишет, что гекзаметр окажется прозаичным, «*ежели слаткого, приятного и лехкого падения не возъимеет*».⁶⁵ Короткие стихи, по его утверждению, «*падают по стиховному, и довольно глатко и слатко поются...*». Как утверждал Тредиаковский, найденный им способ версификации — «*плавный, приятный и слаткий...*»;⁶⁶ стихи, созданные по этому способу, будут «*с падением приятным слуху...*»;⁶⁷ новую версификацию отличает достоинство «*гладкого падения его, и приятного приражения слуху...*»;⁶⁸ в гекзаметрах героической поэмы периодическая речь должна «*слух наполнять... плавным, глатким и сцепляющимся падением...*»⁶⁹ (в приведенных цитатах курсив мой, — Г. Б.).

нимал во внимание, что ритмическое совершенство стиха зависит у поэта «от способности сочинения» и от особенностей стихотворца (см., например: В. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, стр. 340—343; «Предъизъяснение об иронической пиме», в кн.: Сочинения Тредиаковского, том второй, отд. 1, стр. 46; «Способ к сложению российских стихов против выданного в 1735 году исправленный и дополненный», в кн.: В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I, стр. 103).

⁶² В названном сочинении мы читаем: «Стих есть речь, имеющая многие слова, определенным числом Стоп с начала до конца падающая» (стр. 103).

⁶³ В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, стр. 140.

⁶⁴ В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I, стр. 140.

⁶⁵ В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, стр. 343.

⁶⁶ В. К. Тредиаковский. О древнем, среднем и новом стихотворении российском, стр. 428.

⁶⁷ В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, стр. 335.

⁶⁸ В. К. Тредиаковский. О древнем, среднем и новом стихотворении российском, стр. 442.

⁶⁹ Сочинения Тредьяковского, том второй, отд. I, стр. 46. (Предъизъяснение об иронической пиме).

Подобные определения (в известном смысле совершенно правомерные), — касаются ли они «эстетики» стиха или языка, — вполне в стиле филологических работ XVIII века. Вспомним хотя бы у Ломоносова такие общепризнанные определения свойств языка и стиля, как «бодрость» и «героический звон» (русского языка), «крепость» (немецкого языка), «великолепная Virгилиева важность, Овидиево приятное витийство...».⁷⁰

Как показывают приведенные цитаты, Тредиаковский начиная с 30-х по 60-е годы пользовался в своих работах в основном одними и теми же определениями совершенного каданса. Следовательно, то, что Тредиаковским сказано в трактате 1735 года о ритмике («падении») народного стиха — это не случайные впечатления, а терминированное — для языка филологии XVIII века, осознанное определение тех свойств поэтического ритма, которые он считал наиболее совершенными и к которым постоянно возвращался, излагая «правила» стихосложения.

В качестве стихотворных литературных произведений, обладающих свойствами совершенного каданса, филолог назвал в предисловии к «Тилемахиде» поэмы Гомера и Virгилия и свой стихотворный перевод «Похождений Телемака» Фенелона: присущие поэмам «Омира» и Марона «гладкость, приятность, с са́мою сладостию...» (курсив мой, — Г. Б.) представлены его «Тилемахидой».⁷¹

Таким образом, даже в отзыве о достоинствах стихотворной речи античных поэм и своей любимой «Тилемахиды» он не был столь эмоционален, как в оценке народной поэзии, где качества совершенной ритмики выражены, по его мнению, в наивысшей степени. При этом «падение» в народном стихе, с точки зрения Тредиаковского, порой не только «сладчайшее» и «приятнейшее», чем в античной поэзии, но и «правильнейшее», — следовательно, иногда в большей степени отвечает идеальной норме, «правилу», чем в античных стихах.

Если согласиться с тем, что такая оценка русского народного стихосложения была у Тредиаковского искренней и не случайной, то нельзя не признать и другое: она могла исходить лишь от того, кто проникся мыслью о его художественной полноценности.

Итак, версификация народной поэзии получила признание с позиций «высокой» литературной теории.

Может быть, с этим связан такой, кажется, исключительный в истории классицизма факт, как применение термина «поэзия»

⁷⁰ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 13, 391, 392.

⁷¹ Сочинения Тредьяковского, том второй, отд. I, стр. 78. (Предъизъяснение об иронической пиниме).

к народной песне, причем Тредиаковский делает это достаточно настойчиво («...в особой поэзии... у нашего простого народа...», «поэзия нашего простого народа...», «...у... простых людей поэзии»). Какой смысл вкладывал ученый в термин «поэзия», относя его к народным песням?

Как известно, в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» понятие поэзии автор в основном ограничивает стихотворными произведениями, но вместе с тем в поэзии, понимаемой таким образом, т. е. в стихотворном произведении, он различает, во-первых, «материю, или дело», которое поэт намерен «писать», и, во-вторых, «версификацию, то есть, способ сложения стихов».⁷²

Называя народное творчество поэзией, Тредиаковский тоже не ограничивал ее одним стихосложением. Когда филолог писал о ней: «Даром, что слог её весьма не красный, от неискusstва слагающих; но... её стоп... падение, подало мне не погрешительное руководство...» и т. д., то включал сюда не только версификацию, но и «слог», и тут его формула: «поэзия... простого народа» оказывается предшественницей термина «народная поэзия», утвердившегося в науке.

В дальнейшем, уже проводя принципиальные различия между поэзией и стихотворством,⁷³ считая, что не всякий стихотворец может быть назван поэтом, Тредиаковский вместе с тем продолжал называть стихи поэзией, а иногда «стиховной поэзией».⁷⁴ Но после трактата 1735 года он, кажется, ни разу уже не назвал поэзией народные песни (возможно, потому, что преимущественно касался только одной ее стороны — версификации).

Может создаться впечатление, что в дальнейшем «фольклорная тема» в работах Тредиаковского уже никогда не проявлялась с такой значительностью, как в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов», что признание эстетической ценности народного стиха, как оно отразилось в этом трактате, было «взлетом», уже не повторившимся. К тому же в его работах 50-х годов встречаются такие суждения о фольклоре, которые, как может показаться, находятся в противоречии с тем, что он говорил о народной поэзии в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов». Немалое значение в этом плане имеет оговорка, которой Тредиаковский сопровождает в статье «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» цитирование народных песен и с которой

⁷² В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, стр. 334.

⁷³ В. К. Тредиаковский. Мнение о начале поэзии и стихов вообще. В кн.: В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I, стр. 156.

⁷⁴ Там же, стр. 172.

прямо связано его полемическое замечание о презрении к народным песням, сделанное в другой работе — «О древнем, среднем и новом стихотворении российском».

Необходимость обстоятельного анализа этих текстов заставляет процитировать их.

В первой из названных работ Тредиаковский, сославшись на «*мужицкие песни*» как на доказательство своих соображений «*о наших самых первоначальных стихах...*» (курсив мой, — Г. Б.), просит извинения: «Прошу читателя не зазреть⁷⁵ меня и извинить, что сообщаю здесь несколько отрывочков от наших подлых, но коренных стихов: делаю я сие токмо в показание примера».⁷⁶

Если в трактате 1735 года творец «коренных» стихов это «простой народ», а отличие народной поэзии от литературного творчества обозначается термином «особливая» «поэзия», то в работах «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» и «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» наряду с выражениями: «простонародные песни», «народные старинные песни» фигурируют: «*мужицкие песни*»,⁷⁷ «*подлые стихи*»,⁷⁸ «*подлые песни*», «*подлость стихотворцев и материй*».⁷⁹ Но там, где Тредиаковский называл народные песни «подлыми», он писал следующее: «...простонародное стихосложение за подлость стихотворцев и материй, от чесных и саном знаменитых людей, презираемо было всеконечно; так-что-и-поныне, но уже незнающие, и суетно строптивый люди зазирають неосновательно, ежели кто — народную старинную песню приведет токмо в свидетельство на-письме, хотя и с извинением в необходимости, о *первоначальном нашем стихотворении*» (курсив мой, — Г. Б.).⁸⁰

Свидетельствуют ли слова «подлые» песни, «подлые» стихи, вместо «народные», о том, что Тредиаковский стал относиться к народной поэзии так же, как он относился в своих грамматических работах к диалектной речи и к просторечному словоупотреблению? (Конечно, нет надобности доказывать, что в приведенных цитатах это слово не имеет того бранного смысла, который с ним связывается теперь и в котором оно уже употреблялось во времена Тредиаковского и им самим в частности). Эстетика классицизма

⁷⁵ См. Словарь Академии Российской, ч. III, СПб., 1792, стр. 139: «*Зазирать... зазреть... Порицаю, порочу, упрекаю, осуждаю*».

⁷⁶ В. К. Тредиаковский. Мнение о начале поэзии и стихов вообще. В кн.: В. Тредиаковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою, т. I, стр. 170.

⁷⁷ Там же, стр. 170.

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ В. К. Тредиаковский. О древнем, среднем и новом стихотворении российском, стр. 423.

⁸⁰ Там же.

как бы предопределяла для Тредиаковского трактовку народных песен как поэзии «низкого быта» («простонародных обыкновений»), своим содержанием, образами, стилем якобы несовместимой с «классицистским» пониманием «высокого». Эта трактовка и определила у Тредиаковского конкретный смысл слова «подлый» в применении к народным песням. В русском классицизме это слово часто выполняло функцию своеобразного «термина», который соответствовал определению Горация «*sermones repentes per humum*», уже Кантемиром переведенного как «речи по земле ползающие», или «подлые»,⁸¹ и определению Буало «Во прахе ползает...». Использование Кантемиром, Тредиаковским и другими писателями того времени слова «подлый» в указанном значении находится в русле классицизма, а само понятие «ползающий по земле» в применении к произведениям поэзии идет от литературной теории античной эпохи. Если этот своеобразный «термин» русского классицизма в оценке литературных произведений обозначал по преимуществу нарушение эстетической (и в частности, стилистической) нормы, то в применении Тредиаковским к фольклорным произведениям он указывал на их свойство, так же как Кантемир еще до Тредиаковского тем же словом определял свойство сатиры (своей собственной и при этом без всякого осуждения). Так, Тредиаковский отмечал (а в начале 60-х годов, может быть, и подчеркивал), что народные песни составляют для него область «обыкновенного», не возвышающегося над обыденным, «не возвышенное» и т. д. Очевидно, в эпоху классицизма это отвечало представлениям об «ортодоксальности» литературной позиции. И это звучало не так, как «особливая поэзия» или «поэзия... простого народа». Тредиаковский уступал определенно понятным обстоятельствам. Суждения о фольклоре, в которых появились слова «подлые песни», ясно показывают, что Тредиаковский стал опасаться говорить в печати («на письме») о народной поэзии и цитировать ее. Ученый разночинец боялся, что «читатель», представляющий мнение привилегированной среды, за это «зазрит» его (т. е. будет порицать, порочить, упрекать), что это идет в разрез с «общественным мнением», противоречит «вкусам», игнорировать которые он не считает возможным. Очевидно, Тредиаковский заключил, что в дворянской среде, в так называемом «обществе» высокомерное отношение к народной поэзии — признак хорошего тона.

Полемическое замечание Тредиаковского в адрес хулителей народной поэзии имело по существу принципиальное значение: он сказал о праве ученого обращаться к народной песне и вводить

⁸¹ См.: А. Д. Кантемир. Сочинения, письма и избранные переводы, т. I. Под ред. П. А. Ефремова, СПб., 1867, стр. 541.

ее в свои труды.⁸² Здесь же, может быть впервые в истории русской филологии, им было подмечено, что презрительное отношение к фольклору имеет большую давность, что оно идет от церковных традиций средневековья. При этом, учитывая какие-то факты церковной и гражданской истории Руси, ученый особо выделил презрение к народному творчеству со стороны знати, очевидно, церковной и светской («чесных, и саном знаменитых людей...»). Но, как считает Тредиаковский, если у «саном знаменитых людей» средневековой Руси это имело свои причины,⁸³ то так относиться к народной песне в новые времена уже нет никаких оснований. Что касается тех, кто продолжает такую традицию, то чтобы почувствовать всю резкость оценки, которую дал им Тредиаковский — «незнающие и суетно строптивые люди...», — нужно учесть возможные различия в значении этих слов в языке XVIII века (может быть, также в индивидуальном словоупотреблении Тредиаковского) и в современной речи. Слово «незнающие» Тредиаковский употребляет в значении «невежественные». Так, к числу «незнающих людей» он отнес всех, кто не владеет литературным произношением, допускает в устной речи «подлое употребление».⁸⁴ Если сейчас слово «строптивый» объясняется как «угрюмый и своенравный, любящий пререкается и действовать наперекор...»,⁸⁵ то в XVIII веке оно означало, по данным Словаря Академии Российской: «гордый, надменный, непокорный».⁸⁶ Робкий и забитый разночинец осмелился сказать, что для его времени высокомерное, нетерпимое отношение к народной песне и к тем ученым, которые обращаются к ней, — это свойство невежественных людей и проявление пустой (а может быть, «ничтожной») гордости и надменности.⁸⁷ Возможно, что это было сказано

⁸² Правда, как будто бы никто из его современников, упоминая в работах народные песни, не проявлял опасений по этому поводу.

⁸³ Знать «всёконечно» презирала народную поэзию «за подлость стихотворцев и материй...».

⁸⁴ Например, в речи «незнающих людей» Тредиаковский отмечает как широко распространенное явление мену которую он обозначает словом «подмен» — «(м) за (н)»: *микифор, микита, миколой* вместо *никифор, никита, николай...* или «*цядно за чадно, цасто за часто...*» и т. д. (В. К. Тредиаковский. Разговор о правописании. См.: Сочинения Тредьяковского, том третий, стр. 265).

⁸⁵ Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова, т. IV, Гос. изд. иностр. и национ. словарей, М., 1940, стр. 565.

⁸⁶ Словарь Академии Российской, ч. VI, СПб., 1794, стр. 884. У Срезневского в «Материалах для словаря древнерусского языка» (т. III, стр. 562) слово «строптивый» означает «лукавый, коварный». *Суетный* в Словаре Академии Российской — «тщетный, пустой, напрасный, бесполезный...» (ч. VI, стр. 945), у Срезневского — «пустой, ничтожный», «мирской», «ложный», «безумный» (т. III, стр. 611).

⁸⁷ Совершенно очевидно, что в контексте у Тредиаковского значение «непокорный» не подходит.

в адрес того самого «собирабельного» «читателя», у которого Тредиаковский за три года перед тем просил извинения за цитирование народных песен и предполагаемое мнение которого продолжало оказывать на него воздействие. Если бы это и было так, то вполне соответствовало бы его противоречивому, сложному облику.⁸⁸

Особенно ярко фольклоризм Тредиаковского проявился в его концепции «древнего, среднего и нового стихотворения российского». Первый и последний из трудов, в которых отразилась эта теория, хронологически отстоят друг от друга на 15 лет (1751—1766). Черты этой теории проступают уже в предисловии к «Аргениде» и в «Мнении о начале поэзии и стихов вообще». Подробно изложив свой взгляд на историю русской версификации в исследовании «О древнем, среднем и новом стихотворении российском», Тредиаковский сказанное в этой работе существенно дополнил новыми соображениями, изложенными в предисловии к «Тилемахиде».

В концепции Тредиаковского история русской версификации осмысливается в свете общих теоретических положений о художественном творчестве и стихотворной речи, в соотношении с определенно понятыми «закономерностями», устойчивыми временными и причинными связями, якобы повторяющимися в истории поэзии древних и новых народов. Внутренний пафос концепции Тредиаковского составляет идея возвращения русской литературы к исконному, «первородному», «природному» стиху, сохраненному в русском народном творчестве. Именно эта идея придает истории «древнего, среднего и нового стихотворения российского» единство и целенаправленность.

⁸⁸ Если допустить, хотя это очень мало вероятно, что у Тредиаковского слову «строптивый» соответствует более позднее, по-видимому, значение — «упрямый, упорный» (см.: А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. II, Гос. изд. иностр. и национ. словарей, М., 1959, стр. 400: «строптивый» — «непокорый, упрямый, упорный...»), то тогда смысл фразы представляется таким: упорное следование средневековому взгляду на фольклор — «пустое», и свойственно оно невежественным людям. Может быть, здесь Тредиаковский подразумевал «суетно строптивых людей» не только из дворянства, но и из духовенства.

Ю. В. С Т Е Н Н И К

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ТРАГЕДИЙ А. П. СУМАРОКОВА

Драматургии А. П. Сумарокова посвящено в нашей науке очень много работ. Но если общественно-политический смысл сумароковской трагедии и ее место в развитии русской литературы XVIII века раскрыты в советском литературоведении более или менее полно, то художественная структура и композиция его трагедий исследованы еще недостаточно. Этой теме посвящена лишь одна статья Г. А. Гуковского «О сумароковской трагедии».¹

В своей статье Г. А. Гуковский установил самостоятельность художественной системы трагедий Сумарокова и доказал ее независимость от французской драматургии XVII—XVIII веков. Внимание Г. А. Гуковского в основном было сосредоточено на рассмотрении отдельных элементов композиционной структуры трагедий в их взаимной обусловленности. Так, «простота драматического сюжета», фактическое отсутствие интриги, когда трудно говорить о какой-либо развязке, — эти основные черты сумароковских трагедий определили, по мнению Г. А. Гуковского, и отход Сумарокова от системы наперсничества (игравшей столь важную роль во французской трагедии), и обилие в его трагедиях монологов, и сокращение общего числа персонажей. Созданная Сумароковым художественная система сохранялась, по мнению Г. А. Гуковского, неизменной до конца его творчества, за исключением трагедий «Артистона» и «Семира», где драматург как будто отступает от своих принципов, но затем вновь к ним возвращается.²

Отдельно Г. А. Гуковским рассмотрен вопрос о «внеэстетической направленности трагедии (Сумарокова, — Ю. С.), тесно связанной с некоторыми композиционными особенностями ее».³ Исследователь имел здесь в виду «моральную направленность» трагедий Сумарокова, их задание «исправлять души зрителей».

¹ «Поэтика», сб. I, Изд. «Academia», Л., 1926, стр. 67—80

² Там же, стр. 72—73.

³ Там же, стр. 73.

Счастливые развязки большинства трагедий, «отчетливая морально-оценочная характеристика персонажей» объясняются в статье именно этой направленностью. Хотя данный вопрос рассматривается исследователем как стоящий особняком, связь между композиционной системой, созданной Сумароковым, и идейной устремленностью его трагедий ясно показана. К сожалению, метод, которым на тогдашнем этапе своей научной деятельности пользовался Г. А. Гуковский, придал его статье несколько односторонний, констатационный и слишком общий характер. Между тем художественная структура сумароковских трагедий, строго обусловленная их идейной направленностью, не оставалась неизменной. На различных этапах творчества писателя она по-своему совершенствовалась, пока, наконец, не приобрела в последних трагедиях тот законченный вид, который в наибольшей мере отвечал внутренней сущности всех его трагедий.

Сущность трагедий Сумарокова очень верно определил сам Г. А. Гуковский в своей другой работе: «Его трагедии должны были явиться демонстрацией его политических взглядов, училищем для царей и правителей русского государства, прежде всего училищем для российского дворянства, которому Сумароков брался объяснить и показать, чего оно должно требовать от своего монарха и чего оно обязано не допускать в его действиях, наконец, каковы должны быть основные незыблемые правила поведения и дворянина вообще и главы дворянства — монарха».⁴ Этот своеобразный политический дидактизм составляет основу всех сумароковских трагедий, их внутренний пафос.

В «Эпистоле» 1755 года («Желай, чтоб на берегах сих, музы обитали») Сумароков сам так определяет свое понимание целей и задач трагедии:

В Героях кроючи стихов своих творца,
Пусть тот трагедией вселяется в сердца:
Принудит чувствовать чужие нам напасти,
И к добродетели направит наши страсти.⁵

Изображением на сцене определенных событий воздействовать на чувства зрителей, чтобы направить эти чувства «к добродетели», — вот задача трагедии, по мнению Сумарокова. Как уже отмечалось П. Н. Берковым,⁶ первоначальный взгляд Сумарокова на трагедию, выраженный им в «Эпистоле о стихотворстве»

⁴ Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. Учпедгиз, М., 1939, стр. 150.

⁵ А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений в стихах и в прозе... ч. I, М., 1781, стр. 326.

⁶ П. Н. Берков. А. П. Сумароков. Изд. «Искусство», М.—Л., 1949, стр. 35.

(1747), носил несколько иной, менее целеустремленный, характер:

Посем рассмотрим мы свойство и силу драмм,
Как должен представлять творец пороки нам,
И как должна цвести святая добродетель:
Посадской, Дворянин, Маркиз, Граф, Князь, Владелец
Возходят на театр: творец находит путь,
Смотрителей своих, чрез действо ум тронуть.⁷

Что имеет в виду Сумароков под словами «чрез действо ум тронуть», из приведенного отрывка понять трудно. Неясно это и из последующих в «Эпистоле» стихов о трагедии. Заметим кстати, что сравнение самых первых трагедий Сумарокова с более поздними подтверждает в какой-то мере и различие в его теоретических высказываниях о жанре трагедии в разные периоды творчества.

Так понимал задачи трагедии Сумароков; и в своей практике он стремился следовать этой программе постоянно. Попытка рассмотреть художественную структуру трагедий Сумарокова в ее обусловленности специфическим характером самих трагедий является целью нашей статьи. В данном случае нас будут интересовать не столько отдельные элементы композиции трагедий (как это имело место в статье Г. А. Гуковского), сколько ход развития самого драматического действия. Уловить внутренний источник движения трагедии, вскрыть движущие силы развития ее действия — это задача, решение которой, по нашему мнению, помогает увидеть главное, что необходимо для понимания индивидуального творческого метода художника (в данном случае — Сумарокова): в каком соотношении находится окружающая художника действительность с действительностью, предстающей в его произведениях в преломленном через восприятие самого художника виде. Нам кажется, что решение этого вопроса может в свою очередь послужить основой для решения других, более важных вопросов, например, — для выяснения характера отражения действительности в искусстве в рамках определенного художественного метода (в нашем случае — метода классицизма, каким он был в русской литературе XVIII века).

В свете сказанного понятна строго ограниченная цель настоящей статьи: определить своеобразие художественной структуры трагедий Сумарокова. Это лишь одно из условий, необходимых для решения проблемы творческого метода художника во всей полноте. Анализ исторической обстановки, в которой жил и творил художник, и анализ определенных эстетических традиций,

⁷ А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений в стихах и в прозе..., ч. I, стр. 338.

формировавших творческое лицо художника, наряду с анализом состояния современного ему искусства — два других условия. Рассмотрение их не входит в задачи статьи и составит содержание другой нашей работы.

Уже в первой трагедии Сумарокова, в «Хореве» (1747), хотя еще и неясно, проявляется характерное для всех сумароковских трагедий начало. Оснельда, дочь Завлоха, изгнанного в свое время Кием из Киева, любит Хорева, брата Кия. Любовь Оснельды противоречит ее долгу дочери и патриотки. К городу подошел с войском ее отец, чтобы вернуть себе живущую в Киеве дочь. После краткой внутренней борьбы Оснельда побеждает свою страсть и готова идти к отцу. Так начинается I действие.

Приходит Хорев (д. I, явл. 3). Оба узнают о взаимной любви. Но Оснельда непреклонна. На слова Хорева:

О боги, о княжна! имейте жалость днесь!
Пребудь над градом свет! о свет останься здесь!

Оснельда отвечает:

Не льстися тщетно все, судьбина предприяла,
Чтоб я тебя вовек отныне не видала.
По несколько часах, куды здесь ни пойдешь...
Нигде уже нигде Оснельды не найдешь...³

На первый взгляд, перед нами то, что называют завязкой трагедии. Налицо конфликт, противоречие между долгом и страстью героини и, казалось бы, из этого конфликта и будет развиваться действие. Но данный конфликт тут же в I действии снимается. Влюбленные готовы соединиться; Оснельда согласна остаться с Хоревом (куда девалась ее верность долгу?). Следует лишь получить разрешение отца Оснельды, и Хорев посылает к Завлоху гонца.

Итак конфликт долга и страсти исчез. Источник дальнейшего движения трагедии неясен. Явившаяся было завязка свелась к роли своеобразной экспозиции.

Во II действии (явл. 1) боярин Сталверх доносит Кию об измене Хорева, в действительности мнимой. Для проверки верности Хорева обманутый Кий посылает его с войском против Завлоха. Действию трагедии дана фактически новая завязка, источник который — в решении Кия. В результате Хорев должен выступить против отца любимой. Оснельда оказывается теперь перед еще более тяжелым испытанием. Вновь возникший конфликт долга и страсти в душе героев поднят, казалось бы, на новую, высшую ступень. Но уже ясно, что основа движения трагедии заключена

³ А. Сумароков. Хорев. СПб., 1747, стр. 13.

вне русла коллизии любви Оснельды и Хорева. Пружиной развития трагического действия явилось решение Кня, вызванное в свою очередь доносом Сталверьха.

В 6 явлении II действия вновь следует встреча Хорева и Оснельды. Каждый из них страдает от борьбы между чувством и долгом.

Х о р е в

Скажи мне, научи, что мне сказать драгая.
Без рассуждения я все сказать хошу,
И меч в влагалище пред войском обращаю:
Лишь честью сей любви недерзновен купити,
Сего, дражайшая, мне легче смерть вкусити.

О с н е л ь д а

Ступай и побеждай, не буду я претить,
И не стараюсь твоих побед затмить;
Но лавр, что получишь ты нашими кровями,
Весь будет орошен моими ах! слезами.⁹

Когда же любящий Хорев, тронутый мольбами Оснельды, говорит:

Так ведай, что меня во гроб с кронова бою
Внесут и мертвого положат пред тобою.
Не извлеку меча, хотя иду на брань,
И разделю живот тебе и долгу в дань, —

Оснельда сразу находит иные слова:

Живи, не погибай воспоминаньем вздоха,
Лишь только пощади в сражении Завлоха.¹⁰

Хорев идет, решая кончить брань миром. В коллизии героев все остается на прежних местах.

В III действии становится известно, что Завлох запрещает Оснельде любить Хорева. Следует безуспешная попытка Оснельды умертвить себя, а затем она просит Хорева отпустить ее к отцу. Но Хорев не может нарушить долга:

...Помысли рассуждай,
Возможно ль мне тебе путь вольности открыти.
Что будет обо мне тогда весь град гласит?
Что скажешь ты сама? какой пример я дам
Державы своея подверженным рабам?
Те люди, что закон давать произведенны,
Закону своему и сами покоренны.¹¹

Трубы зовут его на сражение с Завлохом. Хорев спешит на бой.

⁹ Там же, стр. 29.

¹⁰ Там же, стр. 31.

¹¹ Там же, стр. 41.

С момента доноса Сталверьха действие так и не продвинулось дальше. В данной коллизии любви Оснельды и Хорева трагедии не из чего развиваться: Хорев верен долгу; Оснельда верна Хореву; ни стенания Оснельды по поводу нарушения ею дочернего долга, ни мучения Хорева, «жертвующего» любовью ради долга, не меняют сути дела. Развитие действия определяют другие факторы. Сталверьх снова доносит Кию об «измене» Хорева. На этот раз он представляет свидетелей: стражей и невольника, посланного с письмом к Завлоху. Обманутый Кий решается отравить Оснельду, он велит отнести ей кубок с ядом. Тем самым действию трагедии снова дан толчок, и уже наступил первый момент развязки.

В V действии возвратившийся с мечом побежденного Завлоха Хорев получает разрешение на соединение с Оснельдой. Его извещают о ее смерти. Хорев закалывается. Незадолго до этого воин доносит, что Сталверьх бросился в Днепр, «Оснельду вспоминая». Такова развязка.

При всей неясности выражения в трагедии основной идеи она в конечном итоге сводится к предостережению монарха против слепого следования советам злодеев и льстецов, стоящих у трона. Вполне вероятно, что Сумароков касался здесь отдельных фактов, имевших место в придворной жизни второй четверти XVIII века, когда господство при русском дворе всесильных временщиков создавало атмосферу доносов и интриг, жертвами которых часто становились невинные люди.¹²

Что же касается борьбы долга и страсти в душе Хорева и Оснельды, то она представляет собой лишь благородные декларации, и не от нее зависит развитие действия. Двигателем последнего являются злодейские поступки Сталверьха. Во II действии его наущения Кию служат толчком для завязки трагической коллизии. В IV действии — новое злодейство Сталверьха дает новый толчок для развития трагедии, вслед за чем уже наступает развязка. Таким образом, источник трагического находится вне конфликта между долгом и страстью, вне душевной борьбы Хорева и Оснельды.

Центральным образом трагедии является Кий, и действительная причина трагической смерти Хорева и Оснельды — это пагубная доверчивость Кия доносчику Сталверьху. С этой точки зрения образ Сталверьха — нечто большее, чем простой двигатель действия. Будучи фактически источником трагической коллизии, он несет на себе основную тяжесть в выражении заложенной в трагедии идеи. В его лице воплощены те силы, с которыми должен

¹² См.: Е. А. Касаткина. Сумароковская трагедия 40-х — начала 50-х годов XVIII в. «Ученые записки Томского педагогического института», 1955, № 15, стр. 213—261.

бороться монарх, которым истинный глава государства не должен позволять овладевать собой.

Но коллизия, связанная с чувствами двух влюбленных героев, все же имела для Сумарокова значение. По справедливому замечанию Г. А. Гуковского, «трагедии Сумарокова были школой дворянской морали и общественного сознания, рассчитанной ближайшим образом на людей своего класса».¹³ Это относится, хотя и не в полной мере, к «Хореву». И если Оснельда все-таки уступает своему чувству, то поведение Хорева должно было для зрителя являть прямой образец следования долгу дворянской чести, как ее понимал Сумароков.

«Хорев» — первый опыт драматурга. Затемненность основной идеи непрерывными переживаниями влюбленных, — если учесть и то, что трагедия называется «Хорев», — несколько затрудняет понимание ее направленности. Кроме того, коллизия душевной борьбы, а точнее душевных излияний Хорева и Оснельды, оставаясь в неизменном состоянии на протяжении почти всей трагедии, значительно тормозит развитие и без того почти отсутствующего действия. Даже в последнем явлении V действия, узнав о смерти Оснельды, Хорев произносит полный скорби монолог, затем в том же тоне отвечает на реплики Велькара, Завлоха и Кня, сочиняет эпитафию к надгробию Оснельды и лишь потом закалывается.

В «Хореве» Сумароков еще не сумел отчетливо выразить свое понимание существа и цели трагедии. К этому он приходит позже. Но важно, что уже здесь дидактизм лежит в основе трагедии, составляет ее сущность. Моральная направленность является определяющим фактором в развитии трагического действия.

В 1748 году Сумароковым была написана следующая трагедия «Гамлет». Она представляет собой вольную переделку произведения Шекспира с французского наполовину прозаического перевода, наполовину пересказа Лапласа (*La Place. Hamlet, prince de Danemark. Tragedie, traduite de l'anglois de Shakespeare*).¹⁴ С «Гамлетом» Шекспира трагедия Сумарокова не имеет почти ничего общего, что, кстати, утверждал и сам автор.¹⁵ Это совершенно самостоятельное произведение. Из прозаического пересказа «Гамлета» Лапласа Сумароков использовал только сюжет.

В этой трагедии, так же как и в «Хореве», сосуществуют две коллизии, тесно связанные и в то же время самостоятельно развивающиеся до последнего действия.

¹³ Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века, стр. 153.

¹⁴ *La Place. Le théâtre anglois, t. II. Londres, 1746, pp. 295—416.*

¹⁵ «Гамлет мой кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева на колени падения, на Шекспирову Трагедию едва едва походит». А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе..., ч. X, 1782, стр. 117.

Первая коллизия восходит к трагедии Шекспира, хотя она и несколько видоизменена: Гамлет, узнавший о предательском убийстве своего отца, решает отомстить его убийцам. Причем убийцей отца является Полоний, и Гамлет узнает об этом из сна. Мать Гамлета Сумароков делает соучастницей преступления.

Стремление Гамлета отомстить за отца — основа первой коллизии, которой присущи две важные черты. Во-первых, она принимает характер борьбы долга и страсти в душе Гамлета — долга мщения, долга перед памятью отца, и страсти к Офелии, дочери Полония. Эта борьба и составляет содержание первой коллизии на протяжении I, III и V действий трагедии. Во-вторых, принятое Гамлетом решение отомстить убийцам имеет подчеркнутый анти-тиранический характер: мщение осознается им как выполнение общественного долга, как освобождение народа от тирании. Уже в 1 явлении I действия Гамлет, переживая виденный им сон, говорит:

Отрыгни мне теперь тиранов гнусных злоба,
Свирепство к должности на жертву к месту гроба,
Где царь мой и отец себе отмщения ждет!
Он совести моей покою не дает:
Я слышу глас ево и в ребрах вижу рану:
О сын мой, вопиет, отмсти, отмсти тирану,
И свободы граждан...¹⁶

Особенно сильно это выражено в 7 явлении III действия. Гамлет в нерешительности: мстить или не мстить? Он произносит монолог — искаженный до неузнаваемости знаменитый монолог шекспировского Гамлета «Быть или не быть...» (акт III, сц. IV).¹⁷

Г а м л е т

Что делать мне теперь? не знаю что зачать.
Легко ль Офелию на веки потерять!
Отец! любовница! о имена драгие!
Вы были щастьем мне во времена другие
Днесь вы мучительны, днесь вы несносны мне;
Пред кем-нибудь из вас мне должно быть в вине.

Умереть — вот выход, который может избавить Гамлета, но:

Умри!.. но что потом в нещастной сей стране,
Под тяжким бременем народ речет о мне?
Он скажет, что любовь геройство победила,
И мужество мое тщетою учинила:
Что я мне данну жизнь бессловно окончал,
И малодушнем ток крови проливал,
Котору за него пролить мне должно было.¹⁸

¹⁶ А. Сумароков. Гамлет, СПб., 1748, стр. 5.

¹⁷ Этот измененный монолог Гамлета — характернейший образец трансформации Шекспира в сознании Сумарокова.

¹⁸ Там же, стр. 42—43.

Из слов Гамлета видно, что необходимость следовать долгу вызывается также и ответственностью перед народом. В конечном итоге именно поэтому долг постоянно побеждает в душе Гамлета.

Вторая коллизия отсутствует в шекспировской трагедии. Она есть целиком плод творчества Сумарокова: Клавдий хочет жениться на невесте Гамлета, Офелии. Полоний стремится заставить дочь выйти замуж за Клавдия.

В развитии действия трагедии наблюдается картина, аналогичная той, которая имелаась в «Хореве». Мучительная борьба между долгом и страстью происходит в душе Гамлета. Перепитии этой борьбы занимают почти все I действие. Долг побеждает, Гамлет решает мстить:

Воззрите вы глаза к родительскому гробу,
И умножайте днесь во мне свирепу злсбу!
Ожесточите мя, как можете, теперь,
И дайте позабыть мне, чья Офелья дщерь! ¹⁹

Но не эта коллизия служит основой трагедии. Во II действии развитие трагедии резко меняет свое русло, вырастает вторая завязка, действие уже не движется дальше, а как бы расходится вширь. Клавдий при поддержке Полония решает жениться на Офелии, а прежде избавиться от своей раскаявшейся жены Гертруды. Он предстает законченным тираном. В трагедию перенесена в совершенно измененном виде сцена из III акта «Гамлета» Шекспира — сцена безуспешной попытки Клавдия раскаяться перед богом (д. II, явл. 1).

... Нет силы больше дел злодейских мне носить,
Принудь меня, принудь прощения просить!
Всели желание искать мне благодати:
Я не могу в себе сей ревности сыскати!
Противных божеству исполнен всех страстей.
Ни искры доброго нет в совести моей.

Клавдию вторит Полоний:

Забудь и светские и божески уставы
Ты царь противу их; последуй правам славы. ²⁰

В его словах прямое выражение принципов тирана. И Клавдий следует его советам, он говорит:

Пойдем теперь против супружьиной любви
Не пощадим пролить мы и ея днесь крови,
Но прежде погубим наследника ея
И взывает в Царский одр прекрасна дщерь твоя. ²¹

¹⁹ Там же, стр. 9.

²⁰ Там же, стр. 19.

²¹ Там же, стр. 20.

Так вырастает новая коллизия. Она тоже несет в себе идею борьбы долга со страстью, но не внешнюю, декларативную, подобно происходящей в душе Гамлета, а скрытую, дидактическую, составляющую основную идею трагедии: долг монарха не совместим со страстями, ведущими к тиранству.

Именно эта коллизия является действительной основой трагедии. Злодейские поступки тирана Клавдия и Полония обуславливают весь дальнейший ход ее развития.

В IV действии Полоний стремится заставить дочь выйти замуж за Клавдия. В ответ на отказ Офелии он решает ее убить. Одновременно Полоний нанимает за деньги пятьдесят воинов и приказывает им убить Гамлета и Гертруду.

Что же происходит с коллизией долга и страсти в душе Гамлета? Положение в развитии этого конфликта сохраняется таким же, каким оно было в I действии. В III действии Гамлет вновь охвачен борьбой между долгом и страстью. Разница лишь в том, что здесь Гамлет предстает на сцене с обнаженной шпагой. В 7 явлении III действия он, как мы уже указывали, произносит переделанный монолог «Быть иль не быть» ... Долг вновь побеждает в душе Гамлета.

Но неизвестно, как бы выполнил он свой долг, если бы на помощь ему не пришел злодей Полоний. Именно развитие второй коллизии ведет к развязке и душевного конфликта Гамлета. Застигнутые подосланными убийцами на ступенях храма Гамлет с Армансом (наперсник Гамлета вместо Горацио у Шекспира) защищаются, зовут на помощь народ и разгоняют шайку наемников. Узнав от раненых убийц, кто их подослал, Гамлет спешит во дворец, убивает Клавдия, спасает в последний момент приготовившуюся к смерти Офелию. Он хочет убить и Полония. Происходит, казалось бы, неестественная, но имеющая смысл, последняя вспышка борьбы долга и страсти в душе Гамлета. Офелия, которую Полоний только что собирался казнить, умоляет Гамлета пощадить отца, и Гамлет «нарушает» свой долг, он оставляет Полония жить, хотя именно Полоний убил его отца.

Сумароков не смягчает этим участи убийцы; Полоний убивает себя. Тем самым над ним совершается как бы высшее, нежели просто людское правосудие, что дает драматургу возможность оправдать нарушение Гамлетом его долга; это уже не нарушение долга, а передача злодея высшему суду. В то же время Офелию Сумароков до конца оставляет верной долгу дочери.

Основной конфликт в «Гамлете» разрешается иначе, чем в «Хореве». Если там жертвами поступков монарха гибнут оба влюбленных, а самому монарху остается лишь раскаиваться в своем преступлении, то здесь трагедия заканчивается смертью тирана и его пособников. Момент наказания тирана занимает зна-

чительное место в трагедии. И в этой связи очень важным является раскаяние Гертруды, жены Клавдия. Она тоже соучастница убийства своего первого мужа, но, раскаявшись уже в I действии, Гертруда добровольно отказывается от венца царицы и готова уйти в «пустыни». В ее действиях Сумароков показывает возможный путь исправления Клавдия, спасения тирана от кары. Гертруда обращается к мужу с призывом последовать ее примеру (д. I, явл. 3). Когда Клавдий отказывается, Гертруда произносит монолог, в котором ее устами автор выражает свои взгляды на то, каким должен быть монарх:

Царь мудрый есть пример всей области своей,
Он правду паче всех подвластных наблюдает,
И все свои на ней уставы создает,
То помни завсегда, что краток смертных век,
Что он в величестве такой же человек.
Рабы его ему любезные суть чады,
От скипетра его лиется ток отрады.
Мил праведным на нем и страшен злым венец.
И не приблизится к его престолу льстец...²²

Сумароков в «Гамлете» оправдывает насильственную смерть тирана, если тот не способен к раскаянию. В общем разрешении основной идеи, и даже отдаленно по сюжету, «Гамлет» близок к одной из самых поздних сумароковских трагедий, к «Димитрию Самозванцу».

Уже из двух рассмотренных произведений видно, что сущность сумароковской трагедии — в ее дидактической направленности. Основной конфликт, служащий источником развития трагедийного действия, — это конфликт между тем идеалом, каким должен быть, по мнению Сумарокова, истинный глава государства, и действительными поступками монарха на троне, нередко ведущими к тиранству. Конфликт же долга и страсти в образах Оснельды, Хорева и Гамлета носит внешний характер в том смысле, что не он определяет ход развивающихся на сцене событий. Его демонстративность видна из того, что сам этот конфликт существует только на словах, в то время как в своих поступках герои неизменно остаются с начала и до конца верными либо долгу (Хорев, Гамлет), либо чувству (Оснельда).

Наличие двух конфликтов создает двойственность и в развитии действия трагедий. И в «Хореве», и в «Гамлете» сосуществуют две самостоятельные, хотя и связанные коллизии. Кстати, эту черту первых трагедий Сумарокова, в частности «Хорева», отмечал еще в XVIII веке современник и литературный против-

²² Там же, стр. 23.

ник Сумарокова В. К. Тредиаковский.²³ Правда, он усмотрел в этом нарушение Сумароковым одного из необходимых для трагедий правил «трех единств»: единства действия или, как писал Тредиаковский, «единства представления».

Во всех последующих трагедиях раздвоенность действия отсутствует. Сумароков устраняет побочный конфликт долга и страсти как источник самостоятельной коллизии, полностью подчиняя его основной идее. Собственно говоря, драматически этот побочный конфликт и раньше способствовал более ясному выражению основного конфликта: как противопоставление подчиняющемуся своим чувствам монарху верных долгу, способных побеждать свои чувства подданных. Однако образовывая самостоятельную коллизию и занимая в трагедиях значительное место, он усложнял действие, лишал трагедии целеустремленности и в этом смысле уменьшал их действенность. А выше мы видели, какое значение придавал Сумароков действенности трагедии.

Основное в сумароковских трагедиях — дидактическая направленность — остается неизменным их свойством на всем протяжении творчества писателя. Изменения происходят по двум линиям: по линии достижения наиболее четкого выражения этой направленности, наиболее отчетливого донесения мыслей автора до зрителя, и по линии придания трагедиям большей политической остроты, большего приближения их к современной писателю политической жизни; особенно заметно это в трагедиях последних лет жизни драматурга.

После «Хорева» и «Гамлета» в первый период трагедийного творчества Сумарокова им были написаны еще четыре пьесы: «Синав и Трувор» (1750), «Артистона» (1750), «Семира» (1751) и «Димиза» (1758), переработанная и переименованная позднее в «Ярополка и Димизу» (1768). Сюжетно-композиционное построение всех этих трагедий подчинено разрешению проблем, поставленных Сумароковым уже в первых двух его драматических произведениях.

В центре — обремененный властью монарх, от которого зависят судьбы подданных. Обычно подданные — двое влюбленных, верные своему чувству и своему долгу. В основе трагической коллизии — нарушение монархом его долга. Нарушение бывает продиктовано или страстью монарха («Синав и Трувор», «Артистона»), или влиянием на него внешних сил, например «наговоров света» («Ярополк и Димиза»), или тем и другим вместе («Мстислав»).²⁴

²³ А. К у н и к. Сборник материалов для истории Императорской Академии Наук в XVIII в., ч. II. СПб., 1865, стр. 493.

²⁴ Хотя трагедия «Мстислав» написана в 1774 году, по характеру выражения в ней дидактической идеи она ближе к трагедиям первого периода творчества Сумарокова (1747—1758 годы).

Иногда подданные, оставаясь верными чувству и долгу, становятся жертвами тиранических поступков и гибнут, как это происходит в трагедии «Синав и Трувор». Но в большинстве последующих трагедий развязка происходит иначе. Несправедливые действия монарха вызывают законный протест, который выливается в своеобразное выступление против тирана. В решительный момент, когда жизнь монарха на волоске, кто-либо из героев, верный долгу подданного, спасает его от смерти. В финале трагедии умиленный монарх соединяет влюбленных. Под влиянием благородного поступка подданного происходит чудесное превращение монарха — из тирана в милостивого, добродетельного государя. Подобной счастливой развязкой оканчиваются «Артистона», «Ярополк и Димиза», «Мстислав».

Таким образом, в основе развития драматического действия в трагедиях первого периода лежит все тот же конфликт между абстрактным идеалом справедливого монарха и государем, подчиняющимся своим страстям. Но само действие сведено к минимуму. Едва ощущаемое движение его, обусловленное, как всегда, поступками монарха, нарушающего свой долг, протекает полностью в русле этой единственной коллизии и фактически служит лишь для подготовки развязки. Освобожденные от каких-либо побочных коллизий, трагедии все более приближаются к облеченным в драматическую форму иллюстрациям идеальных образцов поведения истинного монарха и настоящего дворянина в понимании Сумарокова.

С точки зрения существа жанра счастливые развязки ставят под сомнение самый смысл трагедии. Но с точки зрения понимания Сумароковым задач и целей жанра именно подобные развязки являлись для него наиболее необходимыми.

Усиление дидактизма сумароковских трагедий выражается еще в одном. Сама сущность его трагедий делает их своеобразными уроками поведения монархов и подданных. Без голоса автора, без его оценок происходящего на сцене, трагедии Сумарокова немыслимы. Большая часть монологов героев, масса отдельных реплик в диалогах лишь номинально входят в драматическое действие. Фактически они целиком обращены только к зрителю и могут быть признаны драматически необходимыми лишь постольку, поскольку помогают автору еще яснее, еще полнее донести до зрителя свои мысли. Эта черта трагедий Сумарокова постепенно усиливается. Так, в трагедии «Хорев» (первая редакция) во всех поступках Кия ему сопутствует Сталверьх. Кроме гибнущих влюбленных, Кию как монарху не противопоставлен никто. Лишь в монологе самого Кия (д. II, явл. 1) проскальзывает мысль о том, каким должно быть поведение истинного монарха. Сумароков вынужден был вложить эту мысль, правда

в аллегорической форме, в уста самого монарха. В своей первой трагедии Сумароков еще несмело выступает в роли советчика государя. В трагедии «Гамлет» эту функцию выполняет раскаявшаяся Гертруда. Она же вслед за поучениями обличает Клавдия в тиранстве. Но Гертруда участвует, хотя и эпизодически, в развивающемся драматическом действии.

В «Синаве и Труворе» Сумароковым впервые вводится такой персонаж, как Гостомысл, мудрый вельможа, несколько нейтральный к развитию действия трагедии. Его устами Сумароков прямо высказывает свои поучения монархам, причем часто это носит характер неприкрытого обращения к самой Елизавете Петровне.

Во 2 явл. IV действия Гостомысл советует своей дочери:

... Храни незлобие, чти в постоянстве твердых.
От трона удаляй людей немилосердных:
И огради ево людьми таких сердец,
Какое показал имея твой отец.

А дальше следуют слова, как будто взятые Сумароковым из какой-либо его торжественной оды, посвященной императрице:

Премудрости во всех последуй ты делах,
И спутницей имей ее во всех путях.
Покровом будь сирот, прибежищем вдовицы:
Яви ты истину под именем Царицы:
И добродетель ты, гнушаясь суеты,
Яви во образе девичей красоты.
Надеждой веселись, что ты себя прославишь,
И подданным своим златые дни восставишь.²⁵

Подобный образ мудрого советчика монарха, служащий Сумарокову для высказывания своих мыслей, присутствует почти во всех последующих трагедиях.²⁶ Отчасти его роль выполняет Гикари в «Артистоне», и совершенно явно выступает в этой функции Русим в трагедии «Ярополк и Димиза»: здесь в перечне действующих лиц Русим прямо назван — «любимец Владисанов».

Несколько выделяется из всех сумароковских трагедий «Семира» (1751). Она более драматична и динамична, а отсутствие прямых поучений монархам, казалось бы, снимает вопрос о дидактизме. Но это не совсем так. Семира и Оскольд выступают против законного правителя Олега. В свое время Киевом правил их брат Дир, побежденный и свергнутый Олегом. Родственный и патриотический долг движет ими. Во имя него Семира подавляет свою страсть к Ростиславу, сыну Олега. Оскольд и Семира готовят восстание.

²⁵ А. Сумароков. Синав и Трувор. СПб., 1751, стр. 56

²⁶ Вполне закономерно, что в трагедиях, где дан образ идеального монарха, подобный персонаж отсутствует (например, в «Семире»).

Во всех предыдущих трагедиях несправедливые поступки монархов являлись источником злоключений подданных и по-разному влияли на их судьбы. Подчас тиранические поступки монарха оправдывали и кратковременный протест со стороны подданных. Но в «Семире» дело обстоит иначе. Олег — не тиран:

В темницах узникам он узы разрешил,
Народу скованну свободу возвратил...²⁷

Оскольд усыновлен им; Семира воспитана им как дочь, и Олег готов выдать ее за своего сына. Что же касается того, что Олег в свое время захватил в Киеве власть, то, говоря словами Ростислава Оскольду:

Конечно, горестны вам были те часы,
Но рок того хотел...²⁸

Тем самым долг Оскольда и Семиры обесмысливается. Против Олега — монарха они не в праве восставать. А выступая против Олега — победителя Дира, они восстают не столько против самого Олега, сколько против предначертанного свыше, против того, что вне власти человека. Оскольд и Семира нарушают долг подданных, и само положение Олега обрекает их выступление на неудачу. И непосредственный источник развития действия трагедии лежит не вне столкновения героев, как было в остальных трагедиях, а в нем самом.

Заговор Оскольда раскрыт (II д.). Олег требует, чтобы Оскольд покорился и просил прощения. Но тот отказывается:

Покорствуй, кто рожден рабеть и унывать.
Не поколеблется ни в чем мой дух во веки:
Неробкие богам подобны человеки.
Хотя ужасною судьбиной я сражен;
Не малодушие я чувствовать рожден...²⁹

Более того, на уговоры Ростислава он отвечает:

Я добродетель здесь хотел восстановить,
Возобновить златой век радостей во граде,
Лукавство выгнать вон и заключить во аде.
А ныне есть ли бы толико пода я был,
Чтоб жизнь поносную я чести предпочл.
На утесненную взирая добродетель,
Бед подданных своих я б только был свидетель.³⁰

²⁷ А. Сумаров. Семира. СПб., 1768, стр. 15.

²⁸ Там же, стр. 17. Курсив мой, — Ю. С.

²⁹ Там же, стр. 32—33.

³⁰ Там же, стр. 34.

С одной стороны, Сумароков как бы возвышает Оскольда; а с другой стороны, ведь Олег не тиран, и во всем, что Оскольд приписывает Олегу, он неправ и достоин наказания. Олег уже садится, чтобы подписать указ о предании Оскольда казни. Но после долгих колебаний, в последний момент он все же щадит Оскольда и отсрочивает его смерть. Восстав против Олега, Оскольд восстал против высшего долга и достоин кары. Однако Олег стал бы тираном, если бы подписал указ. Сохраняя Оскольду жизнь, он остается добродетельным монархом и как бы передает Оскольда высшему судье. Заключительные слова Олега во II действии предвещают развязку в V действии:

Я снисходителен, ты гордостью надут...
 Спасения нет тебе: хотя отсрочен суд!
 Нельзя того простить, кто так себя возносит,
 И виновен будучи прощения не просит.
 Когда бы пленником тиранским чьим ты стал;
 В упрямстве б он тебя по удам растерзал,
 А я своим врагам дал прежнюю свободу.
 И быть хотел отцем плененному народу.³¹

После такого жеста со стороны Олега вина и неправота восставшего Оскольда становятся еще более очевидными. В то же время подобным разрешением ситуации сохраняется возможность дальнейшего развития трагедии. Но теперь толчок действию дает Семира. Она уговаривает Ростислава освободить Оскольда из оков. Уступая угрозам возлюбленной покончить с собой, Ростислав нарушает свой долг и освобождает Оскольда.

В IV действии трагедия достигает кульминации. Олег требует от Семиры выдать освободителя брата. За отказ он велит взять ее под стражу. Тогда Ростислав сам признается во всем. Олег решает казнить Ростислава. Развязка наступает в V действии. Оскольд во главе восставших врывается в Киев и теснит войска Олега. В решающий момент заключенный под стражу Ростислав берет меч и идет сражаться. Благодаря ему Олег побеждает; Оскольд, не желая сдаться, наносит себе смертельную рану. В заключительном явлении следует сцена примирения и взаимного прощения.

Основной конфликт, движущий развитие «Семиры», столь же абстрактен, как и во всех других трагедиях Сумарокова. Это видно и из характера развития трагического действия, а также из развязки. Но то, что носителем нарушения своего долга выступает подданный, позволило Сумарокову воплотить этот конфликт в реальном столкновении двух сил. Двигателем развития действия здесь, вопреки принятому драматургом правилу, являются не по-

³¹ Там же, стр. 37—38.

ступки монарха. Активная сила — подданные. Монарх пассивен, и все его поступки вызваны действиями Оскольда и Семиры, являются ответом на их замыслы. И источник трагической гибели героя заключается в нем самом. Дидактическая же идея утверждается здесь в образе справедливого монарха Олега.

После десятилетнего перерыва (1758—1768) Сумароковым были написаны последние 3 трагедии: «Вышеслав» (1768), «Димитрий Самозванец» (1771) и «Мстислав» (1774). Кроме того, в 1768 году он переработал первую из своих трагедий — «Хорев».

В последних трагедиях Сумарокова получает свое завершение развитие наметившихся ранее тенденций его драматургии.

«Вышеслав» — это уже, строго говоря, не столько трагедия, сколько откровенная иллюстрация того, как должны вести себя истинный монарх и верный долгу подданный. Драматическое действие в ней по существу отсутствует.

Монарх Вышеслав любит Зениду, отданную им самим в жены Любочесту. Но верный долгу государя, давшего слово, он побеждает свою страсть. Зенида не любит Любочеста, а любит Вышеслава. Но и она тоже готова выполнить свой долг подданной; она просит только отсрочить свадьбу. Эта маленькая уступка чувству с ее стороны необходима Сумарокову, чтобы хоть как-то обеспечить завязку действия трагедии.

Итак, монарх и подданный оба верны своему долгу. Это именно то, к чему приводил Сумароков обычно своих героев в конце трагедий. Здесь же только начало произведения, а возможный конфликт уже разрешен в полном соответствии с идеалом автора. Казалось бы, все ясно. Но в своей верности долгу оба героя несчастны. На протяжении всех последующих четырех действий драматург создает ситуации, в которых словно испытывает добродетели героев, чтобы затем вознаградить их.

Во II действии Вышеслав и Зенида узнают о том, что их чувства взаимны. Охваченный ревностью, Любочест хочет убить Зениду. Вышеслав, верный долгу монарха, приказывает казнить преступника, чего тот и заслуживает. Но Зенида просит Вышеслава отменить казнь: Любочест поднял руку на нее, и только она может его судить. Зенида велит Любочесту покинуть город и, выполняя долг будущей супруги, сама решает ехать с ним.

Действие трагедии как бы вернулось к первоначальному состоянию. Долг победил. Любящие верны долгу, хотя и несчастны. Автору надо вознаградить подобную верность. И Любочест выполняет свою роль. Высланный из города, он поднимает восстание против Вышеслава (III действие). Вышеслав побеждает его и вновь велит казнить. Открывается тем самым реальная возможность для соединения двух достойных друг друга героев. Но верная долгу Зенида опять умоляет пощадить своего будущего мужа.

И Вышеслав не только сохраняет жизнь Любочесту, но тотчас назначает их свадьбу.

Действие трагедии по-прежнему остается в исходном положении. Поступки главных героев противоречат здравому смыслу; но с точки зрения тех дидактических целей, которые преследовал Сумароков, они единственно логичны. И результаты назидательных поступков героев начинают сказываться. В предпоследнем явлении IV действия прощенный Вышеславом Любочест испытывает муки раскаяния:

Противный всей земле, противный небесам,
Противный зданию, пустыням и лесам,
Противный воздуху, которым ныне дышу,
Я гласы совести ежеминутно слышу.³²

Этим словно подготавливается развязка трагедии.

В последнем действии Вышеслав благословляет идущих в храм Зениду и Любочеста, а сам хочет убить себя. Но Любочест вырывает у него меч и уступает Вышеславу Зениду. Верность долгу достойно вознаграждена, и, мало того, исправлен злодей Любочест. Вся идея трагедии заключена в словах Зениды из 2 явления IV действия:

Что может тот монарх, на троне, повелеть,
Кто, в страсти, сам себя не может одолеть:
И льзя ли взыскивать, чтоб люди были правы?
Когда пренебрежет он сам свои уставы?³³

Идея та же, что и во всех других трагедиях Сумарокова, но подобного воплощения ее еще не встречалось ранее. Алогичность и умозрительность поступков героев достигает здесь крайнего выражения. Согласно концепции Сумарокова, именно такими должны быть идеальный монарх и идеальный подданный.

С точки зрения достижения Сумароковым предельного решения своих задач трагедия «Вышеслав» — закономерный итог эволюции его драматургического творчества. Черты идеального монарха имелись уже в образе Олега («Семира»), а в образах Ильмени («Синав и Трувор») и Артистоны («Артистона») уже определялись черты будущей Зениды. Но в «Вышеславе» основная идея трагедии получает свое кристально ясное выражение, и зритель уже не может никак быть отвлечен внешними перипетиями происходящего на сцене.

Важно также отметить, что для содержания последних трагедий Сумарокова характерны углубление политической остроты, усиливающаяся конкретность дидактической направленности.

³² А. Сумароков. Вышеслав. СПб., 1768, стр. 51.

³³ Там же, стр. 46.

В 1768 году Сумароков перерабатывает свою первую трагедию — «Хорев». В целом по содержанию и композиционному построению она во второй редакции не изменилась. Но при переработке «Хорева» Сумароков заменил монолог Кия (д. V, явл. 1) другим монологом, что придало трагедии новый смысл. В монологе Кия в редакции 1747 года перед нами сетования старца, объятаго тревогой в ожидании близкой кончины. О том, что он царь, о том, что он тиран, принесший смерть невинной Оснельде, из монолога не видно. Зато передачей этих переживаний, полных неясности, сознания обреченности, молодой автор стремился достичь внешнего драматического эффекта — в следующем явлении Велькар спешил возвестить Кию о победе Хорева.

Во второй редакции Сумароков вкладывает в уста Кия совершенно другое:

О бремя тяжкое порфиры и короны!
Законодавцу всех трудней его законы.
Во всей подсолнечной гремит монарша страсть,
И превращается в тиранство строга власть:
А милость винному, преступнику прощенье,
Не редко и царю и всем в отягощенье.
Но меры правоты всегда ли льзя найти.
По коей к общему блаженству мочь ийти,
Потребно множество монарху проицанья,
Коль хочет он носить венец без порицанья:
И естли хочет он к славе быть тверд;
Быть должен праведен, и строг и милосерд,
Уподроблятися правителям природы,
Как должны подражать ему ево народы.
Но коей радости в победе ныне жду
Почто в желанный гроб толь медленно иду.³⁴

От прежнего монолога остались только последние два стиха. Смелое поучение монарху звучит здесь с прямым намеком на «страсти» Екатерины II, как уже отмечал это П. Н. Берков.³⁵ С мыслями, выраженными в монологе Кия, прямо перекликаются приводившиеся выше слова Зениды из IV действия «Вышеслава». Но это еще не все: в «Вышеславе» на протяжении пяти действий монарх мужественно побеждает свою страсть. Сумароков всей трагедией словно противопоставляет Екатерине II образец истинного монарха и указывает, как должно вести себя императрице.

В следующей трагедии — «Димитрий Самозванец» — Сумароковым решается проблема монарха-тирана. То ясное донесение до

³⁴ А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе..., ч. III, 1781, стр. 47.

³⁵ П. Н. Берков. Вступительная статья. В кн.: А. П. Сумароков, Избранные произведения. (Библиотека поэта, Большая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1957, стр. 34.

зрителя главной идеи трагедии, к чему пришел Сумароков в «Вышеславе», в полной мере относится и к «Димитрию Самозванцу». Характер развития драматического действия в них одинаков. Но если в первой из этих трагедий автор утверждает свой идеал посредством выведения образов положительных героев, то в «Димитрии Самозванце» он утверждает тот же идеал через логически неизбежную и неотвратимую гибель отрицательного героя — Димитрия.

С самого начала Димитрий предстает перед зрителями тираном. Его первые в трагедии слова:

Зла фурия во мне смятенно сердце гложет,
Злодейская душа спокойна быть не может.³⁶

О жестокостях Димитрия говорит ему и Пармен:

Ты много варварства и зверства сотворил:
Ты мучишь подданных, Россию разорил,
Тирански плаваешь во действиях бесчинных,
Ссылаешь и казнишь людей ни в чем невинных.³⁷

Сам Димитрий не только не скрывает своих действий, но подчеркивает свое тиранство:

Российский я народ с престола презираю,
И власть тиранскую неволей простираю...³⁸

и еще:

Не истинна царь, я, закон, монарша власть:
А предписание закона царска страсть
Невольник тот монарх, кто презрит те забавы,
В которых вольности препятствуют уставы.³⁹

Подобные речи произносятся Димитрием неоднократно в течение всей трагедии.

Конфликт в этой трагедии, как и в ряде предшествующих, заключается в противоречии между абстрактным идеалом государя и конкретным монархом, охваченным пагубными страстями и являющимся тираном. Но конфликт как основа драматического действия и, следовательно, как источник его развития отсутствует. Его нет потому, что он фактически уже сформулирован и разрешен в начале трагедии. Это то же самое, что мы видели в «Вышеславе», только как бы в прямо противоположном аспекте: Димитрий-тиран неисправим.

³⁶ А. Сумароков. Димитрий Самозванец. СПб., 1771, стр. 4.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же, стр. 8.

³⁹ Там же, стр. 9.

Когда страшеначальник уже в I действии доносит ему о народном волнении и готовящемся восстании, Димитрий остается верен себе. Он велит усилить стражу поляками и решает как можно скорее жениться на Ксении, невесте Георгия, т. е. готов совершить новое преступление.

В трагедии «Вышеслав» на протяжении пяти действий испытываются добродетели героев, с честью выходящих из испытаний. Здесь, наоборот, Сумаров постоянно усиливает сознание грозной кары, ожидающей Димитрия за его преступления, призывает его к исправлению, на что Димитрий неизменно отвечает новыми «тиранскими» поступками.

И участь тирана предрешена уже в I действии. Обреченность его ощущается в известиях о волнении народа. Конкретно предвозвестником конца Димитрия является Шуйский, который действительно готовит против тирана восстание. И, наконец, обреченность Димитрия видна ясно из его же монолога в конце II действия, где каждая фраза пронизана сознанием безысходности.

Итак, конфликт фактически разрешен в самом начале трагедии.

На протяжении II, III и IV действий Димитрий разглагольствует о том, что он тиран и что для него «разверсты пропасти, пылают адски реки»; Ксения, Георгий и Пармен произносят монологи о том, каким должен быть монарх; Шуйский готовит восстание и учит, как обманывать тирана. Драматическая коллизия, какая бы то ни было, отсутствует. И в таком положении действие пребывает до конца, пока не наступает затянувшаяся развязка.

V действие начинается гулом набата и монологом Димитрия, близким к монологу из II действия:

Довольно я терплю душевных огорчений;
Не умножайте вы мечты моих мучений:
Мне все приснилось, чем страшен сей мне град.
И весь перед меня предстал ужасный ад.

(Слышен колокол)

В набат бият! сему биению что причина!

(Встает)

В сей час, в сей страшный час, пришла моя кончина.

.....
И человечества я враг и божества;
Против я шел Тебя, против и естества...
Весь воздух восшумел: враги вооружены,
У стен моих палат ярятся приближенные:
А я бессильствую их наглости внемля...
Все, все против меня: и небо и земля...

Может быть, теперь наступит раскаяние? Но Димитрий неизменен:

О град, которым я уж больше не владею,
Достанься ты по мне такому же злодею! ⁴⁰

Димитрий призывает Ксению и хочет перед своей смертью убить и ее. На сцене появляются Шуйский, Георгий, Пармен и воины. Пармен вырывает Ксению из рук Димитрия.

Пармен

Прошли уже твои жестокости и грозы;
Избавлен наш народ смертей, гонений, ран:
Не страшен ни кому в бессилии тиран.

Димитрий

Ступай душа во ад и буди вечно тленна!

(Ударяет себя по грудь, кинжалом и издыхая падающий в руки стражей):

Ах, есть ли бы со мной погибла вся вселенна! ⁴¹

«Димитрий Самозванец» тоже итоговое произведение Сумарокова. Проблема монарха-тирана получает здесь свое окончательное разрешение.

Таким образом, художественная структура сумароковской трагедии не оставалась неизменной. В последних рассмотренных нами трагедиях дидактизм полностью вытеснил все остальное. Драматизм действия, в надуманном, привнесённом виде еще имевшийся во всех предыдущих трагедиях, здесь совершенно исчезает.

Доказательство тезиса, приведение к определенному абстрактному идеалу — составляет сущность всех сумароковских трагедий. Конфликт в его трагедиях — это конфликт между абстрактным идеалом истинного монарха и тем, каким представлялся Сумарокову действительный государь в жизни. Разрешение конфликта направлено в сторону достижения идеала. В образах же подданных воплощены идеальные дворяне, верные чести и своему долгу. Абстрактность идеалов, порождающая абстрактность конфликта, обуславливает и надуманность его разрешения; счастливые развязки большинства трагедий служат подтверждением этому.

Жанр трагедии сам по себе немыслим без лежащего в основе трагедии конфликта, столкновения двух противных сил. Конфликт и является определяющим фактором того, как развиваются происходящие на сцене события, т. е. как строит драматург свое произведение. Но каков этот конфликт, каковы противоречия, лежащие в его основе, — это обуславливается эпохой, породившей данное искусство, характером противоречий эпохи. А выяснение этого вопроса уже выходит за пределы задач настоящей работы.

⁴⁰ Там же, стр. 67—68.

⁴¹ Там же, стр. 74.

В. Н. КУБАЧЕВА

«ВОСТОЧНАЯ» ПОВЕСТЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII—НАЧАЛА XIX ВЕКА

На протяжении почти семидесяти лет (с 50-х годов XVIII века) в России издавались и переиздавались многочисленные «восточные» повести, сказки и сборники сказок. Под этим именем существовали и подлинно восточные произведения (как сказки «1001 ночи»), и подделки, и произведения, ничего общего с Востоком не имевшие. Все они пользовались большой популярностью у читателей. С «восточной» повестью так или иначе связаны имена М. Хераскова, И. Крылова, П. Львова, позднее — А. Бенитцкого, А. Измайлова, Ф. Глинки. Ее печатали в своих журналах Н. Новиков и Н. Карамзин.

Исследователи неоднократно обращали внимание на «восточную» повесть. Однако вопрос о судьбе ее в России до сих пор почти совсем не изучен.

Попутно и очень кратко говорит о ней В. В. Сиповский в «Очерках из истории русского романа», бегло характеризует «восточное» направление в русской литературе И. А. Кубасов в книге о Бенитцком. Наконец, имеется очень содержательная, но также очень краткая статья В. Г. Чернобаева «К вопросу о судьбах восточной повести в Чехии и Польше». В. Г. Чернобаев указывает на необходимость конкретного изучения судеб отдельных повестей одновременно в различных литературах.¹

Но перечисленные работы не касаются судьбы этого жанра в России в целом.

Настоящая статья является попыткой дать общее представление о составе «восточных» повестей», бытовавших в русской литературе XVIII—начала XIX века, и проследить основные тенденции развития наиболее интересного, в идейном отношении, на-

¹ В. В. Сиповский. Очерки из истории русского романа, т. 1, вып. 1. СПб., 1905; И. А. Кубасов. Александр Петрович Бенитцкий. (Историко-литературный очерк). СПб., 1900, 34 стр.; Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского. Изд. АН СССР, Л., 1928, стр. 115—119.

правления внутри этого жанра — просветительской «восточной» философской повести.

Необходимо сделать несколько оговорок: здесь будет идти речь только о печатных «восточных» повестях. Произведения этого жанра, существовавшие в рукописном виде, совершенно не исследованы, даже не учтены и поэтому пока не привлекаются для анализа. Но и печатная «восточная» повесть дает достаточно обильный материал,² позволяющий сделать ряд выводов и обобщений, имеющих значение для истории русской повести и романа.

Кроме того, в работе не всегда проводится различие между повестями оригинальными и переводными: во-первых, потому, что очень часто невозможно установить источник тех повестей, которые печатались анонимно и без каких бы то ни было пояснений; во-вторых, потому, что в XVIII веке переводились на русский язык обычно произведения, вполне соответствовавшие идеологическим воззрением переводчика и читательской аудитории, на которую он рассчитывал.

Правда, переводные повести были иногда тесно связаны с жизнью того общества, в котором они возникли. В «восточных» одеждах они нередко выводили исторических лиц и изображали конкретные события. От русского читателя эта сторона большей частью ускользала. Но оставалась актуальность общих проблем, которая была вызвана сходством общественных условий. Факты же переосмысливались применительно к русской обстановке, и это делало данные повести явлением русской литературы.

Органичность этих произведений в русской литературе доказывается и тем, что идейный и образный строй как оригинальных, так и переводных «восточных» повестей не противоречат друг другу.

Родиной «восточной» повести является Франция. Во французской литературе в конце XVII века началась борьба с канонами классицизма («спор древних с новыми»), возникли оживленные поиски сюжетов, нового литературного материала, определилось в связи с этим обращение к фольклору (сказки Перро). Интерес к восточному фольклору был вполне подготовлен.

Произведения о Востоке или с восточными сюжетами были известны во Франции уже в XVII веке. Но обширный поток их хлынул на книжные прилавки после выхода в свет в 1704—1717 года арабских сказок «1001 ночи» в переводе аббата Антуана Галлана. Эти сказки поразили читателя совершенно исключитель-

² Нами обследовано около 200 печатных «восточных» повестей, оригинальных и переводных.

ной фантастикой, новыми образами, экзотическими картинами природы, нравов и своеобразной поэзией.³

По словам графа Кэйлюса, «восточные сказки долго были в такой моде, что в его молодости (он родился в 1692 году, — В. К.) большой свет не читал почти ничего другого».⁴

Одно за другим появлялись разнообразные подражания «1001 ночи». В 1710—1714 годах Пети де ла Круа напечатал сперва «1001 день. Сказки персидские»,⁵ а затем — «Сказки турецкие». Многочисленные произведения этого типа принадлежат перу Тамоса-Симона Гелетта (1683—1766). Его сказки как образец галантной литературы предельно авантюرنы и насыщены эротикой. Ему принадлежат «1001 четверть часа. Сказки татарские» (1712), «Китайские сказки» (1725), «Гузаратские султанши, или Сны проснувшихся людей. Монгольские сказки» (1732), «1001 час. Сказки перуанские» (1733).

По тому же образцу строились такие сборники, как анонимные «Сказки арабские. Приключение Абдаллы» или «Пятьсот с половиной утр. Сирийские сказки» (1756) Шевалье Дюкло и многие другие.

Все эти авторы создавали модное развлекательное чтение, для занимательности заимствуя элементы из произведений иного типа: авантюрно-галантного романа, пасторальной литературы, волшебного-рыцарского романа и т. п.

Иногда авторы задавались нравоучительными целями Таковы, например, «Новые восточные сказки» графа Кэйлюса (1743—1745).

Сказочность и фантастика скоро утратили первоначальную свежесть. Появились надуманность и вычурность. Во многих сказках Гелетта доведены до абсурда превращения, волшебства, переселения душ, любовные похождения и пр. «Китайские сказки», например, настолько насыщены всем этим, что после них уже трудно стало отыскать вещь, в которую бы еще не переселялась у сказочников душа человека.⁶

³ См.: M-me Dufrenoi. L'Orient romanesque en France, 1704—1789. Montréal, 1946—47.

⁴ Г. Геттнер. История всеобщей литературы XVIII века, т. II. Пер. А. Н. Пыпина. Изд. 2-е, пересм. и доп. по 5-му изд. подлинника. СПб., 1897, стр. 49.

⁵ Вопрос о поддельности или даже подражательности этого собрания сказок не может сейчас считаться окончательно решенным. Считается, что Пети де ла Круа в 1675 году списал в Исфагани (Иран) у дервиша Мокла са рукопись под названием «Хезар йек руз» («Тысяча и один день»), которую позднее перевел на французский язык. Последовавшая утрата персидской рукописи вызвала предположение о фальсификации. См.: Hans W. Erpelsheimer. Handbuch der Weltliteratur von den Anfängen bis zum Weltkrieg ein nachschlagewerk. Frankfurt am Main, 1935—1937. *Прим. ред.*

⁶ R. Fürst. Die Vorläufer der modernen Novelle im 18. Jh. Halle, 1897. S. 52.

В результате длительного процесса литературной обработки от восточной сказки во Франции не оставалось ничего, кроме костюмов, имен и заштампованных мотивов. Но эта внешняя оболочка продолжала долго держаться в литературе или как маскарадный костюм, за которым можно было легко укрыть любое содержание, или просто как дань литературной традиции.

На этом литературном фоне возникло новое направление в «восточной» повести — просветительское.

Традиция использования восточных мотивов в просветительской литературе шла от «Персидских писем» Монтескье и «Нескромных сокровищ» Дидро.

Классическим образцом такой литературы являются «восточные» повести Вольтера: «Мир как он есть, или Видение Бабука» (1746), «Задиг. Восточная повесть» (1747) и «Принцесса Вавилонская» (1768). Эти произведения входят в круг философских повестей Вольтера. В то же время они подчеркнута пародируют «восточную» литературу: условно восточный колорит, фантастические преувеличения, необыкновенную насыщенность приключениями и т. д.

«Восточная» просветительская повесть определилась сразу как жанр идеологический, разрешавший наиболее общие и в то же время злободневные философские вопросы, с одной стороны, и как сатирический жанр, с другой. Успеху «восточных» повестей способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, условные восточные одежды были удобны по цензурным соображениям; во-вторых, сам метод изображения западного мира через восприятие наивного восточного жителя был на руку писателю-просветителю. Это был идеальный для просветителя способ анализировать явления жизни с точки зрения разумности и естественности. В-третьих, маскировка под модный жанр облегчала широкую популяризацию философских идей.

Свои повести-сказки Вольтер осознавал как произведения философские и в то же время обладающие конкретной политической направленностью. В письме Мармонтелю (1764) он говорит: «Вам следовало бы непременно сочинять философские сказки, где вы можете предать осмеянию кое-каких глупцов и некоторые глупости, некоторые подлости и кое-каких подлецов — все это с умом, вовремя, подстригая когти зверя тогда, когда застанете его спящим».⁷ Таким образом, цель подобных сказок Вольтер видит в сатире; однако называет их не сатирическими, а философскими. Положительной основой в них является философская идея, во имя которой отрицается неразумная действительность.

⁷ К. Н. Д е р ж а в и н. Вольтер. Изд. АН СССР, М., 1946, стр. 286.

В повестях Вольтера содержание целиком определяет форму. Можно сказать, что они являются философскими также и по форме, по своей повествовательной сути. Они характеризуются специфическим «философским», т. е. рационалистическим стилем. Особенно рационалистично действие. Оно не внутренне присуще описываемому, а разворачивается чисто механически. Во всем господствует заданность, преднамеренность. О героях философских повестей Вольтера К. Н. Державин говорит: «Они подробно и точно описаны в костюмах, но лица их скрыты от нас философским обобщением... Портрет морально-философичен и содержит в себе морально-философскую мотивировку дальнейших поступков (героя)».⁸

Наиболее видными подражателями Вольтера в области «восточной» повести был Ж.-Ф. Мармонтель и Ф.-Б. Арно. Однако это были подражатели умеренные, преимущественно моралистического направления.

Таким образом, во французской литературе XVIII века «восточная» повесть не имела единого характера. Параллельно существовали два несовместимых ее вида: один — развлекательный, ведущий начало от восточной фантастической сказки и авантюрно-галантного романа, и другой, лишь внешне сходный с ним вид, — просветительская «восточная» философская повесть. Они развивались рядом, почти не смешиваясь; каждый из них имел свою поэтику.

Русская «восточная» литература имела более сложную основу, чем французская. В нее вошли произведения более ранней эпохи, дошедшие к нам через Византию,⁹ новые переводы истинно восточного фольклора, переводы французских подделок и модной ориентальной литературы и, наконец, оригинальные произведения. Все это представляло собой довольно пеструю смесь.

И все же в этом потоке можно различить несколько направлений, характеризовавшихся определенной тенденцией развития, определенным кругом тем, идей и образов.

Допуская некоторую условность, «восточные» повести в русской литературе можно разделить на три группы:

1) морально-этические с религиозной окраской; 2) развлекательные, авантюрно-галантные; 3) просветительские философско-сатирические и нравоучительные.

Общий термин «восточная повесть» в этих группах имеет не один и тот же смысл. В первой группе он иногда воспринимается как указание на место возникновения, на родину произведения.

⁸ Там же, стр. 311—312.

⁹ См.: А. Пыпин Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб, 1857.

Во второй — чаще определяет лишь место действия, а в некоторых случаях — условный источник: подражание арабским или иным восточным сказкам. Наконец, произведения третьей группы всего дальше отстоят от первоначального значения термина «восточная повесть». Здесь могут отсутствовать даже восточные сюжеты, используются лишь имена, внешний реквизит и некоторые детали, ставшие общепринятыми признаками «восточности».

Правда, разграничение, особенно между второй и третьей группами, иногда очень нечетко и условно, так как авантюрные сюжеты нередко осложнялись сатирическим и нравоучительным элементом. Но все же принципиальное различие между этими группами существовало и осознавалось.

«Восточные» повести типа нравственно-религиозной притчи (первая группа), как было сказано выше, существовали уже в древнерусской литературе и продолжали бытовать на протяжении всего XVIII века и даже перешли в XIX век. Они в аллегорическом, философски отвлеченном плане решали наиболее общие вопросы: об отношении человека к вечности, о цели существования, о бренности земного и т. д.

О них необходимо упомянуть потому, что они заранее уже могли создать у русского читателя отношение к «восточной» повести, как произведению философскому, с большими нравственными проблемами.

К такого рода повестям можно отнести и «Видение Мирзы»,¹⁰ повесть, издававшуюся четыре раза на протяжении второй половины XVIII века. Ближе к ней стоят повести «Явление, виденное Феодором, пустынноиком Tenerифским»¹¹ и «Обидах и пустынноик». ¹² Все они аллегорически изображают жизненный путь человека и превратности, встречающиеся на этом пути: то в виде моста, висящего над океаном вечности, то в виде горы, то в виде скитаний заблудившегося странника. Они решают важные морально-этические проблемы, но с позиций философа-мудреца, аскетически от-

¹⁰ «Явление Мирзы». «Ежемесячные сочинения», 1757, ч. V; стр. 345—353; «Видение Мирзы». «Утренний свет», 1778, ч. III, № 8, стр. 285—297; «Первое видение Мирзы о краткости жизни человеческой». «Библиотека ученая, экономическая...», 1793, ч. VI, стр. 132—143; «Видение Мирзы, представляющее картину человеческой жизни». «Ипнокрена», 1800, ч. V, стр. 401—402.

¹¹ «Явление, виденное Феодором, пустынноиком Tenerифским, и по смерти его найденное в пещере». «Сочинения и переводы», 1760, сентябрь, стр. 252—275; «Сногидения одного пустынноика Tenerифского найденное в его убежище». «Чтение для вкуса и разума», 1791, ч. III, стр. 330—367 и др.

¹² «Обидах и пустынноик, восточная повесть». «Ежемесячные сочинения». 1756, ч. IV, стр. 276—282; «Обидах и пустынноик, восточная повесть перевод с немецкого». «Покоящийся Трудолюбец», 1784, ч. I, стр. 188—194; «Обидах, восточная повесть, перевод с немецкого». СПб., 1786; «Обидах, восточная повесть». «Детское чтение», 1789, ч. XX, стр. 149—156 и др.

решившегося от мирской суеты, и опираются на нормы христианской морали. Для большей убедительности поучения и толкования облечены в форму откровения, видения, явления. Образы пустынных, ангелов, духов композиционно помогали автору по-своему обобщить явления. Тут была и принципиальная позиция: слабый человеческий разум не способен достигнуть вершин знания — «истинное» знание связано с откровением. Истоки названных повестей относятся к эпохе более ранней, чем XVIII век; их идеология противоположна духу века Просвещения.

По всей вероятности, вначале «восточную» повесть чаще всего воспринимали у нас как нравственно-философскую притчу, отвлеченную и беспристрастную. Это подтверждает характер первых печатных «восточных» повестей.

Первая известная нам печатная «восточная» повесть — «Желатели»¹³ представляет собой притчу о калифе и семи «желателях». Композиционно она делится на собственно притчу, толкование ее и нравоучение. Повествование ведется в манере, свойственной притче, — обобщенно и «беспристрастно». Однако за этим кроется «пристрастная» политическая позиция автора. Повесть имеет явно охранительный смысл. Вот ее мораль: «Бедный желает себе богатства, но только к совершенству света потребно, чтоб не все были богаты, да и убогий сам может своим трудом приобрести себе пропитание. Некоторые неразумно желают, чтоб не было ни правления, ни законов, но тогда б были они причиною несчастья всего света и крайнего своего бедствия. Все желают себе временного и вечного блаженства. Сие желание у всех тех глупо...».¹⁴

Таким образом, «восточная» повесть в России, появившись в журнале, сразу же заявила о себе как жанр тенденциозный.

В 60-е годы XVIII века в России оживился интерес к реальному Востоку. Академические издания («Ежемесячные сочинения», «Сочинения и переводы») поддерживали этот интерес сообщениями научного и документального характера о различных восточных странах, пограничных с Россией. В этих изданиях рядом с разнообразными «восточными» повестями находим научные статьи вроде «О народе и имени Татарском, также о древних Могольцах и их языке»,¹⁵ «О первых российских путешествиях в Китай»,¹⁶ «Рассуждение о разных именах Китайского государства и о ханских титулах»,¹⁷ «Изъяснение сумнительств, находящихся при поставлении границ между Российским и Ки-

¹³ «Ежемесячные сочинения», 1755, ч. II, стр. 516—524.

¹⁴ Там же, стр. 524.

¹⁵ Там же, ч. I, стр. 455—484.

¹⁶ Там же, ч. II, стр. 15—57.

¹⁷ Там же, 1756, ч. IV, стр. 311—327.

тайским государством»,¹⁸ «История о странах, при реке Амуре лежащих»¹⁹ и др.

Уже эти названия говорят о познавательном и деловом интересе, который проявлял к Востоку тогдашний русский читатель.

С 1763 года стали печататься на русском языке сказки «1001 ночи».²⁰ Вслед за ними переводились многообразные подделки и подражания им: 1766 год — «1001 час. Сказки Перуанские», «Гузаратские Султанши, или Сны неспящих людей», 4 части. Появился ряд авантюрных переводных повестей с «восточным» содержанием. В русскую литературу «восточное» вошло как специфическая, условная поэзия, экзотика, как материал, знакомящий читателя с изощренной литературой фантастических приключений и т. д.

В 70-е годы XVIII века продолжается поток переводов произведений, связанных с «1001 ночью»: 1777—1778 годы — «1001 четверть часа. Повести Татарские», перевод с французского, 4 ч. СПб., 2-е изд.; 1778—1779 годы — «1001 день. Персидские сказки», перевод с французского М. Попова, 4 ч., СПб.; 1780—1781 годы — «1001 дурачество. Французские сказки», перевод с французского П. Страхова, 8 ч., М.

Отдельными изданиями выходит множество любовных, волшебнo-приключенческих и просто сказочных «восточных» повестей, которые чаще всего печатались анонимно.

Развлекательное направление «восточной» повести слабее было представлено в журналах. Это объяснялось, во-первых, тем, что авантюрное повествование требовало много места, во-вторых, тем, что содержание подобных произведений казалось издателям журналов неприемлемым.

Русская журналистика отрицательно отнеслась к засилью в литературе бессодержательных, развлекательных «восточных» сказок, повестей и историй.

Осуждение произведений подобного рода было высказано, например, в «С.-Петербургском вестнике» по поводу перевода М. Поповым «1001 часа, сказок Персидских».²¹ Автора рецензии беспокоила антипедагогическая роль «вымышленных» произведений: «Большая часть романов (в понятие «романы» включалась и «восточная» сказка, — В. К.) многим, а особенно молодым людям вредна, хотя бы тем только, что напоясь они сею сладостию, чувствуют уже отвращение от здоровой и больше им приличной пищи, равно и тем, что, представляя себе примеры вымышленных лиц,

¹⁸ Там же, 1757, ч. V, стр. 305—322.

¹⁹ Там же, ч. VI, стр. 3—39; стр. 99—130.

²⁰ Тысяча и одна ночь, сказки Арабские. Чч. 1—12, М., 1763—1771.

²¹ «С.-Петербургский вестник». 1778, ч. I, № 4, стр. 316—319.

щастия своего ожидают от случайных приключений, которого они от доброго поведения и трудолюбия своего ожидать должны были».²² Автор все же категорически не возражал против перевода этих «сочинений». Он только оставлял их «менее исправным переводчикам», отодвигая тем самым на периферию литературы.

Другие издатели возражали против «восточных» повестей не словом, а делом. Интересна в этом отношении позиция Новикова. В своих журналах он печатал много «восточных» повестей, в том числе и авантюрно-галантного содержания. Однако последние обрабатывались и приобретали совершенно иное звучание. Примером может служить «Мегмет-Али. Новость турецкая», помещенная в «Городской и деревенской библиотеке».²³ Эта повесть печаталась раньше под названием «Сальнеда и Гаральдия».²⁴ В журнальной редакции она уже не просто повесть о любовных и прочих приключениях двух женщин, а история страданий незаслуженно обиженных людей. Конечный вывод таков: «Повесть сия вразумляет, что не должно никогда осуждать человека, не исследовав точно его преступления».²⁵ Кроме того, в этой редакции в повесть включены дополнительные сцены сатирического характера, введен, например, образ корыстного, несправедного кадия (судьи).

Таким образом, просветительская тенденция в этом случае ясна: обратить на пользу читателям бесполезное, бессодержательное, а может быть, даже и вредное, но популярное произведение.

Однако главный путь использования «восточной» повести просветителями был иной. Это был вольтеровский путь создания философски-сатирической повести под маской авантюрно-восточного повествования.

Уже среди первых печатных «восточных» повестей в «Ежемесячных сочинениях» находим перевод вольтеровского «Зади́га».²⁶ Здесь он помещен без комментария. В 1765 году повесть была переведена вновь²⁷ и снабжена «Предуведомлением», в котором говорилось: «Славного Вольтера сочинения для превосходного в оных разума, хорошего слога и нравоучения с похвалою от всех приемлются, охотно читаются и на иностранные языки переводятся. Между оными повести его тем приятнее, что, имея в прочем сходство с обыкновенными любовными сказками, заключают в себе

²² Там же, стр. 318—319.

²³ «Городская и деревенская библиотека», 1786, ч. XII, стр. 249—282. Словом «новость» в то время переводили слово «nouvelle» — новелла.

²⁴ Сальнеда и Гаральдия. Восточная повесть, сочиненная г. Ламотом. М., 1776.

²⁵ «Городская и деревенская библиотека», 1786, ч. XII, стр. 281.

²⁶ «Ежемесячные сочинения», 1759, ч. I, стр. 58—72.

²⁷ За́двиг, или Судьба. Восточная повесть. Пер. Ив. Голенищев-Кутузов. СПб., 1765.

несравненно больше острых мыслей, тонкой критики и разумных наставлений».²⁸

Это показывает, что русскому читателю были ясны внутренние возможности произведений, по внешности напоминавших авантурные «восточные» истории. Читатели умели находить в подобных произведениях скрытый смысл, о котором говорил Вольтер в предисловии к «Задвигу».

Иногда писатели, опасаясь, как бы читатель не прошел мимо истинного смысла повести, намекали на него сами. Примером может служить вступление к мнимо волшебной повести Хераскова «Золотой прут» (1782), якобы переведенной, как сказано на титульном листе, «с арабского языка»: «Сия достопамятная книга недавно напечатана была в Константинополе вместе с Белизарием;²⁹ но великий Муфтий, догадавшись, что в оных двух книгах больше смысла, нежели в мозгу у всех бывших и будущих Муфтиев, сей великий Муфтий доказал Султану, никогда книг не читающему, что Музульманам вредно читать таковые сочинения, а паче того вредно заводить на Турецком языке тиснения. Уничтожил он сие благоразумное художество, и так ни Белизарий, ни Албекировы приключения не могли быть напечатаны».³⁰

Просветительские философские повести, начиная с вольтеровских, утверждали культ разума, доказывали необходимость переустройства общества на началах разума и справедливости. Поэтому основная их тема — отношения людей в обществе, точнее: отношения различных по положению людей друг к другу и к обществу.

Это определило круг образов, характерный и для русской «восточной» повести. Если учесть, что в произведениях такого рода пропагандировались самые популярные для своего времени идеи, которые часто превращались в общее место, то станет понятным, почему в процессе развития жанра выработались трафаретные образы: скучающий «от веселостей» государь, время от времени изъявляющий желание «знать истину» о положении своего народа; визирь, за благородство ненавидимый придворными; его антагонист — корыстный муфтий или кадий; дервиш; добродетельный поселянин и т. д.

Конечно, большое внимание уделялось первому члену общества — государю. Повести, где в центре внимания находилась личность государя, наиболее интересны в идейном отношении. Они входят в круг просветительской литературы, которая пропагандировала идеи просвещенного абсолютизма и наталкивала читателей

²⁸ Там же, стр. 47.

²⁹ «Велизарий» Мармонтеля.

³⁰ М. Херасков. Золотой прут. Восточная повесть. Переведена с арабского языка. М., 1782, стр. 87—88.

на критическое сопоставление идеала с реальными современными государями. В этом была их прогрессивность, хотя, конечно, они были далеки от мысли об устранении монархической власти. Речь шла лишь о недостатках, несовершенствах государей. Правда, в применении к конкретным современным условиям это могло иметь и часто имело острый политический смысл.

Как уже говорилось, первая печатная «восточная» повесть («Желатели») давала решение проблемы общественных отношений в строго охранительном смысле.

Со всей остротой эта решенная уже в просветительском плане проблема встает в «восточных» повестях 80-х—начала 90-х годов. Внимание большей части журнальных «восточных» повестей того времени сосредоточено на личности государя.

Значительны по содержанию повести, помещенные в журналах Новикова. Так, повести «Справедливое решение» (1782)³¹ и «Артабан, или Истинный государев советник» (1784)³² выдвигают идею об истинных и мнимых заслугах царей и ответственности их перед народами. обширный план переустройства общества на основе просвещенного абсолютизма развертывает «Надир. Восточная повесть» (1783).³³

Герой повести, Надир — воспитанный по специальной программе просвещенный министр-преобразователь, который призван перевоспитать и самого государя. Результатом его преобразовательской деятельности является идеальное государство, о котором автор говорит так: «Государь уже обитает среди народов. Двора уже больше нет. Нет придворных, но имеет подданных, не воздвигают ему больше позлащенных статуй... но имя его живет в сердцах... Народ не мешкает последовать примеру своего государя: города сделались жилищами нужных искусств; в полях размножаются земледельцы, и радость возобновляется во всех странах. Исчезают сии надменные жилища, сии совершенные плоды роскоши, но на их развалинах возносится правда».³⁴

Картина утопического государства имеет в общем антидворянскую направленность: на месте придворных видим просто подданных, на месте прежней роскоши — процветающие города, сделавшиеся жилищами «нужных искусств», т. е. ремесел. Антидворянский характер программы проявляется и в том, как понимает автор предпосылки создания такого государства: источником его богатства объявляются «внутреннее производство»³⁵ и торговля. Рационализм, антиисторичность взглядов автора заклю-

³¹ «Городская и деревенская библиотека», 1782, ч. IV, стр. 337—344.

³² «Покоящийся Трудолюбец», 1784, ч. II, стр. 121—125.

³³ «Городская и деревенская библиотека», 1783, ч. VI, стр. 157—284.

³⁴ Там же, стр. 284.

³⁵ Там же, стр. 200.

чается в том, что успех всего дела он связывает только с личными качествами деятеля. Отсюда большая роль отводится воспитанию просвещенного министра. Программа его подготовки разработана в повести подробно. Это идеальное, утопическое сочетание всего богатства знаний с неиспорченной, естественно развитой личностью человека.

Сходную с «Надиром» программу преобразования общества предлагает повесть «Три сына Аубовы», правда, более поздняя (1797).³⁶ Содержание ее состоит в следующем. Добродетельный государь Ауб решает выбрать из трех сыновей в наследники достойнейшего. Для испытания он дает каждому из них в управление провинцию. Такой сюжет очень удобен для автора, так как он позволяет, с одной стороны, изложить положительные политические идеи и высказать мысли об истинном назначении государя, с другой — критически изобразить недостатки современных государей.

В повести сравниваются три способа правления, причем каждый из них рационалистически объясняется тем воспитанием, которое получили принцы. Последовательно осуждаются мнимо просвещенный государь Коркут, который в ущерб народному благосостоянию поощряет науки и искусства, и его брат Арелам, честолюбивый завоеватель, прельстившийся славой победителя. Им противопоставлен Салем, правивший в Самарканде; став правителем, он прежде всего торжественно объявил, что не будет больше невольников в Самарканде и что с сего времени все будут свободны под священную власть законов.³⁷ Главную свою задачу он видел в «доставлении подданным своим обилия, без коего нет ни счастья, ни спокойствия».³⁸

Идеал, рисовавшийся в рассмотренных повестях-программах, был утопичен, но содержащиеся в них мысли об уничтожении рабства, о неотложности экономического преобразования страны и о необходимости веротерпимости имели для русского читателя большое значение.

Другим видом просветительских «восточных» повестей, которые ставили вопросы просвещенного абсолютизма, являются повести о путешествии государя. Образ государя, путешествующего переодетым, часто встречается в сказках; он восходит еще к «1001 ночи».

Наиболее интересна из таких повестей «Прогулка Шаха Аббаса», переведенная из Арно.³⁹ Автор признает существование несправедливостей, но причину их видит в разъединенности мо-

³⁶ Три сына Аубовы... Перевод из иностранного М., 1797.

³⁷ Там же, стр. 46.

³⁸ Там же, стр. 47.

³⁹ «Чтение для вкуса, разума и чувствований», 1792, ч. V, стр. 351—362.

нарха и народа, которую в корыстных целях поддерживают придворные и чиновники. Простейший для государя способ узнать истину о народе — посмотреть самому жизнь своих подданных. Для этого он и отправляется в путешествие. Шах Аббас собственными глазами видит несправедливости: обиженную вдову, умирающего с голода старого солдата и согнанного с земли крестьянина. Он сам исправляет положение, в результате чего виновные наказываются, а обиженные получают «каждый свое».

Об анонимном путешествии добродетельного государя рассказывается также в «Письме Ахмета, сына Салиманова к молодому Али, сыну Ибрагимову»,⁴⁰ в «Алибее, восточной повести»⁴¹ и во многих других произведениях. Вот как мотивируется путешествие, например, автором «Алибея»: «Один Персидский царь часто думывал, что льстецы его иногда лгут. Для сего вознамерился он на несколько времени удалиться от двора своего, чтобы, не быв знаемым, объездить области свои, любопытствуя увидеть свой народ в естественной его простоте, говорящий и действующий свободно».⁴²

Все эти повести были построены по одной схеме и большей частью умеренны в критике. Так, персидский государь, герой «Алибея», даже не находит никаких не порядков во всем государстве. Видимо, задача у произведений этого типа была другая: не вскрыть недостатки, а дать совет государю, натолкнуть его на мысль проверить слова своих придворных.

Однако другая часть авторов «восточных» повестей использовала эту традиционную форму с целью прикрыть восточными одеждами сатирическое содержание.

Сатирические повести резко выделяются среди общей массы нравоучительной «восточной» литературы.

Такова, например, «Сизим, или Великий Султан. Повесть восточная», изданная в типографии Новикова в 1781 году и, как сказано, переведенная с французского Н... Н... В обращении к читателю, подписанном «переводчик», говорится: «Она <повесть> весьма сходна с природою, и такие избранные обстоятельства, кои мы почти ежедневно опытом видим. Сизим — Султан, я молчу. Муфти — плут, я оставляю: всякое звание имеет свои злоупотребления...».⁴³

Ссылка на ежедневный опыт читателя весьма знаменательна. Переводчик наталкивает читателя на определенное толкование повести. А в ней высмеивается слепая вера подданных в законы, которым не верит и сам султан, описывается, как целый народ может быть обманут несколькими ловкими мошенниками. Очень

⁴⁰ «Ежемесячные сочинения», 1758, ч. VII, стр. 50.

⁴¹ «С.-Петербургский вестник», 1778, ч. I, № 4, стр. 48.

⁴² Там же.

⁴³ Сизим, или Великий Султан. М., 1781, стр. 5.

важное значение имеет здесь критика обманщиков-дервишей, т. е. представителей религии.

Только очень немногие из авторов «восточных» повестей осмеливались направить сатиру против государя. Правда, отрицательные образы монархов иногда встречались (например, в повести «Три сына Аубовы»), но их пороки: жестокость, самовластие или такие «недостатки», как излишнее увлечение науками, воспринимались как «благородные», царские. Тем более выделяются произведения, где государь изображается без всякой почтительности. Так, в «Повести о Султানে Торгул-Бек-Арсламе»⁴⁴ ее герой «предался нечувствительной лени, роскоши, всякого рода невоздержностям, особливо же пьянству»!⁴⁵ К тому же, он увлекся писанием стихов. Без обиняков этот государь называется «пьяным рифмачем». Критика «невоздержных» государей была в царствование Екатерины II весьма злободневна и намекала на нравы, царившие при русском дворе.

Поистине карикатурно нарисован образ монарха в повести Хераскова «Золотой прут».⁴⁶ Это оригинальное произведение стоит особняком среди «восточных» повестей. Боясь резкости своей сатиры, автор указывает, что повесть якобы переведена с арабского, а непосредственно перед самыми смелыми сатирическими картинами придворной жизни находит повод произнести панегирик Екатерине.

Герой повести Шах-Багем почитается благословенным, хотя единственное его достоинство заключается в том, что он мастер точить деревянные ложки. Его первый визирь Албекир славится тем, что несравненно плетет тонкие рогожки. И эти-то люди правят страной.

Следует обратить внимание на то, что образ Шах-Багема связан с повестью «Шах-Багам», напечатанной в 1779 году в «С.-Петербургском вестнике» без подписи и ссылки на перевод.⁴⁷ Герой последней повести тоже шах. За всю свою жизнь он получил представление лишь о двух вещах: о разбитой трубе и о пуговицах, которыми играл в детстве. Этот гротескный образ можно считать предшественником образов знаменитого крыловского «Трумфа». Автор говорит: «Дервиш научил его (Шах-Багама) выделывать из яблочных семечек мышей, чем шах и занимался до самой смерти, в то время как народ думал, что он занят важными госу-

⁴⁴ «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», 1790, май, стр. 60; с пометой «Сия повесть взята из журнала Энциклопедического».

⁴⁵ Там же, стр. 61.

⁴⁶ М. Х е р а с к о в. Золотой прут. Восточная повесть. Переведена с арабского языка.

⁴⁷ «С.-Петербургский вестник», 1779, ч. IV, стр. 346.

дарственными делами».⁴⁸ Приведенная фраза очень напоминает «Каиба» Крылова. Там цари собирались, чтобы играть шемелой на коврах и «приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов».⁴⁹

Неизвестно, имел ли Херасков какое-то отношение к этой повести, но связь между нею и «Золотым прут» несомненна. Герой «Золотого прута», как обычно в «восточной» повести, не знает правды о положении народа, но автор иначе по сравнению с традицией объясняет это обстоятельство. Он показывает, что Шах-Багем в силу своей непросвещенности, ограниченности не может уловить связь событий и изменить что-либо. По мысли автора, тирания является результатом невежества.

Повесть Хераскова представляет собой сложное сочетание философского и сатирического направлений. Как уже указывалось, резко сатирически изображены в ней картины жизни двора: развращенность нравов, шутовские философские споры, а главное — невежество, возведенное в закон.

Все же в повести главное не сатира, она подчинена философскому замыслу. Это определяет и характер сатиры — не столько социально-политический, сколько философский, просветительский. Главный предмет сатирического изображения в «Золотом пруте» — невежество, толкуемое как коренная причина всякого зла.

Композиция повести очень логична и стройна, она насквозь рационалистична. В образе Албекира показан процесс превращения невежественного ума в философский. Но этот процесс воспринимается не как естественное развитие человека, а как предопределенная схема с заранее задуманными узловыми моментами.

«Золотой прут» — произведение умеренное в политическом отношении. Автор делает вывод о вечности зла. Единственный путь, который он предлагает, — путь самопознания.

Итак, главная идея, которая выдвигалась «восточной» повестью, была идея просвещенного абсолютизма. Критика распространялась лишь на частные случаи несправедливого правления или на вельмож и чиновников, обманывающих государя. Даже если критиковался и монарх, то сам монархический принцип правления не подвергался сомнению.

Закономерным завершением, концом развития «восточной» повести в России явился «Каиб» — «Восточная повесть» И. А. Крылова (1792).⁵⁰ Выделяясь из произведений этого жанра по силе таланта автора, глубине мысли и смелости сатиры, «Каиб» связан

⁴⁸ Там же, стр. 351.

⁴⁹ И. Крылов, Полное собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М., 1945, стр. 347.

⁵⁰ «Зритель», 1792, ч. III, № 10, стр. 90—108; № 12, стр. 257—306.

с ними тематически. То, что это — литературная пародия, было ясно. Но на истинный смысл и политическую направленность этого произведения исследователи долго не обращали внимания. Лишь в советское время «Каиб» впервые был назван «наиболее политически острым сатирическим произведением русской литературы XVIII века».⁵¹

«Каиб» — блестящая насмешка не только над формой «восточной» повести и сказки, остро пародирующая их стиль, приемы, излюбленные образы и мотивы, но главное — над основной идеей философской «восточной» повести — над верой в возможность существования просвещенного, идеального государя.

Все «восточные» повести, включая и крыловскую, признают в качестве исходной мысль о том, что государь не знает истины о положении народа. Но если одни («Прогулка Шаха Аббаса») объясняли это происками вельмож, другие («Золотой прут») — тоже обманом и тем, что государь глуп и непросвещен, то Крылов решает этот вопрос гораздо глубже. Каиб по положению своему не может узнать истину, да ему и нет необходимости ее узнавать. Для того чтобы вывести Каиба из дворца, Крылову понадобились чудеса, причем сам он настраивает читателя на скептическое отношение к ним: «Какой вздор! — скажет любезный мой читатель, но прошу не дивиться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случилось в неделю, по крайней мере, два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты».⁵² Или: «Очень сожалею, что свет ныне таков, что не верит сказкам».⁵³ Тем самым Крылов говорит: верить в то, что государь каким-то внешним способом вдруг узнает о народе истину — все равно, что верить в сказки. Крылов словно ставит вопрос: действительно ли дело только в незнании государем истинного положения вещей?

Обычно «восточные» повести рассматривали вельмож как обманщиков, скрывающих правду от государя. Эту точку зрения разделяла официальная литература. Сама Екатерина поддерживала ее. Крылов же показывает, что вельможи и государь не противостоят друг другу, а представляют собой нечто единое. Вельможи таковы, какие нужны государю.

Визири Каиба глупы и подлы, но именно таких Каиб и подбирал вполне сознательно. Он обдуманно составлял свой совет — «диван». В повести говорится: «Калиф был расчетист: обыкновенно одного мудреца сажал он между десяти дураков; умных

⁵¹ П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII в. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 474; см. так же: Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. М., 1939, стр. 473.

⁵² И. А. Крылов, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 351.

⁵³ Там же, стр. 353.

людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар; и часто говаривал, что для сохранения доброго порядка дураки, по крайней мере, столько же нужны, как и умные люди. Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен».⁵⁴

Крылов показывает нелепость устройства современного общества с точки зрения здравого смысла. Особенно наглядно это видно при обыгрывании термина «право» в применении к современной писателю действительности. Термин «право», «правá» проходит через всю повесть, он звучит то серьезно, то иронически. Коротко, но очень язвительно касается Крылов прав государя, сословных прав дворянства и, наконец, прав прочих подданных.

Всей своей повестью Крылов вскрывает внутреннюю противоречивость, абсурдность существующих общественных отношений, основанных на традиции, силе и обмане. Однако положительной программы он не выдвигает. Он только хочет показать читателю, что вера в возможность улучшения существующих порядков смешна: этот строй порочен в принципе. Поэтому Крылов издевается, с одной стороны, над самодержавием, а с другой стороны, над ограниченностью просветительской общественно-политической мысли. Можно сказать, что основной задачей повести, как и всего творчества молодого Крылова, было воспитание из читателя человека с непоработанной мыслью. Поэтому писатель так смело уничтожал иллюзии и разрушал веру в авторитеты.

Огромной заслугой Крылова как художника и мыслителя было то, что он в «Каибе» сделал попытку отказаться от рационалистического схематизма образной системы, свойственного обычной «восточной» повести. В последней давалась лишь обобщенная нравственная характеристика героя, благодаря чему такие неопределенные понятия, как добродетель, могли наполняться различным содержанием в зависимости от социальной позиции автора. Отступая от этой традиции, Крылов в «Каибе» стремился связать моральную и социальную характеристики героя. Он показал, как самодержавие воздействует и на подданных, и на противостоящего им государя. Каиб — это человек, природа которого искажена его положением. Он говорит: «Мы... калифы и — вы... люди».⁵⁵ И поэтому скука Каиба это не обычная для «восточной» повести «скука от веселостей», а результат одиночества калифа среди людей, следствие исключительности и противоестественности его положения. «Ему казалось, что он — один во всей вселенной или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолженных, которые не могли его разуместь, ни помочь

⁵⁴ Там же, стр. 361.

⁵⁵ Там же, стр. 356.

его скуке».⁵⁶ Каиб умен и добродушен по природе, он любит умных людей, но предпочитает им дураков, так как последние более удобны для поддержания его власти; он не жесток как человек, но тиран, потому что он государь и т. д.

Так Крылов разоблачал самодержавие как противоестественное, враждебное человеку явление, как угнетение физическое и нравственное, не знающее законов и попирающее права человека. Так смеялся он над наивной верой просветителей в идеального государя.

Если заслугой докрыловской «восточной» повести было то, что она констатировала общественное зло, то ее недостаток состоял в неумении правильно объяснить его. Только Крылов сумел увидеть причину несправедливостей не в личных качествах тех или иных людей, а в самой природе самодержавия. Эпиграфом к «Каибу» могли бы быть поставлены слова Радищева: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состоянию».

«Каиб» как крупное сатирическое произведение был важным явлением для всей русской литературы; для «восточной» повести, в частности, он был закономерным и очевидным концом. Однако широкому кругу читателей, а главное, среднему писателю вряд ли были понятны и доступны мысли, которые казались Крылову очевидными. Кроме того, существовала многолетняя традиция «восточной» повести, которая способствовала ее живучести: «восточная» повесть продолжала по инерции существовать до 10-х и даже 20-х годов XIX века. Но внутреннего развития у нее уже не было. Она целиком обратилась к нравоведению.

В 1790—1800-е годы «восточная» литература в основном предстает как коротенькая назидательная притча, которая печатается наряду со множеством восточных анекдотов и апологов. Характерны уже сами заглавия: «Опасность высокомерия и педантизма» («Полезное и приятное препровождение времени», 1795, ч. VIII), «Цена умеренности» («Иппокрена», 1800, ч. VI), «Трудись, делай добро и будешь счастлив» («Благонамеренный», 1818, ч. I), «Кто щедрее?» («Вестник Европы», 1802, ч. I, № 7), «Обращенный скупец» («Вестник Европы», 1802, ч. III, № 9) и т. д.

Застой в жанре обнаруживается и с другой стороны: в 1800-е годы перепечатываются или даются в подновленном переводе повести, уже известные читателю. Так, из 9 «восточных» повестей, помещенных в журнале «Новости русской литературы» (1802—1805), шесть представляют собой переделку или прямое повторение повестей, издававшихся раньше, в XVIII веке.

⁵⁶ Там же, стр. 350.

Вместе с тем в эти годы печатают ряд оригинальных «восточных» повестей такие писатели, как А. Измайлов, А. Бенитцкий, Ф. Глинка.

А. Бенитцкий написал следующие «восточные» повести: «Ибрагим, или Великодушный»,⁵⁷ «Бедуин»,⁵⁸ «На другой день»⁵⁹ и «Восточные сказания»: «Корабль»,⁶⁰ «Деревня»,⁶¹ «Грангул»,⁶² «Визирь».⁶³

А. Измайлову принадлежат «Ибрагим и Осман, или Трудись, делай добро и будешь счастлив»⁶⁴ и «Наставление старого индейского мудреца молодому государю».⁶⁵

В 1818 году Ф. Глинка в «Благонамеренном» поместил «восточную» повесть «Златоперая птичка».⁶⁶

Все эти произведения почти не выходят за пределы традиционного в «восточной» повести.

О повестях А. Измайлова А. Д. Галахов писал: «В обеих статьях нет ничего восточного, кроме собственных имен. Измайлов не имел даже надобности прикрывать содержание переносом действия в отдаленное место. Он просто увлекся подражанием, заплатил дань моде».⁶⁷

Действительно, обе повести Измайлова совершенно не оригинальны. Во-первых, они имеют традиционную форму «поучения», во-вторых, вовсе не ново содержание этих поучений: о счастье земледельцев, о том, что нельзя делать добро без разбора, о добродетельном государе, который устанавливает правосудие, и т. д., т. е. то же, о чем говорилось в «восточной» повести чуть ли не полвека назад.

Более интересны, более талантливы повести А. Бенитцкого. Каждая из них посвящена критике какого-либо одного порока. Сюжеты более свободны, чем у Измайлова, хотя образы традиционны: мудрец, шах, визирь, обманщики — придворные. Бенитцкий даже расширяет поле действия сатиры. Так, в повести «На другой день», кроме обличения царедворцев, звучит антиклерикальная тема. «Везде Брама! Саиб! я думаю, что или ты, или вы оба мешаетесь часто не в свои дела»,⁶⁸ — говорит герой повести.

⁵⁷ «Талия или собрание разных новых сочинений». СПб., 1807, стр. 1—34.

⁵⁸ Там же, стр. 163—168.

⁵⁹ «Цветник», 1809, ч. I, № 1, стр. 6—49.

⁶⁰ Там же, № 2, стр. 172—178.

⁶¹ Там же, № 3, стр. 304—309.

⁶² Там же, ч. II, № 4, стр. 19—54.

⁶³ Там же, 1810, ч. VII, № 7, стр. 6—47.

⁶⁴ «Благонамеренный», 1818, ч. 2, № 2, стр. 198—228.

⁶⁵ А. Измайлов, Полное собрание сочинений, т. 2, СПб., 1891, стр. 231—235.

⁶⁶ «Благонамеренный», 1818, ч. I, № 3, стр. 316—324.

⁶⁷ «Современник», 1849, т. 24, № 11, стр. 46.

⁶⁸ «Цветник», 1809, ч. I, № 1, стр. 13.

Жрецы у Бенитцкого, используя свое особое положение в корыстных целях, идут на прямой обман. Автор показывает абсурдность религиозных догм, их противоестественность и враждебность человеческой природе. Так, Факир произносит как аксиому: «Все, что принадлежит к наслаждению, удовольствию, радости, веселию, — все должно быть чуждо истинному человеку: одне печали, одна корова или хвост ее достойны занимать мысли смертного».⁶⁹

Актуально звучал у Бенитцкого вопрос о правах и возможностях государей. Для той эпохи это был старый, но всегда жгучий вопрос. Даже Каиб Крылова наталкивался на мысль о том, что он всемогущ лишь тогда, когда сидит на троне, да и то его власть распространяется не на все в жизни. Герой же повести «На другой день» восклицает: «Нет, никто меня не уверит, чтобы мне все было возможно».⁷⁰

В начале XIX века «восточная» повесть часто становилась аллегорической. Прием аллегории позволял развивать те же идеи, отступая от традиционных образов и избирая оригинальный сюжет. Эти повести, может быть, были интересны для чтения, но новых мыслей они не содержали.

Примером такой повести служит «Златоперая птичка» Ф. Глинки. Основная ее идея заключается в следующем: все несчастья происходят оттого, что «человек не знает истинной цены вещам»,⁷¹ т. е. гонится за несуществующим и пренебрегает настоящим. Обманывает его «златоперая птичка» — воображение. Чтобы избежать самообмана, надо смотреть на вещи «сквозь стекло рассудка». Повесть Ф. Глинки отстаивала старый, рационалистический взгляд на весь мир в противовес эмоциональному к нему отношению, которое проповедовали сентименталисты.

Таким образом, повести начала XIX века если и могли представлять какой-то интерес для читателя, то все же были далеки от передовых запросов времени. Они или повторяли старое, или говорили о новом несмело и негромко. Приговор «восточной» повести был произнесен «Каибом» еще в начале 90-х годов.

Жанр «восточной» философской и нравоучительной повести изжил себя. Он был целиком связан с рационалистической философией просветительства и с литературными принципами классицизма. Новое время требовало новых форм. И хотя были попытки использовать «восточную» повесть для проповеди идей сентиментализма, но все они оказались неудачны. В этих повестях утверждались новые идеалы: вместо идеи долга — идея любви, вместо приоритета разума — приоритет сердца. Однако спор велся в об-

⁶⁹ Там же, стр. 16.

⁷⁰ Там же, стр. 24.

⁷¹ «Благонамеренный», 1818, ч. I, № 3, стр. 316.

ласти идей, а не в области литературной формы. А старая форма была недостаточна для нового содержания и чужда ему.

Примером таких неудачных повестей были «О нужде любить» («Новые ежемесячные сочинения», 1792, июль, стр. 59—63), «Земин» (там же, 1793, июнь, стр. 80—93), «Гулькем» А. Лафонтена («Вестник Европы», 1802, ч. VIII, № 7, стр. 173—192) и др.

«Восточная» повесть как проповедь, как иллюстрация к какому-нибудь философскому положению автора, принадлежит XVIII веку. К «восточным» одеждам нередко прибегали писатели и в более поздние эпохи (конец XIX—начало XX веков (М. Горький, А. Куприн)), но это уже были качественно иные типы произведений.

А. В. ФЛОРОВСКИЙ

ЛАТИНСКИЕ ШКОЛЫ В РОССИИ В ЭПОХУ ПЕТРА I

При изучении русской общественной жизни и русских культурных интересов времени Петра I совершенно необходимо учитывать все виды и формы образовательных средств, ставших доступными русским людям в эту важную и переломную в культурном смысле эпоху истории России. Между тем в научной литературе далеко не все относящиеся сюда факты учтены и получили надлежащую оценку и характеристику. В частности, совсем не учитывается или же учитывается слишком случайно и поверхностно наличие в России этого времени латинских школ.

Достаточно обратиться к некоторым существующим общим обзорам истории русского образования и русской школы, чтобы убедиться в этом. Новейший обзор такого рода — коллективные «Очерки истории СССР» — учитывает, естественно, прежде всего собственно русские усилия по организации образовательных центров в эпоху Петра I и затем останавливается отчасти и на более или менее широко изученных данных о немецких школах Глюка, Пауза и других¹ в Москве. Однако напрасно было бы искать здесь хотя бы одно слово о латинских школах того времени в России, прежде всего в той же Москве. Они остаются совершенно неучтенными, как не учитываются и в более ранних обзорах и сводках.

Историки русского образования как-то игнорируют весьма отчетливое свидетельство известного прусского наблюдателя русской жизни в первой половине XVIII века Фокеродта, который в своем интересном отчете в 1737 году отмечал, что по воле царя Петра русским родителям была предоставлена возможность давать детям начальное образование или с помощью частных учителей, или в лютеранском училище в Москве (т. е. у Глюка и Пауза), или же посредством тамошних католических священников; сам же Петр I обратил все свое внимание на организацию школ практического значения — инженерных, морских и т. д.² Эти свидетельства, несомненно известные каждому историку России времени Петра I, требовали только конкретизации, однако, почему-то указания на латинскую школу оставались вне поля зрения исследователей. Между тем приводимые ниже факты и данные весьма выразительно и вполне определенно говорят о том, что русские люди в поисках возможностей дать подрастающему поколению образование, отвечавшее современным

¹ Н. А. Бакланова. Школа и просвещение. В кн.: Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Изд. АН СССР. М., 1954, стр. 655—680; ср.: М. А. Голубцова. Московская школа Петровской эпохи. В кн.: Москва в ее прошлом и настоящем, т. VII, М., 1911, стр. 33—48.

² Записка Фокеродта в немецком оригинале см.: E. Herrmann. Zeitgenössische Berichte zur Geschichte Russlands, Bd. I. Leipzig, 1872, SS. 130—131; русский перевод «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1874, кн. II, отд. IV, стр. 10.

требованиям жизни, охотно обращались и к содействию католических миссионеров, осевших в разных краях и углах России.

Конкретно наши данные касаются трех центров школьной деятельности католического духовенства в России в эпоху Петра I — Москвы, Астрахани и Петербурга. Мы далеко неравномерно осведомлены об этих школах. Для Петербурга мы располагаем лишь случайными справками, несколько шире знаем о деятельности капуцинов в Астрахани и наиболее полно знакомы с школьным делом чешских иезуитов в Москве, поскольку в последнем случае можем опираться на довольно подробные свидетельства самих московских иезуитов. С Москвы мы и начнем наш обзор.³

I

Деятельность иезуитов в Москве началась в 1684 году, когда по соглашению между правительством царевны Софьи и кн. В. В. Голицына и Австрией было разрешено постоянное пребывание в Москве двух католических священников для обслуживания религиозных нужд католической колонии в России. Для этой цели венское правительство с согласия римского папского престола направило в Москву священников ордена иезуитов. В 1689 году после заточения Софьи иезуиты были изгнаны из России, и религиозные нужды католиков обслуживали представители белого духовенства из Моравии. Однако в 1698 году они были заменены вновь членами ордена Игнатия Лойолы и оставались (некоторое время скрывая свою принадлежность к иезуитам) вплоть до 1719 года, когда последовало вторичное изгнание иезуитов из России.⁴

В деятельности иезуитов-миссионеров в Москве школа сразу же заняла важное место. В течение более чем трех десятилетий школа эта не стояла на одном уровне. Однако ее судьбы и ее развитие представляют интерес на всем протяжении ее существования.

Организацией школы и работой в ней иезуиты занялись тотчас же по своему водворении в Москве. По общему замыслу иезуитская школа должна была обслуживать прежде всего и более всего потребности московской католической колонии, все более численно возрастающей. Но едва ли не в первые годы в эту школу принимали также детей московских православных обитателей, а позже, в конце XVII и в начале XVIII веков, приток русских учеников стал еще более значительным и широко организованным.

Иезуит Георгий Давид, бывший миссионером в Москве в 1686—1689 годы, в своем сочинении (1690) о путешествии в Россию категорически отрицает, что его предшественники по работе в Москве, иезуиты Шмит и Де Бюа, да и он сам принимали в свою школу православных учеников, настаивая на том, что у них обучались только дети католиков, которые затем помогали им в церковном богослужении в католическом костеле.⁵ Это утверждение представляется, однако, едва ли вполне правильным и скорее всего предназначено было для защиты миссии от высказанных против нее в 1689 году обвинений при изгнании Давида и его товарища Тихавского и для изображения миссии совершенно безобидной и неопасной для московского правоверия.

³ Подробности о московской школе иезуитов изложены в моей книге: A. Flórovský. *Cest jesuitů na Rusi*. Praha, 1941, s. 271—283; в настоящей очерке эти данные изложены в сокращении, но с дополнением ряда новых фактических сведений.

⁴ История католической миссии в России в 1684—1719 годов изложена в указанной выше моей чешской книге 1941 года.

⁵ G. David. *Status modernus Magnae Russiae*, рукописное сочинение, хранящееся в городском музее Тешина (Польша), л. 6.

Мы не имеем прямых указаний имперского посла Жеровского и иезуита Воты, получивших разрешение на устройство католической миссии и школы в Москве, о том, какой характер могла иметь эта школа. В своих донесениях они ограничиваются лишь общими ссылками на данное право открыть школу.⁶ Однако варшавский папский нунций в донесении в Рим от 21 июля 1685 года со слов самого посла Жеровского дает понять, что школа была открытой и для русских детей. Посол я. обы передавал что дано разрешение «che la gioventu voda alla scuole e che non si ristringa a soli figli de cattolici e stranieri, ma abbracci tutti generalmente, sopra di che spero, havero quando prima una distinta informatione» («чтобы юношество посещало школу, которая не ограничивается приемом только сыновей католиков и иностранцев но принимает всех вообще, и я надеюсь, что тут юношество получит хорошее образование»). Следующая фраза нунция ясно показывает, какое значение придавал и он и иные заинтересованные католики этому факту «questo e l'unico modo di pagare la Religione in quelle parti, ove non ha maggior nemico che l'ignoranza» («ведь это — единственное средство пропаганды веры в этих краях, для нее нет большего врага, чем невежество»)⁷

Трудно думать чтобы уже первый московский иезуит Иоанн Шмит, позже, с 1689 года, видный деятель иезуитской школы в Пруссии (Рессель), не оценивал в этом именно смысле значение своей школы в Москве и удержался от приема в нее русских учеников. В первые дни 1686 года Шмиту грозило изгнание из России. Одной из причин этого, по указанию Т. Давида было обвинение в том, что Шмит якобы обучал детей бояр латыни. Патриарх же Иоаким боялся, как бы с наукой и латынью не потрясена была и вера.⁸ Давид категорически отрицал прием русских детей Шмитом. Однако сам он в это время в Москве не был. А между тем весьма естественно предполагать, что московские бояре постарались воспользоваться услугами иезуитов для обучения своих сыновей латыни, столь нужной тогда для участия в политической жизни Европы. С другой стороны, никак нельзя допустить, чтобы патриарх и его окружение, как бы неприятно для них ни было пребывание иезуитов на «святой Руси», просто выдумали факты. Угроза изгнания Шмита к тому же была связана, кажется, и с иными обстоятельствами, а именно с деятельностью иезуитов в Китае во вред Москве во время русско-китайского конфликта 1685 года (падение Албазина и т. д.)⁹

Были ли русские дети в среде учеников самого Давида и его товарища Тихавского в 1686—1689 годы, сказать трудно. Давид пишет, что у него в школе были «solommodo Catholicorum nostrorum proles, alias enim admittere vel allicere tutum non erat»¹⁰ («исключительно дети наших католиков, ибо прием иных был бы небезопасным»). Это утверждение в достаточно апологетическом сочинении Давида не может иметь решающего значения. Как раз при изгнании Давида и Тихавского осенью 1689 года патриарх мотивировал свое выступление против них тем, что они зазывали «в училища русских малых детей»¹¹. Последнее указание не может быть отнесено к 1688 году, как повторе-

⁶ Ср. A. Florovský, *Čeští jesuité na Rusi*, s. 117.

⁷ Ватиканский Архив, Nunziatura di Polonia, m. 104. Копия из собрания Е. Ф. Шмурло.

⁸ «Ne cum litteris et latinam instillet Religionem» («дабы с науками не внедрилась и римская вера»), G. David, *Status modernus Magnae Russiae*, л. 6.

⁹ Ср. A. Florovský, *Čeští jesuité na Rusi*, s. 306.

¹⁰ G. David, *Status modernus Magnae Russiae*, л. 24, A. Florovský, *Čeští jesuité na Rusi*, s. 145.

¹¹ Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, VII, СПб., 1864, стр. 821, 825—826, A. Florovský, *Čeští jesuité na Rusi*, s. 156, 271.

ние обвинений против Шмита, ибо тогда речь шла, судя по свидетельству Давида, об обучении латыни сыновей бояр, теперь же вообще о малых детях. Поэтому мы полагаем, что у Давида и у Тихавского в школе могли бывать и русские дети, как они бывали, например, среди учеников их преемников по миссии, Лефлера и Яроша — моравских священников, работавших в Москве в 1692—1698 годы.

К сожалению, об иезуитской школе до 1698 года у нас сведения вообще крайне ограничены, бесспорно только, что миссионеры придавали ей важное значение и что и в Вене, и в Риме возлагали на них в этом деле серьезные обязанности.¹² А что миссионерам была ясна возможная роль школы в создании благоприятных условий для католического влияния в русской среде, в этом нет никакого сомнения. Недаром виднейший представитель католической общины в Москве генерал Патрик Гордон подчеркивал, что дело поддержания и распространения католичества в Москве определялось обучением и воспитанием юношества.¹³ И недаром в 1698 году в Риме А. Курбатов, хорошо знавший московскую среду и развивавший перед папой Иннокентием XII план упорочения позиций иезуитов в Москве, брал на себя труд ввести иезуитов в дома московских князей и бояр («*principum*») под видом учителей и пропагандистов латинского языка.¹⁴

Нужно отметить, что в 90-е годы XVII века, в период, когда католическая миссия в России была представлена не иезуитами, а моравскими священниками из белого духовенства, в Москве имелся и специальный учитель (он же органист, *Santor*); это был некий Иоанн Иосиф Финалис (*Joannes Josephus Finalis*). По его собственному свидетельству от 1701 года, он был привезен в Москву 17 августа 1692 года венским интернунцием Куртцом. По просьбе московской католической общины он обучал в Москве юношество и работал как органист и певец, за что получал, согласно обещанию, 50 рублей в год или 80—100 флоринов. Это продолжалось, по словам Финалиса, до 1700 года, когда существенно изменились общие условия жизни католической общины в Москве. Она значительно уменьшилась в своем составе, одни ее члены («*principales*») умерли, другие погибли или попали в плен под Нарвой и т. д. Оставшаяся община не имела средств на содержание этого «прецептора», да и дела для него оказывались уж очень мало («*non video quid mihi faciendum sit aut quomodo vivendum in terra aliena*», т. е. «не вижу, что я мог бы делать и как мог бы жить в чужой стране»). В письме от 16 января 1701 года Финалис просил венские власти о предоставлении ему средств на возвращение с семейством домой или же для жизни в России.¹⁵ Не знаем, долго ли еще оставался в Москве Финалис. Во всяком случае ясно, что в течение ряда лет, начиная с 1692 года, он работал и в католической школе в Москве. Были ли среди его учеников и русские дети — сказать нельзя. По догадке одного из чешских исследователей, Финалис едва ли не был по происхождению чехом, латинская фамилия которого могла явиться переводом его чешского имени Конечный.¹⁶ Известно только, что он не знал весьма нужного для работы среди московских католиков немецкого языка, и поэтому один из главных руководителей католической колонии Патрик Гордон старался подыскать более подходящего учителя.¹⁷

¹² A. Florovský. *Čeští jesuité na Rusi*, s. 272—273.

¹³ P. Gordon. *Tagebuch...*, Bd. III, Moskau, 1852, s. 326.

¹⁴ Е. Ф. Шмурло. Сборник документов, относящихся к истории царствования имп. Петра Великого, т. I. Юрьев, 1903, стр. 361.

¹⁵ Письмо имперскому референдарии Лузону де Тольберг. Венский Государственный Архив. Россия, св. F. 8¹, 1701, лл. 1—2.

¹⁶ K. Kysely. *Dva moravští knězi v Moskvě v XVII století*. «*Apoštolat sv. Cyrilla a Metoda*», ročník XXX, 1939, nom. 7—8, s. 221, прим. 9.

¹⁷ A. Florovský. *Čeští jesuité na Rusi*, s. 272.

Однако по данным московских иезуитов, их воспитательная деятельность в Москве не в русской среде к 1699—1705 годам вошла опять в полосу некоторого расцвета. В это время здесь водворились новые миссионеры из чешской провинции ордена иезуитов — Ян Милан и Ян Берула. В 1699 году, по просьбе «многих русских вельмож», сам Берула взялся за обучение их сыновей латинскому языку. Начинание имело успех, среди учеников оказались дети с хорошими способностями, и «с каждым днем более и более возрастало число учеников», как констатировали сами иезуиты.¹⁸ Уже в 1699 году на участке миссии для школы было оборудовано особое деревянное помещение, отмеченное и на известном нам плане построек миссии.¹⁹ В 1700 году, как записывали миссионеры «дети почти всего высшего дворянства были в нашей школе», и общее число учеников достигло 30 (среди них немало лютеран).²⁰ В 1701 году поступило еще больше учеников из знати.²¹ О школе в 1702—1703 годов имеются любопытные сведения в письмах кардинала Колонича — примаса Венгрии, получившего информацию, конечно, прямо из Москвы. По его данным, в 1702 году школу иезуитов ежедневно посещали «*complures majoris nobilitatis viri*» («многие представители высшей знати»). По его же докладу папе Клименту XI от 3 декабря 1703 года, в Москве «*scholas a missionariis apertas complures viri principes ejus nationis frequentant*» («открытые миссионерами школы посещают многие знатные люди этой нации»).²² Слово *vir* имеет, видимо, в виду учеников уже не детских лет, не *juvenes* или *adolescentes*, т. е. у иезуитов учились, очевидно, и старшие.

Школьная работа в широком масштабе продолжалась, однако, только до 1705 года, когда едва ли не все русские ученики были отозваны из школы. Московские иезуиты объясняли это тем, что обучавшихся у них уже несколько лет молодых дворян по приказанию царя отправляли или на военную службу (во время войны со Швецией), или за границу для дальнейшего обучения, или с иными поручениями.²³

Переписка московских иезуитов дает возможность назвать поименно кое-кого из проходивших у Берулы обучение московских дворян. Здесь были сын Патрика Гордона Федор; выделявшийся своими успехами брат московского посла в Вене кн. П. А. Голицына; братья Нарышкины (скорее всего Александр и Иван Львовичи), позже долго обучавшиеся в Западной Европе; Апраксины и Долгорукие; Головкины — сыновья будущего канцлера Гавриила Ивановича, скорее всего Александр, будущий видный русский дипломат, и Иван и др.²⁴ Для некоторых из них годы обучения у иезуитов были подготовкой для дальнейшего образования за границей. В частности, Головкины уже в 1704 г. появились среди студентов Галле и Лейпцига.²⁵

¹⁸ Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. СПб., 1904, №№ 236 (32), 357 (181). (В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Письма и донесения).

¹⁹ A. Florovský, *Čeští jezuité na Rusi*, s. 462, рис. 19.

²⁰ Письма и донесения, №№ 357 (182), 256 (57).

²¹ Там же, № 359 (183).

²² N. Nilles. *Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani*, t. I. Oeniponte, 1885, pp. 24, 27; J. Maurer. *Cardinal Leopold Graf Kolonitsch*. Innsbruck, 1887, SS. 370 und 371.

²³ Письма и донесения, №№ 362 (187), 343—344 (164—165).

²⁴ Ср.: Письма и донесения, №№ 256 (38), 269 (61), 290 (99), 259 (61), а также: A. Kotszebue. *Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Neapel*, Bd. II. Berlin, 1805, SS. 337—338.

²⁵ H. Doerries. *Russlands Eindringen in Europa in der Epoche Peters des Grossen*. Königsberg—Berlin, 1939, S. 78; Ed. Winter. *Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde in 18. Jahrhundert*. Berlin, 1953, SS. 58, 103 и др.

По показаниям самих московских иезуитов, все это были «почти исключительно сыновья более умных князей и сановников».²⁶ Последние были заинтересованы в том, чтобы дать своим сыновьям воспитание и образование, соответствующее культурным требованиям времени и дающее возможность ввести их в круг европейских культурных интересов. И иезуиты, по-видимому, сумели удовлетворить этим запросам: в 1703 году русский резидент в Москве Кайзерлинг писал, что иезуиты «*der grossen Herren Kinder durch fleissige Information ziemlich an sich gezogen hatten*» («успешно привлекали к себе детей больших господ посредством усердного обучения»)²⁷.

Началось дело с обучения русских учеников латинскому языку, но вскоре ввели и другие дисциплины, в частности детям преподавалась математика,²⁸ а затем немецкий язык.²⁹ В школе было заведено так же обучение военному искусству, как это отмечалось в заграничных изданиях на основании официальной московской информации. В находившемся в сфере русского влияния западноевропейском издании «*Acta eruditorum*», в номере от августа 1705 года, в контексте рассказа, имевшего целью показать достигнутую Россией высокую степень европейской культуры, было подчеркнуто, что русская молодежь имеет возможность получить образование европейского типа как в немецкой школе Глюка, так и у московских иезуитов.³⁰ Отметим, наконец, что школа иезуитов была организована в форме интерната (пансиона), в котором жизнь учащихся протекала под надзором учителей и наставников, т. е. иезуитов и их помощников.

Нас здесь не может не интересовать и религиозная сторона организации иезуитской школы, поскольку она могла так или иначе влиять на учеников из числа московских обывателей, московских дворян и др. Тут перед московскими иезуитами стояла нелегкая задача. Конечно, знатные русские ученики были у них на особом положении сравнительно со школьниками из католических семейств. Последние воспитывались в строго католическом духе, педагоги готовили их для помощи при богослужении, для церковного хора и т. п. Все это никак не могло распространяться на русских учеников. И Мнлан, и Берула отлично знали, что опасение за религиозное воспитание русских детей было одною из причин изгнания иезуитов из Москвы в 1689 году. В их время — после 1698 года — положение в Москве существенно изменилось, пребывание католических священников стало более обычным явлением, западное влияние на жизнь москвичей получило большее значение, чем раньше. В церковной жизни несколько ослабело влияние строгих охранителей старого правоверия, подобных патриархам Иоакиму и Адриану. И однако по-прежнему оставалось запрещенным всякое католическое воздействие на русских людей. В стенах школы оно оставалось столь же опасным, как и в 1689 году.

Московские иезуиты имели случай убедиться в этом в 1702 году, когда местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский выступил с предложением запретить иноверцам принимать в свои школы православных детей, а русским — отдавать детей в иноверческие школы вместо отправления их

²⁶ Письма и донесения, №№ 315—316 (131), 236 (33).

²⁷ Fr. Duk meyer. Korbs Diarium in Moscoviam und Quellen, т. I. Berlin, 1909, S. 208. (В дальнейшем сокращенно: Duk meyer. Korbs Diarium, I).

²⁸ Письма и донесения, №№ 236 (39), 269 (73).

²⁹ Там же, №№ 256 (60), 260 (61).

³⁰ «...neque minus et PP. Iesuitae Missionarii in suburbio Germanorum, praeter Latinam linguam, Mathesin atque disciplinas militares adolescentes docent» («между тем и отцы миссионеры-иезуиты в Немецкой слободе преподают юношам, помимо латинского языка и математики, также и военные науки»). «*Acta Eruditorum*», anno MDCCV publicata, Lipsiae, MDCCV, август, стр. 389 и сл.; о Глюке там же, стр. 382 и сл., ср.: там же, MDCCV, май, стр. 240 и MDCCVI, стр. 96.

в школы русские. Он домогался от Польского приказа, т. е. от тогдашнего министерства иностранных дел, постановления, чтобы иностранцы «отнодъ православных христиан Российского государства во учение к себе не принимали и не учили, а учили бы они токмо в слободе у себя по своему преданию своих людей». Это указание касалось и немецкой школы Глюка и иезуитской, ибо далее читаем: «а римские посланники ксиондзы не дерзали бы отнодъ ничего творити, ни училища становити, ни детей православных к себе во учение принимать, ни дарами их прельщать, ни действия какова на прельщение православных исправлять».³¹ Милану и Беруле удалось, кажется, предотвратить издание общего запрещения,³² однако положение их школы не было совершенно защищено от подобных нападок впредь. И это при том, что в «памяти», т. е. в меморандуме Яворского, нет прямых упреков в совращении детей в католичество, но подчеркивается только соблазнительность для детей «даров», подарков, т. е. скорее всего наград, а также «прельщение» школьными театральными представлениями и действиями, которые, правда, ввели в Москве еще раньше иезуитов учителя школы самого Яворского.³³

На опасность иезуитской школы для веры русских учеников указывал еще ранее патриарх Адриан, умерший в 1700 году. Он обратил внимание самого царя Петра на это обстоятельство, но царь, как передавали иезуиты, будто бы ответил: «...Почему же ты не учишь юношей, чтобы они могли в свою очередь обучать наших детей?»³⁴ Патриарх Адриан оставил запись своей беседы с царем, состоявшейся в 1700 году. Царь в разговоре подчеркнул, что ему хорошо известно о желании многих «детей своих учить свободных наук», почему они и отдают «иные зде иноземцам, к сему же иных вер». Петр I сознавал, что «при учении том» иноземцы «малым детям и ереси свои знати показывают, от чего детям вред и церкви нашей святой может быть спона велия, в речи своей от неискуства повреждение». Однако, по мнению царя, бездеятельность русской церковной власти ставила русских людей в необходимость пользоваться помощью иноземцев и иноверцев.³⁵ Петр был защитником иезуитской школы и позже, когда уже была основана Яворским собственная русская школа силами киевских ученых богословов. Петр, видимо, ценил иезуитов как педагогов и не соглашался закрыть их училища в Москве. По сведениям московских миссионеров, такую позицию занимал он и

³¹ О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII века (1701—1715). Документы Московских архивов, собранные А. Н. Зерцаловым и С. А. Белокуровым. «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1907, кн. 1, отд. 1, стр. 233—234.

³² Письма и донесения, №№ 299 (110), 360 (185).

³³ Там же, №№ 271 (76), 290 (100), 358—359 (182—183), 360 (104).

³⁴ Там же, № 253 (60).

³⁵ Н. Г. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. III. СПб., 1858, стр. 512; С. М. Соловьев. История России. Изд. 2-е, СПб., 1895, стр. 1356; С. Г. Рункевич. Архивные петровской эпохи в их переписке с Петром Великим, вып. 1, СПб., 1906, стр. 106.

Н. Лыжин в 1859 г. (Летописи Тихонравова, т. I, отд. III, стр. 63—68) высказал предположение, что эта запись разговора Петра I с патриархом не подлинна, а является подлогом пера Артемия Волынского, но уже П. Г. Знаменский правильно отверг такое подозрение (Духовные школы в России до реформы 1808 г. Казань, 1881, стр. 7, прим.); наличие бесспорной современной записи решительно подтверждает подлинность беседы. Ср. с рукописью Государственного Архива, воспроизведенной в сборнике: «Петр Великий в его изречениях». Составил В. Строев. СПб., 1910, стр. 67—68 70—71, и в сборнике «Законодательные акты Петра I». Составил Н. А. Вознесенский, М.—Л., 1945, стр. 33—34, датировано 4 окт. 1700 г.

в 1701 году, «когда некоторые старались, чтобы у них (иезуитов, — А. Ф.) отняты были ученики».³⁶ Царь на подобные домогательства со стороны Яворского ответил якобы словами: «что хорошо началось, того не следует так внезапно и скоро прекращать».³⁷

Как мы уже отметили, Петр высоко ценил педагогическую деятельность иезуитов.³⁸ В 1706 году, будучи в Польше, он заявил как-то, что московские иезуиты — это «славные мужи», которые «с любовью (*gratiose*) обучают юношей и всем нравятся, за что он «охотно терпит и держит их в Москве»,³⁹ и это при том, что он оказывал много больше содействия школьному началу протестанта Глюка.⁴⁰ Крайне отрицательно относясь к политической деятельности иезуитов вообще, царь признавал, что «училища их в искусстве служат орудиями их умыслов, выгодам папы и для властолюбия, чтобы управлять государями по своей воле».⁴¹ Однако в русской обстановке первых лет XVIII века опасность и вредность иезуитской школы не казалась царю, видимо, достаточно серьезной, чтобы прервать успешную педагогическую деятельность Милана и Берулы.⁴² И если в 1705—1706 годы русские ученики вышли из сферы воздействия иезуитов, то причиной этого были военные и иные запрасы.

А между тем и со стороны восточных православных патриархов в Москву поступали предупреждения о возможной опасности для веры в связи с обучением русских юношей у иезуитов. От имени константинопольского патриарха Гавриила в 1705 году об этом говорилось русскому послу в Константинополе П. А. Толстому. «Также слышится, — передавали ему от имени патриарха, — что ныне в Москве заведены школы латинские, и многие де есть езувиты и по домам честных и благородных людей учат детей их». Патриарх предостерегал от доверия иезуитам: «Понеже де езувиты ни о чем ином не помышляют, токмо чтоб им расширить и множить свое схизматическое мудрование, и когда де во благородные младые сердца насеют своего неправоудствующего семенн, тогда де уже которое благочестие последовати может!».⁴³ В этом сообщении имеются в виду не только московские иезуиты Милан и Берула. Иезуитами тут, видимо, названы и иные, может быть, и южнорусские учителя латинской школы и образования. Но предупреждение патриарха Гавриила затрагивало, конечно, и интересующую нас московскую иезуитскую школу, как раз

³⁶ Письма и донесения, № 269 (73—74).

³⁷ Там же, № 270 (76), 272 (77), 286 (95).

³⁸ Ср. записку Фокеродта в кн.: E. Her mann. Zeitgenössische Berichte zur Geschichte Russlands, Bd. I, S. 103.

³⁹ Письма и донесения, № 316 (131).

⁴⁰ Ср.: Duk me u e r. Korbs Diarium, I, S. 208 и сл.

⁴¹ Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Я. Штелиным, ч. 1. Изд. 3-е, вновь испр. М., 1830, стр. 43—44.

⁴² Ректор полодкой иезуитской коллегии в 1705 году передавал в Рим свой разговор с царем, который якобы рассказывал ему о своем ответе одному русскому архиепископу, опасавшемуся католического влияния на русских учеников в иезуитских школах. «Я ему задал! — сказал якобы царь, — потому что ни он, ни его монахи не могут ничему обучать, и что касается молодежи, то если они хотят перейти в католичество — это ее дело, и я об этом ни сколько не беспокоюсь» (см.: A. K o t s e b u e. Erinnerungen. . ., Bd. II, S. 321; «Русский Архив», 1903, т. II, стр. 321). Не знаем, к какому эпизоду нужно отнести эти слова — к беседе ли с патриархом Адрианом или же к разговору с Яворским в 1701 году и в какой степени верно переданы речи Петра I. Во всяком случае слова о свободе перехода в католичество вызывают большие сомнения.

⁴³ Н. Каптерев. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством, М., 1891, стр. 176—177, прим. 66.

в 1705 и следующие годы переживавшую кризис из-за ухода большого количества русских учеников.

Эти справки показывают, что педагогическая деятельность иезуитов в Москве в русской среде вызывала и в 1699 году и позднее серьезные возражения со стороны московских церковных кругов. В выступлениях Яворского играло известную роль, конечно, стремление защитить интересы созданной им русской православной школы. И ему и православному школьному окружению казалось, что все русские должны быть их учениками, а не учиться у иезуитов. Эта чисто деловая и практическая аргументация не имела успеха. Иезуиты ввели в свой курс преподавание столь ценного царем предмета, как немецкий язык, которого русские учителя не знали.⁴⁴ Это несколько укрепило позиции школы иезуитов.

Но в руках их противников всегда сохранял полную силу иной аргумент — аргумент веры. Его выдвигали в 1686 и в 1689 годах патриарх Иоаким, потом в 1698 или 1699 годах Адриан, а в 1701 году Стефан Яворский. В первые годы XVIII века этот довод не мог оказать на царя Петра такое же действие, как в годы его юности, в 1689 году. Прямая польза от школьного обучения, хотя бы и у иезуитов, перевешивала в его сознании опасения возможного или предполагаемого повреждения прав веры. Все же естественно спросить — действительно ли существовала опасность католического влияния в школе иезуитов в Москве или же она исключалась?

Сами иезуиты не исключали, конечно, возможность использовать свою педагогическую деятельность в интересах конфессионального влияния «ad maiorem Dei gloriam». Они, в частности, приветствовали приток в их школу протестантских детей, как благоприятный случай «понекому внушать им правила благочестия»,⁴⁵ т. е. католичества. Эти правила могли внушаться также православным ученикам. Не забудем, что иезуитская школа не была лишь училищем языков и определенных наук, она являлась вместе с тем и воспитательным учреждением, и пансионом, и интернатом со всем вытекающим из форм общежития порядком общения между учащимися и педагогическим персоналом. Уже на первых порах своей работы в школе московские иезуиты заботились о том, чтобы в Москву был прислан подходящий учитель, лучше всего иезуит, но в светской одежде, — такой особый учитель мог бы исключить то недоверие к школе, какое возбуждала в не католиках работа с учениками самих католических миссионеров.⁴⁶

Однако и наличность особого учителя, внешне занятого якобы только педагогической работой, не исключала из обихода школы обычных форм и порядков столь устоявшейся иезуитской школьной практики. Иезуиты придавали большое значение системе наград и просили прислать им из Чехии для этой цели набор образов, картинок, четок, изображений Агнца и т. п., «все это якобы весьма нравится русским» и без наград «здесь совершенно цепенет ум».⁴⁷ Вспомним, что в 1689 году в вину Давиду и Тихавскому ставили распространение таких изображений, усматривая в этом попытку католического влияния. С другой стороны, иезуиты Милан и, особенно, ведавший школой Берула постоянно, по пятницам, вели с учениками беседы на религиозно-нравственные темы — о значении греха, о наказаниях за него, о доброй жизни христианина и т. п.⁴⁸ Эти поучения предназначались также и для русских учеников.⁴⁹ Была ли в этом какая-нибудь опасность для их верности православию? Как бы ни были все эти поучения стилизованы в на-

⁴⁴ Письма и донесения, №№ 253 (60), 260 (61).

⁴⁵ Там же, № 237 (21—23), ср. №№ 256 (57), 268 (72), 228 (158).

⁴⁶ Там же, №№ 237 (21—21), 263 (65).

⁴⁷ Там же, №№ 260—261 (62—63), 271 (76).

⁴⁸ Там же, №№ 357 (191), 359 (193) и сл.

⁴⁹ Там же, №№ 357—358 (192).

правлении общих моральных проблем или практических правил жизни, в них не могли не отражаться теоретические, догматические и философские предпосылки католической веры, и посему русские ученики могли выносить из школы впечатления, существенно отличные от традиционных русских православных воззрений и понятий.

Московские иезуиты сознавали это, но старались скрыть свое влияние. В 1707 году Милан писал по этому вопросу следующее: «как мы до сих пор учили, в этом нет ничего предосудительного, так как мы брали не всякого, но из среды более знатных людей, которые не располагаются к изучению богословия, — следовательно, от них нет никакого вреда для церкви, напротив, есть даже некоторая польза, потому что нас здесь считали прежде наравне с татарами, а теперь стали признавать за христиан, а иные не только признают, что мы христиане, но и нечто большее начинают чувствовать».⁵⁰ Это «большее» мы понимаем в том смысле, что у иных из учеников московских иезуитов слагались представления о великом значении католичества вообще, может быть, о его превосходстве над русским православием. Судя по словам Милана, самый подбор русских учеников его школы устранил возможность нарочитой обработки кого-либо из них в католическом духе. Все это были дети знати, имевшие склонность к светской жизни, к тому же в такой среде открытая католическая пропаганда была бы и опасной, ибо знатные родители учеников имели влияние в Москве и были обеспокоены за судьбу и нравственное воспитание своих сыновей. Оставалось внушать юношам «правила благочестия» и нравственности, как дополнение к разным положительным знаниям языков, математики, военного искусства и т. п.

Во всяком случае иезуитская школа в Москве лишилась в 1705 году своих русских учеников не вследствие вмешательства церковных или светских властей из-за возможной вероисповедной опасности обучения у иезуитов, а вследствие той обстановки, которая создалась в годы войны со Швецией. Интересы войны заставили прервать обучение русских юношей. Этот факт представлялся московским иезуитам лишь временным затруднением в жизни школы. Для такой уверенности на протяжении 1706—1716 годов имелось достаточно оснований. Именно в эти годы католикам удалось получить от царя Петра давно желанное Риму и Вене формальное письменное подтверждение разрешения на свободное отправление католического богослужения в России, на постройку церкви, на устройство школы и т. п. Этот документ не вполне отвечал желаниям и ожиданиям римского престола и венского двора, ибо он был сформулирован не в общей форме, а касался только иезуитов, да и то в отношении прав, которых издавна и настойчиво добивались от Петра I центры католического мира. Но несмотря на ограничения это был все же крупный шаг вперед и в осуществлении плана сооружения каменной церкви в Москве и в организации школьного дела. Мы не можем входить здесь в обсуждение всех вопросов, затронутых в документе, отметим только то, что относится в нем к католической школе в Москве.

В начале декабря 1705 года в Гродно Петр подписал грамоту, разрешавшую капуцинам основать в Москве монастырь.⁵¹ Эта милость ордену капуцинов вызвала немалое волнение у московских иезуитов, «которые увидели в ней угрозу своему положению в Москве, как единственному до сих пор представителям католической церкви».⁵² Благодаря содействию императора Иосифа I,

⁵⁰ Там же, № 330 (153); ср. указание Коцебу (A. Kotszeбуе, *Erinnerungen...*, Bd. II, S. 341) о том, что в католической школе «молодые люди привыкают к католической вере» (из записи неизвестного нам лица о планах Рима в России).

⁵¹ См. текст: Е. Ф. Шмурло. Неизданная грамота Петра Великого 1705 г. В кн.: *Conférence des Historiens des états de l'Europe Orientale et du monde Slave*. Varsovie, 1928, pp. 191—206.

⁵² Ср.: Письма и донесения, № 322 (138).

в ведении которого формально находилась московская «миссия», опасность была устранена. Иезуиты не только остались в прежнем положении, но и получили формально подтверждение и даже расширение своих прав и возможностей.⁵³ Иосиф I обратился к царю с особым письмом, в котором благодарил за благосклонность к католической миссии, в частности к «неослабным трудом миссионеров в деле обучения молодых людей наук и искусствам», и рекомендовал ее всяческому его (Петра, — А. Ф.) покровительству.⁵⁴ Ответом на это письмо императора была подписанная по поручению царя Меншиковым 20 октября 1706 года грамота, в которой было дано, между прочим, разрешение миссионерам-иезуитам преобразовать устроенное ранее в Москве первоначальное училище, «весьма много посещаемое московскою знатью», «в настоящую гимназию для обучения преимущественно юношей наших вельмож».⁵⁵ Грамота произвела сильное впечатление в Риме, и папа Климент XI в письме от 7/18 октября 1707 года особо благодарил Петра I за милости, подчеркнув, что обещание устроить иезуитскую гимназию для русского юношества «воистину твоим людям великую трепбность (utilitas) принесет».⁵⁶ Благодарил царя за это и император Иосиф I (16 XII 1706).

Однако ни Милан, ни Берула не были воодушевлены радостью в связи с открывавшимися новыми перспективами их педагогической деятельности. Они предпочли бы скромные улучшения материального положения старой школы и более боялись этого царского разрешения на гимназию, нежели ждали от него положительной пользы и настоящего успеха.⁵⁷ Этого скептицизма не разделяя с ними, конечно, их третий товарищ по миссии в России Илья Броджио, который и был в сущности вдохновителем распоряжения царя и Меншикова, ибо именно он в 1704 и следующих годах посредничал между Москвою—Польшей—Веной и Римом по делам политическим и церковно-политическим и из взаимных сложных политических расчетов и связей этих дворов сумел извлечь известную пользу и для католической миссии в Москве.⁵⁸ Надо думать, что Броджио сильно преувеличивал свое знание действительных намерений царя Петра в отношении римской церкви и надежность всего того, что ему привелось по этому вопросу слышать от окружения самого царя, Меншикова, польского короля Августа II, в русских и польских военных лагерях и т. д. Милан и Берула знали московскую обстановку более основательно и имели причины быть скептиками в отношении эффектных достижений своего собрата. А Броджио между тем заинтересовал своим успехом и самого папу, и кардиналов, и генерала ордена иезуитов, и свою родную чешскую провинцию ордена, услышал от римского первосвященника и его окружения подтверждение, что «царь ничего не мог дать лучшего, как это позволение на публичные школы».⁵⁹ Он уже думал о том, что в московском иезуитском училище будет

⁵³ См. об этом эпизоде: А. Florovský. Čestí jesuité na Rusi, s. 266—267.

⁵⁴ Письма и донесения, №№ 318—319 (134—135).

⁵⁵ «Et inceptum antehac ludum literarium nobilitate Moscovitica florentissimum informatum scholarum gymnasium ad erudiendam praecipue procerum nostrorum juventutem erigi liberaliter permittit» («он милостиво разрешил преобразовать ранее начатые словесные занятия в гимназию для обучения знатной московской молодежи»). Письма и донесения, №№ 327 (144), 331 (149), 336 (155).

⁵⁶ Д. А. Толстой. Римский католицизм в России, т. I. СПб., 1876, стр. 351—352 (на латинском языке; современный русский перевод см.: Архив кн. Ф. А. Куракина, кн. II. СПб., 1891, стр. 14—15).

⁵⁷ Письма и донесения, №№ 829 (147), 340 (160), 388 (158).

⁵⁸ См. о его миссии в России Р. Pierling. La Russie et le Saint-Siège, vol. IV, Paris, 1907, p. 198 и сл.; А. Florovský. Čestí jesuité na Rusi, s. 317 и след.

⁵⁹ Письма и донесения, № 350 (173).

насаждаться «исповедание римской веры», т. е. осуществляться «приготовительная работа к ловле рыб».⁶⁰

Планы Илии Броджно остались лишь на бумаге, гимназия иезуитская никогда в Москве открыта не была, сам он после 1707 года в Москву более не вернулся. Там остались те же Милан и Берула, занятые, как и прежде, заботами о своей школе и о своих учениках. После перерыва в два-три года, в 1707 году, среди последних снова появилась значительная группа русских. На этот раз в школу вступило сразу около пятидесяти детей и юношей и опять из лучших московских семейств, как сообщал в Рим Броджно.⁶¹

Нам неясны обстоятельства и конкретные формы этого усиления притока русских учеников в школу иезуитов. Есть известие, что иезуиты якобы убедили Посольский приказ направлять к ним на обучение латинскому и немецкому языкам молодых людей, подготовлявшихся к дипломатической службе.⁶² Военная обстановка 1707 года была более сложной, нежели в 1705 году, нужда в людях на войне была не меньшая, но царь, видимо, находил теперь возможным освободить некоторую группу дворян от военной службы ради научной подготовки и работы иного рода.

Для характеристики этого второго периода в истории иезуитской школы мы, к сожалению, имеем слишком мало данных. Имперский резидент в Москве О. А. Плейер в своем известном отчете 1710 года кое-что сообщает по этому вопросу. Так, отсюда узнаем, что среди учеников и пансионеров иезуитов были дети тогда уже покойного «райхсканцлера», т. е. Ф. А. Головкина, затем сыновья М. А. Мусин-Пушкина, кн. Б. И. Куракина и др.⁶³ Однако в своих годичных отчетах миссионеры чрезвычайно редко говорят о своей школьной работе. В то время католическая миссия в Москве, видимо, испытывала значительные затруднения из-за отсутствия необходимых сил. Имперский резидент Плейер 26 августа 1715 года доносил в Вену, что как раз недостает учителя, граесерлога для школы и отчасти для церкви, вследствие чего члены католической общины посылают своих детей на учение к лютеранам, а для пения в костеле приглашаются русские певчие, исполняющие по римскому ритуалу надлежащие песнопения (*gloria, credo, псалмы и т. п.*).⁶⁴

В отчете за 1715 год миссионеры все же отмечали, что «*schola solitas exercitationes habuit, ad quem etiam haeterodoxi filios suos recipi ambiebant*» («в школе ведутся обычные упражнения, и иноверцы добиваются приема своих сыновей в нее»).⁶⁵ Нам, впрочем, неясно, имеется ли в виду в данном случае и группа православных и продолжалась ли до 1715 года непрерывно та новая работа среди русских, которая была начата в 1707 году. Имеется, правда, сообщение от 1717 года, основанное на словах Б. И. Куракина, что якобы в школу в это время «*quasituta la loro giuventù andava ad imparare*» (ходило

⁶⁰ Там же, №№ 347—348 (169—170).

⁶¹ Д. В. Цветаев. Из истории иностранных исповеданий в Московском государстве XVI—XVIII вв. М., 1887, стр. 451—452; Д. А. Толстой. Римский католицизм в России, т. I, стр. 133; ср. St. Zaleski. Iezuici w Polsce, t. III, Lwów, 1903, s. 423 (прим.).

⁶² Д. А. Толстой. Римский католицизм в России, т. I, стр. 133.

⁶³ E. Hegmann. Zeitgenössische Berichte zur Geschichte Russlands, Bd. I, SS. 230—131; Dukmeyer. Korbs Diarium, I, S. 209; Мусин-Пушкины в 1710 г. обучались в Галле; об этом см.: H. Doerries. Russlands Eindringen in Europa in der Epoche Peters des Grossen, S. 80; Ed. Winter. Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde in 18. Jahrhundert, SS. 103—104.

⁶⁴ Донесение Плейера. Венский Государственный Архив, Россия, 1715, лл. 67—68.

⁶⁵ Annuae missionis 1715, Архив Societatis Iesu в Риме, Boh. 130, pag. 10.

почти все их юношество для обучения),⁶⁶ но отражает ли этот рассказ то, что происходило в 1717 году или же характеризует прежний этап школы, нельзя сказать.

Во всяком случае существует документ от 1718 года, который говорит о какой-то новой форме работы московских иезуитов с русскими учениками и, видимо, касается дела, в то время только организуемого. Речь идет «*de informandis aliquot juvenibus in lingua latina et germanica*» («об обучающихся латинскому и немецкому языкам нескольких юношах») согласно воле самого царя. Для помещения этих юношей была приспособлена «*cubiculum in domo*» («комната в доме») миссии, далее организовано было питание воспитанников так, что они получали деньги на руки для приобретения еды «*pro suo gustu et libitu*» («по своему вкусу и желанию») в соседнем с миссией трактире.⁶⁷ Эти и иные подробности об организации школы создают впечатление, что шла речь уже не о детях знатных московских вельмож и бояр, а о людях более скромного социального положения. Когда иезуиты устраивали в 1699—1700 годах интернат для знати, заботились об обширных спальнях для князей и дворян, для Головкиных была устроена особая комната,⁶⁸ хотя дело касалось еще деревянных построек на усадьбе миссии. Но в 1718 году уже говорится только об одном «*cubiculo*» для всех, да и самый порядок питания едва ли подходил для знатных воспитанников.

В данном случае мы имеем перед собою, по-видимому, опыт обучения практически необходимым языкам уже не будущих российских дипломатов, но скромных работников новых русских правительственных учреждений. Припомним, что при изгнании иезуитов из России в 1719 году в царском указе от 18 мая прямо говорилось: «слышим, что оные (иезуиты, — А. Ф.) учеников многих в свой закон (т. е., очевидно, в свою римскую веру, — А. Ф.) привели, а наипаче из мещанского» (состояния, — А. Ф.).⁶⁹ Тут имелись в виду, конечно, именно те ученики, о которых писали московские иезуиты в 1718 году.

II

Для истории латинской школы в Астрахани мы располагаем весьма отрывочными данными, однако они приобретают достаточную выразительность и определенность, если познакомиться с основными фактами истории католической миссии в Астрахани вообще. Миссия эта находилась в руках представителей ордена капуцинов.

На необходимость учитывать эту миссию в рамках истории русского школьного образования явно указывает известный факт обучения в астраханских капуцинов замечательного деятеля русской науки и культуры первой половины XVIII века В. К. Тредиаковского. В своих автобиографических записях он сообщает, что «в молодых моих летах» он обучался «словесным наукам на латинском языке» в Астрахани у римских «живущих тамо отцов». Это имело место скорее всего в 1719—1720 годах. Из Астрахани Тредиаковский вскоре уехал (может быть, бежал) в Москву, где в 1723 году поступил в класс риторики Славяно-греко-латинской академии, т. е. видимо, был уже недурно подготовлен к учению. Догадка известного академика историка Г. Ф. Миллера о содействии капуцинов бегству Тредиаковского едва ли осно-

⁶⁶ А. И. Тургенев. *Historia Russiae...*, v. II, Petropoli, 1842, 324 и сл.

⁶⁷ Д. А. Толстой. Римский католицизм в России, т. I, стр. 350, прим. 5, прошение миссионеров от 10 июля 1718 года.

⁶⁸ Письма и донесения, №№ 290 (99), 359 (183), 360 (184).

⁶⁹ Полное собрание законов Российской империи, т. V. СПб., 1830, стр. 694, № 3556; А. Florovský. *Čeští jesuité na Rusi*, s. 283.

вательна.⁷⁰ Факт обучения Тредиаковского у капуцинов заслуживает внимания с нескольких точек зрения. Во-первых, то, что Тредиаковский, сын православного священника, поступил на выучку к католическим священникам, было признаком не только терпимости православной среды к обучению детей у католических миссионеров, но и признания этих последних полезными и нужными в деле школьного образования и воспитания юношества. Во-вторых, существенно важно то обстоятельство, что при помощи католической школы Тредиаковский, вне всякого сомнения, познакомился с такими особенностями и чертами западноевропейского культурного обихода, которые могли быть полезными ему в дальнейшей деятельности в области русской культуры и науки. С одной стороны, тут возникает мысль о возможном знакомстве Тредиаковского со школьным театром, типической принадлежностью католической школы того времени.⁷¹ С другой — не исключено ознакомление Тредиаковского и с некоторыми особенностями искусства Западной Европы, в частности, с новыми для него приемами музыки и пения, — если дома он мог хорошо знать, как член православной духовной семьи, крюковое и знаменное пение, то свои позже не раз проявившиеся познания в области нотного и партесного (многоголосного) хорового пения он мог, как предполагают ныне специалисты, приобрести именно у капуцинов в Астрахани.⁷²

Уже одних этих фактов биографии В. К. Тредиаковского достаточно для того, чтобы заинтересоваться деятельностью капуцинов в Астрахани и познакомиться с организацией их тамошней миссии.

На территории России капуцины ранее всего утвердились именно в Астрахани. Здесь уже за несколько лет до 1719 года, т. е. до учреждения и организации капуцинской миссии в Москве и Петербурге, осела небольшая группа итальянских капуцинов, которая и развернула церковную и культурную работу среди пестрого восточного и европейского населения города.⁷³ Находившийся на большой дороге из Персии в Европу этот приволжский город видел

⁷⁰ Ср. материал об этом: П. П. Пекарский. История Императорской Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, стр. 2 и сл.; Л. Н. Майков. Молодость В. К. Тредиаковского до его поездки за границу (1703—1726). «Журнал Министерства народного просвещения», 1897, июль; С. М. Соловьев. История России, кн. IV, стр. 1468; P. Pierling. La Russie et le Saint-Siège, vol. IV, p. 338.

⁷¹ Ср. замечания об этом: В. П. Адрианова-Перетц. Новые материалы по истории русского школьного театра XVIII в. «Труды отдела древнерусской литературы», т. IV. М.—Л., 1940, стр. 221—222.

⁷² Т. Ливанова. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связи с литературой, театром и бытом. Исследования и материалы, т. I, М., 1952, стр. 47.

⁷³ Материалы по истории капуцинской миссии в Астрахани (русские) изложены в работах: К. Сторожевский. Капуцины и иезуиты в Астрахани. «Русская Речь», 1862, № 91; Саввинский. Астраханская епархия 1602—1902, т. II. Астрахань, 1905, стр. 218—268; Латинская пропаганда в Астрахани в прошлом и нынешнем столетии. «Астраханские Епархиальные ведомости», 1880, №№ 46 и 47 и 1881, №№ 9—11, 13; Н. П. Дело о католических патерах капуцинах при Петре Великом. «Христианское Чтение», 1868, ч. I, № 4.

Много интересного материала из римских архивов содержит: P. Zacharie d'Haarlem. Les capucins à Astrakhan (1710—1725) et à Moscou (1720—1725), «Collectanea Franciscana», 1942, t. XII, fasc. 4, Roma, стр. 21 (530—548); тут не учтены некоторые интересные дополнительные факты, которые сообщает Ф. Х. Вебер (F.-Ch. Weber. Das veränderte Russland., Franckfurth, 1721, SS. 336—337, 363; русский перевод «Русский Архив», 1872, т. X. слоб. 1649, 1659—1660, 1670).

и ранее нередко в своих стенах католических священников, которые останавливались здесь на пути в далекую поездку на юг или на восток. Крупное торговое значение города привлекало туда немало западных и восточных (армянских, персидских и др.) купцов, немало было тут и западноевропейцев на русской службе. Для католической миссии могли здесь открыться различные возможности, и уже с конца XVII века Астрахань и ее край были в сфере внимания католических кругов. В этом смысле особенно интересны соображения посетившего Россию в 1698 году титулярного архиепископа Анкирского (Анкара «in partibus infidelium») Петра Павла Пальмы из Артуа, ордена Босоногих Кармелитов. Он ехал по политическому делу в Персию (возбуждать персов против турок) и на пути задержался в Москве и в Астрахани.⁷⁴ Пальма имел время и случай присмотреться к отношению русских к католикам и к обстановке в южном Поволжье и в Прикаспийском крае. Его представление в Рим по этому делу клонилося к признанию нужности и возможности развернуть католическую миссионерскую работу в этих местах. Русская православная среда и здесь, конечно, была закрыта для католической миссии, однако открывалась возможность оказывать влияние на неправославных и нехристианских обитателей обширной страны. Православная миссия, осуществлявшаяся здесь русским духовенством, не вполне исключала свободную конкуренцию иных исповеданий, в частности и католического, которому более или менее открыт был путь в среду прикаспийских калмыков, татар, и особенно многочисленных в Астрахани армян. Пальма из Астрахани обращал внимание Рима на это обстоятельство. Сравнительно скоро после его поездки на нижней Волге действительно возникло гнездо католических миссионеров, и если это не было прямым следствием указаний Пальмы, то все же он сыграл несомненную роль в осведомлении католического церковного центра о возможностях и целесообразности деятельности католической миссии у Каспия.

В своем донесении из Астрахани от 31 октября 1698 года архиепископ Анкирский указывал Конгрегации как на наличие известной дружественной Риму среды армян, очевидно униатов (среди них у него уже было много друзей), так и на перспективы деятельности среди католиков и татар. В частности, он сообщал о том, что некоторые татары — чиркасы (alcuni Tartari Cirkassi) употребляют знамение креста, имеют церковь, но живут без священников и проявляют большой интерес к получению образования или обучения. Пальма сообщал также, что он получил от астраханского губернатора (т. е. от Ивана Алексеевича Мусин-Пушкина) обещание принять одного священника из Персии или же из Польши и приютить его в своем доме в качестве учителя сыновей и помочь в организации цветущей миссии. Более того, губернатор обещал Пальме дать трех или четырех татарских и калмыцких детей для отправки в Рим, где они могли бы подготовиться для работы среди своих единоплеменников. Пальма надеялся даже со временем открыть семинарию для восточных людей. Архиепископ выражал надежду, что в Персии он сможет отыскать еще лиц, знакомых с армянским языком, которые могли бы послужить интересам армян-католиков в Астрахани. Пальма называл в своем письме одного из влиятельных астраханских армян-католиков — Челеби, хотя, по указанию губернатора, привязанность последнего к католической вере была сомнительной, иное дело — его брат, действовавший в Ше-

⁷⁴ См.: Е. Ф. Шмурло. Сборник документов, относящихся к истории царствования имп. Петра Великого, т. I, стр. 216, 222, 233, 285, 598—599, 601, 634—635, 676; Д. В. Цветаев. Из истории иностранных исповеданий в Московском государстве XVI—XVIII вв., стр. 444—446; P. Pierling. La Russie et le Saint-Siège, vol. IV, p. 146; Dukmeyer. Korbs Diarium, I, SS. 64, 191—194.

махе (Schambakio), который был одним из главных среди армян в Армении и Персии.⁷⁵

Эти указания архиепископа Анкирского, принятые Конгрегацией de Propaganda Fide весьма сочувственно,⁷⁶ оставались в течение ряда лет лишь благими пожеланиями. Твердой ногою католические священники стали в Астрахани лишь более десяти лет спустя. Попытка архиепископа Пальмы еще во время пребывания в Москве получить разрешение на свободное отправление католического богослужения и на постройку католической церкви в Астрахани встретила сопротивление со стороны кн. Б. А. Голицына, титулярного наместника Казанско-Астраханского, у которого в московском доме и жил Пальма. Есть известие, что первоначально Голицын дал было свое согласие на это, однако на следующий день якобы отказался письменно его подтвердить, ссылаясь на то, что накануне был пьян и ничего не помнит.⁷⁷ Мы не знаем, от кого исходит это известие, может быть от самого Пальмы, но имперский посол Гвариснт сообщает о беседе Пальмы с Голицыным совсем иначе, решительно подчеркивая отрицательное отношение последнего к просьбе. Голицын якобы заявил, что если бы и сам царь дал дозволение на постройку церкви римской веры в Астрахани, он, Голицын, все равно был бы против, готовый потерять лучше и голову, и жизнь, и имущество, нежели согласиться на подобное дело.⁷⁸ Недаром Голицын имел репутацию решительного врага католичества и в этом смысле считался прямой противоположностью близкого к царю Патрика Гордона.

Организация католической общины в Астрахани была осуществлена не в результате предварительного соглашения местной колонии католиков с русской центральной или местной властью, а в явочном порядке, насколько можно судить по всей совокупности доступных нам известий. Основную роль в этом деле играли как сами местные католики, так и оказавшиеся в Астрахани капуцины, проникшие сюда не через Москву, а через Персию и Грузию, с юга. Это были прежде всего капуцины итальянские. Когда они впервые твердой ногой стали на нижнем Поволжье, мы точно сказать не можем, но первые шаги в этом направлении были сделаны ими во всяком случае уже в конце первого десятилетия XVIII века. В 1709 году в Астрахань прибыл направлявшийся из Грузии в Европу капуцин Джузеппе Мария из Перуджи. Местные католики воспользовались его пребыванием, и он обслуживал их религиозные нужды в течение целого года. При отъезде его в Рим католическая община переслала в Конгрегацию de Propaganda Fide, конечно, по его совету и указанию, особую петицию об установлении в Астрахани постоянной католической миссии, о присылке двух священников из ордена капу-

⁷⁵ Письмо Пальмы из Архива Конгрегации de Propaganda Fide известно нам по копии в собрании Г. Кольмана в Главном пражском архиве Министерства внутренних дел, 1698. Нам осталось недоступной цитированная у Ф. Турнебиз (Fr. Tournèbize. *Arménie, Dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastique*, t. V, 1931, pp. 327—328) Relation d'une mission par Mgr. l'arch. d'Ancyra à Ispahan pour la réunion des Arméniens à l'Eglise catholique, Paris, 1702; возможно, что здесь имеются какие-либо сведения об Астраханской миссии и планах Пальмы в этой области.

⁷⁶ Резолюция по одному из пунктов письма Пальмы гласила: «3 Laudandus et significetur iam sacram congregationem, providisse». Соображения Пальмы были учтены также и при решении вопроса об основании астраханской миссии в 1713 году (см. протокол Конгрегации от 3 апреля 1713 г.).

⁷⁷ A. Kotszebue. *Erinnerungen...*, Bd. II, S. 338. Коцебу не сообщает, из какого именно документа он взял эти сведения.

⁷⁸ Письма и донесения, № 372; P. Pierling. *La Russie et le Saint-Siège*, vol. IV, p. 155; Du kmeyer. *Korbs Diarium*, I, SS. 191—193.

цинов. Эта петиция, написанная в оригинале по-армянски, была подписана как группой армян (24 лира), так и группой европейцев (31 лицо — 24 поляка, судя по фамилиям, в том числе одна женщина, остальные немцы или французы). Просители подчеркивали острую нужду свою в постоянном духовном руководстве и жаловались на то, что «схизматики», т. е. православные, и «еретики», т. е. протестанты, и «alii infideles» имеют в Астрахани своих «pseudopastores» и только «armeni orthodoxi», т. е. армяне-католики, лишены священников. Это прошение, датированное 10 сентября 1710 года, было толчком к обсуждению вопроса об организации миссии в Астрахани. По представлению генерального прокуратора ордена капуцинов в Риме, в 1713 году было признано целесообразным послать в Астрахань священников из числа действовавших в Грузии, подчинив их ведению префекта грузинской миссии капуцинов. Прокуратор намечал уже в Риме лиц, предназначенных для Астрахани, именно Джузеппе Мариа из Перуджи и Патриция из Милана. Конгрегация остановилась, однако, на ином решении и предоставила усмотрению грузинского префекта выбор достойных и подходящих по знанию армянского языка кандидатов.⁷⁹

Соответственно указаниям из Рима префект грузинской миссии в 1715 году направил в Астрахань группу своих собратьев во главе с намеченным в супериоры астраханской миссии Патрицием из Милана, принадлежавшим к венецианской провинции ордена и работавшим в Грузии в 1704 году; уже в 1710—1713 годах он находился в Астрахани после отъезда оттуда Джузеппе Мариа и поэтому хорошо знал тамошние отношения и условия работы.⁸⁰ С ним ехали туда еще два итальянца — отец Бонавентура из Читта ди Кастелло и отец Джанбаттиста из Норчини. Задержавшись на некоторое время в Шемахе, они только 6 июня 1716 года прибыли в Астрахань. Здесь они были доброжелательно приняты («humanamente accolti») знавшим о предстоящем их приезде астраханским губернатором или комендантом Михаилом Чириковым, хотя капуцины и не имели никаких официальных бумаг и разрешения от «del re di Cassan», т. е. от казанско-астраханского наместника Б. А. Голицына. Последнему было тогда же сообщено о приезде капуцинов, но Чириков самостоятельно предоставил патеру Патрицию и его спутникам возможность начать деятельность в Астрахани.⁸¹

Одна сторона этой деятельности представляет для нас сейчас особый интерес, она касается участия капуцинов в организации школьного дела в Астрахани. Как говорится в одном из упомянутых представлений, М. Чириков «li persuadeva d'interpretare a far scuola a i figliuoli per abilitarli nella lingua latina» («убеждает их [капуцинов] устроить школы, дабы юноши могли обучаться латинскому языку»). Капуцины действительно взялись за это дело, по решению отца Патриция оно было поручено специально заботам патера Бонавентуры из Читта ди Кастелло, «religioso che ha tutto il capitale e la sufficienza per ben educarne ed instuirne i figliuoli» («монаха, который располагает всем нужным для хорошего воспитания и обучения юношей»). В числе первых его учеников были сын Чирикова, сын одного из чиновников-французов и еще двое. Для своей педагогической работы капуцины выписали из Рима необходимые учебные пособия — словари, грамматики, в частности и грамматику Доната. Для раздачи детям из Рима были вытребованы крестики, «figuone ed altro che più passa alla pietà» («статуэтки и под., что нужно для благочестия»), иконки — особенно святого Николая Чудотворца, как наиболее чтимого в русской среде святого. Капуцины стремились иметь в школе все необ-

⁷⁹ См. прошение астраханцев (без подписей) и другие материалы по этому делу у P. Zacharie d'Haarlem. Les capucins à Astrakhan (1710—1725) et à Moscou (1720—1725), p. 5—8.

⁸⁰ См.: Там же, стр. 11—12.

⁸¹ См. подробности там же, стр. 8—11.

ходимое, «per porre i figliuoletti all' emulatione di studiare e di applicarsi con più effetto alle lettere» («что могло бы привлечь юношей к занятиям и наиболее содействовать обучению»). Особо было желательно для капуцинов иметь текст латинской Библии с толкованиями ввиду необходимости пользоваться ею при беседах со школьниками, «i quali hanno già principiatosi d'andarlo e ritrovare in schoola» («они привыкли находить ее в школе»).⁸²

Мы не имеем материала для суждения о том, как в дальнейшем развернулась школьная деятельность отца Бонавентуры в Астрахани, не знаем ничего о составе его учеников, их успехах, об отношениях русской и нерусской среды к этой школе. Но и приведенные сведения представляют интерес, особенно если прибавить, что нам известно имя еще одного из учеников капуцинов В. К. Тредиаковского.

В. К. Тредиаковский обучался у капуцинов скорее всего в 1719—1720 и следующих годах. Кто именно из капуцинов был его непосредственным руководителем, сказать трудно, но вполне возможно, что это был — между иными — и патер Антоний Мариа д'Амелиа, переехавший из Грузии в Астрахань в 1718 году и затем более двух лет оставшийся тут единственным католическим священником. Он развернул в Астрахани весьма активную деятельность, опираясь, несомненно, на поддержку губернатора Артемия Волинского. Не исключено, что последний сыграл известную роль и в направлении Тредиаковского к капуцинам для воспитания и обучения, — эту мысль высказал много десятилетий назад Л. Н. Майков, и она не лишена вероятности, поскольку Тредиаковский, как известно, поддерживал и в дальнейшем сношения с Волинским. Возможно, что последний, покровительствовавший капуцинам в Астрахани ради их педагогической деятельности, считал полезным направить именно к ним юношу, проявлявшего уже тогда заметные способности.⁸³

Педагогическая деятельность астраханских капуцинов развивалась в далеко не спокойной обстановке. Католическим миссионерам приходилось все время бороться с различными трудностями и препятствиями. Самое водворение их в Астрахани произошло в 1716 году без особого соглашения с русской центральной властью, в порядке простого признания факта появления капуцинов. Со стороны местных представителей власти, в частности со стороны обер-коменданта М. Чирикова, или, позже, губернатора Артемия Волинского — они встречали поддержку и помощь. Затруднения появились уже в 1721 году, когда сначала коллегия иностранных дел, а затем принявший католическую миссию в России в свое ведение Синод заинтересовались правовой стороной положения католического духовенства в Астрахани и характером его деятельности. Местные православные церковные власти также проявляли некоторое предубеждение в отношении капуцинов, что было сообщено и самому Петру I, когда он в 1722 году посетил Астрахань на пути в Персию. Тогда Петр лично познакомился с местными капуцинами. Среди них был названный выше патер Д'Амелиа, который, судя по его собственным рассказам, дважды беседовал с царем, весьма благосклонно отнесшимся к его начинаниям.⁸⁴ Это могло быть скорее всего в середине июля или в течение октября и ноября 1722 года, когда Петр на некоторое время задержался в городе.

⁸² Там же, стр. 10—11.

⁸³ Ср.: Л. Н. Майков. Молодость В. К. Тредиаковского, стр. 5 и сл.

⁸⁴ Д'Амелиа писал: «la sua (царя) venuta fu di somma consolazione al Padre ed alli cattolici, posciocché tanto nella prima quanto nella seconda audienza havuta dal Padre Sua Maesta si compiacque d'approvare il tutto e con somma benignità si chiamó contento di quanto il Padre havea ivi stabila o» (Приезд царя был высшим утешением для священника и иных католиков, так как Его Величество как при первой, так и при второй аудиенции одобрил все представления миссионера и с большой милостью проявил согласие или удоволь-

Можно думать, что Петр I благоприятно отнесся и к школьной деятельности капуцинов, как он не возражал против школьной работы иезуитов в Москве. Однако положительные данные об астраханской школе очень скудны. Знаем только, что в 1721 году Артемий Волинский на запрос коллегии иностранных дел сообщал, что он не находил причин не допускать латинских священников для постоянного жительства и деятельности в городе, поскольку они, между прочим, участвуют в деле обучения юношества латыни и другим языкам и содействуют развитию образования вообще среди жителей края.⁸⁵ Нужно принять во внимание, что тактика Волинского в отношении капуцинов получила в 1722 году полное одобрение со стороны царя Петра во время его пребывания в Астрахани, в то время как выступавший против капуцинов и упрекавший Волинского за его уступчивость в отношении этих патеров местный епископ Иоаким был смещен.⁸⁶

Интересно отметить, что в 1723 году из Астрахани в Москву уехал прибывший из Грузии капуцин — итальянец Октавий Мариа из Милана, привлеченный затем «каким-то волошским господарем» (очевидно, Дмитрием Кантемиром) в его вотчину «ради учения детей господаря».⁸⁷ Этот факт можно считать как бы иллюстрацией того, что в Астрахани капуцины снискали репутацию хороших педагогов, и один из них оказался привлеченным в семью близкого к царскому окружению сановника. Это могло быть и результатом личного знакомства с названным капуцином хорошо известного руководителя воспитанием и обучением детей Кантемира И. Ильинского, который, как известно, сопровождал господаря в его поездке на Каспий в свите Петра I. А. Н. Майков когда-то высказал предположение, что именно Ильинский сыграл известную роль в решении Тредиаковского уехать для продолжения образования в Москву.⁸⁸ Но это вполне правдоподобное предположение (а Майков к тому же еще не учитывал переезда к Кантемиру астраханского капуцина) ведет к естественному заключению, что Ильинский мог в Астрахани войти в общение и с капуцинами — учителями Тредиаковского и пригласить одного из них в число учителей в семью Кантемиров. Во всяком случае перед нами не лишенная интереса живая страница из истории латинской школы в Астрахани...

Нужно подчеркнуть, что если в Москве католическая латинская школа в начале XVIII века находилась в руках *иезуитов*, при этом иезуитов чешской провинции ордена, то в Астрахани в это же время педагогическую деятельность развернули в среде тамошнего населения, как иностранного (особенно армянского), так и русского, — *капуцины итальянского* происхождения. Кроме названных уже выше патеров Бонавентуры и Джанбаттисты (1716—1719), здесь заметную роль играл патер Патриций из Милана (до 1718 года), прибывший сюда еще в 1710 году, а далее — с 1716 года патер Д'Амелиа, остававшийся тут до начала 1723 года. С 1723 года здесь, как и в России вообще, действовали уже главным образом капуцины-швейцарцы.

III

Нам остается теперь привести известные нам данные о латинской школе в Петербурге. Эти данные относятся к последним годам первой четверти XVIII века. Дело в том, что только в 1715 году в Петербурге было поло-

ствие относительно всего, что миссионер устроил или предполагал устроить). P. Zacharie d'Haarlem. Les capucins à Astrakhan (1710—1725) et à Moscou (1720—1725), стр. 16.

⁸⁵ Д. А. Толстой. Римский католицизм в России, т. I, стр. 173—174.

⁸⁶ Описание документов и дел св. Синода, т. II, стр. 9—10, 603—605.

⁸⁷ Там же, т. III, стр. 456—465.

⁸⁸ А. Н. Майков. Молодость В. К. Тредиаковского, стр. 6.

жено начало католической миссии, т. е. постоянного пребывания католических священников. В 1715—1719 годах это были иезуиты литовской провинции ордена, с 1720 года — после изгнания иезуитов из России вообще — здесь работали священники ордена капуцинов швейцарской провинции и францисканцы — реформаты. О педагогической деятельности петербургских иезуитов мы в сущности ничего не знаем. Вполне вероятно, что апрельский декрет 1719 года об изгнании распространялся и на них, когда вменял иезуитам в вину вредное для православных воздействие на юношество.⁸⁹

Больше сведений имеется о педагогической деятельности капуцинов, сменивших в Петербурге иезуитов. Так, мы знаем, что швейцарский капуцин патер Аполлинарий из Швица в 1721 году содержал целую школу в католическом госписе в Петербурге — у него обучалось тогда пять русских «ноблей», т. е. дворянских сыновей, трое католиков и два лютеранина. Позже среди его учеников был сын одного из царских фаворитов (имя пока нам неизвестно), а в 1723 году патер Аполлинарий вел и «*le scuole in diverse lingue*».⁹⁰

Параллельно с капуцинами занимались обучением и францисканцы. В частности, патер Бонавентура Шульц давал уроки детям «городового мастера Дрезина», т. е. крупнейшего тогдашнего строителя Петербурга Доменико Трезини (Trezzini), в доме которого и жил. Патер Шульц преподавал также некоторым детям католиков немецкий язык и начатки католического богословия, устраняя этим от них возможное влияние лютеран и т. д. Интересно, что несколько позже патер Вестинье уклонялся от принятия на себя предложенного ему дела обучения нескольких русских дворян, опасаясь недоверия со стороны Синода.⁹¹ Однако и он, конечно, активно занимался педагогической работой среди католиков; в частности, мы знаем, что в 1732 году он настаивал перед римскими властями на необходимости в России «*un studioso di diverse lingue*» для обучения «*dei fanciulli Cattolici*».⁹²

Нужно учитывать еще и тот факт, что педагогическая деятельность была для католических священников в Петербурге одним из источников их материального обеспечения в дополнение к помощи, которую они получали со стороны самой католической колонии.

Мы не имеем основания преувеличивать значение латинских школ. Они затронули ограниченное количество русских людей, которые к тому же порою лишь короткое время посещали уроки латинских своих учителей и находились в сфере их школьного влияния. Все же при всей немногочисленности факты такого рода должны учитываться в общей перспективе развития школьного дела в России, русского школьного образования и культурного развития вообще. История латинских школ во времена Петра I — это глава истории русского культурного развития, во всяком случае развития образовательных средств на русской почве в эту важную эпоху истории России.

⁸⁹ См.: A. Florovský. Čeští jesuité na Rusi, s. 320 и сл.

⁹⁰ См.: P. Zacharie d'Haarlem. Les capucins à Saint-Petersbourg (1720—1725), «Collectanea Franciscana», 1942, t. XII, fasc. 2—3, p. 45, 59—60.

⁹¹ Там же, стр. 45.

⁹² Письмо от 1 июля 1732 г. (хранится в архиве Конгрегации De Propaganda Fide, копия — в собрании Г. Кольмана в Главном пражском архиве Министерства внутренних дел).

А. Х. ГОРФУНКЕЛЬ

«ВЕЛИКАЯ НАУКА РАЙМУНДА ЛЮЛЛИЯ» И ЕЕ ЧИТАТЕЛИ

«Великая и предивная наука богом преосвященного учителя Раймунда Люллия» занимает особое место в истории русской образованности XVIII столетия. Посвященная изложению взглядов каталонского средневекового философа и богослова, она приобрела неожиданную на первый взгляд популярность среди русских читателей. В эпоху, когда печатный станок почти полностью вытеснил труд переписчика, «тщанием и иждивением» многочисленных поклонников и ценителей создавались новые и новые списки этого объемистого сочинения. Великолепно украшенные фолианты в тисненых кожаных переплетах; более скромные, но разросшиеся до двух томов книги в четверть листа, писанные торжественным полууставом; «карманные издания» в осьмушку, заполненные торопливой и небрежной скорописью, — всего 55 списков «Великой науки» учтено в настоящее время в хранилищах Москвы, Ленинграда, Киева и Калининграда.¹ Спрос на это сочинение оказался столь значительным, что в 1725 году известный старообрядческий деятель, настоятель Выговской пустыни Андрей Денисов составил сокращенный его вариант. «Понеже Великая наука кабалистичная великую книгу, о ней поучающую, имеет, юже везде переносить или скоро прочесть неудобно есть всегда, сего ради вкратце из оныя малая книга сия написуется», — так объяснял А. Денисов в предисловии цель своего труда.² «Малая книга» сохранилась в 7 списках, общее же количество рукописей «люллианских сочинений», включая русский перевод «Краткой науки» (*Arx brevis*) Люллия и руководство по риторике — так называемую «Риторику Раймунда Люллия», достигает 80.³ Активный читательский инте-

¹ Архимандрит Никанор («Великая наука» Раймунда Люллия в сокращении Андрея Денисова». Оттиск из «Известий Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук», т. XVIII, кн. 2. СПб., 1913, стр. 15) и В. П. Зубов («К истории русского ораторского искусства конца XVII—первой половины XVIII в. Русская люллианская литература и ее назначение». «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XVI, Л., 1960, стр. 288—303) учитывают 41 список «Великой науки»; кроме того, нами учтены следующие списки: ГПБ, Q.III.70; O.III.16 и 16^б; Титов, 4642, 4895; ГБЛ, Муз., 4150, 4499; Невоструев, 41; Егоров, 695, 785, 788, 1071, 1555; ГИМ, Щук., 735; Государственный архив Калининградской области, № 938. Автор выражает глубокую признательность И. Ф. Голубеву за любезно предоставленные сведения о рукописи Калининского областного архива.

² БАН, 16.15.19, л. 7.

³ Кроме учтенных В. П. Зубовым списков (К истории русского ораторского искусства конца XVII—первой половины XVIII в., стр. 296—299), нами просмотрены следующие рукописи: «Сокращения» А. Денисова — ГПБ, O.III.194; ГБЛ, Опт., 105; Егоров, 2007; «Краткой науки» — ГБЛ, Егоров, 1363; ГИМ, Чертков, 193; «Риторика» — ГБЛ, Нилова пустынь, 34, 43.

рес к ним сохранялся до первых десятилетий XIX века, когда на смену ему пришло увлечение коллекционеров и пристальное внимание исследователей.

Рыцарь и монах, поэт и философ, фанатичный миссионер, мечтавший обратить в католическую религию народы мусульманского Востока, Раймунд Люллий (1235—1315 годы) сочетал мистическую экзальтированность с наивной верой в возможность доказать истины христианства доводами разума. Этой цели должно было служить его «великое искусство». Люллий полагал, что, установив основные понятия, можно путем их механических комбинаций с помощью разработанных им таблиц, фигур и вращающихся кругов, прийти к раз на всегда определенным и для всех очевидным выводам. Именно эта сторона учения Люллия, а отнюдь не его собственно философские и богословские воззрения, реакционные даже для XIV века, — оказалась наиболее живучей. В XVI—XVII веках люллиева «изобретательная логика» находит многочисленных сторонников и продолжателей. Целый ряд комментаторов, среди которых были такие мыслители, как Агриппа Неттесгеймский, Лефевр д'Этапль, Джордано Бруно, разрабатывают проблемы «люллиева искусства»; большое внимание уделяет им Лейбниц. В основе этих поисков, еще не получивших должной оценки в историко-философской литературе, лежало стремление к выработке нового научного метода, противостоящего схоластической логике. Теоретической предпосылкой «изобретательной логики» Раймунда Люллия являлось учение о полном и совершенном совпадении вещей и понятий. Само же «искусство» механических комбинаций терминов должно было, по замыслу комментаторов XVI—XVII веков, привести к созданию универсального метода познания, содержащего в себе начало и принципы всех наук. Естественным и необходимым дополнением новой логики являлась система знаний, своеобразная философская энциклопедия, охватывавшая все виды «сущностей».⁴ Произведения Раймунда Люллия и его комментаторов неоднократно издавались в XVI—XVII веках, переводились на западноевропейские языки. Не осталась в стороне от этого направления западноевропейской философской мысли и русская культура конца XVII столетия.

«Великая наука Раймунда Люллия» не является переводом ни «Великого искусства» (*Argis magna*), ни какого-либо другого произведения каталонского философа. Замечание Б. Е. Райкова о том, что «Люллий написал так много и так часто перерабатывал и сокращал свой основной труд, что нельзя утверждать это с полной вероятностью»,⁵ не представляется нам достаточно убедительным. Ни одно из 313 ученых исследователями изданных и неопубликованных сочинений Люллия⁶ не может быть отождествлено с нашей «Великой наукой». Да и в самом тексте русской рукописи ясно говорится о Люллии в третьем лице и подчеркивается, что книга является изложением его взглядов — в отличие от русского перевода «Краткой науки» (*Argis brevis*), где авторство Люллия указано определенно и безоговорочно, а текст перевода точно соответствует латинскому тексту оригинала.

Не является «Великая наука» и переводом какого-либо из известных нам западноевропейских комментариев «*Argis magna*». Сравнение русского текста с произведениями таких комментаторов Люллия, как Агриппа Неттесгеймский, Джордано Бруно, Иоганн Генрих Альштед, Валерий де Вальер, Педро Санчед,

⁴ В. П. Зубов. Рукописное наследие Джордано Бруно. «Записки Отдела рукописей Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XI, М., 1950, стр. 164—182; P. Rossi. Studi sul lullismo e sull'arte della memoria nel Rinascimento. I teatri del mondo e il lullismo di Giordano Bruno. «Rivista critica di storia della filosofia». Anno XIV, fasc. I, gen.-marzo, 1959, pp. 28—59.

⁵ Б. Е. Райков. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. 2-е изд., М.—Л., 1947, стр. 56.

⁶ Histoire littéraire de la France, t. XXIX. Paris, 1885, pp. 67—386.

Пьер Морестель, Афанасий Кирхер, — убеждает в том, что перед нами оригинальный труд неизвестного доселе комментатора.⁷

Построение «Великой науки» не повторяет схемы «Великого искусства» Люллия. Впрочем, текст, которым пользовался и на который ссылается автор «Великой науки» («Сам Раймундус Люлиус науку свою пределил на шесть частей»), отличается от известного и неоднократно издававшегося текста «*Ars magna*», состоящего из 13 частей.⁸

«Великая наука» открывается «Предисловием»; за ним следуют вводные разделы «О начертании таблицы» и «Увещание о вопросах», в которых содержатся краткие сведения о Раймунде Люллии и его «науке». В предисловии использованы (с прямыми ссылками на источник) предисловия к сочинениям Люллия и комментариям Валерия де Вальер и Агриппы Неттесгеймского — все эти материалы могли быть взяты из неоднократно повторявшегося в XVI—XVII веках цетцнеровского издания сочинений Люллия, снабженного комментариями его последователей.⁹ Вводные разделы в какой-то мере соответствуют первой части «Великого искусства» — «Об алфавите» и пятой — «О таблице».

Первая часть «Великой науки» не имеет прямых аналогий в произведении Люллия; в данном случае наш автор следует «толковникам», комментаторам «великого учителя»: «В начале всех сих частей посторонне побочне кладут три слова, по их разсуждению зело нужные к постижению сея науки... Три сия вещи, сиречь естество, единство и совершенство прежде всего ведомости достойныя суть».¹⁰ Первая часть посвящена объяснению основных философских понятий, необходимых, по мысли автора, для усвоения «науки», и систематизации их путем сравнения двух схем — «древа Порфириево» и «древа Майориканского».

Вторая часть — «О прилагаемых соборных» — посвящена характеристике терминов «доброта, величество, качество, пребывание, власть, разум, воля, истина и слава»; третья часть — определению «разсмотрительных или разборных прилагаемых», т. е. «разнства, согласия, противности, начала, средины, конца, большинства, равенства и меньшества». Обе эти части соответствуют восьмой части «Великого искусства» — «О сочетании принципов и правил». Четвертая часть — «О вопросах» («вопросы сии не токмо вопросами, но и правилами нарицаются, понеже в них правила полагаются, яко на всякой вопрос отвещати»¹¹) — в какой-то мере соответствует носящей аналогичное название одиннадцатой части «Великого искусства». Часть пятая — «О существах» — повторяет основное содержание 1—54 глав девятой части сочинения Люллия. Нарушает указанную в предисловии схему построения «науки» шестая часть, отсутствующая у Люллия, — «О случаях» (т. е. об акциденциях, категориях «количества, качества, отношения, деяния, страдания, имени, положения, времени и места»). К ней в некоторых списках приложена особая «беседа о второй форме философской», носящая характер руководства по риторике и, в качестве примера проповеди, построенной по изложенным в «Беседе» правилам — «Слово о посте». Шестая часть введена, объясняет автор, не самим Люллием, а его комментаторами, «не для ради исправления или презрения его, но для объяснения вещей, яже в вопросах его закрытая суть; того ради... полагают часть одну, десять случаев главных в себе содер-

⁷ М. Безобразова. О «Великой науке» Раймунда Люллия в русских рукописях XVII века. «Журнал Министерства народного просвещения», 1896, № 2, стр. 383—399; В. П. Зубов. К истории русского ораторского искусства конца XVII—первой половины XVIII в., стр. 290.

⁸ R. Lullius. *Ars magna, generalis et ultima*. Francoforti, 1956.

⁹ R. Lullius. *Opera ea quae ad adiuvantem ab ipso artem universalem... pertinent*. Argentorati, 1598, 1609, 1617, 1651.

¹⁰ ГПБ, F.III.1, л. 30б.

¹¹ Там же, л. 170об.

жашу».¹² Заключительные седьмая и восьмая части — «О добродетелях» и «О прегрешениях» снова возвращают нас к люллиевой «*Arts magna*» и соответствуют 55—72 и 73—90 главам девятой части.

Таким образом, построение «Великой науки» не является копией схемы Люллия и его комментаторов, а представляет собой продукт оригинального творчества автора.

Приводя мнения «толковников» Раймунда Люллия и ссылаясь на них (в тексте упомянуты имена «Валерия де Валерис, патрикия венецийского», «Хиенрика Корнилея Агриппы» и «славнейшего Афанасия Кирхера»; кроме того, в другом русском люллианском сочинении — «Риторике Раймунда Люллия» — упомянуты сочинения Иоганна Генриха Альштеда и «Иордана Бруна Холяна»), автор «Великой науки» в то же время следует лишь «согласующимся толковникам» и часто полемизирует с ними. Так, в начале пятой части «О существах», он пишет: «Часть сию Хиенрик Корнилей Агриппа и иннии нецзи толковники Раймунда Люллия первую частью в письменех своих сотворили против положения Раймундоваго» и далее отстаивает свою точку зрения на построение «науки».¹³ В другом случае автор еще более определенно противопоставляет себя комментаторам «великого учителя»: «О сей фигуре... мнози убо от толковников его своя определения несогласныя ученою его положиша со обличением один другого; которых аз ниже мирити, ниже укоряти хошу, но что в них мудрое, и науце Раймунда Люллия согласное, от многих толковников избравши, предложу».¹⁴

Оригинальна и форма подачи материала, не встречавшаяся в других «люллианских» сочинениях этой эпохи. Автор рассматривает свое сочинение прежде всего как учебное руководство, и, создавая трудности усвоения сложной системы люллиевой логики и используемых в ней философских понятий, излагает переработанную им «науку» в виде вопросов и ответов: «Аще убо высокую науку необычно есть простым сочинением полагати, но аз, пользу паче учеников, нежели сочинение высокое почитаючи, науку сию разговором или беседою учителя со учеником предложу, бо еже оную удобнейше вняти и помнити искателем сея науки».¹⁵

Таким образом, построение и форма изложения «Великой науки», использование в ней как сочинений Люллия, так и произведений «толковников» свидетельствует о том, что перед нами оригинальный комментарий, который следует поставить в один ряд с другими памятниками европейской люллианской литературы XVI—XVII веков.

Если оригинальность «Великой науки» не вызывает сомнений, то гораздо труднее ответить на вопрос, является ли это сочинение произведением русского мыслителя или переводом неизвестного западного комментатора. Люллианская литература XVI—XVII веков достаточно обширна и очень слабо изучена; пока следует лишь отметить, что поиски латинского оригинала (в предположении, что «Великая наука» — перевод) не дали до сих пор никаких результатов.

В то же время в тексте «Великой науки» имеется ряд черт, свидетельствующих о приспособлении книги к русским условиям. Так, автор постоянно приводит русские меры веса, длины и объема: золотники, фунты, пуды; персты, пяди, четверти, аршины, сажени, версты; ложки, чарки, кружки, ведра, четверики. В качестве примера «великости чинов церковных» приводится в «Великой науке» патриаршество. Автор ссылается на прологи, жития святых, приводит русские пословицы: «доброта счастья, — пишет он, — паче

¹² Там же, лл. 3об., 259об.—260.

¹³ Там же, л. 207об.

¹⁴ Там же, л. 116 и 116об.

¹⁵ Там же, лл. 4об.—5.

всех доброт в сем мире почитается, по обыкновенной пословице в мире: не родился мудрый, ни богат, но счастлив, обаче простаго народа простое слово».¹⁶

Даты в тексте рукописи приводятся «по счету восточных церкви»; в одном из списков указан промежуток времени «от седмаго собора до преложения книг на словенский язык Кирилом философом — 77 лет; от преложения книг до крещения русския земли 123 лета».¹⁷ Говоря о единстве церкви, автор обрушивается на старообрядцев, «яко разное учение и веру вводят, ибо не приемлют многих церковью содержимых, яко неции от седми таин не приемлют исповедания последнего, елеопомазания, ни жертвы...».¹⁸

Автор «Великой науки» знаком с русской философской (переводной) литературой: «Но кто от мудрых инако претолкует сия словеса, убикацию, локалитас, хекцентас, яже значит три словеса положенныя гдечество, месточество, тоечество, яже в Логице Дамаскина святаго искусный некто в философии толковник руский описал».¹⁹ Сам он постоянно озабочен точной передачей латинских философских понятий.

Приводя примеры государственного устройства, автор ссылается на русские и польские, хорошо знакомые русскому читателю условия: «Власть монаршеска... власть самодержавная, в которой одному вси повинуются, яко царем и великим князем, земель своим самодержцем»; «власть аристократична есть власть многих вельмож, царство или народ какой правящих, яко в Польши 12 воевод было вместо короля»; «...есть власть яже до смерти дается кому, яко обыкновенно в Польши воеводы на мале пременяют, разве в вышший чин».²⁰

Особенно существенным представляется нам то, что автор сознательно противопоставляет себя католическому миру, западной церкви. «Был убо архиепископ великий, — пишет он, — епарх Ратибонской, западная церкви учитель, и во святых убо тамо почтенный». Он говорит о западных языках и обычаях, как о знакомых, но чуждых ему и его читателю: «По державе и земель пространству италийским, и французским, и ишпанским обыкновением зовется турецкий монарха»; «но ведати ти подобает, иже Раймундус Люлиус вопрос сей положил, смотря по диалекту италиянскому, французскому и гишпанскому, в которых землях учитель бых, у них убо де кви блиско и подходит латинскому де кво, но по нашему толкуючи, де кви италиянское и гишпанское далека отменная есть от латинского де кво, понеже де кви значит чьи, или чия, или чье, а де кво значит с чего, или от чего, или о чем».²¹

Встречающееся в «Великой науке» противопоставление люллиева искусства богословию также весьма трудно представить себе в сочинении католического происхождения. На характерно русские, православные черты в воззрениях автора «Великой науки» обратил внимание один из читателей, делавший отметки на полях принадлежавшей ему рукописи: «Автор сея книги должен быть грекороссийския церкви... Автор, преложивший на руской язык и метод, и учение Раймунда Люллия, должен быть духовная особа... Сие о постах извещение показывает, что автор, или прелагатель сея книги был из членов грекороссийския церкви. Да ублажит его господь!».²²

¹⁶ Там же, лл. 60об., 66об.—67, 262, 264, 308об.; Н. Соколов. «Философия Раймунда Люллия» и ее автор. «Журнал Министерства народного просвещения», 1907, № 8, стр. 331—338.

¹⁷ ГПБ, Ф. III.1, л. 199об.; Солов., 1508/49, л. 168об.

¹⁸ ГПБ, Ф. III.1, л. 354об.

¹⁹ Там же, л. 16; Солов., 1508/49, л. 24.

²⁰ ГПБ, Ф. III.1, лл. 75 и об.

²¹ Там же, лл. 68, 189, 266.

²² БАН, 19.2.9, лл. 124, 138, 143.

На основании всех этих данных нам представляется если не окончательно доказанным, то в достаточной мере убедительным предположение об оригинальном, русском происхождении «Великой науки».

Соседствующая в ряде списков с текстом «Великой науки» «Краткая наука» является дословным переводом трактата Раймунда Люллия «*Ars brevis*» и, очевидно, принадлежит перу автора «Великой науки». Что касается третьего русского люллианского сочинения, «Риторики Раймунда Люллия», руководства по гомилетике — церковному красноречию, то она обнаруживает знакомство автора с той же люллианской литературой, что и использованная в «Великой науке». Отмеченным в литературе совпадением отдельных мест и формулировок «Риторики» и «Великой науки»²³ не ограничивается сходство этих двух произведений. Главы 1—9-я второй книги «Риторики» — «О материин поучения» — совпадают по содержанию с пятой частью «Великой науки» — «О существах». В третьей книге «Риторики» «Беседа о первой форме философской» повторяет содержание шестой части «Великой науки» — «О случаях», а «Беседа о второй форме философской» и «Слово о посте» совпадают и текстуально. Раздел «О форме богословской» близок по содержанию и по форме изложения ко второй части «Великой науки» — «О прилагаемых соборных».²⁴ Все это заставляет нас присоединиться к мнению А. И. Соболевского о том, что автор «Великой науки» и «Риторики Раймунда Люллия» — одно лицо.²⁵

А. И. Соболевским было выдвинуто представляющееся нам убедительно обоснованным (один из экземпляров «Риторики» в ГИМ имеет на полях пометки современного читателя со ссылкой на «Великую науку» и с указанием имени автора, в другом экземпляре указано имя автора самой «Риторики») и, несмотря на возражения ряда исследователей, не опровергнутое мнение о принадлежности этих произведений Андрею Христофоровичу Белободькому. А. Х. Белободкий — автор или переводчик диалога «Краткая беседа милости с истинною», поэмы «Пентатеугум, или пять книг кратких»; он перевел сочинение Фомы Кемпийского «О подражании Христу»; ему же, по-видимому, принадлежит и «Книга философская» — сочинение по ригорике, автором которой в рукописях назван некий «Андрей Христофорович».²⁶

До сих пор исследователям не удавалось точно датировать «Великую науку». Временем ее появления считали последнюю четверть, или — точнее — 80-е годы XVII столетия. Тщательное изучение текста рукописей позволило уточнить эту дату. В 7-й главе четвертой части — «О вопросе: когда что есть?» — автор приводит пример ответа на вопрос «когда?»: «Аще спросит кто: когда создан мир? — Отвещаю: 7207 лета назад, месяца сентября дня первого, по счету восточныя церкви».²⁷ Таким образом, написание «Великой науки» следует отнести к 1698—1699 годам.

Чем же был вызван значительный интерес русских читателей XVIII века к «Великой науке Раймунда Люллия»?

Историки науки, тщательно рассмотрев естественно-научный материал, содержащийся в «Великой науке», пришли к заключению, что он не мог представлять интереса для образованного русского читателя даже конца

²³ Д. С о в и ц к и й. Русский гомилет начала XVIII века Иоаким Богомолевский. Киев, 1902, стр. 53—54, 167—172.

²⁴ БАН. Арх. с. 149, лл. 224—290; ГПБ, F.III.1, лл. 52—110об., 207об.—328.

²⁵ А. С о б о л е в с к и й. Рецензия на книгу Д. С о в и ц к о г о. «Журнал Министрства народного просвещения», 1903, № 3, стр. 182—185.

²⁶ А. И. С о б о л е в с к и й. Западное влияние на литературу Московской Руси XV—XVII веков. «Вестник Археологии и Истории», XI, СПб., 1899, стр. 72, 101—102, 117—119, 131—132.

²⁷ ГПБ, F.III.1, л. 199об.; O.III.16^б, л. 304; O.III.70, л. 204; F.III.105, л. 153.

XVII века, не говоря уже о столетии после петровских преобразований. Научные сведения, включенные в «Великую науку», прежде всего космологические и биологические представления ее автора, почерпнуты из архаических для его времени источников, целиком относятся к средневековью и не отражают состояния ни западноевропейской, ни русской науки и образованности конца XVII века.²⁸

Исходя из этого, В. П. Зубов сводит все значение «Великой науки» к роли руководства по риторике: «Вся техника люллианского круговращения была у нас на Руси ориентирована в основном в сторону риторики». «Великая наука», по мнению В. П. Зубова, — не энциклопедия, а «пособие для оратора».²⁹

Интерес русского общества конца XVII—начала XVIII веков к вопросам ораторского искусства беспорочен; его подтверждают и приведенные В. П. Зубовым данные о появлении в 1698—1710 годах целого ряда переводных и оригинальных пособий по риторике. Однако автор «Великой науки» не только не ограничивается вопросами риторики, но и не уделяет им преимущественного внимания. Его интересуют «вся естества всех прочих наук, вся основания их, вся существа, все случаи, все вины, все страсти, действия, начала, посредства, окончания; кратко рекше — все, яже в мире малыя и великия вещи, созданныя и несозданныя, тая наука описует и беседовати о них наставляет».³⁰

«Великая наука», по определению автора книги, «есть мудрость подлинная и светлая, являющая о своем предлагаемом страсти, чрез первыя нужные и непоколебимыя начала подвижающаяся... Предлагаемое сея науки есть естество, не определенное никоем разньством, вышшее всех естеств, протчими науками рассуждаемых... Сея науки правила всем обще наукам нужныя суть».³¹

Следует отметить при этом оригинальное понимание предмета «Великой науки» А. Х. Белободким (или автором использованного им комментария). В отличие от самого Люллия, рассматривавшего философию, в соответствии с принципами средневекового мировоззрения, в качестве верной служанки теологии, а в своем «искусстве» видевшего орудие распространения христианства, А. Х. Белободкий противопоставляет «великую науку» богословию, ставит ее выше последнего: «Богословия (*theologia* А. Х. Белободкий переводит на русский язык существительным женского рода, — А. Г.) об одной вещи токмо поучает, о бозе и ему причитаемых вещех... Но сия наука о всех протчих науках поучает, тем же соборнейша есть не токмо богословии, но и всех мудростей... Понеже поучает о бозе, достоинстию равняется с богословию; сверх того понеже наставляет разум и о простых художествах, нужнейшая богословии есть». Люллиева «наука», по мнению автора, «всех наук и богословии самая вышшая есть, и правила яко протчим наукам, тако и богословии полагает».³²

²⁸ Б. Е. Райков. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России, стр. 53—65; Т. Райнов. Наука в России XI—XVII веков, части I—III. М.—Л., 1940, стр. 434, 466.

²⁹ V. P. Zoubov. Quelques notices sur les versions russes des écrits et comentaires lulliens. Separata de Estudios lullianos, t. III, fasc. I, Palma de Mallorca, 1958, стр. 63—66; В. П. Зубов. К истории русского ораторского искусства конца XVII—первой половины XVIII в., стр. 290—295.

³⁰ ГПБ, F.III.1, л. 4об.

³¹ Там же, лл. 7об.—8, 10.

³² Там же, лл. 5, 8об.—9. В этом противопоставлении не следует видеть какой-либо антирелигиозной тенденции: автор или «прелагатель» «Великой науки» стоит на позициях ортодоксального православия и полемизирует как с язычниками и еретиками, так и с «афеистами». Там же, лл. 180—181, 354 об.

Но если светская «Великая наука» ставится выше основанного на религиозном откровении богословия, то тем менее поводов отождествлять ее предмет с ораторским искусством. «Предлежащее» ее «пространнейше предлежащего риторичного и логичного». «Вся описания ея (риторики, — А. Г.) заключаются в единых токмо прилагаемых разсмотрительных... Наша же науки описание непременно соборнейше творит по всем основаниям, себе положенным».³³ Прямое касательство к риторике имеет лишь один небольшой раздел «Великой науки» — «Беседа о второй форме философской» с приложением «Слова о посте». Но эти главы никак прямо не связаны с текстом шестой части книги, после которой они следуют; они входят в состав далеко не всех списков «Великой науки» (например, «Беседа» отсутствует в рукописи ГПБ, Солов., 1508/49) и, вероятно, являются прямым заимствованием из «Риторики Раймунда Люллия» — сочинения, специально посвященного применению принципов люллиевой «науки» к ораторскому искусству.³⁴ Отметим, кстати, что если «Великая наука» в полном объеме и в сокращении Андрея Денисова сохранилась в 61 списке, то «Риторика Раймунда Люллия» дошла до нас лишь в 9 рукописях.

Итак, «Великая наука» — не научная энциклопедия и не руководство по риторике. По замыслу автора, она должна была явиться своеобразным учебником философии, задача которого — дать в руки просвещенного читателя универсальный и легко доступный метод усвоения всех наук. Об этом прямо говорится в предисловии, где приводятся взятые из западноевропейской люллианской литературы примеры чудодейственного превращения простых и невежественных, неграмотных людей, то почти детей, то седых старцев, во всесторонне образованных и вызывающих всеобщее восхищение мудрецов, благодаря обучению по методу «Великой науки». Поэтому автор стремится сделать свое сочинение «внятным не токмо ученым, но и неученым человеком»,³⁵ уделяя большое внимание точному переводу и истолкованию философских понятий. Разработка русской философской терминологии — бесспорная и, быть может, важнейшая заслуга А. Х. Белободького.

Решающее слово в разрешении вопросов, связанных с изучением «Великой науки», принадлежит, на наш взгляд, тем ее читателям, которые обеспечили ее сохранение и распространение в десятках списков. Исследование сохранившихся рукописей «Великой науки» позволяет уточнить время распространения этого сочинения, выяснить круг его читателей и причины его популярности, а тем самым определить и место этого произведения А. Х. Белободького в истории русской образованности XVIII века.

Основная масса списков «Великой науки» не датирована. Тем больший интерес представляют в этой связи датированные рукописи. Самая ранняя из них имеет вытисненный на переплете заголовок с подробной характеристикой «Великой науки» и дату — 1719 год (БАН, 17.15.20). Один из первых владельцев этой книги приобрел ее, очевидно, в 1720 году и, после того, как «три года держал», перепродал в 1723 году.

В одной из записей переписчика сохранились сведения и о более ранних списках. В рукописи ГПБ, Тиханов, 216 вместе с «Великой наукой» переписан и текст «Краткой науки» Раймунда Люллия. Это последнее произведение содержит в конце сведения о дате его написания: «К чести и хвале божией и гражданския ради пользы окончил Раймундус сию книгу в лето господне 1307». Русские переписчики, завершая свой труд, в ряде случаев вместо даты написания «Ars brevis» Люллием указывали дату окончания собственной

³³ Там же, лл. 7об.—8, 182об.

³⁴ Возникающий в связи с уточнением даты написания «Великой науки» вопрос о пересмотре хронологической последовательности сочинений А. Х. Белободького выходит за рамки настоящей статьи.

³⁵ ГПБ, F.III.1, лл. 1—5.

своей работы. В данном случае неизвестный писец заменил последние слова «Краткой науки» своим текстом: «... в лето от сотворения миру 7215 году, апреля в 29 день», что свидетельствует о распространении сочинений Белобожского уже в 1707 году.³⁶ Следующий переписчик этой книги сделал свою приписку в 1712 году: «Ныне же с списка того списася 7220 году, августа в 22 день». И, наконец, переписчик дошедшего до нас экземпляра добавил: «Мы же списка уже сего спискам 1740 го(ду)».

Список ГБА, Невоструев, 41 сделан в 1730 году. Другая рукопись — ГБА., Муз. 4150, имеет дату «7253 anno», т. е. 1744/45 год. К первой половине XVIII в. относятся рукописи Калининского архива № 738, имеющая владельческую запись 1743 года, и рукопись ГПБ, F.III.105, имеющая запись о продаже ее в 1751 году. Несомненно, к числу наиболее ранних относится и неоднократно цитируемая нами рукопись ГПБ, F.III.1, писаная почерком начала XVIII века и сохраняющая характерные черты допетровской скорописи конца предыдущего столетия. Список БАН, 31.3.30 оканчивается записью: «Аминь. Конец и богу слава. Окончана иуля 23 дня 1753 году. А начата списыванием в июле ж 752 году». К тем же 50-м годам относится рукопись БАН, 33.8.10, имеющая приписку: «Списана сия книга в лето от рождества Христова 1756-е, и да будет слава дательно всех благ богу, яко начатию сему конец свершился. Издатель же да хвалится, яко труд его любовотно во услаждение к прочтанию и науке приемлется». Время продажи рукописи ГПБ, Солов. 1508/49 определяется Н. Соколовым 1757 годом по аналогичным записям о продаже других книг тем же владельцем в Соловецкий монастырь.³⁷

Судя по почерку и бумажным знакам,³⁸ к 1738—1747 годам могут быть отнесены рукописи ГПБ, F. III.2, Титов, 4895, и Мих. F.116 (бумага «Комерц-коллегии»); к 1756—1765 годам (бумажный знак «ЯМАЗ») рукописи ГПБ, F.III.23; ГБА, Муз. 4150, Егоров, 1555; ГИМ, Уваров, 2236 (606).

Рукопись БАН, 17.6.8 датирована: «В лето от воплощения слова бога 7279», т. е. 1770/71 год. По бумажным знакам можно датировать концом 80-х—началом 90-х годов (две шестиконечные звезды) список ГПБ, Q.III.11; после 1790 года сделан список ГПБ, Q.III.12 (медведь с секирой пляшет под короной, «1790»); после 1801 года («AS», «Pro patria») — список ЛОИИ (Ленинградского отделения Института истории АН СССР), Воронцов, 213.

Наиболее поздний из известных нам списков резко отличается по своему виду от всех остальных: два аккуратно переплетенных томика переписаны мелким и четким почерком начала XIX столетия. Бумажный знак («АО») позволяет датировать рукопись 1800—1813 годами (ГПБ, O.III.16 и O.III.16⁶). Этот последний список носит название «Раймунда Люллия Кабалистика»; не исключено, что его владелец-переписчик принадлежал к масонским кругам. За указанным (единственным) исключением все обследованные нами списки «Великой науки» по палеографическим признакам, бесспорно, относятся к XVIII веку, по большей части, к его середине. Если как памятник русской философской литературы это сочинение А. Х. Белобожского связано еще с традициями конца XVII века, то как книга, нашедшая своего читателя, «Великая наука» целиком принадлежит культуре XVIII столетия.

Сведения о владельцах и переписчиках дошедших до нас экземпляров «Великой науки» весьма скудны и отрывочны, однако мы сочли необходимым

³⁶ Аналогичные записи свидетельствуют о переписке «Краткой науки» в 1715 году. См.: ГПБ, F.III.2 и БАН, 16.17.18.

³⁷ Н. Соколов. «Философия Раймунда Люллия» и ее автор, стр. 332.

³⁸ М. В. Кукушкина. Филigrаны на бумаге русских фабрик XVIII—начала XIX в. (Обзор собрания П. А. Картавова). Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. II (XIX—XX века). М.—Л., 1958, стр. 285—371.

учесть все встретившиеся в рукописях упоминания, с тем, чтобы попытаться установить хотя бы приблизительно круг читателей этого произведения.

Ни о чем не говорят разного рода оборванные и незавершенные записи, вроде «Спис... Сави...» (БАН, 31.3.30), «Из книг Вас... М...» (ГПБ, F.III.23), «Тимофея Орлова» (ЛОИИ, Воронцов, 213). Но уже такие записи, как «Сия книга списана Михайлом Ульяновым сыном Урлановым» (ГБЛ, Новоструев, 41) или «Списана тщанием и иждевением Феофимта Васильева Попова» (БАН, 33.8.10),³⁹ относящиеся соответственно к 1730 и 1756 годам, благодаря отсутствию отчества на «ич» свидетельствуют о недворянском происхождении владельцев книги. «От нижайших как по природе, так и фартуной Никифор» — так называет себя владелец списка БАН, 17.15.20.

Несравненно больший интерес представляют записи, содержащие точные сведения о социальном положении владельцев книг. Сия книга Раймунда Люллия, — читаем мы в списке ГПБ, Солов. 1508/49, — «Соловецкого монастыря крестьянина Семена Иванова сына Лукичева, которую продал Григорью Алексееву сыну Титову, того монастыря служителю, а цены взял (выскоблено, — А. Г.). Подписал я, Лукичев, своею рукою». В другом современном списке сохранилась следующая запись: «Московской суконной фабрики ученик Григорей Попков продал книгу Раймунду Люлию зачисто, в том и росписался своею рукою 1751 г. марта 22». (ГПБ, F.III.105). Позднее сделана запись на экземпляре ГБЛ, Муз. 243: «Сия книга Нижнотагильского завода жителя Кондратья Семенова Рубленова собственная. 1801-го году, февраля 8 дня». Рукопись Калининского архива № 738 принадлежала в 1743 году петербургскому купцу Ивану Панову; рукопись ЦГАДА, МАМИД, № 891/1457 — петербургскому купцу Павлу Никифорову сыну Посникову. Рукопись БАН, Успенского, 127 имеет следующую владельческую запись: «Сия книга принадлежит воронежскому купцу Ивану Деину с братьями его». Купеческой семье Францовых принадлежал список ГПБ, Тиханов, 216, о чем свидетельствует запись: «Сия книга принадлежит курскому купцу Федору Яковлеву сыну Францову, доставшая по наследству от родителя своего Якова Григорьева сына Францова в 1844 г.». Наконец, рукопись ГПБ, Q.III.12 «куплена в 1813 г. у отставного поручика Александра Дзержановского».

Все остальные записи не представляют интереса для определения круга читателей «Великой науки», так как принадлежат не владельцам-читателям, а владельцам-коллекционерам. Предметом коллекционирования «Великая наука Раймунда Люллия» становится уже в XVIII веке; первая из такого рода записей, на титульном листе рукописи ГПБ, F.III.2, принадлежит известному коллекционеру П. Дубровскому: «Ex Museo Petri Dubrowsky. Parisiis. 1779».

При всей ограниченности и неполноте приведенных данных, важно отметить, что все известные нам владельцы рукописей «Великой науки» принадлежат к демократическим слоям населения, к «третьему сословию» русского общества XVIII века. Обращение автора к «неученым» было услышано. «Искатели науки сея» — «нижайшие как по природе, так и фартуной»: купцы, крестьяне, мастеровые стремились найти ключ к знаниям в люллиевом «искусстве».

Сохранившиеся в рукописях пометы читателей, записи на чистых листах, маргиналии позволяют судить о том, что искал читатель XVIII века в «Великой науке», что именно представляло для него интерес в сочинении часто уже полувековой давности, требовавшем немалых средств и времени на переписку, немалых сил на чтение и усвоение сложного содержания.⁴⁰

³⁹ В подлиннике — тайнопись. Расшифровка Б. Е. Райкова (Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России, стр. 60).

⁴⁰ Мы оставляем в стороне приписки коллекционеров. Они содержат сведения о биографии и воззрениях Раймунда Люллия, почерпнутые из научной

Некоторые записи читателей касаются сведений частного характера, содержащихся в рукописи (список БАН, 19.2.9 — о пигмеях и людях с зобами). Любопытна пометка на полях рукописи БАН, 17.15.20: к словам «Король великий Людовик, тако нареченный великий нынешний царь французский» неизвестный читатель сделал приписку: «Намлучши Петр Великий, император и самодержец Всероссийский, а не французский».

Одна из записей касается определения каббалистики (БАН, 17.6.8: «Каббалистика еврейскому и сирийскому языку каба́ла. Значит крылы божия»); другая — определения бога (ГПБ, Солов. 1508/49: «Отец убо безвинный, ни от кого есть, но сам от себе»).

Подробная характеристика «Великой науки» содержится в надписи, вытисненной на кожаном переплете рукописи 1719 года (БАН, 17.15.20). Текст этот написан по-русски латинскими буквами, с добавлением отсутствующих в латинском алфавите русских букв: «Великая и предивная наука богом просвещеннаго Раймунда Люлия. Подобае́т бо любящим себе и ищущим мене пречесную науку премудрую каба́листичную, всем наукам наставни́цу и ца́рицу с прилежанием внима́ть. Высокопа́рное слово совершаю и нрав мудрости украшаю, и тем, рекше, мною вси мудры вид достойныя славы себе постигают. Поне́же бо младе́нцем есмь́ яко мудрости пита́тельница, аз бо всеудобно и разумно глаго́лати нау́кою и б́ыстрозри́тельнаго разу́ма пости́гнути умудряю. И вся помы́слы рассу́ждати умы́шляю. И от лжи истинствовати наставляю, и глубоководное таинство открываю».

У первого читателя и владельца этого списка не хватило «прилежания» одолеть лю́бливую премудро́сть, о чем свидетельствует приписка в конце книги: «Доселе моя охота, прочее оставляю: инем с прилежанием ю́ читать. Аще́ я лени́ти де́ля и ничто́ себе обрел; однако, вся́ кто́ бу́дет приле́жно чита́ть, о́браще́т то, я́же соде́ржит (далее зачеркнуто: «в сем», — А. Г.). Мно́гим промы́слом и вели́кой де́лою е́два ю́ стя́жах, ны́не же не за то́лько от́дах. От е́же в прече́стнейших ей бы́ти ру́ках, три го́да де́ржах. От ни́жайших как по́ природе, так и фа́ртуной, Ники́фор сия́ написах. 1723 г., ию́ня 17 де́ня».

Философскому и логическому содержанию рукописи посвящена запись в списке «Великой науки» ГПБ, Тиханов, 216: «Два пределе́ния е́стества: су́щество и слу́чай. Су́щество е́сть де́вятигубо, и слу́чай тако́ ж. По сем веда́й, я́же о́бще́ всем, су́ществам и слу́чаем, при́пинаются; та́ же зна́й вся́, я́же им при́ложена бы́ти могу́т по́ требова́нию их, или́ отло́женна по́ неудо́бности сово́купити́ся с ни́ми. По́том зна́й, кото́рыми́ вся́ сия́ в разу́ме утвер́жаются, пра́вила или́ вопро́сы, я́же су́ть де́вять, и по́д ни́ми су́ть мно́гия ины́я вопро́сы, кня́зю до́ своего́ огла́вления на́длежа́щие. Сия́ му́дрость в рече́нных ве́щей позна́нии за́ключае́тся. Кры́лы бо́жия. Три ча́сти име́ет сия́ нау́ка: 1. Прио́брете́ние сло́в. 2. Све́дение пре́дече́нных ве́щей, или́ отлу́чение дру́г от дру́га. 3. Рабо́зложе́ние, при́няtie ко́ вся́ким ве́щам, и о́бья́снение при́мерами».

Интересны маргиналии списка ГПБ, Q.III.70. На полях рукописи отмечены важнейшие определения, содержащиеся в «Великой науке»: «Что́ е́сть каба́ла?», «Мне́ние дре́вних фи́лософов о́б а́нгелах», «Сво́йства ду́ха че́ловече́ского», «Что́ е́сть о́преде́ление плотное. Е́сть е́же тща́тельством на́шим полу́чение ве́щей, ќ плоти́ на́длежа́щих». Особое внимание читателя привлек один из важнейших богословских вопросов, вызывавших ожесточенные споры: вопрос о сотворении душ человеческих. Запись на полях свидетельствует о религиозных сомнениях неизвестного читателя: «Е́жели ду́ши со́творены́ все́ в о́дно вре́мя, в ше́стой де́нь со́творе́ния, то́ где́ они́ пре́бывали́ до вре́мени́ вме́щения́ их в те́ла младе́нческие, в у́тробах ма́терных за́чинае́мые? Или́

литературы, и не представляют самостоятельного интереса. См., например, ГПБ, F.III.105 и БАН, 16.17.18.

бог при каждом зародыше, от похоти человеческия, сотворяется новая душа для каждого тела. Так за что же она, безгрешная будущи, подвергается греху и осуждению, за то, что помещается в греховное тело?».

Густо испещрен пометами, подчеркиваниями и маргиналиями список ГПБ, Титов, 4642. Все они свидетельствуют о философских интересах читателя. На первом листе содержится ссылка на текст книги: «О материи и форме писано на 29 листе на обороте, в 5-м пределении. Материя — с чего что творится, форма — чем что совершается». На указанном 29 листе имеется отметка: «Материя и форма... Сила страждущая — материя, и сила действующая — форма». В конце первой главы первой части «Великой науки» — «О естестве» — читатель записывает: «Нуж(но) читать и помнить»; на л. 26 — «Кои теперь по ряду и должно читать со вниманием». Подчеркивания касаются, в частности, приводимых в тексте книги высказываний Аристотеля (л. 16: «Аристотель в науке о качествах...»; л. 34об.: «Аристотель рече: разум наш доска голая есть», и т. п.).

Весьма многочисленны пометы в рукописи «Великой науки» ЦГАДА, МАМИД, № 663/1175. Записями на полях: «потребно», «потребно зело», «внемли изрядно», «эри» отмечены наиболее существенные места текста: «внемли изрядно: для того физикове естество свое эссе сиречь бытие подлинное нарицают» (л. 5об.); «потребно зело: кроме бога естеством своим никакая тварь не действует, но силоу естества своего» (л. 7об.); «внемли о движении: убо тварь движется ово внутренним, ово посторонним движением» (л. 8об.); «потребно зело: пределение естеств ведати, паче всего нужнейшее есть в науках» (л. 10); «потребно: три убо души философы согласно со Аристотелем полагают: разумную, чувствующую и растительную» (л. 13); «эри: о действиях разума» (л. 22); «вины, случан» (л. 105об.); «4 вины: действующая, материальная, формальная, окончающая» (л. 280—280об.) и т. п. Часто встречаются такого рода маргиналии: «к физике», «к метафизике», «к богословии подлежащая». Записями, перечисляющими основные философские проблемы «Великой науки», со ссылкой на соответствующие листы книги, заполнены свободные листы рукописи до и после основного текста: «О чувствующем действующем и о чувствующем страждущем»; «о предикаментах и категориях»; «что значат сия имена, естеству приданная: энс значит естество само собою стоящее; эссенция — истость; эссе натура значит естество физичное из материи и формы; энтитас значит естественность; эссенциялитас значит истость; кунддытас значит ежечество»; «актус пурус что значит: значит по толкованию словесному действо чистое, сиречь несмесное; действующее токмо, а не страждущее; единому творцу приличное, а не твари; всякая тварь кроме творца и действует и страдает»; «противности в существах несть, токмо в силах и действиях их есть противность» (лл. 1об., 473—473об.). И на полях и на последнем листе отмечено читателем место «о афеистах: потребно зело» (л. 184, 473).

Все эти записи с несомненностью свидетельствуют о преимущественно философских интересах читателей «Великой науки».

Читатель «Великой науки Раймунда Люллия» — человек, стремящийся к знаниям, но лишенный возможности заниматься систематическим самообразованием. Он рассчитывает овладеть основами «протчих наук» с помощью премудрости люллиевой «Великой науки», которая привлекает его прежде всего своим логико-философским содержанием. Не как энциклопедии и не как учебнику риторики обращается читатель XVIII века к сочинению А. Х. Белобочко. «Великая наука» служила своеобразным популярным пособием по философии, учебником «универсального» научного метода, каким предстало в ней люллиево «искусство» — метода, рассчитанного на непрощенного, но стремящегося к самообразованию читателя. Именно этим, как нам представляется, и было обусловлено распространение рукописей «Великой науки Раймунда Люллия» в демократических читательских кругах.

Петровские преобразования способствовали пробуждению тяги к просвещению в широких слоях русского общества. В то же время пути к получению образования остались закрытыми для податных сословий крепостнической империи. В «Великой науке» демократический читатель надеялся найти тот путь к знаниям, который был заказан ему его «подлым» происхождением.

Исследователями отмечено распространение списков «Великой науки» в северном Поморье, не только среди старообрядцев, но и среди окружавшего их крестьянского населения. Известно, что любовь к чтению, к книге способствовала временному вовлечению юного Ломоносова в ряды «беспоповцев». Д. С. Бабкиным было выдвинуто предположение о пребывании М. В. Ломоносова в Выговской пустыни у Андрея Денисова.⁴¹ Даже если эта гипотеза и не будет подтверждена дальнейшими изысканиями, важно отметить, что те два года, когда, по свидетельству биографа М. В. Ломоносова, «младый его разум уловлен был раскольниками так называемого толка беспоповщины» (1724—1725 годы), совпали со временем распространения на Севере рукописей «Великой науки» и с появлением «сокращения» Андрея Денисова. Не исключено, что в круг чтения молодого Ломоносова наряду с другими духовными и светскими сочинениями входила и «Великая наука Раймунда Люблия». Своим широким охватом всех видов «сущностей», объяснением латинской философской терминологии, наличием архаичных для образованных людей XVII века, но отнюдь не утративших познавательного интереса для «неученых искателей науки» сведений о «естестве», она могла привлечь любознательного читателя и поддержать в нем страстное стремление к знаниям.

⁴¹ Д. С. Бабкин. Биографии М. В. Ломоносова, составленные его современниками. Ломоносов. Сборник статей и материалов, т. II. М.—Л., 1946, стр. 27—31.

З. И. ГЕРШКОВИЧ

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВЫХ САТИР КАНТЕМИРА

Среди известных ныне рукописей, содержащих сатиры Кантемира, сохранился список, заключающий одну только I сатиру «На хулящих учение». В свое время Т. Глаголева¹ обратила на него внимание, отметила кое-какие особенности текста, но в целом не придавала ему серьезного значения. Указанный список хранится в рукописном отделении Библиотеки Академии наук СССР в Ленинграде (БАН, ф. 1. оп. 1. № 22). Рукопись представляет собой тетрадку, состоящую из 8 листов в четверку. На первой странице — заглавие сатиры: «На хулящих учение». Автор не указан. На обороте 8 листа после текста сатиры помещена эпиграмма «Сатира к читателю»: «Кольнул ты? молчи»... и т. д. Этими произведениями исчерпывается состав списка. Обычно в первоначальной редакции текст I сатиры сопровождается предисловием и примечаниями; в списке их нет. Текст сатиры здесь короче, чем в названной редакции. В последней насчитывается 186 стихов, между тем в списке их всего 168, т. е. на 18 стихов меньше. Сатира начинается со стиха: «Никаков плод, все кричат, не видим с науки...» (в первоначальной редакции — это стих 15), т. е. непосредственно с изложения взглядов «хулителей науки». В списке недостает известных по первоначальной редакции 14 стихов, составляющих своего рода введение к сатире, где содержатся обращение к «уму», упоминание о «младом монархе» (Петре II). В соответствии с этим в списке отсутствует второе заглавие сатиры: «К уму своему». Кроме того, в нем нет еще двух стихов (23—24 в первоначальной редакции). Эта последняя особенность встречается еще в некоторых списках.²

Следует отметить варианты текста. Так, например, стихи 57—62 первоначальной редакции в списке существенно варьируются.

Первоначальная редакция	Текст списка
Завистный, видя в ином, что сам не имеет,	Завистный, в ином зря, что в себе не находит,
Вредный нося в сердце яд, злы плевелы сеет,	Хулит знание и мысль свою так доводит:
Ищуши семя наук учинить бесплодно, Без стыда гремя слово, древним глупцам сродно.	Живали мы преж сего, не зная латыне,
Живали мы, — говорит, — не зная латыне	Хотя просты, — говорит, — лучше несли ныне.
Преж сего, хотя просты, лучше, нежели ныне.	

¹ См.: Т. Глаголева. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира. СПб., 1906.

² Например, в рукописном сборнике, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ, собр. Вяземского, F, СХХIV).

Ср. также стихи 121—125 первоначальной редакции с соответствующими стихами в списке:

Первоначальная редакция	Текст списка
Когда по небу сохой бразды водить станут,	Когда небо, оралом секомо, стенати Будет, земля повсюду звездами
А с поверхности земли звезды уж проглянут,	сияти, К ключам своим быстрыя станут
И будут тещи к ключам своим быстры реки,	течи реки, Возвратятся к нам паки прошедшие
И возвратятся опять к нам минувши веки,	веки. Дунай мутный протекать престанет
Когда Дунай протекать престанет через Вену...	через Вену...

Отмеченные варианты представлены и в некоторых других списках. Кроме упомянутого сборника из собрания Вяземского, они встречаются еще в уцелевших отрывках рукописи, хранящейся среди автографов Кантемира в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это обстоятельство чрезвычайно важно, поскольку текст приведенных отрывков является совершенно бесспорно авторизованным (на отдельных листах содержатся пометки и поправки, сделанные рукою сатирика). Отсюда можно заключить, что данные варианты не являются произвольными изменениями, внесенными кем-либо из переписчиков, а санкционированы волей самого автора.

Таковы основные особенности исследуемого списка.

В «Изыяснении» к первоначальной редакции I сатиры Кантемир сообщает: «Автор наш, сочиня сию сатиру, не много себе ею льстил, так что с трудом одному приятелю ее показал, который ее списать выпросив, показал преосвященному архиепископу Феофану». В «Примечаниях» к окончательной редакции содержится важное дополнение: там указывается, что Феофан Прокопович «ее (т. е. I сатиру, — З. Г.) везде с похвалами стихотворцу рассеял». Из этого явствует, что I сатира уже вскоре после создания распространялась среди читателей и что, следовательно, существовали списки, содержавшие одну только I сатиру.

Отмеченные выше особенности анализируемого списка дают все основания утверждать, что он представляет один из таких ранних списков I сатиры. Об этом свидетельствует прежде всего его содержание: оно ограничивается текстом одной только I сатиры, тогда как остальные известные списки заключают, как правило, текст всего первоначального цикла из пяти сатир. Кроме того, в списке, как указывалось, отсутствуют предисловие и «Изыяснения» — обычные, принадлежности первоначальной редакции, появившиеся, несомненно, позднее, когда оформился весь цикл ранних сатир, т. е. не ранее 1731 года. Показательно также, что в списке не назван автор сатиры.³ (Ср. «Изыяснения» к первоначальной редакции, где говорится о сокрытии автором своего имени «по обычаю всех почти сатириков»). Язык сатиры в списке более архаичен, чем в первоначальной редакции. Об этом можно судить по цитированным вариантам. Ср.: «в ином зря» — «видя в ином»; «когда небо оралом секомо стенати будет» — «когда по небу сохой бразды водить станут»; «возвратятся к нам паки прошедши веки» — «И возвратятся

³ В списках, содержащих сатиры в первоначальной редакции, имя автора либо называется полностью, либо обозначается криптонимом «К. А. К.», т. е. «Князь Антиох Кантемир». (См., например, сборники ГПБ: ОЛДП, Q. CXLVIII; Q. XIV, 6; Q. XIV, 122 и др.).

опять к нам минувши веки». В цитированных вариантах текст первоначальной редакции характеризуется большей ясностью, точностью, ближе к разговорной речи, чем текст списка. Наконец, следует учесть и тот факт, что 14 вводных стихов первоначальной редакции, отсутствующие в данном списке, прочно удерживаются (при некоторых стилистических изменениях) вместе со «вторым» заглавием во всех позднейших редакциях текста I сатиры, вплоть до окончательной. Это доказывает, что начальные 14 стихов, а с ними и «второе» заглавие сатиры — позднейшего происхождения.

Все это вместе взятое позволяет заключить, что рассматриваемый уникальный список представляет более ранний текст I сатиры, нежели тот, который известен под названием первоначальной редакции.

* * *

Изложенные факты позволяют уточнить хронологию работы Кантемира над I сатирой. В авторском «Изъяснении» (в первоначальной редакции) указано, что «сатира сия сочинена в конце 1729 года.⁴ В примечаниях к окончательной редакции этой сатиры находим дополнительное указание: «... в двадцатое лето его (т. е. автора, — З. Г.) возраста» (т. I, стр. 22). На первый взгляд, последнее указание противоречит вышеприведенному: в современной биографической литературе о Кантемире датой его рождения принято считать 10 сентября 1708 года, и при таком расчете его двадцатилетие приходится на 1728, а не на 1729 год. Однако в свидетельствах Кантемира противоречия нет. Сам он считал днем своего рождения 10 сентября 1709 года (т. I, стр. 159), и, с его точки зрения, «двадцатое лето» исполнилось 10 сентября 1729 года, что согласует оба свидетельства.

Общее указание о том, что I сатира создавалась «в конце 1729 года», можно теперь уточнить, приняв во внимание существование самой ранней ее редакции. Эта последняя, как уже отмечалось, не имела четырнадцати стихов, которыми начинается сатира в первоначальной редакции. Появившееся позднее начало сатиры содержит важную хронологическую примету: упоминание о «молодом монархе» (ст. 7). В примечаниях к данному стиху Кантемир пишет: «Петр II вступал тогда в пятое-надесят летие его возраста, рожден быв 1715 года октября 12» (т. I, стр. 195). Из этого можно заключить, что начальные четырнадцать стихов появились не ранее 12 октября 1729 года, когда отмечалось вступление Петра II «в пятое-надесят летие». Эта дата служит хронологическим рубежом, отделяющим самую раннюю редакцию I сатиры от первоначальной. Самая ранняя редакция, несомненно, была создана до 12 октября 1729 года.⁵

Что же касается так называемой первоначальной редакции, то она, бесспорно, оформилась после 12 октября 1729 года. Не следует пренебрегать и следующим обстоятельством. В двух списках, хранящихся в рукописном отделении ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,⁶ мы встречаем на титульных листах такое обозначение I сатиры:

⁴ А. Д. Кантемир, Собрание сочинений. Под ред. П. А. Ефремова, т. I, СПб., 1867, стр. 195. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и стр.

⁵ Возможно, и до 10 сентября, если буквально толковать утверждение Кантемира, что сатира была написана «в двадцатое лето», т. е. в год, закончившийся 10 сентября 1729 года.

⁶ Сборники: G, XIV, 22 и F, XIV, 3. Оба списка относятся к 1733 году, о чем свидетельствуют имеющиеся на них надписи. Списки отличаются большой исправностью текста. По нашему мнению, последний из названных списков, судя по почерку и подписи (М. Л.), принадлежал М. В. Ломоносову.

Satyra Russica in Contemtores Scientiarum. Autore Celiss.

Princ. Antiocho Cantemirio. Mense Decemb. Anno 1729.

Таким образом, представленная здесь первоначальная редакция I сатиры датируется декабрем 1729 года. Мы полагаем, что, исходя из этих данных, вполне возможно датировать работу Кантемира над первоначальной редакцией периодом между серединой октября и декабрем 1729 года, но уж во всяком случае не позже 18 января 1730 года — дня кончины Петра II.⁷

Наблюдения над известным текстом II сатиры приводят к заключению, что она также имела более раннюю редакцию, чем так называемая первоначальная.

В начальных строках II сатиры (в первоначальной редакции) Аретофилос обращается к Дворянину с такими словами:

Что так смутен, друже мой? весь в знаках печали:

Бледен, очи все в слезах, темны, красны стали;

Задумчив, как хотевший патриархом стати,

Когда лошади свои раздарил некстати...

Известно, что в последних двух стихах Кантемир имел в виду Георгия Дашкова, архиепископа Ростовского, добивавшегося восстановления патриаршества с тем, чтобы самому занять патриарший престол. Стремясь склонить на свою сторону влиятельных лиц и в первую очередь временщиков при Петре II — Алексея и Ивана Долгоруких, — Дашков дарил им лошадей, которых добывал, как впоследствии выяснилось, незаконными путями. После воцарения Анны Иоанновны Дашков попал в опалу: указом от 21 июля 1730 года он был уволен из синода, а 24 октября того же года последовал указ императрицы о производстве следствия по делу о разорении Ростовской епархии. В процессе следствия выяснилась и история о взятках лошадьми. 8 декабря 1730 года Дашков за дело о взятках был лишен сана и сослан в каменный Вологодский монастырь.⁸

В цитированных стихах обо всей этой истории говорится в прошедшем времени («...хотевший патриархом стати, Когда лошади свои раздарил некстати»). Следовательно, стихи эти могли быть написаны никак не ранее конца 1730 года. Между тем, по свидетельству Кантемира, да и по другим данным, II сатира была написана через два месяца после I сатиры, т. е. в самом конце 1729 года или же в начале 1730 года (не позже февраля) и, разумеется, не могла в своем изначальном тексте содержать стихи, заключающие намек на злополучную историю Дашкова. Уже один этот факт говорит о том, что и II сатира имела более раннюю редакцию, отличавшуюся от первоначальной.

Для решения вопроса нужно принять во внимание также следующие факты.

В сборнике богословских трудов, хранящемся в Государственной публичной библиотеке Академии наук УССР (Киев) под шифром № 87, между листами 154—155 основного текста вшиты 12 листов, отличных по формату

⁷ Следует оговориться, что, устанавливая верхнюю хронологическую границу, мы имеем в виду возможность дополнения самой ранней редакции начальными четырнадцатью стихами, составляющими главную особенность первоначальной редакции. О времени появления других особенностей первоначальной редакции судить трудно. Не исключено, что эта редакция явилась результатом многократных частичных переработок самой ранней редакции, производившихся в разное время до конца 1731 года.

⁸ См. об этом: И. А. Чистович. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, стр. 286—292.

(в четверку) и бумаге от всего сборника. На этих то листах помещен текст II сатиры Кантемира, озаглавленный здесь так: «Сатира вторая против тех, которые лишены будучи всякого благонравия одним благородием хвастают». Имя автора не названо. Сатира снабжена «Примечаниями», текст которых существенно разнится от известных нам «Изъяснений» первоначальной редакции, а также от «Примечаний» окончательной редакции.

Вот начало «Примечаний» этого списка: «Аретофил имя греческое, значит который добродетель любит. Надлежит знать, что сатира сия писана на образ разговора между Аретофилом и дворянином. Зачата автором в прошлом годе, а окончена в начале 1730 года и есть вторая его трудов, как с надписания видеть можно. Намерен он в сей обличить тех дворян, которые все свое достоинство в благородии поставляют, а всякое презирают благонравие. И для того не думало б дворянство, что он их такому преимуществу хотя малый тою ущерб учинить хочет. Не дворянству бо насмеяется, но тому, кто прерогатив дворянства худо употребляет и не сущее ему свойство придает. Доброта бо человек от добрых нравов, а не от титула зависит. Знает он и сам, что честь дворянства и красива и правдиво в украшение себе всяк употребить может, да тогда только, когда благонравие благородию соответствует».

Существенно отличается и текст сатиры. Он в этом списке короче текста первоначальной редакции. В списке всего 254 стиха (в первоначальной редакции — 318 стихов, а в окончательной — 376). Сатира в списке заканчивается стихом, соответствующим 268-му стиху первоначальной редакции. Весь конец последней (от 269-го до 318-го стиха) отсутствует. Возможные подозрения, что список обрывается вследствие утери последних листов или недописан переписчиком, надо исключить. Внизу оборотной стороны 12-го листа после 254-го стиха с отступом от текста тем же почерком сделана надпись: «Конец». По сравнению с первоначальной редакцией в тексте списка недостает отрывка начиная со стиха 239-го и кончая стихом 254-м (по нумерации первоначальной редакции). В то же время в списке имеются два стиха, отсутствующие в первоначальной редакции. Они вставлены после стиха 36-го в речь Дворянина. Вот они:

Давшего мне жизнь отца имя столь сияло,
Что в мзду за труды его лавров не хватало.

В списке встречается и перестановка стихов по сравнению с первоначальной редакцией. Так, стихи 187—188-й (в первоначальной редакции) в списке следуют после 190-го стиха. В отдельных стихах выдержан иной порядок слов (например, в стихе 5-м списка — «Худ и сух», в первоначальной редакции — «Сух и худ»).

Указанные отличия позволяют рассматривать текст сатиры по названному списку в качестве самостоятельной редакции, более ранней, чем первоначальная редакция. Вместе с тем названный список не является самым ранним текстом сатиры. Это видно из того, что и в списке начальные строки содержат намеки на Георгия Дашкова и его неблагоприятные деяния. А этот намек, как мы уже говорили, мог появиться только в конце 1730 года. В цитированном «Примечании» данного списка заключены прямые хронологические указания. Здесь говорится о том, что сатира «зачата автором в прошлом годе, а окончена в начале 1730 года». Это очень важное уточнение по сравнению с примечанием к окончательной редакции о том, что II сатира «писана месяца два спустя после первой». Такое уточнение могло быть сделано только самим автором. Оно не только вполне согласуется с приведенными нами выше соображениями о хронологии работы сатирика над I сатирой, но дает дополнительные аргументы в их пользу. В частности, указания на декабрь 1729 года, как на дату завершения работы над I сатирой, получает тут новое обоснование. С другой стороны, поскольку в «Примечаниях» анализируемого списка о 1729 годе

говорится как о «прошлом годе», сами эти «Примечания», а соответственно и текст списка не могут быть датированы позже, чем 1730 годом. Мы полагаем, что данный список представляет собой как раз то состояние сатиры и примечаний к ней, какое определилось именно к концу 1730 года, когда стала известна во всех деталях и последствиях история с Дашковым.

В примечаниях к собранию стихотворений Кантемира, изданном в большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1956), а еще раньше в кандидатской диссертации (1952) мы высказали предположение о существовании более раннего текста II сатиры, отличавшегося от так называемой первоначальной редакции, но были вынуждены оговориться, что текст этого более раннего текста до нас не дошел. Теперь, после исследования названного списка, оговорку эту можно снять, а высказанное предположение рассматривать как установленный факт. Однако как всегда бывает, действительность оказалась более сложной, чем это можно было представить. Киевский список еще не отражает первичного состояния сатиры. Это видно из того, что в нем начальные строки (как и в первоначальной редакции) содержат упомянутый выше намек на Георгия Дашкова. Намек же этот мог появиться только в конце 1730 года. Следовательно, начало сатиры к моменту ее создания на рубеже 1729 и 1730 годов безусловно отличалось и от так называемой первоначальной редакции и от редакции вышеописанного киевского списка.

Условимся называть текст сатиры, как он определился к началу 1730 года, самой ранней редакцией. В известных нам списках она не представлена. Важно, однако, обратить внимание на некоторые факты, имеющие отношение к данной редакции (по крайней мере, к началу сатиры).

В свое время В. Н. Перетц в статье «Неизвестные подражатели Кантемира» опубликовал сатиру анонимного автора «На скупого человека». Сатира эта — явное подражание Кантемиру, а ее первые десять стихов весьма близки известному теперь началу II сатиры в так называемой первоначальной редакции.

Вот стихи из сатиры «На скупого человека»:

Что так, друже, смутен стал, в знаках весь псчали?
С брюхом отчего глаза так глубоко впали?
Где цветуща красота, очей нежны взгляды,
Что печален, смутен весь, без всякой отрады?
Как подьячий сух и худ в вотчинном приказе,
Сулена что пред судьей грозна смерть в указе.
Иль товары с кораблем на мори разбиты,
Иль приказчики в пути от воров убиты?
Что ж молчишь? Ну, говори, иль тебя покину.
— Постой, выслушай: скажу скорби сей причину.⁹

В. Н. Перетц, сравнив это начало с текстом II сатиры Кантемира в первоначальной редакции, пришел к выводу, что подражатель «перефразировал в пародическом... стиле», в «вульгарных выражениях» первые два стиха кантемировской сатиры и заимствовал из последней сравнение, содержащееся в 5-м и 6-м стихах. В остальном, по мнению исследователя, «аноним свободно развивает тему» и «совершенно отходит от образца в отношении содержания, сохраняя сходство в приеме...».¹⁰

⁹ «Известия по русскому языку и словесности АН СССР», 1928, т. 1, кн. 2, стр. 341.

¹⁰ Там же, стр. 349.

И. В. Шкляр уточнила вопрос,¹¹ установив, что восемь из десяти начальных стихов этой подражательной сатиры (за исключением стихов 7—8-го) представляют собой контаминацию стихов из II сатиры Кантемира и его же перевода сатир Буало.¹² Подытоживая свой анализ, И. В. Шкляр пришла к следующему заключению: «Из всего этого следует, что неизвестный автор подражал Кантемиру — творцу II сатиры и переводчику Буало. Может быть, он знал оба источника. Но возможно и другое. До нас не дошла самая ранняя редакция II сатиры Кантемира... З. И. Гершкович нашел раннюю редакцию I сатиры и убедительно обосновал необходимость существования такой же редакции и II сатиры. Нам известно о ней лишь то, что в ней не могло быть двустихия, содержащего намек на Георгия Дашкова. Но, кажется, в начальных стихах сатиры „На скупого человека“ сохранена часть этой ранней редакции».¹³

Как видим, исследовательница допускает две возможности: первая — подражатель знал оба источника (т. е. II сатиру и переводы из Буало) и сам их сконтаминировал; вторая — подражатель заимствовал готовое начало из недошедшей до нас наиболее ранней редакции II сатиры. Какой из этих возможностей исследовательница отдает предпочтение — неясно. Думается, однако, что первая возможность менее вероятна. Переводы Кантемира из Буало, как об этом свидетельствует единственный дошедший до нас список,¹⁴ остались незаконченными и в силу этого не имели широкого распространения. Поэтому само знакомство подражателя с переводом из Буало — вещь мало вероятная. Но если даже допустить, что оно имело место, то придется сделать еще одно — не более вероятное — предположение: подражателю зачем-то понадобилось изъять из текста II сатиры весьма колоритные строки о Георгии Дашкове.

Иное дело допущение того, что цитированное начало из сатиры «На скупого человека» заимствовано подражателем из самой ранней редакции II сатиры Кантемира. В этом случае отсутствие в тексте намеков на Георгия Дашкова представляется не странным, а естественным и закономерным: к началу 1730 года, когда создавалась самая ранняя редакция II сатиры, эти намеки и не могли попасть в ее текст.

Естественной и закономерной представляется в данном случае также трактовка начала сатиры «На скупого человека» как контаминации стихов и из перевода III сатиры Буало и из II сатиры Кантемира в первоначальной редакции. Напомним, что сам Кантемир в «Изъяснении» к последней свидетельствовал: «Что же сатира сия разговором писана, то учинено с образца третьей сатиры Боаловой» (т. I, стр. 214). Если же Кантемир, создавая свою II сатиру, сознательно ориентировался на III сатиру Буало, вполне логично, чтобы он использовал ряд стихов и выражений, восходящих к его же переводу из французского поэта. Понятно также, почему начало сатиры «На скупого человека» ближе к переводу из Буало и содержит больше сходных с ним мест. Так и должно быть по логике вещей: самая ранняя редакция

¹¹ И. В. Шкляр. Приписываемые А. Д. Кантемиру переводы сатир Буало и оригинальные сатиры Кантемира. В кн.: Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 253—254.

¹² О принадлежности этого перевода Кантемиру см. там же, стр. 250—252; а также наши примечания в книге: «Антиох Кантемир, Собрание стихотворений (Библиотека поэта. Большая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1956, стр. 498—500.

¹³ И. В. Шкляр. Приписываемые А. Д. Кантемиру переводы сатир Буало и оригинальные сатиры Кантемира, стр. 254.

¹⁴ ГПБ, Собр. Вяземского, F, СХХIX.

II сатиры испытывала большую зависимость от французского источника, чем первоначальная редакция, представляющая последующую фазу творческой работы русского сатирика.

Наконец, деталь, хотя и незначительная, но в общем контексте приведенных соображений показательная. В. Н. Перетц, как мы видели, считал, что вторая строка сатиры неизвестного автора вульгаризует и пародирует соответствующие стихи II сатиры Кантемира. И. В. Шкляр выдвинула другое предположение: «По-видимому, эта строка взята в таком виде из самой ранней редакции II сатиры Кантемира. В редакции же 1730 года Кантемир дал ее в улучшенном виде».¹⁵ Мы полагаем, что И. В. Шкляр права, но она не подкрепила своего мнения никакими аргументами. Для решения вопроса следует принять во внимание переработки этой сатиры в различных позднейших редакциях.

В сатире «На скупого человека» начало таково:

Что так, друже, смутен стал, в знаках весь печали?
С брюхом отчего глаза так глубоко впали?

В так называемой первоначальной редакции 2-я строка совершенно изменилась: «Бледен, очи все в слезах, темны, красны стали». В найденном нами авторизованном списке сатир первоначальной редакции рукою Кантемира первые два стиха переправлены и читаются так:

Что так смутен, друже мой, щеки все опали?
Бледен и глаза красны как бы ночь не спали?

В Курбатовской рукописи варианты незначительны: «дружок мой» и «щеки *внутри* опали». С этими вариантами стихи перешли в окончательную редакцию.

Из всех переработок явствует, что нет оснований рассматривать 2-ю строку сатиры «На скупого человека» как плод чьей-то вульгаризации и пародирования кантемировского стиха из первоначальной редакции. Стремление выразить горестное состояние персонажа через внешние признаки худобы, как видим, было одной из забот Кантемира и на позднейших этапах творческой работы над сатирой. Ему не сразу удалось осуществить свой замысел. Первая попытка была сделана в самой ранней редакции, но грубоватая форма стиха, по-видимому, не удовлетворила поэта, и при создании первоначальной редакции он вовсе отказался от своего намерения. Но затем, на последующих этапах работы он возвратился к оставленному замыслу. При этом поэтическая мысль стала восстанавливать и отдельные словесные формы, уже испытанные ранее. Ср. «Брюло и глаза... *глубоко впали*» — «*Щеки все опали*» — «*Щеки внутри опали*» (характерно вынесение слова «опали» в рифму). «Глаза», замененные в первоначальной редакции «очами», вновь вернулись в текст.

¹⁵ И. В. Шкляр. Приписываемые А. Д. Кантемиру переводы сатир Буало и оригинальные сатиры Кантемира, стр. 254. Здесь неточно указано: редакция 1730 года. И самая ранняя редакция тоже датируется 1730 годом. В данном случае исследовательница имела в виду так называемую первоначальную редакцию, определившуюся не ранее конца 1730 года. Заметим еще одну неточность. На стр. 249 статьи читаем: «В октябре—декабре 1729 г. начинают расходиться в списках две первые сатиры двадцатилетнего Кантемира». По отношению ко II сатире это утверждение вряд ли справедливо. К тому же сама исследовательница на стр. 254 принимает нашу датировку самой ранней редакции II сатиры — начало 1730 года. В свете приведенных данных из киевского списка эта последняя дата представляется теперь вполне обоснованной.

Эти соображения позволяют, на наш взгляд, заключить, что 2-я строка из сатиры «На скупого человека» действительно принадлежала Кантемиру и заимствована подражателем из самой ранней редакции II сатиры.

Подытоживая сказанное, можно прийти к следующим выводам.

До создания первоначальной редакции Кантемир дважды обращался к тексту II сатиры, изменяя и дополняя его.

Первый этап работы (результатом которого явилась самая ранняя редакция) можно датировать концом 1729—началом 1730 года. В данной редакции несомненно должны были отсутствовать намеки на Георгия Дашкова. Весьма вероятно, что начало сатиры в данной редакции соответствовало началу сатиры «На скупого человека».

Второй этап относится к концу 1730 году. Созданный на этом этапе текст сатиры представлен анализированным выше киевским списком ГПБ АН УССР.

Третий этап следует датировать концом 1730—1731 годом, когда Кантемир занимался оформлением всего цикла пяти сатир, написанных им до отъезда за границу. Только на этом, третьем этапе определился текст так называемой первоначальной редакции.

Хотя приведенные выше данные касаются лишь первых двух сатир, они тем не менее важны для характеристики работы Кантемира над всем рукописным циклом «русских» сатир. Данные эти свидетельствуют о том, что история текста сатир, а равно и их творческая история были гораздо более сложными, чем это принято было считать до сих пор.

В. П. САМАРЕНКО

В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ В АСТРАХАНИ

(Новые материалы к биографии В. К. Тредиаковского)

Документы, обнаруженные нами в делах Государственного архива Астраханской области, позволяют уточнить некоторые подробности биографии В. К. Тредиаковского.

Известно, что Тредиаковский родился в семье священника соборной Троицкой церкви в г. Астрахани Кирилла Яковлева. Семья была большой. Средств, которые Кирилл Яковлев получал от церковной службы, не хватало, и ему приходилось заниматься еще и сельским хозяйством, разводить сад и огород.

Один из документов рассказывает, что поп соборной церкви Кирилл Яковлев, не имея возможности уплатить денежный долг в сумме 48 рублей, отдал в 1717 году «государева рыбного приказа ловцу Осипу Яковлеву Плохому огород с деревьями и овощами, находящимися за рекою Кутумом».¹ Нужда семьи вынудила подростков Василия и Якова Тредиаковских помогать отцу и в церковных службах, и в хозяйстве. Младший брат В. К. Тредиаковского с ранних лет прислуживал отцу в церкви,² а Василий, обучаясь в школе католических монахов, состоял певчим архиерейского дома.

В статье «Молодость В. К. Тредиаковского до его поездки за границу (1703—1726)» Л. Н. Майков писал, что Тредиаковский получил первоначально домашнее образование и только «в 1719 или 1720 году, то есть лет шестнадцати... поступил в школу к католическим монахам капуцинского ордена...».³ Это не совсем верно. Л. Н. Майков не обратил внимания на заявление самого В. К. Тредиаковского, писавшего 28 февраля 1744 года в Правительствующий Сенат о том, «что обучался языкам, также свободным наукам, а наконец философическим и математическим знаниям; употребил на то 18 лет, сперва в отечестве моем Астрахани, у римских монахов, потом оставя мое отечество, родителей, дом и всех сродников чрез краткое токмо время, в Москве, в Славено-латинском училище, напоследок в Парижском университете...».⁴

Л. Н. Майков не принял также во внимание «Ведомости», поданной В. К. Тредиаковским в академическую конференцию, где сообщал о себе более подробные сведения. «Дед и отец мой, — писал он, — были священники. Я именованный, учившись по желанию моего, покойного ныне, родителя, словесным

¹ «Астраханские епархиальные ведомости», 1887, № 14, 15 июля. Приложение, стр. 225.

² Там же, 1877, № 20, 15 мая, стр. 11.

³ «Журнал Министерства народного просвещения», 1897, июль, отд. 2, стр. 4.

⁴ «Москвитянин», 1851, № 11, кн. I, отд. I, стр. 227—228.

наукам на латинском языке, еще в молодых моих летах, в Астрахани, где моя и родина, у римских живущих там монахов, а по охоте моей к учению, оставил природный город, дом, и родителей, и убежал в Москву...»⁵

Эти сведения, данные самим В. К. Тредиаковским, позволяют установить с арифметической точностью, что он поступил в школу католических монахов не в 1719 или 1720 году, как предполагал Л. Н. Майков, а в 1713 году, так как из Парижского университета он ушел в 1730 году.

Неточно указание Л. Н. Майкова и о том, что монахи-капуцины «незадолго перед тем (т. е. в 1719—1720 годах, — В. С.) поселились в Астрахани, построили в Армянской слободе свою церковь и занялись обучением юношества».⁶

В действительности же «немцы» стали поселяться в Астрахани еще при Иване Грозном, в XVI столетии. Немецкий путешественник и государственный деятель Олеарий и поэт Пауль Флеминг, побывавшие в Астрахани в 1636, 1638 годах, встречались здесь со своими соотечественниками-монахами.⁷ В годы царствования Петра I число «немцев» в Астрахани увеличилось. Привилегии, которые предоставлялись иностранцам при Петре I, привлекали сюда не только садоводов, виноделов, морских офицеров, шкиперов, судостроителей, ремесленников, торговцев, но и католических миссионеров. В 1707 году во время стрелецкого восстания в Астрахани все «немцы», за исключением трех человек, погибли. Но вскоре их число значительно возросло за счет вновь прибывших. «Немцы» организовали в городе общину, построили церковь, создали пасторат и основали школу.

Академик С. Гмелин, побывавший в шестидесятых годах XVIII века в Астрахани, писал, что «немцы... в Астрахани находившиеся... в 1713 году пастора Цехелия для наставления своего в законе призвали, и в то время построили деревянную церковь... для построения оной показано было ровное и пространное место на Житном дворе, а потом оное от общества палисадом так обнесено, что церковь, пасторский дом и школа в оном заключались...».⁸

В этой школе, основанной «немцами» в 1713 году (русских школ в Астрахани не было до середины 1772 года), начал обучаться иностранным языкам Тредиаковский.

В разное время школьными учителями были римские монахи-капуцины, проживавшие в Астрахани. Первыми учителями, видимо, были Цехелий, Бонавентури, Иоанн и Патриций Медноланские. Католический же пастор Марк Антоний, о котором упоминает Л. Н. Майков, прибыл в Астрахань только в апреле 1718 года,⁹ т. е. тогда, когда юноша Тредиаковский был уже в старших классах. Последние три года обучения Тредиаковского в латинской школе могли пройти под руководством Марка Антония, так как Бонавентури, Иоанн и Патриций Медноланские, спустя год после прибытия Марка Антония, выехали из пределов Астрахани в разные места.¹⁰

Закончив школу, Тредиаковский возымел «великую охоту» продолжить свое образование. Сначала он намеревался поступить в Киево-могилянскую академию. 13 февраля 1722 года он подал на имя астраханского вице-губернатора И. В. Кикина челобитную, в которой просил о выдаче ему, Тредиаков-

⁵ «Записки императорской Академии наук». СПб., 1865, т. VIII, кн. II, стр. 30.

⁶ «Журнал Министерства народного просвещения», 1897, июль, отд. 2, стр. 4.

⁷ Астраханский сборник, издаваемый Петровским обществом исследователей Астраханского края. Астрахань, 1896, вып. I, стр. 77.

⁸ С. Гмелин. Путешествие по России, ч. II. СПб., 1777, стр. 166.

⁹ И. Саввинский. Католики и лютеране в Астраханской епархии. Астрахань, 1902, стр. 4.

¹⁰ Там же, стр. 4—5.

скому, паспорта. В книге «Протоколов входящих челобитных доношений» под № 113 имеется следующая запись: «Челобитье бывшего певчего Василия Кирилова об отпуску из Астрахани до Киева для учения латинскому языку в пашпорте».¹¹ Оформление паспорта было поручено канцеляристу Волковойнову.

Тредиаковский хотя и получил паспорт, но выехать в Киев ему не удалось. Материальная нужда родителей, их воля, а затем личные семейные обстоятельства не позволили молодому поповичу осуществить заветное желание.

А. Н. Майков¹² высказал предположение о знакомстве Тредиаковского с И. Ю. Ильинским. Присоединяясь к мнению А. Н. Майкова, мы склонны считать, что известное влияние на молодого Тредиаковского мог оказать первый учитель «арифметической школы» Иван Трофимов, прибывший из Петербурга в Астрахань весной 1722 года. Скорее всего Ильинский и Трофимов порекомендовали Тредиаковскому поехать учиться в Москву, а не в Киев.

К сожалению, нам не удалось установить ни точного времени отъезда Тредиаковского, ни того, каким путем и каким видом транспорта он добрался до Москвы.

В одном из «приговоров» губернатора говорится, что 10 июня 1723 года из Астрахани в Москву была отправлена артиллерийская команда в составе 73 человек. Команда отбыла из Астрахани до Саратова водным путем на струге, а от Саратова до Москвы она должна была добираться сухопутным.¹³

Возможно, что Тредиаковский выехал из Астрахани с этой «оказией». Несомненно одно: выехать в одиночку Тредиаковский не мог. В ту пору такой шаг был рискованным и небезопасным.

П. П. Пекарский, ссылаясь на историографа Миллера, писал, что «отец Тредиаковского предназначал его (Василия, — В. С.) к духовному званию и так как сын был еще холост, то намеревался женить его против его воли. Поэтому Тредиаковский за день до свадьбы бежал...».¹⁴ Да, Тредиаковский «бежал», но не «за день до свадьбы», а будучи уже женатым.

Женой В. К. Тредиаковского была Федосья Фадеева, дочь сторожа Астраханской губернской канцелярии Фадее Казьмина. Имея на руках паспорт, полученный за год до того, Тредиаковский покинул молодую супругу, оставив родной город, дом, родителей и отправился в Москву.

В 1727 году, спустя четыре года после побега Тредиаковского из Астрахани, в городе разразилась эпидемия чумы, длившаяся по август 1728 года. Болезнь унесла в могилу почти всех родственников Тредиаковского. 28 февраля 1744 года Тредиаковский писал по этому поводу в Правительствующий Сенат следующее: «По должном возвращении моем в Россию, уведомился я о родителях моих, нескольких кровных, и почитай, о всех сродниках, что они волею божиею от язвы померли».¹⁵

Жена Тредиаковского, Федосья, умерла в середине марта 1728 года, а вслед за ней умер и ее свекор, отец В. К. Тредиаковского, Кирилл Яковлев, постригшийся перед тем в иероманахи под именем Климента.¹⁶

¹¹ Государственный архив Астраханской области, ф. 394, оп. I, ед. хр. 34, л. 72. В дальнейшем ссылка на документы этого архива будет даваться сокращенно — ГААО.

¹² «Журнал Министерства народного просвещения», 1897, июль, отд. 2, стр. 6.

¹³ ГААО, ф. 394, оп. I, ед. хр. 53, л. 199.

¹⁴ П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, стр. 4—5. Ср.: Материалы для истории императорской Академии наук, т. 6. СПб., 1890, стр. 171. *Прим. Ред.*

¹⁵ «Москвитинин», 1851, № 11, кн. I, отд. I, стр. 228.

¹⁶ ГААО, ф. 394, оп. I, ед. хр. 166, л. 166.

Из близких родственников Тредиаковского оставалась в живых лишь одна сестра Мария со своим маленьким сыном. О ней писали Л. Н. Майков,¹⁷ П. П. Пекарский¹⁸ и сам Тредиаковский.¹⁹

Возникает вопрос, каково было имущество родителей Тредиаковского и в чьих руках оно оказалось после их смерти. Имел ли отец писателя свой собственный дом, или его семья проживала в церковном доме?

В прошении, адресованном на имя Сената, Тредиаковский, не указав ни вида, ни размера имущества родителей, писал: «... а отеческое мое наследие за небытностью там моею как движимое, так и не движимое, все по рукам растащено».²⁰

В разгар эпидемии чумы в Астрахани представители светской власти покинули город и не возвращались сюда до конца 1728 года. Пользуясь безвластием, преступные элементы занялись расхищением имущества вымерших семей. Той же участи, видимо, подверглось и движимое имущество Тредиаковских. Если отец Тредиаковского имел свой дом, сад и пр., то все это, согласно указу Астраханского губернатора от 28 апреля 1729 года за № 35,²¹ должно было поступить в распоряжение Марии Кириловой, сестры Тредиаковского, владевшей, как видно из документов, некоторое время имуществом, оставшимся после смерти снохи Федосьи. Из-за этого имущества впоследствии возникла судебная тяжба между Марией Кириловой и отцом умершей Федосьи — Фадеем Кузьминым. 15 декабря 1728 года Фадей Кузьмин подал челобитную на имя астраханского губернатора И. А. Фонменгдена, в которой писал: «... в прошлом 723 году зять ево астраханского архиерейского дому певчей Василий Кирилов волею своею бежал из Астрахани в Москву и в Санкт Петербурх, а по отъезде своем жене своей, а ево челобитчиковой дочери Федосье Фадеевой на прокормление ничево не оставил...».²² Фадей Кузьмин сообщал, что свекор Кирилл Яковлев, отказав снохе в материальной поддержке, все же выделил ей для обзаведения хозяйством часть земли из принадлежащего ему огородного участка, на что дал собственноручное дарственное письмо на имя сына Василия следующего содержания: «Поп Кирил Яковлев сыну своему Василию Кирилову дал часть огорода своего ему Василию в наследие, а именно: которая часть от соседа нашего Наума Панфилова мерою в длину бугра от межи реченного соседа Панфилова в середине и по концам обоим тридцать сажен, а поперечнику упусти от плетней, что у ерика две сажени на дорогу, которая дорога мне будет на свой огород, а другой конец до ельменя и еще сын мой Василий станет прихватывать или прибавлять к своему месту своего огорода в длину бугра на лишней земле за тридцать сажен, кроме моей воли, нет благословения, еще же по моей воли, да будет благословен. А сие письмо я поп Кирил писал своею рукою».²³

Для обзаведения домом Федосья Тредиаковская заняла в долг у своего отца Фадее Кузьмина «сто один рубль с полтиною». На эти и на вырученные от продажи личных вещей деньги она поставила в огороде «жилую избу с сенми, конюшню, погреб с напогребницею плетневой, чигирь с принадлежащим к нему строением да городьбу кругом огорода плетнем построила, также яблони и прочие деревья разводила...».²⁴

¹⁷ «Журнал Министерства народного просвещения», 1897, июль, отд. 2, стр. 7.

¹⁸ П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, стр. 96.

¹⁹ «Москвитянин», 1851, № 11, кн. I, стр. 230.

²⁰ Там же, стр. 228.

²¹ ГААО, ф. 394, оп. I, ед. хр. 166, л. 81.

²² Там же, л. 165.

²³ Там же, л. 166.

²⁴ Там же.

Фадеем Кузьмин писал, что «бывший свекор» его дочери «иеромонах Климент... в опасное время в Астрахани умре» (от чумы, — В. С.), что в 1728 году «умре» и его дочь Федосья, не возвратив взятого ею при жизни денежного долга. Между тем «в наследстве сада осталась реченного зятя ево сестра родная Мария Кирилова, которая по многократному прошению» его «взятых дочерью на развод того сада денег и поныне не отдаст»,²⁵ жаловался он и просил губернатора «о том указ учинить».²⁶

Рассмотрев челобитную, губернатор оставил «помету»: «...вышеозначенную Марию Кирилову сыскать и допросить по Указу, а свыше объявленной духовной, освидетельствовав, к сему прошению взяти копию».²⁷

30 марта 1729 года Мария Кирилова, сестра Тредиаковского, была «сыскана и допрошена» в канцелярии губернатора. «На допросе она сказала»,²⁸ что «не ведает» ни о том, что ее отец, бывший иеромонах Климент, дал снохе «огородное место на развод саду»,²⁹ ни о дарственном «письме» на землю, ни о займе денег снохой у Кузьмина. Мария Кирилова утверждала, что земельный участок, которым владела покойная ее сноха Федосья, не был «пустым огородным местом», что на этом месте «разведен отцом ея сад издавших лет».³⁰ «Ответчица» заявила губернатору, что она не считает себя наследницей имущества покойной снохи. Не осведомленная о местонахождении брата Василия Тредиаковского, находившегося в ту пору в Париже, она сказала: «...имеется у ней брат родной, а ево челобитчиковой дочери муж Василий Кирилов, который ныне имеется в Санкт Питербурхе вживе»,³¹ что «заемных» денег «платить ей... не надлежит понеже она... живет в отделе своим двором да и платить ей оных денег за недостатком своим нечем».³²

Защищая свое право наследия на имущество умершей дочери, Фадеем Кузьмин выставил свидетелей — «комисара Давыда Воронина да посадского человека Наума Панфилова». Тот и другой подтвердили, что все постройки, имеющиеся на огороде, возведены Федосеей Фадеевой, что она же «яблони и прочие деревья разводила», что до того на «огороде посажено было молодых сливных (сливовых, — В. С.) деревьев малое число».³³

Вслед за тем Фадеем Кузьмин предъявил «духовную» покойной дочери. В «духовной» «за руками Рождественской церкви священников Петра Никифорова да Никиты Петрова» написано: «... в 1728 году марта 18 дня Астраханской губернской канцелярии сторожа Фадее Кузьмина ево родная дочь Федосья Фадеева на исповеди объявила отцу своему духовному церкви Рождества богородицы священнику Петру Никифорову: имеет де она за собой долгу сто один рубль сполтиною, которые занела она на разводку на данном пустом свекра своего иеромонаха Климента земле огородных деревьев и ежели бог попустит ея то шлет, чтоб свекру ея Клименту отцу ея родному Фадее Кузьмину заплатить для того, что по отъезде мужа своего Василья Кирилова пропитание от него свекра ничего чрез пять лет не имела, а приданое свое платье, бородок земчужный, ленту низону земчужом, монисту серебряную с двумя крестами, четыре аршина тафты, юбку луданную, ширинку иконовязную, две книги на латинском языке продала на разводку огорода и ежели муж ее прибудет, чтоб на отце ея Фадее Кузьмине не взыскивать».³⁴

²⁵ Там же, л. 165.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же, ед. хр. 150, л. 179.

²⁸ Там же, ед. хр. 166, л. 165.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Там же.

³² Там же.

³³ Там же, л. 167.

³⁴ Там же.

Опираясь на ряд законодательных документов, губернатор распорядился считать «духовную», оставленную Федосьей Фадеевой, официальной справкой. Он предложил Астраханской земской ратуше определить стоимость сада-огорода со всеми имеющимися на нем постройками «астраханскими купецкими людьми настоящей ценою при фискальном свидетельстве и оценив... огород отдать во владение... челобитчику сторожу Фадею Кузьмину...»,³⁵ «а ежели, — говорится далее в приговоре, — по... оценке явится сверх показанных в завещательном письме денег, что излишнее, те... деньги взять на... челобитчике и до прибытия из Санкт-Петербурга... Василия Кирилова отдать по наследству сестре ево Васильевой... ответчице Марии Кириловой дочери».³⁶

6 июля 1729 года Астраханская земская ратуша за подписью бургомистра Гаврилы Старикова³⁷ сообщила в губернскую канцелярию, что «огород при подчиненном фискале Игнатье Зайцове оценен астраханскими посадскими людьми Иваном Лебедевым с товарищи во сто шестьдесят один рубль в сорок семь копеек».³⁸

Поставленный в известность о сумме оценки имущества покойной Фадей Кузьмин заявил в губернскую канцелярию, что огород «ему ненадобен, понеже владеть... огородом не в мочь да помянутых сверх данного... взаем дочсри своей показанных по... духовной излишних денег пятидесяти девяти рублей девяносто семи копеек платить... Марии Кириловой... за недостатком своим нечем».³⁹

29 октября 1729 года состоялся новый приговор. Повторяя вначале содержание приговора от 30 марта 1729 года, он дополнился в конце следующим новым материалом. 25 сентября 1729 года дворянин, секретарь Астраханской губернской канцелярии Алексей Богданов, подал на имя губернатора челобитную, которой просил имущество, оставшееся после смерти Федосьи Фадеевой, «отдать ему... в вечное владение по оценке... купецких людей, деньги принять у него в губернскую канцелярию и для владения на оный огород дать ему владенную выпись».⁴⁰

Учитывая, что ни ответчица, Мария Кирилова, ни челобитчик, Фадей Кузьмин, не в силах учинить взаимного денежного расчета из-за «недостатка своего», губернатор И. А. Фонменгендсн распорядился «огород с принадлежащим на нем строением... по оценке... за сто шестьдесят за один рубль за сорок семь копеек отдать в вечное владение... секретарю Богданову...». Из «ста шестидесяти одного рубля сорока семи копеек... сто один рубль с полтиною... отдать... сторожу Кузьмину с роспиской, а оставшие... пятьдесят девять рублей девяносто семь копеек по прежнему приговору до прибытия из Санкт-Петербурга... Василия Кирилова отдать по наследию сестре ево Васильевой Марии Кириловой дочери...».⁴¹

На том спорный вопрос об имуществе, оставшемся после смерти Федосьи Фадеевой, закончился.

³⁵ Там же, лл. 163—169.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же, ед. хр. 159, л. 85, № 12.

³⁸ Там же, ед. хр. 161, л. 135.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же, л. 136.

П. Н. БЕРКОВ

НЕСКОЛЬКО СПРАВОК ДЛЯ БИОГРАФИИ А. П. СУМАРОКОВА

Один из крупнейших русских писателей XVIII века, А. П. Сумароков, как это ни странно, не дождался еще составления сколько-нибудь полной и связной биографии, если даже не такой большой, как биографии Ломоносова (П. П. Пекарского, Б. Н. Меншуткина, А. А. Морозова), Тредиаковского (П. П. Пекарского), Державина (Я. К. Грота), Радищева (Я. Л. Барскова) и др., то, по крайней мере, отвечающей минимальным научным требованиям. Существующая биографическая литература о Сумарокове полна ошибок и выдумок, и это относится не только к печально знаменитым «Очеркам жизни и избранным сочинениям А. П. Сумарокова» С. Н. Глинки, но и к авторитетной статье М. Н. Лонгинова «Последние годы жизни Александра Петровича Сумарокова».¹

При подобном положении вещей предлагаемые ниже несколько документальных справок могут оказаться бесполезными для будущей биографии писателя.

Попутно замечу, что и у нас, и на Западе в последнее время укрепилось мнение, что в данный период развития науки важнее всего работа в архивах, извлечение и введение в научный оборот новых, ранее неизвестных документальных данных, так как будто бы только они способны двинуть далее исследовательскую мысль. Нисколько не отрицая значения новых серьезных архивных разысканий и постоянного обновления фактической, документальной базы литературоведческих исследований, я все же считаю, что параллельно с систематическими архивными поисками должно вести регулярные обследования старых печатных источников, которые иногда содержат не менее ценные сведения, чем хранилища рукописных документов.

Печатаемые ниже справки, как увидит читатель, извлечены исключительно из печатных источников, частью более или менее известных, но мало привлекаемых исследователями, а частью и вовсе им не известных. Таким образом, настоящее сообщение, помимо своей непосредственной цели, — пополнения сведений о биографии Сумарокова, — преследует и другую цель — побудить изучающих русскую литературу XVIII века больше и энергичнее искать материалы по культурной жизни исследуемого ими столетия в забытых газетах, журналах, сборниках и книгах.

1. Родители и родственники Сумарокова

Фамилия «Сумароков» воспринималась его современниками отчетливо семантически: они выводили ее от полногласной акающей формы славянского слова «сумрак» = «суморок» = «сумарок». Тредиаковский в одном своем стихотворном памфлете на Сумарокова писал:

В ком глупость, без конца, в ком самой *мрак* живет.

¹ «Русский архив», 1871, № 10, столб. 1637—1717 и № 11, столб. 1956—1960.

Однако и современники, и люди последующих поколений, которые связывали и связывают фамилию писателя со словом «сумрак» — «сумарок», правы только наполовину. Дело в том, что в средние века на Руси был обычай: наряду с церковным, внесенным в святцы именем, давать ребенку и другое, чисто русское, имя, иногда имевшее отношение к обстоятельствам его рождения. Среди таких русских не-церковных имен исследователи нашли распространное в основном в служило-дворянской среде имя «Сумарок»,² возможно, намекавшее на время рождения ребенка в сумерки.

Однако по росписи, поданной в конце XVII века дворянами Сумароковыми в Разряд³ для установления своих дворянских прав, они указали своим родоначальником некоего «Левиса, во свят. крещении Иуду», который «выехал из Швеции к вел. кн. Василию Дмитриевичу 1389—1425 и испомещен на Великих Луках и в Ржеве Пустой».⁴

Нас интересует, конечно, ближайший предок писателя, его отец, Петр Панкратьевич (род. 29 июня 1693 года, ум. 16 декабря 1766 года, в Москве).⁵ По сведениям, сообщаемым А. Б. Лобановым-Ростовским, П. П. Сумароков был крестником Петра I.⁶ В биографиях А. П. Сумарокова обычно говорится, что отец его был генералом при Петре. Это, оказывается, неверно. 23 мая 1737 г. в Правительствующем Сенате рассматривалось его дело и в соответствующих документах было записано следующее: «Ландмилицкого украинского корпуса полковник Петр Панкратьев сын Сумороков, 45 лет, крестьян за ним в Пензенском, в Каширском, в Алексинском, в Серпуховском, в Тарусском, в Симбирском уездах 1670 душ, от воинской службы отставлен в 1737 г. по именному указу, за имеющимися у него болезнями, и велено определить к штатским делам с награждением ранга, и прислан для представления Правительствующему сенату. Детей у него: Василий, служит в Воронежском пехотном полку прапорщиком; Александр в Кадетском корпусе кадетом; Иван по 7-му году. Июня 1-го 1737 г. по смотру и приговору сенатскому, дан ранг штатского советника и велено определить к делам».⁷

О дальнейшей судьбе П. П. Сумарокова известно следующее: в 1753 году он был главным судьей в канцелярии конфискации, 16 августа 1760 года был тайным советником, при отставке 17 июня 1762 года получил чин действительного тайного советника. Умер в ночь на 16 декабря 1766 года. Он был

² Н. Д. Чечулин. Личные имена в писцовых книгах XVI в., не встречающиеся в православных святцах. «Библиограф», 1890, № 7—8, стр. 83 (внизу); Н. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903, стр. 379.

³ Разряд или Разрядный приказ — одно из важнейших центральных учреждений в Московской Руси (до учреждения Сената в 1711 году); «в его ведении находилось все служилое население Русского государства, в том числе и ратные люди» (М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. I. М., 1940, стр. 171).

⁴ Кн. А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга, т. II. Изд. 2-е, СПб., 1895, стр. 269. Другие ветви Сумароковых вели свое начало от Кирилла Сумарокова, жившего в конце XVI века (там же, стр. 279), Фоки Сумарокова (там же, стр. 280) и др. (стр. 281). В дальнейшем цитируется: Лобанов-Ростовский.

⁵ Московский некрополь, т. IV, СПб., 1908, стр. 173.

⁶ Лобанов-Ростовский, стр. 272. Источником этого сообщения является статья Петра Панкратьевича Сумарокова, правнучатого племянника поэта, в «Московском телеграфе» (1833, ч. 50, стр. 266—270): «Биографическая поправка», основанная на семейных преданиях.

⁷ Сенатский архив, т. VII, СПб., 1895, стр. 665. Тот же П. П. Сумароков (см. предыдущее примечание) утверждает, что Петр I в качестве крестного отца подарил своему крестнику «на зубок» тысячу крестьян.

женат на Прасковье Ивановне Приклонской (род. 25 сентября 1699 года, ум. 23 апреля 1784 года).⁸

Старший сын П. П. Сумарокова, Василий, учился в Сухопутном шляхетном корпусе, куда поступил одновременно с братом, поэтом, 30 мая 1732 года и откуда 4 ноября 1736 года был выпущен в армию (в Воронежский пехотный полк) прапорщиком; в 1761 году он был уже на штатской службе в чине коллежского советника.⁹ В конце своей жизни он служил членом Московской канторы Бергколлегии, будучи в чине статского советника (с 11 июня 1764 года).¹⁰ Дата его рождения и смерти у Лобанова-Ростовского не показана; нет его имени ни в одном «некрополе». Таким образом, время его жизни устанавливается приблизительно: родился он не позднее 1716 года¹¹ и умер не ранее 1767 года.¹² Утверждение Петра Панкратьевича Сумарокова (правнука В. П. Сумарокова) о том, что его прадед был президентом Коммерц-коллегии,¹³ таким образом, оказываются неверными, так же как и то, что он был камергером и действительным статским советником.

Второй сын П. П. и П. И. Сумароковых, Александр, родился 14 ноября 1717 года¹⁴ и умер 1 октября 1777 года.

Третий сын Сумароковых, Иван, родился 29 мая 1729 года и умер 3 февраля 1763 года.¹⁵

⁸ Лобанов-Ростовский, стр. 272.

⁹ П. Лузанов. Сухопутный шляхетный кадетский корпус (ныне 1-й кадетский корпус) при графе Минихе. (С 1732 по 1741). Исторический очерк. Составлен по архивным материалам. СПб., 1907, стр. 122; Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе штаб- и обер-офицерам и кадетам. СПб., 1761, стр. 58.

¹⁰ Список находящимся у статских дел. СПб., 1766, стр. 66.

¹¹ В статье В. (вероятно, А. В. Висковатова — историка 1-го кадетского корпуса) «Статья для биографии Сумарокова» («Северная пчела», 1833, 31 марта, № 72, стр. 287) утверждается, что В. П. Сумарокову при поступлении в корпус было 15 лет, т. е. выходит, что он родился во второй половине 1716 года. У П. Лузанова говорится, что при выпуске ему было 22 года, т. е. год его рождения — 1714. Первая дата кажется мне более правильной: в списке выпускных 1736 года большинство показано 22-летними, возможно, для того чтобы оправдать присвоенные им воинские чины.

¹² В «Списке находящимся у статских дел» он упоминается в последний раз в 1767 году, отсутствие его имени после этой даты означает, что он умер либо в этом году, либо в декабре предшествующего года, так как сведения для «Списка» и «Месяцослова с росписью чиновных особ» на каждый год присылались в Академию наук, выпускавшую эти издания, по состоянию на 1 декабря предшествующего года. Его преемник по службе Я. А. Трегубов показан утвержденным в этой должности с 26 октября 1767 года (Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на 1769 год, стр. 109).

¹³ Петр Сумароков. Биографическая поправка. «Московский телеграф», 1833, № 6, стр. 268.

¹⁴ Год рождения А. П. Сумарокова указывается обычно — 1718. О правильной дате см.: А. П. <А. С. Поляков>. Забытый юбилей. «Бирюч», 1918, № 5, стр. 49—50. В дополнение к приведенным в указанной статье материалам можно сослаться еще на письмо матери поэта, П. И. Сумароковой, от конца мая—начала июня 1777 года (см. ниже, стр. 373), в котором она между прочими данными сообщает, что А. П. Сумарокову «от роду шестидесятый год». То же самое указано в «Известии о смерти г. Сумарокова» (1777 год).

¹⁵ Лобанов-Ростовский, стр. 469 (поправка к стр. 273); Московский некрополь, т. III, СПб., 1908, стр. 173. В приведенном выше документе из «Сенатского архива», относящемся к 1737 году Иван Сумароков указан

Был унтер-егермейстером, подполковником; уволен от службы 17 марта 1762 г.¹⁶

Из приведенного выше сенатского документа можно заключить, что у Сумароковых было только трое детей, однако это не верно: в официальных документах (за исключением относившихся к делам имущественным, в особенности наследственным) указывалось только мужское потомство. У П. П. и П. И. Сумароковых, кроме перечисленных сыновей, было еще шесть дочерей: Прасковья (род. около 1720 года),¹⁷ Александра (род. около 1722 года),¹⁸ Елизавета (род. около 1731 года, ум. до марта 1759 года),¹⁹ Анна (род. около 1732 года, ум. после 1767 года),²⁰ Мария (род. около 1741 года, ум. после 1767 года)²¹ и Фина (ум. после 1767 года).²²

У М. Н. Лонгинова в статье «Последние годы жизни Александра Петровича Сумарокова» указано, что у него было пять сестер и что одну из них звали Елена.²³ Сведения эти, как мы видели, не отвечают документальным данным. Источником ошибки о сестре Елене послужило письмо к А. П. Сумарокову одной из его сестер, напечатанное в журнале «Отечественные записки» с подписью «Алена».²⁴ Вероятно, здесь либо опечатка (вместо «Анна»), либо, может быть, лицо, опубликовавшее это письмо, не сумело правильно прочесть подпись.

В генеалогической литературе о Сумарокове имеются сведения о том, что одна из сестер драматурга была замужем за неким Хитрово;²⁵ ни ее имя, ни имя ее мужа не установлено. Возможно, что речь идет о старшей, Прасковии.

О второй сестре Сумарокова, Александре, один генеалогический источник говорит как о матери драматурга Я. Б. Княжнина.²⁶ Если это не ошибка в результате смешения тетки с племянницей, Екатериной Александровной, дочерью писателя, вышедшей замуж за драматурга Я. Б. Княжнина (см. ниже), то мужем Александры Петровны был Борис Иванович Княжнин (1712—1776), товарищ новгородского губернатора,²⁷ отец Я. Б. Княжнина.

Третья сестра, Елизавета, по-видимому, любимая сестра драматурга (в одной из лучших своих элегий, указанной выше в примечании 19, Сумарокова называет ее Элизой), вышла замуж за действительного камергера Аркадия «по 7-м годе»; это значило, что он родился в 1731 году. Однако точности указаний возраста в таких документах доверять нельзя.

¹⁶ Лобанов-Ростовский, стр. 273.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же (дата рождения). Дата смерти устанавливается по стихотворению А. П. Сумарокова «Элегия на смерть сестры авторовой Е. П. Бутурлиной», опубликованному впервые в «Трудолюбивой пчеле» в марте 1759 года.

²⁰ Лобанов-Ростовский, стр. 278. Дата смерти определяется тем, что в письме А. П. Сумарокова к Екатерине II (после сентября 1767 года) упоминаются, по крайней мере, две сестры — меньшая (Фина), и другая не названная, т. е. либо Анна, либо Мария.

²¹ См. предыдущее прим.

²² Лобанов-Ростовский, стр. 273.

²³ М. Н. Лонгинов. Последние годы жизни Александра Петровича Сумарокова. «Русский архив», 1871, № 10, столб. 1640.

²⁴ «Отечественные записки», 1858, № 2, стр. 580—581.

²⁵ Лобанов-Ростовский, стр. 334 (со ссылкой на заметку «Из записной книжки А. М. Павловой о Сумарокове» — «Русская старина», 1874, № 11, стр. 957).

²⁶ Кн. П. В. Долгоруков. Российская родословная книга, ч. IV. СПб., 1857, стр. 444; Лобанов-Ростовский не подтверждает этого указания.

²⁷ Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского биографического словаря, ч. I. «Сборник императорского Русского исторического общества», т. 60, 1887, СПб., стр. 411.

Ивановича Бутурлина (ум. 28 апреля 1775 года)²⁸ и рано умерла («Во младости тебя из света рок унес» — «Твой рок судил тебе в цветущих днях умереть»).

По письмам и произведениям Сумарокова и другим источникам известно, что А. И. Бутурлин был малокультурным и склочным человеком и всячески восстанавливал мать писателя против него.²⁹ Из письма Сумарокова к Екатерине II, написанного не ранее октября 1767 года, можно заключить, что после смерти жены А. И. Бутурлин находился в связи с одной из ее сестер, которую по имени драматург не называет.³⁰

Чтобы закончить раздел настоящего сообщения, посвященный родственным отношениям Сумарокова, отмечу, что, по-видимому, не только один драматург был в этой семье нервно больным человеком (в одной обращенной против него эпиграмме о нем говорилось: «Который рыж, заика и мигун», т. е. больной тиком). О племяннике его Платоне Васильевиче Сумарокове известно, что он сошел с ума,³¹ а сын этого Платона, Панкратий (1765—1814), за якобы в шутку подделанную сторублевую ассигнацию был лишен чинов и дворянства и сослан в Тобольск.³² Впрочем, позднее Панкратий Платонович Сумароков был известным в свое время стихотворцем и издателем тобольских журналов «Иртыш, превращающий в Ипокрену» и «Библиотека историческая». В Тобольске он встречался с Радищевым, который, — полагаю, — именно ему написал стихи «Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду». Его сестра, Наталья Платоновна, сопровождала брата в ссылку и прожила в Тобольске до его помилования. Она печатала стихи в журнале «Иртыш, превращающий в Ипокрену». Впоследствии она вышла замуж за титулярного советника А. Т. Спицына.³³

Сын младшего брата Сумарокова, Павел Иванович (род. не позднее 1760 года, ум. в 1846 году),³⁴ также был писателем. Встречающиеся в его биографиях указания, будто он был членом Российской академии или даже действительным членом Академии наук, неверны: в «Списке императорской Академии Наук. 1727—1907» Б. А. Модзалевского (СПб., 1908) имя П. И. Сумарокова не упоминается. П. И. Сумарокову принадлежат две работы о его дяде.³⁵

²⁸ Русский провинциальный некрополь. Т. I, М., 1914, стр. 112. У А. И. и Е. П. Бутурлиных была дочь Анастасия (род. не позднее 1759 года, ум. 12 декабря 1807 года, девицей) (там же).

²⁹ «Москвитянин», 1842, № 3, стр. 121—128; Литературный кабинет. СПб., 1842, стр. 79—96.

³⁰ Так как в упомянутом письме Сумароков ссылается в качестве свидетельницы своей правоты на «меньшую» свою сестру (очевидно, Фиону), значит сестрой — «злодейкой» была либо Анна, либо Мария. В письме от 3 декабря 1787 года Екатерина II, возможно, под влиянием указанного письма Сумарокова, предлагала кн. М. Н. Волконскому вызвать А. И. Бутурлина и объявить последнему ее неудовольствие его «богопротивными и развратными поступками». Оснадацатый век. Под ред. П. И. Бартенева. Изд. 2-е, кн. 1, М., 1869, стр. 88.

³¹ Лобанов-Ростовский, стр. 274.

³² Там же, стр. 276; Русский биографический словарь. («Суворова—Ткачев»). СПб., 1912, стр. 161—163.

³³ Русский биографический словарь. («Суворова—Ткачев»), стр. 151; Лобанов-Ростовский, стр. 276.

³⁴ Русский биографический словарь («Суворова—Ткачев»), стр. 161; Лобанов-Ростовский, стр. 275. В картотеке Б. А. Модзалевского (ИРЛИ) находится копия надписи с надгробной плиты П. И. Сумарокова; здесь указано, что он умер 86 лет от роду.

³⁵ Некоторые рассуждения об Александре Петровиче Сумарокове и о на-

2. Служебная деятельность и семья А. П. Сумарова

Из Сухопутного шляхетного корпуса, в который он был принят 30 мая 1732 года, Сумаров был выпущен 14 апреля 1740 года в адъютанты к крупному вельможе аннинского царствования, графу М. Г. Головкину.³⁶ После ареста и ссылки последнего (конец 1741—начало 1742 года) Сумаров определился на службу в лейб-компанию;³⁷ вскоре он стал адъютантом фаворита императрицы Елизаветы графа А. Г. Разумовского. 7 июня 1743 года он был произведен в генеральс-адъютанты майорского ранга,³⁸ продолжая еще около десяти лет служить в лейб-компании. Должность генеральс-адъютанта открыла Сумарову доступ во дворец. Здесь он познакомился с одной из камер-юнкер жены наследника императорского престола, великой княгини Екатерины Алексеевны, впоследствии Екатерины II. Звали эту камер-юнкеру Иоганна Христиановна Балк.³⁹ По указаниям А. Б. Лобанова-Ростовского, И. Х. Балк родилась в 1730 году.⁴⁰ Никаких сведений о родителях ее в литературе мне найти не удалось, но, по данным о семействе Балков, видно, что многие представители этого рода служили при дворе в качестве камергеров, камер-юнкеров и фрейлин,⁴¹ а некоторые фрейлины Балк выходили замуж за сыновей знатнейших русских вельмож елизаветинского времени — Нарышкиных, Шершметевых, Салтыковых.⁴² Между тем в биографиях Сумарова никогда не упоминалось о его связях (по жене) с этими знатными фамилиями.

Следует учесть, что в своих «Записках» Екатерина трижды называет Иоганну Христиановну «Баллиор» и только один раз «Балкова» (как раз в том месте, где упоминается ее брак с Сумаровым). Возможно, однако, что именно здесь она ошиблась, а не в первых трех случаях. Дело в том, что при дворе около этого же времени (1752) служил мундхох (т. е. повар) Балиор.⁴³ Поэтому я полагаю, что Сумаров был женат не на Балк, а на Балиор.

чае российского театра. СПб., 1805; Отрывок из биографии А. П. Сумарова. «Московский городской листок», 1847, № 79.

³⁶ Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе штаб и обер-офицерам и кадетам, ч. I. СПб., 1761, стр. 58; П. А. Ефремов. Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867, стр. 200; Н. Н. Булич. Сумаров и современная ему критика. СПб., 1854, стр. 20—21.

³⁷ Письмо Сумарова от 24 апреля 1761 г. Я. К. Грот. Труды, т. III. СПб., 1901, стр. 68.

³⁸ Д. Д. Языков. Новые материалы для биографии А. П. Сумарова. «Исторический вестник», 1885, май, стр. 444; Я. К. Грот. Труды, т. III, стр. 68.

³⁹ С. Н. Глинка. Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарова, ч. I. СПб., 1841, стр. 129 (здесь фамилия жены Сумарова не указана; неверно, что И. Х. Балк прибыла с Екатериной из Германии); Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907, стр. 64, 77, 78, 229; Я. К. Грот. Письма Ломоносова и Сумарова к И. И. Шувалову. СПб., 1862, стр. 5. Грот первый делает ссылку на «Записки» Екатерины II, но не выносит окончательного суждения по этому поводу.

⁴⁰ Лобанов-Ростовский, стр. 273.

⁴¹ Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 4, столб. 863; Алфавитный указатель к камер-фурьерским, походным, банкетным и церемониальным журналам. 1695—1774 гг. СПб., 1910, стр. 135—136.

⁴² Алфавитный указатель к камер-фурьерским, походным, банкетным и церемониальным журналам, стр. 135.

⁴³ Там же, стр. 136. С. Н. Глинка передает шуточный отзыв Сумарова: «Тесть мой кучер не сломил мне головы, а дядя мой повар не окормил меня;

В «Камер-фурьерском журнале» за 1746 год под десятым ноября имеется запись: «Отправлялись пополудни при дворе е. и. в. свадьбы его графского сиятельства обер-егермейстера А. Г. Разумовского генеральс-адъютанта Александра Сумарокова и гвардии поручика Степана Беляева следующим порядком», и далее на двух страницах подробно описывается сама свадьба.⁴⁴

Супружеская жизнь А. П. и И. Х. Сумароковых была несчастлива. В конце 50-х годов XVIII века они разошлись. Из письма неизвестного лица к Сумарокову, которое опубликовал в 1884 году Н. С. Тихонравов, явствует, что И. Х. Сумарокова оставила мужа.⁴⁵ В статье Г. А. Гуковского «Русская литература в немецком журнале XVIII века» воспроизведено стихотворение Сумарокова, напечатанное в немецком переводе в декабрьской книжке «Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit» за 1757 год и обращенное к неверной возлюбленной.⁴⁶ Приведа полностью текст этого произведения, оригинал которого по-русски никогда не был напечатан, Г. А. Гуковский замечает. «Трудно сказать, почему Сумароков не опубликовал своей „Оды“ (или «Песни») по-русски. Содержание ее — любовное. Может быть, оно «стихотворение, — П. Б.» звучало слишком интимно и среди русской публики могло привести к разговорам насчет отношений самого Сумарокова с его первой женой, Иоганной Христиановной (как известно, Сумароков впоследствии разошелся с нею)».⁴⁷

У П. А. и И. Х. Сумароковых было двое детей, две дочери: Екатерина и Прасковья. Первая впоследствии вышла замуж за Я. Б. Княжнина и умерла 6 июня 1797 года.⁴⁸ Дата ее рождения точно не известна: на надгробном памятнике указан 1746 год, но это едва ли возможно — если учесть, что свадьба ее родителей состоялась 10 ноября 1746 г. Кроме того, в литературе о Княжнине говорится, что он женился на младшей дочери Сумарокова. Если это верно, то значит, Екатерина Сумарокова-Княжнина родилась после Прасковии, т. е. не ранее 1748 года.

О Е. А. Сумароковой-Княжнинной сохранились предания как о первой по времени русской поэтессе, выступившей в печати.⁴⁹ Основой для легенды о поэтессе Катерине Сумароковой послужил тот факт, что в мартовской книжке «Труdolюбивой пчелы» была помещена «Элегия», подписанная «Катерина Сумарокова» и начинающаяся словами: «О ты, которая всегда меня любила». Произведение это написано от имени мужчины и поразительно напоминает элегии Сумарокова. Правда, оно не вошло в собрание его элегий, но можно не сомневаться, что автором все-таки был Сумароков и что оно обращено к покинувшей его Иоганне Христиановне. Подпись же «Катерина Сумарокова» сделана, так сказать, для отвода глаз, и никакой поэтессой дочь

свой своему поневоле друг» (С. Н. Глинка. Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова, ч. I, стр. 130—131). Глинка считает, что эти слова относятся к родственникам Сумарокова по второй жене. Не следует ли видеть в них намек на мундкоха Балиора?

⁴⁴ «Камер-фурьерский журнал» за 1746 г., стр. 100—102.

⁴⁵ «Русская старина», 1884, № 3, стр. 617. В этой статье приведены сведения о том, как вел себя Сумароков по отношению к оставившей его жене.

⁴⁶ «XVIII век». Сб. 3, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 401—403.

⁴⁷ Там же, стр. 403. Г. А. Гуковский не вполне прав, полагая, что Сумароков разошелся с И. Х. Из письма неизвестного (см. прим. 45) видно, что она оставила поэта.

⁴⁸ Петербургский некрополь, т. II, СПб., 1912, стр. 404.

⁴⁹ О ней см.: Николай Книжник «Н. Н. Голицын». Словарь русских писательниц. М., 1869, столб. 44; Н. Н. Голицын. Биографический словарь русских писательниц. СПб., 1889, стр. 239; Русский биографический словарь («Кнаппе-Кюхельбекер»). СПб., 1903, стр. 12; Русский биографический словарь («Суворова—Ткачев»), стр. 151.

Сумарокова не была: ни одного ее более позднего произведения неизвестно. Замуж за Я. Б. Княжнина Е. А. Сумарокова вышла до 1769 года, еще до переселения отца в Москву: в письме к Екатерине II от 14 февраля 1769 года он говорит только об одной своей незамужней дочери.⁵⁰

Вторая (или, возможно, старшая) дочь А. П. и И. Х. Сумароковых называлась Прасковия. Неизвестны ни точная дата ее рождения, ни дата ее смерти. Она вышла замуж за графа Антона Петровича Головина (1742 год, ум. 5 сентября 1802 года).⁵¹ На надгробной плите П. А. Головиной указано, что она умерла 10 декабря 17... (последние две цифры отсутствуют), жила 37 лет 3 месяца, в замужестве была 5 лет и несколько месяцев (число месяцев отсутствует).⁵² Если считать, что она старшая дочь А. Н. Сумарокова и родилась в конце 1740-х годов, значит, она умерла во второй половине 80-х годов XVIII века и замуж вышла уже после смерти отца.

По тем данным, которые сохранились в письмах Сумарокова, в письмах к нему, а также в письме его матери к Екатерине II,⁵³ можно предположить, что причиной разрыва Сумарокова с женой были его отношения с крепостной девушкой, Верой Прохоровной (1743—1777).⁵⁴ От последней у Сумарокова было также двое детей — дочь Анастасия и сын Павел, родившиеся, надо полагать, в начале 1760-х годов. Развода с первой женой Сумароков не добивался и, по-видимому, только после ее смерти (в начале 1769 года она была еще жива)⁵⁵ женился на Вере Прохоровне. Вторая жена поэта умерла в мае 1777 года, и Сумароков поставил на ее могиле памятник, на котором указано, что В. П. — жена действительного статского советника А. П. Сумарокова,⁵⁶ и приведена дата смерти.⁵⁷

О судьбе детей Сумарокова от второго брака сведений в документальной литературе нет. Известно только, что в августе 1774 года Сумарокову, благодаря его отношениям с Г. А. Потемкиным, удалось добиться зачисления малолетнего Павла в Преображенский полк, полковником которого незадолго до того назначен был новый фаворит Екатерины. По этому случаю поэт напечатал лживые стихи Потемкину под заглавием «Станс Александра Сумарокова под именем его сына Павла».⁵⁸

⁵⁰ «Библиографические записки», 1858, № 14, столб. 426, 429.

⁵¹ Московский некрополь, т. I, СПб., 1908, стр. 306. Об их потомстве см. в статье Д. Д. Языкова «Новые материалы для биографии А. П. Сумарокова» («Исторический вестник», 1885, № 5, стр. 443).

⁵² Московский некрополь, т. I, СПб., 1907, стр. 305.

⁵³ Письмо матери Сумарокова напечатано дважды: в журнале «Зритель» (1863, № 12, стр. 370) и в сборнике П. И. Бартенева «Оснадцатый век» (изд. 2-е, кн. I, М., 1869, стр. 86—88).

⁵⁴ Лобанов-Ростовский, стр. 273.

⁵⁵ В письме к гр. Г. Г. Орлову от 25 января 1769 года Сумароков жалуется на жену, что она «ни полущки не дает» на содержание незамужней дочери («Библиографические записки», 1858, № 14, столб. 429).

⁵⁶ В действительные статские советники «бригадир Александр Сумароков» был пожалован в день коронации 22 сентября 1762 года «с тем же годовым жалованьем, какое он ныне получает» (Сенатский архив, т. XI, СПб., 1904, стр. 263).

⁵⁷ Московский некрополь, т. III, СПб., 1908, стр. 173. Здесь дата смерти указана 16 мая, у Лобанова-Ростовского — 10 мая. Более точную дату см. ниже.

⁵⁸ А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений, т. IX, Изд. 1-е, М., 1787, стр. 174—175; В. П. Семенников, Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. Пгр., 1915, стр. 116. С. Н. Глинка утверждает, что с принятием Павла Сумарокова в Преображенский полк связан мадригал 17 «На выступление лейб-гвардии

В так называемой «анекдотической», довольно обширной литературе о Сумарокове, основанной на устных преданиях, как известно, далеко не всегда достоверных, существует легенда, согласно которой у него будто бы было три сына и все они погибли одновременно в отцовской деревне во время купания в реке.⁵⁹

Возвращаясь к вопросу о службе Сумарокова, напомним, что из адъютантов А. Г. Разумовского он в 1756 году был назначен директором театра, а в 1761 году с этой должности уволен. Больше он нигде и никогда не служил.

Как известно, в 1769 году он переселился из Петербурга в Москву. У М. Н. Лонгинова этот важный факт биографии поэта освещен недостаточно подробно, автор статьи колеблется в определении месяца переезда, и поэтому целесообразно привести материалы, позволяющие с большей точностью проследить этот эпизод жизни Сумарокова.

В № 4 «С.-Петербургских ведомостей» за 1769 год в «Прибавлениях» в разделе о продаже книг было помещено объявление, явно составленное Сумароковым и гласившее: «Продаются г. Сумарокова разные сочинения у г. Школария. Между прочими трагедия „Ярополк и Димиза“, по 55 коп. и новоисправленная „Синав“ — по той же цене. Дом его продается за те денги скольких ему стоил, не считая перестроек, хотя и они много стоили».⁶⁰ Так как на это объявление, помещенное в разделе публикаций о новых книгах, никто из возможных покупателей не обратил внимания, Сумароков поместил через некоторое время новое специальное объявление на этот раз в разделе о продаже домов: «Г. Сумароков намерен продать через аукцион дом своей состоящей на Васильевском острове в 9 линии по большой перспективе со всеми к оному принадлежностями и садом; желающие оной купить, явиться могут в том же доме сего месяца 11 дня до полудни в 12 часу, и при продаже дать пристойный задаток».⁶¹

Продажа дома состоялась, так как новых объявлений не последовало. Оформление документов задержало Сумарокова еще на некоторое время в Петербурге. Для подобного заключения дает основание следующее, опять-таки несомненно Сумароковым составленное, объявление в «С.-Петербургских ведомостях»: «Все новоизданные в печать сочинения А. П. Сумарокова продаются у г. Школария, трагедии, комедии, притчей к первым двум книгам третья, Оды, Елегии, Еклоги; а о цене справиться у него г. Школария, ибо о цене всех книг описывание обширно».⁶²

Таким образом, переезд Сумарокова в Москву состоялся в марте 1769 года: из писем его к Г.-Ф. Миллеру, писанных уже в Москве, явствует, что он еще до 2 апреля был на новом месте.⁶³

Нам остается остановиться на событиях последних месяцев жизни Сумарокова. До нас дошел документальный материал, отчасти позволяющий вос-

Преображенского полку из Петербурга в Москву 22 октября 1774 года» (Полное собрание всех сочинений, т. IX, стр. 146).

⁵⁹ Почитатель Сумарокова. Плачевная кончина трех сынов Сумарокова. «Русский вестник», 1808, кн. 8, стр. 256. Здесь же приведены стихи автора статьи, начало которых таково: «Три юноши, залог родителю священный...». Может быть, в основе предания лежит судьба Павла Сумарокова? Лобанов-Ростовский указывает, что Павел умер бездетным (стр. 274).

⁶⁰ «С.-Петербургские ведомости», 1769, 13 января, № 4, Прибавления, стр. 16 нуну.

⁶¹ Там же, 1769, 6 февраля, № 11, Прибавления; 10 февраля, № 12, Прибавления.

⁶² Там же, 1769, 27 февраля, № 17, Прибавления; 3 марта, № 18, Прибавления; 6 марта, № 19, Прибавления.

⁶³ См. следующее сообщение в настоящем сборнике (стр. 376).

становить эти печальные страницы жизни сильно опустившегося, больного поэта.

Сведения эти неожиданно оказались в очень специальном издании — книге Н. М. Розанова «История Московского епархиального управления со времени учреждения св. Синода (1721—1821)». Сообщая о том, какие возникали дела «о вступающих в брак без воли родителей или опекунов», автор в примечании приводит данные об А. П. Сумарокове, почерпнутые из архивных документов Московской консистории (епархиального управления). То, что эпически спокойно изложено Н. М. Розановым, производит настолько сильное впечатление, что более целесообразно полностью перепечатать эти страницы, чем пересказать их своими словами:

«1777 г., мая 20, член Консистории Саввинский архимандрит Феофилакт предложил присутствию, что в присланном к нему от его преосвященства (митрополита московского Платона, — П. Б.) письме повелено, по просьбе действительного статского советника Александра Петровича Сумарокова с его служительницею, ежели нет препятствия ему, г. Сумарокову, «в брак» вступить дозволить. Того же 30 (!) мая вызван был церкви Девяти мученик, что за Синодальным житным двором, священник Петр Васильев, который показал, что у живущего в его приходе тайного советника и ордена св. Анны кавалера Александра Петровича Сумарокова после первой жены две дочери, одна в замужестве, а другая девица Прасковья, а от второй девицы Настасья и сын Павел. По справке с исповедными ведомостями в консистории оказалось, что г. Сумароков показан в 1775 г. 55 лет, а в 1776 г. 56 лет. Пока консистория делала выписку из законов, а именно из Кормчей о троюбенцах (Воспоминания церковного соединения при Константине и Романе 53 гл. и Вас. Вел. гл. 21, пр. 38), мать Сумарокова, жена действительного тайного советника и кавалера Петра Панкратьева Сумарокова, вдова Прасковья Иванова подала прошение, в котором прописала: «уведомилась я, что сумасшедший и пьяной сын мой, овдовевший сего мая 1-го дня,⁶⁴ вздумал паки жениться на рабе своей девке Катерине, а как ему от роду 60-й год, к тому ж имеет от первого брака двух дочерей, а от другой (!) до венца рожденных дочь и сына малолетних. Он же по беспрестанному его пьянству довел себя до такого состояния, что и ходить не может и совсем в безумстве», просила — «о запрещении сего брака, который в пагубу оному сыну моему, в посрамление и огорчение мне и всей нашей фамилии, во всеконечное же разорение бедным его дочерям, от первого брака рожденным». Консистория тогда же положила — представить о сем преосвященному Платону. Но при деле значится записка секретаря Ильинского, что его преосвященство сие дело приказал послать в Консисторию без резолюции, поелику оной господин женился уже».⁶⁵

Как удалось Сумарокову жениться без письменного разрешения епархиального управления, Н. М. Розанов не говорит.

Третью жену Сумарокова, как сообщает А. Б. Лобанов-Ростовский, звали Екатерина Гавриловна.⁶⁶

⁶⁴ Указываемая П. И. Сумароковой дата едва ли верна: существует письмо Сумарокова, датированное 1 мая 1777 года и имеющее спокойный, деловой тон. В. П. Семенников. Материалы для истории русской литературы... стр. 106.

⁶⁵ Н. М. Розанов. 1) История Московского епархиального управления со времени учреждения св. Синода (1721—1821), ч. III, кн. 1. М., 1870, примечания, стр. 55—56; 2) Семейные безобразия былого времени. «Русский архив», 1894, ч. II, стр. 294.

⁶⁶ Лобанов-Ростовский, стр. 273.

Сохранившиеся письма Сумарокова от 31 июля, 28 августа и 11 сентября 1777 года показывают, что он, хотя и хлопотал о своих материальных делах и предполагал издать две новые книги притчей, но все больше и больше впал в старческий маразм: в письме от 28 августа, без всякой связи с предыдущим, он сообщает: «...а сам я не только не могу писать, но ниже в очках читать»;⁶⁷ в последнем письме за три недели до смерти, он пишет С. Г. Домашневу: «Я к вашему высокородию пишу для того свяно <вероятно, вместо: несвязно, бессвязно, — П. Б.>, что я очень болен и сам ни читать, ни писать не могу, а особливо как умерла моя жена, так я плакал непрестанно двенадцать недель».⁶⁸

После вступления в третий брак Сумароков прожил немногим больше четырех месяцев: 1 октября 1777 года он умер.

Павел Иванович Сумароков, которому к этому времени должно было быть не менее четырнадцать лет и сведениям которого в целом, но не в подробностях можно вполне доверять, сообщает, что враждебные отношения драматурга к матери и другим членам семейства «до того разорвали все его связи с самыми близкими родственниками, что, когда он умер, не оставив денег даже на похороны, его схоронили на свой счет актеры московского театра».⁶⁹ Иными словами, родственники на похоронах Сумарокова не присутствовали. По преданию, его гроб из дому (с Кудринской площади) на кладбище Донского монастыря актеры несли на своих руках, и, кроме этих актеров, на похоронах поэта было всего два человека.⁷⁰

Однако, по-видимому, легенда о том, что почти никто не провожал тело поэта на кладбище, не верна.

Источником этой версии являются стихи некоего Дружерукова в брошюре «Разговор в царстве мертвых Ломоносова с Сумароковым» (М., 1777). В этом стихотворении Сумароков говорит:

Лежащего меня без чувства в гробе
Никто не восхотел в последний раз узреть.
Ни жалости о мне естественной иметь.
Архаров с Юшковым лишь только то явили,
По смерти что они ко мне любовь хранили.
В актерах я нашел чувствительны сердца:
Узнавши смерть они Семирина творца,
Стеная горестно потоки слез пролили,
Со жалостью мой прах в земной утробе скрыли.⁷¹

Опираясь на эти стихи и на книгу С. Н. Глинки, Н. Н. Булич писал: «Только один его родственник — Юшков, и еще какой-то Архаров провожали тело покойного».⁷² С. Н. Глинка называет более точно родственника Сума-

⁶⁷ В. П. Семенов. Материалы для истории русской литературы... стр. 107.

⁶⁸ Там же.

⁶⁹ Павел Сумароков. Отрывок из биографии Александра Петровича Сумарокова. «Московский городской листок», 1847, 12 апреля, № 79, стр. 317—318.

⁷⁰ Н. Н. Булич. Сумароков и современная ему характеристика, стр. 83. О том, что Сумароков жил в Москве на Кудринской площади, см.: М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Изд. 2-е, М., 1869, стр. 20—21 (со ссылкой на И. И. Дмитриева, но в мемуарах последнего о том, что автору приходилось видеть Сумарокова, не говорится).

⁷¹ Дружеруков. Разговор в царстве мертвых Ломоносова с Сумароковым. М., 1777, стр. 5; Н. Н. Булич. Сумароков и современная ему критика, стр. 83.

⁷² Н. Н. Булич. Сумароков и современная ему критика, стр. 83.

рокова — это И. И. Юшков,⁷³ сестра которого, Мария, была замужем за Вас. П. Сумаровым.⁷⁴

М. Н. Лонгинов считает, что «какой-то» Архаров — не кто иной, как знаменитый Н. П. Архаров, в то время московский обер-полицеймейстер, а И. И. Юшков — бывший московский гражданский губернатор.⁷⁵ Если это верно, а по-видимому, так оно и есть, то можно не сомневаться, что на похоронах Сумарова было много подчиненных Архарова и Юшкова, которые присутствовали здесь не ради покойного драматурга, но ради начальства.

Были, конечно, и поклонники таланта писателя. По крайней мере, имя одного почитателя Сумарова, бывшего на его похоронах и бросившего «три горсти земли» в его могилу, нам известно: это — П. И. Страхов (1757—1813), впоследствии профессор Московского университета.⁷⁶ По его словам, могила поэта находилась «у самой задней ограды, прямо против Святых ворот Донского монастыря», ее П. И. Страхов, учившийся у Сумарова декламации и считавший его своим благодетелем, не переставал посещать и указывать другим.⁷⁷

Трудно предположить, что такие ярые почитатели Сумарова, как В. И. Майков и Н. П. Николев, не были на его похоронах.⁷⁸

По словам Павла Сумарова (писавшего в 1847 году), «...над ним (А. П. Сумаровым, — П. Б.) нет никакого памятника, и могила его неизвестна; ⁷⁹ он не знал, что, когда в июле 1836 года хоронили на кладбище Донского монастыря проф. Московского университета П. С. Щепкина, выяснилось, что тело покойного было опущено в бывшую могилу Сумарова.⁸⁰

⁷³ С. Н. Глинка. Очерк жизни и избранные сочинения А. П. Сумарова, ч. 1, стр. 160.

⁷⁴ В. В. Румель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II. СПб., 1887, стр. 760; Лобанов-Ростовский, стр. 273.

⁷⁵ «Русский архив», 1871, № 10, столб. 1715.

⁷⁶ Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета, ч. II. М., 1855, стр. 447.

⁷⁷ Там же.

⁷⁸ Майкову и Николеву принадлежат стихотворные эпитафии Сумарову, написанные в ближайшие дни после смерти поэта.

⁷⁹ «Московский городской листок», 1847, 12 апреля, № 79, стр. 318.

⁸⁰ Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета, ч. II, стр. 447 и 665; М. П. Погодин. Могила Сумарова. «Московские ведомости», 1874, 1 июня, № 136, стр. 3; М. И. Пыляев. О могиле А. П. Сумарова. «Новое время», 1895, 13 июля, № 6957, стр. 3.

П. Н. БЕРКОВ

ШЕСТЬ ПИСЕМ А. П. СУМАРОКОВА К ИСТОРИОГРАФУ Г.-Ф. МИЛЛЕРУ (1767—1769) И ЧЕТЫРЕ ЗАПИСКИ ПОСЛЕДНЕГО К СУМАРОКОВУ

Знакомство Сумарокова с Г.-Ф. Миллером, близко стоявшим к литературной борьбе середины XVIII века, относится если не к концу 40-х годов, когда поэт начал печатать свои произведения в типографии Академии наук и в связи с этим вынужден был обращаться в академическую Канцелярию, то, безусловно, к середине следующего десятилетия.

С 1755 года Миллер, возглавлявший издание «Ежемесячных сочинений», несомненно, часто общался с поэтом, который, начиная с мартовской книжки журнала, печатался почти в каждом номере. Первым произведением Сумарокова, помещенным в «Ежемесячных сочинениях», была «Ода на государя императора Петра Великого». Как раз по поводу этого стихотворения обратился Сумароков к Миллеру с письмом, до нас не дошедшим, но упомянутым в протоколе Канцелярии Академии наук от 8 марта 1755 года.¹ Было ли это письмо первым, судить трудно. Во всяком случае, уже в следующем году по ходатайству Миллера Сумароков был избран в почетные члены готтшедовского «Немецкого литературного общества в Лейпциге».² Следовательно, между ними установились дружественные отношения.

Однако в печати следы этих литературных и личных отношений поэта и академика отсутствуют. Единственное исключение представляет письмо Сумарокова от 21 марта 1771 года к Миллеру, в то время уже историографу. Оно было дважды опубликовано в журналах,³ известны списки его в ряде архивных фондов. При вторичной публикации письма было упомянуто, что «при сем письме положено шесть записок Сумарокова к Миллеру, писанных по-немецки. Он нередко просит книг, особливо к российской истории относящихся, которую, как говорит, занимается прилежно; просит некоторых месяцев журнала, вероятно, исторического, который предполагал издавать в Москве Миллер, говорит, что не все статьи оного могут быть сообщены публике».⁴ В качестве примера приведена одна записка Сумарокова, писанная по-русски и по-немецки,⁵ но приведена с ошибками (пропущено одно слово и не разобрана

¹ Протоколы заседаний Конференции императорской Академии наук с 1725 по 1803 годы, т. II. 1744—1770. СПб., 1899, стр. 323.

² П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. I. СПб., 1871, стр. 369; Г. А. Гуковский. Русская литература в немецком журнале XVIII века. «XVIII век». Сб. 3, стр. 395; Д. Д. Языков. Новые материалы для биографии А. П. Сумарокова. «Исторический вестник», 1885, № 5, стр. 445—446.

³ «Северный архив», 1823, ч. VII, стр. 97. В предыдущей части журнала (ч. VI, стр. 458) было приложено факсимиле этого письма. Вторично оно было напечатано в «Москвитянине» (1842, ч. II, № 3, стр. 120).

⁴ «Москвитянин». 1842, ч. II, № 3, стр. 120.

⁵ Там же, стр. 120—121.

дата). Публикации эти сделаны были не по оригиналу, а по копиям из бумаг К. Ф. Калайдовича. Основываясь на этом материале, П. П. Пекарский позднее считал, что переписка между Сумароковым и Миллером «ничтожного содержания».⁶

Подобная оценка писем неправильна. Напротив, данные материалы, при должном, точном их истолковании, оказываются очень ценными — благодаря им объясняется та часть литературного наследия Сумарокова, которая до сих пор остается совершенно непонятной и неосвещенной, — его исторические труды, писанные в основном в Московский период его жизни: «Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве 1682 года, в месяце мае» (СПб., 1768), «Сокращенная повесть о Степане Разине» (СПб., 1774, в «Полное собрание всех сочинений» Сумарокова не вошла), «Краткая московская летопись» (СПб., 1774), «Второй стрелецкий бунт», «Краткая история Петра Великого», «О первоначалии и соизидании Москвы» (три последние произведения Сумарокова отдельно не выходили, и впервые, по-видимому по рукописям, были опубликованы Новиковым в т. VI «Полного собрания всех сочинений»).

Несколько лет назад М. А. Арзуманова передала редакции «XVIII века» сделанные по ее просьбе фотокопии с хранящихся в ЦГАДА писем и записочек Сумарокова к Миллеру и отпусков писем последнего к Сумарокову. Принося дарительнице благодарность за предоставленные ценные материалы, редакция сборника «XVIII век» считает целесообразным и своевременным введение их в научный оборот.

Письма Сумарокова к Миллеру находятся в знаменитых «портфелях» последнего, оставшихся в Москве, и именно в портфеле 546 (ЦГАДА, ф. 199, ч. XI, д. 14, лл. 1—11—16). Собранные историографом материалы эпистолярные, литературные и документальные расположены в портфелях в алфавитном порядке, но без особой строгости и без соблюдения хронологии: в портфеле 546, за письмом Сумарокова от 21 марта 1771 года (л. 1) идет письмо Ф. Сукина⁷ от 30 октября 1771 года из Оренбурга (л. 2), затем следуют четыре отпуски записочек Миллера к Сумарокову (лл. 3—6) (см. ниже), далее находится немецкое письмо к канцлеру графу А. И. Остерману от 15 апреля 1738 года бригадира британской службы де Субирона (лл. 7—7об., 10—10об.); внутри последнего письма вложен «Краткий очерк коллекции монет Ант. Людв. Швардценфельса» (лл. 8—9об.), написанный параллельно по-немецки и по-латыни; с л. 11 по 16 идут с полным отсутствием хронологической последовательности шесть писем Сумарокова с 1767 по 1769 годы и, наконец, л. 17 занимает прошение некоего Сергея Степанова от 28 января 1772 года, обращенное к «премногომилостивому государю и отцу Федору Ивановичу», т. е. Г.-Ф. Миллеру.

Письма Сумарокова к Миллеру свидетельствуют о том, что писателя связывали с историографом общие интересы к прошлому России. В свои приезды в Москву Сумароков посещал Миллера, переселившегося сюда из Петербурга в 1765 году, а когда поэт сам в марте 1769 года переехал на постоянное жительство в старую столицу, связи их стали теснее: все упомянутые выше исторические работы Сумарокова выросли главным образом из чтений архивных материалов, выдававшихся и доставлявшихся ему Миллером, по тогдашним порядкам, на дом.

Печатаемые ниже письма как раз и представляют часть документации,

⁶ П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. I, стр. 369, прим. 3.

⁷ О Ф. И. Сукине см.: В. Г. Грибовский. Процесс братьев Пушкиных и вице-президента мануфактур-коллегии Сукина о подделке екатерининских ассигнаций (Из старых сенатских дел). «Вестник всемирной истории», 1900. № 1, стр. 146—155.

освещающей, к сожалению, только начальный этап работы Сумарокова над архивными материалами, прежде всего над всякими поздними летописями и дворцовыми записными книгами,⁸ которые поэт называет «Russische historische Journals» («русские исторические журналы»). Вероятно, и литературные замыслы Сумарокова (трагедия «Димитрий Самозванец») связаны были с чтением архивных материалов, присылавшихся ему и даже копировавшихся для него.

Таким образом, публикуемые письма вводят нас в круг научных, может быть, и литературных интересов Сумарокова, и уже по одному этому никак нельзя согласиться с характеристикой содержания этих писем как ничтожного.

Письма любопытны, — по крайней мере для тех, кто изучает Сумарокова и в его лице представителей русского культурного общества второй половины XVIII века, — и теми характерными сумароковскими черточками, которые обнаруживаются в самых разных формах. Вот он только что переселился в Москву, еще не распаковал своих книг и уже просит «российские древности» — хотя он завален домашними делами. «Но, — пишет он, — это не может погасить жара к древностям моего отечества». Вот он шутит: прося прислать, вместе с «московскими историческими журналами», и «столовую книгу» («Küchen-Journal»), которую он когда-то видел у Миллера. Сумароков пишет, что последняя ему как русскому может быть полезна в кухне, тогда как «политические трактаты пригодны государственным министрам, а не человеку, удалившемуся от света». Вот он высказывает свои соображения о том, как следует готовить к изданию (arrangiren) исторические документы: «... в рукописях много бесполезного (unnütze Sachen), очень часты однообразные записи и утомительные повторения».

Из шести печатаемых писем пять написаны Сумароковым по-немецки, в шестом имеются немецкие фразы. Бывший питомец Сухопутного шляхетного корпуса времен Миниха, когда почти все преподавание велось на немецком языке (даже русский язык преподавал немец Эрих Весман⁹), Сумароков более или менее хорошо овладел этим языком и, хотя и с ошибками, писал на нем.¹⁰ Кроме того, имело еще большее значение и то обстоятельство, что первая жена Сумарокова Иоганна Христиановна была немка.

Письма Сумарокова

1

Ich bitte um Moscovitischen Historischen Journals und auch dabey von diesen Küchen-Journals welche ich bey Ihnen vor Pahr Jahren gesehen habe, und die können auch mir als einem Russen in meiner Küche dienen. Die politische Tractaten sind aber denen Stats-Ministers dienlich, nicht aber einem Menschen welcher sich von der Welt absondert. Sumar.

Приписка Мюллера:

⁸ В. С. Иконников. Опыт русской историографии, т. II, кн. 2. Киев, 1908, стр. 1255 (о поздних летописях, принадлежавших Г. Ф. Миллеру).

⁹ П. Лузанов. Сухопутный шляхетный кадетский корпус (ныне 1-й кадетский корпус) при графе Минихе (с 1732 по 1741). Исторический очерк. СПб., 1907, стр. 35, прим.

¹⁰ В «Полном собрании всех сочинений» напечатан философский труд Сумарокова «Перевод письма г. Сумарокова, писанного им же на немецком языке к приятелю» (т. IX, СПб., 1787, стр. 290—292). Впервые это произведение (немецкий текст и параллельный русский перевод) было опубликовано в журнале «Свободные часы» (1763, март, стр. 186—191).

Sobald Euer Excellence dieses zurücksenden und ich Hören werde, daß Sie an dergleichen Nachrichten Vergnügen finden, will ich mit mehreren dienen. M.¹¹

Это недатированное письмо, находящееся среди сумаровских материалов в портфеле 546 на последнем месте (л. 16), по-видимому, судя по приписке Миллера, было первым, связанным с чтением «московских исторических журналов»: историограф говорит в условной форме — «как только... я узнаю, что вам нравятся подобные известия» — значит, он раньше не давал Сумарову читать такие материалы. Вместе с тем поэт просит прислать «столовые журналы», которые он несколько лет назад («vor Pahr Jahren») видел у Миллера. Если предположить, что Сумаров посетил своего старого петербургского знакомого в первый же год пребывания последнего в Москве, т. е. в 1765 году, то, следовательно, данное недатированное письмо должно отнести к 1767 году. Хотя слова «человек, удалившийся от света» скорее говорят за 1769 год, но такой датировке решительно противоречит содержащее приписки Миллера.

Поэтому мы считаем правильным поместить настоящее письмо в начале нашей публикации, несмотря на то что в следующем письме (от 21 октября 1767 года) повторяется фраза о журналах, которые Сумаров видел у Миллера.

2

Прикажете мне списать Ряду, бывшую во время Ложного Дмитрия, а теперь пришлите мне какую-нибудь старину почитать. Ich bin nach Moscau auf eine sehr kurtze Zeit gekommen, und bleibe hier länger als wie ich dachte, folglich habe ich keine Bücher.¹² Пришлите еще сверх того какой месяц рукописных журналов welche ich bey Ihnen gesehen habe. A. S. Den 21 Oct. 1767.¹³

Письмо это с ошибками было напечатано в «Москвитянине» (1842, т. II, № 3, стр. 121). Мы печатаем его в исправленном виде. Оно было написано Сумаровым во время его пребывания в Москве, связанного с разделом имущества после смерти отца поэта, Петра Панкратевича (29 июня 1693—16 декабря 1766).¹⁴ «Ряда, бывшая во время Ложного Дмитрия» — условие, договор.

«Я приехал в Москву на короткое время» — в Москву Сумаров приехал в мае 1767 года. См. письмо матери Сумарова к Екатерине II от 27 сентября 1767 года («Оснадцатый век», т. I, П. Бартев, М., 1868, стр. 60).

3

Высокородному Господину Коллежскому Советнику, Высокоустроенному Российскому историографу Императорской Академии Профессору Господину Миллеру Милостивому моему Государю.

Ich habe meine Bücher noch nicht zusammengepackt und bin jetzt in dem Elemente Rußische älterthümer zu lesen; so bitte gehorsamst mir October und November von

¹¹ Прошу Вас дать мне московские исторические журналы, а также еще из тех столовых книг, которые я у Вас несколько лет назад видел и которые мне как русскому могут быть полезны в кухне. Политические трактаты пригодны государственным министрам, а не человеку, удалившемуся от света. Сумар.— Как только, ваше превосходительство, Вы возвратите мне настоящее и я узнаю, что Вам нравятся подобные сообщения, буду рад служить Вам многими другими. М.

¹² Я прибыл в Москву на короткое время, но остаюсь здесь дольше, чем предполагал; в итоге — у меня совсем нет книг.

¹³ Которые я видел у Вас. А. С. 21 октября 1767.

¹⁴ Московский некрополь, т. III, СПб., 1908, стр. 173.

Anno 189 zu übersenden; ich bin willens das gantze Jahr durch zu gehen. Ich wuste nicht daß das Jahr complett ist. Sumarocow. — Ich bin gerade mit meinen Hausaffairen sich überhäuft; allein dadurch kan doch die Hitze zu denen Alterthümer meines Vaterlandes nicht gelöscht werden. Den 2 ten April 1769.¹⁵

4

Sie schrieben daß Sie mir belibten Octob. und Novemb. zu überschicken; allein es schlich sich auch Decemb. mit und der ist bey mir. Bitte mir Jan. Febr. Martz u. April zu übersenden um weniger und nicht so oft Sie zu incommodiren; denn ich lese es so oft ich Zeit bekomme ohne Unterlaß, und bin schon am Fest(t)age S. Nicolai in Decemb. 6. Sumarocow. Den 4 ten April 1769.¹⁶

5

Ich bitte um die übrige vier Monathe! — Man sagt daß diese Journals sind gedruckt oder man druckt sie; ist es wahr? und venn es was anders von Ihnen gedruckt wird so bitte mich zu berichten was ist solches? — Mir deucht aber daß solche Journals müßen gantz anders arrangirt seyn wenn sie die Welt sehen sollten; denn in man(u)scripten sind viele unnütze Sachen und sehr ofte uniformes d'i(n)-scriptions und ennuyte repetitions. A. S. Den 12 Apr. 1769.¹⁷

«Говорят, будто эти журналы напечатаны или печатаются». — Не идет ли речь о «Царственной книге», изданной М. М. Щербатовым (СПб., 1769, VIII, 347 стр.).

6

Ich bitte mir noch ein Monath von Journal zu über schicken. — Suchen Sie mir eins aus was merkwürdiger ist und wenn es könnte seyn von der Regirung Michael Feodorowitz — Und wenn es noch älter ist, so ist noch besser. — Sumarocow. 17 ten April.¹⁸

¹⁵ Я еще не распаковал своих книг и сейчас настроен читать только русские древности; поэтому почтительнейше прошу прислать мне октябрь и ноябрь 189 (1682) года: я намерен прочесть весь год. Я не знал, что имеется годовой комплект. Сумароков. — Сейчас я завален домашними делами; но это не может погасить жара к древностям моего отечества. 2 апреля 1769.

¹⁶ Вы писали, что послали мне (журналы) за октябрь и ноябрь; но среди них проскользнул и декабрь, который находится у меня. Прошу прислать мне за январь, февраль, март и апрель, чтобы мне меньше и не так часто беспокоить Вас; так как я читаю все подряд, как только у меня оказывается для этого время, сейчас я уже дошел до праздника св. Николая декабря 6. Сумароков. 4 апреля 1769.

¹⁷ Прошу прислать мне последние четыре месяца! — Говорят, будто эти журналы напечатаны или печатаются; верно ли это? и если Вы печатаете что-либо другое, прошу сообщить мне, что именно. — Мне кажется, что такие журналы должны быть совсем по-иному подготовлены, если им предстоит увидеть свет; ведь в рукописях много бесполезного, очень часты однообразные записи и утомительные повторения. А. С. 12 апреля 1769.

¹⁸ Прошу прислать мне еще один месяц журнала. — Найдите для меня что-либо более достойное примечания и чтобы это было из времени царствования Миханла Федоровича. — А если это будет еще старше, тем лучше. — Сумароков. 17 апреля.

Записки Миллера

1

Je vous envoie Monsieur La Bible polonoise, j'espere que vous savez deja la nouvelle de la mort subite de la fille de Mad. la Comtesse de Vorontzof. Cette nouvelle m'a frapé vivement, outre qu'elle etoit de mes amies quand une dame si jeune si belle et avec tant d'esprit qu'elle etoit meure cela fait de la peine à tous qui entendent de pareilles accidens.¹⁹

Все печатаемые нами записки Миллера представляют отпуски, писанные рукою писца. Ни одна из них отправителем не датирована.

«Польская Библия» — этот факт подтверждает предположение о том, что Сумаровов знал польский язык.

«Дочь графини Воронцовой» — графиня Анна Михайловна Строганова (род. 1742, ум. 21 февраля 1769 года).²⁰

2

Vous m'avez promis Monsieur de me preter l'ex(em)plaire de la traduction Russe de Pope ou les vers changés sont ecrits selon la traduction de Mr Popof ou Popovsky Professeur de l'Université je vous promets Monsieur de remettre ce livre en propres mains tel que je recevrai sans delais et nomement en vingt quatre heures.²¹

Речь идет о знаменитом памятнике европейского просветительства «Опыте о человеке» А. Попа, переведенном Н. Н. Поповским с французского. Перевод этот, как известно, вызвал цензурное вмешательство, выразившееся в том, что ряд стихов, переведенных Поповским, был заменен «нейтрализованными» неуклюжими, почти силлабическими виршами духовного цензора.²²

Записочка Миллера — свидетельство литературных интересов как корреспондента, так и адресата.

3

Je vous remercie Monsieur pour le plat d'anchois (masc. selon Furetiere ou anchoye fem. se'on le Passagers), je vous prie de le manger à diner ches moi lundi prochain, le Prince me fera l'honneur de diner chés moi a peine j'ai pu trouver

¹⁹ Я посылаю Вам, милостивый государь, польскую Библию. Полагаю, что Вы знаете уже о скоропостижной смерти дочери графини Воронцовой. Эта новость живо поразила меня. помню того, что она была из числа моих друзей, когда умирает дама столь юная, столь прекрасная, столь остроумная, как она, больео всякому, кто слышит о подобных случаях.

²⁰ Петербургский некрополь, т. IV, СПб., 1913, стр. 118.

²¹ Вы общали мне, милостивый государь, дать взаимы экземпляр русского перевода Попа, с измененными стихами, написанными по переводу г-на Попова или Поповского, профессора университета. Обещаю Вам, милостивый государь, вернуть книгу в собственные Ваши руки в том же виде, в каком я получу ее, и точно через двадцать четыре часа.

²² П. П. Пекарский. Материалы для истории русской литературы. (Письмо И. И. Шувалова о дозволении издать в свет перевод Поповского: «Опыт о человеке», Отзыв и поправки этого перевода преосвященным Амвросием) «Библиографические записки», 1858, № 16, столб. 489—491.

le mom(ent) de me sesir ce jour la, jour de son depart, apportez je vous prie le pieces qui conviennent qu'il voye.²³

«Князь оказывает мне честь», — вероятно, речь идет о князе М. М. Щербатове, о котором Сумароков в письме к Миллеру от 21 марта 1771 года отзывается как об их общем приятеле.²⁴

«Захватите с собой, пожалуйста, те произведения...» — очевидно, на таких дружеских обедах Сумароков читал свои новые произведения.

4

Mon associer Mr. le Conseilleur d'Etat d'Isakof s'est remis de sa maladie, demain on ouvrira le tresor. Si vous plait de venir le voir avec quelqu'uns de vos ami, vous etes le maitre d'amener autant de personnes qu'il vous plaira, c'est a 10 heures du matin qu'il faut venir. 29 octobre 1770.²⁵

«Статский советник Исаков» — статский советник Леонтий Васильевич Исаков заведовал в конце 1760-х — первой половины 1770-х годов Московской мастерской и оружейной конторой.²⁶

«Сокровищница» — оружейная палата.

²³ Благодарю Вас, милостивый государь, за блюдо анчоусов (мужск. рода согласно словарю Фюретьера, или анчоус — женск. рода согласно словарю для пассажиров); прошу Вас быть у меня в ближайший понедельник на обеде. Князь оказывает мне честь — он будет на обеде. Мне с трудом удалось вырвать у него этот день, день его отъезда. Захватите с собой, пожалуйста, те произведения, которые стоит ему показать.

²⁴ «Москвитянин», 1842, ч. II, № 3, стр. 120.

²⁵ Мой коллега, статский советник Исаков выздоровел, завтра сокровищница будет открыта. Если Вы хотите прийти с несколькими Вашими друзьями посмотреть ее, вы можете привести с собой столько народу, сколько захотите. Нужно быть в 10 часов утра. 29 октября 1770. (Дата приписана рукой Сумарокова).

²⁶ Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1776, стр. 168.

Т. А. БЫКОВА

К ИСТОРИИ ТЕКСТА «ОД ТОРЖЕСТВЕННЫХ» А. П. СУМАРОВА

Если не считать первых двух «Ея императорскому величеству поздравительных од в первый день новаго 1740 года от кадетскаго корпуса сочиненных чрез Александра Сумарокова», од, посвященных Елизавете Петровне, и «Оды... Петру Феодоровичу в день восшествия его на престол 25 дня 1761 года», то основная группа торжественных од Сумарокова была издана в царствование Екатерины II; с 1771 года две оды он посвятил наследнику престола Павлу Петровичу и две — его супруге Наталии Алексеевне.

В 1774 году в типографии Академии наук вышел сборник «Оды торжественные. Сочинение Александра Сумарокова», содержащий 30 од. т. е. большую часть его произведений этого жанра. Издание готовилось самим поэтом. По понятным причинам в сборнике отсутствует ода на день восшествия на престол Петра III 25 декабря 1761 года.

В литературе мало внимания уделялось текстологии произведений Сумарокова, в частности отдельно напечатанным одам и сборнику «Оды торжественные». В разборе трагедии «Синав и Трувор» А. С. Шишков заметил, что Сумароков «многие сочинения свои, гоняясь за богатыми рифмами, поправляя испортил».¹ П. Н. Берков, говоря об одах торжественных, указал «на один способ выражения (Сумароковым, — Т. Б.) своих литературно-политических взглядов в конце 1760-х—начале 1770-х годов. Так, перепечатывая свои ранние произведения, он сокращал в них, в частности в одах, посвященных Елизавете и Екатерине, строфы, особенно пропитанные лестью. Впрочем, нередко сокращения имели и эстетическое основание».² В указанной работе П. Н. Берков сличил шесть (из тридцати) од в первоначальной редакции с помещенными в сборнике «Оды торжественные».

Изложенные во вступительной статье и в комментариях к «Избранным произведениям» Сумарокова наблюдения П. Н. Беркова все же не дают полного представления о большой работе поэта над ранними редакциями своих стихотворений. Между тем для истории русской текстологии такой материал представляет существенный интерес: это один из наиболее обильных фактами и поучительный образец деятельности русского писателя XVIII века в данной области. Поэтому мы считаем целесообразным подробнее сообщить о переработке Сумаровым ранних редакций своих напечатанных од.

Сравнение первоначального и окончательного текстов од, начиная с шестой «На погребение императрицы Елизаветы Петровны», показывает, что

¹ А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803, стр. 160, примечание.

² А. П. Сумароков, Избранные произведения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания П. Н. Беркова. (Библиотека поэта. Большая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1957, стр. 34.

в издании «Оды торжественные» нет ни одной, в которую не были бы внесены изменения. Речь идет не только об исправлениях отдельных стихов; в каждой оде есть строфы, опущенные целиком, иногда их одна-две, некоторые же оды сокращены больше, чем наполовину.³ В ряде случаев это строфы с шаблонными рифмами: «блещут—трепещут», «плещет—мещет» или напыщенные описания природы с выражениями «зрю», «разъяренны», «громады», картины «борьбы стихий». Этот шаблон был им осмеян еще в 1750-е годы во второй и третьей «Вздорных одах». Как отмечает А. И. Дуденкова, «во „Вздорных одах“ Сумарокова... наиболее концентрированно выразились основные моменты его литературно-эстетических расхождений с Ломоносовым».⁴ Это была пародия не только на Ломоносова, но отчасти как бы и на самого себя.

Приводим ряд, на наш взгляд, наиболее ярких и существенных строф, опущенных в первоначальном тексте.

«Ода... Екатерине Алексеевне... на день восшествия на престол июня 28 дня 1762 года», строфы восьмая и девятая (всего в оде 24 строфы).

Парнаску под собою гору,
И токи Ипокрены зрю,
И любопытну ныне взору
В жару в котором я горю,
Представилась Минерва ясно,
Вещающая громогласно:
Злосердный рок окаменел,
Мечи во ужас Марса блещут,
Фетида и Нептун трепещут,
Еол страшась оцепенел.

В пещеры ветры созывает,
Во узы, в тишину и мрак,
Главу в пучине сокрывает,
И в бездне свой сердитый зрак.
Свергается Нептун со трона,
И дно до самого Плутона,
Стремленья силою проник,
Себе убежищем ласкает,
И преужасный испускает,
Дрожа во преисподней крик.

В «Оде... Екатерине Алексеевне... на 1763 год января первого дня» из 24 опущено 13 строф, среди них и пятая:

Гигантов страшные машины,
Воюющих на облаках,
Зрю льдисты жидких гор вершины,
Во мрачных тамо небесах;
Пучина там на звезды плещет,
Вершины льдяны в небо мещет,
И пену разъяренных вод:

³ Часть опущенных в одах строф была восстановлена Н. И. Новиковым в «Полюном собрании всех сочинений А. П. Сумарокова». Тт. I—X, М., 1781—1782.

⁴ А. И. Дуденкова. Идеино-художественная борьба в русском классицизме (1740-х, 1750-х и начала 1760-х годов). Автореферат диссертации. Ужгород, 1955, стр. 13.

Бросает ветер огромны глыбы,
И тяжкие из бездны рыбы;
Да разрушат небесный свод.

В «Оде... Екатерине Алексеевне... на день коронования ея сентября 22 дня 1766 года» из девяти строф опущены две, среди них первая:

Не Зевс ли гром с Олимпа мечет,
Или от горьких дальних стран,
И молния по сфере блещет,
Ревет великий Окиян,
Валы морские бурей тмятся,
Рифейских гор верьхи дымятся,
От корня их выходит треск?
О муза! рцы, в какой судьбине
Европы шум я слышу ныне,
И что в подсолнечной за блеск?

Значительный интерес с точки зрения эволюции общественных взглядов Сумарокова представляет исключение многих строф, полных лести Екатерине. Они выражают чаяния Сумарокова, возлагавшиеся на новую императрицу при ее восшествии на престол, формулируют его собственные взгляды, когда в шестидесятых годах он пытался влиять на политику императрицы, его надежды на справедливость. Ко дню коронации Екатерины II Сумароков приготавливал «Слово», в котором много уделял внимания вопросам правосудия и осторожно намекал на введение самодержавия в рамки законности. «Слово» осталось ненапечатанным, и поэт впервые мог почувствовать недовольство императрицы. Сумароков и в дальнейшем высказывал свое мнение, отнесясь критически к некоторым пунктам составленного Екатериной II «Наказа», чем опять раздражил ее. Постепенно наступало разочарование: поэту, как и многим его современникам, становилось ясно, что Екатерина II стремилась быть просвещенной монархиней на словах, а на деле являлась деспотом. По ряду личных причин отношения Сумарокова с Екатериной в конце 60-х—начале 70-х годов обострились; к разочарованию политического характера прибавилось личное раздражение. Материально Сумароков во многом зависел от милостей императрицы, его денежные дела были расстроены. Не будучи на государственной службе, он получал пожалованный ему годовой оклад, постоянно выпрашивал добавочные субсидии. Переезд в 1769 году в Москву не улучшил материального положения поэта. В то же время Москва явилась причиной горького разочарования, так как трагедии его не пользовались таким успехом, какого ожидал Сумароков. Отчасти из-за материальной зависимости, отчасти, вероятно, в надежде вернуть милостивое отношение к себе императрицы Сумароков продолжал писать оды в духе, обычном для этого жанра в 1760—1770-е годы. Но при их переиздании в 1774 году критическое отношение поэта к Екатерине II и растущая неприязнь заставили его исключить ряд строф; он оставил лишь то, что содержало общепринятую, холодную, официально звучащую лесть.

В уже упоминавшейся оде на восшествие Екатерины на престол (1762 год) среди других опущены строфы вторая, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая:

Погибла горесть и унылость,
И твой, Россия, прежний страх;
Порфирой облеченна милость:
Твой стон рассеян яко прах.
Чево Тебе желати боле;
Премудрость на Твоем престоле,

Бессмертной образ красоты?
 Низвергла Ты несносно бремя,
 Скончалось то злое время,
 В которое страдала ты.

Ты будешь правда изясненна,
 Пред милостию завсегда,
 Вдова не будет утесненна;
 Убогий, сирый никогда,
 Не вознесется гордость пышно,
 Не будет бедных вопля слышно,
 Не видно от гоненья слез,
 Не дрогнет правый пред судами,
 И привлечется мзда трудами,
 Астрея спустится с небес.

Пиитов гимны соплетенны,
 Мать Россов станут прославлять,
 Ея вельможи предпочтенны,
 О вашей пользе представлять:
 Прострет богиня вам довольство,
 Исторгнет наглых своевольство,
 Мздоимство вечно истребит,
 И сильною никто рукою,
 Не разрушит у вас покою,
 И никого не погубит.

Надежда все тобой пылаем,
 И внятно слушаем сие:
 Исполнится чезо желаем,
 И предвещание твое.
 Владей, Екатерина, нами,
 Дозволь нам быть Себе⁵ сынами,
 И имя то воспринимать.
 Ты Россов извлекла из ада,
 Тебе мы будем верны чада,
 Ты буди щедрая нам мать!

Необходимо отметить, что Сумароков опустил здесь первое упоминание богини справедливости Астреи, им же введенное в литературный оборот в применении к Екатерине и ставшее в дальнейшем таким же поэтическим штампом, как и, по-видимому, им же примененная рифма «Екатерина—крина». Устранение из текста оды упоминания об Астрее имело более чем демонстративный характер.

Как уже указывалось, в оде на 1 января 1763 года много пропусков. В шестой и седьмой пропущенных строфах говорится о продвижении на Восток, о торговых связях с восточными странами; в двадцать первой превозносится пример, который Екатерина подает другим монархам:

Что ветры сферу раздирают,
 И весь колеблют горизонт,
 Что ярость волны простирают,
 И бурный возмущают Понт:
 Россию то не устрашает;
 Она надеждой утешает,

⁵ Так в подлиннике; по смыслу должно быть «тебе».

К востоку плыти корабли:
Нептун российский все проникнет
Лед вечный отбегать обыкнет:
Дойдем путь кончив до земли.

А ежели устав природы,
Пресек нам смертным оный путь,
Причина рок, не непогоды,
Он может те врата сомкнуть;
Сей путь Россия оставляет,
Другой Камчатке путь являет,
Преплыть пучину без препон.
Там Хина, Индии там обе,
И на морской стоящ утробе
Водами окружен Япон.

Примеры истинно геройства
Екатерина подает,
Источник общего спокойства
В таких сокровищах живет,
Вещание сие не ложно;
Сего примера не возможно
Монархам лутче обрести:
И вид ея сие являет,
И действо кое заставляет,
Прекрасну истинну цвести.

Большой переработке подверглась и «Ода... Екатерине Алексеевне... на день коронавания сентября 22 дня 1763 года»; из тринадцати строф опущены первая, шестая, седьмая и двенадцатая, все достаточно яркие:

Российска слава проникает
Гремящею, мой слух, трубой:
Екатерину восклицает,
Она, Россия, пред тобой:
Всевышний благу в оборону,
Вложил на ангела корону:
Трепещет устрешенный ад,
Неправда рвется и тоскует,
Святая Истинна ликует,
Тебе подобно Невский град,

Сердца все радостью полны,
Веселие на всех лицах.
А вы, Балтийски горды волны,
Вещали то во всех концах,
Великого земного круга,
Предупреждая друг друга,
Что Росский преблаженный край,
Еврспу к миру преклоняет,
Неву покоем осеняет,
Как Тигр, Ефрат, издревле рай.

Среди Екатерина града,
Среди собравшихся к ней войск,
При нежности приятна взгляда,

Неложный кажет дух геройск,
Щедроту, верности являет,
Злодейству суд возобновляет,
Глася: неправды рог сотру;
Я должности не позабуду,
И подражать на троне буду,
Себе и Первому Петру.

В двенадцатой строфе Петр I из облаков говорит Екатерине:

Пребуди в век Екатериной,
И только подражай себе,
И буди щастия причиной
Подверженных людей тебе.
Он рек, и скрылся в небо ясно:
Страны Российски велегласно
К Екатерине вопиют:
Повергни зло во злую муку,
Простри на беззаконных руку,
Который нашу кровь пият!

«Ода... Екатерине Алексеевне... на день рождения 21 апреля 1764 года»
начинается двумя в дальнейшем опущенными строфами:

Не вам Германские народы,
В день сей родилася Княжна:
Ликуйте, быстры Невски воды,
И вся Российская страна:
Сня на век тебя прославит,
И славы твоея заставит,
Вселенной всей внимати рог:
Сие судьбина обещает,
Внемли, что Вышний возвещает,
И что тебе глаголет Бог.

Судил явити я красою,
Екатерину, естеству,
И наполни моей росой,
Явить подобно божеству:
Сотрется ею адска злоба,
Встанет истинна из гроба,
И возвратится райский век:
Она мне будет подражати,
И скиптр подобно мне держати,
Колико может человек.

Всего в оде из четырнадцати опущено пять строф. В шестой поэт обращается к богу с просьбой посеять всюду добродетель, в седьмой рисуются картины России, украшающей свои земли и расширяющей свои владения на Востоке. Опущенная последняя строфа касается воспитания достойного наследника:

Владей, императрица, мною,
И правосудье проливай,
И обладаемой страной,
Победоносна пребывай:
И тако воспитай ты сына;
Дабы рекли: Екатерина
Видна во всех делах его.
Внуши сие о нем ты миру:

Достоин Он носить порфиру,
И славна скипетра его.

Среди пяти из тринадцати строф, опущенных в «Оде... Екатерине Алексеевне... на день тезоименитства ея ноября 24 дня 1766», особый интерес представляет вторая:

Екатерина презирует
Пустого восклицанья плеск;
К венцу красую избирает
Единый всенародный блеск:
Готовит то к бессмертной славе,
Что пользует ея державе.
И тщится то предпринимать:
Едино то ея отрада,
Что подданы ея ей чада,
А им она любезна мать.

В «Оде... Екатерине Алексеевне... на 1767 год января 1 дня» опущена одна четвертая строфа, касающаяся Нового уложения:

Она премудрость вам явила,
И Ею поражен ваш Мом,⁶
Людьми пустыни обновила,
Людей обогатит умом:
И ради щастия державы
Готовит новые уставы,
И милосердие лиет:
Бескучно ваши нужды внемлет,
Душа ея на час не дремлет,
И всем отрады подает.

В «Оде... Екатерине Алексеевне... на день тезоименитства ея ноября 24 дня 1769 года» среди восьми других опущена строфа первая:

Дражайшее России имя!
Весь север тако вопиет:
Возвеличати тщится Ты мя,
И удивити мной весь свет.
Тобой я краше райска крина,
Великая Екатерина!
Утеха Ты мне, польза, честь;
Стремишься Ты меня исправить,
Всех паче областей прославить,
И выше солнца превознести.

В 1773 году Сумароков написал «Оду... великой княгине Наталии Алексеевне...», очевидно в связи с ее бракосочетанием с Павлом Петровичем. В оде было четырнадцать строф, из них только три оставлены в «Одах торжественных».⁷ Здесь пропущены не только строфы с лестью Екатерине, но и строфы, рисующие образ идеального государя (строфы двенадцатая и тринадцатая):

⁶ Мом (или Момус) — в римской мифологии бог смеха и злословия. Здесь — политические противники.

⁷ Следует отметить, что Н. И. Новиков в «Полном собрании всех сочинений» Сумарокова, т. II, поместил эту оду дважды: ода XXVII воспроизводит первоначальный текст, ода XXVIII — три строфы из «Од торжествен-

И то не много славе вечной,
 Когда бы милость не цвела,
 И не было б любви сердечной,
 Котору нам судьба дала,
 И всякий день ее сугубит;
 Екатерина россов любит,
 И ищет полной пользы их;
 Подати тщится им блаженство,
 Ввести Россию в совершенство,
 И не щадит трудов своих.

Благополучны государи,
 Коль подданным они отцы:
 А люди не презренны твари,
 Коль носят люди ж и венцы.
 Монархи всенародно благо:
 Но все величие их наго,
 Когда неправедна их власть.
 На что б монархи и владели,
 Когда б тем подданы скудели,
 Вкушая горечь и напасть?

Осенью 1774 года Сумароков приехал в Петербург для поднесения Екатерине II накопившихся у него сочинений и для их напечатания. Вероятно, у него была и затаенная надежда получить субсидию для уплаты долга П. А. Демидову; долг его очень сильно тревожил, так как грозил описью и продажей его дома в Москве. В течение 1774 года Сумарокову удалось напечатать в Петербурге 22 произведения; среди них и «Оды торжественные». Но, несмотря на благосклонное отношение к поэту начавшего входить в силу Г. А. Потемкина, субсидии он не получил.⁸

Возможно, что отсутствие «монаршей милости» отчасти побудило Сумарокова к отмеченному выше сокращению оды к Наталии Алексеевне, а также к пропуску семи строк из десяти в «Оде... Екатерине Алексеевне... на первый день 1774 года». Среди опущенных находится строфа девятая:

Тогда вы сыщете причину,
 Любви от подданных своих,
 И зрите вы Екатерину
 Очамн сограждан моих.
 Царями часто устрашают
 Младенцев, коль они кричат;
 Вздрогнут они и замолчат;
 Екатериной утешают;
 Тому свидетель сирых дом,
 И здешния питомцы ею,
 И словом со Россией всею:
 Се славы истинные гром!

ных». В первом стихе первой строфы оды XXVIII есть стилистическое изменение: стих четвертый — «Дав Россам тишину собой» — заменен — «Дух райский покажи собой».

⁸ О взаимоотношениях Сумарокова с Потемкиным см. комментарий П. Н. Беркова в кн.: А. П. Сумароков, Избранные произведения, стр. 567.

Приведенные нами наиболее яркие строфы, опущенные в первоначальном тексте, очень существенны. Их отсутствие значительно ослабляет панегирическое звучание «Од торжественных». Исключены строфы, рисующие образ просвещенной монархии, выполняющей свои обязанности по отношению к своим подданным. Отсутствие в новом издании этих строф, несомненно обративших на себя в свое время внимание читателей, не могло пройти незамеченным, и в первую очередь, конечно, самой Екатериной II. Вероятно, это и входило в расчеты Сумарокова. В сделанных им исправлениях не прикрыто проявилась оппозиция литературной группы, которую в то время возглавлял в русском обществе Сумароков.

Исключение других, излишне «торжественных» строф, несомненно повышало поэтическое достоинство од. Интересно, что сам Сумароков считал многие изменения именно исправлением и улучшением текста. В письме 1768 года Сумароков в «Росписи» того, что им сделано за истекший год, среди других работ перечислял: «„Хорев“ исправлен и издан со многими отменами, „Синав“ (трагедия, которая, по мнению А. С. Шишкова, была испорчена, — Т. Б.) также». Далее в «Росписи» указано: «Оды все поправлены»⁹ — это, вероятнее всего, относится к исправлениям, обусловленным эстетическими требованиями.

Исправления в «Одах торжественных» по традиции связываются с разногласиями с М. В. Ломоносовым, но их надо, по всей вероятности, связать и с критическим отношением Сумарокова к произведениям В. П. Петрова, пользовавшегося в эти годы не только большой известностью, но и покровительством Екатерины II. Свои требования к поэзии Сумароков выразил в 1776 году в «Ответе на оду Василью Ивановичу Майкову»:

Ум здравый завсегда гнушается мечты;
Коль нет во чьих стихах приличной простоты,
Ни ясности, ни чистоты,
Так те стихи лишены красоты
И полны пустоты.

⁹ Библиографические записки, т. I, 1858, столб. 430. Здесь в «Записках» адресатом письма указан граф Безбородко. М. Лонгинов считает, что письмо написано к гр. Григорию Орлову (М. Лонгинов. Последние годы жизни Александра Петровича Сумарокова. «Русский архив», 1871, № 10, столб. 1655).

М. М. ГУРЕВИЧ

ИЗ НЕСОБРАННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ А. П. СУМАРОКОВА

В одном конволюте (где собраны произведения А. Сумарокова, В. Майкова и других из бывшей коллекции П. Н. Лихачева), ныне хранящемся в Отделе Рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук, находится стихотворение под названием: «Идиллия, Силен» (инв. № 37214). Это произведение отсутствует в каких-либо справочниках литературы XVIII века.

Хотя оно и не имеет никаких выходных данных, но по оформлению и содержанию (упоминание о браке Павла Петровича — 29 сентября 1773 года) его безошибочно можно отнести к 1773 году, и напечатано оно в типографии Академии наук. Приводим его текст:

Идиллия, Силен

Вещателя судеб таинственных Силен,
Котораго сама природа изумленна,
И ясны пению внимали небеса;
Ключи стремиться с гор вниз с шумом перестали;
Умолкли злачные поля, луга, леса;
Долины в тишине глубокой пребывали.
Силен, будущих гадателя судеб,
Позволь в сей день воспеть, о Муз Российских Феб!
Когда всеобщее веселие рождает,
И счастье веков грядущих утверждает.
Ты внимешь с кротостью гремющих звуку лир,
И плескам радостным, колеблющим ефирь:
Склони, склони твой слух к свирели тихогласной,
В усердной ревности поющей стих не красной.

Сердце невинных плод безхитростна любовь,
Что царствует в градах и посреде лугов,
Пленила Тирсиса в жестокую неволю,
Уже он чувствует мучительную долю.
И тает в прелестях возлюбленной своей;
Однак не смеет в том открыться перед ней.
То случаев к тому способных не находит,
То страх презрения и робость прочь отводит.
Он часто думает: Ах! сколь несчастен я!
Все в нежных сих местах пленяет взор ея,
Долины тихие устланные цветами,
Ручьи, приятной шум птиц в рощах меж древами;
Единой лишь она не чувствует любви,

Что разливается во всей моей крови.
 В день красный некогда цветки Дориса рвала,
 И пестрыя венки из оных завивала:
 Прельщенный Тирсис мнил, что страсть свою открытъ
 И случай и любовь сама теперь велит,
 Когда от сестр и стад пастушка удаленна.
 Пойдем, сказал он ей, се здесь гора зелена,
 В прохладной от древес стоящая тени,
 Здесь можно будет нам от зноя уклониться,
 Я много тем счастлив, что мы теперь одни,
 И только лишь хотел в любви изъясниться;
 Внезапно с плеском глас веселый возгремел,
 Смущенный в робости любовник онемел.
 Он быстро очеса на гору устремляет,
 Чтоб видеть, кто его желанье прерывает.
 Между древами там ликующий Силен,
 Восторгом неким божественным пленен,
 Среди собора Нимф украшенных венками,
 Цветы на голове, цветы между руками
 Различные держа, песнь новую поет,
 Вы, Музы! оную, коль можно, изъясните,
 И мыслей высоте слова мои сравните.

С и л е н

России счастливой, покров, отрада, свет!
 Естли ты чистое веселие вкушала,
 Когда щедротами народ обогащала:
 То паче в красный сей возвеселися день.
 Се к счастью залог Россиян утвержден.
 Се вышний круг небес превыспренных склоняет
 И светлый взор низвед брак ПАВЛОВ утверждает.
 Вы звезды ясные среди несчетных звезд
 Красящие венцом пространство горних мест!
 Сойдите паки к нам, средь смертных возсияйте,
 И счастливой четы собою увенчайте;
 Достойные того достойны вас главы.
 Высоки души их светлее нежелъ вы.
 Катитесь путем, горящие светила;
 Которой вам от век природа положила;
 Россия вышнего рукой укреплена,
 Во славе будет вам подобна иль равна.
 Союзы да блюдут стихии несогласны,
 И вечный чин вещей и образ мира красный,
 Зиждитель во своих так утвердил судьбах,
 Как то, что род Петров и дом не раззорится,
 Но с славою себе в подверженных градах
 И ревностных сердцах на веки утвердится.
 Как рощи и поля, луга и дол цветут,
 И горы токи струй прохладных с шумом льют:
 Так в мире иль войне всегда в блаженстве новом
 Россия процветет под сильным их покровом.
 Всевышний токмо им подаждь счастливы дни!
 И с Россов ревностью их долготу сравни.
 Так кончил песнь Силен, Дриады подражали,

И с плеском глас его стократно повторяли.
 Тогда встав пастух к Дорисе рек своей:
 Сколь мне с тобою день благополучен сей!
 Что слышал я хвалы неместнаго Силена,
 К единой истине усердием вперенна.
 Дориса! новых здесь нарвав теперь цветов,
 Сплети венки сядя под тенью сих кустов,
 Я посох и свирель блющем украшу белым,
 Мы пойдем с сих лугов в венках к стадам веселым.

А. С.

Под текстом инициалы «А. С.» — обычная подпись Александра Петровича Сумарокова.

Как видно, стихотворение это было написано к бракосочетанию наследника престола, Павла Петровича. Наличие подписи — инициалов «А. С.», казалось бы, делает вопрос об авторе простым. Однако возникает ряд сомнений: стихи в целом написаны так, как и другие идиаллии и эклоги Сумарокова, собранные им в книгу «Эклоги», сданную в печать 7 января 1774 года, но в названном сборнике этого стихотворения почему-то нет.

Хотя стихи в «Идиаллии, Силен» гладкие, вполне «сумароковские», но есть в них ряд особенностей, отличающих их от обычных стихов этого поэта: таковы прежде всего рифмы «любовь» — «лугов», «рвала» — «завивала» (у Сумарокова всегда «рвала»), «день» — «утвержден», «открыть» — «велит»; в книге «Эклог» Сумарокова ни разу не встречаются рифмы вроде «Силена» — «изумленна», «Силена» — «вперенна». Далее, слово «блющ» (вместо «плющ») также не попадалось в произведениях Сумарокова. Правда, у нас, как известно, нет специального «словаря» языка Сумарокова, и поэтому может оказаться, что в произведениях каких-либо других жанров у него есть и «блющ», и не «сумароковские» рифмы.

Еще одна деталь данного стихотворения говорит против авторства Сумарокова: во всех его эклогах и элегиях, в трагедиях обязательно применяется парная рифма; в «Идиаллии, Силен» четыре раза нарушается это правило сумароковской поэтической практики.

Если коротко обобщить сказанное, то можно заключить, что это либо не сумароковское произведение, либо сумароковский необработанный черновик, либо, наконец, чужое произведение, не до конца отредактированное Сумароковым.

Удивительно еще и то, что в книге В. П. Семенникова «Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II» (Пг., 1915), где приведены, на основании данных Архива Академии наук, подробные сведения о всех заказах А. П. Сумарокова академической типографии за 1773—1774 годы (стр. 114—118), заказа на печатание «Идиаллии, Силен» нет. Впрочем, из «Материалов» Семенникова видно, что Сумароков написал два произведения на обручение Павла Петровича и ни одного — на его бракосочетание, а не откликнуться на такое событие Сумароков не мог. Перепечатанная в приложении к книге Семенникова ода Сумарокова на обручение Павла (она не вошла в «Полное собрание всех сочинений» поэта) отличается тем, что в первой строфе ее, вместо канонических десяти стихов, только девять,¹ т. е. и здесь налицо отступление от обычной практики Сумарокова.

Ко всем изложенным недоумениям, вызываемым «Идиаллией, Силен», присоединяется еще следующее: Д. Д. Шамрай обнаружил в Архиве Академии

¹ Может быть, здесь имеет место пропуск по вине издателя, В. П. Семенникова.

наук документ от 21 октября 1773 года (Д. № 544), свидетельствующий о том, что архиепископ Тверской и Кашинский Платон внес в Академию наук 1 р. 63 коп. за напечатание ему стихов «Идиллия, Силен» в количестве ста экземпляров. Д. Д. Шамрай полагает, что этим самым исключается авторство Сумарокова. Однако, как нам кажется, оплата арх. Платоном печатания стихов еще не означает, что они не могли быть написаны Сумароковым. Известно, что поэт был близко знаком с рядом крупных представителей тогдашнего духовенства, в том числе и с арх. Платоном: в 1773 году (25 октября) Сумароков сдал в печать свои «Стихотворения духовные», которые посвящены «их преосвященствам святейшего правительствующего синода членам: Гавриилу, архиепископу Петербургскому, Иннокентию, архиепископу Псковскому, Платону, архиепископу Тверскому». В самом тексте посвящения Сумароков отмечает, что перечисленными «особами был не только знаем, но и любим». В «Предисловии», помещенном в «Дополнении к духовным стихотворениям» (1774), поэт пишет, что «сколько приятно» ему «с ними (лицами, которым посвящены «Стихотворения духовные», — М. Г.) видется и собеседовати, столько приятно и воспоминати имена их». «Я особы их, — продолжает Сумароков, — не по слуху и не по виду единому знаю; но имея с ними откровенное обхождение, знаю и качества их...».

Если принять во внимание, что Сумароков постоянно, а в особенности во время пребывания в Петербурге в 1773—1774 годы, очень нуждался, то нет ничего невозможного в том, что он упросил арх. Платона (или тот сам вызвался) уплатить типографские расходы по печатанию «Идиллии, Силен».

Таким образом, обнаруженный Д. Д. Шамраем архивный документ сам по себе еще не может служить достаточным основанием для отвода авторства Сумарокова. Каковы бы ни были «противопоказания» против признания поэта автором этого спорного произведения, основным доводом в пользу Сумарокова являются инициалы «А. С.», которыми тогда подписывался только он и никто больше (ср. Сопикова и Неустроева). Зная вспыльчивый характер Сумарокова, начальство академической типографии никогда не стало бы печатать произведения какого-либо постороннего лица с подписью «А. С.».

Следовательно, из всех перечисленных выше возможных предположений приходится остановиться на третьем: вероятно, Сумароков, по просьбе арх. Платона, отредактировал чужие стихи, но не особенно тщательно, и подписал их своими инициалами.

Р. Г. БОКК

НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ Ф. А. КОЗЛОВСКОГО, ПРИПИСЫВАЕМОЕ СУМАРОКОВУ

В девятом томе «Полного собрания всех сочинений... Александра Петровича Сумарокова», изданного Н. И. Новиковым в 1781—1782 годах, напечатано стихотворение под названием «Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому». Оно посвящено известному актеру Дмитревскому в связи с исполнением им роли Синава в трагедии Сумарокова «Синав и Трувор». Это стихотворение включено также в некоторые советские издания произведений Сумарокова, в частности в «Избранные произведения», вышедшие в Большой серии Библиотеки поэта в 1957 году (стр. 295). В примечаниях к этому изданию П. Н. Берков пишет: «Впервые ПСВС, ч. 9, с. 226. Возможно, это стихотворение было написано по поводу первого публичного спектакля Российского театра 5 февраля 1757 г., когда шла трагедия Сумарокова „Синав и Трувор“».

Вопрос об авторстве «Стихов Ивану Афанасьевичу Дмитревскому» не вызывал ни у кого сомнений.

Однако недавно при разборе изданий XVIII века, хранящихся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, была обнаружена отдельная публикация этого стихотворения в несколько измененной редакции, с более развернутым заглавием и с подписью «К. Казловской». Стихотворение напечатано на одном листке, без заглавного листа и без выходных сведений. Никаких иных данных для его точной датировки не имеется. Это издание оставалось до сего времени неизвестным. Приводим вновь найденный текст стихотворения.

СТИХИ
ИВАНУ АФАНАСЬЕВИЧУ ДМИТРЕВСКОМУ,
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СИНАВА И ТРУВОРА ТРАГЕДИИ,
СОЧИНЕННОЙ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМ
АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВИЧЕМ СУМАРОКОВЫМ

Дмитревской, что я зрел? Ах! как я возмущался,
Когда Синав в тебе несчастный унывал!
Я все его беды своими называл,
Твою страстию пылал и огорчался,
И вместе я с тобой любил и уповал.
Ты был Ильменою смущен неизреченно.
Мой дух, все чувство тобою было пленно:
Ты страсти все свои во мне производил;

Ты вел меня с собой из страха в упованье,
 Из ярости в любовь, и из любви в стенанье;
 Ты к сердцу новые дороги находил.
 И голос, и лице, и стан согласны были,
 Чтоб преклонить сердца, и души возмутить.
 Твой плач все зрители слезами заплатили,
 И плачущи тебя старались хвалить.
 Искусство с естеством в тебе соединенны,
 Являли нежное движение сердец.
 Ты был рыдания и радости творец.
 Ах! как тобою мы остались восхищенны!
 Мы в мыслях все тебе готовили венец,
 Ты тилился всех тронуть, и все тобой плененны.

К. Казловской.

Нетрудно заметить, что различия двух редакций стихотворения (приведенной нами и публикуемой в изданиях Сумарокова) имеют чисто стилистический характер и что вторая несомненно более совершенна.

В литературе о Сумарокове «Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому» приводятся обычно как иллюстрация взглядов Сумарокова на задачи драматического искусства и актерского исполнения роли. Используются они также и в специальной литературе о Дмитревском как образце анализа и оценки его творчества. В связи с этим вопрос об авторской принадлежности приведенных стихов имеет существенное значение.

Трудность задачи установления авторства в данном случае усложняется тем, что архив Сумарокова не сохранился, так же как не сохранились и прочие материалы, на основании которых было подготовлено Н. И. Новиковым первое издание «Полного собрания всех сочинений» Сумарокова, вышедшее через четыре года после смерти поэта.

Можно предположить, что обнаруженный листок является первоначальной публикацией стихотворения и что «К. Казловской» — псевдоним Сумарокова. Но тогда трудно объяснить, зачем понадобилось Сумарокову скрыть свое имя. Гораздо вероятнее, что в архиве Сумарокова сохранился листок со стихами К. Казловского, но без его подписи. Стихи эти могли быть преподнесены автором Сумарокову или даны ему для редакции. Возможно, что другая редакция стихов принадлежит именно Сумарокову.

Кто же такой К. Казловской?

Среди современников Сумарокова не удалось обнаружить автора, который подписывался бы таким образом.

Однако, если принять во внимание, что буква «К» перед фамилией в XVIII веке чаще всего означала «князь», то можно предположить, что действительным автором является князь Федор Алексеевич Козловский.

Впрочем, кажется странным, что Н. И. Новиков, близко знавший Козловского, одновременно с ним учившийся в гимназии при Московском университете, работавший с ним в Комиссии для составления проекта Нового уложения и давший довольно подробную биографическую справку о нем в своем «Опыте исторического словаря о русских писателях» (1772), мог не знать о принадлежности ему этого стихотворения.

Решить же вопрос об авторстве путем сопоставления стихотворения, посвященного Дмитревскому, с прочими стихами Ф. А. Козловского, также трудно, ибо до нас дошло всего лишь два его произведения: идилия «Миниса дорогая...» («Вечера», 1773, ч. II, стр. 29) и эклога «Что в красоте есть лучшее» («Московское ежемесячное издание», 1781, ч. II, стр. 226), напечатанные посмертно.

Однако нашлось убедительное подтверждение, что автором указанных стихов является именно Ф. А. Козловский.

В отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится рукописный сборник произведений XVIII века, поступивший от Петра Ильича Гундобина (1837—1871), рыбни-ского купца, археолога и собирателя древностей. В основном в сборник вошли стихи, в том числе и интересующие нас «Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому». Текст отдельного печатного издания и помещенного здесь рукописного полностью совпадают. Под стихотворением имеется подпись: Князь Федор Казловской.

Следует сразу же оговорить, что подпись эта не является автографом Козловского. Сборник написан почти целиком одним почерком, по-видимому переписчиком. Судя по бумаге, он относится к 80-м годам XVIII века. Кроме того, в нем помещены стихи, датированные 1771 годом, т. е. написанные уже после смерти Козловского.

По всей вероятности, владелец сборника переписал стихи с подписанного оригинала, либо знал о принадлежности их Козловскому.

Установление авторства Ф. А. Козловского выявило новый, существен-ный факт его творческой биографии. Вместе с тем возникают вопросы: что представляет собой текст «Стихов И. А. Дмитревскому», включенный в «Полное собрание всех сочинений» Сумарокова, вторую ли редакцию, на-писанную Ф. А. Козловским, или сумароковскую обработку; следует ли на этом основании исключать последнюю из числа произведений Сумарокова. Эти вопросы предстоит решить в дальнейших исследованиях.¹

¹ Сообщение Р. Г. Бокк лишает вероятности предположительную датировку, выдвинутую мною в комментарии к «Стихам Ивану Афанасьевичу Дмитревскому». Ф. А. Козловский в 1757 году был московским гимназистом и вряд ли мог присутствовать на открытии Российского театра. Скорее можно предположить, что стихи эти были написаны по случаю выступления Дмитревского по возвращении из-за границы в ноябре 1766 года. В это время Козловский жил в Петербурге. Едва ли можно связывать изданные Козловским стихи с постановкою «Синава и Трувора», о которой сообщалось во втором листе «Пустомели» (1770): Козловский в 1769 году был отправлен в Италию и в июне 1770 года погиб при взрыве корабля «Св. Евстафий».

Д. Д. ШАМРАЙ и П. Н. БЕРКОВ

К ЦЕНЗУРНОЙ ИСТОРИИ «ТРУДОЛЮБИВОЙ ПЧЕЛЫ» А. П. СУМАРОКОВА

История «Трудолюбивой пчелы», одного из первых частных русских журналов, выяснена недостаточно. Излагая в «Истории императорской Академии Наук в Петербурге» биографию Ломоносова, П. П. Пекарский коснулся полемики между последним и Сумароковым (а также и Тредиаковским) в 1759 году и попутно сообщил некоторые документальные данные о сумароковском журнале.¹ Позднее М. И. Сухомлинов для характеристики состояния критики в середине XVIII века также привел в своей «Истории Российской Академии» некоторые материалы о «Трудолюбивой пчеле», частично использованные его предшественником.² В целом же «дело № 239» Архива Академии наук СССР, заключающее в себе относительно полные сведения о положении «Трудолюбивой пчелы» (в цензурном плане), осталось неиспользованным в должной мере. Между тем содержащиеся в документах материалы представляют несомненный интерес для истории русской литературы XVIII века и для истории русской журналистики; в частности, здесь находится неопубликованное полностью «доношение» Сумарокова о желании издавать «Трудолюбивую пчелу», точные сведения о тираже первого издания этого журнала, условия, на которых он издавался, отчасти уже известные, а более — неизвестные данные о цензурных придирках к Сумарокову и т. д.

Все это дает нам основания привести в более полном виде, чем это сделали П. П. Пекарский и М. И. Сухомлинов, материалы из дела № 239.

14 декабря 1758 года Сумароков подал в Академию наук следующий документ:³

В КАНЦЕЛЯРИЮ СПБУРГСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ
ОТ БРИГАДИРА АЛЕКСАНДРА СУМАРОВА
Д О Н О Ш Е Н И Е.

Вознамерился я издавать помесечно журнал для услуги народной, того ради покорно прошу, чтобы повелено было в академической типографии оный мой журнал без остановки на чистой бумаге в осьмуху печатать по двенадцати сот экземпляров, а деньги с меня по прошествии всякой трети взыскивать; что же касается до рассмотрения изданий, нет ли в оных чего противного, сие могут просматривать, ежели благоволено будет, те люди, которые просматривают академические журнальные издания, не касаясь слогу моих изданий.

¹ П. П. Пекарский. История императорской Академии Наук в Петербурге, т. II, СПб., 1873, стр. 651—664.

² М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, вып. III. СПб., 1876, стр. 50—53.

³ Архив АН СССР, д. № 239, л. 30.

Только нижайше прошу, чтобы Канцелярия Академии Наук благоволила меня избавить от помешательства и затруднений в печатании.

А начать оные издания, ежели получу позволение, намерен я с первого дня генваря наступающего года. Бригадир Александр Сумароков.

Очевидно, наученные горьким опытом предыдущих отношений с Сумароковым и обеспокоенные поставленными им в «доношении» условиями, начальствующие лица типографии Академии наук попытались отказать от печатания нового журнала: сразу же по получении «доношения» Сумарокова фактор типографии Розе дал заключение о том, что:

... По справке в типографии вышеписанного журнала печатать никак невозможно, ибо во оной (типографии, — Д. Ш. и П. Б.) столько листов набрано, что оных в месяц отпечатать невозможно, к тому же весьма много находится зачатых дел и неокончанных, которые кончить должно.

Сверх же того, от денного и ночного печатания календаря, продолжающегося больше месяца, многие станы попортились, которые все привести надежит в прежнее состояние, и потому оной журнал академическим делам причинит помешательство и остановку.⁴

Однако Сумароков, пользуясь добрыми отношениями со своим бывшим начальником, графом А. Г. Разумовским, воздействовал на брата последнего, президента Академии наук, графа К. Г. Разумовского. 7 января 1759 года в Канцелярию Академии пришло распоряжение «по поданному от г-на бригадира Сумарокова во оную канцелярию доношению»:

Печатать в академической типографии издаваемый им помесечно журнал и вносимые во оной пизсы прежде печатания читать г-ну профессору Попову, которому, ежели во оных усмотрит что противного, напоминать о том издателю; а дабы в печатании все порядочно происходило и в академических делах в типографии остановки последовать не могло, то в Канцелярии учинить надлежащий тому распорядок.

По прошествии же каждой трети от него, г-на бригадира Сумарокова требовать деньги.

На подлинном подписано тако:

Граф К. Разумовский⁵

Документ этот интересен тем, что в нем поручение, данное адъютанту Н. И. Попову, сформулировано очень неопределенно: «ежели во оных («пизсах» для «Трудолюбивой пчелы», — Д. Ш. и П. Б.) усмотрит что противного, напоминать о том издателю». «Противное» могло пониматься как в идеологическом, так и стилистическом отношении. По-видимому, так понял цензор свои обязанности, в результате чего и возникли впоследствии между ним и Сумароковым большие трения.

Возможно, что под влиянием Сумарокова в «ордере», посланном Н. И. Попову того же 7 января 1759 года, уже внесено существенное уточнение:

Благородный господин профессор!

Его сиятельство г-н президент Академии Наук по доношению г-на бригадира Сумарокова приказать изволили издаваемый им помесечно журнал печатать в академической типографии и вносимые во оный пизсы прежде печатания просматривать Вам, и, если усмотрено будет Вами что противное в деле, а не в слоге, то напоминать о том господину издателю; в прочем же подписывать на поле, что оные пизсы читаны Вами и притом

⁴ Там же, лл. 31—32.

⁵ Там же, л. 33.

означа день получения и отсылки и отдавать для набора в типографию без всякого задержания.

Тауберт⁶

Одновременно с оформлением цензурной стороны издания журнала Канцелярия Академии наук дала распоряжение типографии составить предварительный расчет стоимости печатания «Трудолюбивой пчелы». Недатированный документ, относящийся, по-видимому, к тому же 7 января 1759 года, содержит следующие сведения:

Счет, во что издаваемый его высококордием г-ном бригадиром Сумароковым, считая заводу «600» экз. по типографии набором и печатанием с бумагою обойдется, считая в каждый месяц по 4 листа, а именно:

в 1 месяц 1 экз. 8³¹/₅₀ коп.

в 4 мес. 1 экз. 34⁷³/₁₅₀ к.

в 12 мес. 1 экз. 1 р. 3¹¹/₂₅

На этом предварительном счете Сумароков написал: «Оным щотом доволен и деньги по прошествии каждой трети исправно платить обязуюсь; а экземпляров надобно восемьсот».⁷

Опять-таки, по-видимому зная строптивый характер издателя журнала, типографское начальство составило проект «Кондиций, на которых печатать журнал» (л. 44), оказавшихся настолько жестокими для Сумарокова, что их пришлось заменить другими: 7 января фактору Розе был направлен следующий ордер:

Его сиятельство Академии наук г-н президент приказать изволил издаваемой помесечно г-ном бригадиром Сумароковым журнал печатать в академической типографии, чего ради для лучшего в том порядка и дабы как с одной так и с другой стороны никакой остановки последовать не могло, наблюдать Вам следующее:

1) Оной журнал набирать обретающимся при Российских ведомостях трем ученикам, а понеже они для сего дела принуждены будут и в шабашные часы работать, то им за такую чрезвычайную работу произведено быть имеет из книжной лавки от каждого листа по 1 р. 50 к. в награждение из получаемой от г-на бригадира Сумарокова платы;

2) Литеры и формат автор сам назначит;

3) В начале каждого месяца требовать всей на оной месяц набираемой материи;

4) Наборщикам велеть всегда на особливой тетради записывать отсылку и получение назад корректур, которые хранить им у себя порядочно;

5) Бумагу для печатания «800» экземпляров принимать Вам на каждый месяц от инспектора Ильина комментарную заморскую;

6) По напечатании каждого месяца экземпляры, сложа, отдать с распискою и с приложением счета в книжную лавку;

7) Смотреть, чтобы оной журнал всегда набран и напечатан был до окончания месяца. А ежели в том произойдет какое медление или остановка, то Вы и наборщики штрафованы будете вычетом из жалованья;

8) Понеже г-ну профессору Попову поручено прежде печатания читать все вносимые в журнал пиэсы, того ради ничего не набирать, на чем подписки его не будет.⁸

Как складывались отношения между Сумароковым и цензором-адъюнктом Поповым в первые три месяца издания «Трудолюбивой пчелы», документы

⁶ Там же, л. 40.

⁷ Там же, л. 36.

⁸ Там же, л. 38.

не сообщают, но 21 апреля 1759 года взбешенный Сумароков представил в Канцелярию Академии наук пространное доношение, в котором колоритно и с нескрываемым презрением к «пьяницам» рассказал о своих обидах на цензора:

В КАНЦЕЛЯРИЮ АКАДЕМИИ НАУК
ОТ БРИГАДИРА АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА
Д О Н О Ш Е Н И Е.

Приказано от Академии сочинения мои просматривать для осторожности, чтоб от меня не вышло чего противного закону и прочего непристойного, хотя я — христианин и не бесчестный человек, и чтоб то просматривал профессор Попов. Пять месяцев я терпел ему, Попову, что он, против приказанья, часто складу моему касался и карандашом подчеркивал. Остановки я от него имел неоднократно, ибо он всегда пьян, а часто не только просматривать мои пиэсы, но и выговаривать ничего не может. После обеда я к нему моих сочинений уже и не посылал ради того, что он после обеда всегда мертв пьян и на ногах едва держится. Я старался, избавляясь тяжбы, посылать мои пиэсы к нему по утрам и, тоже не взирая на то, что при всяком рассмотрении было мне от него или паче от водки его озлобление.

Сего месяца 21 дня послал я к нему просмотреть свои сочинения, нечасто, однако иногда удавалось мне от него скорое получать решение, ибо в типографию требуется оных, чтобы наборщики от остановки не были праздны, да то мне между прочим и предписано. Я нарочно, чтобы заставить его непьяного, послал к нему в 6 ч. поутру. Однако он до свету еще не мог уже не только ясно говорить, но ниже на ногах стоять. Он подчеркивал у меня и писал всякой вздор без основания и без толку, ни малейшего о том, что он читал, не имея понятия, лишь только меня озлоблял. А я и, кроме того, по театру, а особливо ныне в изготовлении оперы и прочих представлений и сочинений театральных и к тому приготовлений, имею много дела. Я к нему ездил и нашел своего цензора в таком состоянии, в каком на маслянице бывают подобные ему на улицах валяющиеся пьяницы. И сказал только мне, повторяя, что его мне учителем определили, чтоб он меня правил, а того в ордере к нему нет. И точно изъяснено, чтобы он до складу моего не касался. Такому мало-знающему человеку, хотя б он и не пьяница был, меня учить не можно, а мне такие речи едва сносны. Я больше сей обиды еще никогда не имел, и, ежели всем пьяницам дозволено будет людей ругать беззаконно, так и жить на свете неудобно. Сделает ли мне какое довольствие в моей обиде Академия, это состоит в воле ее; не первой пьяница меня из ученых пьяниц обидит. Есть еще такой же Барков и другие, о которых Академия не меньше меня известна. Я прошу только нижайше всех господ присутствующих по Канцелярии, никого для подозрения не исключая, чтобы приказали мне цензором да и то не в складе, определить не пьяницу, ибо от пьянства профессора Попова мне делается в издании моего журнала остановка, и чтобы Канцелярия Академии наук благоволила мне сделать милость и назначить без замедления времени другого цензора, потому что журнал по всем правам, без данной от меня причины, но нарушив правосудия, остановлен быть не должен. А что он подчеркивал, то ясно доказывает о его во время просматривания состоянии.

Бригадир Александр Сумароков⁹

⁹ Там же, лл. 53об.—54.

Сумароков, однако, не удовлетворился одним этим документом и, по видимому, сумел лично или через своих покровителей дойти до самой императрицы, в результате чего на следующий же день после подачи «доношения», 22 апреля, последовал несохранившийся (может быть, устный) указ Елизаветы Петровны, защищавший интересы писателя. Во исполнение этого указа Канцелярия Академии вынесла решение:

...Понеже г-н бригадир Сумароков представил Канцелярии на профессора Попова великие свои неудовольствия, а дабы в печатании ежемесячных его журналов не учинить остановки, того ради по указу Е. И. Ве-ва Канцелярия Академии наук приказали:

издаваемые им г-ном Сумароковым на май месяц пиэсы, пока по доношении его рассмотрение учинено будет, препоручить читать г-ну профессору Котельникову обще с адъюнктом Румовским, кои и имеют быть к ним присланы прямо от Сумарокова, а им, г-дам Котельникову и Румовскому, чинить в том немедленное исполнение и о том дать им ордера.¹⁰

Не совсем ясно, почему неопределенность с назначением постоянного цензора для журнала продолжалась три месяца. 19 июля 1759 года проф. С. К. Котельников подал просьбу освободить его от чтения материалов Сумарокова:

Проф. Семен Котельников в Канцелярию

По ордеру Канцелярии Академии наук велено мне прочитывать присылаемые Его Высочайшим бригадиром Александром Сумароковым сочинения и, ежели что найдется такое, которое выкинуть или поправить надлежит, то о том ему представлять. Но его высочайшее о моих представлениях великое показывает неудовольствие.

И для того, опасаясь ссоры и от того худых следствий, принужден я многие вещи без поправки пропускать, ибо его высочайшее отнюдь не хочет ничего в оных сочинениях допустить поправить, которые несправности напоследок мне в несмотрение и в пренебрежение данного ордера причтены быть могут.

Того ради прошу Канцелярию Академии наук, дабы повелено было поправку помянутых сочинений с меня сложить и отдать другому, кому Канцелярия заблагорассудит.¹¹

Возможно, в связи с этим снова возник вопрос о передаче цензурного наблюдения за «Трудолюбивой пчелой» Н. И. Попову. Последний поэтому поспешил оградить себя от грозившей ему неприятности и 22 июля 1759 года направил письмо в Канцелярию Академии:

ПРОФ. ПОПОВ В КАНЦЕЛЯРИЮ

Уведомился я недавно, что его Высочайшее г-н бригадир Сумароков, избегая моих справедливых о пиэсах в издаваемой им помесечно «Трудолюбивой Пчеле» критик, которые я, по приказанию его сия-ва г-на нашего Академии президента делать был должен и делал, подал во оную Канцелярию доношение, чтобы, вместо меня, определить ему другого цензора, а меня бесчестит в том своем доношении пьяницей и малоознающим учителем, противно всей справедливости самого моего дела.

Того ради Канцелярию Академии наук покорнейше прошу от таких наглых и напрасных ругательств и бесчестий меня от себя сильныя руки г-на бригадира Сумарокова защитить и доставить мне за то достойную сатисфакцию по указам, тем найпаче, что я сие бесчестие несу за то единственно, что я поступал по ордеру Канцелярии, что все с ясными доказательствами утвердить имею. Попов.¹²

¹⁰ Там же, л. 46.

¹¹ Там же, л. 55.

¹² Там же, л. 54.

Просьба Котельникова не была удовлетворена, и он продолжал выполнять, к своему неудовольствию, обязанности цензора. В октябре того же 1759 года у него произошло новое столкновение с Сумароковым, причиной которого была рукопись последнего «Слово похвальное о государе императоре Петре Великом».

Сама идея написания «Слова похального о государе императоре Петре Великом» не могла не насторожить академическую цензуру: не дольше чем за четыре года до того была произнесена Ломоносовым речь на ту же самую тему. Ломоносов готовил свое «Слово похвальное Петру Великому» несколько лет, потратил на него много сил, вложил в него много важных идей и сделал его выдающимся произведением высокого искусства красноречия. Напечатанное отдельным изданием и вскоре переведенное на французский язык, «Слово похвальное Петру Великому» было программным произведением Ломоносова-просветителя и рассматривалось современниками как великое во всех отношениях достижение русской литературы. И вот Сумароков, дерзкий антагонист Ломоносова, осмеливается выступить — явно в противовес своему сопернику — со своим «Словом похвальным о государе императоре Петре Великом». Какие цели он может преследовать подобным шагом? Только не отстать от Ломоносова, сравниться с ним или даже превзойти его? Или он, враждебно настроенный по отношению к императрице Елизавете, хочет использовать «Слово» для каких-то фрондерских выступлений? Все это заставляло цензора быть особенно внимательным при чтении рукописи Сумарокова.

Можно представить себе положение С. К. Котельникова, когда ему пришлось прочесть в рукописи Сумарокова следующие резкие нападки на допетровское прошлое России: «До времени Петра Великого Россия не была просвещена ни ясным о вещах понятием, ни полезнейшими знаниями, ни глубоким учением; разум наш утопал во мраке невежества, искры остроумия угасали и воспламениться не имели силы. Вредительная тьма разума приятна была, и полезный свет тягостен казался».¹³

Еще более опасными могли показаться академическому цензору те места, в которых Сумароков нападает на духовенство, называя последнее условным в тот период обозначением «суеверов»: «Родился Петр, наступило его младенчество. Взошла на мрачный горизонт предвестница Солнца, багряная Аврора. Возрадовалась истина и ужаснулось суетумудрие. Суетеры, почитая просвещение разума путем отвращающим нас от познания божества, кричали: предвещается падение благочестия, и паки: со младенчеством сего царевича, страх наш минется, освещение исчезнет и почтенное наше невежество, удерживающее нас на пути истинны, не разрушится. Возмужал Великий Петр, взошло солнце, и мрак невежества рассыпался. Обманулися невежи и упрямцы, с суетерами возбудителями своими, в мерзкой своей надежде. Но прежде прибегают к оружию вредоносных человеков: мздою, пьянством и суетверием ослепляют их, и возмущают войско».¹⁴

Изялая последние события петровского времени, Сумароков продолжает развивать тему «суетерия» и делает такое обобщение, которое не могло не испугать Котельникова, несомненно хорошо знавшего сильное влияние духовенства на ревностно-религиозную Елизавету: «Тако утверждалось невежество под именем благочестия. Властолюбие и лихоимство бессовестных людей прибегали к суетерии, суетерие к варварству; ибо варварство во все времена паче всего суетерии повиновалось».¹⁵

Правда, Сумароков местами формулировал свои мысли в «Слове похвальном» так, что под «суетерами» можно было понимать раскольников-старо-

¹³ «Трудолюбивая пчела», 1759, октябрь, стр. 582.

¹⁴ Там же, стр. 582—583.

¹⁵ Там же, стр. 583.

обрядцев, но это было обычной в то время уловкой, к которой прибегали просветители, например Ломоносов в незадолго до того нашумевшем «Гимне бороде» (1757). Кстати, словно для выражения своего согласия с Ломоносовым в данном вопросе, Сумароков написал в «Слове похвальном»: «В перемене одевания и в бритии бород не было бы Петру Великому ни малейших нужды, ежели бы старинное платье не покрывало старинного упрямства, а борода в подлых головах не умножала гордости».¹⁶

Еще больше опасений должно было вызвать у Котельникова место, следовавшее после характеристики Петра и особенно подчеркивавшее простоту и величие императора — преобразователя, с тем чтобы противопоставить ему Елизавету: «Не в великолепии ищут великие государи величества, не в великолепии искал его и ты великий государь. Твое великолеpie было попечение о государстве, едино украшение и сияние венца; ибо все прочее пустой только блеск».¹⁷

Можно не сомневаться, что именно для того, чтобы публично противопоставить простоте и величии Петра великолеpie и внешний блеск Елизаветы, и было написано Сумароковым его «Слово похвальное о государе императоре Петре Великом». И, конечно, опытного цензора Котельникова не могли успокоить разбросанные в разных местах рукописи Сумарокова комплименты Елизавете: «Подражайте будущих веков монархии российские делам его, сим образом, которым ему Елисавета подражает», или: «На сих днях, на сих последних днях твоим оружием дщерь твоя над сильным неприятелем две преславные победы одержала».¹⁸ Как всякий умный цензор, Котельников понимал, что «в верхах» будет обращено внимание на основную тенденцию «Слова похвального», а не на отдельные комплименты Сумарокова Елизавете.

Поэтому Котельников сообщил в Канцелярию Академии, что он не осмеливается принять на себя рассмотрение сочиненного Сумароковым «Слова похвального о государе императоре Петре Великом», и дело перешло к самому президенту академии графу К. Г. Разумовскому. Последний 7 октября 1759 года:

приказать изволил упомянутое «Похвальное слово», по неотступному требованию господина автора и в том рассуждении, что и прежде, до издания его журнала, печатаны были многие его пиэсы без цензуры академической, напечатать, оставляя ему собственно в том ответствовать, ежели двор и публика покажет какое неудовольствие, а в прочем господам цензорам поступать по прежде данной им инструкции.¹⁹

Дело № 239 не сохранило данных о реакции «двора и публики» на дерзостное выступление Сумарокова, но именно «Слово похвальное», — в этом можно несколько не сомневаться, — послужило последним основанием для закрытия журнала.

В литературе о «Труdolюбивой пчеле» указывалось, что во втором полугодии ее издания в ней усиливается сатирическая сторона, появляются в большом числе прозаические статьи сатирического характера, содержащие едкие нападки на лихоимство судей, взяточничество чиновников и т. п. В стихах Сумароков высмеивал откупщиков, подьячих, каких-то знагных современников (кто они были, теперь установить почти невозможно). Это также создавало неприязненное отношение придворных кругов к журналу Сумарокова.

¹⁶ Там же, стр. 584.

¹⁷ Там же, стр. 586—587.

¹⁸ Там же, стр. 585.

¹⁹ Архив АН СССР, д. № 239, лл. 50—51.

В декабрьской книге «Трудолюбивой пчелы» Сумароков поместил стихотворение «Расставание с музами», в котором давал понять читателям, что журнал прекращается под давлением высших властей:

Для множества причин
Противно имя мне писателя и чин.
С Парнасса нисхожу, схожу противу воли,
Во время пущего я жара моего
И не взойду по смерть я больше на него.
Судьба моей то доли.
Прощайте, музы, навсегда!
Я более писать не буду никогда.²⁰

Как известно, Сумароков не сдержал своего обещания и в следующем же году стал печататься в журнале «Праздное время в пользу употребленное». Тем не менее его «Расставание с музами» имеет для нас значение свидетельства поэта о том, как кончилась его попытка издавать первый русский сатирико-политический журнал. В истории русской литературы, журналистики и общественной мысли журнал Сумарокова сыграл полезную роль: он оказался своеобразным предтечей сатирической журналистики 1769—1774 годов.

²⁰ «Трудолюбивая пчела», 1759, декабрь, стр. 768.

Е. П. ПРИВАЛОВА

О ЗАБЫТОМ СБОРНИКЕ ТВЕРСКОЙ СЕМИНАРИИ

Среди русских провинциальных городов XVIII века одно из первых мест занимала Тверь. С воцарением Петра I город начал расти с особенной быстротой. Тверь поставляла для строительства Петербурга рабочую силу, провиант и материалы.

Местоположение между новой столицей и Москвой способствовало росту промышленности и торговли, культурным связям города с центром. В 1763 году тверитян постигла большая беда: пожар уничтожил большую часть города. В дневнике современника, тверского купца Михаила Тюльпина, сохранилось картинное описание этих страшных дней. Пылали целые улицы с деревянными домами и многочисленными церквями. Было немало человеческих жертв.

Тверь недолго лежала в руинах. Крупные денежные ссуды и материалы, предоставленные императрицей Екатериной, дали возможность не только восстановить, но и чрезвычайно украсить город. Тверь росла и крепла, на глазах превращалась в один из самых красивых и художественно ценных городов России. В строительстве новой Твери принимали участие лучшие зодчие страны: М. Ф. Казаков, П. Р. Никитин. Общими усилиями русских художников и талантливых мастеров-рабочих был создан великолепный ансамбль провинциального города эпохи русского классицизма. Наряду с этим росло значение города как административного центра. В 1776 году было организовано Тверское наместничество. В январе этого года в Тверь был командирован Я. Е. Сиверс для проведения выборов предводителя дворянства и судей, а также для открытия ряда губернских учреждений.

Строительство Твери было событием настолько большого масштаба, что нашло отклик в самых различных слоях населения страны. С гордостью говорили о возрождении города в правительственных кругах. Екатерина II писала М. Гримму, что считает Тверь украшением своей империи. Каждый приезжий считал долгом осмотреть город, насладиться его красотой. Молодой Болотов, сын известного мемуариста и ученого агронома, приехав в 1789 году к родственникам в Тверь, восторженно писал отцу о своих впечатлениях, причисляя Тверь «по благоустройству и прекрасному строению к числу самых лучших городов».

Быстрый рост провинциального города настолько поразил воображение современников, что это нашло свое отражение в художественной литературе. В данной связи интересна пьеса М. И. Веревкина «На нашей улице праздник», поставленная в новгородском, а возможно, и в тверском театре в 1776 году.

В одном из эпизодов пьесы рассказывается о том, как тверской мещанин после 13 лет отсутствия возвращается в родной город. Идя по Волоколамской дороге, приближаясь к Твери, он не узнает родных мест. Путника поражают новые дома, построенные «все под один фрасунок», обилие народу, дышащее вокруг оживление.

Горячими патриотами родного города были сами тверитяне. Многочисленные «надписи» и «канты», сочиненные тверскими семинаристами, посвящались красоте зданий и живописным местам города. Юные поэты обращали свои первые поэтические опыты «К реке Тверце», «К реке Тьмаке», «К реке Волге», «К тресвятскому саду», «К монументу, сооружаемому в Твери», «К городскому теплому собору» и пр.

Воспевая реку Тверцу, поэт писал:

Разлитием воды, хотя Тверца мала,
Но пользой многие ты реки превзошла.
Желаю б мы, чтоб ты в Петроград протекала
И счастье жителей тверских там возвещала.¹

Если о материальном состоянии Твери XVIII века, о создании ее замечательного архитектурного ансамбля мы знаем достаточно подробно, то роль города как культурного центра остается еще мало изученной.

В научной литературе многократно указывалось на то большое место, которое занимала в жизни Твери Духовная семинария, преобразованная в 1739 году из Греко-славянской школы. Тверская семинария принадлежала к наиболее организованным и передовым духовным школам второй половины XVIII века. Период ее расцвета падает на 60—80-е годы. Это было время ректорства, а потом епископства Арсения (в миру Василия) Верещагина (1736—1799), одного из образованнейших представителей высшего духовенства екатерининского царствования.

Что же представляла собой Тверская семинария в 70-х годах XVIII столетия?

Духовная семинария была большим учреждением, в котором числилось около шестисот воспитанников. Материальная сторона жизни учащихся была очень тяжелой, нередко семинаристам приходилось жить на пятнадцать копеек в месяц. Не удивительно, что для многих ученье являлось непосильным бременем. Большой помехой была теснота помещений. Зданию каждую весну угрожало наводнение.

Преподавание в семинарии не ограничивалось богословием и другими чисто церковными дисциплинами. В программы удалось ввести курсы физики, естествознания и гражданской истории. Крупным нововведением было впервые принятое в духовной школе преподавание всех предметов на русском языке. Этот шаг потребовал больших усилий и упорной борьбы. В годы ректорства Арсения епископу Тверскому, широко известному впоследствии Платону Левшину, была подана анонимная челобитная — «воплъ купецких и разночинческих малолетних детей». Податели ее обращались к епископу со слезной просьбой: «Отверзите нам врата наук: изведите нас из нашего несчастья. Повелите во учрежденных в епархии вашей училищах науки преподавать на нашем природном Российском языке, дабы через то родители наши были побуждены отдавать нас в училища, не видя уже никакого препятствия и к тому их вашим архипастырским увещанием склонить не оставьте».²

Челобитная свидетельствует о большой тяге разночинных кругов к образованию. Есть все основания предполагать, что «воплъ купецких и разночинческих малолетних детей» был написан одним из образованнейших тверских уроженцев, историком города — Диомидом Кармановым с ведома ректора Верещагина. Платон Левшин не выполнил просьбы разночинских детей. Только несколько лет спустя реформа была проведена в жизнь епископом Арсением.

¹ Тверская семинарии школьные упражнения 1778 года, стр. 20.

² Д. Карманов. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Тверь, 1893, стр. 165.

Характерной чертой семинарской жизни было увлечение литературой, в частности поэзией. Читая произведения семинарских поэтов, невольно думаешь: не поэзия ли определяла основной профиль этого учебного заведения? Называя родную школу Геликоном и Парнасом, семинарские поэты имели в виду не только учебные, но и литературные успехи семинарии.

Торжественно отмечая день закладки нового здания, учащиеся видели в этом событии залог дальнейшего развития дорогой их сердцу поэзии:

Паллада русская щедротою своей
Велит воздвигнуть храм священный Музам сей.³

«Открыл тверского ты Парнаса красоту», — писал поэт, обращаясь к бывшему ректору.

Арсений Верещагин был страстным любителем литературы и старался развить эту склонность у своих воспитанников. В семинарии были свои поэты: учитель поэзии Петр Терликов, Иван Галахов, поднесший преосвященному изложение физики в стихах, баснописец Федор Модестов и др.

Заняв впоследствии ярославскую епископскую кафедру, Арсений Верещагин насаждал интерес к поэзии среди семинаристов Ярославля.

Умственные интересы семинаристов были, видимо, достаточно широки. В училище была хорошо подобранная библиотека. В. Колосов в своем исследовании дает перечень входящих в библиотеку книг. Мы видим здесь и «Похождения Телемака» Фенелона, и «Монтескьевы размышления о величестве и упадке Римского народа», и «Дневные записки путешествия адъютанта Лепехина», и указы Петра I.

Среди учителей и воспитанников старших классов пользовались большой популярностью новые современные журналы. Об этом свидетельствуют «надписи» преподавателя Петра Терликова «К „Утреннему свету“» и «К „Санктпетербургскому вестнику“», опубликованные в трудах Тверской семинарии за 1779 год. Приведем оба стихотворения полностью.

К «УТРЕННЕМУ СВЕТУ»

Поправить предприняв испорченные нравы,
И добродетели святы открыть уставы,
И вкупе бедности призрение подать,
И юность к истине и чести воспитать,
Собрание мужей и честных и ученых
Сколь добродетельных, столь также просвещенных
Плоды трудов своих в свет книгу издает,
Котора «Утренний» от них зовется «свет»!
Правдиво лъзя назвать ее для мысли светом;
Сей свет единственно и есть ее предметом.⁴

В стихотворении правильно отмечены многие черты, характерные для «Утреннего света»: высококвалифицированный состав группы, стоявшей во главе журнала, интерес издателей к этическим проблемам и поставленные ими благотворительные и просветительские цели. Между петербургским журналом и Тверской семинарией существовала тесная связь. Автор «надписей» Петр Терликов сам был сотрудником «Утреннего света». Знакомство семинаристов с новиковским журналом не дает еще права говорить о влиянии масонства в стенах семинарии. Однако можно с уверенностью сказать о существовании

³ Разные сочинения Тверской семинарии в день радостного торжествования по причине заложения оной, последовавшего сего 1777 года мая 22 дня... М., при имп. Московск. унив., 1777, стр. 18.

⁴ Продолжение четвертое Тверской семинарии школьных упражнений 1779 года, стр. 20.

масонских связей в самом городе. Первый тверской наместник Я. Е. Сиверс был масон. В Твери жил некоторое время и занимал видные административные посты Игнатий Антонович Тейльс, видный масон, человек близкий Н. И. Новикову. Из протоколов Ученой тверской архивной комиссии видно, какой обширный масонский материал был передан в ее ведение наследниками многих тверских дворянских фамилий. Часть из переданных вещей и документов была очень давнего происхождения. Это говорит о том, что масонство в Твери имело глубокие корни.

Еще интереснее та характеристика, которую дал Терликов журналу «Санктпетербургский вестник»:

Сказал Гораций Флак, что тот всем угождает,
Кто вместе пользует и вместе услаждает,
Хоть много издано уже в России книг,
Однак немногое число есть таковых,
Как та, что вестником Петропольским зовется,
В потомках похвала ее во век прострется,
Забава с пользою в ней соединена,
На место многих книг быть может та одна.
А что в ней лучше всех, то знает сам читатель,
Коль просвещенных он умов есть почитатель.⁵

Характеристика, данная учителем Тверской семинарии, вполне соответствует нашей современной оценке «Санктпетербургского вестника», как одного из наиболее серьезных и значительных журналов последней четверти XVIII века.

Смотром творческих сил училища, сил литературных и научных, были диспуты. Они устраивались в дни престольных праздников, по случаю больших исторических событий (например, в день празднования заключения мира с Турцией), по поводу прихода высоких гостей. Диспутами отмечались начало каникул и выпуск воспитанников из стен училища. В упомянутом сборнике Тверской семинарии содержится следующая программа подобных торжественных собраний: «Сии канты были петы между действиями богословских состязаний. Причем семинаристами говорены были стихи русские и латинские, также благодарственные и приветственные речи на языках русском, латинском, французском, греческом и корельском и разные разговоры, в стихах русских сочиненные».⁶

Участниками выступлений были учителя, семинаристы, а иногда и ученики духовных училищ. Диспуты проводились открыто и собирали немалое количество посторонних. Каждое подобное собрание было событием для тверских горожан.

Достижения семинарии не могли быть плодом деятельности одного лица. Несомненно, высокообразованный Арсений Верещагин имел вокруг себя людей, на которых мог опираться. Но были области, где инициатива принадлежала Арсению Верещагину, и его роль здесь высоко оценивалась современниками.

Студенты Московской академии, в недавнем прошлом воспитанники Тверской семинарии, издали в 1779 году сборник произведений, посвященный любимому наставнику. Заглавие книги следующее: «Стихи великому господину преосвященнейшему Арсению епископу Тверскому и Кашинскому, изъявляющие отменную его преосвященства любовь и старания о науках, которые к чести и пользе отечества благоволит умножать чрез заведение новых училищ в других епархиях своей города и прославлять чрез издание в печать Тверской семинарии сочинений с удовольствием от публики принимаемых,

⁵ Там же.

⁶ Разные сочинения Тверския семинарии, стр. 24.

которые в засвидетельствование достодожного высокопочитания и благодарности за высокие его преосвященства милости благоговейнейше посвящают и приносят Тверской его преосвященства епархии в Московской академии обучающиеся студенты. Печатаны в тип. Импер. Московского Университета 1779 года января дня».

Эти слова содержат, помимо обычных славословий, конкретные указания на заслуги Арсения Вереждагина. Он основал ряд духовных школ в городах подведомственной епархии. Он же заложил основы издательской деятельности Тверской семинарии.

В «Истории Тверской духовной семинарии» В. Колосова дан следующий перечень ранних трудов Тверской семинарии:

«1. Разные сочинения Тверския семинарии в день радостного торжествования по причине заложения оной, последовавшего сего 1777 года, мая 22 дня по особенному благоволению е. и. в. матери Отечества, великия премудрыя Екатерины втория при отправлении богословских состязаний в присутствии как духовных, так и светских особ, предложены 26 мая 1777 года. Печатано при импер. Московском университете. 24 стр.

2. Тверския семинарии школьные упражнения 1778 года.

3. Продолжение четвертое Тверской семинарии школьных упражнений 1779 года».

У двух последних книг нет указаний на место издания, типографию и год выхода в свет. Эти книги не значатся ни в «Опыте российской библиографии» В. С. Сопикова, ни в «Росписи российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина». Колосовым охвачено, видимо, далеко не все. Выход в свет трудов Тверской семинарии начался раньше. Один из сборников семинарских сочинений выпал из поля зрения исследователей. Ни у Колосова, ни у советских ученых нет упоминания о следующей книге: «Разговоры разного содержания прозою и стихами в пользу учащегося юношества, сочиненные в Тверской семинарии» (СПб., 1774).⁷

«Разговоры» 1774 года резко отличаются по своему составу от других семинарских изданий тех лет. В сборник вошли произведения одного жанра, что явствует уже из заглавия книги. Под «разговорами» понимались диалоги, коротенькие сценки, напоминающие интермедии. «Разговоры» имели давнюю традицию в русской литературе. Семинаристы не могли не знать «Разговора гражданина с селянином да певцом или дьячком церковным» и «Разглагольствия тектона, си есть древодеда, с купцом» Феофана Прокоповича. В форме вопросов и ответов был написан «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ» В. Н. Татищева. Диалогическая форма была хорошо известна и по западным источникам. С «Диалогами» Лукиана Самосатского воспитанники духовных школ знакомились по «Риторике» Феофана Прокоповича. Классическим образцом этого жанра были «Домашние разговоры» Эразма Роттердамского, представлявшие собой собрание нравоучительных и сатирических диалогов.

Характерно, что в сборники школьных упражнений, выпущенных Тверской семинарией в 1777—1779 годах, «Разговоры» не были включены, хотя и упоминались как необходимая составная часть диспутов. Руководители семинарии, публикуя труды, имели в виду главным образом официальную, торжественную часть диспутов, состоявшую из богословских состязаний, од, кантов и надписей. «Разговоры» не соответствовали общему серьезному тону

⁷ Помимо издания 1774 года (№ 9470), у Сопикова значится еще одна книга: «Разговоры, сочиненные в Тверской семинарии для малолетних детей». СПб., 1771 (№ 9464). У Смирдина упомянута только первая из них. Мои попытки разыскать издание 1771 года в книгохранилищах Москвы, Ленинграда и Калининга пока не увенчались успехом.

сборников, казались как бы низшим жанром, близким к просторечию и примитивным вкусам учащихся.

Последующие издания духовных школ еще дальше отстоят по своей направленности от проникнутого сатирическим духом тверского сборника 1774 года. В конце 80-х годов духовные семинарии Твери, Харькова и Ярославля издали ряд сборников, посвященных путешествию Екатерины II по России.

Наиболее близкой по своему типу к тверским «Разговорам разного содержания» была следующая книга: «Богословские рассуждения и несколько при конце детских разговоров, читанные на богословских публичных состязаниях в разное время в семинарии Святотроицкия Сергиевы Лавры. Под предводительством той семинарии ректора и богословия учителя неромонаха Аполлоса. Ч. I. М., Унив. тип. Н. Новикова, 1781. 111 стр.».

Сборник Аполлоса-Байбакова носил синтетический характер. В нем сложные философские размышления уживались с бойко и остроумно написанными тремя «детскими разговорами», т. е. разговорами на бытовые и школьные темы.

В тверской сборник 1774 года вошло десять диалогов, из них четыре написаны в стихотворной форме, шесть — прозой. Их содержание можно свести к следующим основным темам: методы и средства воспитания, проблемы философского характера, вопросы нравственного воспитания, тема образовательная и, наконец, тема социальная. Остановимся на тех из них, которые наиболее ярко отразили быт и нравы своего времени.

Выше отмечалась большая роль книги в жизни Тверской семинарии. «Разговор о чтении книг между Картофилом и Вивлофилом» дает возможность ближе приглядеться к этой стороне семинарского быта.

Из двух собеседников наиболее яркая фигура Картофил. Сама речь его, живая и образная, говорит о том, что многое в нем взято с натуры.

Картофил ищет себе партнера. Случай сталкивает его с Вивлофилом.

К. Здравствуй, государь мой! что вы не книгочей ли?

В. Правда есть у меня охота до книг.

К. Эх, так я не на такова попал! Я думал было ... ан да!

В. А что вы думали?

К. Я думал было, что у вас охота до карт есть.

В. Нет, государь мой, у меня охоты до карт нет.

К. Для чего так? Эта ведь игра забавна и корыстна; она мне весьма приятна; я ночи насквозь просиживаю с приятелями за картами; да еще тем хорошо, что у нас банк бывает денежной и бутылочной.⁸

Дальше разговор идет по обычной схеме. Вивлофил доказывает вред карточной игры и противопоставляет этому глупому занятию чтение, которое приносит человеку «увеселение и пользу». Картофил расценивает нравоучения своего собеседника как «вздор и грезы».

Однако Картофил оказывается вовсе не таким противником книг, как это может показаться с первого взгляда. Просто его читательские вкусы значительно отличаются от тех, которые старались привить семинаристам официальная педагогика и ее верный последователь Вивлофил. Все интересы Вивлофила сводятся к одной книге — к библии. Он горячо советует читать и перечитывать ее.

Этот совет встречает возражение у простодушного Картофила: «Велика эта книга! Наше ли дело ее читать? Ведь я не богослов, не поп, не проповедник, не монах». На возмущенное напоминание Вивлофила о том, что библия содержит слово божие, Картофил чистосердечно признается в своих симпа-

⁸ Разговоры разного содержания прозой и стихами в пользу учащегося юношества, сочиненные в Тверской семинарии. СПб., 1774, стр. 23—24.

тиях, очень далеких от богословия: «Как не знать, да вот романы те меня прельщают как сирены».⁹

Диалог кончается обычным и совершенно не убедительным для читателя исправлением Картофила. Легко себе представить, с каким вниманием и сочувствием следили иные зрители за словесным поединком легкомысленного Картофила с добродетельным Вивлофилом. Можно поручиться, что симпатии очень многих были не на стороне последнего. Романы сумели, видимо, достаточно обольстить воспитанников, что и вызвало постановку «Разговора о чтении» на сцене Тверской семинарии.

Один из диалогов сборника 1774 года «Разговор об умеренном наказании отроков» приоткрывает любопытную страницу тогдашнего семинарского быта. Перед нами одно из смелых выступлений учащейся молодежи против все-сильной розги — этой неотъемлемой части тогдашней воспитательной системы. Можно думать, что за этим протестом стояло сочувствие передового учителя, к которому принадлежал и сам ректор. Во всяком случае, без такой поддержки вряд ли подобный разговор мог быть поставлен на сцене семинарского театра.

Разговор ведут двое: Педагог и Петулянт.¹⁰ Наставник угадывает по заплаканному лицу мальчика, что с ним случилась беда. Действительно, Петулянта пребольно высекали. При этом пострадавший не понимает, за что его подвергли суровому наказанию. Упреки Педагога в лениности и резвости не убеждают Петулянта. «Правда, — говорит он, — лениться и резвиться мое дело». И все же это не повод для наказания: «Пусть я и ленив и игрив, только сечь меня не надлежало».

Спор между учителем и учеником интересен для нас в двух отношениях.

Во-первых, он помогает нам понять ту обстановку, которая создалась в семинарских кругах вокруг вопроса «об умеренном наказании отроков». Участвующий в споре Педагог не считает телесное наказание единственной или даже наиболее распространенной мерой воздействия. Таких мер много: «Советы, увещания, награда, честь, слава, страх, стыд». Широкое понимание воспитательных средств свидетельствует о том, что педагогика духовных школ того времени была не так элементарна и прямолинейна, как мы склонны о ней думать. По мнению Педагога, розга — крайняя мера, к которой следует прибегать, когда все другое исчерпано. Это дает наставнику повод сравнить воспитателя с доктором: «...лекари ведь режут тело, чтобы спасти жизнь». Таковы были первые попытки если не ослабить роль розги, то по крайней мере ограничить сферу ее применения.

Второе, что привлекает нас в «Разговоре об умеренном наказании отроков», это образ подростка, смелого, строптивого, находчивого, умного спорщика. Можно сказать, что он полностью оправдывает данное ему прозвище. На все сентенции Педагога: «леность ко всем порокам есть дверь», «лоза — шпоры ленивым и узда игривым» — Петулянт бросает дерзкие реплики: «Я думал, что уж ты проповедь мне начал говорить»; «Да отдавал бы ты сам, сколь сладка лоза та»; «Не хвалю я тех лекарей, которые это березовое выдумали лекарство»; «Полно, брат, пилюли та золотить, как можно душу лозой лечить».¹¹

Согласно традиции действие должно заканчиваться исправлением грешника. Так и здесь Петулянт примиряется с ненавистной лозой, услышав от наставника, что священное писание разрешает подвергать детей телесному наказанию.

Вряд ли подобная концовка могла удовлетворить юных зрителей. Их симпатии, так же как и симпатии современного читателя, без сомнения, оставались

⁹ Там же, стр. 28.

¹⁰ Шалун, резвый ребенок (латинское *petulans*). — *Прим. ред.*

¹¹ Разговоры разного содержания... стр. 9—10.

до конца на стороне Петулянта. Итогом диалога было не мнимое раскаяние мальчика, а его взволнованные, благородные, полные сдержанного негодования и боли слова: «Так поступать с людьми, а наипаче с нашей братнею мальчиками не гдится, да и бесчеловечное это дело».¹²

Главной целью духовного образования было воспитание церковного мировоззрения. Семинарист должен был стать не только глубоко верующим и богословски образованным человеком, но и активным защитником церкви. Он должен был уметь отразить нападение врага и рассеять сомнения колеблющегося.

В сборнике Тверской семинарии отражена борьба с влиянием деистической философии. Этому посвящен «Разговор о промысле божием».

В душу собеседника А закралось сомнение: вдруг бог, сотворив мир, отказался от руководства вселенной. Его противник В твердо убежден в том, что создатель никогда не перестает печься о своем творении. Происходит следующий обмен мнениями:

В. Сам промышляет бог, везде, всегда, о всем.

А. А что есть промышлять?

В. Хранить вещей порядок.

И силы подкреплять, что б не пришл в упадок.

А. Поэтому о всех печется так творец?

В. О всех поистине печется как отец.¹³

Но не так легко рассеять закравшееся в душу сомнение. Первый собеседник пробует опаривать аргументы противника ссылкой на известное сравнение бога-творца с часовщиком, заводящим часы:

А. А что же часовщик часы как заведет
Исправивши со всем, то прочь от них уйдет;

Не так ли о вся вселенная машине

Нам должно рассуждать и о ее всем чине.

И бог создавши вдруг оставил и забыл

А тем дабы себя напрасно не трудил.¹⁴

В отвергает предположения оппонента:

Хоть правда солнце так как стрелка часовая

Луна ж минутная и время разделяя

Нам светит завсегда; однак того отнюдь

Не думай, чтобы бог не промышлял сам тут:

Итак все действия, которы видим в свете

У бога в промысле, в правлении, в совете.¹⁵

Следующие строки подводят итог разгоревшемуся спору:

А. Так бог о всех вещах свой промысл продолжает?

В. Поистине о всех, что в мире ни бывает.¹⁶

В тверском сборнике, как и в каждой книге, адресованной юному читателю, большое место отведено беседам на моральные темы. Вопросам нрав-

¹² Там же, стр. 12.

¹³ Там же, стр. 33.

¹⁴ Там же, стр. 34.

¹⁵ Там же, стр. 35.

¹⁶ Там же.

ственного воспитания в сборнике посвящены: «Разговор прилежного с ленивым», «Разговор между умным и хвастливым», цикл бесед «Разговоры между печальным и утешающими» и «Разговор между малолетними учениками двоим».

Через все эти произведения красной нитью проходит одна тема: противопоставление двух людей, из которых один ясно мыслит, гордится своим человеческим достоинством, стремится приносить пользу обществу, другой — тунеядец и паразит, мечтающий только о личном благополучии, построенном на труде других людей.

Нравственный облик сибарита и лодыря раскрыт в образах Ленивого и Хвастливого.

Ленивый считает главным благом в жизни «и золото, и серебро, и медь». Заботиться о приобретении всех этих богатств ему нет нужды:

Останит все богатство сыну
При смерти и отец и мать.

«Все твари движутся, трудятся», но это не значит, что должен трудиться и действовать наследник богатых родителей, собственник поместий и крестьян:

Трудом я должен их питаться,
Понеже я им господин.

На замечание собеседника: «то ведь без нашего труда не урожают наши нивы», Ленивец с раздражением отвечает:

Ты кажешься мне скучной бахарь;
Поди, молчи, дай мне покой,
Ведь я не деревенский пахарь,
Пусть сам ходи ты за сохой.¹⁷

Идеал жизни сибарита несложен. Когда прилежный напоминает о старости, которая неизбежно сменит беззаботную молодость, Ленивец цинично заявляет:

Что говорить, я знаю это,
Я человек не без ума.
Весною должно веселиться,
Зимой на печку уберусь;
Довольно мне и в том трудиться,
Что с боку на бок обернусь.¹⁸

Так жили предки, так должны жить и потомки:

Мой дед и без труда был дедом
И состарелся на печи
И я его иду же следом,
А ты не спорь, а помолчи.¹⁹

Таков же жизненный идеал Хвастливого — самовлюбленного малого, упоенного своим благополучием. Он имеет «платья богатого много», у него статная фигура, крепкое здоровье, «все его хвалят». Он любит себя сам собою:

¹⁷ Там же, стр. 16.

¹⁸ Там же, стр. 15.

¹⁹ Там же.

«Нет, как я уберусь нарядно, то ко мне пристало очень изрядно; всяк меня шитает мудрецом, когда выступаю убранным молодцом»,²⁰

Собеседник встречает самовлюбленного ироническими репликами: «голос соловья лучше твоего»; «придет старость, тогда и за неволю сторбишься»; «здоровье и скотам общее».

Той же теме — столкновению трудолюбивого с лодырем — посвящен «Разговор между малолетними учениками двоими». «В науках наше совершенство» — таково убеждение Дилigente (прилежного). «Мне хочется всегда гулять» — простодушно признается Неглигент (небрежный). Маленького лодыря не привлекает ученость: «ученые живут убого». Иначе понимает место науки в жизни его благоразумный товарищ:

Ученые себя познают точно,
Чего невежды лишены.
Те в свете ходят непорочны,
Невежды тьмой погресены.²¹

Особый интерес представляет «Разговор 2-ой» из цикла «Разговоры между печальными и утешающими».

Речь в нем идет об утешении сироты, которому стараются внушить, что потеря родителей вовсе не является безутешным горем, так как бог заменяет ребенка отца и мать. Несмотря на то что основная цель беседы — воспитание покорности и набожности, тема моральная перерастает здесь в тему социальную, оставляя в душе читателя чувство протеста и горечи.

В репликах сироты слышится голос глубоко несчастного и озлобленного человека. Действительность рано обернулась к мальчику своей оборотной стороной. Язвительной усмешкой отвечает сирота на сладкие речи утешителя: «Да, хорошо с стороны философствовать, а хлеба где взять, чем бы сыты быть».²²

На советы молиться сирота бросает следующую едкую реплику: «Я, кажется, и так молитву оную нередко читаю, однак так, как Илья Пророк и ему подобные, пищи чудесно не получаю».²³

Саркастически встречает он увещания безропотно выполнять волю Божию и уподобиться птицам небесным: «Сосед мой, — рассказывает сирота, — однажды на них целый день проглядел, только желудок у него с голоду скрипел, а ни откуда не получил ни пшеницы, ни конопель, а с ними вместе летать способности не имел; а как на другой день на чужую было копну хлеба взлетел, то его не чесно спугнули, да еще и в тюремную клетку посадили».²⁴

На слова о том, что земля — мать человеку, мальчик с горечью замечает: «Ох, страшна эта мать»; «Скучно у такой матери быть».

Во всех диалогах на моральные темы обращает на себя внимание обилие пословиц и афористических выражений. Приведу некоторые из них: по платью встречают, по уму провожают. Павлин красив, да тем несчастлив, что ноги худы. Думы за горами, а смерть за плечами. Сыну глупому не в помощь богатство, аще не купишь мудрости изрядство. Правда глаза колет. Что глухому в музыке, то слепому в цветах. Богатое платье к тому не очень пристало, у кого ума в голове мало и т. д.

Анализ вышеназванных произведений говорит о том, что участники сборника живо реагировали на окружающую действительность. Их интересы далеко не ограничивались тем, что происходило внутри семинарских стен. Хотя книга

²⁰ Там же, стр. 21.

²¹ Там же, стр. 60.

²² Там же, стр. 48.

²³ Там же, стр. 48.

²⁴ Там же, стр. 49.

в целом, казалось бы, ставила целью воспитание веры и нравственности, почти в каждой беседе возникала социальная тема. Критическое отношение к жизни проявилось прежде всего в создании образа отрицательного героя, лодыря и тунеядца, живущего на чужой счет и презирающего труд простого человека.

Но есть в тверском сборнике одно произведение, целиком посвященное социальной проблематике. Таков остро публицистический «Разговор о суде в кукушке», сатира которого направлена на волокиту и продажность суда.

В «Известиях Академии наук» за 1955 год была напечатана работа В. Д. Кузьминой «Неизвестные произведения русской демократической сатиры XVIII века». Среди опубликованных исследовательницей текстов находится «Разговор о кукушке в суде».²⁵ Текст взят из рукописного сборника Государственного исторического музея (ГИМ, Собр. Вахрамеева, № 567), датированного 1789—1792 годами. В развернутом комментарии к публикации автор указал, что все тексты, в том числе и «Разговор о кукушке в суде», «оставались до сих пор неизданными». Утверждение это ошибочно.

Кроме текста, напечатанного в сборнике «Разговоры разного содержания» 1774 года, имеется и вторая публикация этого произведения. В. Колосов в приложении к одной из глав своего труда «История Тверской духовной семинарии» поместил полный текст «Разговора о суде в кукушке». Источником для него послужил рукописный сборник проповедей XVIII в. Разговорам была предпослана приветственная речь, обращенная к посторонним посетителям семинарских торжеств. Это свидетельствует о том, что включенные в рукопись произведения исполнялись во время диспутов.²⁶ Все три редакции диалога «О кукушке в суде» — в тверской книге 1774 года, в работе В. Колосова и в «Известиях Академии наук» — очень немногим разнятся друг от друга. Разночтения сводятся главным образом к перестановке некоторых слов, а иногда к замене одного слова другим.

«Разговор о кукушке в суде» представляет собой не столько обычного рода диалог, сколько рассказ одного из собеседников о пережитых им злоключениях в суде. Поводом к суду явилась драка с товарищем. Поводом к драке — спор о том, кому из двоих кукованье кукушки предвещает несчастье.

Подробный анализ «Разговора о кукушке в суде» дан в работах В. Д. Кузьминой.²⁷ Поэтому мы ограничимся здесь только краткими указаниями на некоторые основные черты, характеризующие это несомненно значительное произведение русской демократической сатиры XVIII века.

Большим достижением анонимного автора явилось умение скупыми красками нарисовать полнокровные образы судебных чиновников. Особенно удачны судья и повытчик. Судья соединяет в себе два, казалось бы, несовместимых свойства: алчность и набожность. Это лицемер до мозга костей. Автор не побоялся в стенах духовного учебного заведения осудить ханжество, ту внешнюю религиозность, которая служит прикрытием злой и корыстолюбивой души. Сама речь судьи, изобилующая уменьшительными и

²⁵ В. Д. Кузьмина. Неизвестные произведения русской демократической сатиры XVIII века. «Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка», т. XIV, вып. 4, 1955, стр. 374—383. Все известные нам тексты диалога (сборник 1774 года, книга В. Колосова, Вахрамеевское собрание) носят название «Разговор о суде в кукушке». В. Д. Кузьмина заменяет это заглавие другим — «Разговор о кукушке в суде».

²⁶ В. Колосов. История Тверской духовной семинарии. Тверь, 1889, стр. 207—211.

²⁷ Кроме названной статьи в «Известиях Академии наук», см. кн.: В. Д. Кузьмина. Русский демократический театр XVIII века. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 32—34, 193.

ласкательными словечками, а по сути своей жестокая и беспощадная, полностью раскрывает характер этого блюстителя правосудия.

Олицетворением другой стороны суда является повытчик. Хитрый и изобретательный, он выведен как правая рука и главная опора судьи. В его лице дана беспощадная сатира на крючкотворство и казуистические приемы судейских чинowników.

Вторая особенность диалога о кукушке в суде, придающая сатире особенную убедительность, это безукоризненная осведомленность анонимного автора в делах судопроизводства. Богатство судебной терминологии свидетельствует о том, что сатирик хорошо знал не только суд прошлых лет, но и современную ему судебную процедуру. Сюжет, положенный в основу рассказа, является не чем иным, как своеобразным, сатирически обыгранным судебным процессом. Перед читателем проходит целая вереница свидетелей, начиная от теленка и жеребенка, кончая убитой лисой, шкура которой отсылается жене судьи.

Не трудно установить литературные традиции, на которые опиралось творчество сатирика. Словарный состав, композиционные приемы, рифмованная пословичная речь — все это говорит о близости «Разговора о кукушке в суде» к народной сказке. Отдельные эпизоды, в частности эпизод с отводом отдельных свидетелей, заставляют предполагать хорошее знакомство автора с пародийной литературой.

Весь ход повествования логически приводит к выводу: «Ой, кокушка! ой, горемычная кокушка! видно ты подьячим хорошая дружка; А нам бедным несчастливая игрушка».

В этих словах потерпевшего заключена идея произведения.

Подведем итоги краткому анализу книги «Разговоры разного содержания прозою и стихами в пользу учащегося юношества, сочиненные в Тверской семинарии».

Содержание сборника отражает значительное влияние демократической мысли и демократических настроений на жизнь Тверской семинарии. Сотни детей сельских священников и дячков, «посадских и купецких детей» приносили в стены училища немалый жизненный опыт, воспоминания о трудном детстве, подчас уязвленное самолюбие, знание, что такое нужда и жизнь впроголодь. Церковные песнопения и церковные проповеди не могли приглушить боли за себя и близких, чувств протеста против несправедливости, царящей вокруг.

Эти наблюдения согласуются с тем, к сожалению, очень немногим, что мы знаем о людях, связанных с семинарской средой.

Талантливый самородок, выходец из бедной посадской среды, Диомид Карманов, несмотря на всю свою наивную приверженность к Екатерине II, в сущности до конца жизни сочувствовал простому народу. Вся его жизнь — борьба за знание, скорбь о невежестве окружающих его людей.

Неизученной остается биография и творчество интересного семинарского поэта и баснописца Федора Модестова. Внутренний мир этого человека раскрывается в одном из его наиболее популярных стихотворений:

Если хочешь ты спокойно
Жизнь свою препроводить,
Постоянно, благостройно
От напасти сохранить;
То с вельможами не знайся,
Вишен с их стола не ешь,
И в карете опасайся
С ними ехать, иди пеш.
Хоть они сперва и греют
Дружески тебя лучем,

Но смотри, рассвирепеют
 Неприятельским огнем.
 Поднесут ти чашу яда,
 Чашу смертныя воды,
 Ты пропал бедняк за гада,
 Вот последствия беды!²⁸ и т. д.

Не исключена возможность, что Модестов был одним из сотрудников сборника 1774 года.

Типичным человеком из народа был преподаватель греческого языка — Иван Евдокимов. С его именем связаны первые, самые трудные годы жизни Тверской семинарии. Педагог по призванию, педагог энтузиаст, неутомимый пропагандист просвещения, беззаветно верящий в его живительную силу, Евдокимов был в вечной борьбе с начальством, подвергался гонениям и оскорблениям. Судьба его была трагична. Он умер в бедности и безвестности. После Евдокимова остался труд, имеющий историческую ценность: «Список иерархов Тверской епархии». В него включен рассказ о суде над Феофилактом Лопатинским — современником автора.

Итак, симпатии к народу, сочувствие к беднякам, ропот против несправедливости и угнетения, жажда знания имели в семинарии глубокие корни. Неудивительно, что они дали свои плоды. Колосов подчеркивает, что в первые десятилетия XIX столетия Тверская семинария пользовалась у правительства дурной славой.

Характерен случай, имевший место в Твери в начале царствования Николая I.

В городе произошло необычайное событие: на жизнь епископа тверского было произведено покушение. Молва считала виновниками преступления звонарей и сторожей, которых епископ отказался спасти от солдатчины. Тем не менее суд отдал в солдаты восемьдесят тверских жителей, из них девятнадцать воспитанников духовной семинарии.

Современники стали свидетелями следующей душераздирающей сцены. Через город стройными рядами, с высоко поднятыми головами шли, сопровождаемые тысячной толпой, осужденные семинаристы. Они пели песню, и слова ее, скорбные и вместе с тем торжественные, далеко разносились по улицам и площадям:

Други, участь решена!
 Мы не вольны боле;
 Жизнь нам горьку суждено
 Проводить в неволе.
 Други, други, не горюйте:
 Бог защитник наш!
 Не воротят нас теперь
 В храм наук священный,
 И впоследствии слышит Тверь
 Голос наш смущенный.
 (Припев)
 Голод, мраз, палящий зной
 В возрасте незрелом,
 Со врагом кровавый бой
 Будет нам уделом.
 (Припев)
 Ты господь, защитник будь
 Нам в путях опасных,
 И всемудрый не забудь

²⁸ В. Колосов. История Тверской духовной семинарии, стр. 185—186.

Сирых и злосчастных.

(Привев)

Ты прости, отец и мать,

В путь благословите,

Чтоб несчастий избежать,

Бога вы молитесь!

(Привев)²⁹

Эта полная драматизма песня родилась несомненно в семинарской среде. Таковы были потомки тех поэтов, которые за шестьдесят лет до этого, в годы Арсения Верещагина — основателя «Тверского Парнасса», сочиняли стихи для школьных диспутов.

Рассматриваемый сборник имеет для нас ценность еще в одном отношении. Издатель и составитель его не собирався ограничить читательскую аудиторию исключительно воспитанниками духовных школ. «Разговоры разного содержания» адресованы «в пользу учащегося юношества», т. е. имеют в виду школу любого типа и даже семью. Это оправдывало включение 1-го сборника в библиографию детской и юношеской литературы.³⁰

В семидесятые годы XVIII века вышло в свет не более 25 книг (переводных, в меньшем количестве оригинальных), предназначенных для всех возрастов, включая подростков. Книги, адресованные юному читателю, в первой половине 70-х годов насчитывались единицами.³¹ Значение сборника Тверской семинарии еще более возрастает, если мы сопоставим его с книгами, опубликованными одновременно с ним.

В 1774 году вышли в свет следующие издания для детей и юношества: «Юношеское училище, или нравоучительные разговоры между разумною учительницею и многими знатыми ученицами» Ле Пренс де Бомонт; «Наставление младенцам» А. Сумарокова; «Краткое понятие о всех науках для употребления юношества»; «Нравоучительные басни, выбранные в пользу благородных воспитанников импер. Сухопутного шляхетского корпуса».

Дворянский характер перечисленных книг несомненен. На этом фоне еще ярче выступает демократическая направленность ряда произведений сборника. Если мы обратимся даже к быстро растущей и сравнительно богатой детской литературе 80-х и 90-х годов XVIII века, то и там мы найдем немного произведений, равных по сатирической остроте «Разговору о суде в кукушке» или беседе утешающего с сиротой. Все это делает «Разговоры разного содержания» значительным явлением русской литературы для детей и юношества.

В заключение рассмотрим еще один вопрос, который нельзя обойти.

Внимание как дореволюционных, так и советских исследователей давно привлекали детские и отроческие годы И. А. Крылова. И это не случайно. В биографии великого баснописца ранние годы приобретают особое значение, так как именно в них лежит разгадка некоторых особенностей творческого развития писателя.

Первое произведение И. А. Крылова «Кофейница» было написано юношей, почти мальчиком. Однако в песне уже выявились основные черты, характерные для всего последующего творчества И. А. Крылова: сатирическая острота, демократизм, тонкое чувство народного языка.

²⁹ В. Колосов. Прошлое и настоящее г. Твери. Тверь, 1917, стр. 100—101.

³⁰ О. В. Алексеева. Библиография русской детской книги (1717—1854). В кн.: Материалы по истории детской литературы. Под ред. А. К. Покровской и Н. В. Чехова, т. I, вып. 2. М., 1929, стр. 106, № 1233.

³¹ Данные весьма приблизительны, так как часто трудно провести границу между учебником и детской книгой для чтения.

Откуда пришла эта зрелость? Только ли талант предопределил развитие юноши? Всякий талант, как бы он велик ни был, нуждается для своего роста в соответствующей обстановке и среде. Нередко предпосылки деятельности взрослого человека заложены в его детстве.

Перед исследователями творчества Крылова, в частности начального периода его деятельности, по-прежнему стоят две задачи: во-первых, розыски новых фактов, во-вторых, подробное изучение культурной жизни Твери. В последнем плане книга «Разговоры разного содержания» дает некоторый новый материал.

И А. Крылов жил в Твери с 1775 по 1783 год. Это было время наибольшего расцвета Тверской семинарии под руководством Арсения Верещагина. О возможной связи маленького Крылова с семинарией, о посещении им диспутов, о вероятном влиянии на него семинарских представлений, в частности «Разговора о кукушке в суде», говорил еще А. К. Жизневский в докладе, посвященном 50-летию со дня смерти великого баснописца (9 XI 1894). Эти мысли были поддержаны советскими учеными: А. В. Западovým, А. В. Десницким.³² «Разговоры разного содержания» расширяют и углубляют наши представления о тверских диспутах. Мало того, книга — свидетельство большой творческой жизни, которая шла в стенах семинарии. Весьма вероятно, что многое из того, чем жили семинаристы, не было до конца известно их духовным руководителям. Книжка, изданная в 1774 году в Петербурге, несомненно попала потом в родной город, ее могли читать дети и учащаяся молодежь. Мог читать ее и Крылов.

В добавление укажем еще на одно обстоятельство. Изучая биографию И. А. Крылова, мы проходим мимо имени Д. И. Карманова. Между тем отец баснописца А. П. Крылов, председатель губернского магистрата, мог быть связан с Кармановым, который в те годы был первым тверским нотариусом. Карманов обладал великолепной библиотекой³³ и был страстным пропагандистом книги. Может быть, эта тоненькая нить поможет исследователям установить новые факты, относящиеся к детству великого баснописца.

³² А. К. Жизневский. Поминки по Иване Андреевиче Крылове. Читано на заседании Тверской ученой архивной комиссии. Тверь, 1895, стр. 8; А. В. Десницкий. Крылов-баснописец. Этюды о творчестве И. А. Крылова. «Ученые записки Государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. VII, Л., 1937, стр. 7—54; А. В. Западový. И. А. Крылов. Изд. «Искусство», 1951, стр. 8.

³³ Библиотека тверского археолога XVIII века Д. И. Карманова. Сост. В. Колосов. Тверь, 1907, 18 стр.

Н. Д. КОЧЕТКОВА

«ЛЮБОСЛОВ» — СОТРУДНИК «СОБЕСЕДНИКА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СЛОВА»

Во II части «Собеседника любителей русского слова» появилось «Послание к господам издателям Собеседника от Любослова»,¹ в котором подвергались критике многие произведения, напечатанные в I части, в том числе «Фелица» Державина и даже «Записки касательно Российской истории» Екатерины II. Все замечания в основном имеют лингвистический характер и в большинстве случаев вполне справедливы. Однако издатели (Е. Р. Дашкова и Екатерина II), много говорившие о развитии русского языка, встретили эту критику очень неблагоприятно. Перед статьей Любослова было помещено небольшое вступление насмешливого характера, где отмечалось, что неизвестный автор «своих сочинений в замену неисправных не изволит обещать».²

Любослов, однако, поместил в VII части журнала свое собственное сочинение под названием «Начертание о Российских сочинениях и российском языке».³ Автор говорит здесь о древности русского языка, о его достоинствах, подбирает довольно удачные соответствия некоторых слов в русском и латинском языках. Вся работа проникнута патриотизмом, искренней заботой о развитии родного языка.

Анализируя эту статью с лингвистической точки зрения, С. К. Булич признавал, что многие положения Любослова «свидетельствуют об известной вдумчивости их автора и в более строгой формулировке могут быть приняты и современным языкознанием».⁴ Н. А. Добролюбов указывал: «... из самого изложения дела видно, что автор серьезно занимался исследованиями филологическими».⁵

Оба выступления Любослова тотчас же вызвали целый град насмешек. На страницах «Собеседника любителей русского слова» началось прямое издевательство над Любословом, прежде всего со стороны самой Екатерины, а за нею и других, в том числе Дашковой.⁶

¹ «Собеседник любителей русского слова», СПб., 1783, ч. II, стр. 103—117. Дальше ссылки на этот журнал, выходивший в 1783—1784 годы, даются сокращенно: «Собеседник», часть...

² Там же, стр. 104.

³ Там же, ч. VII, стр. 142—161.

⁴ С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России, т. I. СПб., 1904, стр. 286.

⁵ Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. I. ГИХЛ, М.—Л., 1934, стр. 78.

⁶ «Собеседник», ч. III, стр. 132—133, 142, 151; ч. IV, стр. 157; ч. VII, стр. 137; ч. VIII, стр. 28, 55—63, 152—155; ч. IX, стр. 10—16. См. также продолжение «Былей и Небылиц» и «Ежедневной записки общества незнаю-

Для императрицы автор статьи был только скучным «педантом», проявившим к тому же большую дерзость. По замечанию Я. К. Грота, он был «из критиков „Собеседника“ всех неприятнее издателям и сотрудникам».⁷

Насмешки вызывала серьезность Любослова и особенно его стиль, слишком торжественный и тяжеловесный. Посмеявшись над ним с бесцеремонностью сильного, Екатерина продолжала оставаться в своем ореоле «покровительницы просвещения». Политического значения выступлению Любослова, конечно, придавать незачем, но реакция на него со стороны императрицы очень показательна: здесь еще раз обнаружилась фальшь ее показных забот о развитии русского языка, русской науки и образования.

Из сказанного явствует, что Любослов — лицо, заслуживающее внимания исследователя. И действительно, в критической литературе уже давно было высказано несколько разных догадок о том, кому мог принадлежать этот псевдоним. В словаре И. Ф. Масанова (2-е издание) он приписывается академику И. И. Лепехину, а ссылка дается на указание Л. Майкова в статье «Несколько данных для истории русской журналистики».⁸ Но сам Майков, в свою очередь, опирается лишь на замечание митрополита Евгения о сотрудничестве Лепехина в «Собеседнике», где он якобы поместил много своих статей.⁹ Однако Н. А. Добролюбов справедливо считал, что митрополит Евгений мог ошибиться в данном случае, «как ошибся он, сказав, что в „Собеседнике“ помещена была речь кн. Дашковой, говоренная ею при учреждении Российской Академии».¹⁰ Кроме того, следует учесть, что И. И. Лепехин слишком много времени уделял научным путешествиям и обработке своих материалов. Деятельность его в области филологической науки сводилась в основном к участию в работе над составлением словопроизводного Словаря (будучи Непременным секретарем Российской Академии, он просто не мог остаться в стороне от этого большого дела), причем он толковал преимущественно слова, относящиеся к естественной истории.¹¹ А Любослов — это человек, который очень много и кропотливо занимался непосредственно филологией; следовательно, это едва ли мог быть Лепехин.

Ценные замечания по вопросу о принадлежности псевдонима высказал Я. К. Грот. Говоря о Лепехине и Румовском как о возможных авторах «Начертания», исследователь сам же указывает на малоосновательность таких предположений.¹² Правда, Я. К. Грот обращает внимание на слова Любослова о том, что «знание вещественных наук превосходит красоту речей» и делает из этого вывод: «Главным предметом его занятий была однако ж, по-видимому, не филология, а естествознание или математика».¹³ Далее Я. К. Грот отмечает, что метафоры Любослова предполагают знакомство его с оптикой и астрономией. Все это очень интересно, но требует некоторого уточнения.

ших», опубликованное по рукописи А. Н. Пыпиным в «Сочинениях императрицы Екатерины II» (т. V, Спб., 1903, стр. 161—163, 211—213).

⁷ Я. К. Грот. Жизнь Державина. Спб., 1880, стр. 328.

⁸ Л. Майков. Несколько данных для истории русской журналистики. Спб., 1876, стр. 38—39.

⁹ Митрополит Евгений. Словарь русских светских писателей, т. II. М., 1845, стр. 10.

¹⁰ Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 40.

¹¹ В. Поленов. Краткое жизнеописание И. И. Лепехина. «Труды Императорской Российской Академии», 1840, ч. II, стр. 205—216.

¹² Я. К. Грот. Жизнь Державина, стр. 331. При ссылке на эту работу И. Ф. Масанов по ошибке называет рядом с именами Лепехина и Румовского имя Н. П. Румянцева.

¹³ Там же, стр. 330.

Любослов не говорит о преимуществах какой-то определенной науки, но настойчиво проводит идею о том, что мысли важнее слов, что содержание имеет большее значение, чем форма: «Демосфены и Цицероны не столь красноречием своим, сколь силою и важностью чистого нравоучения обращали внимание к своим речам».¹⁴

Итак, вывод Я. К. Грота можно сформулировать иначе: Любослов, серьезно занимавшийся филологией, был достаточно хорошо осведомлен и в естественных науках.

Сделав эти ценные наблюдения, Я. К. Грот приписывает псевдоним Ивану Морозову, который в 1783 году служил в Кабинете при собственных делах и у принятия прошений при Храповицком. «Что ему не чужды были как словесные, так и естественные науки, — пишет Я. К. Грот, — видно из его двух переводов с немецкого „Сокращение всех наук“ и „Философическое рассуждение о перерождении животных“».¹⁵

Основа этого предположения — недатированное письмо Дашковой к Екатерине: «Я припоминаю теперь, что Ваше Величество третьего дня сказали мне, будто я рассердилась на Морозова, и так как из этого вы можете заключить о моем дурном расположении духа, то я должна объяснить Вашему Величеству всю правду. Я Морозова не знаю, и он почти одну меня щадил в своих критиках: из этого вы усмотрите, что я не имела причины на него сердиться и что мне напрасно приписывали это чувство».¹⁶

Однако есть соображения, ставящие под сомнение гипотезу Я. К. Грота. Во-первых, нужно помнить, что издатели часто сами не знали авторов присылаемых к ним статей, а в своих догадках нередко ошибались. Так, например, «Вопросы» Фонвизина приписывались сперва И. И. Шувалову, а произведения С. П. Румянцева — его брату Н. П. Румянцеву. Во-вторых, опровержение письма Дашковой относится, по всей вероятности, к декабрю 1783 года — периоду подготовки IX части журнала. В это время Екатерина проявляла немилость к Дашковой из-за ее разлада с Нарышкиным и забрала обратно свои статьи, предназначенные для «Собеседника». Дашкова в полной растерянности и смятении умоляла императрицу о прощении. Желая угодить государыне, она поместила в IX части свои «Записки разносчика», о которых Екатерина благосклонно заметила: «Читая статью разносчика, я готова была бы побожиться, что она вышла из-под моего пера».¹⁷ Но именно здесь, в этой статье, было немало насмешек в адрес Любослова. Значит эти насмешки радовали, а не раздражали Екатерину.

Таким образом, каждая из приведенных гипотез о принадлежности псевдонима тому или иному лицу оказывается довольно уязвимой.

В настоящее время П. Н. Берков высказал догадку о том, что Любослов — это епископ Дамаскин (Дмитрий Семенов-Руднев). В подтверждение этой гипотезы можно привести много аргументов.

Прежде всего в статьях Любослова бросаются в глаза многочисленные ссылки на Ломоносова. Последний является для критика непрерываемым авторитетом. Еще в своей первой работе — «Послании» Любослов заявлял: «Не думайте, что противоположения сии суть нечто новое, что оне суть мечта тщеславия — нет — оне основаны на правилах, приобретенных тщательным наблюдением и проницательным исследованием преобразителя Российского слова»¹⁸ (т. е. Ломоносова). Безусловно, имя Ломоносова в то время было

¹⁴ «Собеседник», ч. VII, стр. 145.

¹⁵ Я. К. Грот. Жизнь Державина, стр. 330.

¹⁶ П. П. Пекарский. Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II. СПб., 1863, стр. 78. (Приложение к III тому Зап. Имп. АН, № 6).

¹⁷ Там же, стр. 32—33.

¹⁸ «Собеседник», ч. II, стр. 117.

широко популярно, для многих он был непревзойденным образцом. И все же едва ли было много людей, которые могли так безапелляционно ссылаться на Ломоносова в спорных вопросах грамматики и стиля русского языка, как это делал Любослов. Вместе с тем известно, что незадолго до выступления Любослова, в 1778 году, Дамаскин подготовил и издал собрание сочинений Ломоносова. Это было издание, совершенно замечательное для того времени и даже превосходившее многие последующие собрания сочинений.

Теперь снова обратимся к замечаниям Я. К. Грота о том, что Любослову были не чужды и другие науки, кроме филологии. Этот факт вполне сопоставим с фактами биографии Дамаскина, который во время своего пребывания в Геттингене (1766—1773) слушал лекции по опытной физике, всеобщей и европейской истории, статистике и математике.¹⁹

Я. К. Грот указывает, что у Любослова «довольно верные сведения о славянских народах», а это было тогда редкостью. Однако Дамаскин в своем предисловии к «Библиотеке Российской» упоминает многие из тех народов, которые названы Любословом: венды, моравы, болгары, литвяне.²⁰

В Геттингене Дамаскин, избранный за свои студенческие работы в члены Исторического собрания, получил диплом, характеризующий его как «человека, в разных науках, а наипаче в исторических, хорошие сведения имеющего».²¹

Учитывая все эти биографические данные, следует, однако, отметить, что во время печатания как I, так и II части журнала «Собеседник» Дамаскин находился в Севской епархии. Вместе с тем известно, что он живо интересовался всеми событиями умственной жизни русского общества и, по-видимому, постоянно был в курсе этих событий.²² Кроме того, не исключена возможность, что в период май—июнь 1783 года Дамаскин приезжал в Петербург, тем более что вскоре (в сентябре 1783 года) был издан указ о переводе его в Нижний Новгород.

Любослов высказывает мысль о необходимости совершенствования родного языка и предлагает для этого два основных способа: 1) изучение мастерства отечественных писателей; 2) уграждение в переводах, прежде всего с греческого и латинского языков. Примерно об этом же Дамаскин говорит в своем предисловии к собранию сочинений Ломоносова.²³

Интересно также сравнить отрывок из сочинения Любослова (обративший как раз на себя внимание Я. К. Грота) с переводом Дамаскина книги Суальцера «О полезном с юношеством чтении древних классических писателей мнение».

Любослов

Вообще нужно прилагать старание как о словах, так и о мыслях; но о последних больше, нежели о первых. Ибо сколь тень хуже тела, и сколь живописное изображение

Дамаскин

...сие [мастерство красноречия] не в качестве его выражения, не в фигурах и изображениях, но в самых мыслях. Не тот есть великий оратор, который правила риторические знает,

¹⁹ Я. Горожанский. Дамаскин, Семенов-Руднев, епископ нижегородский (1737—1795), его жизнь и труды. Киев. 1894, стр. 68—71.

²⁰ Дамаскин (Семенов-Руднев). Библиотека Российская. Памятники древней письменности, т. XI, СПб., 1881, стр. 3.

²¹ М. И. Сухоминов. История Российской Академии, ч. I. СПб., 1874, стр. 151—153.

²² Там же, стр. 181.

²³ В кн.: М. В. Ломоносов, Собрание разных сочинений, т. I. М., 1788, л. 3 об.

уступает натуральным вещам, столь знание вещественных наук превосходит красоту речей.²⁵

но которого мысли и идеи от глубокого проникания в натуру человеческую... от великого знания света и того общества, в котором он живет, ... происходят.²⁴

Конечно, первоисточником этих высказываний следует считать «Риторику» М. В. Ломоносова, с которой Дамаскин, безусловно, был прекрасно знаком. Подобные мысли выражены в §§ 46, 130, 146, 180 «Риторики». Так, например, в § 180 говорится, что «больше должно наблюдать явственную и живое изображение идей, нежели течение слов».²⁶

И Дамаскин, и Любослов признают неоспоримым, что в русском языке «писмены начались пред латинским гораздо позже»;²⁷ Любослов занимается сопоставлением слов русского и латинского языков, попытавшись даже доказать, что русский более древний язык, чем латинский. В связи с этим, заслуживает внимания указание на несохранившееся сочинение Дамаскина, самое название которого очень характерно: «О следах славянского языка в писателях греческих и латинских». Интересно свидетельство М. И. Сухомлинова об участии Дамаскина в работе над словопроизводным словарем. По поводу слова «память» в Российской Академии разгорелся спор, и Дамаскин в письменном виде изложил свое мнение по этому вопросу. Он сопоставлял русское слово «помню» с соответствующим греческим и доказывал, что разница в их значениях появилась от «разномысленного употребления сего глагола у греков и славян».²⁸ Все это очень напоминает приемы Любослова.

Однако если Любослов — это Дамаскин, то должны быть какие-то соответствия в стиле этих авторов, а главное, в их словоупотреблении. Проследить это тем более важно, что стиль Любослова, как говорилось выше, вызывал бесконечные издевательства.

Большинство насмешек касалось первого длинного периода «Начертания». В этом предложении около семидесяти пяти знаменательных слов. Начинается оно так: «Эпоха нынешнего времени, в которое лучи мысленного света, разливающиеся из общего средоточия и озаряющие с большею, нежели когда-нибудь, силою обширные Российские пределы, сильным преломлением в умах Россиян возбуждают стремительное рвение к нравственному просвещению...».²⁹ Предисловие к «Библиотеке Российской» Дамаскина, наоборот, написано лаконичным языком. Однако в проповедях Дамаскина, например в его «Слове о любви к отечеству», «Слове о средствах утешения в прискорбной жизни» и др., тоже есть достаточно длинные и торжественные периоды (достигающие сорока-пятидесяти знаменательных слов). «Начертание» — это страстное, проникнутое глубоким чувством патриотизма обращение к читателю, и в этом смысле оно, конечно, приближается к жанру проповеди. При этом нужно отметить, что упомянутый выше период — единственный в сочинении по своей длине и запутанности. Во II части, где Любослов излагает свою критику, предложения как раз совсем не длинные и очень простые по конструкции.

²⁴ Дамаскин. О полезном с юношеством чтении древних классических писателей мнение. СПб., 1774, стр. 36.

²⁵ «Собеседник», ч. VII, стр. 145.

²⁶ В. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 245.

²⁷ «Собеседник», ч. VII, стр. 151.

²⁸ М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. I, стр. 182—183.

²⁹ «Собеседник», ч. VII, стр. 143.

Не будем останавливаться на сходстве синтаксиса и риторических приемов Дамаскина и Любослова, так как здесь проявляется часто только следование традиционным правилам. Гораздо показательнее словоупотребление.

Почти каждый раз, когда на страницах «Собеседника» заходила речь о Любослове, насмешливо повторялось прежде всего слово «средоточие», употребленное им в неудачном первом периоде. В «Ежедневной записке общества незнающих» одному этому «средоточию» посвящаются несколько страниц: «О средоточии в палате без чутья мнения были разделены, один член представлял, яко у некоторых народов средоточие колодезь или ключ. Другой оспорив говорил, что средоточие земного шара, по сказанию китайцев, есть Китайское государство. Третий толковал, будто средоточие, быв составлено из двух слов „среди“ и „точие“, свойственное мельничному действию или токарному станку, откуда натягивал сходство к оси земной, о солнечном круге и средоточии всякого круга...»³⁰ и т. д.

Очевидно, всем это слово казалось диким и странным. Действительно, оно не имело широкого употребления. В «Лексиконе» Вейсмана (1731) «Mitte», «meditum» переводятся по-русски словами «середина», «посредство». В «Кратком словаре славянском» игумена Евгения (1784) «средоточие» приводится как устарелое слово, требующее пояснений («средняя точка в кругу, центр»). Словарь Академии Российской (1794) указывает довольно узкое его значение: «...средняя точка или точка, равно от краев отстоящая». Примеры даются только такие: «средоточие земли», «средоточие круга».

Во всяком случае это устарелое и странное для современников слово встречается у Дамаскина: «По святым их [законов] предписаниям всеобщее благоденствие и каждого сочлена спокойствие есть *средоточие* всех его действий и всех его намерений...»³¹

Кстати, можно заметить, что в статье Румовского «О системе мира», напечатанной в том же «Собеседнике», несколько раз употреблены слова «середина» и «центр», но «средоточие» не встречается ни разу.

Таким образом, употребление слова «средоточие» подтверждает предположение, что Любословом мог быть Дамаскин, хотя и не доказывает этого; тем более, что и Иван Морозов, о котором говорил Я. К. Грот, этим странным устарелым словом переводит на русский язык немецкое слово «ein Punkt» в книге Сульцера «Сокращение всех наук». Правда, других ярких соответствий в языке перевода Морозова и статей Любослова нет. Морозов даже допускает некоторые неточности в падежах, против чего так восстает Любослов.

Сравнив тексты Любослова и Дамаскина, можно указать на совпадение следующих характерных выражений: «поприще российской учености» у первого и «поприще учения», «богатство учености» у второго.³²

У обоих авторов встречаются также малоупотребительные эпитеты «мысленный» и «стремительный»: «лучи мысленного света», «стремительное рвение» у Любослова; «представим пред мысленные очи», «стремительное действие любви» у Дамаскина.³³ Даже в предисловии к «Библиотеке Российской» Дамаскина встречается такое довольно редкое, но употребленное и Любословом, слово, как «вышепоказанные».³⁴

Совпадение в самых мелких незначительных деталях иногда представ-

³⁰ Там же, ч. VIII, стр. 57.

³¹ Дамаскин. Проповеди. М., 1783, стр. 30.

³² «Собеседник», ч. II, стр. 32; Дамаскин. Проповеди, стр. VI, VIII.

³³ «Собеседник», ч. VII, стр. 143; Дамаскин. Проповеди, стр. 131; Дамаскин. Слово о любви к отечеству. М., 1776, стр. 11.

³⁴ «Собеседник», ч. VII, стр. 155; Дамаскин (Семенов-Руднев). Библиотека Российская, стр. 2.

ляется особенно убедительным. Так, например, у Любослова есть древняя форма творительного падежа множественного числа: «обращать их [речения] в сложении разными *образы*». И у Дамаскина эта же форма оказалась в том же словосочетании: «Бога умиловить старались древние народы разными *образы*».³⁵ Заметим, что у Морозова в переводе есть словосочетание: «разными *способами*».

Каждое из сделанных наблюдений, вероятно, не так уж существенно само по себе. В настоящей заметке нет неоспоримых доказательств и категорических утверждений. Однако сопоставив все сказанное, нельзя не присоединиться к гипотезе о том, что псевдоним «Любослов» принадлежит скорее всего епископу Дамаскину.³⁶

³⁵ «Собеседник», ч. VII, стр. 147; Д а м а с к и н. Проповеди, стр. 186.

³⁶ Вполне возможно, что малоизвестный Иван Морозов был воспитанником Московской духовной академии, ректором которой был Дамаскин. Отсюда, может быть, и происходят некоторые общие черты языка обоих писателей.

П. Р. ЗАБОРОВ

НЕИЗДАННАЯ ПОЭМА М. В. ХРАПОВИЦКОГО. «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА»

Михаил Васильевич Храповицкий принадлежит к числу полузабытых русских поэтов конца XVIII века. До настоящего времени его биография почти не изучена, а творчество не осмыслено. Мало того, значительная часть им созданного нигде не собрана и даже не напечатана. Между тем и жизненный, и творческий путь этого «поэта-философа» представляет несомненный историко-литературный интерес. Независимый в своих поступках и суждениях, безразличный к наградам и почестям, он ненавидел светскую суету и прожил большую часть жизни в сельском уединении, лишь издали следя за политическими и литературными событиями и время от времени на них откликаясь. Вместе с тем в его творчестве с очевидностью отразились некоторые из новых для литературы XVIII века тенденций, в своей совокупности получивших впоследствии название русского преромантизма.

М. В. Храповицкий родился 17 сентября 1758 года в семье Василия Ивановича Храповицкого, «лейб-кампанца», возведенного в 1746 году в дворянское звание.¹ Старшим братом его был Александр Васильевич Храповицкий, с 1783 по 1793 год статс-секретарь Екатерины II и автор знаменитого «Дневника»;² сестра Мария Васильевна Сушкова была писательницей и плодотворной переводчицей, впервые познакомившей русского читателя с произведениями Мармонтеля, Дезюльера, Мерсье, Петрарки, Мильтона, Аддисона, Юнга и др.³ Именно под воздействием М. В. Сушковой, одной из образованнейших женщин своего времени, Храповицкий, по собственному признанию, уже в ранней юности пристрастился к чтению «хороших книг».⁴ «Пристрастие» это он сохранил до конца своих дней, проявляя неизменный интерес к новинкам русской и западноевропейских (преимущественно французской и английской) литератур.

Свою литературную деятельность Храповицкий начал в четырнадцатилетнем возрасте⁵ переводом комедии Карло Гольдони «Ворчун-благодетель», написанной на французском языке («*Le bourgeois bienfaisant*», 1771).⁶ В следующем

¹ «Раут». Книга третья. Исторический и литературный сборник. М., 1854, стр. 139—140.

² Там же, стр. 125—138; Д. Н. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей русской земли, ч. III. СПб., 1847, стр. 503—508.

³ Д. Л. Мордовцев. Русские женщины нового времени. Женщины второй половины восемнадцатого века. СПб., 1874, стр. 167—170; Н. Н. Голыцын. Словарь русских писательниц. 1759—1859. СПб., 1889, стр. 241—242.

⁴ «Раут на 1852 год». М., 1852, стр. 206.

⁵ Содержащееся в автобиографии М. В. Храповицкого указание: «На 16 году я начал писать» относится, по-видимому, к его оригинальному творчеству.

⁶ Благодетельный грубиян из театра г. Голдония. Перевел с французского Михайло Храповицкий. СПб., 1772.

году появляется другой его перевод — одноактная комедия Серу «Любовник, сочинитель и слуга» («L'Amant, auteur et valet», 1740).⁷ Оба перевода были выполнены в классической манере и представляли собой типичный образец «склонения» иностранных сочинений на русские нравы: Жеронт — герой «Ворчуна-благотетеля» у Храповицкого превратился в Германа, Даванкур — в Мягкосердова, Анжелика — в Прелесту; персонажи комедии Серу — Эраст, Мондор, Люсинда, Лизетта и Фронтен оказались соответственно переименованными в Семилу, Златогору, Постану, Дарью и Ивана и т. п. Благодаря переводам Храповицкого обе комедии получили широкую известность в русской читательской среде, в этих переводах — на протяжении многих лет — они с огромным успехом ставились на русской сцене.⁸

В 1780 году в «Академических известиях» была помещена обширная философская ода Храповицкого «Вечность» («О, цель всеобщая людей...») — одно из ранних свидетельств увлечения русских писателей «Ночными мыслями» Эдуарда Юнга.⁹

В последующие десятилетия Храповицкий почти ничего не публиковал; за время с 1780 года до смерти поэта (20 февраля 1819 года) в свет вышло всего лишь несколько его небольших сочинений: сатирический «Разговор уездных дворян о выборе в судьи» (1790),¹⁰ ода «Весна» (1801), а также «Слово похвальное императрице Екатерине II» (1802).¹¹ Но писал Храповицкий много и притом в самых разных жанрах. Некоторые из этих «сочинений для себя» были в середине XIX века опубликованы племянником поэта Н. В. Сушковым. Тогда же появились в свет его автобиография и часть его эпистолярного наследия, в том числе и его любопытная переписка с братом. Ряд неизвестных материалов был также включен Н. Ф. Дубровиным в изданные им в 1883 году «Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I».¹²

Среди произведений Храповицкого, напечатанных Сушковым, наибольшую ценность имеет «Ода на достопамятное в России постановление о состоянии свободных хлебопашцев», в которой с отчетливостью проявилось отрицательное отношение поэта к крепостному праву,¹³ и «Философские раздумья» «Плод моего уединения» — своего рода дневник, в котором оригинальные рассуждения — в прозе и стихах — чередуются с выписками из всевозможных нравственно-философских сочинений.¹⁴ Бренность земного бытия, «здешней жизни человеческой», людские страсти, пороки и добродетели, «цветы жизни сей» и «терния» ее, «слабость человеков», их нравственное достоинство и «должность» — такова постоянная тема этих рассуждений, во многом сходных с уже названной одой «Вечность», и, так же как и она, отчасти напоминающих стра-

⁷ Любовник, сочинитель и слуга, комедия в одном действии, переведена с французского Михайлом Храповицким. СПб., 1773.

⁸ Драматический Словарь. М., 1787. стр. 25, 75—76. См. также: Е. Стронская. Гольдони на русской и советской сцене. В кн.: Карло Гольдони. Комедии. т. II. Изд. «Искусство». Л.—М., 1959, стр. 665—666.

⁹ «Академические известия», 1780, ч. V, стр. 77—84.

¹⁰ См.: «Русский архив», 1898, № 10, стр. 248.

¹¹ См.: «Русская старина», 1897, № 11, стр. 306.

¹² Н. Ф. Дубровин. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (с 1807—1829 год). СПб., 1883, стр. 5, 6, 20, 21, 69, 70, 128, 129, 191, 192.

¹³ «Библиографические записки», 1858, т. I, стр. 373—378. См. также «Чтения в Обществе истории и древностей Российских», 1858, т. II, стр. 183—184. По завещанию Храповицкого 260 принадлежавших ему крестьян с семьями были отпущены на волю. См.: Н. В. Варадинов. История Министерства внутренних дел, ч. II, кн. I. СПб., 1859, стр. 618.

¹⁴ «Раут на 1852 год», стр. 225—259.

стный, исполненный глубокого драматизма монолог Юнга («Июнга», как писал в своей автобиографии Храповицкий).

В статье «М. В. Храповицкий и М. И. Сердюков», написанной на основе документальных материалов и семейных преданий, Н. В. Сушков сообщал, между прочим, о том, что в его распоряжении имеется несколько неопубликованных стихотворений Храповицкого. Полагая, что в большинстве своем они «по языку и, так сказать, пошибу слишком устарели, чтоб их печатать теперь, и могут разве пригодиться для истории литературы», он заключал статью следующими словами: «Душевно готов всякому, кто возьмется писать историю литературы, отдать все стихи Храповицкого, который, кроме од и элегий, оставил и довольно длинное стихотворение: „Четыре времени года“, в роде Томсона и Томасса».¹⁵

Однако за истекшее столетие рукописное наследие Храповицкого так и не привлекло к себе ничего внимания. Неизданной осталась и его поэма «Четыре времени года», насчитывающая без малого 1000 строк.

Поэма эта, по-видимому, создавалась на протяжении почти всей творческой жизни Храповицкого. Первые наброски ее относятся к 1777 году. Заключительные строки написаны в 1804 году. Однако возможно также, что вся поэма в ее окончательном виде была завершена позднее, а к 1804 году был создан только ряд более или менее самостоятельных фрагментов, впоследствии в нее включенных. Во всяком случае целиком поэма существует сейчас лишь в одном списке, который представляет собой беловую автографическую рукопись, судя по филигране на бумаге (литерная часть ее — МОКФ Е. Б.: Московский округ Колпинская фабрика Елизаветы Баташевой; сюжетный элемент — герб Баташевых; цифровой — 1816), относящуюся к 1816 году или двум-трем последующим. По сравнению с первоначальными набросками в этом окончательном тексте имеется довольно большое количество разного рода изменений и исправлений.¹⁶

Поэма «Четыре времени года» была написана в период становления в русской поэзии так называемого дескриптивного (описательного) жанра. Этот процесс, обусловленный потребностями русской литературы, стремлением обновить русскую поэзию — пока еще в пределах классицизма — стимулировал, между прочим, усвоение аналогичного западноевропейского материала, появление русских переводов из Томсона, Геснера, Сен-Ламбера, Делиля и многочисленных подражаний им. Не без воздействия английской и французской описательной поэзии создавалась и поэма Храповицкого. О его знакомстве с «Временами года» Томсона, правда, ничего не известно. Но он не мог, разумеется, пройти мимо этого столь знаменитого произведения и читал его или во французском переводе г-жи Бонтан (1759)¹⁷ или в русском переводе И. А. Дмитриевского (1798).¹⁸ Что же касается его интереса к Делилю, то об этом убедительно свидетельствует одно из напечатанных Н. В. Сушковым писем А. В. Храповицкого, относящееся, по-видимому, к началу 1800-х годов. «За слабостью глаз, — писал А. В. Храповицкий брату, — вы не хотели купить книг из моей библиотеки, но теперь требуете „L'homme des Champs“, которую при сем посылаю. — Известны ли вам прочие поэмы Г. Делиля: *Les jardins, sur la Pitié, sur l'Imagination*?

¹⁵ Там же, стр. 219.

¹⁶ В настоящее время поэма хранится в Отделе рукописей Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ), ф. 323, папка 1353, № 14.

¹⁷ О дескриптивной поэзии во Франции см.: Margaret M. Cameron. *L'influence des «Saisons» de Thomson sur la poésie descriptive en France*. Paris, 1927.

¹⁸ См.: E. J. Simmons. *English literature and culture in Russia (1553—1840)*. Cambridge, 1935, Ch. VII.

Деспро властительно надменным лиры звоном,
 В искусстве для стихов соделался законом;
 Виргилий же в полях учил нас чрез труды
 Из медленных растить скорейшие плоды;
 Но услаждению прелестному полями.
 Как можно научить? могу ли я стихами
 Внушенью наших чувств пределы предписать?
 Спешу приятный вид природы начертать,
 Чтоб смертные себя красой ее пленили,
 Умели постигать и, вразумясь, любили».¹⁹

«Приятный вид природы начертать» — в этом состояла также основная задача М. В. Храповицкого — автора «Четырех времен года». Его поэма в большей своей части посвящена описанию природы «во всех ее премежах», иными словами, последовательно в разное время дня и года и вместе с тем изображению «жизни сельской» («Пишу жизнь сельскую, хвалю поля и рощи»), и особенно труда «счастливых поселян». Эта живопись, часто весьма колоритная, еще лишена, однако, конкретности и какой бы то ни было эмоциональной окраски. Выписанный порой довольно тщательно, пейзаж у Храповицкого — все же по преимуществу пейзаж вообще и притом пейзаж «объективный», не связанный с душевным состоянием поэта:

Уже ночную тень по малу освещает
 Румяная заря, предшественница дня;
 Веселый цвет ее день красный обещает.
 Лучи, предвестники небесного огня,
 Сугубый свет дают лазревому своду.
 Уже возносится горящий солнца шар,
 И к чувству пробуждая дремавшую природу,
 С началом дня начнет творенью жизни дар.
 Оставя птички сон, любезно голосами
 По рощам и полям веселый шум чинят,
 И утра пользуясь прохладными часами,
 Взять пищу и себе и для птенцов летят.²⁰

С другой стороны, в полном соответствии с требованиями дескриптивного жанра, эти картины природы служат постоянным поводом для философских раздумий и нравоучительных сентенций. Так, зрелище пробуждающейся весенней природы вызывает у поэта мысли о радостях и огорчениях любви, о «приятностях» супружества и «питании нежнейших чад» и в то же время о корыстолюбии, заставляющем человека жестоко страдать «и в самой лучшей части»:

Так все приятности природы исчезают
 И красная весна так зрится без красы,
 Где страсти сильные грудь смертного терзают.
 Они займут собой все дней его часы;
 Они влекут к себе всех сил его стремленье;
 Им слабый человек отверзту грудь несет;
 Им мужественный дух явит сопротивление;
 Тяжелый хладнокров себя от них спасет;
 Разумный различить одни с другими знает,
 Умеет вредные в начале истребить,
 Полезные принять и их питать желает,
 Печется силу их с рассудком согласить;
 Среди волненья их спокойством веселится,

¹⁹ «Раут». Книга третья, стр. 157.

²⁰ ГБЛ, ф. 323, папка 1353, № 14, л. 144.

Чувствителен к страстям, но сам к себе не мертв;
С рассудком, с совестью для них не разлучится,
Им в дар не принесет дражайших оных жертв.

Искусный кормчий так спокоен пребывает
Несомый ветрами, качаясь на волнах,
На шум, на зыбкость вод с улыбкою взирает,
А робких спутников тревожит сильный страх.²¹

Вид садовника, спасающего «растение нежное» от солнечного зноя, оратая, готовящего ниву к осени, селяи, собирающих своим стадам «злак новый», побуждает поэта пропеть хвалу тем, кто трудится вседневно, чтоб «существо свое усовершенить»:

Есть в жизни важный труд, есть должность в том трудиться,
Достойный смертного труд разума его;
К нему не тягостно, приятно есть стремиться,
И сладко плод вкусить старания сего.
Смесь качеств небо нам с рождением даровало,
В кругу несовершенств возможность лучше стать,
В ином излишество, иного нет иль мало.
Соблазн, пример, в разврат нас может низвергать,
Еще рассудка нет, предрассуждением тмится
Ум нежный юности: в невинные сердца
Привычек вредных зло свободно вкоренится,
Несчастны можем быть от действия до конца.
Затем и надлежит себя познать стараться;
Из сердца своего пороки истребить;
С приятными страстями, но вредными расстаться;
Дать силу совести, рассудок укрепить,
Душевных совершенств достигнуть сколько можно;
Достоинств истинных богатство приобрести;
Полезный, должный труд, который неотложно
Разумный над собой печется произвести.

Тогда пусть счастье тебя достойно любит,
Богатством, силою и честью одарит,
Завидный жребий твой другого не погубит,
Но паче помощью даров твоих снабдит.
Когда в твоих руках блаженство всенародно,
Забудешь ли тогда употребить себя?
К творенью дел благих твой дух и сердце сродно
Презрят ли случаи утешить сим тебя?

Равно пусть рок тебя возвысит позабудет,
Ты знатен и велик достоинством своим;
С тобой рассудок твой, с тобою совесть будет,
Спокойство при тебе, блаженство купно с ним.

Приятно зреть себя трудящуюся вседневно
Над тем, чтоб существо свое усовершенить,
И сладко чувствовать свидетельство душевно
Доброт в себе каких не может рок лишить.
Сие свидетельство собою превышает
Все льстивые венцы, свет кои может дать;
Гоненье, ни печаль его не погашает,
Ни время, ни болезнь не в силах перервать.²²

²¹ Там же, лл. 142 об., 143.

²² Там же, лл. 146 об., 147.

Меланхолический осенний пейзаж внушает поэту восторженный «гимн надежде», которой всегда и везде живут люди, и его рассуждение о «правости» («О правость! сладкое в сей жизни состоянье...»). Наконец, картина «объятой хладом», уснувшей под «покровом белизны» и суровой к человеку зимней природы приводит его к оптимистическому заключению о целесообразном, разумном устройстве мира:

Нет, благодать божия от нас не отвратилась,
Когда собрали мы кругом обильный плод.
Природа запаслась и вновь обогатилась
Взамен что убыло в минувший ныне год;
Пусть виды многие состарев прекратились,
Исчезли смертью иль яствой для других.
Вновь виды свежие, молодые появились,
Сохранна связь вещей и тварей цепь живых.²³

Такова, в основных чертах, эта поэма — один из характерных и значительных образцов русской описательно-дидактической поэзии конца XVIII — начала XIX веков, произведение, заслуживающее в дальнейшем научного внимания в своем полном виде.

²³ Там же, л. 156 об.

Ю. М. ЛОТМАН

РАДИЩЕВ — ПОЭТ - ПЕРЕВОДЧИК

Вопрос о мастерстве Радищева-переводчика поэтических произведений не только не изучен, но и не поставлен в исследовательской литературе. Более того, не выявлен даже круг произведений, подлежащих изучению в этом плане, поскольку не проделана еще предварительная работа по выяснению того, какие из стихотворений Радищева являются переводами. Сообщению некоторых данных по этому вопросу и посвящена предлагаемая заметка.

* * *

Стихотворение Радищева «Молитва» представляет перевод отрывка «Prière» — заключения известной антиклерикальной «Поэмы о естественном законе» («Poème sur la loi naturelle») Вольтера. Произведение это содержало настолько резкое осуждение церковного фанатизма, что Вольтер, как он сам указывал в предисловии, в течение трех лет не решался опубликовать его в печати. Поэма распространялась в списках. Напечатана она была почти одновременно с знаменитой «Поэмой на разрушение Лиссабона» в 1756 году.

Приводим заключение поэмы Вольтера:

O Dieu qu'on méconnaît! O Dieu que tout annonce!
Entends les derniers mots que ma bouche prononce!
Si je me suis trompé, c'est en cherchant ta loi:
Mon coeur peut s'égarer, mais il est plein de toi.
Je vois sans m'alarmer, l'éternité paraître;
Et je ne puis penser qu'un Dieu qui m'a fait naître,
Qu'un Dieu qui sur mes jours versa tant de bienfaits,
Quand mes jours sont éteints, me tourmente à jamais.¹

Антиклерикальные выступления Вольтера были хорошо известны Радищеву, который в «Путешествии из Петербурга в Москву» вспоминал о том, как «Вольтер кричал против суеверия до безголосицы».

В русской литературе XVIII века известен другой не лишенный интереса случай перевода этого же произведения.

К 1793 году относится предсмертное завещание ярославского дворянина Ивана Михайловича Опочинина, интересное как по выраженному в нем сочувствию крестьянам, так и по пронизывающему все произведение духу философского материализма, граничащего с полным атеизмом. «Смерть, — писал Опочинин, — есть не иное что, как прехождение из бытия в совершенное уничтожение. Мой ум довольно постигает, что человек имеет существование движе-

¹ Oeuvres complètes de Voltaire, Nouvelle édition, t. huitième, Poésies, t. II. Paris, 1817, p. 419.

нием природы, его животворящей, и сколь скоро рессоры в нем откажутся от своего действия, то он, верно, обращается в ничто После смерти нет ничего!»

Свое завещание Опочинин заключил переводом «с французского диалекта» отрывка из вольтеровской поэмы В переводе имеется известное расхождение с французским оригиналом, интересное тем, что оно почти дословно совпадает с текстом Радищева

Во французском тексте

O Dieu qu'on méconnaît! O Dieu que tout annonce!
Entends les derniers mots que ma bouche prononce!

У Опочинина:

О боже, которого все твари возвещают

У Радищева

Тебя, что твари все повсюду возвещают

Указанное совпадение, возможно, не случайно и свидетельствует о знакомстве ярославского переводчика с стихотворением Радищева²

Особый интерес представляет стихотворение «Журавли», неоднократно ставившееся исследователями в связь с биографическими обстоятельствами жизни Радищева Стихотворение это — точный перевод произведения забытого немецкого поэта середины XVIII века Эвальда Христиана фон Клейста (1715—1759) «Der gelahmte Kranich» (1757)

Der gelahmte Kranich³

Der Herbst entlaubte schon den bunten Hain,
Und streut aus kalter Luft Reif auf die Flur
Als an Gestad ein Heer von Kranichen
Zusammenkam um in ein wirthbar Land
Jenseit des Meers, zu ziehn Ein Kranich, den
Des Jagers Pfeil am Fuß getroffen, saß
Allein, betruht und stumm und mehrte nicht
Das wilde Lustgeschrey der Schwarmenden,
Und war der laute Spott der frohen Schaar
Ich bin durch meine Schu'd nicht lahm, dacht' er
In sich gekehrt, ich half so viel, als ihr
Zum Wohl von unserm Staat Mich trifft mit Recht
Spott und Verachtung nicht Nur Ach! wie wirds
Mir auf der Reis' ergehn! Mir dem der Schmerz
Muth und Vermögen raubt zum weiten Flug!
Ich Unglückseliger! das Wasser wird
Ba'd mein gewisses Grab Warum erschöß
Der Grausame mich nicht? — Indessen weht
Gewogner Wind vom Land ins Meer Die Schaar
Beginnt geordnet itzt die Reis und eilt
Mit schnellen Flügeln fort und schreyt vor Lust
Der Kranke nur blieb weit zuruck und ruht
Auf Lotosblättern oft, womit die See

² Об И М Опочинине см Л Н Трефолев Предсмертное завещание русского атеиста «Исторический вестник», 1883, январь, стр 224—226, К Сивков Общественная мысль и общественное движение в России XVIII в «Вопросы истории», 1946, № 5—6, стр 93

³ Цит по Ewald Christian von Kleist's sammtliche Werke < > herausgegeben von Wilhelm Korte Zweiter Theil Berlin, 1803, SS 55—57

Bestreuet war, und seufzt' vor Gram und Schmerz.
 Nach vielem Ruhn sah er das beßre Land,
 Den güt'gern Himmel, der ihn plötzlich heilt.
 Die Vorsicht leitet' ihn beglückt dahin;
 Und vielen Spöttern ward die Flut zum Grab'.
 «Ihr, die die schwere Hand des Unglücks drückt,
 Ihr Red'ichen, die ihr, mit Harm erfüllt,
 Das Leben oft verwünscht, verzaget nicht,
 Und wagt die Reise durch das Leben nurl
 Jenseit des Ufers giebt's ein besser Land;
 Gefilde voller Lust erwarten euch».⁴

Установление оригинала произведения Радищева интересно во многих отношениях. Известна широкая осведомленность Радищева в немецкой литературе. Знаменательно, что в поле его зрения оказывались не только перво-разрядные произведения, но и сравнительно мелкие явления литературной жизни Германии XVIII века. Так, например, он откликнулся на цензурные гонения, направленные против Векерлина⁵ и был знаком с его «Серым чудовищем». Тем более вызывает недоумение отсутствие в произведениях Радищева упоминаний центральной фигуры в демократическом лагере немецкой литературы тех лет — Лессинга. Интерес к творчеству Э.-Х. Клейста в этом смысле знаменателен — он прямо вводил Радищева в литературное окружение великого немецкого просветителя. Рано умерший Эвальд Христиан Клейст не был особенно выдающимся литератором, но его произведения отмечены определенной, хотя и не очень глубокой, печатью влияния просветительских идей. Э.-Х. Клейст был другом Лессинга. Именно ему были адресованы «Литературные письма». Радищев — читатель и переводчик Э.-Х. Клейста, конечно, был хорошо знаком и с творчеством Лессинга.

Стихотворение «Журавли» интересно еще в одном отношении — оно перекликается с концовкой пушкинских «Цыган».⁶ Такое сопоставление вполне правомерно, ибо нет никаких сомнений в том, что собрание сочинений Радищева 1807—1811 годов было Пушкину известно. Однако незадолго до написания «Цыган» был выполнен и опубликован другой перевод этого же стихотворения. Он мог привлечь внимание Пушкина уже потому, что переводчиком был А. Д. Илличевский — лицейский друг Пушкина. Вообще творчество Э.-Х. Клейста интересовало лицейстов. Илличевский в ученические годы перевел две его идиллии — «Ирин» и «Цефиз».⁷ Знаком с творчеством Клейста

⁴ М. А. Арзуманова обратила мое внимание на то, что в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (1794, ч. I, № 1, стр. 91—93) помещена прозаическая басня «Подстреленный журавль» с указанием: перевод с французского Д. Арсеньева. На самом деле оно является переводом цитируемого стихотворения Клейста. *Прим. ред.*

⁵ См.: Пауль Рейманн. Основные течения в немецкой литературе. 1750—1848. Пер. с немецкого О. Н. Михеевой, Изд. ИЛ, М., 1959, стр. 80—84.

⁶ См.: Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1813—1826). Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 321.

⁷ Необходимо исправить одну ошибку. Н. Гастфрейнд, раскрывший причастность Илличевского к этим переводам («Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицей», т. II, СПб., 1912, стр. 149), отнес указание Илличевского: «подражание Клейсту» на счет известного драматурга-романтика Г. Клейста. Заметив, что Г. Клейст «среди романтиков его времени» «отличался свежестью и пластичностью своих произведений», Н. Гастфрейнд заключил, что Илличевского «вскло к немецким романтикам», и предположил здесь влияние Кюхельбекера. Все это — плод недоразумения. Илличевский переводил

был и Кюхельбекер, писавший позже в крепости, что поэты XIX века выше «Попа и Аддисона, Вольтера и Делиля, Виланда, Клейста, Бодмера».⁸

Говоря о радищевских стихотворных переводах, необходимо остановиться и на так называемых «Сафических строфах».

Стихотворение это — вольный перевод 15-го эпода Горация. Радищев воспользовался лишь темой измены и начальными стихами:

Nox erat et caelo fulgebat luna sereno
Inter minora sidera,
Cum tu magnorum numen laesura deorum
In verba iurabas mea...
Ночь была прохладная, светло в небе,
Звезды блещут...
Ты клялась верною быть вовеки,
Мне богиню ночи дала порукой...

Однако дальше Радищев резко изменил развитие лирического сюжета. Он отказался и от угроз, которые Гораций расточает Неэре, и от предостережений счастливому сопернику.

Среди латинских поэтов Гораций занимал в сознании русских поэтов XVIII века особое место. Любимая лирика Горация привлекала внимание поэтов, стремившихся освободиться от канонизированных классицизмом поэтических форм. В борьбе за стиховое новаторство, освобождение от обязательной рифмы, подчинение ритмики содержанию Радищев обратился к античным размерам. Показательно, что он в этом случае не делал различия между горацанской и сафической структурами строфы, выражая средствами последней тему, навеянную Горацием. Его интересовало не различие в системах античного стиха, а перенесение на почву русской лирики новой ритмической системы, рассматриваемой как нечто единое.⁹

Но лирика Горация имела и другое лицо, привлекавшее русских поэтов XVIII века, — прославление простоты, скромной трудовой жизни, патриархальных нравов, при которых

Privatus illis census erat brevis,
Commune magnum...
(Carm. Lib. II, 15)

Не случайно наибольший отклик в русской поэзии XVIII—начала XIX века получила знаменитая «Похвала сельской жизни» («Beatus ille, qui procul negotiis»). В письме к Воронцову Радищев вспоминал «прекрасную оду Горация „Beatus ille...“», добавляя: «которой я знаю только начало».¹⁰ Последняя оговорка, видимо, имеет особый смысл. В традиции русской недворянской поэзии от Тредиаковского до Милонова ода Горация воспринималась как прославление свободной и трудовой жизни — идеала поэта, отрицающего современную ему действительность.

У Тредиаковского:

Плугом отчески поля орющий.

Э.-Х. Клейста, не имевшего к романтикам никакого отношения. Интерес к этому поэту Илличевский сохранил и после окончания лицея.

⁸ Дневник В. К. Кюхельбекера. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 173.

⁹ О Горации в России см. статью П. Н. Беркова «Ранние русские переводчики Горация». («Известия Академии наук СССР. Отд. общ. наук», 1935, № 10, стр. 1039—1056).

¹⁰ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. III, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 505.

Особенно важна не находящая параллели у Горация характеристика земледельца, который является человеком:

Дел от добрых токмо благородным,
Не от платья и не от гульни.¹¹

У Милонова, в противоположность Горацию, подчеркнут личный труд:

И в отческих полях работает один.¹²

Зато ни у Тредиаковского, ни у Милонова нет фигурирующих у Горация рабов, присутствующих за столом:

Positisque vernas, ditis examen domus,
Circum renidentes Lares!

Упоминание *verna*, раба, родившегося и выросшего в доме, для Горация было признаком простого, патриархального быта. В русском переводе оно опускалось, ибо заставляло бы читателя воспринимать стихотворение как прославление жизни дворянина-помещика, а не идеального свободного земледельца. Вместо домашних рабов у Милонова:

Малютки милые толпятся вокруг огня.

Истолкование оды Горация в духе патриархальной идиллии свободного труда земледельца, добывающего все собственным трудом, заставляло игнорировать последнее четверостишие Горация, в котором иронически снимался весь пафос стихотворения: ростовщик Альфий, восхваляя сельскую жизнь, отдает деньги в рост.¹³ Поэтому в русской поэзии XVIII—начала XIX века заключительные стихи, как правило, не переводились. Видимо, не случайно и Радищев в своем сознании отделил текст стихотворения от его конца.

Однако в отношении Радищева к Горацию была и своя специфика. Гораций привлекал недворянских поэтов XVIII века поэзией частной жизни, прославлением достоинства человека, вне зависимости от его положения в государстве. Вместе с тем поэзия «золотой посредственности» не удовлетворяла Радищева, особенно в сочетании с примирительным отношением к властям, и Гораций оставался для него «лизорук Меценатов». Называя его «льстецом наемным», Радищев писал:

О умы, умы изящны,
Та ли участь Мусс, чтоб славить,
Кто вам жизнь лишь не отъемлет,
Иль, оставя вам жизнь гнусну,
Даст еще кусок, омытой
В крови теплой граждан, братьев.¹⁴

¹¹ В. К. Тредиаковский. Стихотворения. (Библиотека поэта. Большая серия). Изд. «Советский писатель», Л., 1935, стр. 205—208.

¹² М. Милонов. Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения. СПб., 1819, стр. 32.

¹³ Именно эта ироническая концовка повлияла на истолкование оды Державиным.

¹⁴ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 105.

А. П. МОГИЛЯНСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ И РАЗЫСКАНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Вопрос о жизненности и действительности русской литературы XVIII века

История оценки и интерпретации русской литературы XVIII века еще не написана. И до Белинского и после него русская литература XVIII века оценивалась низко. Можно говорить о том, что даже до нашего времени дожили неприкрытые попытки принизить жизненность и действительность русской литературы XVIII века в целом. Так, например, в первом томе монографии Д. Д. Благого о творчестве А. С. Пушкина говорится следующее: «К первым годам XIX столетия литература века предшествующего явно изжила себя».¹ Развивая свою мысль, Д. Д. Благой утверждает, в частности, что к началу XIX века такие писатели, как М. М. Херасков, доживая свой век в качестве «археологической древности», «перестали двигать литературу вперед, играть сколько-нибудь заметную роль в ее дальнейшем развитии».² Несправедливость оценки последних произведений Хераскова («Царь, или Спасенный Новгород», 1800, и особенно «Бахарияна, или Неизвестный», 1803) видна уже из того, что в них этот замечательный поэт не повторял себя или кого-либо из своих предшественников или современников, а намечал новые пути в развитии русской поэмы.³ И тем более несправедлива приведенная выше общая оценка жизненности русской литературы XVIII века, данная Д. Д. Благой. Не следует думать, что в этом вопросе мы имеем дело с категориями неопределенными и субъективными. Имеется достаточное количество признаков и показателей вполне объективного и поэтому совершенно бесспорного характера, позволяющих решить этот вопрос без каких-либо колебаний.

Библиотечной статистики в то время не было, изучения читателя как особой проблемы книговедения в то время также не существовало. Однако до нас дошли чрезвычайно ценные и совершенно точные показатели жизнен-

¹ Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1813—1826). Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 29.

² Там же, стр. 29.

³ Интересно сопоставить с оценкой Д. Д. Благого выводы А. Н. Соколова, обычно склонного преуменьшать значение русской литературы XVIII века. О «Царе» Хераскова он писал: «Однако Херасков вводит в жанровый тип поэмы ряд изменений, свидетельствующих о том, что автор образцовой русской эпопеи стал на путь искания нового в области эпической поэмы» (А. Н. Соколов. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. М., 1955, стр. 184). О «Бахарияне»: «Произведение Хераскова — одно из значительных явлений дворянского сентиментализма» (там же, стр. 337).

ности и действительности произведений русской литературы XVIII века за хронологическими его пределами.

Прежде всего имеются документально засвидетельствованные данные о театральных сборах, говорящие о том, что русский оригинальный драматический репертуар XVIII века с успехом конкурировал с репертуаром XIX века. Приводим данные по С.-Петербургскому Малому театру за несколько лет и за разные месяцы, поскольку в зависимости от сезона сборы колебались. При этом данные об абонементе мы исключаем.

1811 год

а) пьесы XVIII века

- «Семира», трагедия А. П. Сумарокова. 13 октября. 937 руб. 50 коп.
 «Дидона», трагедия Я. Б. Княжнина. 26 ноября. 1559 руб.
 «Сбитенщик», опера его же. Сентябрь. 894 руб.
 «О время», комедия имп. Екатерины II. 11 октября. 1167 руб. 50 коп.

б) пьесы XIX века

- «Дмитрий Донской», трагедия В. А. Озерова. 25 октября. 1294 руб.
 «Эдил Царь», трагедия А. Н. Грузинцева. 4 октября. 1449 руб.
 «Электра и Орест», трагедия его же. 1 декабря. 1099 руб. 50 коп.
 «Модная лавка», комедия И. А. Крылова. 18 октября. 684 руб.

1814 год

а) пьесы XVIII века

- «Дидона», трагедия Я. Б. Княжнина. 28 апреля. 878 руб.
 «Чудаки», комедия его же. 11 января. 1576 руб.
 » » » 25 августа. 1440 руб. 50 коп.
 «Бобыль», комедия П. А. Плавильщикова. 26 апреля. 1169 руб.
 «Ошибки», комедия М. А. Муравьева-Апостола. 14 июня. 500 руб.

б) пьесы XIX века

- «Дмитрий Донской», трагедия В. А. Озерова. 4 декабря. 1617 руб. 50 коп.
 «Модная лавка», комедия И. А. Крылова. 19 июля. 411 руб. 50 коп.
 » » » 5 ноября. 1491 руб.
 «Илья Богатырь», опера » 8 июня. 918 руб. 50 коп.
 » » » 11 мая. 1349 руб. 50 коп.
 «Неслыханное диво», комедия Н. Р. Судовщикова. 12 июля. 650 руб. 50 коп.

1817 год

а) пьесы XVIII века

- «Чудаки», комедия Я. Б. Княжнина. Май. 1005 руб.
 «Хвастун», комедия его же. 10 июня. 1012 руб.
 «Ябеда», комедия В. В. Капниста. 29 июля. 1699 руб.
 » » » » 4 ноября. 1664 руб.

6) пьесы XIX века

«Фингал», трагедия В. А. Озерова. 23 ноября. 1372 руб.
 «Пожарский», трагедия М. В. Крюковского. 28 ноября. 1534 руб.
 «Урок кокеткам», комедия А. А. Шаховского. 10 декабря. 1126 руб.
 «Великодушие», драма Н. И. Ильина. 19 ноября. 1460 руб.⁴

Комментируя эти данные, можно сделать много интересных наблюдений. Особо интересной мы считаем разницу между сезонными колебаниями сборов при постановке комедии и оперы И. А. Крылова (1814) и при постановке комедий Я. Б. Княжнина (1814) и В. В. Капниста (1817). Обращают на себя внимание и данные о сборе с постановки (1817) одной из популярнейших пьес русского репертуара, ставившейся неоднократно и во второй половине XIX века — драмы Н. И. Ильина «Великодушие, или Рекрутский набор». Как видим, в ряде случаев постановки пьес XVIII века привлекали большее количество зрителей, чем постановка этой драмы. Даже одно из величайших событий русской истории XIX века, Отечественная война 1812 года, не ослабило популярности произведений литературы XVIII века.

Материалы театральной статистики полностью подтверждаются данными и о переиздании произведений писателей XVIII века в следующем столетии. Сочинения Я. Б. Княжнина, вышедшие в пяти томах в 1802—1803 годах, уже в 1817 году потребовали нового пятитомного издания. Двенадцатитомное издание «Творений» Хераскова, законченное в 1803 году, было повторено, начиная с 1807 года. Это не помешало появлению в 1820 году двухтомного издания его «Эпических творений», в основу которого были положены «Россияда» и «Владимир». Басни и сказки И. И. Хемницера на протяжении XIX столетия переиздавались так часто, что учет всех изданий стал затруднительным.

Действенность литературных памятников может быть определена при помощи еще одного надежного критерия — реакции цензурных органов. В этой связи едва ли следует забывать о предпринятой ими в 1851—1852 годы попытке произвести дополнительное изъятие из обращения ряда обличительных литературных произведений XVIII века. В общих чертах эта попытка стала известна уже в 1890 году, но ряд относящихся к ней основных документов до сих пор остается неопубликованным. Приводим полный текст доклада цензора А. Л. Крылова (1798—1853), профессора С.-Петербургского университета, представленного 17 июля 1851 года.

Его превосходительству Господину Председателю С.-Петербургского Ценсурного Комитета

ДОКЛАД

Считаю долгом представить на благоусмотрение и разрешение Вашего Превосходительства отмеченные красными чернилами места в сочинениях *Кантемира* и *Хемницера*, поступивших в Ценсуру для второго издания в полном собрании русских авторов, печатаемом на иждивении книгопродавца Смирдина. Многие из сих мест подверглись бы, конечно, исключению, или перемене, если бы встретились в рукописях, представляемых к первоначальному просмотру Ценсуры.

⁴ ЦГИАЛ, ф. 497, оп. 97/2121, ед. хр. 859 (853), Рапорты с афишами о сборах со спектаклей Малого театра за сентябрьскую треть 1811 г., лл. 50, 86, 104, 111, 122, 140, 215, 224; ед. хр. 1345, Рапорты... за январскую треть 1814 г., лл. 27, 135, 141; ед. хр. 1346, Рапорты... за майскую треть 1814 г., лл. 21, 72, 78, 120, 132, 177; ед. хр. 1347, Рапорты... за сентябрьскую треть 1814 г., лл. 138, 207; ед. хр. 1642, Сборы со спектаклей Малого театра за майскую треть 1817 г., лл. 11, 83, 167; ед. хр. 1643, Сентябрьская треть 1817 г., лл. 140, 170, 179, 191, 212.

В сочинениях *Кантемира* находится много:

1) *сарказмов* на духовенство, монашество и высший иерархический сан, которые впрочем можно извинять тем, что они относятся к своему времени, не составляя сатиры нам современной.

2) *Шутки и остроты* над такими предметами, в применении к которым шутка и острота делается более или менее не позволительно выходкою, кощунством. Наконец

3) Нескромных, тривиальных выражений, употребление которых в обществе и литературе нашего времени принимается за нарушение приличия.

В сочинениях *Хемницера* попадают подобные же шутки и неприличия, как наприм. сближение *собаки с монахом* или *волчьих поступков с господскими*; но чаще приводит в сомнение основная идея басен, между которыми есть написанные для нравоучения, заключающего в себе очевидный парадокс; а в других сатира обращена даже на действия верховной власти.

Встречая такие места в сочинениях, которые выходили многими изданиями и тысячами обращаются с давнего времени в употреблении публики, Цензор неизбежно затрудняется в строгом применении к ним правила о рассматривании печатных книг наравне с новыми рукописями. Исключения и перемены в таких книгах, из которых наука и воспитание почерпались целыми поколениями, могут вызвать, кажется, более вреда, нежели пользы. Потому что места, не согласные с требованиями Ценсуры, будучи выпущены в новом издании, делают сами по себе лучшими указателями для прискакивания их в старых экземплярах, которых изъять из употребления нельзя; а чрез то и самые идеи, составляющие отступления от Ценсурных правил, становятся гласными и видными для всех, быв до того времени для многих, по крайней мере, совсем не заметны.

С другой стороны, допущение пропусков и перемен в произведениях писателей, стяжавших общее уважение и заслуженный авторитет, представляется почти равносильным запрещению печатать их новыми изданиями. Никто не предпринимает нового издания старых книг без расчета на вознаграждение за употребляемый на него труд и капитал; но расчет при издании с пропусками и переменами — самый не верный. Экземпляры такого издания на столько же потеряют цену и доверие в публике, на сколько чрез них именно приобретут старые экземпляры прежних изданий, хотя бы и гораздо менее удовлетворительных в других отношениях.

В сих соображениях смею полагать, что хотя указанные мною места в сочинениях *Кантемира* и *Хемницера* гораздо было бы лучше устранить в рукописи, рассматриваемой для первого издания; но так как имена сих авторов пользуются заслуженным авторитетом и сочинения их весьма распространены в употреблении многократным печатанием их в прежнее время, то согласнее, кажется, с требованиями осмотрительности не усиливать влияния сих мест, делая их посредством исключения более заметными; достаточно, кажется, выпустить разве только вполне две небольшие пьесы: из *Кантемира* — «Эпиграмму на икону св. Петра» (стр. 234—235), и из *Хемницера* — басню «Привилегия» (стр. 162—163).

Между тем затруднение того же рода представляется Ценсуре очень часто. Многие сочинения писателей, самых известных и заслуженных в отечественной литературе, не выдержат вполне строгого пересмотра наравне с поступающими вновь рукописями, не исключая, наприм., знаменитого Баснописца нашего Крылова и народного Барда Державина. Но затруднение это может довольно уменьшиться, если бы Ценсору, просма-

тривающему печатную книгу к новому изданию, дозволено было принимать в соображение:

1) Общее направление книги, или статьи в ней, не останавливаясь на частных столкновениях с ценсурными правилами, не делающих всего содержания книги, или статьи, в целости предосудительным. И

2) Время, когда сочинение появилось в свет, и не принадлежит ли автор оного к числу писателей, продолжающих еще действия свои на литературном поприще; потому что при жизни автора удобнее допустить и частные исправления, по взаимному соглашению его с ценсурою.

Цензор Ал. Крылов⁵

Вопросы, поднятые в приведенном докладе А. Л. Крылова, долгое время рассматривались в Главном управлении цензуры и дважды докладывались императору Николаю I. 11 марта 1852 года на докладной записке министра народного просвещения князя П. А. Ширинского-Шихматова (1790—1853) Николай I наложил резолюцию, совершенно запрещающую переиздание всех сочинений Кантемира и двух басен Хемницера («Лев, учредивший совет» и «Привилегия»).⁶

Последствия доклада А. Л. Крылова, однако, были значительно шире. Чрезвычайно затруднилось переиздание собраний сочинений русских писателей не только XVIII, но и первой половины XIX века. Запрещено было переиздание сочинений А. И. Полежаева и других писателей. С.-Петербургский цензурный комитет даже в 1854 году был лишен возможности разрешить новое издание такой книги, как «Басни в девяти книгах» И. А. Крылова.⁷

В 1857 году запрещение переиздавать сочинений Кантемира было подтверждено новым императором — Александром II.⁸ Драматический памфлет Крылова «Трумп» (1800) был издан легально лишь в 1871 году. Полное издание текста трагедии Княжнина «Вадим Новгородский» было осуществлено только в 1914 году.

⁵ ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1851, ед. хр. 79. Дело о том, чтобы сочинений Кантемира вовсе не позволять печатать, и о дозволении к новому изданию басень и сказок Хемницера с исключением двух басень, лл. 1—3.

⁶ «В. В. Стасов». Цензура в царствование императора Николая I. «Русская старина», 1903, № 10, стр. 178—183. См. также: «Русская старина», 1890, № 3, стр. 645 (Дневник А. В. Никитенко) и книгу: А. М. Скабичевский. Очерки истории русской цензуры. (1700—1863), СПб., 1892, стр. 380.

⁷ ЦГИАЛ, ф. 77, оп. 2, 1854, ед. хр. 22. Дело о рассмотрении представленных почетным гражданином Э. Веймаром «Басен И. А. Крылова» для дозволения к шестому изданию, лл. 1 и 3.

⁸ «Русская старина», 1903, № 10, стр. 183.

М. И. ГИЛЛЕЛЬСОН

ЦЕННЫЙ ВКЛАД В ИСТОРИЮ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Одна из основных задач большой серии «Библиотеки поэта» — привлечение внимания к творчеству незаслуженно забытых поэтов, введение в научный оборот неизвестных рукописных текстов. Примером успешного решения этой задачи является сборник «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.». ¹ Исследователи русской поэзии и читатели получили большое количество ранее не публиковавшихся стихотворений; ряд произведений напечатан в новом, более исправном и полном виде по авторским рукописям или авторитетным спискам того времени. Вступительная статья Г. В. Ермаковой-Битнер, помимо частных характеристик поэтов, представленных в сборнике, ставит и общие вопросы развития сатирического жанра в русской поэзии конца XVIII и начала XIX века.

Наибольшей удачей сборника является раздел произведений Д. П. Горчакова: здесь впервые опубликованы 4 послания и 12 эпиграмм; 3 стихотворения напечатаны по более полным и авторитетным спискам. Можно без преувеличения сказать, что только в настоящем издании решена задача собрания сатирических произведений Д. П. Горчакова. Из вновь публикуемых текстов наибольший интерес представляют послание «К другу моему Н. П. Н. Беседа 1-я», созданное, как отмечено Г. В. Ермаковой-Битнер, под влиянием книги деятеля французского Просвещения Рейналя «Философская и политическая история о заведении и коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770), и послание «Напрасные труды», написанное легким трехстопным ямбом с чередованием перекрещивающейся, опоясывающей и парной рифмы. Среди адресатов эпиграмм Д. П. Горчакова мы встречаем, помимо второстепенных переводчиков и представителей духовенства, такие имена, как А. А. Аблесимов, Я. Б. Княжнин и Д. И. Фонвизин; комментарий к эпиграммам помогает понять место Д. П. Горчакова в литературной полемике своего времени.

Однако включение в корпус произведений Д. П. Горчакова стихотворения «Святки» (1815) сделано, как нам кажется, без достаточного основания. В. С. Нечаева в примечаниях к избранным стихотворениям П. А. Вяземского (Изд. «Academia», 1935), а затем Л. Я. Гинзбург в комментарии к стихотворениям П. А. Вяземского (Изд. «Советский писатель», Л., 1958) достаточно веско аргументировали принадлежность этого нозля в более полном виде П. А. Вяземскому. Не опровергая доводов В. С. Нечаевой и Л. Я. Гинзбург, Г. В. Ермакова-Битнер утверждает, что было два нозля, «в которых высмеивался Государственный совет, министры, — Д. Горчакова и П. Вяземского» (стр. 632). Такое предположение было бы возможным, если бы тексты этих нозлей значительно расходились между собой. В действительности же список нозля, сохранившийся в бумагах А. И. Тургенева, лишь значительно более

¹ Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Г. В. Ермаковой-Битнер. Библиотека поэта. Большая серия. «Советский писатель». Л., 1959, 753 стр.

полный. За исключением мелких разночтений, почти целиком совпадают 10 куплетов; только 4 куплета из списка П. А. Ефремова не находят себе подтверждения в списке А. И. Тургенева. Но если в отношении этих 4 куплетов можно высказывать различные предположения об их авторстве, то остальные 10 куплетов, перепечатанные Г. В. Ермаковой-Битнер, как совпадающие со списком А. И. Тургенева, бесспорно принадлежат П. А. Вяземскому.

Недостаточно полно представлено в сборнике сатирическое творчество С. Н. Марина. Необходимо было включить его сатиры «Перевод одиннадцатой сатиры Буало» и «С тобой мой ум теперь беседу начинаю», а во вступительной статье сопоставить сатиры С. Н. Марина и Кантемира — это позволило бы выявить некоторые особенности эволюции сатиры как жанра в отечественной литературе на протяжении XVIII века.

Составитель проявил излишнюю осторожность, исключив из произведений С. Н. Марина стихотворение «Бостон». Наличие «Бостона» в оглавлении альбома В. Н. Завадовской — близкого друга С. Н. Марина — кажется нам веским основанием для установления его авторства. Доводы Н. В. Арнольда по этому вопросу представляются более убедительными, чем мнение Г. В. Ермаковой-Битнер, которая, поместив «Бостон» в числе анонимных произведений, высказывает предположение о возможном авторстве Д. П. Горчакова.²

Литературная сатира арзамасцев представлена в сборнике произведениями В. А. Пушкина и А. Ф. Воейкова. В разделе стихотворений В. А. Пушкина впервые публикуются две эпиграммы, обнаруженные Г. В. Ермаковой-Битнер в письмах В. А. Пушкина к П. А. Вяземскому. Вместе с тем вызывает недоумение отсутствие в сборнике ранних сатирических произведений В. А. Пушкина, а именно: «К камину» (1793), напечатанного за год до появления в печати «Камина в Пензе» И. М. Долгорукова; «Письмо к И. И. Дмитриеву» (1796), в котором уже осмеяны эпигоны сентиментального направления.

С достаточной полнотой представлены в сборнике сатирические произведения А. Ф. Воейкова. Разумно, как нам кажется, решен вопрос о выборе текста «Дома сумасшедших»; в комментарии приведены дополнительные варианты из разных рукописных списков; в итоге основной текст и варианты дают полное представление об этой остроумной сатире, куплеты которой дописывались и изменялись А. Ф. Воейковым на протяжении более двадцати лет. Несколько стихотворений А. Ф. Воейкова публикуются Г. В. Ермаковой-Битнер впервые; из них наиболее интересно послание «К Бурдину», адресатом которого составитель вполне правомерно считает Д. А. Кавелина, переметнувшегося в начале 1820-х годов в правительственный лагерь. Послание А. Ф. Воейкова интересно и в ретроспективном плане, так как оно позволяет понять, какая атмосфера царила за несколько лет до этого на собраниях «Арзамаса». Если предположить, что под «верными россиянам» автор разумет консервативных членов «Арзамаса», то следующий отрывок из послания ярко характеризует разногласия между радикальными и умеренными арзамасцами:

У верных россиян вздымался дыбом волос,
Как санкюлотские ты гимны пьяный пел.
Давно ль в Америку уехать ты собирался,
Чтоб там, на бочку став, монархов вслух ругать,
Пророча мятежи и бунты, улыбался
И жажду крови, тигр! не мог в душе скрывать?
За равенство готов был умереть на плахе,
За вольность дать себя изрезать на куски...

² С. Н. Марин, Полное собрание сочинений, М., 1948, стр. 406—407.

В конце послания, говоря о разрыве Д. А. Кавелина с кругом арзамасцев («Ты с нами разорвал приятельскую связь»), А. Ф. Воейков прямо называет его Иудой Искаротским!

Заканчивая обзор произведений А. Ф. Воейкова, нельзя не отметить правомерность включения в приложения к сборнику его прозаической сатиры «Парнасский Адрес-календарь», которая органически связана с «Домом сумасшедших».

Раздел произведений А. Е. Измайлова вызывает наибольшее количество критических замечаний. Справедливость требует отметить, что и в этом разделе составителем проделана большая работа: текст басен сверен с рукописями А. Е. Измайлова, ряд басен (такие, как например «Сметливый эконо́м», «Золотая струна», «Так да не так», «Дворянка-буянка» и некоторые другие) напечатан по рукописям и в более политических острых вариантах; в комментариях даны наиболее существенные разночтения с рукописями по тем басням, которые печатаются по изданиям А. Е. Измайлова; удачно сопоставлены две одновременные редакции басни «Гора в родах» (1804, 1815) и указано изменение ее полемической заостренности — в первом варианте против сторонников классицизма, а во втором — против эпигонов карамзинизма; наконец впервые публикуется по рукописям несколько произведений А. Е. Измайлова («Подлон начальнику дочь отдал в услуженье», «На перемещение М.», «Совет новому сенатору», «Моли́тва питейных чиновников» и др.).

Однако, несмотря на указанные бесспорные достоинства, этот раздел страдает существенным недочетом: в нем отсутствуют многие произведения А. Е. Измайлова, имеющие полемический и сатирический характер. Так, например, не включен «Разговор в царстве мертвых», написанный на членов «Беседы» — П. Ю. Львова и Г. В. Геракова; не использован находящийся в рукописях сатирический разговор «Князь Шаховской» и актриса Е. Жова» (1812); кроме того, в тетрадях А. Е. Измайлова имеются еще два ненапечатанных сатирических произведения, направленных против А. С. Шишкова, а именно «Раскольник Аввакум» (1811) и «Калмык оратор» (1811). Кажись бы, что в данном сборнике их следовало, безусловно, опубликовать. Г. В. Ермакова-Битнер широко пользовалась в своей работе тетрадями А. Е. Измайлова и, конечно, ей известны эти сатирические инвективы. Почему же в таком случае составитель отказался от их публикации? По-видимому, по той причине, что эти произведения не совпадали с основным положением автора о том, что сатирическая поэзия начала XIX века состоит не только во взаимных нападках карамзинистов и шишковистов, но и в критике тех и других сатириками, не входящими в полном смысле слова в названные литературные группировки. Не отрицая, что подобная тенденция действительно имела, мы в то же время полагаем, что ее не следует переоценивать. Включение в сборник указанных рукописных произведений А. Е. Измайлова более объективно показало бы его участие в полемике карамзинистов против шишковистов и отнюдь не уронило бы утверждение Г. В. Ермаковой-Битнер, что «по духу, форме, основной направленности сатирическое творчество Измайлова противоречит концепции Жуковского» (стр. 63). Активное участие А. Е. Измайлова в литературной полемике против шишковистов не снимает вопроса о своеобразии его позиции в лагере карамзинистов.

Кроме того, следовало обратить внимание читателей на то, что А. Е. Измайлов вместе с К. Н. Батюшковым является автором знаменитой сатиры «Певец в Беседе любителей русского слова». Автограф А. Е. Измайлова не только полностью подтверждает его соавторство, но и дает основание утверждать, что именно ему принадлежит первоначальный замысел этой широко известной пародии на шишковистов.

Многие интересные басни А. Е. Измайлова («Наседка», «Роза и репейник», «Мачеха и пасынок», «Львица и свинья», «Волк и лисица», «Дурак

Филатка» и др.) не попали в сборник. Думается, что творчество А. Е. Измайлова заслуживает отдельного издания.

Удачно отобраны в сборнике произведения И. М. Долгорукова. Стоит лишь пожалеть, что не включены стихотворения «Сердечкину» и «Жизнь» (на них, кстати говоря, составитель ссылается во вступительной статье), а также стихотворное послание «Приятелю. Шутка за шутку». Последнее, помимо бытового колорита, примечательно и тем, что в нем автор высказывает свое отношение к творчеству Державина и Жуковского:

Пойдет ли тут на ум поэзией питаться,
С Державиным парить, с Жуковским наслаждаться? ³

Существенные новшества имеются в разделе произведений М. В. Милонова. По рукописям впервые опубликованы его четыре эпиграммы и три послания, в том числе пространное «Послание к Н. Р. Поклитковскому», в котором автор изобличает широкий круг царственных особ, сановников и литераторов. Кроме того, Г. В. Ермаковой-Битнер раскрыт псевдоним М. В. Милонова «Анонимус» и на этом основании в корпус его стихотворений введен ряд произведений, печатавшихся под этим псевдонимом в журнале «Благонамеренный» в 1820 году, а именно: «Послание к А. Е. Измайлову», притча «Лягушка и вол», одна эпиграмма и одна эпитафия. Эти произведения проясняют литературную позицию М. В. Милонова, в частности его отношение к А. Ф. Воейкову.

В разделе «Из журналов конца XVIII—начала XIX века» воспроизведены некоторые сатирические произведения менее известных литераторов (А. Ф. Лабзина, П. А. Озерова, Семена Пестова, С. А. Тучкова, И. И. Бахтина) и анонимных авторов. Среди анонимных произведений за подписью «У. Ф. Х. Ц. Ч.» напечатана эпиграмма «Блажен, кому всегда печаль и скука чужды». Со своей стороны отметим, что этими буквами подписан ряд эпиграмм («Клав борзый наш поэт», «В природе смерти нет! так Гердер говорит», «Злослова, говорят совсем переменялась», «Почто, несмысленная Никса» и др.), помещенные в «Вестнике Европы» в 1804—1805 годах и затем перепечатанные в прижизненном издании стихотворений П. П. Сумарокова. Этими же буквами подписано и сатирическое стихотворение «Чудеса», автором которого также является П. П. Сумароков. Таким образом, подпись «У. Ф. Х. Ц. Ч.» принадлежит П. П. Сумарокову и, следовательно, он — автор эпиграммы «Блажен, кому всегда печаль и скука чужды».

В разделе «Из рукописных сборников» наибольший интерес вызывают три произведения: «Послание от Дольского к Кутайсову» и впервые публикуемые «Песни на голос французских святок» и «Стихи на архимандрита Фотия».

В «Послание от Дольского к Кутайсову» привлекают внимание следующие строки, направленные против любимца Павла I графа Кутайсова:

Хоть ты осыпан и звездами,
А все останешься ослом,
Ты хлопал лишь ушами,
Где надо действовать умом...

Несомненно, что эти строки восходят к сатирической оде Державина «Вельможа» (1794):

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

³ И. М. Долгорукий. Бытие сердца моего, ч. IV. М., 1818, стр. 189.

Приноровление анонимным автором державинских строк (в перефразированном виде) к Кутайсову показывает, как остро воспринималась сатирическая ода Державина его современниками.

Анонимная «Песня на голос французских святок» — один из немногих образцов ноэля в русской поэзии; относясь по времени к 1802—1803 годам, он является промежуточным звеном между ноэлями Д. П. Горчакова (1780-е годы) и ноэлями П. А. Вяземского (середина 1810-х годов) и А. С. Пушкина (1818).

Остроумные «Стихи на архимандрита Фотия» безусловно перекликаются с эпиграммами А. С. Пушкина на этого церковного выскочку. Отметим попутно, что сомнительным представляется чтение строки: «Быть у народа такой нрав...». По-видимому, это описка в рукописи или неточное прочтение; по смыслу текст должен читаться: «Ведь (или: вить) у народа такой нрав».

Непонятно, почему в конце раздела «Из рукописных сборников» составитель отказался от примерной датировки стихотворений; в результате этого нарушена хронологическая последовательность. Так, например, «Грамматическая надпись к портрету м(инистра) ю(стиции) Л(опухина)» и «Здравствуй князь, о князь светлейший!», «Песня на голос французских святок», которые датируются примерно 1803—1804 годами, напечатаны после послания «К NN», которое Г. В. Ермакова-Битнер датирует концом 1812 года; стихи на А. А. Орлову «Распутство и ветреность», которые скорее всего следует датировать концом 1810-х—началом 1820-х годов, напечатаны до «Песни на голос французских святок».

Однако указанные недочеты и упущения не умаляют большой работы, проделанной Г. В. Ермаковой-Битнер по опубликованию рукописных сатирических стихотворений.

Усилия в этом направлении следует продолжить; было бы целесообразно организовать подготовку к изданию в выпускаемой Издательством Академии наук серии «Литературные памятники» произведений рукописной сатиры XVIII—XIX веков.

Подробный комментарий, ставший хорошим правилом в изданиях большой серии «Библиотеки поэта», включает и данный сборник. Для комментария Г. В. Ермакова-Битнер широко использовала мемуары и рукописные источники.

Размер настоящей рецензии не позволяет охватить весь круг вопросов, получивших освещение во вступительной статье, поэтому мы выделим лишь некоторые вопросы и проблемы.

Г. В. Ермакова-Битнер отмечает необходимость изучения сатирического творчества второстепенных, а также анонимных авторов, указывает на тесную зависимость расцвета русской поэтической сатиры от журналистики 60—70-х годов XVIII века, от идей русского Просвещения.

С истинным блеском и отличным знанием материала написаны главы о творчестве Д. П. Горчакова и о его литературных связях. В главе о С. Н. Марине закономерно звучит вывод о том, «что вопрос о „Беседе“ требует дополнительных исследований» (стр. 38).

В главе о сатирках-карамзинистах Г. В. Ермакова-Битнер справедливо утверждает, что «надо учитывать большое количество оттенков, существовавших как в отношении политических взглядов, так и литературных, у писателей-карамзинистов» (стр. 48—49), что «такие писатели, как Вяземский, Воейков, когда они содействовали развитию направления боевой сатиры, отходили от творческой практики своих учителей — Карамзина, Дмитриева, Жуковского» (стр. 49); со своей стороны заметим, что следует говорить не только об отходе «младо-карамзинистов» от литературных принципов Карамзина, но и о выдвигании ими иного критерия критики и художественного творчества, об эволюции карамзинизма как литературного течения.

В главе о А. Ф. Воейкове составителем удачно вкраплены рукописные материалы этого писателя, привлечение которых позволило показать, что

«вольтерянец в молодости, яростный защитник монархии во второй половине жизни, Воейков и как писатель является одной из противоречивейших фигур в русской литературе» (стр. 53). В главе о А. Е. Измайлове существенно указание на то, что его «творчество некоторыми своими чертами сближается с произведениями народной сатиры XVII—XVIII века, с народным лубком» (стр. 63). В главе о И. М. Долгорукове обращает на себя внимание сопоставление одноименных произведений «Я» И. И. Дмитриева (1791) и «Я» И. М. Долгорукова (1802) и указание на возможность полемической направленности стихотворения И. М. Долгорукова по отношению к стихотворению И. И. Дмитриева.

Как видно из материала данного сборника, сатирический жанр в русской поэзии второй половины XVIII века и начала XIX века получил значительно большее распространение, чем это до сих пор отмечалось в истории отечественной литературы. Используя богатый опыт народной сатиры и творческие достижения сатиры классицизма, русские писатели второй половины XVIII века и начала XIX века расширили и углубили рамки социального обличения. Творчество Радищева, Новикова и Фонвизина, сатирические журналы 1760—1770-х годов оставили глубокий след в сознании писателей последующих поколений. Рецензируемый сборник показывает, что русское Просвещение XVIII века дало мощный толчок дальнейшему развитию поэтической сатиры — воздействие просветительских идей было настолько сильным, что его не избежали представители самых различных литературных группировок того времени. Таким образом, получил новое подтверждение тезис советских ученых (В. Н. Орлова, Г. П. Макогоненко) о влиянии идей русского Просвещения (XVIII века) на развитие отечественной литературы в предпушкинский период.

Сборник «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.» — ценный вклад в историю русской поэзии.

ХРОНИКА

В 1959—1960 годы продолжала свою деятельность Группа по изучению русской литературы XVIII века при Институте русской литературы (Пушкинский дом). На ее открытых заседаниях обсуждались как доклады, ставившие общие вопросы развития литературы XVIII века, так и сообщения о творчестве отдельных писателей.

Наиболее крупным научным мероприятием, осуществленным Группой, было проведение в 1959 году (20—21 октября) Всесоюзного совещания о русском Просвещении XVIII века и его влиянии на литературу.

Совещание вызвало интерес у исследователей литературы XVIII века по всей стране. Кроме большого числа ленинградцев, в нем приняли участие литературоведы Москвы, Киева, Харькова, Тарту, Каменец-Подольска, Перми, Томска.

Информацию о работе Совещания дали журналы «Русская литература» (1960, № 1) и «Известия Отделения литературы и языка АН СССР» (1960, № 3). Материалы Совещания изданы отдельной книгой в Издательстве АН СССР под названием «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII век» (1961). Сюда же вошли и материалы заседания Группы, посвященного 250-летию со дня рождения А. Д. Кантемира и состоявшегося 25 сентября 1959 года. Это статьи П. Н. Беркова «Первые годы литературной деятельности Антиоха Кантемира (1726—1729)», Э. И. Гершковича «Эволюция мировоззрения Кантемира», И. В. Шкляр «Приписываемые Кантемиру переводы сатир Буало и оригинальные сатиры Кантемира».

На открытых заседаниях Группы в 1959—1960 годы были заслушаны и обсуждены следующие доклады (перечисляем в хронологическом порядке): П. Н. Берков. Из истории русско-французских связей 20-х годов XVIII века (Тредиаковский и аббат Жерар). Напечатано в «Revue des etudes slaves», 1958, t. XXXV, f. 1—4.

И. А. Кряжмская. Драма Н. Н. Сандунова «Солдатская школа».

И. Д. Козырева. Журналы В. С. Подшивалова.

В. Г. Березина. Журнал А. П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела». Напечатано в кн.: Вопросы журналистики. Межвузовский сборник статей, вып. II, кн. 2. Л., 1960.

И. З. Серман. Становление и развитие романа в русской литературе XVIII века. В сокращении напечатано в кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XIX веков. М.—Л., 1959.

Г. В. Ермакова-Битнер. Сатирик XVIII века Д. П. Горчаков. Д. П. Горчакову посвящен раздел во вступительной статье Г. В. Ермаковой-Битнер в книге «Русские поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX века». Л., 1959.

Ю. В. Стеиник. Трагедии Сумарокова. Напечатано в настоящем сборнике.

П. Н. Берков. Катоновы двустипшия.

И. З. Серман. Неизданные произведения Тредиаковского («Феоптия» и «Псалтырь»). Напечатано в журнале «Русская литература», 1961, № 1.

«Феоптия» подготовлена автором к печати для издания стихотворений В. К. Тредиаковского в Большой серии Библиотеки поэта.

Г. П. Макогоненко. Комедия Фонвизина «Бригадир» и литературные направления 1760-х годов. Доклад был сделан по материалам подготовленной автором книги о Д. И. Фонвизине.

И. А. Кряжмская. Драматургия Н. Н. Сандунова (по неизданным материалам). Напечатано в журнале «Русская литература», 1960, № 3 под заглавием «Рукописное наследие Н. Н. Сандунова».

Г. Н. Ионин. Фольклор в творчестве Г. Р. Державина (1800-е годы). Под заглавием «О фольклорных мотивах в творчестве Державина 1800-х годов» печатается в сборнике «Русский фольклор. Материалы и исследования», т. VII.

Л. И. Кулакова. Эстетические взгляды Н. М. Карамзина.

Ю. М. Лотман. «Сатирический театр» 1808 года.

И. З. Серман. Натурфилософские стихотворения Ломоносова. Материал доклада использован в статье «Ломоносов в борьбе с церковью и религией», для сборника «Литература в борьбе с религией», подготовленного Издательством АН СССР в Москве.

Н. В. Варбанец. Библиотека Вольтера как материал для изучения европейского Просвещения XVIII века.

Г. Н. Монсеева. Рукописный сборник конца XVIII века.

Кроме докладов, на заседаниях Группы были обсуждены: статья В. Н. Всеволодского-Гернгросс «Драматические сюжеты и образы Фонвизина в их развитии» и изданная в Большой серии «Библиотеки поэта» книга «Русские поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX века» (составитель Г. В. Ермакова-Битнер). По материалам обсуждения опубликованы две рецензии на книгу Г. В. Ермаковой-Битнер: П. Н. Беркова («Русская литература», 1960, № 4) и М. И. Гиллельсона (напечатана в настоящем сборнике).

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	3

Статьи

П. Н. Берков. Проблема литературного направления Ломоносова . .	5
И. З. Серман. Поэзия Ломоносова в 1740-е годы	33
А. И. Дуденкова. О построении образа в лирике Ломоносова . . .	70
Н. А. Сигал. Социальная критика в литературе французского классицизма и ее художественный метод	79
Г. А. Гуковский. Русская литературно-критическая мысль в 1730—1750-е годы	98
И. В. Шкляр. Формирование мировоззрения Антиоха Кантемира . .	129
Л. Р. Муравьева. Проблема так называемой «девятой» сатиры А. Д. Кантемира	153
З. И. Гершкович. Об эстетической позиции и литературной тактике Кантемира	179
И. З. Серман. Тредиаковский и просветительство (1730-е годы) . .	205
В. Я. Лакшин. О деятельности В. К. Тредиаковского-просветителя. (Перевод книги о Фр. Бэконе)	223
Г. И. Бомштейн. Тредиаковский-филолог и фольклор	249
Ю. В. Стенник. О художественной структуре трагедий А. П. Сумарокова	273
В. Н. Кубачева. «Восточная» повесть в русской литературе XVIII—начала XIX века	295

Материалы и сообщения

А. В. Флоровский. Латинские школы в России в эпоху Петра I . .	316
А. Х. Горфункель. «Великая наука Раймунда Люллия» и ее читатели	336
З. И. Гершкович. К истории создания первых сатир Кантемира . .	349
В. П. Самаренко. В. К. Тредиаковский в Астрахани. (Новые материалы к биографии В. К. Тредиаковского)	358
П. Н. Берков. Несколько справок для биографии А. П. Сумарокова	364
П. Н. Берков. Шесть писем А. П. Сумарокова к историографу Г.-Ф. Миллеру (1767—1769) и четыре записки последнего к Сумарокову	376
Т. А. Быкова. К истории текста «Од торжественных» А. П. Сумарокова	383
М. М. Гуревич. Из несобранного литературного наследия А. П. Сумарокова	392
Р. Г. Бокк. Неизвестное стихотворение Ф. А. Козловского, приписываемое Сумарокову	396

Д. Д. Шамрай и П. Н. Берков. К цензурной истории «Трудолюбивой пчелы» А. П. Сумарокова	399
Е. П. Привалова. О забытом сборнике Тверской семинарии	407
Н. Д. Кочеткова. «Любослов» — сотрудник «Собеседника любителей русского слова»	422
П. Р. Заборов. Неизданная поэма М. В. Храповицкого «Четыре времени года»	429
Ю. М. Лотман. Радищев — поэт-переводчик	435
А. П. Могиланский. Материалы и разыскания по русской литературе XVIII века. Вопрос о жизненности и действительности русской литературы XVIII века.	440
М. И. Гиллельсон. Ценный вклад в историю русской поэзии	445
Хроника	451

ХVIII ВЕК

Сборник пятый

Утверждено к печати

Институтом русской литературы (Пушкинский Дом)
Академии Наук СССР

Редактор издательства Е. И. Михлин, Технический редактор Н. А. Круликова.
Корректоры Н. И. Журавлева, А. И. Кац и Н. А. Кириллова.

Сдано в набор 12 апреля 1962 г. Подписано к печати 28 августа 1962 г. РИСО АН СССР
№ 76—109В. Формат бумаги $60 \times 90^{1/16}$. Бум. л. $14^{1/4}$. Печ. л. $28^{1/2} = 28.5$ усл. печ. л.
Уч.-изд. л. 33.17. Изд. № 1556. Тип. зак. № 652. М-42221. Тираж 2000.

Цена 2 р. 19 к.

Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР
(Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1)

1-я тип. Издательства Академии наук СССР
(Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12)